

БОРИС САВИНКОВ

Избранное

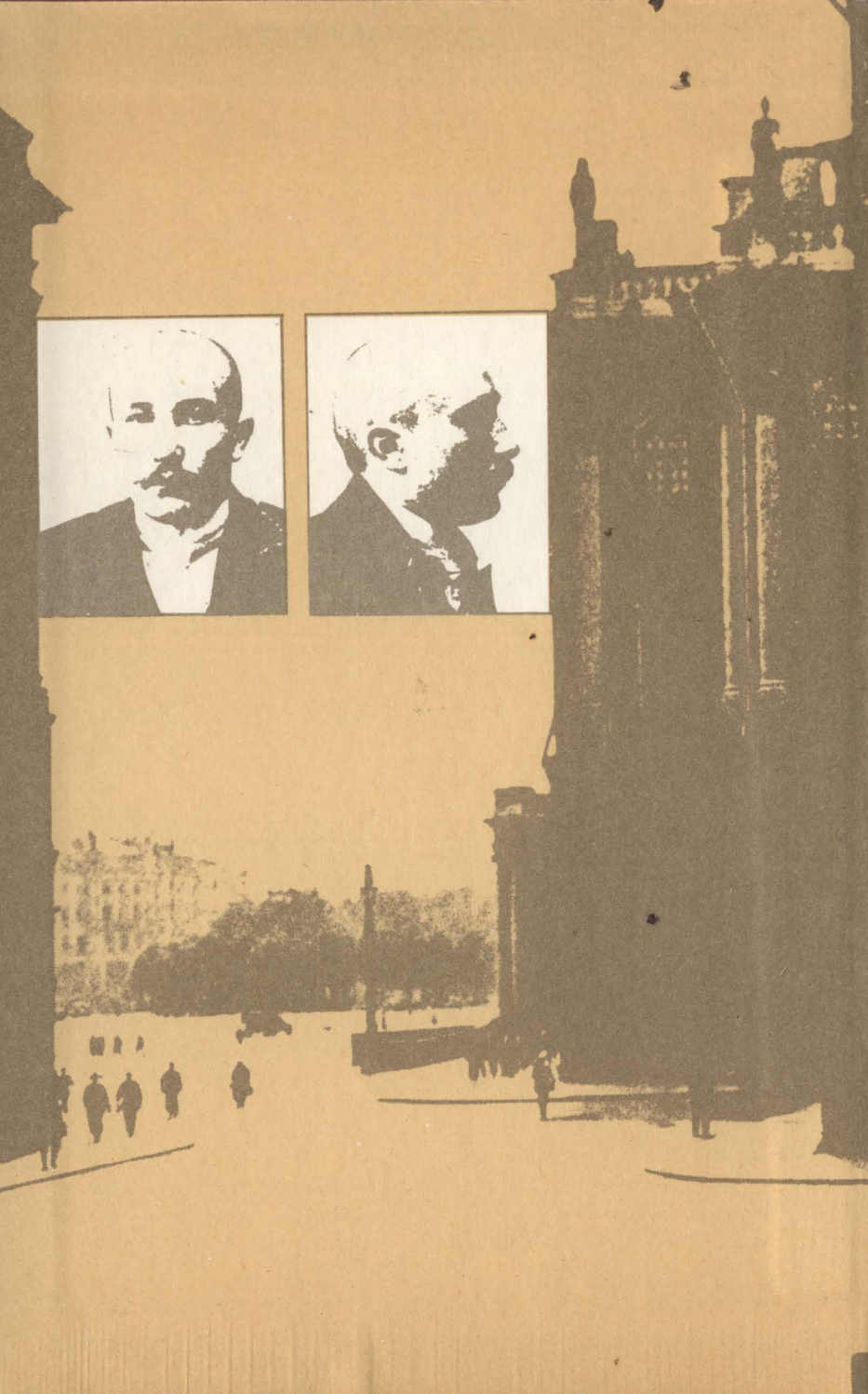
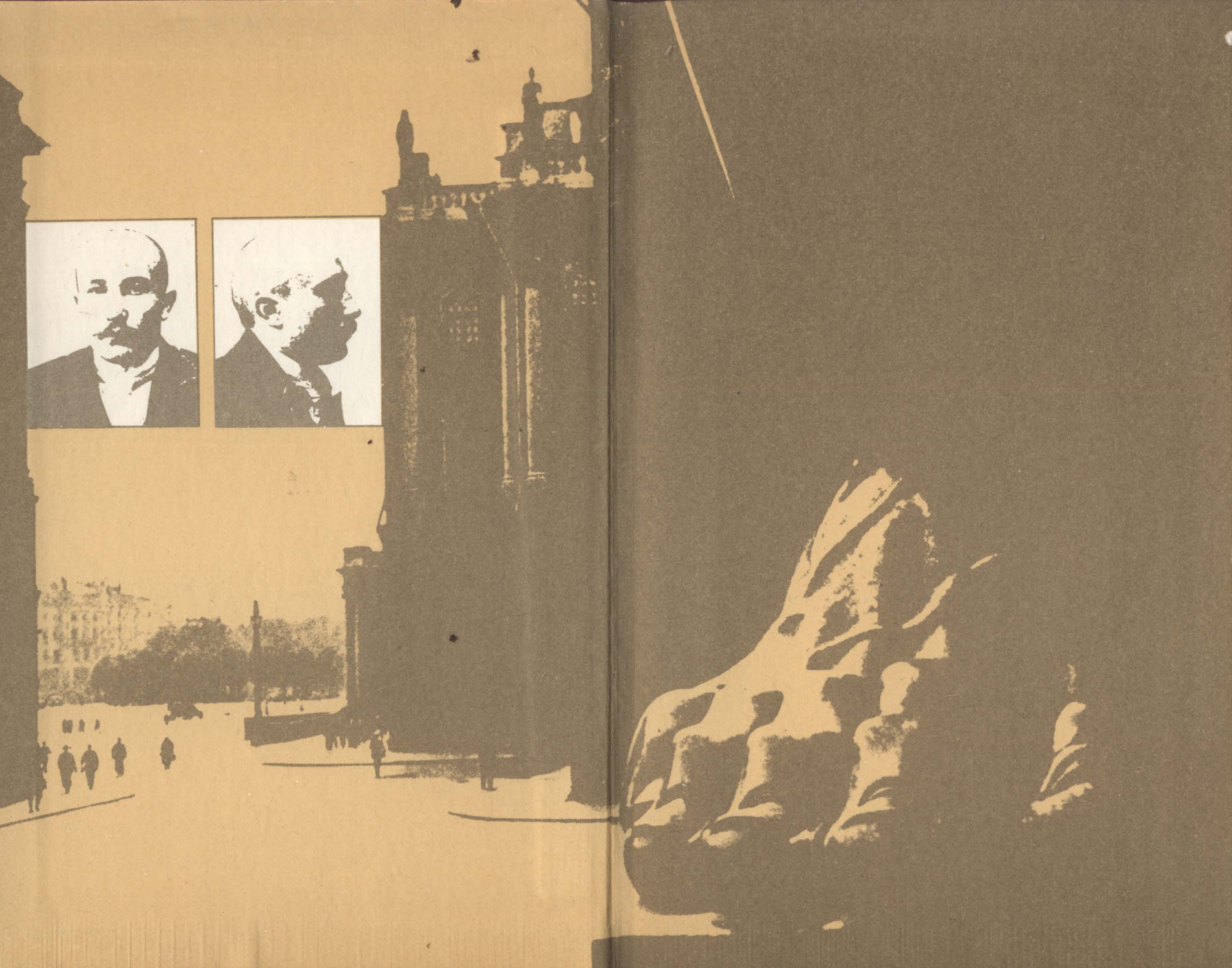
БОРИС САВИНКОВ



**ВОСПОМИНАНИЯ
ТЕРРОРИСТА**

**КОНЬ
БЛЕДНЫЙ**

**КОНЬ
ВРОНОЙ**



БОРИС САВИНКОВ

**ВОСПОМИНАНИЯ
ТЕРРОРИСТА**

**КОНЬ
БЛЕДНЫЙ**

**КОНЬ
ВОРОНОЙ**

Москва
1990

ББК 63.3(2)
С12

*Текст печатается с разрешения Издательства „Новости“ по тексту книги
Б.Савинков. „Избранное“. Москва, 1990 г.*

Вступительная статья Ю.Давыдова

При подготовке издания сохранены особенности авторской пунктуации и авторское написание собственных имен и географических названий

Савинков Б.В.

С12 Избранное. М.: Политиздат, 1990. — 432 с.

В сборник избранных произведений Б.Савинкова вошли "Воспоминания террориста" (1909 г.), повести "Конь бледный" (издана в 1909 г.) и "Конь вороной" (1923 г.)

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

ISBN 5 — 7020 — 0175 — 3

С 4702010106
067(02) — 90 Без объявл.

ББК 63.3(2)

© Составление, подготовка текста. "Инновационный фонд" Издательства „Новости“, 1990 г.

© Вступительная статья. Издательство "Художественная литература", 1990 г.

© Оформление. Политиздат, 1990 г.

САВИНКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ, ОН ЖЕ В. РОПШИН

Беглые заметки вместо академического предисловия

На севастопольской гауптвахте он ждал петли.

В камере на Лубянке ждал пули исполнителя.

И виселица, и расстрел причитались в точном соответствии с законом. В молодости — по законам Российской империи. В зрелости — по законам Российской республики.

21 августа 1924 года он приступил к письменным показаниям. Почерк был твердым, текст сжатым, как возвратная пружина браунинга.

„Я, Борис Савинков, бывший член Боевой организации ПСР*, друг и товарищ Егора Созонова и Ивана Каляева, участник убийства Плеве, вел[икого] кн[язя] Сергея Александровича, участник многих других террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа, во имя его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шел против русских рабочих и крестьян с оружием в руках.“

27 августа 1924 года Военная коллегия Верховного Суда СССР начала слушанием дело Савинкова.

29 августа председатель объявил заседание закрытым.

Савинкова Бориса Викторовича, 45-ти лет, приговорили к высшей мере наказания с конфискацией имущества.

Имущества не было. Конфискации подлежала жизнь.

К опытам этой жизни, напряженно-нервным, как снаряжение бомб в подпольной мастерской, обращался писатель В. Ропшин.

Ахматова сказала о чеховском „Рассказе неизвестного человека“: „Как это фальшиво, искусственно. Ведь Чехов совершенно не знает эсеров.“ Ропшин эсеров знал, ибо был Савинковым.

В его прозе много заемного? Пусть так. Зато фальши-то нет. Он изобразил Коня бледного. Конь вышел блеклым, но не прилич-

*Партия социалистов-революционеров (эсеров).

ным. От него шибало потом и сукровицей погони.

Из глубины сибирских руд отозвался читатель, каторжанин-террорист: искренностью и силой взволнован до глубины души; все писано слезами и кровью сердца; нет ни одного невыстраданного слова.

Имя этого читателя Савинков назвал в первых строках своих августовских показаний 1924 года.

За двадцать лет до того они с Егором Созоновым готовили покушение на министра внутренних дел, статс-секретаря и сенатора Плеве.

Идеалом Плеве была вечная мерзлота политического грунта. Ему говорили, что со дня на день возможна студенческая демонстрация, он отвечал: „Высеку“. Ему говорили, что в демонстрации примут участие курсистки, он отвечал: „С них и начну“. Надо бы уточнить. Начинал Вячеслав Константинович — и продолжал — не розгами, а кандалами и эшафотами. Символ всего сущего он видел в параграфах инструкций. Он был столь же фанатичным бюрократом, как и свирепым шовинистом. Именно Плеве разгромил украинских мужиков-повстанцев. Именно Плеве подверг военной экзекуции грузинских крестьян. Именно Плеве науськивал погромщиков на еврейскую гольтьбу. Именно Плеве гнул долу финляндцев. И желая воздать должное коренным подданным, утопил русских матросов в пучинах Цусимы, русских солдат загубил на сопках Маньчжурии: именно Плеве подвизался в дворцовом круте рьяных застрельщиков Русско-японской войны.

— Я сторонник крепкой власти во что бы то ни стало, — бесстрастно диктовал он корреспонденту „Матэн“. — Меня ославят врагом народа, но пусть будет, что будет. Охрана моя совершенна. Только по случайности может быть произведено удачное покушение на меня.

Интервью французскому журналисту дал Плеве весной 1902 года, усаживаясь в министерское кресло. Озаботившись личной безопасностью, он, что называется, брал меры: уже возникла эсеровская Боевая организация. Отметим претонкое обстоятельство — Плеве рассчитывал и на сверхсекретного агента-provокатора, фактического руководителя боевиков.

Эта надежда взорвалась вместе с метательным снарядом.

Июльским утром девятьсот четвертого года, в Петербурге группа Савинкова настигла карету министра на Английском проспекте. Плеве сразила бомба Егора Созонова, тяжело израненного ее осколками.

Эхо разнеслось всероссийское. Не станем цитировать ни революционеров, ни левых интеллигентов. Не потому, что страшен зубовой скрежет новоявленной генерации монархистов, а для того,

чтобы рельефнее обозначить общую реакцию на чрезвычайное происшествие.

Князь М.В.Голицын, отнюдь не левый и уж, само собой, не инородец, писал в своих неопубликованных мемуарах: „Признаться, никто его не пожалел. Он душил всякую самую невинную инициативу общества.“ В мемуарах Сухотиной-Толстой читаем: „Трудно этому не радоваться.“

Если ей было трудно не радоваться, то как было не ликовать Борису Савинкову? Нет, не ликовал.

Литератор, не раз встречавший Савинкова, резкими штрихами портретировал Бориса Викторовича: сухое каменное лицо, презрительный взгляд; небольшого роста, одет с иголочки; не улыбается, веет безжалостностью. Однако подпольщица, отнюдь к сантиментам не склонная, увидев сокрушителя Плеве, навсегда запомнила мертвенное лицо потрясенного человека. Весь его облик она сравнила с местностью после потопа: и тот, прежний, и не тот, не прежний.

Но в седле он удержался. Устремляясь в атаку, не помышляя о келье для скорбящей души. И не озираются в поисках госпитального фургона.

Кровавое Воскресенье девятьсот пятого года насквозь прожгло Боевую организацию. Народное шествие, осененное ликом Спасителя, торжественно-умиленное хоровым призывом к царю царствующих хранить царя православного, мирное шествие просителей, стекавшееся к Зимнему, было расстреляно, искромсано, разметано, растоптано.

Еще и сороковины не справили по невинно убиенным 9-го января, как группа Савинкова изготовилась к удару по династии. Кровь, пролитая на пути к Зимнему дворцу, отозвалась кровью, пролитой близ Николаевского дворца. В Кремле был убит генерал-губернатор Первопрестольной.

Бомбист, схваченный тотчас, объявил на первом же допросе:

— Я имею честь быть членом Боевой организации партии социалистов-революционеров, по приговору которой я убил великого князя Сергея Александровича. Я счастлив, что исполнил долг, который лежал на всей России.

Следователь по особо важным делам Головня, вероятно, поморщился от этого пылкового: „я счастлив“. А может, и не поморщился. В архивном документе московской охранки зеркально отразилась Белокаменная: „Все ликуют“.

Бомбист, однако, отказался назвать свое имя. То было правило боевиков: покамест установят твое имя, товарищи успеют скрыться. И верно, группа Савинкова не пострадала. Перелистывая архивную связку, некогда хранившуюся в Особом отделе департамен-

та полиции, убеждаешься в энергии розыска. Но лишь в середине марта прилетела депеша из Варшавы: „Убийца великого князя несомненно упоминаемый циркулярами 1902 г. №№ 1907, 5000 и 5530 Иван Платонов Каляев, приятель Бориса Савинкова“.

Иван Каляев испытывал к Савинкову не просто дружество, а „чувство глубочайшего восторга“ — утверждает боевик, вблизи наблюдавший и того, и другого. Восторг этот можно, конечно, отнести на счет натуры Каляева — впечатлительной, чувствующей свежо и сильно; недаром прозвали его „Поэтом“. Но ведь и Савинкову надо ж было обладать чертами, решительно несовместными ни с презрительным взглядом, ни с жестокосердием.

Каляева удушили на эшафоте.

Виселицу сооружали ночью на мрачном каменистом острове, в Шлиссельбургской крепости. На дворе плотничали, в каком-то закутке покуривал палач, а в комендантском доме угощались военные и статские. Барон Медем, генерал, рассказывал „о многих казнях, свидетелем коих он был“. (Сценку застолья воссоздал очевидец, прокурор, рукопись которого не опубликована полностью).

Ночь стояла белая, майская.

„Дорогая, незабвенная мать, — писал осужденный. — Итак, я умираю. Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу отнестись к моему концу“.

И — в последних строках: „Привет всем, кто меня знал и помнит“.

Знали и помнили в городе Варшаве — улица Пенкная, 13, квартира 4. Там жили Савинковы.

Мать Каляева, овдовев, осталась с детьми почти без средств. Мать Савинкова пробавлялась на мужнину пенсию и на свои, не бог весть какие, литературные гонорары. Агентурная справка гласит: семья Каляевых сильно нуждается; ей помогает семья Савинковых.

В доме на Пенкной понятия „революция“, „полицейщина“, „деспотизм“ не были отвлеченными. Старший сын погиб в якутской ссылке. Борис едва избежал участи Созонова, участы Каляева.

Его первый арест пришелся на вьюжное Рождество девяносто седьмого года. Ох, как нетерпеливо поджидали Бореньку, студента Петербургского университета. Он приехал. Мать радовалась: сыновья выходят в люди, младшие дети здоровехоньки. Мужем она гордилась. Поляки называли его „честным судьей“, это было высокой похвалой — легион мундирных русификаторов царства Польского не блистал ни честью, ни честностью.

Судья Савинков недурно изучил право. Увы, ему привелось полной мерой познать бесправие. Еще не притупилась боль от гибели первенца, как второй сын был увезен из Варшавы в Петербург, на

Шпалерную, в тюрьму. Савинков—старший заболел, его отчислили из министерства юстиции. Им овладела мания преследования. Самая стойкая мания там, где неизбежна мания преследователей. Тенью скользил он по комнатам, губы дрожали: „Жандармы идут... Жандармы идут...“

Не будем задерживаться на тюремно—этапно—ссылочных перипетиях Савинкова. Не ахти как трудны они в сравнении с нашими недавними годами. Примечательно вот что: Савинков начинал социал—демократом. В ссылке он написал статью „Петербургское рабочее движение и практические задачи социал—демократов“. Статья, по словам Ленина, отличалась искренностью и живостью. А главное совпадала с его размышлениями о том, что делать, ибо молодой автор прокламировал насущную необходимость „единой, сильной и дисциплинированной организации“.

Однако внеся свой пай в изначальный капитал „партии нового типа“, Савинков вскоре изменил социал—демократии. Не овладели ли душой будущего Ропшина эмоции, созвучные замятинским? Евгений Замятин признавался: я был влюблен в Революцию, пока она была юной, свободной, огнеглазой любовницей, и разлюбил, когда она стала законной супругой, ревниво блюдущей свою монополию на любовь. Что—то эдакое чуеться и в Савинкове, разве что в обратном варианте.

Расхожие представления угнетают одноцветностью. В таких представлениях большевик как бы держатель контрольного пакета с акциями—истинами, он на дружеской ноге с токарями—слесарями. Меньшевик — пенсне на местечковом носу — суетлив, труслив, трухляв, токаря—слесаря над ним потешаются. А эсер, этот взбесившийся мелкий буржуа, прикидываясь другом народа, носит коворотку, и такой уж нервный, такой нервный, будто за пазухой у него адская машинка; он либо бомбист, злонамеренно мешающий развитию массового движения, либо нахал, дергающий за бороду Карла Маркса.

Да, эсеры держали курс на „обычную“ парламентскую республику. Да, чаяли демократического самоуправления. Крупное коллективное земледельческое хозяйство видели лишь за горизонтами всевозможных коопераций. И смели полагать, что российский „капитализм еще не исчерпал своих положительных возможностей“, а государственный социализм, учрежденный поспешно и судорожно, „провалится с треском“.

Спору нет, они вели политический террор — и против тузов режима, и против мелких козырей с шевронами за беспорочную службу режиму. „Террорную работу“ (тогдашнее выражение) считали они партизанскими действиями, прологом действия регулярных сил. Всю эту „работу“ осуществляла одна — не единственная,

— а одна из эсеровских организаций — Боевая. Вот она-то и была огнеглазой любовницей Бориса Савинкова.

Ровно год спустя после гибели Каляева, в мае девятьсот шестого, Савинкова изловили. Арест произвели так, словно „поручик Субботин“, прибывший в Севастополь, вот-вот взорвет и город, и корабли на рейдах. Филеры заломили ему руки, полицейский офицер уткнул в грудь дуло револьвера, солдаты вкруговую оцетинились штыками.

Савинкова доставили на главную гауптвахту. Был наряжен военный суд. Это ничего иного не означало, как только близость виселицы. Но все дальнейшее произошло словно в тюремных снах, пресекающих дыхание: верные товарищи, побег из-под стражи, парусный бот, бравый лейтенант и два дюжих матроса.

Счастливо разминувшись с броненосцем и миноноской, суденышко направилось к берегам Румынии.

Об одном из боевиков Савинков писал: „Он не представлял себе своего участия в терроре иначе, как со смертным концом, более того, он хотел такого конца: он видел в нем, до известной степени, искупление неизбежному и все-таки греховному убийству.“

Такое же желание владело и Пьером Безуховым, решившимся заколоть Наполеона. „Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою гибель и свое геройское мужество.“

Но Пьер и не помышлял о греховности убийства. На войне как на войне. А боевика, сколь бы он ни внушал себе — ты в тылу врага, — боевика пригнетало то, что он выслеживает жертву и нападает словно бы из-за угла. Э, усмехнутся скептики, бесы они, и шабаш. Полноте! И бесы веруют, говорит апостол. Интеллигентная девушка объясняла Савинкову: „Почему я иду в террор? Вам неясно? „Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю.“ — И помолчав, прибавила: — Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу.“

Признавай иль не признавай религиозную струну в душе русского террориста имярек, но вот уж что решительно нельзя признать, так это русского почина в „террорной работе“. И вовсе не потому, что апологеты родных осин клеймят русскую революционность печатью чужеродности. Кстати сказать, философ Н.Бердяев, ныне читаемый поспешно и жадно, числил национальной чертой и консерватизм, и революционность.

В конце 40-х годов текущего столетия дали команду бороться за приоритет во всех „регионах“ бытия. И боже мой, где только не носились мы выше всех, дальше всех, быстрее всех. Однако о первенстве в таком деле, как экстремизм, не заикались. Хотя именно

здесь—то и достигли в сравнении с 1913 годом неслыханного энтузиазма и невиданной деловитости. Нет, не заикались. Но годы спустя такой „приоритетец“ подарил нам американский историк Ричард Пайпс.

Ужасаясь современному западному экстремизму, и это естественно, он, будто привстав на цыпочки и вытянув шею, расслышал глухой гром над Петербургом — народовольцы убили Александра II. Расслышал и указал: вот откуда все пошло. (Сейчас, когда плюрализм цветет, как вешняя черемуха, нашлись в наших палестинах его единомышленники. Без них—то, говорят, без этих—то народников и прочих масонов, мы бы ого—го где бы уж были).

Так вот, если историк забывчив, то История злопамятна.

Спросите, и она назовет множество террористов, множество террористических актов, явившихся городу и миру задолго до кроваво—динамитного морока над Екатерининским каналом.

И совсем уж поразительно, что Р.Пайпс слона не приметил. Ведь императора убили в марте 1881 года, а в июле 1881 года убили президента США. Суть не в хронологии, а в сущности. Ее выставили народовольцы открыто, публично:

„Выражая американскому народу глубокое соболезнование по случаю смерти президента Джеймса Авраама Гарфильда, Исполнительный комитет считает своим долгом заявить от имени русских революционеров свой протест против насильственных действий, подобных покушению Гито.“

Что за притча? Простая, все определяющая по своим местам. Там, где существуют политические свободы, демократическая государственность, там „политическое убийство есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей.“

Коль скоро дух деспотизма упорствовал, то бомба, убившая царя, оставила в живых идею царевубийства. Савинков, мягко выражаясь, был ей не чужд.

Литературные критики правы: Л.Н.Толстой оказал сильное влияние на В.Ропшина. Может быть, и мы не ошибемся, указав на некоторое влияние автора „Не убий“ на Б.Савинкова?

Когда венценосцев, писал Толстой, убивают по суду или при дворцовых переворотах, то об этом обыкновенно молчат. Когда убивают без суда, то это вызывает в династических кругах величайшее негодование. (Как выяснилось, не только в династических. Но об этом чуть ниже.) „Самые добрые из убитых королей, как Александр II или Гумберт, — продолжал Толстой, — были виновниками, участниками и сообщниками, — не говоря уже о домашних казнях, — убийства десятков тысяч людей, погибших на полях сражений.“ И далее: должно удивляться, что их, королей, так редко

убивают „после того постоянного и всенародного примера убийства, который они подадут людям“. Толстой перечисляет: ужасные усмирения крестьянских бунтов, правительственные казни, замаривания в одиночных камерах и дисциплинарных батальонах. И вот эти убийства, утверждает Толстой, „без сравнения более жестоки, чем убийства, совершаемые анархистами“.

„Не убий“ написано в девятисотом. Без малого 90 лет спустя крестьянский сын, московский писатель, предложил собравшимся единомышленникам почтить вставанием память Николая II. Нас не шокирует ни это предложение, ни это вставание. Вот только один вопрос. Отчего вслед за тем крестьянский сын, московский писатель, не предложил почтить память усмиренных мужиков, солдат, умученных в дисциплинарных батальонах, питерских фабричных, убиенных 9-го января?

С Николаем II расправились в Екатеринбургe, летом восемнадцатого года. В наши дни восторженная общественная мысль столь резва, что нет-нет да и бежит по кругу, так сказать, отбеганному. Имеем в виду пресловутую погоню за вездесущими „масонами“. Иные ловцы, наделенные специфическим нюхом, усматривают в екатеринбургском изуверстве (ведь и детей изничтожили) ритуальное действо нехристей. Вот только опять вопрос. Не привлечли к ответу Александра Сергеевича Пушкина? Алиби у него есть, но есть за ним и криминальная угроза: „Тебя, твой трон я ненавижу// Твою гибель, смерть детей// С жестокой радостью вижу“. Максимализм молодости? Положим, так. Однако как же быть со слезинкой ребенка? Каляев, террорист, оглашенный, дважды подступал с бомбой к жертве своей, но в первый раз, заметив в карете великокняжеских детей, — отшатнулся...

Сторонники „ритуальной версии“ указывают: над трупами царской семьи глумились; такое неподым крещеному человеку. Да, глумились. Не только расстреляли, а и горячим облили, и... Язык немеет. Кромешный, как черная дыра, ужас. А недолге после екатеринбургской трагедии труп Фанни Каплан, облитый бензином, жарко пылал в железной бочке под сенью Александровского сада. Кремацию спроворил матрос, комендант Кремля П.Д.Мальков. Пособлял ему случившийся рядом пролетарский стихотворец Демьян Бедный. Оба, кажись, не инородцы. А куда было податься коменданту, ежели еврей Свердлов не хотел осквернить нашу землю погребением еврейки Каплан? Тут-то, надо полагать, матросу и вспомнилось, как в марте Семнадцатого заживо кремировали в корабельных топках кронштадтских офицеров.

Нет уж, граждане, плуг истории, ржавый от крови, вспахивал не этнические, а совсем иные сущности.

Если Пушкин „видел“, то Лермонтов предвидел: „Настанет год,

России черный год// Когда царей корона упадет:// Забудет чернь к ним прежнюю любовь// И пищей многих будет смерть и кровь:// Когда детей, когда невинных жен// Низвергнутый не защитит закон.“

Бакунин, дворянин, и Желябов, крестьянин, не разногласили: в груди народной — лавина ненависти. Ой ли, всполохнутся ревнители корней и почвы, ведь когда эти-то, как их бишь, убили Александра Освободителя, опечалилась, пригорюнилась иззяная Русь... Так точно, соотечественники, и опечалилась, и пригорюнилась, больше того — прокляла желябовых. Но вот почему: сочла желябовых за господ — царь нас от крепости избавил, царь бы и черный передел учинил, а господа-то и порешили царя.

Не так уж и много лет минуло, „чернь“ сбежалась к месту происшествия: убит сын царя-освободителя, великий князь Сергей Александрович. При виде его останков, еще как бы дымящихся, никто не обнажил голову. „Все стояли в шапках“, — сообщал в охранку уличный филер. Он же зафиксировал и похвалу злодеям: „Молодцы ребята, никого стороннего даже и не оцарапали, чего зря людей губить“. Какая-то салопница подобрала не то косточку, не то палец убитого, мастеровой прикрикнул: „Чего берешь, чай не мощи!“ Кто-то пнул носком сапога студенистый комок: „Братцы, а говорили у него мозгов нет!“

Что же это такое?

Известный в ту пору бунтарь, священник Григорий Петров предупреждал: „Николай Романов ни полушки права народу не даст. И тогда уже кровь. Море крови. Ожесточение.“ Так вот, ожесточение, пока еще огражденное частоколом штыков, но уже предвещающее екатеринбургское остервенение восемнадцатого года.

По поводу последнего — теперь, задним числом — все можно: и морализировать, и экранизировать, и тиражировать, и эпатировать. Но куда важнее владеть чутким сейсмографом, подмечающим работу закона исторического возмездия, пока она, эта работа, происходит в недрах вулкана. А футболисты, играющие в одни ворота после того, как игра сделана, мало чего стоят.

Если уж говорить о „ритуальности“, то в розановском смысле: „дай полизать крови“. В.В.Розанов писал об этом А.А.Блоку. Блок отвечал: „Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем „дай полизать крови“. Но вот: Сам я не „террорист“ уже по одному тому, что „литератор“. Как человек, я содрогнусь при известии об убийстве любого из вреднейших государственных животных... И однако так сильно озлобление (коллективное) и так чудовищно неравенство положений — что я действительно не осужу террор *сейчас*“.

Летом девятьсот шестого года в тумане моря голубом белел одинокий парус, уносивший Бориса Савинкова, сорвавшегося с ви-

селицы. А далеко на севере, в Гельсингфорсе, раздался крик: „Ви-селицу Николаю!“ — на трибуне громокопящего митинга был Леонид Андреев.

Боевая организация изначально ощущала себя душеприказчицей Исполнительного комитета „Народной воли“. И потому если народвольты „устранили“ Александра II, то эсеровские боевики помышляли об „устранении“ его внука. Повторено сто крат: в истории все приключается дважды — один раз как трагедия, другой раз как фарс. Социалисты-революционеры не были ни фарсерами, ни фразерами. Иное дело, не иллюзорной ли была преемственность?

Можно не мешкая выложить „пакет“ с цитатами из высказываний политических оппонентов, как большевиков, так и меньшевиков. А можно прислушаться к сторонним голосам. И притом несколько неожиданным. Например, Лескова Николая Семеновича. К нему на сей счет никто, кажется, не обращался.

Многие боевики еще пешком под стол ходили, когда он, современник и отнюдь не сторонник народвольтцев, горестно размышляла как раз о преемственности: „Сколько будет жертв, сколько самоотверженного мученичества!“ Спрашивал: „Но верна ли сама тактика?“ Отвечал: нет, ибо отзовется свирепой реакцией.

Позже именно о тактике высказался автор „Не убий“. И не то чтобы менторски, а скорее деловито-практически. „Короли и императоры давно уже устроили для себя такой же порядок, как в магазинных ружьях: как только выскочит одна пуля, другая мгновенно становится на ее место“. Но не на пулю, как таковую, возлагал Толстой ответственность, а на ружье, т.е. на „устройство общества“.

„Нетеррористическая сторона революционной борьбы эсеров заслуживает и давно ждет специального исследования“, — отметил в своем недавно опубликованном реферате студент Дмитрий Троицкий, трагически погибший в 1982 году. И верно, на прокрустовом ложе очень уж кратких курсов программе эсеров отрубили не ноги, а голову. Читателю времен перестройки и плюрализма было бы бесполезно познакомиться с их социально-экономическими концепциями.

Вернемся к тактике. Продолжая народвольтскую, эсеры не замечали капитальное различие стратегической ситуации. Террор народвольтцев — шаровая молния. Террор эсеров — спички, чиркающие во время грозы. Народвольтцам досталась пора ледостава. Эсерам — досталась пора ледохода. Не будем иллюстрировать картинами общеизвестными. Спросим о частности: куда бы девался Леонид Андреев, выкликни он свой призыв в години минувшие, а равно и нечто подобное в години грядущие?

Но нет, эсеры не отрекались от тактики предшественников. А

социал-демократы, признавая героизм народовольцев, писали и говорили: нам повторять их нельзя.

Этот решительный отказ от повтора весьма утешал охранку. Одним из первых спохватился жандармский генерал А.И.Спиридович. Читая по долгу службы „Искру“, полную, по его собственному определению, „огня и задора“, он, человек весьма неглупый, заключил, что „террор целого класса неизмеримо ужаснее группы бомбистов“.

Тем временем, как уже говорилось, группа бомбистов ставила на повестку дня „центральный акт“ — цареубийство. Он был сорван не столько потому, что в верхах партии нет-нет да и склонялись к пресечению террора, сколько потому, что был „центральный агент“.

Заглавную роль сыграл случай, который не был случайностью, ибо всегда таится в лабораториях алхимиков революции. Маркс давным-давно предупреждал: заговорщики находятся в постоянном соприкосновении с полицией; небольшой скачок от профессионального заговорщика к платному полицейскому агенту совершается часто; заговорщики нередко видят в своих лучших людях шпииков, а в шпииках — самых надежных людей.

Именно так и произошло в Боевой организации. Лучшие люди, не выдерживая подозрений, накладывали на себя руки. А шпиик-провокатор ходил в супернадежных.

Но вот что действительно поражает: он был вдохновителем и организатором всех побед. Он был нетороплив в поступках, и это казалось мудрой осмотрительностью. Он скупно ронял слова, и они казались весомыми. Он никого не любил, а казалось, что он любит всех. Низколобый и вроде бы сальный, он казался величественным.

В подполье его называли разными кличками. В департаменте полиции его подлинную фамилию — Азеф — держали под семью замками. Ни подполье, ни департамент не проникали до дна его „конспирации“. Он плевал на теории правые и левые. Он обвел вокруг пальца охранку, спланировав убийства и своего шефа Плеве, и великого князя Сергея Александровича. Он околпачил Боевую организацию, отправив на эшафот многих боевиков. Кредит доверия и кредит денежных он черпал разом из двух корыт. Гибрид шакала и вепря? Зверь из бездны? Такие определения были бы в духе литературы черного романтизма, махровые цветы которой расцвели одновременно с азефщиной. Никакой бездны, никакого романтизма, ни красного, ни черного, никаких психологических сложностей и надрывов — циничный мерзавец с неисчерпаемым запасом мерзостей, и только.

Разоблачение Азефа кончилось публичным партийным признанием кровавых мерзостей столпа партии. Культ Азефа лопнул, распространилось зловоние.

Но важнее факта изобличения, важнее анафемы было то, что нашлись люди этим неудовлетворенные. Они сказали партии, кто она есть, их партия. Централизм породил верховников. Верховникам не прекословя внимали низы. Между первыми и вторыми возникла каста бюрократов. Искательство перед кастой называлось „любовью к партии“, холопское подчинение касте — „партийной дисциплиной“.

Это не было ни отступничеством, ни ликвидаторством, ни ренегатством. Мужественные критики, соединившие ее с самокритикой, не устранились от борьбы за демократическую Россию. Но, справедливо говорили они, необходимо „помнить, что перед тем, как эмансипировать других, мы должны прежде всего эмансипировать себя — от своих заблуждений, от пережитков нравов, от пережитков мысли“.

Все это происходило в девятом, десятом, одиннадцатом годах. Стало быть, принадлежит истории. Той самой, что повторяется дважды. Отчего же так плохо прослушиваются серьезные симфонии революции? Не потому ли, что на кандалной дороге, переименованной в шоссе Энтузиастов, их глушат бравурные марши?

Предательство Азефа словно бы расщепило и обуглило Савинкова. Как! Он — героический, неутомимый и неггибаемый, — он, в сущности, был „сделан“ Азефом, точно гомункулус. Кровавый маклер, хоронясь за ширмой, дергал ниточки, а он, Борис Савинков, буреветник, черной молнии подобный, трепыхался над ширмой, словно чучело этой страшноватой птички.

Пытаясь разодрать нарывы самолюбия, он твердил о восстановлении престижа и чести партии. Сам же усомнившийся в методах „террорной работы“ — устарели, несовершенны — он тщился продемонстрировать наличие пороха в пороховницах. Да вышел-то пшик. Без Азефа вышел пшик.

Это уж было совсем непереносимо. И кто знает, не служила ли беллетристика В.Ропшина спасительной соломинкой Б.Савинкову?

Годы спустя Сомерсет Моэм, знаменитый писатель и незначительный сотрудник британской разведки, в разговоре с Савинковым заметил, что террористический акт, должно быть, требует особого мужества. Савинков возразил: „Это такое же дело, как всякое другое. К нему тоже привыкаешь.“ Напускная бравада человека, носившего маску — сухое каменное лицо, презрительный взгляд безжалостных глаз.

Шесть лет кряду он не жил в эмиграции, а существовал. Существовал на руинах Боевой организации. Его воскресила весна Семнадцатого. Трон рухнул, Савинков ринулся в Россию.

Весна была бурной и краткой, как в тундре. „Караул устал“, — объявил карнач. С Учредительным собранием было покончено. Так

полагал матрос и ушел на гражданскую. Не так полагал Савинков и тоже ушел на гражданскую.

Он блокировался с направлениями любого оттенка, лишь бы антибольшевистское. Даже и с монархистами, полагая, что наши бурбоны чему-то научились. Савинков готов был признать любую диктатуру (включая, разумеется, собственную), кроме большевистской. Он верил, что любой победитель, кроме большевиков, реанимирует Учредительное собрание. Его энергия была из того разряда, что называют дьявольской. Он бросался за помощью к англичанам, французам, белочехам и белополякам. Он командовал отрядами карателей, бандами подонков, наймитами, шпионами. Пути-дорожки „савинковцев“ чадили пожарищами, дергались в судорогах казенных.

Уинстон Черчилль, лично знавший Бориса Савинкова, дал ему место в своей книге с выразительным заглавием: „Великие современники“. Савинков, писал Черчилль, сочетал в себе „мудрость государственного деятеля, качества полководца, отвагу героя и стойкость мученика“. Умный-то умный, да сильно ж хватил через край! Поневоле вспомнишь, что и на старуху бывает проруха...

Расшифрованная стенограмма савинковского судебного процесса взяла полтораста страниц убористого типографского текста. Едва ли не каждый пункт обвинительного заключения обеспечивал Савинкову „вышку“.

На Лубянке его не корежили, не ломали душегубными пытками — еще до ареста он извелся в пытках душевных, что уже само по себе размывает клеймо оголтелого авантюризма. Снисхождения судей Савинков не испрашивал. Нет, объяснял, как медленно, шаг за шагом приблизился к роковому вопросу: а что, если я ошибся и русские рабочие и крестьяне действительно за *них*, действительно с *ними*?

Он не мог, не хотел вчуже скоротать остаток лет. Не думаем, что чекисты выманили его из-за рубежа, хотя „технически“ так было: Савинкова „вели“ на коротком поводке, он нелегально перешел границу, его без хлопот, без единого выстрела взяли в Минске. И все же, сдается, он пошел на зов иного манка: России, но не военного коммунизма, а нэповской.

И вот он в судебном зале.

— После тяжелой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие и многие другие, я вам говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому, что стоят с винтовкой за спиной: я признаю безоговорочно Советскую власть и никакой другой.

А в последнем слове добавил:

— Для этого нужно было мне, Борису Савинкову, пережить

неизмеримо больше того, на что вы можете меня осудить.

Осудили на расстрел с конфискацией имущества. За отсутствием имущества — конфискации подлежала жизнь, в сущности, уже прожитая.

Это было 29 августа 1924 года, в час с четвертью пополудни. Пять часов спустя ему вручили постановление Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР. Высшая мера наказания заменялась десятью годами лишения свободы.

Сонмы приговоренных получали нечто другое — девять граммов свинца. Получали, ни на унцию не совершив совершенное Савинковым. В чем тут дело? Где зарыта собака?

Смеем полагать, все решено было загодя. Иначе о смягчении наказания не стал бы ходатайствовать председатель суда В.В.Ульрих, столь же неумолимый, сколь и послушный.

Савинков обладал весом и престижем в эмиграции; даже в том узком сановном кругу, который брезгливо называл его „убийцей“ за деяния дореволюционные, не отказываясь, впрочем, от сотрудничества с ним в деяниях послереволюционных.

Гласная капитуляция Савинкова перед Советами, продолженная в письмах из внутренней тюрьмы, могла в известной степени воздействовать на эмиграцию. Какова бы ни была эта степень, игра стоила свеч.

Нисколько не витийствуя, он убеждал и призывал бывших друзей прекратить борьбу с русским народом и российской компартией, возрождающих страну на путях новой экономической политики. Он, в частности, писал: „Не знаю, читали ли вы отчеты о заседаниях съездов ВЦИК и проч. Но я, читая их, был изумлен тем мужеством, с которым в них говорилось о недостатках советской власти“. И далее: „Но допустим, что коммунисты „врут“. Я утверждаю, что, если это даже на 3/4 так, то и тогда не подлежит никакому сомнению, во-первых, что советская власть делает все возможное для восстановления экономического положения России и, во-вторых, что ей это в значительной мере удается.“ И еще: „Запомните, коммунисты завоевали „средняка“, т.е. огромное большинство крестьянского населения, — того „средняка“, который испытал на себе прелести „белого“ рая и „зеленой“ борьбы и который спокойный пашет теперь свою землю.“

Когда Савинков напечатал „Коня бледного“, Егор Созонов был поражен выстраданностью каждого слова. Однако другие каторжане-читатели называли автора „отступником“, „иудой“. Теперь, когда письма Савинкова благополучно достигали зарубежных адресатов, одни говорили, что он попал в переплет и выкручивается, другие выжигали на его челе тавро второго Азефа, третьи, немногие, находили эти письма искренними.

Как бы ни было, один из тех, кто ни на понюх табаку не внял его голосу, признавал на страницах английской „Морнинг пост“: Савинков „сознательно и безоговорочно перешел на сторону своих бывших врагов“, помог им „нанести тягчайший удар антибольшевистскому движению и добиться крупного политического успеха, который они сумеют использовать как во вне, так и внутри страны“. Мавр сделал свое дело. И теперь...

Он не выкручивался, он верил в Россию нэповскую. Может, однако, показаться странным, если не чудовищным, одно обстоятельство: Савинков ни словом единым не порицал „террорную работу“.

А ведь именно в этот — 1925 год — могикине революционного движения, не принадлежащие к правящей партии, доживая век на пенсионном покое, обратились в президиум ЦИК СССР с про-странным заявлением. Кричащий документ, давно обнаруженный нами в архиве, дождался своего часа и должен быть опубликован полностью. Здесь же ограничимся выдержкой:

„Если расстрелы без суда, всегда несправедливые и страшные, возможны в исключительные моменты государственной жизни, когда открытая война, внешняя или внутренняя, уничтожает границы между нормальным государственным строем и полем битвы, то разве такое время мы теперь переживаем?“ И далее: „Дело в том, что смертная казнь и административная форма ее применения вошли в нравы управляющих. Дело в том, что этот упрощенный и легкий способ управления сделался своего рода нормой, пропитал сверху донизу наш новый *бюрократический аппарат*, и обесценил человеческую жизнь, как в представлении управляющих, так и в сознании управляемых.“

Ни звука об этом не проронил Савинков. Странно, чудовищно? Разумеется, если не брать на заметку то, что Савинков по сути своей как был, так и оставался террористом. В упомянутых письмах он говорил, что встретил на Лубянке „не палачей и уголовных преступников“, а „убежденных и честных революционеров, тех, к которым я привык с моих юных лет“. И еще: „Они напоминают мне мою молодость — такого типа были мои товарищи по Боевой Организации.“

Савинков забыл, что в дорожном мешке истории немало злое-щих сарказмов.

Сын Савинкова, Виктор, носил фамилию матери. Его мать, жена Савинкова, была дочерью писателя Глеба Успенского, великого мученика совести.

Виктор Успенский приезжал из Ленинграда на свидания с отцом. Савинков однажды сказал: услышишь, что я наложил на себя руки, — не верь.

В мае 1925 года он ходатайствовал об освобождении вчистую. Савинкову дали понять, что надежда слабенькая. Мавр, сделавший свое дело, вероятно, осознал, сколь жестоко он обманут. Нам неизвестно, получил ли Савинков ответ на свое ходатайство. Известно другое: в мае 1925 года газеты сообщили о его самоубийстве.

Варлам Шаламов, многолетний колымский каторжанин, поэт и прозаик, известный ныне всему читающему миру, рассказывал: Савинкова сбросили в пролет тюремной лестницы. Так, умирая, исповедуясь, шепнул Шаламову лагерный доходяга, бывший латышский стрелок.

И это савинковское „не верь“, и этот рассказ В.Т.Шаламова передаем со слов здравствующей внучки Германа Лопатина, выдающегося демократа отдельно взятой страны, не имеющей демократических традиций.

А Виктор Успенский, добрый знакомый Е.Б.Лопатиной, погиб в кровавом потоке. В том потоке, что захлестнул многострадальный город после „террорной работы“ в Смольном.

Зловещие сарказмы истории не выдумка историков.

Юрий Давыдов

ПРЕДИСЛОВИЕ

К изданию „Воспоминаний террориста“ 1928 года

Воспоминания Савинкова... Воспоминания человека, который от марксизма перебрался к „традициям“ „Народной Воли“, притом в его узком понимании этой партии, как воплощения идеи террористической борьбы. Благодаря такому пониманию стал социалистом-революционером, причем, будучи членом этой партии, признавал только боевую организацию, только боевые действия... А затем, с этого чалого коня перешел на „белого“, затем на „вороного“, чтобы в конце своего жизненного пути вновь ударить себя в грудь и публично заявить: „Я ошибался“.

Ошибался ли он? Личная ли это ошибка или неизбежное историчное шатание из стороны в сторону представителя мелкобуржуазной среды, того класса, который обречен на гибель в великой борьбе труда с капиталом и в поисках спасения мечущегося и перекидывающегося то на сторону труда, то на сторону капитала?

Савинков типичен для этой среды. На мрачном фоне самодержавно-феодалного строя, он, если не объективно, то субъективно — революционер, но „революционер“ особенный, „революционер“, просмотревший первые громы революции, не понимавший движения масс, не веривший в массы, противопоставлявший единичный террор движению масс, видевший возможность победы только путем террора, возводивший террор в принцип и ради осуществления террористического акта готовый поступиться всем — и партией, и ее программой, и даже тем, что считал своим „святая святых“, — патриотизмом.

Весьма характерен следующий маленький отрывок из воспоминаний.

Член финской партии Активного Сопротивления журналист Жонни Циллиакус сообщил центральному комитету (партии с.-р.), „что через него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров (!!) в размере миллиона франков, причем американцы ставят условием, чтобы деньги эти, во-первых,

пошли на вооружение народа и, во-вторых, были распределены между всеми революционными партиями без различия программ”.

К этому сообщению в выноске Савинков добавляет: „Впоследствии в „Новом Времени“ появилось известие, что пожертвование это было сделано не американцами, а японским правительством. Жонни Циллиакус опровергал это, и центральный комитет не имел оснований отнестись с недоверием к его словам“. И только... Сам Савинков, с пеной у рта кликушествовавший вместе со своими соратниками о „германских деньгах“, причем весь этот навет был сознательно ими сочинен, по поводу этого миллиона франков даже не побеспокоился проверить, чем, в самом деле, обусловлена эта щедрость американцев, ныне, как известно, отпускающих миллионы на поддержку не русского народа, а Романовых.

Это лишь один, но очень характерный штрих... „Все для террора“ — вот Савинковское знамя первого периода его деятельности. Все на благо, что на потребу боевой организации. Максималисты и анархисты — раз они „за бомбу“ — желанные члены этой организации. С программой партии можно не соглашаться, идейно можно расходиться, достаточно признавать бомбу — вот идеология Савинковых.

И неудивительно, что, когда грянули громы первой революции, когда в бой двинулись массы, Савинковы должны были оказаться не у дел; их не менее, чем тех, против которых они боролись, запугало это выступление масс, и они, отвергнутые историей, не понимая грандиозности происшедшего сдвига, предались „самоанализу“, перебросились на ту сторону баррикад, скатываясь по наклонной плоскости все глубже и глубже в грязную пропасть белогвардейщины.

Печатаемые ныне „Воспоминания“ Савинкова относятся к первому „героическому“ периоду его деятельности. Но они написаны значительно позже, уже тогда, когда Савинков окончательно перешел в стан „ликующих, праздно болтающих, обгадряющих руки в крови“. При чтении его „Воспоминаний“ это необходимо иметь в виду и ко многим его характеристикам относиться критически. Во многих случаях Савинков наделяет описываемых им лиц своими личными чертами.

О *Каляеве* он говорит: „К террору он пришел своим особенным, оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву“. (Подчеркнуто мною — Ф.К.) Он не отрицал, конечно, значения мирной работы и с интересом следил за ее развитием, но террор он ставил во главу угла революции. С.-р. без бомбы уже не с.-р.“

Перейдем к другим. *Дора Бриллиант*. „Террор для нее, как и для

Каляева, окрашивался прежде всего той жертвой, которую приносит террорист. Вопросы программы ее не интересовали. Террор для нее олицетворял революцию и весь мир был замкнут в боевой организации“.

Егор Сазонов.* *„Для него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом“.*

Сазонова наделять личными чертами Савинкова труднее. Ему нельзя, как Доре Бриллиант, вложить в уста слова: *„Я должен умереть“*. Поэтому Савинков признает: *„Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, Сазонов не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему „не убий“.* Но хотя эти вопросы и бледнели, но не для Савинкова.

— Скажите, — спрашивает он Сазонова, — как вы думаете, что будем мы чувствовать после... после убийства?

— Гордость и радость, — не задумываясь ответил Сазонов.

— Только?

— Конечно, только.

Савинков на этом успокоиться не может и добавляет:

„Сазонов впоследствии мне написал с каторги: „Сознание греха никогда не покидало меня“.

Уже в этом отрывке „достоевщина“, присущая Савинкову, четко выступает наружу. Но это цветочки, а вот и ягодки. *„В момент убийства великого князя Сергея Дора (Бриллиант) наклонилась ко мне и, не в силах более удерживать слезы, зарыдала. Все ее тело сотрясали глухие рыдания. Я старался ее успокоить, но она плакала еще громче и повторяла: Это мы его убили... Я его убила... Я...“*

— Кого? — переспросил я, думая, что она говорит о Каляеве.

— Великого князя...

А вот Леонтьева. *„Она, — сообщает Савинков, — участвовала в терроре с тем чувством, которое жило в Сазонове, — с радостным сознанием большой и светлой жертвы“.*

Еще характернее в освещении Савинкова Беневская, верующая христианка, ради спасения души признававшая террор.

Таких характеристик у Савинкова многое множество. И, конечно, они не верны. Савинков, кого может, наделяет своими чертами периода своего упадка. Кого может. Но может не всех. Савинковских черт не приписать сормовскому рабочему Назарову, который на все вопросы Савинкова заявил: *„По-моему, нужно бомбой их всех. Нету правды на свете. Вот во время восстаний сколько народу убили, дети по миру бродят... Неужели еще терпеть? Ну, и терпи, если хочешь, а я не могу“...*

*В других источниках — Сазонов. — Ред.

Назаровы могут ошибаться, но, даже идя по ложному пути, они ничего общего с савинковщиной не имеют, им ее не привить.

Но, приписывая свои черты определенным лицам и этим греша против этих лиц, Савинков в своих „Воспоминаниях“ верно отражает черты мечущейся из стороны в сторону мелкобуржуазной среды. „С.-р. без бомбы уже не с.-р.“ А начавшаяся массовая революция отменила единичный террор. Савинковы очутились на мели. Они революции без бомб не признавали. „Неожиданное выступление петербургских рабочих со священником во главе действительно давало иллюзию (!!) начавшейся революции“. Для них это была иллюзия. Только иллюзия. Почему? „Я плохо верил, — говорит Савинков, — в революционный подъем рабочих масс“.

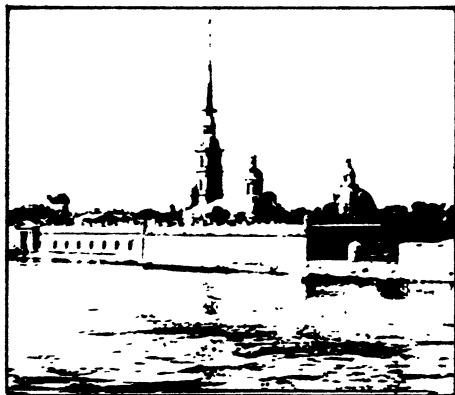
„Плохо верил“... А когда двенадцать лет спустя рабочие массы заставили его „хорошо поверить“, он направил свое оружие против них, чтобы стать таковой, брал от западно-европейских демократов деньги на убийство Ленина...

Савинков посвятил свои „Воспоминания“ первому эсэровскому периоду своей деятельности. С ними стоит познакомиться, их следует читать. Они освещают, помимо воли автора, тот период, когда партия с.-р. еще не была той „ручной“ партией, за спиной которой в момент революционного выступления масс пряталась вся черная реакция, но когда, несмотря на героизм отдельных лиц, все данные для того, чтобы стать таковой, уже были налицо. И не потому, что субъективно тот или другой член партии с.-р. собирался изменить рабочим массам, а по своей мелкобуржуазной сущности. „Рожденный ползать летать не может“. Партия, не стоящая на почве революционного марксизма, партия, не сознающая исторической миссии пролетариата и потому не верящая в его революционность, могла героически бороться с самодержавием, как врагом среды, интересы которой она защищала. Но в момент революции, когда со стороны пролетариата этой мелкобуржуазной среде грозила опасность, она должна была выявить свой подлинный облик. Истинные революционеры в лице М.А.Натансона, Устинова и других отшатнулись от нее и примкнули к коммунистическому движению, а партия с.-р. пошла к Колчакам, Деникиным, Юденичам.

С.-р. отшатнулись от Савинкова. Напрасно. Он лишь откровеннее и прямолинейнее. Но он с.-р., до мозга костей с.-р. Таким он выступает и в своих „Воспоминаниях“, и это придает цену этим „Воспоминаниям“.

Феликс Кон

ВОСПОМИНАНИЯ ТЕРРОРИСТА



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
УБИЙСТВО ПЛЕВЕ

I

В НАЧАЛЕ 1902 года я был административным порядком сослан в г. Вологду по делу с.-петербургских социал-демократических групп „Социалист“ и „Рабочее Знамя“. Социал-демократическая программа меня давно уже не удовлетворяла. Мне казалось, что она не отвечает условиям русской жизни: оставляет аграрный вопрос открытым. Кроме того, в вопросе террористической борьбы я склонялся к традициям „Народной Воли“.

В Вологду дважды — осенью 1902 г. и весной 1903 г. — приезжала Е.К.Брешковская. После свиданий с нею я примкнул к партии социалистов-революционеров, а после ареста Г.А.Гершуни (май 1903 г.) решил принять участие в терроре. К этому же решению, одновременно со мною, пришли двое моих товарищей, а также близкий мне с детства Иван Платонович Каляев, отбывавший тогда полицейский надзор в Ярославле.

В июне 1903 г. я бежал за границу. Я приехал в Архангельск и, оставив свой чемодан на вокзале, явился по данному мне в Вологде адресу. Я надеялся получить подробные указания, как и на каком пароходе можно уехать в Норвегию. Из разговора выяснилось, что в тот же день через час отходит из Архангельска в норвежский порт Вардэ мурманский пароход „Император Николай I“. У меня не было времени возвращаться на вокзал за вещами, и я, как был, без паспорта и вещей, незаметно прошел в каюту второго класса.

На пятые сутки пароход входил в Варангер-фиорд. Я подошел к младшему штурману.

— Я еду в Печеньгу (последнее перед норвежской границей русское становище), но мне хотелось бы побывать в Вардэ. Можно это устроить?

Штурман внимательно посмотрел на меня.

— Вы что же, по рыбной части?

— По рыбной.

— Что же, конечно, можно. Почему же нельзя?

— У меня паспорта заграничного нет.

— Зачем вам паспорт? Сойдите на берег, переночуйте у нас, и на рассвете обратным рейсом в Печеньгу. Только билет купите.

На следующий день показались маяки Вардэ. На пароход поднялись чиновники норвежской таможни. Я сошел в шлюпку и через четверть часа был уже на территории Норвегии. Из Вардэ, через Тронтгейм, Христианию и Антверпен я приехал в Женеву.

В Женеве я познакомился с Михаилом Рафаиловичем Гоцем. Невысокого роста, худощавый, с черной вьющейся бородой и бледным лицом, он останавливал на себе внимание своими юношескими, горячими и живыми глазами. Увидев меня, он сказал:

— Вы хотите принять участие в терроре?

— Да.

— Только в терроре?

— Да.

— Почему же не в общей работе?

Я сказал, что террору придаю решающее значение, но что я в полном распоряжении центрального комитета и готов работать в любом из партийных предприятий.

Гоц внимательно слушал. Наконец, он сказал:

— Я еще не могу дать вам ответ. Подождите, — поживите в Женеве.

Тогда же я познакомился с Николаем Ивановичем Блиновым* и Алексеем Дмитриевичем Покотиловым. Я знал, что оба они — бывшие студенты Киевского университета и близкие товарищи С.В.Балмашева, но я не знал, что они члены боевой организации. Покотилова я встречал еще в Петербурге в январе 1901 г. Он приехал в Петербург независимо от П.В.Карповича и даже не подозревая о приезде последнего, но с той же целью — убить Боголепова. В Петербурге он обратился за помощью в комитет группы „Социалист“ и „Рабочее Знамя“. Мы отнеслись к его просьбе с недоверием и в помощи отказали. Убийство министра народного просвещения казалось тогда нам ненужным и едва ли возможным. Покотиллов после отказа не уехал из Петербурга. Он решил своими силами и на свой страх совершить покушение. Случайно Карпович предупредил его.

В августе в Женеву приехал один из товарищей. Он сообщил мне, что Каляев отбывает приговор (месяц тюремного заключения) в Ярославле, и поэтому только поздней осенью выезжает за границу. Товарищ поселился со мною. Чтобы не обратить на себя внимание полиции, мы жили уединенно, в стороне от русской колонии.

*Убит в 1905 г. в Житомире, защищая во время погрома евреев.

Изредка посещала нас Брешковская.

Однажды днем, когда товарища не было дома, к нам в комнату вошел человек лет тридцати трех, очень полный, с широким, равнодушным, точно налитым камнем, лицом, с большими карими глазами. Это был Евгений Филиппович Азеф.

Он протянул мне руку, сел и сказал, лениво роняя слова:

— Мне сказали, — вы хотите работать в терроре? Почему именно в терроре?

Я повторил ему то, что сказал раньше Гоцу. Я сказал также, что считаю убийство Плеве важнейшей задачей момента. Мой собеседник слушал все так же лениво и не отвечал. Наконец, он спросил:

— У вас есть товарищи?

Я назвал Каляева и еще двоих. Я сообщил их подробные биографии и дал характеристику каждого. Азеф выслушал молча и стал прощаться.

Он приходил к нам несколько раз, говорил мало и внимательно слушал. Однажды он сказал:

— Пора ехать в Россию. Уезжайте с товарищем куда-нибудь из Женевы, поживите где-нибудь в маленьком городке и проверьте, — не следят ли за вами.

На следующий день мы уехали в Баден, во Фрейбург. Через две недели нас посетил Азеф и на этот раз впервые сообщил план покушения, не упоминая ни словом о личном составе организации. План состоял в следующем: было известно, что Плеве живет в здании департамента полиции (Фонтанка, 16) и еженедельно ездит с докладом к царю, в Зимний дворец, в Царское Село или в Петергоф, смотря по времени года и по местопребыванию царя. Так как убить Плеве у него на дому, очевидно, было много труднее, чем на улице, то было решено учредить за ним постоянное наблюдение. Наблюдение это имело целью выяснить в точности день и час, маршрут и внешний вид выездов Плеве. По установлении этих данных предполагалось взорвать его карету на улице бомбой. При строгой охране министра для наблюдения необходимы были люди, по роду своих занятий целый день находящиеся на улице, например, газетчики, извозчики, торговцы в разнос и т.п. Было решено поэтому, что один товарищ купит пролетку и лошадь и устроится в Петербурге легковым извозчиком, а другой возьмет патент на продажу в разнос табачных изделий и, продавая на улице папиросы, будет следить за Плеве. Я должен был комбинировать собираемые ими сведения и, по возможности, наблюдая сам, руководить наблюдением.

План этот принадлежал целиком Азефу и был чрезвычайно прост. Но именно своей простотой он давал нам преимущество перед полицией. Уличное наблюдение никогда не применялось революционерами не только в период Гершуни, но и во времена „Народной Воли“, если не считать приготовлений к первому марта 1881 г. Полиция едва ли могла предположить, что члены боевой

организации ездят по Петербургу извозчиками или торгуют в разнос. Между тем, систематическое наблюдение неизбежно приводило к убийству Плева на улице. Кончая со мной разговор, Азеф сказал с убеждением:

— Если не будет провокации, Плева будет убит.

Из Фрейбурга один из товарищей, взяв с собой гремучую ртуть, через Александрово уехал в Россию. У меня не было паспорта, и я должен был получить его в Кракове. Я поехал в Краков через Берлин, и в Берлине встретился снова с Азефом и только что приехавшим из России Каляевым.

Мы сидели втроем на Leipzigstrasse в одном из больших берлинских кафе. Каляев горячо говорил о терроре, о своем непреклонном желании участвовать в деле Плева, о психической невозможности для себя мирной работы. Азеф лениво слушал. Когда Каляев умолк, он равнодушно сказал:

— Нам не нужны сейчас люди. Поезжайте в Женеву. Может быть, мы потом и вызовем вас.

Огорченный Каляев ушел. Я спросил Азефа:

— Он не понравился вам?

Азеф подумал с минуту.

— Нет. Но он странный какой-то... Вы его знаете хорошо?

На улице, сердясь и волнуясь, меня ждал Каляев. Я взял его под руку.

— Что ты, Янек?.. Он не понравился тебе? Да?

Как и Азеф, Каляев ответил не сразу:

— Нет... Но знаешь... Я не понял его, может быть, не пойму никогда.

В начале ноября я был в Петербурге, не зная ни состава организации, ни партийных паролей, ни явок. Я ждал Азефа: он обещал приехать непосредственно вслед за мной.

II

В Петербурге я остановился в Северной гостинице. В тот же день вечером я пошел на явку к раньше уехавшему товарищу. Он должен был ждать меня ежедневно на Садовой, от Невского до Гороховой. Я шел по Садовой, отыскивая в пестрой толпе разносчиков знакомое мне лицо. Чем дальше я шел, тем все менее оставалось надежды на встречу. Я думал уже, что товарища нет в Петербурге, что он либо арестован на границе, либо не сумел устроиться торговцем. Вдруг чей-то голос окликнул меня:

— Барин, купите „Голубку“, пять копеек десяток.

Я оглянулся. В белом фартуке, в полушубке и картузе, небритый, осунувшийся и побледневший, предо мной стоял тот, кого я искал. На плечах у него висел лоток с папиросами, спичками, кошельками и разной мелочью. Я подошел к нему и, выбирая товар, успел шопотом назначить свидание в трактире.

Часа через два мы сидели с ним в грязном трактире, недалеко от Сенной. Он оставил дома лоток, но был в том же полушубке и картузе. Разговаривая с ним, я долго не мог привыкнуть к этой новой для меня его одежде.

Он рассказал мне, что другой товарищ уже извозчик, что они оба следят за домом министра и что однажды им удалось увидеть его карету. Он тут же описал мне внешний вид выезда Плеве: вороные кони, кучер с медалями на груди, ливрейный лакей на козлах и сзади — охрана: двое сыщиков на вороном рысаке. Товарищ был доволен удачей, но жаловался на трудности своего положения.

— Стою я у Цепного моста, — рассказывал он мне, — жду. Вижу, городской тарашит глаза. Я шапку снял, поклонился низко и говорю: ваше, говорю, благородие, дозволейте спросить, кто в этих хоромах живет, уж не сам ли, говорю, царь, очень уж много начальства всякого при дверях? Посмотрел на меня городской сверху, усмехнулся. — Дурак, говорит, деревня... Что ты можешь, говорит, понимать? Это министр тут живет. — Министр? — говорю, — это, значит, который генерал главный? — Дурак, министр и значит министр... Понял? — Так точно, говорю, понял. Что же, говорю, очень богатый, значит, министр? Тысяч, чай, сотню в год получает? Опять улыбнулся городской, говорит: — Дурак... эка сказал: сто тысяч... подымай выше, — миллион... А тут гляжу, как раз зашевелились шпики, подают карету к подъезду, значит, Плеве поедет. Городской говорит: — Ну, ну, проваливай, говорит, сукин сын, нечего здесь болтаться... Я за мост зашел, стою, будто бы лоток поправляю, а между тем смотрю: Плеве едет... А то еще случай был: конный городской как-то меня заметил. — Ты, говорит, что тут делаешь, сукин сын?.. Пошел вон, говорит. — Простите, говорю, ваше благородие, так что здесь очень весело торговля идет... Ка-ак он закричит: — Разговаривать!.. Дворник!.. В участок его веди!.. Подскочил тут дворник с поста: идем, говорит... Пошли. За угол завернулись, я вынул целковый и говорю: возьмите, будьте добры, господин дворник, в знак уважения, и отпустите меня, Христа ради, я человек, говорю, маленький, долго ль меня обидеть?.. Дворник глянул на рубль, потом на меня. Рубль взял и говорит: ну, иди, сукин сын, да смотри: будешь еще в участке...

Он рассказал мне еще, что положение табачника затрудняется не только преследованием полиции, но и конкуренцией других торговцев. Места на улице все откуплены, и приходится спорить с теми, кто издавна занимает их. Кроме того, торговец в разнос не имеет права останавливаться на мостовой: по полицейским правилам, он обязан беспрерывно находиться в движении. Он говорил, что наблюдать извозчику удобнее и легче. Он ссылаясь на пример другого товарища, который почти не встречал препятствий в своей езде по городу. Я повидался с последним и убедился, что у извозчика есть зато другая существенная помеха: у него была большая лошадь, и из трех дней два он не мог выезжать. Кроме того, ему

постоянно приходилось возить седоков. Его наблюдение, поэтому, не давало почти никаких результатов.

Наступил декабрь, а от Азефа не было никаких известий. Впоследствии выяснилось, что его задержали за границей дела по динамитной технике, письма же его ко мне не доходили по неточности адреса. Один товарищ продолжал следить, как табачник, другой — как извозчик. Я бродил по Фонтанке и набережной Невы, надеясь встретить случайно Плева. Наше общее наблюдение отметило только внешний вид его выезда и однажды маршрут: он ехал по Фонтанке и набережной Невы, по направлению к Дворцовому мосту, но в Зимний дворец или Марининский — выяснить не могли.

Причины отсутствия и молчания Азефа были нам неизвестны. Я решил, поэтому, навести справку. Я вспомнил, что Азеф указал мне в Петербурге известного журналиста Х. К нему я должен был в крайнем случае обратиться за помощью. Х. выслушал меня с удивлением.

— Я давно ничего не знаю об Азефе, — сказал он, — и помочь вам ничем не могу.

Я вернулся домой в нерешительности. Я колебался, продолжать ли мне наблюдение с помощью двух товарищей, сил которых было, очевидно, для него недостаточно, или поехать за границу и посоветоваться о положении дел с Гоцем. Я съездил в Вильно по порученным мне Азефом общепартийным делам и, вернувшись в первой половине декабря в Петербург, остановился в меблированных комнатах „Россия“, на Мойке. Хотя известий от Азефа все еще не было никаких, я все-таки решил ожидать его в Петербурге. Неожиданный случай изменил это мое решение.

Однажды утром дверь моего номера слегка приоткрылась, в щель просунулась голова, затем голова исчезла, и уж после этого ко мне постучались.

— Войдите.

Вошел еврей лет сорока, в потертом сюртуке, грязный, с бегающими глазами. Он протянул мне руку и сказал:

— Здравствуйте, г-н Семашко.

Я с удивлением смотрел на него. Помолчав, он сказал:

— Я виленец: тоже приехал из Вильно.

Я понял, что он мог знать о моем, именно из Вильно, приезде, либо наблюдая за мной по дороге, либо увидев мой паспорт с виленской свежей явкой. Но паспорт мой был в конторе, и показать его швейцар мог только полиции. Я был убежден поэтому, что пред мной шпион.

— Садитесь. Что вам угодно?

Он сел за стол, спиной к окну. Мне оставалось сесть лицом к свету. Он положил голову на руку и, улыбаясь, пристально разглядывал меня. Я повторил свой вопрос.

— Что вам угодно?

В ответ он сказал, что его фамилия Гашкес, что он редактор-из-

датель торговой, промышленной и финансовой газеты, и что он просит меня сотрудничать у него.

Тогда я резко сказал:

— Я не писатель. Я представитель торговой фирмы.

— Что значит вы не писатель? Что значит представитель торговой фирмы? Ну, какой фирмы вы представитель?

Я встал.

— Извините меня, г-н Гашкес, я ничем полезен вам быть не могу.

Он вышел; вслед за ним вышел и я.

На улице, у витрины ювелирного магазина, стоял Гашкес и рассматривал со вниманием ювелирный товар. Поодаль два молодца в высоких сапогах и каракулевых шапках также внимательно разглядывали в окне дамские платья.

Я повернул направо, на Гашкеса. Он отделился от магазина и, улыбаясь, пошел за мной. Я взял извозчика. Он немедленно сел на другого. Я понял, что меня арестуют.

Более трех часов я бродил по Петербургу, с извозчика на извозчика, с конки на конку.

Под вечер я очутился далеко за Невской заставой среди огородов и пустырей. Кругом не было ни души. Я решил сообщить товарищам о происшедшем и не возвращаться более к себе в номера. Я решил также не ожидать больше Азефа: паспорт Семашки был, очевидно, известен полиции, другого у меня не было, жить же без паспорта неопределенное время было трудно. Я пошел на Садовую и на ходу сказал товарищу, что за мной следят. С вечерним поездом я выехал в Киев.

Я поехал в Киев, потому что только в Киеве надеялся найти партийных людей и получить возможность выехать за границу. Через одного личного приятеля я разыскал в Киеве представителя ЦК. Тот устроил меня на той же конспиративной квартире, на которой ночевал и сам. В первый же вечер туда пришел один рабочий, нелегальный. По целым дням он молчал, не принимая никакого участия ни в каких разговорах. Позднее, и не от него, я узнал, что он участвовал в одном крупном провинциальном террористическом акте, был ранен, обливаясь кровью, успел дотащиться до своей квартиры. Он тоже ехал теперь за границу. Мы решили с ним ехать вместе.

В начале января мы выехали из Киева в Сувалки. В Сувалках у нашего нового товарища была знакомая еврейка, с помощью которой можно было без паспорта перейти границу. Увидев нас, она немедленно привела фактора, и мы, заплатив ему каждый по 13 руб., в тот же вечер тряслись на еврейской балагуле по направлению к немецкой границе. Переночевав на указанной фактором мельнице, мы на следующую ночь, в сопровождении солдата пограничной стражи, уже переправлялись в Германию. Партия эмигрантов, кроме нас двоих, состояла сплошь из евреев, уезжавших

вместе с женами и детьми в Америку. Была морозная лунная ночь, под ногами хрустел снег. Наш проводник, солдат, ушел вперед, приказав нам ждать его условного свиста. С четверть часа мы сидели в снегу. Направо и налево мерцали огни кордонов. Наконец, вдали раздался слабый протяжный свист. Евреи вскочили и, как потревоженное стадо, толкая друг друга и падая в снег, побежали по залитой лунным светом дороге. На утро мы ехали в немецких санях по немецкой земле, а через несколько дней были уже в Женеве.

В Женеве я явился к Чернову.

Я сказал ему, что меня удивляет отсутствие Азефа в Петербурге; что, предоставленные собственным силам, мы, очевидно, не можем подготовить покушение на Плеве, что я предпочел бы работать самостоятельно, хотя бы и в менее крупном деле, например, в деле киевского ген[ерал]–губ[ернатора] Клейгельса. Чернов сказал мне, что Азеф уже выехал в Россию, и что он не может дать мне ответа, а советует обратиться к Гоцу, который находится теперь в Ницце. В тот же вечер я выехал в Ниццу. Гоц, хотя и очень большой, был еще на ногах. Он со вниманием выслушал меня и, когда я кончил, сказал:

— Валентин Кузьмич (партийный псевдоним Азефа) не мог выехать раньше, потому что его задержали работы по динамитной технике. Письма до вас не дошли отчасти по вашей вине: вы дали неточный адрес. Я вам советую: поезжайте сейчас же обратно и найдите его.

Я сказал, что не могу ехать на тех же условиях, на каких ехал раньше, что со мной связаны два работавших в Петербурге товарища, из которых один никого, кроме меня, из партийных людей не знает, что я могу опять не встретиться с Азефом, и тогда мое положение без денег, паролей и явок будет не лучше того, в каком я оказался в Петербурге.

Гоц выслушал меня, не прерывая. Потом сказал:

— Я вам дам адреса, пароли и явки. Если вы не встретите Азефа, вы будете все-таки в силах продолжать начатое дело. Но поезжайте сейчас же, сегодня же обратно в Россию.

Я узнал тогда впервые от Гоца, что Блинов не поехал в Россию и что, кроме меня и двух моих товарищей, боевая организация состоит еще из Покотилова и бывших студентов Московского университета: Максимилиана Ильича Швейцера и Егора Сергеевича Сазонова. Швейцер, по партийной кличке „Павел“, впоследствии „Леопольд“, и Покотилон („Алексей“), с динамитом и гремучей ртутью, ожидали приезда Азефа, один в Риге, другой — в Москве. Сазонов („Авель“) жил в Твери, изучая извозное ремесло: он должен был стать в Петербурге извозчиком. Ни Швейцера, ни Сазонова я лично не знал, но мне и тогда уже было ясно, что с такими небольшими силами невозможно выследить и убить Плеве, тем более, что Швейцер и Покотилон не предназначались для наблюдения. Я сказал об этом Гоцу и предложил взять с собой в Россию

Каляева и приехавшего со мной рабочего. Гоц подумал минуту:

— Каляева я знаю, — сказал он, — он будет хороший работник. Пусть едет с вами... Другой нам неизвестен: пусть подождет. Мы присмотримся в Женеве к нему, а вы вызовете его, если будет нужно.

Вернувшись в Женеву, я сказал Каляеву, что он едет со мной. Каляев обрадовался чрезвычайно. Он немедленно стал собираться в дорогу, и в тот же день мы выехали в Берлин. У Каляева был русский (еврейский) паспорт, у меня — английский. В Берлине нужно было визировать его у русского консула.

Всю дорогу до Берлина Каляев был радостно оживлен. Не спрашивая меня о положении дел, он подробно говорил о своих планах, о том, как, по его мнению, удобнее и легче убить Плеве. Я сказал ему, в разговоре, что ему, вероятно, придется торговать на улице в разнос. Он рассмеялся:

— Что ж ты думаешь, из меня выйдет плохой табачник?

Я посмотрел на его бледное интеллигентное лицо с тонкими чертами, на его скорбные, большие глаза, на худые, нерабочие руки и промолчал. Я не мог знать тогда, что ему не будет соперников в трудной роли уличного торговца.

В Берлине я распрощался с ним. Он поехал через Эйдкунен; я — на Александрово. Мы встретились с ним в Москве.

III

В Москве несколько дней прошло в ожидании Азефа. Каляев и я жили в разных гостиницах и встречались изредка и только по вечерам.

В конце января в Москву приехал Азеф. Увидев меня, он сказал:

— Как вы смели уехать из Петербурга?

Я отвечал, что уехал потому, что не было от него известий, и еще потому, что мой паспорт был установлен полицией.

Он нахмурился и сказал:

— Вы все-таки не имели права уехать.

— А вы имели право, сказав, что приедете через три дня, оставаться за границей месяц и больше?

Он молчал!

— Я был занят за границей делами.

— Мне все равно чем, но вы нас бросили в Петербурге.

Он молчал еще.

— Ваша обязанность была ждать меня и следить за Плеве. Вы следили?

Я рассказал ему то, что мы узнали о Плеве.

— Это очень немного. Извольте ехать назад в Петербург.

Я ответил, что для этого только я из-за границы и приехал. Я сказал также, что вместе со мной приехал Каляев, и что еще один товарищ, рабочий, ожидает в Женеве.

Было решено, что Каляев разыщет двух товарищей, прежде работавших со мной в Петербурге, и оба они станут там извозчиками. Мне Азеф поручил увидеться с Покотиловым, который жил тоже в Москве, и со Швейцера, ожидавшим распоряжений в Риге. Решено было также вызвать нового товарища из Женевы, по условию с ним, в Нижний Новгород. После свидания со мной Азеф уехал по общепартийным делам, а я остался в Москве.

Покотилов жил в гостинице „Париж“, на Тверской. Я вызвал его письмом, с просьбой вечером приехать в загородный ресторан „Яр“. В „Яре“ я с трудом узнал его. Вместо типичного женевского эмигранта, я увидел богатого русского барина с бледным лицом и длинной кудрявой золотистой бородой.

Даже экземы, которою он страдал, не было видно. В этот вечер он рассказал мне свою биографию.

— Знаете, я хотел убить Боголепова, Карпович предупредил меня... Потом — Балмашев... Я сказал, что я больше ждать не могу, что первое покушение — мне. Приезжал в Полтаву Гершуни. Было решено: Оболенского я убью. Я и готовился к этому... Вдруг узнаю, что не я, а Качура... Качура — рабочий, ему отдали предпочтение. Он стрелял, а не я... Вот теперь Плева. Я не уступаю никому. Первая бомба — мне. Я ждал слишком долго. Я имею на это право.

Он волновался, и на лбу у него от волнения выступали мелкие капли крови: экзема. Он пил вино, но не пьянел и волновался все больше:

— Я совершенно верю в успех. Вы ведь знаете Валентина Кузьмича? Плева будет убит. Только трудно ждать. Сколько времени я уже в Москве, хрюню динамит. Невозможно так жить, в ожидании. Я не могу.

В ответ на это я передал ему приказание Азефа ехать с динамитом в прибалтийский курорт Зегевольд и там ждать дальнейших распоряжений.

На другой день он уехал. Уехал и я, — в Ригу, отыскивать Швейцера. В Ригу должен был приехать и Каляев, — сообщить о результатах своей поездки. Швейцера в Риге уже не было. Каляев же рассказал, что оба товарища им разысканы и согласны, но что, по его мнению, только один Иосиф Мацеевский действительно хочет работать. Игнатий Мацеевский колеблется и согласился только под влиянием Иосифа. Его наблюдение было верно: Игнатий М. не принял участия в деле Плева, Иосиф М. же немедленно после свидания с Каляевым приехал в Петербург и устроился извозчиком.

В начале февраля я вернулся в Петербург. Азеф сообщил мне, что Швейцера и Сазонов находятся тоже в Петербурге, что товарищ Мацеевский уже знаком с последним, и что на днях и я познакомлюсь с товарищами.

Он предложил мне для этой цели прийти ночью на маскарад Купеческого клуба.

Азеф назначил мне свидание именно на маскараде, как он говорил, из конспиративных соображений. Он требовал всегда точнейшего исполнения всех правил боевой конспирации. Он требовал, чтобы свидания бывали возможно реже и не на частных квартирах, а на улице или в публичных местах: в трактирах, в банях, в театре; чтобы при свиданиях этих принимались все меры предосторожности; чтобы у членов организации не было переписки и сношений с их семьями и друзьями; чтобы образ жизни их и одежда не возбуждали ни в ком подозрения. Очень смелый в своих планах, он был чрезвычайно осторожен в их выполнении.

В назначенный день я был на маскараде. Я видел, как Азеф вошел в зал и поздоровался с невысоким, крепким, изящно одетым молодым человеком, лет двадцати пяти. У молодого человека были сбриты усы, и по внешнему виду он напоминал иностранца. Это был Швейцер, живший по английскому паспорту.

Швейцер сразу, с первых же слов, производил впечатление спокойной и уравновешенной силы. В нем не чувствовалось того восторженного подъема, который был так ярко заметен в Покотилове и Каляеве, но он своей манерой говорить и молчать, неторопливостью своих мнений и своим медлительным спокойствием невольно внушал к себе доверие. В эту первую мою с ним встречу он говорил очень мало и только по делу.

Через несколько дней я впервые увидел Сазонова. Было условлено, что Иосиф Мацеевский и Сазонов, оба извозчики, будут ждать меня на углу Большого проспекта и 6-й линии Васильевского острова, причем для того, чтобы я мог узнать Сазонова, последний станет непосредственно за пролеткой Иосифа Мацеевского. Еще издали я увидел на козлах Иосифа. У него была щегольская пролетка, сытая лошадь, новая упряжь. Сам он, с завитыми усами и с шапкой набекрень, был очень похож на петербургского щеголя-лихача. Сзади него стоял обыкновенный захудалый Ванька. У этого Ваньки было румяное, веселое лицо и карие, живые и смелые глаза. Его посадка на козлах, грязноватый синий халат и рваная шапка были настолько обычны, что я колебался, не вышло ли случайной ошибки, и действительно ли этот крестьянин — тот „Авель“, о котором я слышал от Азефа. Но Иосиф едва заметно улыбнулся мне и кивнул головой. Румяный извозчик смотрел на меня во все глаза и тоже слегка улыбался. Я подошел к нему и сказал условный пароль:

— Извозчик, на Знаменку.

— Такой улицы, барин, нет. Эта улица, барин, в Москве, — ответил Сазонов, смеясь одними глазами. Мы поехали в Галерную гавань. Лошаденка еле плелась, Сазонов постоянно оборачивался с козел ко мне и весело и легко рассказывал о своей жизни извозчика. От его молодого лица и веселых спокойных слов становилось спокойно и весело на душе. Когда я расстался с ним и за углом

скрылась его пролетка, мне захотелось снова увидеть эти смеющиеся глаза и услышать этот уверенный и веселый голос.

Азеф вскоре уехал по своим, как он говорил, общепартийным делам. Покотилов жил в Зегевольде, Каляев ждал в Нижнем товарища, который должен был приехать из Женевы, — Давида Боришанского („Абрам“). Швейцер хранил динамит в Либаве. В Петербурге остались Сазонов, Мацевский и я. Этих сил для наблюдения было мало, так же мало, как в ноябре, когда мы ждали Азефа в Петербурге. Тем не менее, в феврале и в начале марта Мацевскому и Сазонову еще несколько раз удалось видеть Плеве, а главное, удалось установить, что он, действительно, еженедельно к 12 часам дня ездит с докладом к царю, жившему тогда в Зимнем дворце. Мне казалось, что наблюдение с такими небольшими силами и не может дать в будущем результатов, сколько-нибудь значительных. Поэтому, когда Азеф приехал в Петербург, я настойчиво стал предлагать ему немедленно приступить к покушению. Азеф возражал мне, что сведений собрано слишком мало, что маршрут Плеве в точности неизвестен, и что, поэтому, легко ошибиться. Я настаивал, указывая на возможность устроить покушение на Фонтанке, у самого дома Плеве, чем устранялись и риск ошибки, и необходимость выяснения маршрута. Но Азеф не соглашался со мною, — ему казалось такое выступление опасным: у дома Плеве была наиболее многочисленная охрана. А при неудаче дело, в лучшем случае, откладывалось на долгое время.

Тогда я предложил Азефу узнать мнение Сазонова и Мацевского. На двух извозчиках: я в пролетке Мацевского и Азеф в пролетке Сазонова, — мы поехали далеко за город и в поле устроили совещание. Мацевский настаивал на немедленном покушении. Он говорил, что раз выезд известен, то нечего больше ждать, либо никогда мы не узнаем более того, что нам известно теперь. Выяснение же маршрута необязательно, раз возможно устроить покушение у самых ворот дома Плеве.

Сазонов высказывался гораздо осторожнее. Он говорил, что не знает Плеве в лицо, что может ошибиться каретой. Он дал свое согласие только тогда, когда Мацевский предложил быть сигнальщиком и указать ему карету Плеве.

Азеф, по обыкновению, слушал молча. Когда мы кончили говорить, он медленно и, как всегда, как будто бы нехотя, стал возражать. Он приглашал к терпению и осторожности и опять указывал, что неудача может погубить дело. В ответ на его слова я настаивал еще резче. Меня поддержал на этот раз, кроме Мацевского, еще и Сазонов. Наконец, Азеф, подумав, сказал:

— Хорошо, если вы этого так хотите, попробуем счастья.

Азеф снова уехал из Петербурга. Я съездил в Либаву к Швейцеру и в Нижний к Каляеву. К 18 марта все, в том числе приехавший из Женевы Д.Боришанский, собрались в Петербурге. Только Азеф остался по партийным делам в провинции.

IV

План покушения состоял в следующем. Около 12 часов дня по четвергам Плевне выезжал из своего дома и ехал по набережной Фонтанки к Неве и по набережной Невы к Зимнему дворцу. Возвращался он или той же дорогой, или по Пантелеймоновской мимо вторых ворот департамента полиции, к главному подъезду, что на Фонтанке. Предполагалось ждать его на пути. Покотилов с двумя бомбами должен был сделать первое нападение. Он должен был встретить Плевне на набережной Фонтанки около дома Штигилица. Боришанский, тоже с двумя бомбами, занимал место ближе к Неве, у Рыбного переуллка. Сазонов с бомбой под фартуком пролетки становился у подъезда департамента полиции лицом к Неве. Также лицом к Неве, с другой стороны подъезда, ближе к Пантелеймоновской, стоял Мацевевский. Он должен был снять шапку при приближении кареты Плевне и этим подать знак Сазонову. Наконец, на Цепном мосту, имея в поле зрения всю Пантелеймоновскую, находился Каляев, на виду как Покотилова, так и Сазонова. Его обязанность была дать им знак в случае, если Плевне вернется через Литейный проспект.

Диспозиция была неудачна. Помимо того, что действие происходило у самых ворот дома Плевне, где, кроме конных и пеших городских, было везде на улице, на углах, на Цепном мосту — много агентов охраны, внимание Покотилова разбивалось между ожидаемой каретой Плевне и Каляевым, Сазонова — между Плевне, Каляевым и Мацевевским. Кроме того, в действие вводилось, а следовательно, и подвергалось риску, двое безоружных непосредственно для покушения ненужных людей, Каляев и Мацевевский. Недостатки диспозиции необходимо вытекали из недостаточности наблюдения. Незнание маршрута, — возможность проезда Плевне по Литейному и Пантелеймоновской, — заставило поставить на Цепном мосту Каляева, недостаточное же знакомство Сазонова с каретой министра заставило ввести в дело Мацевевского. Именно эти неудобства и предвидел Азеф, не соглашаясь на преждевременное, по его мнению, покушение.

16-го я имел свидание для последних переговоров с Покотилковым и Швейером. Свидание состоялось на кладбище Александровской лавры, у могилы Чайковского. Швейцер холодно и спокойно обсуждал мельчайшие детали нашего плана. Ему предстояла трудная задача — за ночь он должен был приготовить пять бомб и на утро раздать их метальщикам. Покотилов, как всегда, волновался. Он горячо говорил, что уверен в удаче, как уверен и в том, что именно ему, а не Боришанскому и Сазонову, выпадет честь убить Плевне. Он настаивал также, чтобы Боришанский в случае, если ему придется бросать первую бомбу, бежал не в переулок, а на него, Покотилова. Он говорил, что своими бомбами он сумеет защитить и его, и себя. Во время нашего разговора, на кладбище,

на соседней дорожке неожиданно показался пристав с нарядом городских. Между могильных крестов замелькали погоны и сабли. В ту же минуту Покотиллов вынул револьвер и быстро, большими шагами пошел навстречу полиции. Швейцера спокойно ждал у могилы, засунув руку в карман, где лежал его револьвер. Я с трудом догнал Покотилова. Он обернулся ко мне и шепнул:

— Уходите с Павлом, я удержу их на несколько минут.

Городовые приближались по боковой аллее. Я схватил Покотилова за руку.

— Что вы делаете? Спрячьте револьвер.

Он хотел мне что-то ответить, но в это время полицейские повернули на другую дорожку и стали скрываться из виду. Очевидно, тревога была не для нас.

Ночь с 17 на 18 марта я провел с Покотилловым. Мы сидели с ним в театре „Варьете“ до рассвета и на рассвете пошли гулять на острова, в парк. Он шел, волнуясь, с каплями крови на лбу, бледный, с лихорадочно расширенными зрачками. Он говорил:

— Я верю в террор. Для меня вся революция в терроре. Нас мало сейчас. Вы увидите: будет много. Вот завтра, может быть, не будет меня. Я счастлив этим, я горд: завтра Плеве будет убит.

Утром, в 8 часов, я простился с ним, чтобы через два часа встретиться снова. В 10 часов, на 16-й линии Васильевского острова, Швейцера должен был передать снаряды метальщикам. Он должен был подъехать к условленному заранее дому в пролетке Сазонова. Покотиллов должен был сесть в пролетку и ехать до Тучкова моста, где, взяв свою бомбу, выйти и уступить место ожидавшему на Тучковом мосту Боришанскому; тот, взяв свою бомбу, должен был выйти вместе со Швейцерам, который оставлял в пролетке последний снаряд — для Сазонова. Боришанский, невозмутимый, как всегда, не выражал ни одобрения, ни осуждения нашему плану. Он молча выслушал все подробности диспозиции и аккуратно в назначенный час явился на Тучков мост.

Я видел, как Швейцера подъехал к Покотиллову, и как Покотиллов сел в пролетку Сазонова. Я пошел отыскивать Каляева. Каляев был огорчен.

— Мне не досталось снаряда. Почему Боришанский, а не я?

Я успокаивал его, говоря, что троих метальщиков довольно, что Боришанский с таким же правом мог бы сказать те же слова, если бы не у него, а у Каляева была в руках бомба.

— Я не хочу рисковать меньше других, — сказал Каляев.

Я сказал ему в ответ, что риск всегда одинаков и что в случае ареста он будет судиться вместе со всеми и по той же статье закона. Он промолчал.

В двенадцатом часу, я, по условию, прошел в Летний сад и, сев на скамью на дорожке, параллельной Фонтанке, стал ждать. Сазонов, Покотиллов, Боришанский, Иосиф Мацеевский и Каляев каждый занял свое место. Так прошло полчаса в ожидании.

Вдруг раздался удар, будто взорвалось что-то. Я невольно поднялся.

На другой стороне Фонтанки было по-прежнему все тихо. Стреляла полуденная пушка в Петропавловской крепости.

В ту же минуту в воротах сада я увидел Покотилова. Он был бледен и быстро направлялся ко мне. В карманах его шубы ясно обозначались бомбы. Он подошел к моей скамье и тяжело опустился на нее.

— Ничего не вышло: Боришанский убежал.

— Кто убежал?

— Боришанский.

— Не может этого быть.

— Я видел сам: убежал.

Мы вышли с Покотиловым из Летнего сада. На Цепном мосту, прислонившись к перилам, высоко подняв голову и не спуская глаз с Пантелеймоновской улицы, стоял Каляев. Он удивленно посмотрел на Покотилова и на меня, но не двинулся с места.

Я и до сих пор ничем иным не могу объяснить благополучного исхода этого первого нашего покушения, как случайной удачей. Каляев настолько бросался в глаза, настолько напряженная его поза и упорная сосредоточенность всей фигуры выделялась из массы, что для меня непонятно, как агенты охраны, которыми был усеян мост и набережная Фонтанки, не обратили на него внимания. Впоследствии он сам говорил, что стоял в полной уверенности, что его арестуют, что не могут не арестовать человека, в течение часа стоящего против дома Плеве и наблюдающего за его подъездом. Но и думая так, он последний ушел со своего поста, когда Сазонов и Боришанский уже отъехали от подъезда.

Только что мы минули с Покотиловым мост, как засуетились городовые и филеры, и от Невы по Фонтанке крупной рысью мимо нас промчалась карета, запряженная вороными конями, с ливрейным лакеем на козлах. В окне кареты мелькнуло спокойное лицо Плеве. Покотиллов схватился за бомбу, но карета была уже далеко и приближалась к Сазонову. Мы замерли, ожидая взрыва. Но на наших глазах карета, обогнув Сазонова, повернула в раскрытые ворота и скрылась. Я вернулся к Каляеву и сказал ему, чтобы он шел на место условленного заранее свидания. Покотиллов подошел к Сазонову и стал его нанимать. Я видел, как Сазонов отрицательно качнул головой. Тогда я подошел к Сазонову:

— Извозчик!

— Занят.

— Извозчик!

— Занят.

Я остановился и посмотрел в лицо Сазонова. Он был очень бледен. Я прошептал:

— Уезжайте скорее.

Но он опять отрицательно качнул головой. Я прошел мимо него

и позвал Мацевского и опять услышал то же самое.

— Занят.

Я обернулся к Цепному мосту: Каляев все еще стоял на мосту. Так ожидали они, уже без всякой надежды, еще полчаса.

Неудача Сазонова произошла, благодаря одной из тех случайностей, которых нельзя ни предусмотреть, ни устранить. Как и было условлено, Сазонов стал в двенадцатом часу на свое место, лицом к Неве, так, чтобы видеть Мацевского и набережную Фонтанки и заранее приготовиться к взрыву. Тяжелый семифунтовый снаряд лежал у него под фартуком, на коленях. Чтобы бросить снаряд, нужно было отстегнуть фартук и поднять бомбу. Это требовало несколько секунд времени. Но, стоя у подъезда Плева и отказывая нанимавшим его седокам, Сазонов возбудил насмешки других извозчиков. Из их длинного ряда он выделялся тем, что стоял лицом к Неве, тогда как все они стояли лицом в противоположную сторону, к цирку. Эти насмешки, т.е. боязнь обратить на себя внимание, заставили его повернуть лошадь мордой от Невы и стать спиной к Мацевскому. Таким образом Плева, возвращаясь, был невидим ему и промелькнул мимо него неожиданно быстро. Сазонов схватился за бомбу, но было уже поздно.

Эта первая неудача научила нас многому. Мы поняли, что семь раз примерь и один раз отрежь.

V

Мы условились собраться после покушения на Садовой, в ресторане „Северный Полюс“. Я встретил еще на улице Боришанского. Я спросил его:

— Послушайте, Абрам, вы убежали?

Он поднял на меня свои большие, светлые глаза и промолчал. Я повторил свой вопрос. Он ответил:

— Да, я убежал.

— Какое право вы имели бежать?

Боришанский в ответ ничего не сказал. Я долго смотрел на его спокойное, точно каменное, лицо. Наконец, я его спросил:

— Почему же вы убежали?

— Странно... Если за вами следят, что вы будете делать?

— За вами следили?

— Если бы не следили, я бы не убежал.

— Слушайте, — сказал я, — товарищи могут подумать, что вы трус.

Он долго медлил ответом:

— Я не трус. Я должен был убежать. Каждый убежал бы на моем месте... И разве нужно было, чтобы меня без пользы арестовали?

В это время вошел в ресторан Каляев. По его лицу было видно, что он очень взволнован. Иногда он мельком взглядывал на Боришанского. Наконец, он не выдержал:

— Почему вы убежали, Боришанский?

Боришанский посмотрел на него:

— Что бы вы сделали, если бы шпионы вас окружили?

Каляев ничего не ответил. Не могло быть сомнения, что Боришанский говорит правду. Оставаться же с бомбою на глазах у филеров значило губить и себя, и товарищей, и самое дело.

Покушение не удалось. Жить всем членам организации в Петербурге не было цели. Швейцер в тот же день уехал с динамитом обратно в Либаву, Боришанский в Бердичев, Каляев в Киев, Покотилов в Двинск, где должен был ждать известий от нас Азеф. Я остался еще на день в Петербурге и вечером встретился с Сазоновым.

Мы поехали с ним на острова. У взморья я, наконец, решился заговорить.

— Слушайте, почему вы не хотели отъехать от дома Плеве?

Сазонов обернулся с козел ко мне:

— Почему?.. я надеялся, может быть, он опять поедет.

— Но вы, ведь, знали, что этого не будет?

— Эх... Ну, конечно...

Он опустил голову. Через несколько минут он снова заговорил:

— Стою я, бомбу на коленях держу... Жду... Знаете, ничего... только ноги похолодели...

Он махнул рукой. Потом вдруг быстро обернулся ко мне:

— Это я виноват.

— В чем?

— Да вот... в неудаче.

Конечно, Сазонов был виноват менее всех, и я с гораздо большим правом, чем он, могу приписать неудачу 18 марта себе.

В Двинске Азефа не было. На почте не было условных от него телеграмм до востребования. На вокзале меня встретил Покотилов. Его первые слова были:

— Валентин арестован.

— Как арестован?

— Его нет. Телеграмм тоже нет. Что делать?

Азеф только впоследствии объяснил, что в Двинске заметил за собой наблюдение и, скрывая следы, три недели ездил по России. Тогда его отсутствие в такой важный момент мы могли объяснить только его арестом.

Покотилов, волнуясь, с мелкими каплями крови на лбу, говорил:

— Валентин арестован. Покушение не удалось. Но Плеве будет убит... Плеве непременно будет убит... Неправда ли, Венямин?

Я молчал. Мне думалось: потеря в решительную минуту Азефа лишала организацию единственного опытного террориста, — более того: лишала ее руководителя. Руководительство перешло ко мне, а я не чувствовал себя подготовленным к нему. Я попросил Покотилова съездить к Швейцеру и привезти его в Киев, куда должен был приехать и Боришанский. Я хотел посоветоваться с товарищами.

Я считал, что сил организации, с потерей Азефа, было недостаточно, чтобы убить Плеве. Мне казалось, поэтому, разумным попытаться сперва убить Клейгельса и, убив его, уже потом перейти к покушению на Плеве. Приготовления к убийству Клейгельса должны были дать недостающий нам опыт и помочь ориентироваться в почти незнакомой технике боевого дела. Я сообщил мое мнение товарищам. Каляев и Швейцер согласились со мной. Покотилов стал возражать:

— Мы взяли за дело Плеве и не можем оставить его. Мы обязаны убить Плеве. Сил довольно. В крайнем случае, мы взорвем весь департамент полиции. Я все беру на себя.

Боришанский молчал.

— А ваше мнение? — спросил я его.

— Я поеду с Покотиловым, — отвечал он.

Было решено наихудшее: был принят компромисс. Швейцер, Каляев и я остались в Киеве для покушения на Клейгельса, Боришанский и Покотилов уехали в Петербург, чтобы вместе с Сазоновым и Иосифом Мацеевским попытаться убить Плеве.

Их план состоял в следующем: в четверг, 25 марта, и в четверг, 1 апреля, — день, когда Плеве ездил к царю, — они должны были утром, в 11.30, выйти с бомбами навстречу министру, от Зимнего дворца по набережным Невы и Фонтанки к зданию департамента полиции. Так как маршрут Плеве и время его выезда были известны лишь приблизительно, надежды на удачное покушение было мало. Бомбы должен был приготовить Покотилов. Сазонов и Мацеевский в покушении принимали только косвенное участие.

Наш план был прост: Клейгельс, не скрываясь, ездил по городу. Каляев и я знали его в лицо. Генерал-губернаторский дом был на Институтской улице, и куда бы Клейгельс ни ездил, он не мог миновать Крещатик. Бомбы должен был приготовить Швейцер, честь же первого нападения принадлежала Каляеву.

Такое разделение ослабляло организацию, оно уменьшало надежду на успех как того, так и другого покушения. Я не имел настолько авторитета, чтобы настоять на своем плане, но я не мог признать плана Покотилова разумным. Организация разделилась на две, почти равные части.

24 марта Покотилов приготовил две бомбы и 25-го он и Боришанский вышли от Зимнего навстречу Плеве, но Плеве не встретили. Покотилов вынул из бомб запалы и уехал из Петербурга в Двинск. 29 марта он опять отправился в Петербург и по дороге в вагоне опять случайно встретился с Азефом. Азеф выслушал его доклад о положении организации и остался недоволен. Он пробовал отговаривать Покотилова от его плана, но Покотилов стоял на своем. Тогда Азеф, простившись с ним, поехал в Киев отыскивать нас.

31 марта, ночью, в Северной гостинице, готовя во второй раз снаряды, Покотилов погиб от взрыва. Наши бомбы имели хи-

мический запал: они были снабжены двумя крестообразно помещенными трубками с зажигательными и детонаторными приборами. Первые состояли из наполненных серной кислотой стеклянных трубок с баллонами и надетыми на них свинцовыми грузами. Эти грузы при падении снаряда в любом положении ломали стеклянные трубки; серная кислота, выливаясь, воспламеняла смесь бертолетовой соли с сахаром. Воспламенение же этого состава производило сперва взрыв гремучей ртути, а потом и динамита, наполнявшего снаряд. Неустрашимая опасность при зарядении заключалась в том, что стекло трубки могло легко сломаться в руках.

VI

О смерти Покотилова мы узнали в Киеве из газет. Для нас эта смерть явилась еще более тяжелой неожиданностью, чем неудача 18 марта.

Из нашего запаса динамита, после смерти Покотилова, осталась едва одна четверть. Она хранилась у Швейцера и из нее можно было приготовить всего одну бомбу. Одной бомбы, по нашему мнению, было достаточно для убийства Клейгельса, но нам казалось невозможным убить Плеве с помощью всего одного метальщика. Я посоветовался со Швейцером и Каляевым, и мы решили ликвидировать дело Плеве и предложить Мацевскому, Боришанскому и Сазонову уехать за границу. Мы, втроем, должны были остаться в Киеве для покушения на Клейгельса.

Швейцер передал оставшийся динамит Каляеву и уехал в Петербург, чтобы сообщить Мацевскому и Сазонову о таком нашем решении; Боришанский после 31 марта, по собственной инициативе, приехал в Киев. Почти одновременно с ним неожиданно приехал в Киев и Азеф. Встретив меня в квартире ***, он сказал:

— Что вы затеяли? К чему это покушение на Клейгельса? И почему вы не в Петербурге? Какое право имеете вы своей властью изменять решения центрального комитета?

Я ответил Азефу, что мы были уверены в его аресте, ибо только арестом могли объяснить отсутствие его после неудачи 18 марта в Двинске; что без его руководства мне казалось невозможным убить Плеве; что, в виду этой невозможности, я решил убить Клейгельса; что я был против поездки Покотилова в Петербург и считал его план покушения на Плеве несостоятельным и, наконец, — и это самое главное, — что динамита у нас осталось всего на одну бомбу. Я хотел прибавить также, что неудача 18 марта и смерть Покотилова породили в нас неуверенность в своих силах, и что, в таком состоянии недоверия к себе, едва ли было возможно довести до конца общеимперское дело. Но, посмотрев на Азефа, я не сказал ему этого.

Азеф слушал, по своему обыкновению, молча. По его лицу я видел, что он очень недоволен и нашим решением, и моими объяснениями. Наконец, он сказал:

— За мной следили. Я должен был уходить от шпионов. Вы могли понять это и не торопиться с предположениями о моем аресте. Кроме того, если бы я и был арестован, вы не имели права ликвидировать покушение на Плеве.

Я ответил ему на это, что ни у кого из нас нет террористического опыта; что впредь мы, вероятно, сумеем быть хладнокровнее и не придавать решающего значения неудачам, но что нет ничего удивительного, если покушение 18 марта, предполагаемый его арест и смерть Покотилова заставили нас изменить первоначально принятый план.

Азеф нахмурился еще больше и сказал:

— Люди учатся на делах. Ни у кого не бывает сразу нужного опыта. Из этого, однако, не следует, что нужно делать только то, что легко. Какой смысл в покушении на Клейгельса...

Я сказал, что боевая организация молчит со времени уфимского дела, т.е. уже около года, что с арестом Гершуни правительство считает ее разбитой, и что, если в партии нет сил для центрального террора, то необходимо делать, по крайней мере, террор местный, как его делал Гершуни в Харькове и Уфе.

— Что вы мне говорите? Как нет сил для убийства Плеве? Смерть Покотилова? Но вы должны быть готовы ко всяким несчастиям. Вы должны быть готовы к гибели всей организации до последнего человека. Что вас смущает? Если нет людей, — их нужно найти. Если нет динамита, его необходимо сделать. Но бросать дело нельзя никогда. Плеве во всяком случае будет убит. Если мы его не убьем, — его не убьет никто. Пусть „Поэт“ (Каляев) едет в Петербург и велит Мацеевскому и „Авелю“ (Сазонову) оставаться на прежних местах. „Павел“ (Швейцер) изготовит динамит, а вы с Боришанским поедете в Петербург на работу. Кроме того, мы найдем еще людей.

В тот же день из Петербурга вернулся Швейцер. Он сообщил, что Мацеевский и Сазонов уже продали лошадей и пролетки, и что первый уехал к себе на родину, а второй через Сувалки направляется за границу. Каляев немедленно поехал в Сувалки, чтобы остановить Сазонова на дороге и предложить ему ехать не за границу, а в Харьков, где должны были собраться для совещания почти все члены организации. Швейцер получил от Азефа адрес партийного инженера. С помощью этого инженера он должен был в земской лаборатории изготовить пуд динамита. Задача ему предстояла трудная. Необходимо было незаметно приобрести нужные материалы; необходимо было соблюдать строжайшую конспирацию; наконец, необходимо было мириться с неустранимыми недостатками неприспособленной к изготовлению динамита лаборатории. Швейцер справился со всеми затруднениями. По подложному открытому листу на имя уполномоченного земства он закупил материал, и один, скорее с ведома, чем при помощи вышеупомянутого инженера, приготовил необходимое нам количество динамита. На этой работе он

едва не погиб и спасся только благодаря своему хладнокровию. Размешивая желатин, приготовленный из русских, нечистых химических материалов, он заметил в нем признаки разложения, т.е. признаки моментального и неизбежного взрыва. Он схватил стоявший рядом кувшин с водой и, второпях, стал лить прямо с руки, с высоты нескольких вершков от желатина. Струя воды разбрызгала взрывчатую массу, желатинные брызги попали ему на всю правую сторону тела и взорвались на нем. Он получил несколько тяжелых ожогов, но дела не бросил и, лишь изготавив нужное количество динамита, уехал в Москву. Там он пролежал несколько дней в больнице. Динамит он привез в Петербург в июне.

Тогда же в Киеве я познакомился с Дорой Бриллиант. Дора Владимировна Бриллиант была рекомендована для боевой работы Покотиловым, который близко знал ее еще по Полтаве.

Дору Бриллиант я отыскал на Жилианской улице, в студенческой комнате. Она с головой ушла в местные комитетские дела, и комната ее была полна ежeminутно приходившими и уходившими по конспиративным делам товарищами. Маленького роста, с черными волосами и громадными, тоже черными, глазами, Дора Бриллиант с первой же встречи показалась мне человеком, фанатически преданным революции. Она давно мечтала переменить род своей деятельности и с комитетской работы перейти на боевую. Все ее поведение, сквозившее в каждом слове желание работать в терроре убедили меня, что в ее лице организация приобретает ценного и преданного работника.

Переговорив с Бриллиант, я уехал в Харьков. Туда же приехали Азеф, Сазонов и Каляев. В Харькове я увидел впервые Сазонова не на козлах и не в извозничьем халате. Он был выше среднего роста, с румяным, открытым и веселым лицом. Узнав от Швейцера, что решено ликвидировать дело и что ему предложено ехать за границу, он чрезвычайно огорчился: такое предложение равнялось в его глазах приказанию оставить поле сражения. Тем не менее, подчиняясь дисциплине организации, он продал лошадь и пролетку и поехал в Сувалки. В поезде между Сувалками и Вильно его встретил Каляев. К своей радости Сазонов узнал от него, что, вместо Женева, ему предложено ехать в Харьков. Здесь, в Харькове, он близко сошелся с Каляевым, хотя и ему Каляев на первый взгляд показался странным.

Каляев любил революцию так глубоко и нежно, как любят ее только те, кто отдает за нее жизнь. Но, прирожденный поэт, он любил искусство. Когда не было революционных совещаний и не решались практические дела, он подолгу и с увлечением говорил о литературе. Говорил он с легким польским акцентом, но образно и ярко. Имена Брюсова, Бальмонта, Блока, чуждые тогда революционерам, были для него родными. Он не мог понять ни равнодушия к их литературным исканиям, ни тем менее отрицательного к ним отношения: для него они были революционерами в искусстве. Он

горячо спорил в защиту „новой“ поэзии и возражал еще горячее, когда при нем указывалось на ее, якобы, реакционный характер. Для людей, знавших его очень близко, его любовь к искусству и революции освещалась одним и тем же огнем, — несознательным, робким, но глубоким и сильным религиозным чувством. К террору он пришел своим особенным, оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму политической борьбы, но и моральную, быть может, религиозную жертву.

Сазонов был социалист-революционер, человек, прошедший школу Михайловского и Лаврова, истый сын народовольцев, фанатик революции, ничего не видевший и не признававший кроме нее. В этой страстной вере в народ и в глубокой к нему любви и была его сила. Неудивительно поэтому, что вдохновенные слова Каляева об искусстве, его любовь к слову, религиозное его отношение к террору показались Сазонову при первых встречах странными и чужими, не гармонирующими с образом террориста и революционера. Но Сазонов был чуток. Он почувствовал за широтою Каляева силу, за его вдохновенными словами — горячую веру, за его любовь к жизни — готовность пожертвовать этой жизнью в любую минуту, более того, — страстное желание такой жертвы. И все-таки, в первый из наших харьковских дней, Сазонов, встретив меня в Университетском саду, подошел ко мне с такими словами:

— Вы хорошо знаете „Поэта“? Какой он странный.

— Чем же странный?

— Да он, действительно, скорее поэт, чем революционер.

Сазонов смутился. Может быть, ему показалось, что в его словах было косвенное осуждение Каляева. Я же ни до, ни после, никогда не слышал, чтобы он осуждал кого-либо.

— Знаете, раньше я думал, что террор нужен, но что он не самое главное... А теперь вижу: нужна „Народная Воля“, нужно все силы напрячь на террор, тогда победим. Вот и „Поэт“ думает так.

Каляев, действительно, думал так. Он не отрицал, конечно, значения мирной работы и с интересом следил за ее развитием, но террор он ставил во главу угла революции. Он психически не мог, не ломая себя, заниматься пропагандой и агитацией, хотя любил и понимал рабочую массу. Он мечтал о терроре будущего, о его решающем влиянии на революцию.

— Знаешь, — говорил он мне в Харькове, — я бы хотел дожить, чтобы видеть... Вот, смотри — Македония. Там террор массовый, там каждый революционер — террорист. А у нас? Пять, шесть человек и обчелся... Остальные в мирной работе. Но разве с.-р. может работать мирно? Ведь с.-р. без бомбы уже не с.-р. И разве можно говорить о терроре, не участвуя в нем?... О, я знаю: по всей России разгорится пожар. Будет и у нас своя Македония. Крестьянин возьмется за бомбы. И тогда революция...

В Университетском саду происходили все наши совещания. Азеф предложил следующий план. Мацеевский, Каляев и убивший

в 1903 г. уфимского губернатора Богдановича Егор Олимпиевич Дулебов, нам тогда еще незнакомый, должны были наблюдать за Плевеем на улице: Каляев и один вновь принятый товарищ — как папиросники. Дулебов и Иос. Мацевский — в качестве извозчиков. Я должен был нанять богатую квартиру в Петербурге с женой — Дорой Бриллиант и прислугой: лакеем — Сазоновым и кухаркой — одной старой революционеркой, П.С.Ивановской. Цель этой квартиры была двоякая. Во-первых, предполагалось, что Сазонов-лакей и Ивановская-кухарка могут быть полезны для наблюдения и, во-вторых, я должен был приобрести автомобиль, необходимый, по мнению Азефа, для нападения на Плевеем. Учиться искусству шофера должен был Боришанский.

Я усиленно возражал Азефу против покупки автомобиля. Я признавал значение конспиративной квартиры и для наблюдения, и для хранения снарядов, но я не видел цели в приобретении автомобиля. Мне казалось, что пешее нападение на Плевеем, при многих металлических, гарантирует полный успех, и что, наоборот, автомобиль может скорее обратить на себя внимание полиции. Азеф не очень настаивал на своем плане, но все-таки предложил мне нанять квартиру и устроиться в Петербурге.

Сил организации было больше, чем когда бы то ни было. Потеря Покотилова возмещалась новыми членами. Кроме того, прошедшие неудачи, не устраняя, конечно, возможности новых, обеспечивали от повторения грубых ошибок. Настойчивость Азефа, его спокойствие и уверенность подняли дух организации, и мне было странно, как мог я решиться ликвидировать дело Плевеем и предпринять провинциальное, не имеющее политического значения, покушение на Клейгельса. Не преувеличивая, можно сказать, что Азеф возродил организацию, мы приступили к делу с верой и решимостью во что бы то ни стало убить Плевеем.

Когда план был обсужден нами и принят, и люди распределены, Азеф уехал за Дулебовым, а также по делам сорганизовавшегося тогда под его руководством центрального комитета. Сазонов и Каляев уехали в Петербург. Я остался в Харькове ожидать Бриллиант.

Из Харькова я с Дорой Бриллиант отправился в Москву. В Москве я должен был встретиться с Азефом и Дулебовым.

Увидев меня, Азеф сказал:

— „Петр“ (Дулебов) уже здесь. У него с собою шесть небольших бомб македонского образца. Возьмите их у него и отдайте на хранение в несгораемый ящик в какой-нибудь банк. „Петр“ живет на Маросейке, в номерах, зайдите завтра к нему.

Я зашел к Дулебову и увидел перед собою небольшого роста крепкого рабочего, с открытым лицом и задумчивыми глазами. Он передал мне коробку с бомбами и показал мне способ их заряжения.

В тот же день я нанял на имя Адольфа Томашевича несгораемый

ящик в банкирском доме бр. Джамгаровых и отвез туда бомбы. Впоследствии квитанция от этого ящика была найдена при аресте Татьяны Леонтьевой, и полиция тщетно отыскивала нанимателя. Бомбы эти были конфискованы в мае 1905 года.

Через несколько дней мы все уехали из Москвы: Азеф по общепартийным делам на Волгу, Бриллиант, Дулебов и я — в Петербург.

Дулебов купил пролетку и лошадь и стал извозчиком, а я остановился вместе с Бриллиант в гостинице „Франция“ на Морской, и прежде всего пошел отыскивать Ивановскую.

Ивановская жила на пятом этаже, в громадном доме на Обводном канале. Она снимала угол в рабочем семействе под именем, если не ошибаюсь, Дарьи Кирилловой. Подымаясь по лестнице к ней, я встретил какую-то старуху в платке. Старуха была так похожа на угловую жилицу, так все, от головного платка до сапог, было типично, что мне и в голову не пришло, что это могла быть сама Ивановская. Я остановил старуху и спросил:

— А где, тетка, здесь живет Дарья Кириллова?

— Да это я и есть, батюшка, — отвечала она.

Я все еще не верил. Выговор и слова были чисто народные. Я думал, что случайно встретил однофамилицу, или сам забыл имя. Ивановская, видя мое замешательство, улыбнулась:

— Я и есть... Она самая... Давайте скорее поговорим...

Мы тут же на лестнице условились, как нам впоследствии отыскать друг друга. В тот же день я, по объявлению из „Нового Времени“, нашел меблированную квартиру.

VII

Я снял квартиру на улице Жуковского, д. № 31, кв. 1, у хозяйки-немки. Я играл роль богатого англичанина, Дора Бриллиант — бывшей певицы из „Буффа“. На вопрос о моих занятиях я сказал, что я представитель большой английской велосипедной фирмы. Впоследствии поверившая вполне нам хозяйка не раз приходила в мое отсутствие к Доре и начинала ее убеждать уйти от меня на другое место, которое хозяйка ей уже подыскала. Она жалела Дору, спрашивала ее, сколько денег я положил на ее имя в банк, и удивлялась, что не видит на ней драгоценностей. Дора отвечала, что она живет со мною не из-за денег, а по любви. Такие визиты были довольно часты.

Живя в этой квартире, я близко сошелся с Бриллиант, Ивановской и Сазоновым, и узнал их. Молчаливая, скромная и застенчивая Дора жила только одним — своей верой в террор. Любя революцию, мучаясь ее неудачами, признавая необходимость убийства Плева, она вместе с тем боялась этого убийства. Она не могла примириться с кровью, ей было легче умереть, чем убить. И все-таки ее неизменная просьба была — дать ей бомбу и позволить

быть одним из метальщиков. Ключ к этой загадке, по моему мнению, заключается в том, что она, во-первых, не могла отделить себя от товарищей, взять на свою долю, как ей казалось, наиболее легкое, оставляя им наиболее трудное, и, во-вторых, в том, что она считала своим долгом переступить тот порог, где начинается непосредственное участие в деле: *террор для нее, как и для Каляева, окрашивался прежде всего той жертвой, которую приносит террорист.* Эта дисгармония между сознанием и чувством глубоко женственной чертой ложилась на ее характер. *Вопросы программы ее не интересовали. Быть может, из своей комитетской деятельности она вышла с известной степенью разочарования.* Ее дни проходили в молчании, в молчаливом и сосредоточенном переживании той внутренней муки, которой она была полна. Она редко смеялась, и даже при смехе глаза ее оставались строгими и печальными. *Террор для нее олицетворял революцию, и весь мир был замкнут в боевой организации.* Быть может, смерть Покотилова, ее товарища и друга, положила свою печать на ее и без того опечаленную душу.

Сазонов был молод, здоров и силен. От его искрящихся глаз и румяных щек веяло силой молодой жизни. Вспыльчивый и сердечный, с кротким, любящим сердцем, он своей жизнерадостностью только еще больше оттенял тихую грусть Доры Бриллиант. Он верил в победу и ждал ее. *Для него террор тоже прежде всего был личной жертвой, подвигом.* Но он шел на этот подвиг радостно и спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о Плеве. Революционер старого, народовольческого, крепкого закала, он не имел ни сомнений, ни колебаний. Смерть Плеве была необходима для России, для революции, для торжества социализма. Перед этой необходимостью бледнели все моральные вопросы на тему о „не убий“.

Ивановская прожила свою тяжелую жизнь в тюрьмах и ссылке. На ее бледном, старческом, морщинистом лице светились ясные, добрые материнские глаза. Все члены организации были как бы ее родными детьми. Она любила всех одинаково, ровной и тихой, теплой любовью. Она не говорила ласковых слов, не утешала, не ободряла, не загадывала об успехе или неудаче, но каждый, кто был около нее, чувствовал этот неиссякаемый свет большой и нежной любви. Тихо и незаметно делала она свое конспиративное дело и делала артистически, несмотря на старость своих лет и на свои болезни. Сазонов и Дора Бриллиант были ей одинаково родными и близкими.

Конспиративная сторона нашей жизни была, по настоянию Азефа, разработана во всех ее мельчайших подробностях. Ивановская, в качестве кухарки, завела дружбу с дворничихой, и по утрам старший дворник пил у нас кофе на кухне. Сазонов был своим человеком в швейцарской. Он невольно знал все сплетни и все разговоры, которые ходили по дому. Я имел вид делового человека, Дора — певицы.

Каждый день утром я получал через швейцара почту, — боль-

шею частью, каталоги разных машин, которые я выписывал, как „представитель торговой фирмы“, из Англии, Франции и Германии. Затем я уходил на „службу“ — бродил по городу с надеждой встретить Плева, и, действительно, часто встречал его. Днем барыня-Дора, с громадным пером на шляпе, в сопровождении лакея Сазонова шла в город за покупками. Вечером я и Дора часто уезжали из дому, и прислуга, освободившись, тоже уходила гулять, — следить за Плева.

Регулярный образ жизни и хорошие „на-чай“ создали нам в доме репутацию „первых жильцов“. Мы были осведомлены о всех слухах через Сазонова. Непьющий и грамотный, на хорошем жалованьи, он был завидным женихом для горничных всех квартир, был другом швейцара и на лучшем счету у старшего дворника. Таким образом, мы жили, не возбуждая ни в ком подозрений, хотя часто виделись с Мацеевским, Каляевым и Дулебовым.

В конце мая в Петербург приехал Азеф. Я встретился с ним в театре „Аквариум“. Первый вопрос его был:

— Купили автомобиль?

— Нет.

— Почему?

Я опять повторил ему свои соображения. Я доказывал, что не стоит тратить несколько тысяч рублей на то, без чего мы можем легко обойтись. Он помолчал:

— А все-таки вы должны были купить.

Оказалось, что Боришанский, живший в *** с целью изучить ремесло шофера, не научился ничему. Таким образом, идея автомобиля сама собой отпадала.

Азеф вечером, незаметно от дворника и швейцара, прошел к нам в квартиру и оставался у нас, не появляясь на улице, дней десять.

Во время его пребывания у нас случился следующий эпизод.

Уже несколько дней мы замечали, что на улице Жуковского, около нашего дома, ходят филеры. Мы решили, что их привел за собой Азеф. Если бы это было так, то квартира наша была накануне ареста. Между тем в поведении дворника и швейцара не было заметно ничего подозрительного. Мы терялись в догадках, тем более, что наблюдение на улице было открытое: из наших окон мы не раз видели несколько наблюдающих за воротами нашего дома филеров. Наконец, это наблюдение разъяснилось само собой.

Однажды вечером Сазонов стоял в воротах вместе с дворником и швейцаром и, по обыкновению, слушал их сплетни о жильцах. В разговоре дворник обратился к нему.

— А твой барин чем занимается?

— Да кто его знает. Все у него на столе книжки с машинами. Инженер, что ли?

— Каталоги, значит. Ну, значит, от фирмы какой.

В это время к воротам подъехал извозчик. С извозчика сошел адвокат В.В.Беренштам. Он прошел во двор, и вслед за ним в во-

рота юркнул филер. К нему подбежал швейцар и дворник. Сазонов тоже хотел подойти, но швейцар замахал на него руками.

Не было сомнения, Беренштам привел за собой филеров. Но это еще не значило, что предшествовавшее наблюдение было не за нашей квартирой. Вскоре, однако, выяснилась его причина: на одной лестнице с нами, дверь в дверь по черному ходу, жил адвокат Трандафилов. К нему и ходил Беренштам. Прислуга Трандафилова рассказала Сазонову, что у барина „книжки“, и ходят к нему „студенты“. Очевидно, следили не за нами, а за Трандафиловым. Об этом мы дали знать петербургскому комитету, но был ли предупрежден Трандафилов, — мне неизвестно.

Между тем, наше наблюдение шло своим путем. Мацеевский, Дулебов и Каляев постоянно встречали на улице Плеве. Они до тонкости изучили внешний вид его выездов и могли отличить его карету за сто шагов. Особенно много сведений было у Каляева. Он жил в углу, на краю города, в комнате, где, кроме него, ютилось еще пять человек, и вел образ жизни, до тонкости совпадающий с образом жизни таких же, как и он, торговцев в разнос. Он не позволял себе ни малейших отклонений: вставал в шесть часов и был на улице с восьми утра до поздней ночи. У хозяев он скоро приобрел репутацию набожного, трезвого и деловитого человека. Им, конечно, и в голову не приходило заподозрить в нем революционера. Плеве жил тогда на даче, на Аптекарском острове, и по четвергам выезжал с утренним поездом к царю, в Царское Село. Главное внимание при наблюдении и было сосредоточено на этой его поездке и еще на поездке в Марининский дворец, на заседания комитета министров, куда Плеве ездил по вторникам. Все члены организации, т.е. Мацеевский, Каляев, Дулебов, вновь приехавший Борیشانский и очень часто кто-либо из нас, — Дора, Ивановская, Сазонов или я, — наблюдали в эти дни. Но Каляев не ограничивался только этим совместным и планомерным наблюдением: у него была своя теория выездов Плеве, и ежедневно, выходя торговать на улицу, он ставил себе задачу встретить карету министра. По мельчайшим признакам на улице: по количеству охраны, по внешнему виду наружной полиции — приставов и околоточных надзирателей, — по тому напряженному ожиданию, которое чувствовалось при приближении министерской кареты, Каляев безошибочно заключал, проехал ли Плеве по этой улице, или еще проедет. С лотком за плечами, на котором часто менялся товар, — папирсы, яблоки, почтовая бумага, карандаши, — Каляев бродил по всем улицам, где, по его мнению, мог ездить Плеве. Редкий день проходил без того, чтобы он не встретил его карету. Описывая ее, он давал не только самое точное описание масти и примет лошадей, наружности кучера и чинов охраны, но и деталей самой кареты. В его устах детали эти принимали характер выпуклых признаков. Он знал не только высоту и ширину кареты, ее цвет и цвет ее колес, но и подробно описывал подножку, ручку дверец, вожжи, фонари, козлы, оси, окон-

ные стекла. Когда царь переехал в Петергоф, и Плеве стал ездить вместо Царскосельского вокзала на Балтийский, Каляев первый установил его маршрут и отклонения от этого маршрута. Кроме того, он знал в лицо министерских филеров и безошибочно отличал их в уличной толпе.

Дулёбов и Мацеевский, как извозчики, не могли давать таких подробных сведений. Они не могли всегда отказывать седокам, и им часто приходилось отъезжать с поста наблюдения или по требованию полиции, или по желанию седоков. Но они оба дополнили, проверили и развили наблюдения Каляева, так что те сведения, которые могли случайно прибавить остальные члены организации, т.е. Сазонов, Ивановская, Бриллиант, Боришанский и я, имели только второстепенное значение. В общем, систематическое наблюдение привело нас к уверенности, что легче всего убить Плеве в четверг, по дороге с Аптекарского острова на Царскосельский вокзал.

Был июнь во второй половине. Азеф, убедившись, что работа у нас идет хорошо, уехал из Петербурга. Царь переехал в Петергоф, и Плеве стал ездить по четвергам уже не на Царскосельский вокзал, а на Балтийский. Наблюдение назрело окончательно, и было ясно, что мы должны скоро приступить к покушению. Сазонову нужно было съездить на родину, и мы „разочли“ его. Для расчета был придуман следующий способ.

Я случайно разбил у себя зеркало. Сазонов пошел в швейцарскую и стал громко жаловаться на свою судьбу.

— Вот, только устроился... шабаш... прогоняют... места лишился.

— За что?

— Зеркало разбил.

Швейцар удивился.

— Неужто за зеркало? Ну?

Сазонов закрыл руками лицо:

— Да что... Разбил я это зеркало, комнату прибирал... Барыня услышала, как крикнет: ты, говорит, сукин сын, зеркало разбил, дрянь...

— Ну, а ты что же?

— Я-то? Я ей говорю: от такой же, говорю, слышу.

Швейцар всплеснул руками:

— Ах, ты!.. Барыне так и сказал. От такой же, сказал, слышу... Ловко... Как же ты осмелел... Ну, а дальше что было?

— А дальше барыня ну визжать... Прибежал барин, ни слова не говоря, хват и в дверь выкинул...

— Ни слова не говоря, говоришь?

— Ни слова не говоря...

Швейцар задумался.

— Ну, плохо твое дело... Однако, все-таки иди, — прощенья проси. Авось простят.

— Не простят: барыня злющая.

— А ты все-таки иди, попробуй.

Мы, конечно, не простили Сазонова, и он в тот же день выехал со двора. Вслед за ним уехал и я в Москву. На квартире остались Дора Бриллиант и Ивановская. В Москву же должны были приехать Каляев и Швейцер. Там предполагалось обсудить в подробностях план покушения.

К этому времени все члены организации не только близко перезнакомились между собою, но многие и интимно сошлись. Была крепкая спайка прошлого — неудача 18 марта и смерть Покотилова. Эта спайка связала и новых членов организации, и уже давно стерлась грань между старшими и младшими, рабочими и интеллигентами. Было одно братство, жившее одной и той же мыслью, одним и тем же желанием. Сазонов был прав, определяя впоследствии, в одном из писем ко мне с каторги, нашу организацию такими словами: „Наша Запорожская Сечь, наше рыцарство было проникнуто таким духом, что слово „брат“ еще недостаточно ярко выражает сущность наших отношений“.

Эта братская связь чувствовалась нами всеми и вселяла уверенность в неизбежной победе.

VIII

Швейцер опоздал в Москву, и московские совещания прошли без него. Происходили они обыкновенно в Сокольничьем парке, и на них присутствовали: с решающим голосом — Азеф и, кроме того, Каляев, Сазонов и я. Обсуждался подробный план покушения.

Наученные опытом 18 марта, мы склонны были преувеличивать трудности убийства Плеве. Мы решили принять все меры, чтобы он, попав однажды в наше кольцо, не мог из него выйти. Всех метальщиков было четверо. Первый, встретив министра, должен был пропустить его мимо себя, загородив ему дорогу обратно на дачу. Второй должен был сыграть наиболее видную роль: ему принадлежала честь первого нападения. Третий должен был бросить свою бомбу только в случае неудачи второго, — если бы Плеве был ранен, или бомба второго не разорвалась. Четвертый, резервный метальщик должен был действовать в крайнем случае: если бы Плеве, прорвавшись через бомбы второго и третьего, все-таки проехал бы вперед, по направлению к вокзалу. Способ самого действия бомбой был тоже предметом подробного обсуждения. Был, конечно, неустрашимый риск, что метальщик промахнется, перебросит или недобросит снаряд. Во время этого обсуждения Каляев, до тех пор молчавший и слушавший Азефа, вдруг сказал:

— Есть способ не промахнуться.

— Какой?

— Броситься под ноги лошадям.

Азеф внимательно посмотрел на него.

— Как броситься под ноги лошадям?

— Едет карета. Я с бомбой кидаюсь под лошадей. Или взорвется бомба, и тогда остановка, или, если бомба не разорвется, лошади испугаются, — значит, опять остановка. Тогда уже дело второго метальщика.

Все помолчали. Наконец, Азеф сказал:

— Но ведь вас наверно взорвет.

— Конечно.

План Каляева был смел и самоотвержен. Он, действительно, гарантировал удачу. Но Азеф, подумав, сказал:

— План хорош, но я думаю, что он ненужен. Если можно добежать до лошадей, значит, можно добежать и до кареты, — значит, можно бросить бомбу и под карету или в окно. Тогда, пожалуй, справится и один.

На таком решении Азеф и остановился. Было решено также, что Каляев и Сазонов примут участие в покушении в качестве метальщиков.

После одного из этих совещаний я пошел гулять с Сазоновым по Москве. Мы долго бродили по городу и, наконец, присели на скамейке у храма Христа Спасителя, в сквере. Был солнечный день, блестили на солнце церкви. Мы долго молчали. Наконец, я сказал:

— Вот, вы пойдете и наверно не вернетесь...

Сазонов не отвечал, и лицо его было такое же, как всегда: молодое, смелое и открытое.

— Скажите, — продолжал я, — как вы думаете, что будем мы чувствовать после... после убийства?

Он, не задумываясь, ответил:

— Гордость и радость.

— Только?

— Конечно, только.

И тот же Сазонов впоследствии мне писал с каторги: *„Сознание греха никогда не покидало меня“*. К гордости и радости примешалось еще другое, нам тогда неизвестное чувство.

Из Москвы Азеф и Сазонов уехали на Волгу, а я и Каляев вернулись в Петербург. На Николаевском вокзале, перед самым отходом поезда, на перроне, я заметил широкую, мускулистую фигуру Швейцера. Я окликнул его. Через минуту он вошел ко мне в вагон, положил в сетку свой багаж, и мы вышли с ним в коридор.

— Как дела?

Я рассказал, что наблюдение закончено, и передал решение московского совещания. Он сдержанно улыбнулся:

— Ну, и у меня все готово.

— Вы привезли динамит?

— Больше пуда.

— Где же он?

Он кивнул на вагон.

— В сетке?

— Да, в сетке. Если взорвет, — не услышим: нас с вами первых взорвет.

Он был, как всегда, очень сдержан и говорил мало. Но было видно, что он рад и тому, что так скоро и хорошо исполнил свою трудную задачу, и тому, что наблюдение закончено, и тому, что мы, наконец, приступаем к покушению.

По приезде в Петербург, я не вернулся на нашу квартиру, а поселился в Сестрорецке по паспорту Константина Чернецкого. На 8 июля было назначено покушение. Необходимо было еще раз проверить поездку Плевак к царю и условиться между собою о многочисленных мелочах.

В Сестрорецк ко мне приехала Дора Бриллиант. Мы ушли с нею в глубь парка, далеко от публики и оркестра. Она казалась смущенной и долго молчала, глядя прямо перед собою своими черными опечаленными глазами.

— Веньямин!

— Что?

— Я хотела вот что сказать...

Она остановилась, как бы не решаясь окончить фразу.

— Я хотела... Я хотела еще раз просить, чтоб мне дали бомбу.

— Вам? Бомбу?

— Я тоже хочу участвовать в покушении.

— Послушайте, Дора...

— Нет, не говорите... Я так хочу... Я *должна умереть*.

Я старался ее успокоить, старался доказать ей, что в ее участии нет нужды, что мужчина справится с задачей метания бомбы лучше, чем она, наконец, что если бы ее участие было необходимо, то — я уверен — товарищи обратились бы к ней. Но она настойчиво просила передать ее просьбу Азефу, и я должен был согласиться.

Вскоре приехали Сазонов и Азеф, и мы опять собрались вечером на совещание.

На этот раз Каляева не было, зато присутствовал Швейцер. Я передал товарищам просьбу Бриллиант.

Наступило молчание. Наконец, Азеф медленно и, как всегда, по внешности равнодушно, сказал:

— Егор, как ваше мнение?

Сазонов покраснел, смешался, развел руками, подумал и сказал нерешительно:

— Дора такой человек, что если пойдет, то сделает хорошо... Что же я могу иметь против? Но...

Тут голос его осекся.

— Договаривайте, — сказал Азеф.

— Нет, ничего... Что я могу иметь против?

Тогда заговорил Швейцер. Спокойно, отчетливо и уверенно он сказал, что Дора, по его мнению, вполне подходящий человек для покушения, и что он не только ничего не имеет против ее участия, но, не колеблясь, дал бы ей бомбу.

Азеф посмотрел на меня.

— А вы, Веньямин?

Я сказал, что я решительно против непосредственного участия Доры в покушении, хотя также вполне в ней уверен.

Я мотивировал свой отказ тем, что, по моему мнению, *женщину можно выпускать на террористический акт только тогда, когда организация без этого обойтись не может*. Так как мужчин довольно, то я настойчиво просил бы ей отказать.

Азеф, задумавшись, молчал. Наконец, он поднял голову.

— Я не согласен с вами... По-моему, нет оснований отказать Доре... Но, если вы так хотите... Пусть будет так.

Тогда же было решено, что первым метальщиком будет Боришанский, вторым — Сазонов, третьим — Каляев и четвертым — Сикорский, молодой рабочий-кожевник из Белостока, еще не член нашей организации, но хорошо известный Боришанскому. Он давно, как особенной чести, просил дозволить ему участвовать в покушении на Плеве.

Азеф снова уехал, назначив после покушения свидание в Вильно. Квартира на улице Жуковского была окончательно ликвидирована: Ивановская уехала к Азефу, Бриллиант, несмотря на свои протесты, — в Харьков. В Петербурге остались только оба извозчика — Мацевский и Дулебов, Швейцер, я и метальщики — Сазонов и Каляев. Последние тоже должны были уехать и вернуться в Петербург только 8 июля. За несколько дней до их отъезда я назначил свидание Каляеву на Смоленском кладбище. Он пришел туда еще в своем платье папиросника: в рубашке, картузе и высоких сапогах. Мы оба были уверены, что говорим в последний раз: Каляев не сомневался, что и ему, как Сазонову, придется бросить снаряд.

Мы сидели на чьей-то заросшей мохом могиле. Он говорил своим звучным голосом с польским акцентом:

— Ну слава богу: вот и конец... Меня огорчает одно, — почему не мне, а Егору первое место... Неужели Валентин думает, что я не справился бы один?

Я сказал ему, что второе место не менее, если не более, ответственно, чем первое, и что требуется большая отвага и хладнокровие, чтобы оценить после взрыва момент и решить, нужно ли бросать свою бомбу или нет. Он неохотно слушал меня.

— Да, конечно... А все-таки... Как ты думаешь, будет удача? — вдруг повернулся он всем телом ко мне.

— Конечно, будет.

— Я тоже уверен, будет.

Он молчал.

— А нелегко папиросником... Вот NN* не выдержал, и не удивительно... Только знаешь, нужно к нам принимать людей таких, которые могут все... Вот, как Егор...

*Речь шла о товарище, недолго пребывавшем в нашей организации.

Он с любовью заговорил о Сазонове.

— Ты знаешь, я таких людей, как он, еще не видал... Такой любви в сердце, такой отваги, такой силы душевной... А Покотилов, а Алексей...

Он опять помолчал:

— Вот не дождал Алексей... Послушай, какое счастье, если будет удача... Довольно им царствовать... Довольно... Если бы ты знал, как я ненавижу их... Но что Плевел! Нужно убить царя...

Дня за три до 8 июля в Петербург приехал Лейба Вульфович Сикорский или, как мы называли его, Леон. Сикорскому было всего 20 лет, он плохо говорил по-русски и, видимо, с трудом ориентировался в Петербурге. Боришанский, как нянька, ходил за ним, покупал ему морской плащ, под которым удобно было скрыть бомбу, давал советы и указания. Но Сикорский все-таки робел и, увидев впервые меня, покраснел, как кумач:

— Это очень большая для меня честь, — сказал он, — что я в большой организации, и что Плевел... Я очень давно хотел этого.

Он замолчал. Молчал и Боришанский, с улыбкой глядя на него и как бы гордясь своим учеником. Сикорскому нужны были деньги на покупку плаща и платья. Я дал ему сто рублей.

— Вот, купите костюм.

Он покраснел еще гуще.

— Сто рублей! Я никогда не имел в руках столько денег...

Мне он показался твердым и мужественным юношей. Я опасался одного: его незнакомство с городом и дурной русский язык могли поставить его в затруднительное положение.

Было решено, что, в случае неудачи, все метальщики, оставшиеся в живых, отдадут свои бомбы Швейцеру, который их разрядит и сохранит; в случае же удачи, каждый должен был утопить свою бомбу. Решение это было принято потому, что как раздача, так и обратное собрание бомб Швейцером было сопряжено с риском, и с еще большим риском было сопряжено разряжение снарядов. Каждый метальщик получил точную инструкцию, где топить свою бомбу. Каляев должен был ее бросить в пруды по Петергофскому шоссе, Боришанский — тоже в пруды, если не ошибаюсь, в деревне Вольнкиной, Сикорский — в Неву, взяв лодку без лодочника в Петровском парке и выехав с нею на взморье. Я просил Боришанского специально показать ему Петровский парк, и он показал.

IX

Утром, 8 июля, приехали Каляев и Сазонов. Сазонов был одет в фуражку и тужурку железнодорожного служащего. В этот час утра по Измайловскому проспекту с Варшавского и Балтийского вокзалов возвращалось всегда много кондукторов и железнодорожных чиновников. Таким образом, железнодорожная форма устраняла риск случайного ареста: филеры, очевидно, не могли об-

ратить внимания на слившегося с толпой Сазонова. Каляев был в шапке швейцара с золотым галуном. Боришанский и Сикорский прятали бомбы в плащах.

Всю ночь Швейцер, живший в Гранд-Отеле по паспорту великобританского подданного, готовил бомбы. Рано утром к его гостинице подъехал Дулебов, и Швейцер, выйдя с небольшим чемоданом в руках, сел в его пролетку. Они поехали на Ново-Петергофский проспект — место свидания с Сазоновым. Я тоже ждал там Сазонова. Но опоздал ли Сазонов, или забыл в точности явку, — его не было на условленном месте. Каляев ждал на Рижском проспекте, и еще дальше, на Курляндской улице, вдвоем, ожидали Сикорский и Боришанский. Так как поезд отходил ровно в десять часов утра, и Плеве никогда не опаздывал к царю, то передача снарядов была рассчитана по минутам, и опоздание одного из метальщиков затрудняло весь ход передачи и даже могло совсем уничтожить возможность покушения. Я с нетерпением ходил взад и вперед по Ново-Петергофскому проспекту, но Сазонова не было. Я взглянул на часы, — нельзя было терять ни минуты. В это время, аккуратно в условленный час, показался Швейцер на пролетке Дулебова. Я сказал ему, что нет времени ждать Сазонова, и предложил сначала найти Каляева и передать ему его бомбу, и тогда уже вернуться на Ново-Петергофский проспект. Я надеялся, что Сазонов успеет еще получить свой снаряд.

Швейцер сделал именно так, как я сказал, и от Каляева вернулся ко мне, но Сазонова все еще не было. Тогда Швейцер поехал к Боришанскому и Сико кому, но, как оказалось, они, не дождав-шись его, ушли. Таким образом, бомбу получил один только Каляев.

Когда я, наконец, встретил Сазонова и сообщил ему, что Швейцер уже уехал, и что покушение, значит, не удалось, я испугался: до такой степени изменилось его лицо. Он побледнел и молча, опустив голову, пошел от меня. Я догнал его при выходе на Измайловский проспект, и в ту же минуту мимо нас крупной рысью пронеслась карета Плеве. Мелькнули хорошо знакомые вороные кони, лакей на козлах и сыщик-велосипедист у заднего колеса. Сазонов все еще не говорил ни слова. Так шли мы с ним молча и по дороге наткнулись на Каляева. В фуражке швейцара, тоже бледный, со встревоженным лицом, он нес свою бомбу. Он один был вовремя на своем месте с бомбой в руках и один встретил Плеве. Но он не посмел бросить бомбу в карету: он бы пошел против решения организации. Кроме того, его неудачное покушение задержало бы надолго убийство Плеве. Вся организация одобрила этот его поступок.

Я назначил Сазонову вечером свидание в Зоологическом саду и пошел отыскивать Боришанского и Сикорского. Эта новая неудача не поразила нас так, как неудавшееся покушение 18 марта. Я видел, что мы выбрали время и место верно: Плеве проехал в на-

значенный час по Измайловскому проспекту; видел также, что его не трудно, встретив, убить, ибо будь у меня и у Сазонова в руках бомбы, мы легко могли бы подбежать к карете; видел еще, что неудача произошла просто из-за путаницы, почти неизбежной при мобилизации в очень короткий срок такого числа метальщиков. Мне ясно было, что через неделю мы не повторим нашей ошибки, а, значит, Плеве будет убит.

Я разыскал Сикорского и Боришанского. Каляев отдал свою бомбу Швейцера, и Швейцер разрядил ее, как и три переданные им бомбы. Вечером мы все, кроме извозчиков и Швейцера, собрались в Зоологическом саду.

Сазонов был подавлен. Он считал себя главным виновником неудачи и молчал. Молчали и остальные. Всем было больно касаться того, что было утром, и никто не смел говорить об этом вслух. Наконец, Боришанский прервал молчание.

— У нас нет ни одного человека с бородой. Неудивительно, что все неудачи.

— Что вы хотите этим сказать?

Боришанский невозмутимо ответил:

— Я говорю: все молодые люди. Не умеем делать дела.

Сазонов вспыхнул, но промолчал. По его лицу было видно, что он жестоко страдает и от своей, якобы, вины, и от горьких слов Боришанского. Сикорский краснел и тоже молчал. Но Каляев не выдержал:

— А кто виноват?

— Кто? Разве я знаю кто?

— Вы. Вы и виноваты. Если бы вы с Леоном не ушли, дождался бы Павла, то не я один получил бы снаряд, а было бы нас трое, и тогда бы мы и без Якова (Сазонова) могли убить Плеве.

Боришанский пожал плечами:

— Я не мог дольше ждать. Я ждал, сколько мне было сказано. Зачем опоздал Павел?

Каляев начал горячиться. Невозмутимость Боришанского, видимо, раздражала его. Всем было тяжело, и этой тяжести не было выхода.

Мы тут же условились, что Сазонов, Каляев, Боришанский и Сикорский поедут в Вильно к Азефу и расскажут ему о происшедшем, а также и о том, что мы повторим покушение в будущий четверг, 15 июля; я же и Швейцер останемся в Петербурге.

Мы сговорились о всех подробностях на 15 июля, и товарищи уехали в Вильно. Азеф ободрил Сазонова, но и до последней минуты Сазонов все продолжал считать себя виновником этой неудачи, хотя если и ложится на него вина, то, конечно, не в большей мере, чем на любого из нас. Как оказалось впоследствии, он был в условном месте точно в назначенное время и если не встретил меня, то только потому, что мы, ожидая между Десятой и Двенадцатой ротами, выходящими на Ново-Петергофский проспект, оба

не доходили до конечных их углов и, таким образом, и не могли встретиться. Кроме того, Каляев был прав. Если он не посмел один, без разрешения организации, выступить против Плеве, то втроем — он, Боришанский и Сикорский — могли это сделать. Значит, часть вины падает еще и на двух последних, не дождавшихся Швейцера.

Неделю между 8 и 15 июля я прожил в Сестрорецке, изредка встречаясь с Мацевским и Дулебовым. Оба они тоже были подавлены неудачей, но оба твердо верили в успех 15 июля. Дулебов, приятель и товарищ Сазонова еще по Уфе, несмотря на свои молодые годы, — ему было всего 20 лет, — производил впечатление чрезвычайно крепкого душою человека. Своей молчаливостью он напоминал Боришанского, своим уверенным и спокойным голосом — Швейцера, а своим открытым и смелым взглядом — Сазонова. Но в его улыбке было что-то свое, привлекательное и нежное. За его внешнею угрюмостью чувствовалось большое и любящее сердце.

Вечером, 14 июля, мы встретились со Швейцером в театре „Буфф“. В эту ночь ему предстояла работа, — снова зарядить все четыре бомбы, — три по шесть фунтов и одну в двенадцать.

Такую большую бомбу решено было сделать потому, что изготовленный Швейцером из русского материала динамит значительно уступал в силе заграничному. Швейцер был, как всегда, очень спокоен, но против обыкновения спросил бутылку вина.

— Я боюсь за Сикорского, — сказал он, взглядывая на сцену.

— Чего вы боитесь?

— Я боюсь, что он не сумеет утопить свою бомбу.

— Как же быть?

Швейцер пожал плечами.

— По-моему — никак.

— А если его арестуют?

— Что же делать?.. Не можем же мы из-за него одного рисковать многими! Мне не трудно разрядить бомбы, но, значит, опять для передачи их вводить итальянчиков, да и вообще, если будет успех, по-моему, оставшиеся метальщики должны сейчас же уехать из Петербурга, а не ждать передачи.

Швейцер говорил спокойно и твердо, и то, что он говорил, было справедливо: невозможно было из-за Сикорского ставить опять всю организацию под риск.

Прощаясь, он спросил:

— А Сикорский знает, где топить?

Я сказал, что не только знает, но я даже просил Боришанского показать ему место.

Тогда Швейцер уверенно сказал:

— Ну, значит, — утопит.

У ворот сада он вдруг обернулся ко мне:

— А вы верите в удачу?

- Конечно.
- А я знаю: завтра Плеве будет убит.
- Знаете?
- Знаю.
- И он, смеясь, протянул мне руку.
- Прощайте. Завтра в девять утра.

X

15 июля, между 8 и 9 часами утра, я встретил на Николаевском вокзале Сазонова и на Варшавском — Каляева. Они были одеты так же, как и неделю назад: Сазонов — железнодорожным служащим, Каляев — швейцаром. Со следующим поездом с того же Варшавского вокзала приехали из Двинска, где они жили последние дни, Боришанский и Сикорский. Пока я встречал товарищей, Дулебов у себя на дворе запряг лошадь и приехал к Северной гостинице, где жил тогда Швейцер. Швейцер сел в его пролетку и к началу десятого часа раздал бомбы в установленном месте — на Офицерской и Торговой улицах за Марининским театром. Самая большая двенадцатифунтовая бомба предназначалась Сазонову. Она была цилиндрической формы, завернута в газетную бумагу и перевязана шнурком. Бомба Каляева была обернута в платок. Каляев и Сазонов не скрывали своих снарядов. Они несли их открыто в руках. Боришанский и Сикорский спрятали свои бомбы под плащи.

Передача на этот раз прошла в образцовом порядке. Швейцер уехал домой, Дулебов стал у технологического института по Загородному проспекту. Здесь он должен был ожидать меня, чтобы узнать о результатах покушения. Мацевский стоял со своей пролеткой на Обводном канале. Остальные, т.е. Сазонов, Каляев, Боришанский, Сикорский и я собрались у церкви Покрова на Садовой. Отсюда метальщики один за другим, в условном порядке, — первым Боришанский, вторым Сазонов, третьим Каляев и четвертым Сикорский, — должны были пройти по Английскому проспекту и Дровяной улице к Обводному каналу и, повернув по Обводному каналу мимо Балтийского и Варшавского вокзалов, выйти навстречу Плеве на Измайловский проспект. Время было рассчитано так, что при средней ходьбе они должны были встретить Плеве по Измайловскому проспекту от Обводного канала до 1-й роты. Шли они на расстоянии сорока шагов один от другого. Этим устранялась опасность детонации от взрыва. Боришанский должен был пропустить Плеве мимо себя и затем загородить ему дорогу обратно на дачу. Сазонов должен был бросить первую бомбу.

Был ясный солнечный день. Когда я подходил к скверу Покровской церкви, то увидел такую картину. Сазонов, сидя на лавочке, подробно и оживленно рассказывал Сикорскому о том, как и где утопить бомбу. Сазонов был спокоен и, казалось, совсем забыл о

себе. Сикорский слушал его внимательно. В отдалении, на лавочке, с невозмутимым по обыкновению лицом, сидел Боришанский, еще дальше, у ворот церкви, стоял Каляев и, сняв фуражку, крестился на образ.

Я подошел к нему:

— Янек!

Он обернулся, крестясь:

— Пора?

Я посмотрел на часы. Было двадцать минут десятого.

— Конечно, пора. Иди.

С дальней скамьи лениво встал Боришанский. Он, не спеша, пошел к Петергофскому проспекту. За ним поднялись Сазонов и Сикорский. Сазонов улыбнулся, пожал руку Сикорскому и быстрым шагом, высоко подняв голову, пошел за Боришанским. Каляев все еще не двигался с места.

— Янек!

— Ну, что?

— Иди.

Он поцеловал меня и торопливо, своей легкой и красивой походкой, стал догонять Сазонова. За ними медленно пошел Сикорский. Я проводил их глазами. На солнце блестели форменные пуговицы Сазонова. Он нес свою бомбу в правой руке между плечом и локтем. Было видно, что ему тяжело нести.

Я повернул назад по Садовой и вышел по Вознесенскому на Измайловский проспект с таким расчетом, чтобы встретить метальщиков на том же промежутке между Первой ротой и Обводным каналом. Уже по внешнему виду улицы я догадался, что Плевэ сейчас проедет. Пристава и городовые имели подтянутый и напряженно выжидающий вид. Кое-где на углах стояли филеры.

Когда я подошел к Седьмой роте Измайловского полка, я увидел, как городской на углу вытянулся во фронт. В тот же момент, на мосту через Обводный канал, я заметил Сазонова. Он шел, как и раньше, — высоко поднимая голову и держа у плеча снаряд. И сейчас же сзади меня раздалась крупная рысь, и мимо промчалась карета с вороными конями. Лакея на козлах не было, но у левого заднего колеса ехал сыщик, как оказалось впоследствии, агент охранного отделения Фридрих Гартман. Сзади ехало еще двое сыщиков в собственной, запряженной вороным рысаком, пролетке. Я узнал выезд Плевэ.

Прошло несколько секунд. Сазонов исчез в толпе, но я знал, что он идет теперь по Измайловскому проспекту параллельно Варшавской гостинице. Эти несколько секунд показались мне бесконечно долгими. Вдруг в однообразный шум улицы ворвался тяжелый и грузный, странный звук. Будто кто-то ударил чугунным молотом по чугунной плите. В ту же секунду задребезжали жалобно разбитые в окнах стекла. Я увидел, как от земли узкой воронкой взвился столб серо-желтого, почти черного по краям дыма. Столб этот, все

расширяясь, затопил на высоте пятого этажа всю улицу. Он рассеялся так же быстро, как и поднялся. Мне показалось, что я видел в дыму какие-то черные обломки.

В первую секунду у меня захватило дыхание. Но я ждал взрыва и, поэтому, скорей других пришел в себя. Я побежал наискось через улицу к Варшавской гостинице. Уже на бегу я слышал чей-то испуганный голос: — „Не бегите: будет взрыв еще...“

Когда я подбежал к месту взрыва, дым уже рассеялся. Пахло гарью. Прямо передо мной, шагах в четырех от тротуара, на запыленной мостовой я увидел Сазонова. Он полулежал на земле, опираясь левой рукой о камни и склонив голову на правый бок. Фуражка слетела у него с головы, и его темно-каштановые кудри упали на лоб. Лицо было бледно, кое-где по лбу и щекам текли струйки крови. Глаза были мутны и полузакрыты. Ниже у живота начиналось темное кровавое пятно, которое, расплываясь, образовало большую багряную лужу у его ног.

Я наклонился над ним и долго всматривался в его лицо. Вдруг в голове мелькнула мысль, что он убит, и тотчас же сзади себя я услышал чей-то голос:

— А министр? Министр, говорят, проехал.

Тогда я решил, что Плевев жив, а Сазонов убит.

Я все еще стоял над Сазоновым. Ко мне подошел бледный, с трясущейся челюстью, полицейский офицер (как я узнал потом, лично мне знакомый пристав Перепелицын). Слабо махая руками в белых перчатках, он растерянно и быстро заговорил:

— Уходите... Господин, уходите...

Я повернулся и пошел прямо по мостовой по направлению к Варшавскому вокзалу. Уходя, я не заметил, что в нескольких шагах от Сазонова лежал изуродованный труп Плевее и валялись обломки кареты. Навстречу мне с Обводного канала бежал народ: толпа каменщиков в пыльных кирпичной пылью фартуках. Они что-то кричали. По тротуарам тоже бежали толпы народу. Я шел наперерез этой толпе и помнил одно:

— Плевев жив. Сазонов убит.

Я долго бродил по городу, пока машинально не вышел к технологическому институту. Там все еще ждал меня Дулебов. Я сел в его пролетку.

— Ну, что? — обернулся он ко мне.

— Плевев жив...

— А Егор?

— Убит.

У Дулебова странно перекосились глаза, и вдруг запрыгали щеки. Но он ничего не сказал. Минут через пять он снова обернулся ко мне:

— Что теперь?

— На обратном пути в четыре часа.

Он кивнул головой. Тогда я сказал:

— В три часа я передам вам снаряд. Будьте опять у технологического института.

Простившись с ним, я пошел в Юсупов сад, где, в случае неудачного покушения, должны были собраться оставшиеся в живых метальщики. Я надеялся, что не все они арестованы и что бомбы их целы. Я хотел устроить второе покушение на Плеве на его обратном пути из Петергофа на дачу. Нам было известно, что он обычно возвращается от царя между 3 и 4 часами. Метальщиками должны были быть Дулебов, я и те, кто остался в живых.

В Юсуповом саду я не нашел никого.

Каляев шел за Сазоновым все время, сохраняя дистанцию в сорок шагов. Когда Сазонов взошел на мост через Обводный канал, Каляев увидел, как он вдруг ускорил шаги. Каляев понял, что он заметил карету. Когда Плеве поровнялся с Сазоновым, Каляев был уже на мосту и с вершины видел взрыв, видел, как разорвалась карета. Он остановился в нерешительности. Было неизвестно, убит Плеве или нет, нужно бросать вторую бомбу или она уже лишняя. Когда он так стоял на мосту, мимо него промчались, волоча обломки колес, окровавленные лошади. Побежали толпы народа. Видя, что от кареты остались одни колеса, он понял, что Плеве убит. Он повернул к Варшавскому вокзалу и медленно пошел по направлению к Сикорскому. По дороге его остановил какой-то дворник.

— Что там такое?

— Не знаю.

Дворник посмотрел подозрительно.

— Чай, оттуда идешь?

— Ну, да, оттуда.

— Так как же не знаешь?

— Откуда знать? Говорят, пушку везли, разорвало...

Каляев утопил в прудах свою бомбу и, по условию, с 12-часовым поездом выехал из Петербурга в Киев.

Боришанский слышал взрыв позади себя, осколки стекол посыпались ему на голову. Боришанский, убедившись, что Плеве обратно не едет, так же, как и Каляев, утопил свой снаряд и уехал из Петербурга.

Сикорский, как мы и могли ожидать, не справился со своей задачей. Вместо того, чтобы пойти в Петровский парк и там, взяв лодку без лодочника, выехать на взморье, он взял у горного института ялик для переправы через Неву и, на глазах яличника, недалеко от строившегося броненосца „Слава“, бросил свою бомбу в воду. Яличник, заметив это, спросил, что он бросает. Сикорский, не отвечая, предложил ему 10 рублей. Тогда яличник отвел его в полицию.

Бомбу Сикорского долго не могли найти, и его участие в убийстве Плеве осталось недоказанным, пока, наконец, уже осенью рабочие рыбопромышленника Колотилина не вытащили случайно неводом эту бомбу и не представили ее в контору Балтийского завода.

Не застав никого в Юсуповом саду, я пошел в бани на Казачьем переулке, спросил себе номер и лег на диван. Так пролежал я до двух часов, когда, по моим расчетам, наступило время отыскивать Швейцера, подготовиться ко второму покушению на Плеве. Выходя на Невский, я машинально купил у газетчика последнюю телеграмму, думая, что она с театра военных действий. На видном месте был отпечатан в траурной рамке портрет Плеве и его некролог.

В начале одиннадцатого часа раненый Сазонов был перенесен в Александровскую больницу для чернорабочих, где в присутствии министра юстиции Муравьева ему была сделана операция. На допросе он, согласно правилам боевой организации, отказался назвать свое имя и дать какие бы то ни было показания.

Из тюрьмы он прислал нам следующее письмо:

„Когда меня арестовали, то лицо представляло сплошной кровоподтек, глаза вышли из орбит, был ранен в правый бок почти смертельно, на левой ноге оторваны два пальца и раздроблена ступня. Агенты, под видом докторов, будили меня, приводили в возбужденное состояние, рассказывали ужасы о взрыве. Всячески клеветали на „еврейчика“ Сикорского... Это было для меня пыткой!

Враг бесконечно подл, и опасно отдаваться ему в руки раненым. Прошу это передать на волю. Прощайте, дорогие товарищи. Привет восходящему солнцу — свободе!

Дорогие братья-товарищи! Моя драма закончилась. Не знаю, до конца ли верно выдержал я свою роль, за доверие которой мне я приношу вам мою величайшую благодарность. Вы дали мне возможность испытать нравственное удовлетворение, с которым ничто в мире не сравнимо. Это удовлетворение заглушало во мне страдания, которые пришлось перенести мне после взрыва. Едва я пришел в себя после операции, я облегченно вздохнул. Наконец—то, кончено. Я готов был петь и кричать от восторга. Когда взрыв произошел, я потерял сознание. Придя в себя и не зная, насколько серьезно я ранен, я хотел самоубийством избавиться от плена, но моя рука была не в силах достать револьвер. Я попал в плен. В течение нескольких дней у меня был бред, три недели с моих глаз не снимали повязки, два месяца я не мог двинуться на постели, и меня, как ребенка, кормили из чужих рук. Моим беспомощным состоянием, конечно, воспользовалась полиция. Агенты подслушали мой бред: они под видом докторов и фельдшеров внезапно будили меня, лишь только я засыпал. Начинали рассказывать мне ужасы о событиях на Из. пр.*, приводили меня в возбужденное состояние... Всячески старались уверить меня, что С.† выдает. Говорили, что он сказал, будто с кем-то (с какою-то бабушкой) виделся в Вильно за несколько дней до 15 июля, говорили, что взят еще еврей в английском пальто, которого будто С. назвал товарищем по Белостоку. К счастью, агентам не удалось попользоваться на счет моей болезни. Я, кажется, все помню, о чем говорил я в бреду, но это не важно, если примете меры. Одну глупость, одно преступление я допустил. Не понимаю, как я мог назвать свою фамилию уже через три недели молчания... Товарищи! Будьте ко мне снисходительны, я без того чувствую себя убитым. Если бы вы знали, какую смертельную муку я испытывал и сейчас испытываю, зная, что я бредил. И я был не в силах помочь себе. Чем? Откусить себе язык,

*Измайловский проспект.

†Сикорский.

но и для этого нужна была сила, а я ослабел... Уже моим желанием было — или поскорее умереть, или скорее выздороветь. Еще, братья-товарищи, меня беспокоит мысль, не согрешил ли я как-нибудь в своих разъяснениях задач партии. Вы же знаете, что во взгляде на террор я — народоведец, и расхожусь с партийной программой. И вот, когда настала пора объясняться с судом, я почувствовал, что нахожусь в ложном положении. Личные взгляды в сторону, надо было говорить о программе. Не согрешил ли я против партии? Если так, то прошу у партии прощения. Пусть она публично заявит, что я ошибся, и что она не ответственна за слова каждого члена, тем более больного, как я. Я еще не совсем оправился после взрыва. Очень расшибло голову... Вот и все, что тяготит мою совесть, исповедываться в чем перед вами, дорогие товарищи, мне все время хотелось. Если я, единица, в чем провинился против общего дела, мой факт остается, и пусть он сам говорит за себя: сознательно я его умалаял.

Приветствую новое течение, которое пробивает себе путь к жизни во взгляде на террор. Пусть мы до конца будем народолюбцами... Я совсем не ждал, что со мною не покончат. И моему приговору я не радуюсь: что за радость быть пленником русского правительства? Будем верить, что ненадолго. На мой приговор я смотрю, как на приговор над судьями, осудившими на смерть Степана, Григория Андреевича и других... — Дорогие братья-товарищи! Крепко обнимаю вас всех и крепко целую. Эта писулька только для вас, моих ближайших товарищей, поэтому прошу ее не публиковать. Моим прощальным приветом, с которым я обращаюсь к вам, да будут слова, которые я крикнул сейчас же, как увидел нашего поверженного врага, и когда думал — сам умираю: „Да здравствует Б.О.*, долой самодержавие“. Прошайте. Живите. Работайте. Любящий вас, братья-товарищи, ваш Егор⁴.

XI

Впоследствии Сазонов писал нам следующее:

„Моим товарищам по делу.

Дорогие братья-товарищи! Прошло полтора года с тех пор, как я вы-был из ваших рядов. Но, оторванный от вас физически, я ни на мгновение не переставал жить с вами заодно всеми моими помыслами. Среди грома революционной бури, прорывавшейся над страной, я с особенным интересом прислушивался к голосу Б.О., и голос ее не затерялся в тысячном хоре революции. Б.О. всегда умела давать должный ответ на запросы жизни. С чувством восторга переживал я ее победы, с болью сердца — неудачи, столь естественные, впрочем, для всякого широкого и живого дела. Многие бойцы выбыли из строя, иные безвозвратно. С чувством глубокой скорби, любви и благоговения склоняюсь над могилами сложивших голову... И еще не конец. Судя по всему, обстоятельства еще потребуют выступления Б.О. на историческую арену. Имея в виду предстоящие вам задачи и жертвы, которых будет стоить их выполнение, я чувствую потребность вспомнить старое.

Не могу выразить вам, братья-товарищи, каким счастьем было для меня вспомнить о вас, о вашем любовном, чисто братском отношении ко мне, о вашем доверии, которым вы почтили меня, поручив мне выполнение столь ответственной задачи, как дело 15 июля. Для меня было бы в тысячу раз хуже всякой смерти оскорбить вашу любовь, оказаться ниже вашего доверия, вообще как-нибудь затенить блестящее дело Б.О., всю величину

*Боевая организация. — Ред.

которого я сам первый признаю и перед которым теряюсь. И судьба едва не сыграла со мною злую шутку. Я был ранен, но не убит. Потеряв силы владеть собою, я в бреду едва не сделался невольным предателем. Пришлось пережить самое, самое отвратительное, что только может испытать революционер: Иудины поцелуи и объятия агентов, которые, пользуясь моей беспомощностью и тем, что повязка лишила меня зрения, являлись ко мне под нейтральным флагом медицины и, как голодные волки, ходили вокруг меня. В течение четырех месяцев до суда я находился в ужаснейшем состоянии неведения относительно результатов моего бреда, в страхе за людей, за дело, в сомнении, — не предатель ли я. Только успех дела и опьянение победой дали мне силы перенести болезнь и пережить сверхчеловеческие душевные муки. К счастью, с бредом обошлось все благополучно. Но после болезни и душевных страданий я вышел на суд очень слабым, с разбитой взрывом и шпионскими кулаками и пинками головою, еле в состоянии владеть мыслями и языком. В таком состоянии я был обязан не говорить на суде, чтобы не погрешить против истинного освещения программы партии. Я так бы, вероятно, и сделал, если бы у меня позади не было кое-чего, что заставляло меня объясниться. Именно: показание, данное мною следователю 15 июля, сейчас же после того, как я очнулся после операции. Не зная, выживу ли я, я счел для себя обязанным заявить поскорее, что я член Б.О.П.С.—Р. и что человек, погибший при взрыве в Северной гостинице, был моим товарищем по делу, — был уговор, чтобы засвидетельствовать принадлежность П. (Покотилова) к Б.О... и только. Но следователь спросил о задачах Б.О., и я, не отдавая себе отчета, что нарушаю партийный принцип «не давать показаний», дал объяснение в довольно неумелой форме, но с резко «народовольческим» оттенком (то самое объяснение, которое значится в обвинительном акте). Почему я это сделал? Почему нарушил принцип и внес диссонанс в толкование программы? Да потому, что во время допроса я несколько раз почти терял сознание, умолял прекратить, просил для поддержания сил пить. До момента суда я мало заботился о данном показании. Но потом, когда наступило время подумать о том, что я сказал бы, если бы пришлось говорить на суде, я живо почувствовал диссонанс моих слов с программой партии. Сознание этого и заставило меня больше всего высказаться официально. За несколько дней до суда я написал, что сказать, все время избегал впадать в «народовольческий грех»... и, оказалось, перетянул в другую сторону. На суде, сверх всего, были такие невозможные условия для высказывания, что я свои слова купил дорогой ценой: мне сначала вовсе не хотели давать говорить до последнего слова и дали только по настоянию Карабчевского; обрывали меня на каждом слове, сбивали, я терял нить речи, измучился, многое проглотил, иногда нечаянно вырывались слова, которые сейчас же с радостью взял бы обратно. После суда чувствовал себя совершенно разбитым и страшно каялся, что вообще поддерживаю своим участием гнусную комедию суда. Так что, когда после мне сообщили, что на воле очень довольны тем, что я говорил, для меня было больно это слышать, как иронию. После суда раз писал вам, дорогие товарищи, по тому же поводу, в объяснение тех ляпсусов, в которые я впал, сам того не желая. Выказать еще раз все это теперь я чувствовал потребность, чтобы ничего невыясненного не осталось между мной и тем из вас, кому придется выходить на подвиг. Для меня необходимое условие моего счастья, это — сохранить навсегда сознание полной солидарности с вами по всем вопросам жизни и программы. Всякому, обреченному на подвиг опасный, кроме всего прочего, особенно желаю передать... ответ в полном обладании всеми силами физическими и духовными, чтобы с честью до конца пронести знамя организации. Привет вам, дорогие товарищи! Бодрости и удач! Будем ве-

рять, что скоро прекратится печальная необходимость бороться путем тер-
рора, и мы завоюем возможность работать на пользу наших социалисти-
ческих идеалов при условиях, более соответствующих силам человека.

Ваш Егор.

P.S. Прошу эту записку доставить по принадлежности, т.е. Б.О., а не
чужим, избранным людям, что, оказывается, было сделано с моей первой
запиской."

Судившийся вместе с Сазоновым Шимель-Лейба Вульфович Сикорский, мещанин г. Кнышина по происхождению и кожевник по ремеслу, с 14-летнего возраста уже работал на фабрике, сперва в Кнышине, потом в местечке Криниках и еще позднее в г. Бело-стоке. В Криниках он впервые познакомился с революционными партиями, но только в Белостоке окончательно примкнул к партии социалистов-революционеров. Там же он близко познакомился с Боришанским, и Боришанский, как я упоминал выше, ввел его в июне 1904 года в боевую организацию.

Судили Сазонова и Сикорского 30 ноября 1904 г. в петербургской судебной палате с сословными представителями. Защищал Сазонова присяжный поверенный Карабчевский, а Сикорского — присяжный поверенный Казаринов. По приговору палаты оба подсудимые были лишены всех прав состояния, причем Сазонов был сослан в каторжные работы без срока, а Сикорский — на 20 лет. Такой сравнительно мягкий приговор (все, в том числе и сам Сазонов, ожидали предания военно-окружному суду и повешения) объясняется тем, что правительство, назначая министром внутренних дел князя Святополк-Мирского, решило несколько изменить политику и не волновать общество смертными казнями.

Сазонов, как и Сикорский, после приговора были заключены в Шлиссельбургскую крепость. По манифесту 17 октября 1905 года срок каторжных работ был им обоим сокращен. В 1906 году они были переведены из Шлиссельбурга в Акатуйскую каторжную тюрьму.

ГЛАВА ВТОРАЯ

УБИЙСТВО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ СЕРГЕЯ

I

ВЕЧЕРОМ, 15 июля, я уехал из Петербурга в Варшаву. В Варшаве меня ожидали Азеф и Ивановская. Азефа, однако, я там уже не нашел: он из газет узнал об убийстве Плеве и без меня выехал за границу. Ивановская уехала в Одессу, я — в Киев, где у меня было назначено свидание с Каляевым. От него я узнал, что ходят слухи об аресте в Петербурге тогда еще не опознанного Сикорского.

Я решил съездить вместе с Каляевым на родину Сикорского, в Белосток: я хотел убедиться лично в справедливости этих слухов. В Белостоке нам не удалось узнать ничего, и мы уехали в Сувалки, чтобы оттуда, при помощи Нехи Нейерман, переправиться в Германию.

У Нехи Нейерман меня встретили, как старого знакомого. В ту же ночь мы перешли, в сопровождении солдата пограничной стражи, границу, а наутро были уже в поезде немецкой железной дороги. В ста верстах от Эйдкунена, на станции Инстербург, к нам подошел немецкий жандарм:

- Куда вы едете?
- В Берлин.
- В Берлин?
- Да, в Берлин.
- А чем вы занимаетесь?
- Мы — студенты.
- Вы едете из России?
- Ну, конечно, из России.
- Ваш паспорт?

У нас не было заграничных паспортов. У меня была только зеленая мещанская для проживания внутри империи книжка. Я был уверен, что нас арестуют, и, зная немецкие нравы, не сомневался, что нас выдадут русским жандармам. Я все-таки вынул мою зеленую книжку.

- Паспорт? Извольте.

Увидав книжку, жандарм даже не раскрыл ее. Он вдруг преобразился. Приложив руку к козырьку, он сказал:

— Извините. Я ошибся. Вы сами знаете — разные люди ездят. Через три дня мы были в Женеве.

В Женеву приехали также Швейцер, Боришанский, Дора Бриллиант и Дулебов. Мацевский остался в России.

В этот мой приезд я близко познакомился с Гоцем. Он, тяжело больной, уже не вставал с постели. Лежа в подушках и блестя своими черными юношескими глазами, он с увлечением расспрашивал меня о всех подробностях дела Плеве. Было видно, что только болезнь мешает ему работать в терроре: он должен был довольствоваться ролью заграничного представителя боевой организации.

От него я узнал, что весной собиралось в Одессе заседание центрального комитета. На этом заседании возбуждался вопрос о деятельности боевой организации. Многими высказывалось убеждение, что Плеве не будет нами убит. После долгих дебатов центральный комитет постановил учредить контроль над боевой организацией, и постановление это было послано за границу Гоцу. Как я узнал позже, Гоц возмутился. Только благодаря его вмешательству, нам не было предложено извещать центральный комитет о подробностях нашей работы. Такое предложение имело бы, несомненно, самые печальные последствия. Едва ли кто-либо из членов организации подчинился бы в этом случае дисциплине. Наоборот, вероятнее, что весь состав ее пошел бы на конфликт с высшим учреждением партии. Чем бы окончился этот конфликт, сказать трудно, но во всяком случае он отразился бы неблагоприятно на всех партийных делах. Заслуга Гоца заключается в том, что он предупредил почти неизбежное столкновение.

Официально роль Гоца в терроре, как я выше упомянул, ограничивалась заграничным представительством боевой организации. На самом деле она была гораздо важнее. Не говоря уже о том, что и Гершуни и Азеф советовались с ним о предприятиях, — мы, на работе в России, непрерывно чувствовали его влияние. Азеф был практическим руководителем террора, Гоц — идейным. Именно в его лице связывалось настоящее боевой организации с ее прошедшим. Гоц сумел сохранить боевые традиции прошлого и передать их нам во всей их неприкосновенности и полноте. Благодаря ему, имя нам лично неизвестного Гершуни было для нас так же дорого, как впоследствии имена Каляева и Сазонова. Для членов боевой организации, знавших Гоца за границей, он был не только товарищ, он был друг и брат, никогда не отказывавший в помощи и поддержке. Его значение для боевой организации трудно учесть: он не выезжал в Россию и не работал рука об руку с нами. Но, мне думается, я не ошибусь, если скажу, что впоследствии его смерть была для нас потерей не менее тяжелой, чем смерть Каляева.

В Женеве, по случаю убийства Плеве, царило радостное оживление. Партия сразу выросла в глазах правительства и стала со-

знавать свою силу. В боевую организацию поступали многочисленные денежные пожертвования, являлись люди с предложением своих услуг. С этим подъемом совпали известия из России — назначение министром внутренних дел князя Святополк-Мирского и эра либеральных речей и банкетов. К новому назначению партия отнеслась, конечно, скептически, и от либеральных речей не ожидала больших результатов. И все-таки было ясно, что убийство Плеве уже сыграло крупную роль: правительство поколебалось, и общество заговорило смелее. Этот успех в нас, членах боевой организации, вселял уверенность в своих силах.

В Женеве я застал Бориса Васильевича Моисеенко, бывшего студента горного института, моего товарища по группе „Рабочее Знамя“ и по вологодской ссылке. Еще в Вологде, в разговорах со мной и с Каляевым, он высказывался за необходимость убийства Плеве, и теперь бежал за границу с целью работать в терроре. Я познакомил его с Азефом. Азеф принял его в нашу организацию.

Тогда же в Женеве состоялся ряд совещаний по вопросу об уставе боевой организации. На совещаниях этих присутствовали: Азеф, Швейцер, Каляев и я. Был выработан новый устав взамен проекта старого, составленного во времена Гершуни, и нам тогда неизвестного. Впоследствии организация не применяла ни старого, ни нового устава, и внутреннее ее устройство определялось молчаливым соглашением между ее членами, и особенно авторитетом Азефа. Но наши совещания все-таки представляют известный интерес. Они были вызваны желанием резко отграничиться от центрального комитета и предупредить в будущем возможность какого бы то ни было вмешательства в наши дела. Среди товарищей господствовало убеждение, что для успеха террора необходима полная самостоятельность боевой организации в вопросах как технических, так и внутреннего ее устройства. Такой взгляд естественно вытекал, во-первых, из сознания ненормальности положения партии, признающей террор и имеющей во главе своей центральный комитет, состоящий в подавляющем большинстве из людей, незнакомых с техникой боевого дела*, и, во-вторых, из сознания необходимости для успеха террора строгой конспиративной замкнутости организации. Кроме этого, у многих из нас зародилась боязнь за успех террористических предприятий: мы опасались, что право центрального комитета распускать боевую организацию может вредно отразиться на деятельности последней.

Таким образом, устав был нам нужен не столько для внутреннего нашего устройства, сколько для урегулирования наших отношений с центральным комитетом. Указанных выше взглядов держалось большинство членов организации, и только Азеф и Швейцер

*В состав центрального комитета входили в это время, если не ошибаюсь: М.Р.Гоц, Е.Ф.Азеф, В.М.Чернов, А.И.Потапов, С.Н.Слетов, Н.И.Ракитников, М.Ф.Селюк, Е.К.Брешковская.

допускали в принципе право технического контроля боевой организации центральным комитетом. На наших женевских совещаниях Каляеву и мне пришлось много спорить по этому вопросу с Азефом и Швейцлером. После долгих переговоров был принят устав, составленный в духе большинства членов организации, прямо и резко ограничивавший сферу влияния центрального комитета его политической компетенцией. Тогда же было постановлено, что принятый нами устав вступает в законную силу без одобрения центрального комитета, явным порядком, с ведома лишь заграничного представителя боевой организации.

Проект устава боевой организации, составленный при Гершуни, гласил:

Цель боевой организации заключается в борьбе с существующим строем посредством устранения тех представителей его, которые будут признаны наиболее преступными и опасными врагами свободы. Устраняя их, боевая организация совершает не только акт самозащиты, но и действует наступательно, внося страх и дезорганизацию в правящие сферы, и стремится довести правительство до сознания невозможности сохранить далее самодержавный строй.

Кроме казней врагов народа и свободы, на обязанности боевой организации лежит подготовка вооруженных сопротивлений власти, вооруженных демонстраций и прочих предприятий боевого характера, в которых сила правительственного деспотизма сталкивается с силой отпора или нападения под знаменем свободы, в которых слово воплощается в дело, в которых реализуется идея революции.

1

1. Боевая организация распадается на два отдела: центральный и местный. Первый состоит из распорядительной комиссии и ее агентов, второй — из местных групп, распределенных по разным районам.

2. Распорядительной комиссии принадлежит верховное руководство и решающий голос при совершении террористических актов, когда дело касается лиц, устранению которых придается общегосударственное значение. Сверх того, распорядительной комиссии принадлежит контроль над деятельностью местных боевых групп, которые обязаны доводить до сведения распорядительной комиссии о всяком замышляющемся факте, причем распорядительная комиссия имеет право налагать veto на решения местной боевой группы.

3. Распорядительная комиссия действует вполне самостоятельно, подчиняясь центральному комитету партии социалистов-революционеров лишь в тех пределах, которые ставит программа партии.

4. Распорядительная комиссия заведывает боевой организацией и паспортным бюро. Касса составляется из пожертвований на дело боевой организации, и сбор денег может производиться только с разрешения распорядительной комиссии. Боевая организация распоряжается денежными средствами вполне самостоятельно, и контроль кассы принадлежит только распорядительной комиссии.

5. Число членов распорядительной комиссии не должно превышать десяти.

6. Все вопросы, за исключением вопросов об изменении устава и принятии новых членов, решаются простым большинством голосов; для изменения же устава и принятия нового члена нужно единогласное решение.

7. Все члены распорядительной комиссии равноправны и в своих действиях подлежат контролю лишь общего собрания распорядительной комиссии.

8. Особые условия деятельности боевой организации делают необходимым предъявление к членам особо строгих требований:

а) Член боевой организации должен быть человеком, обладающим безграничной преданностью делу организации, доходящей до готовности пожертвовать своей жизнью в каждую данную минуту.

б) Он должен быть человеком выдержанным, дисциплинированным и конспиративным.

в) Он должен дать обязательство безусловно повиноваться постановлениям общего собрания распорядительной комиссии, если он член или агент комиссии, и распоряжениям комиссии или же районного представителя комиссии, если он член местной боевой организации.

г) Прием в члены какого-либо из отделов боевой организации допускается лишь при согласии на то всех членов данной группы. Сверх того, нужно утверждение со стороны агента распорядительной комиссии, заведующего данным районом, если новый член вступает в одну из местных боевых групп.

9. Агенты распорядительной комиссии отдают себя в безусловное распоряжение комиссии, повинуются всем ее указаниям и пользуются правом лишь совещательного голоса.

10. Деятельность боевой организации может быть остановлена лишь общепартийным съездом, если он найдет это нужным в тактических целях.

2

Местные боевые группы образуются с утверждения распорядительной комиссии во всех районах, на которые распространяется деятельность партии. В каждый из этих районов, по мере возникновения там местной боевой организации, распорядительная комиссия назначает своего районного представителя — члена или агента распорядительной комиссии, которому подчиняются все местные боевые группы.

1. Местные боевые группы вполне автономны, но действуют лишь в пределах своего района. Они обязаны давать отчет в своей деятельности распорядительной комиссии и предупреждать ее о каждом замышляемом факте.

2. Расходы по тем предприятиям, которые ведутся по указанию или же с одобрения распорядительной комиссии, относятся на счет центральной кассы боевой организации.

3. Члены местных организаций принимают на себя обязательство предоставить себя в полное распоряжение распорядительной комиссии для всякого рода боевых предприятий, когда комиссия этого потребует.

4. Все местные боевые группы данного района находятся в непосредственном подчинении у местного представителя боевой организации.

Проект этот так и остался проектом. Он не вошел в жизнь и не применялся на практике. „Распорядительной комиссии“ никогда, ни до, ни после составления проекта, не существовало, местных боевых групп тогда еще не было, наконец, и количество террористических сил было настолько ничтожно, что его едва хватило бы даже только на распорядительную комиссию.

Но проект отличался тою же существенною особенностью, какою отличался и наш устав: согласно ему, террористические организации резко обособлялись от центрального комитета и пользовались полною внутреннею самостоятельностью. Право роспуска боевой организации предоставлялось не центральному комитету, а общепартийному съезду, — высшей инстанции партии.

Наш устав, принятый в августе 1904 года, был следующий:

1. Боевая организация ставит себе задачей борьбу с самодержавием путем террористических актов.

2. Боевая организация пользуется полной технической и организационной самостоятельностью, имеет свою отдельную кассу и связана с партией через посредство центрального комитета.

3. Боевая организация имеет обязанность сообразоваться с общими указаниями центрального комитета, касающимися:

а) Круга лиц, против коих должна направляться деятельность боевой организации.

б) Моменты полного или временного, по политическим соображениям, прекращения террористической борьбы.

Примечание. В случае объявления центральным комитетом полного или временного, по политическим соображениям, прекращения террористической борьбы, боевая организация оставляет за собой право довести до конца свои предприятия, если таковые ею были начаты до означенного объявления центрального комитета, какового права боевая организация может быть лишена лишь специальным постановлением общего съезда партии.

4. Все сношения между центральным комитетом и боевой организацией ведутся через особого уполномоченного, выбираемого комитетом боевой организации из числа членов последней.

5. Верховным органом боевой организации является комитет, пополняемый через кооптацию из числа ее членов.

6. Все права комитета, кроме нижеперечисленных, передаются им избираемому им же из числа его членов, сменяемому по единогласному соглашению всех членов комитета, члену-распорядителю.

7. Комитет боевой организации сохраняет за собой:

а) Право приема новых и исключения старых членов как комитета, так и организации (во всех случаях с единогласного соглашения всех членов комитета).

б) Право участия в составлении плана действий, причем, в случае разногласия между отдельными членами комитета, решающий голос остается за членом-распорядителем.

с) Право участия в составлении литературных произведений, издаваемых от имени боевой организации.

8. Одновременно с выбором члена-распорядителя, комитет боевой организации производит выбор его заместителя, к каковому заместителю переходят все права и полномочия члена-распорядителя в случае ареста последнего.

9. Число членов комитета боевой организации неограничено, в случае же ареста одного из них, все права его переходят к заранее назначенному комитетом кандидату.

10. Члены боевой организации во всех своих действиях подчинены комитету боевой организации.

11. В случае одновременного ареста всех членов комитета боевой организации или всех ее членов, кроме одного (заранее назначенного комитетом кандидата), право кооптации постоянного комитета боевой организации переходит к заграничному ее представителю, а во втором случае — также и к кандидату в члены комитета боевой организации.

12. Настоящий устав может быть изменен лишь с единогласного соглашения всех членов комитета боевой организации и ее заграничного представителя.

Членом-распорядителем комитета боевой организации был избран Азеф, заместителем его я, в комитет же вошел, кроме Азефа и меня, еще и Швейцер.

Этим уставом и партийным соглашением, напечатанным в № 7 „Революционной России“, определялось взаимоотношение между центральным комитетом и боевой организацией. В № 7 „Революционной России“ читаем:

„Согласно решению партии, из нее выделялась специальная боевая организация, принимающая на себя, — на началах строгой конспирации и разделения труда, — исключительно деятельность дезорганизационную и террористическую. Эта боевая организация получает от партии, через посредство ее центра, — общие директивы относительно выбора времени для начала и приостановки военных действий и относительно круга лиц, против которых эти действия направляются. Во всем остальном она наделена самыми широкими полномочиями и полной самостоятельностью. Она связана с партией только через посредство центра и совершенно отделена от местных комитетов. Она имеет вполне обособленную организацию, особый личный состав (по условиям самой работы, конечно, крайне немногочисленный), отдельную кассу, отдельные источники средств“.

Это партийное решение, обособляющее вполне боевую организацию от центрального комитета, впоследствии не было отменено ни первым, ни вторым общими съездами партии.

II

Окончив обсуждение устава и выпустив, вместе с Гоцем и Черновым, четвертый „Летучий Листок Революционной России“*, я уехал в Париж. В Париже устраивалась динамитная мастерская. Швейцер, под именем торговца сливками, греческого подданного Давужогро, снял квартиру в квартале Гренель, на улице Грамм. Он поселился в ней вместе с Дорой Бриллиант и младшим братом Азефа, Владимиром, по образованию химиком. В той мастерской изготовлялся динамит для будущих покушений, в ней же была и школа для занятий по химии взрывчатых веществ и по снаряжению динамитных снарядов. Каляев, Дулебов, Боришанский, Моисеенко и я поочередно обучались у Швейцера технике динамитного дела. Работая в этой мастерской, Швейцер в то же время занимался изучением новых открытий по химии и электротехнике. Ему казалось, что только широкое применение научных изобретений выведет террор на дорогу победоносной борьбы с правительством. К сожалению, он не успел сделать ничего крупного в этом направлении.

В политике Швейцер держался умеренных взглядов. Я помню, однажды вечером, после занятий у него в мастерской, мы вышли вместе на улицу и зашли в кафе. Он спросил себе газету и весь погружился в чтение. Вдруг он сказал:

*В этом „Листке“ статья „Смерть В.К. фон-Плэве, впечатления и отклики“ принадлежит Каляеву.

— А министерство накануне падения.

Я удивленно обернулся к нему.

— Какое министерство?

— Французское, конечно.

— Французское?.. Так не все ли равно?

В свою очередь он удивленно посмотрел на меня:

— Как все равно? Радикалы будут у власти.

— Ну?

— Я же вам говорю: радикалы будут у власти.

Я все еще не понимал. Я сказал:

— Какая же разница — Мелин, Комб или Клемансо?

— Какая разница?.. Вы не понимаете? Значит, вы вообще против парламента?

Я сказал, что действительно, не придаю большого значения борьбе партий в современных парламентах и не вижу победы трудящихся масс в замене Мелина Комбом или Комба Клемансо.

Швейцер спросил:

— Значит, вы анархист?

— Нет. Это значит только то, что я сказал: я не придаю большого значения парламенту.

— С вашими взглядами я бы не был в партии социалистов-революционеров.

Такими „анархистами“, как я, были и Каляев, и Моисеенко, и Дулебов, и Боришанский, и Бриллиант. Мы все сходились на том, что парламентская борьба бессильна улучшить положение трудящихся классов, мы все стояли за *action directe** и были одинаково далеки как от тактики Жореса, так и от тактики Вальяна. Был еще один, более важный пункт разногласий между нами и Швейцером. Мы разное смотрели на задачи террора. Для Швейцера центральный террор был только одним из проявлений планомерной партийной борьбы, и боевая организация — только одним из учреждений партии социалистов-революционеров. Хотя Каляев впоследствии, в речи своей на суде, стал на эту же точку зрения, в действительности он держался иной. Он полагал, как и мы, что центральный террор — важнейшая задача данного исторического момента, что перед этой задачей бледнеют все остальные партийные цели, что для успеха террора должно и можно поступиться успехом всех других предприятий, что боевая организация, составляя часть партии социалистов-революционеров, близкой ей по направлению и целям, делает вместе с тем общепартийное, даже внепартийное дело, — служит не той или иной программе и партии, а всей русской революции в целом. Я добавлю к этому, что не только Каляев, но и все мы не сочили бы себя вправе высказывать публично, на суде, такие мнения: вступая в партию, мы брали на себя обязательство защищать на суде строго партийную точку зрения.

*Непосредственное действие (фр.). — Ред.

Я помню мой разговор с Каляевым по поводу прокламации центрального комитета, изданной после 15 июля на французском языке в Париже: „Ко всем гражданам цивилизованного мира“. В этой прокламации, между прочим, было такое заявление:

„Вынужденная решительность наших средств борьбы не должна ни от кого заслонять истину: сильнее, чем кто бы то ни был, мы во всеуслышание порицаем, как это всегда делали наши героические предшественники „Народной Воли“, террор, как тактическую систему в свободных странах. Но в России, где деспотизм исключает всякую открытую политическую борьбу и знает только один произвол, где нет спасения от безответственной власти, самодержавной на всех ступенях бюрократической лестницы, — мы вынуждены противопоставить насилию тирании силу революционного права“.

Каляев возмущался этим заявлением. Он говорил:

— Я не знаю, что бы я делал, если бы родился французом, англичанином, немцем. Вероятно, не делал бы бомб, вероятно, я бы вообще не занимался политикой... Но почему именно мы, партия социалистов-революционеров, т.е. партия террора, должны бросить камнем в итальянских и французских террористов? Почему именно мы отрекаемся от Лункена и Равашоля? К чему такая поспешность? К чему такая боязнь европейского мнения? Не мы должны бояться, — нас должны уважать. Террор — сила. Не нам заявлять о нашем неуважении к ней...

Я сказал ему на эти его слова то, что мне сказал Швейцер:

— Яnek, ты — анархист.

— Нет, но я верю в террор больше, чем во все парламенты в мире. Я не брошу бомбу в café, но и не мне судить Равашоля. Он мне более товарищ, чем те, для кого написана прокламация.

Моисеенко был согласен с Каляевым, Дулебов и Боришанский высказывались еще более резко. Рабочие, они допускали все средства в борьбе с наиболее опасным врагом — с буржуазией. Дора Бриллиант молчаливо одобряла такое их мнение. Эти разногласия, конечно, мало отражались на наших между собой отношениях. В организации в общем продолжал царить прежний дух взаимной любви и дружбы.

Тогда же в Париже состоялся ряд совещаний нашего комитета по вопросу о дальнейшем образе действий. Было решено, что организация предпримет одновременно три дела: в Петербурге — на петербургского генерал-губернатора, генерала Трепова, в Москве — на московского генерал-губернатора, великого князя Сергея Александровича, и в Киеве — на киевского генерал-губернатора, генерала Клейгельса. Наличный состав организации определялся лицами, бывшими в то время за границей; Мацевский был в России, и относительно него было неизвестно, примет ли он немедленное участие в боевой работе. Мацевский такого участия не принял: он ушел в польскую социалистическую партию. За исключением его и оставшегося за границей Азефа, боевая организация состояла в

то время из: Доры Бриллиант, Дулебова, Боришанского, Каляева, Швейцера, Моисеенко, Ивановской, меня и Татьяны Леонтьевой.

Татьяна Александровна Леонтьева, живя в Женеве, через Брешковскую предложила свои услуги боевой организации. И на меня, и на Каляева она сделала впечатление, похожее на то, которое делала при первых встречах Дора Бриллиант. С первого же слова в Леонтьевой чувствовалась неисчерпаемая преданность революции и готовность во имя ее на жертву. Особенно понравилась она Каляеву, я же верил его чутью, и потому, не колеблясь, высказался за прием ее в члены организации. Леонтьева могла быть полезной делу террора не только своей готовностью отдать за него жизнь. Дочь якутского вице-губернатора, аристократка по матери и по матери же связанная с богатым и чиновным Петербургом, она могла надеяться быть представленной ко двору и, в счастливом случае, получить звание фрейлины. Она еще не потеряла своей легальности, ни в каких революционных делах замешана не была, и в глазах полиции не могла казаться опасной. Ее присутствие в организации давало нам возможность иметь из хорошего источника необходимые для нас сведения о министрах и великих князьях. Предполагалось, поэтому, что ее роль пока и ограничится упрочением ее петербургских связей и сообщением нам таких сведений.

Было решено, что в Петербург поедет Швейцера и станет во главе покушения на Трепова. Из старых членов организации вместе с ним должны были принять участие в этом покушении Дулебов и Ивановская, из новых — Леонтьева и ряд товарищей, частью намеченных на этих же совещаниях, частью кооптированных в России Швейцерам по праву, данному ему комитетом. Петербургский отдел боевой организации впоследствии включил еще в свой состав: Басова, Шиллерова, Подвицкого, Трофимова, Загороднего, Маркова, Барыкова и некоего рабочего из Белостока, известного под именем „Саши Белостоцкого“. Задача Швейцера, сама по себе очень трудная, осложнилась еще тем, что члены его отдела были мало знакомы между собой и большинство из них не имело никакого боевого опыта. Кроме того, „Саша Белостоцкий“ оказался человеком, для боевой организации непригодным.

Киевский отдел боевой организации был поручен, по настоянию Азефа, Боришанскому. Ему также было предоставлено право кооптации новых членов, но всего в количестве двух человек, и то исключительно из лично и хорошо ему знакомых рабочих по Белостоку — из наметившейся уже тогда белостоцкой боевой дружины. Боришанский кооптировал супругов Казак.

Наконец, мне было поручено покушение на великого князя Сергея Александровича. Со мной в Москву должны были ехать Дора Бриллиант, Каляев и Моисеенко. Я тоже имел право пополнить свой отдел, но всего только одним человеком, указанным мне Азефом. Он рекомендовал мне старого народовольца, рабочего Х., о котором, по его словам, можно было справиться в Баку.

Для всех трех отделов план покушения был принят один и тот же — тот, который был принят и в деле Плеве. Предполагалось учредить наружное наблюдение за Треповым, великим князем Сергеем и Клейгельсом и затем убить их на улице. Для целей наблюдения должны были, как и раньше, служить извозчики и уличные торговцы. В частности, в Москве извозчиками должны были быть Моисеенко и Каляев.

Успех дела Плеве не оставлял в нас сомнений в успехе и предпринимаемых нами покушений. Мы не задумывались ни над тем, что петербургский отдел будет состоять из неопытных людей, ни над тем, что отдел Боришанского слишком малочислен. Мы были твердо уверены, что при отсутствии провокации, предпринятые нами дела должны увенчаться успехом.

После совещания Каляев и Моисеенко уехали в Брюссель, а я же остался в Париже, ожидая паспорта и динамита. Паспорта я и Швейцер получили английские, я — на имя Джемса Галлея, Швейцер — на имя Артура Мак-Куллона. Впоследствии, после смерти Швейцера, — в Лондоне состоялся суд над Мак-Куллоном и посредником между ними и нами — Бредсфордом по обвинению их в незаконной передаче паспортов русским революционерам. Оба англичанина были приговорены к денежному штрафу по 100 фунтов каждый, и штраф этот был внесен боевой организацией. В то время боевая организация обладала значительными денежными средствами: пожертвования после убийства Плеве исчислялись многими десятками тысяч рублей. Часть этих денег отдавали партии на общепартийные дела.

В начале ноября члены боевой организации выехали в Россию. Динамит был уже готов, и мы под платьем перевезли его через границу. Через несколько дней Каляев, Моисеенко, Дора Бриллиант и я встретились в Москве. Боришанский и Швейцер разделили между собою динамит в Варшаве.

III

Начиная дело великого князя Сергея, мы пользовались опытом покушения на Плеве. Московский комитет должен был располагать некоторыми ценными сведениями о генерал-губернаторе. Мы предпочли отказаться от них: мы не желали вступать в какие бы то ни было сношения с комитетскими работниками. Степень конспиративности и революционной опытности последних была нам неизвестна, и мы боялись знакомством с ними навести полицию на след нашего покушения. Поэтому московский комитет долгое время не подозревал, что в Москву прибыли и работают члены боевой организации. Мы же, полагаясь на собственные силы, самостоятельно начали наблюдения.

Предстояло прежде всего узнать, где живет генерал-губернатор. Это было известно каждому москвичу, но ни один из нас москвичом

не был. Мы колебались, какой из дворцов великого князя взять исходной точкой для наблюдения: генерал-губернаторский дом на Тверской, Николаевский или Нескучный дворцы. В адрес-календаре мы не могли найти указаний, спросить же нам было не у кого, если не у членов московского комитета.

Моисеенко разрешил эту задачу. Он поднялся на колокольню Ивана Великого и начал расспрашивать сопровождавшего его сторожа о достопримечательностях Москвы. В разговоре он попросил указать ему дворец генерал-губернатора. Сторож указал на Тверскую площадь и сообщил, что великий князь живет именно там.

Таким образом, мы узнали нужный нам адрес. Теперь предстояло установить выезды великого князя. Моисеенко и Каляев купили лошадей и сани и записались извозчиками. Я не сомневался, что Каляев справится со своей задачей: его опыт уличного торговца должен был ему помочь и на извозничьем дворе. Но Моисеенко не имел опыта. Кроме того, он происходил из состоятельной семьи и не привык ни к физическому труду, ни к тяжелым условиям жизни. Несмотря на это, он очень быстро освоился со своим положением.

Моисеенко и Каляев купили сани в одно и то же время, и за лошадей заплатили одни и те же деньги, но даже по внешности они значительно отличались друг от друга.

Моисеенко ездил на заезженной, захудалой лошаденке, которая кончила тем, что упала за Тверской заставой. Сани у него были подержанные и грязные, полость рваная и облезлая. Сам он имел вид нищего московского Ваньки. У Каляева была сытая крепкая лошадь, сани были с меховой полостью. Он подпоясывался красным шелковым кушаком, и в нем не трудно было угадать извозчика-хозяина. Зато на дворах их роли менялись. Моисеенко почти не давал себе труда надевать маску. На расспросы извозчиков о его биографии он не удостоивал отвечать; по воскресеньям уходил на целый день из дому; для мелких услуг и для ухода за лошадьёю нанимал босяка; с дворником держал себя независимо и давал понять, что имеет деньги. Такой образ действий приобрел ему уважение извозчиков. Каляев держался совсем другой точки. Он был застенчив и робок, подолгу и со всевозможными подробностями рассказывал о своей прежней жизни, — лакея в одном из петербургских трактиров, был очень набожен и скуп, постоянно жаловался на убытки и прикидывался дурачком там, где не мог дать точных и понятных ответов. На дворе к нему относились с оттенком пренебрежения и начали его уважать много позже, только убедившись в его исключительном трудолюбии: он сам ходил за лошадьёю, сам мыл сани, выезжал первый и возвращался на двор последним. Как бы то ни было, и Каляев и Моисеенко разными путями достигли одного и того же: их товарищи-извозчики, конечно, не могли заподозрить, что оба они — не крестьяне, а бывшие студенты, члены боевой организации, наблюдающие за великим князем Сергеем.

На работе они соперничали друг с другом. Каляев, как и перед убийством Плеве, выстояв определенные по общему плану часы на назначенной улице, не прекращал наблюдения. Весь остаток дня он продолжал наблюдать, руководствуясь уже своими собственными соображениями. И ему удавалось не раз видеть великого князя на такой улице и в такой час, где и когда его можно было ожидать всего менее. У Моисеенко тоже был свой план. Независимо от Каляева, он приводил его в исполнение. Но он мало ездил по улицам. Чисто логическим путем он приходил к выводу, что великий князь неизбежно выедет в определенное время, и старался быть на Тверской как раз в эти часы. Таким образом, его наблюдение дополняло наблюдение Каляева и наоборот.

Трудный вопрос о систематических свиданиях со мной, — о свиданиях барина-англичанина с извозчиками, они тоже решали различно. Каляев предпочитал видеться в санях, хотя с козел было неудобно сговариваться о наблюдении, и мороз не позволял долгих свиданий. Только изредка, и заранее обдумав предлог для извозничьего двора, Каляев по воскресеньям приходил ко мне в трактир Бакастова у Сухаревой башни. Эти свидания были праздниками для нас. Мы могли провести вместе два-три часа, обсудить все подробности дела и подумать о будущем. Каляев много говорил о своей работе и не раз повторял, что он счастлив, и что с нетерпением ждет покушения. Моисеенко почти не встречался со мной на улице. Не устаивая объясняться у себя на дворе, он надевал свою праздничную поддевку и вечером шел на свидание со мной в трактир, в манеж или цирк. Он холодно и спокойно рассказывал о великом князе, но за этим наружным спокойствием сквозило так же, как у Каляева, увлечение работой. Об убийстве он говорил сдержанно и всегда предполагал, что непосредственным участником его будет он сам. И с Моисеенко и с Каляевым я в подробностях обсуждал каждый шаг нашей общей работы.

Каляев так рассказывал о своей жизни:

— Сделал я себе паспорт на имя подольского крестьянина, хохла, Осипа Ковала, — хохла, чтобы объяснить мой польский акцент. И ведь бывает такое несчастье. Вечером спрашивает дворник: ты какой, говорит, губернии? Я, говорю, дальний, подольский я. Ну, — говорит, — земляки будем... Я сам, мол, подольский. А какого уезда? Я говорю: я ущицкий. Обрадовался дворник: вот так раз, говорит, и я ведь тоже ущицкий. Стал он меня расспрашивать, какой волости, какого села, слышал ли про ярмарку в Голодаевке, знаешь ли деревню Нееловку? Ну, да ведь меня не поймаетшь. Я раньше, чем паспорт писать, зашел в Румянцевскую библиотеку, прочитал про Ущицкий уезд, — смеюсь. Как не знать, говорю, бывали, — а ты, говорю, в городе-то бывал, в Ущице-то есть собор, говорю, видел? Еще оказалось, что я лучше дворника родину знаю.

Моисеенко говорил иное:

— Подходит ко мне на дворе какой-то босяк. Ты откуда, зем-

ляк, будешь? Я посмотрел на него, говорю: из Порт-Артура я. Он и глаза раскрыл: из Порт-Артура? Ну? А я на него не гляжу, лошади хомут надеваю. Постоял он, чешет в затылке; а чего ты, говорит, бритый? А у меня голова, видишь, стриженная не по-извозчичьему положению. — Бритый? — говорю. В солдатах был, в больнице в тифу лежал, теперь с дураком разговариваю... Опять гляжу, — чешет в затылке, потом говорит: ну и вижу я — птица ты, в солдатах служил, в Порт-Артуре был, в тифу в больнице лежал... И с тех пор шапку передо мной ломает.

Несмотря на малочисленность организации, наблюдение, благодаря нашему прежнему опыту, шло очень успешно. Вскоре был установлен в точности выезд великого князя. Каляев рассказывал о нем так же подробно, как некогда о карете Плеве. Отличительными чертами великокняжеской кареты были белые вожжи и белые, яркие, ацетиленовые огни фонарей. Таких огней больше ни у кого в Москве не было. Только великий князь и его жена, великая княгиня Елизавета, ездили с таким освещением. Это несколько усложняло нашу задачу, — можно было ошибиться и принять карету великой княгини за карету великого князя. Но Каляев и Моисеенко изучили великокняжеских кучеров, и по кучерам безошибочно брались определить, кто именно едет в карете.

Установления выезда было, однако, еще недостаточно. Необходимо было установить, куда и когда ездит великий князь. Вскоре нам удалось выяснить, что, живя в доме генерал-губернатора, он часто, раза два-три в неделю, в одни и те же часы, ездит в Кремль. Таким образом, уже через месяц, к началу декабря, наблюдение в главных чертах было закончено. Я предупредил об этом Дору Бриллиант, хранившую динамит в Нижнем Новгороде.

Тогда же, в начале декабря, я уехал в Баку, чтобы увидеться там с рекомендованным мне Азефом народовольцем Х. В Баку я разыскал членов местного комитета, в том числе Марию Алексеевну Прокофьеву, невесту Сазонова, впоследствии, в 1907 году, судившуюся вместе с Никитенко и Синявским по процессу о заговоре на царя. От нее и от М.О.Лебедевой я узнал, что разыскиваемого мною Х. в Баку нет, и что он едва ли склонен принять участие в террористическом предприятии. Вместе с тем Лебедева указала мне на Петра Александровича Куликовского, бывшего студента петербургского учительского института, а в то время члена бакинского комитета. Она сообщила мне, что Куликовский давно просит рекомендовать его в боевую организацию и что он лично и хорошо известен не только ей, но и остальным бакинским товарищам. Там же, в Баку, я увиделся с ним.

Куликовский был человек выше среднего роста, в очках, с большими и добрыми, на выкате, глазами. На первом же свидании он сказал мне, что хочет работать в терроре. Чтобы убедиться в силе его желания, я стал разубеждать его. Я говорил ему то же самое, что когда-то говорил Дыдынскому, — что в террор должен идти

только тот, для кого нет психической возможности участвовать в мирной работе, и что никогда не следует торопиться с таким решением. Куликовский твердо стоял на своем. Он показался мне человеком убежденным и искренним. После нескольких свиданий я усвоился с ним, что он немедленно выедет в Москву.

Вернувшись из Баку, я узнал от Моисеенко и Каляева следующее: 5 и 6 декабря в Москве произошли известные студенческие демонстрации. Московский комитет выпустил по этому поводу заявление, с прямой угрозой великому князю. Комитет, как выше было указано, и не подозревал о нашем присутствии в Москве, и, угрожая, брал на себя инициативу убийства. Мы не знали об этом его заявлении.

Вот оно:

„Московский комитет партии социалистов-революционеров считает нужным предупредить, что если назначенная на 5 и 6 декабря политическая демонстрация будет сопровождаться такой же зверской расправой со стороны властей и полиции, как это было еще на днях в Петербурге, то вся ответственность за зверства падет на головы генерал-губернатора Сергея и полицмейстера Трепова. Комитет не остановится перед тем, чтобы казнить их“.

Вскоре после появления этой прокламации великий князь неожиданно и неизвестно куда выехал из дома генерал-губернатора. Перед нами стояла задача отыскать его новое местожительство. Мы стали наблюдать за Николаевским, Нескучным и даже старым Басманным дворами. Каляеву удалось увидеть великокняжескую карету у Калужских ворот. Мы вывели из этого заключение, что великий князь живет в Нескучном дворце, и не ошиблись.

Я и до сих пор не знаю, чему приписать внезапный переезд великого князя, — простой ли случайности, сведениям ли, полученным им о нашей организации, или заявлению московского комитета. Я лично склоняюсь к последнему мнению. Великий князь не мог не посчитаться с угрозой партии социалистов-революционеров, а в Нескучном дворце он чувствовал себя безопаснее, чем на Тверской. Однако опасность для него не уменьшилась. Поле для нашего наблюдения было больше, — вместо короткого пути от Тверской площади до Кремля, великому князю приходилось делать дорогу в несколько верст: от Нескучного к Калужским воротам и затем к Москве-реке через Пятницкую, Большую Якиманку, Полянку или Ордынку. На этом длинном пути можно было наблюдать целый день, не навлекая на себя никаких подозрений. Вскоре Моисеенко и Каляев установили, что великий князь продолжает ездить в Кремль, но в разные дни и часы, хотя почти всегда одной и той же дорогой — по Большой Полянке.

Между тем деньги, привезенные нами из-за границы, приходили к концу. Несколько раз нам оказывал помощь присяжный поверенный В.А.Жданов, мой хороший знакомый еще по вологодской ссылке, впоследствии защищавший Каляева и еще позже, в 1907

году, осужденный по социал-демократическому делу на четыре года каторжных работ. Я написал Азефу в Париж, с просьбой выслать немедленно денег. Но деньги не приходили. Обращаться в московский комитет мы ни в каком случае не желали. Подумав, я решил на следующее.

Я знал, что Жданов в приятельских отношениях с присяжным поверенным П.Н.Малянтовичем, лично мне тогда неизвестным. Я явился к последнему на квартиру в часы его деловых приемов и попросил доложить, что пришел помещик Кшесинский по делу. Продав часа два, вместе с другими просителями, в приемной, я, наконец, был приглашен в кабинет. В кабинете я объяснил Малянтовичу, что я — хороший знакомый Жданова и знаю, что он, Малянтович, тоже его хороший знакомый; что мне нужны деньги, и что я прошу его ссудить мне 200 рублей на неделю, под поручительство Жданова.

Малянтович с удивлением слушал меня:

— Но ведь Жданова нет в Москве, — сказал он.

Я ответил, что если бы Жданов был в Москве, то я и обратился бы к нему, а не к человеку, мне совершенно незнакомому. Малянтович слушал с все возрастающим удивлением.

— Ваша фамилия Кшесинский? — спросил он.

Я сказал:

— Это все равно, как моя фамилия.

Малянтович внимательно посмотрел на меня. Потом он сказал:

— Хорошо. У меня нет сейчас денег, но зайдите дня через два.

Через два дня я, действительно, получил от него 200 рублей.

Много позже, защищая меня в Севастополе, Малянтович вспомнил об этом случае; он рассказал мне, что долго к лебался, давать ли мне деньги: он не догадывался, что я революционер, и не понимал, что значит мое обращение к нему, человеку незнакомому.

В конце декабря в Москву приехал гражданский инженер А.Г.Успенский, часто оказывавший услуги боевой организации, и привез денег. От Азефа я тоже получил чек. Длг Малянтовичу был уплачен. Тогда же в Москву приехал член центрального комитета Н.С.Тютчев. Переговорив с ним, я решил, во избежание недоразумения, объяснить с московским комитетом по поводу упомянутой выше прокламации. С б льшими предосторожностями я встретился с одним из членов его, Владимиром Михайловичем Зензиновым, впоследствии работавшим одно время в боевой организации. Я спросил Зензинова, готовит ли московский комитет покушение на великого князя.

— Да, готовит, — ответил Зензинов.

— Имеет ли комитет какие-либо сведения об образе его жизни и производит ли наблюдение?

Зензинов рассказал мне обо всех приготовлениях, сделанных комитетом. Комитет был, конечно, не в силах убить великого князя, и его работа могла только помешать нашей. Я сказал об этом Зен-

зинову и от имени боевой организации просил прекратить всякое наблюдение. Через день Зензинов был арестован по комитетскому делу, и я имел случай лишний раз убедиться, как важно для успеха террористического предприятия полное его обособление. За Зензиновым, конечно, следили уже в день моего с ним свидания, при большей наблюдательности филеры могли проследить и меня, а через меня и весь наш немногочисленный отдел.

Приблизительно в это же время приехал в Москву Куликовский. Вспоминая свой печальный опыт с Дыдынским, я еще раз стал убеждать его отказаться от своего решения. Но Куликовский, как и в Баку, настойчиво возражал мне. Он и на этот раз показался мне человеком, искренне преданным делу террора. Я и до сих пор думаю, что я тогда не ошибся.

Было решено, что Куликовский будет наблюдать в качестве уличного торговца. Наблюдение ему не давалось. Этому мешали и его неопытность, и его близорукость. Он так и не стал торговцем, а без лотка и товара, в поддевке и картузе, наблюдал выезд великого князя у Калужских ворот. Он видел несколько раз великокняжескую карету, и этого было, конечно, довольно, чтобы иметь возможность участвовать в покушении.

Дора Бриллиант, жившая частью в Москве, частью, по конспиративным причинам, в Нижнем Новгороде, тяготилась своим бездействием. Действительно, ее роль была чисто пассивная. Она хранила в одиночестве динамит. Она еще более замкнулась в себя и сосредоточенно ожидала часа, когда понадобится ее работа.

IV

10 января в Москве получились первые известия о петербургских событиях. Великий князь переехал из Нескучного в Николаевский дворец. Его переезд помешал нашей работе. Наблюдение за Нескучным дворцом уже дало нам вполне определенные результаты: мы выяснили, что великий князь ездит в Кремль обычно по средам и пятницам, и во всяком случае, не менее двух раз в неделю от двух до пяти часов пополудни.

Мы уже намеревались приступить к покушению. Теперь приходилось начинать наблюдение сначала, и, что еще хуже, наблюдать в самом Кремле. Мы не знали, когда и куда будет ездить великий князь, т.е. через какие из кремлевских ворот. Нас было немного, и следить по ту сторону кремлевских стен мы поэтому не могли. Приходилось, волей-неволей, наблюдать внутри их, на глазах у великокняжеской охраны. Моисеенко, со своей обычной смелостью, в первый же день остановился у самой царь-пушки, где почти никогда извозчики не стоят. От царь-пушки был виден Николаевский дворец, следовательно, выезд великого князя не мог пройти незамеченным. Городовые и филеры не обратили внимания на извозчика, и с тех пор мы стали следить почти у самых ворот дворца.

Вскоре наблюдение установило, что великий князь ездит часто через Никольские ворота. Поездки эти бывали в разные дни, но в те же часы, что и раньше: не ранее двух и не позже пяти. Мы стали наблюдать у Иверской и очень быстро установили, куда ездит великий князь: он ездил в свою канцелярию в дом генерал-губернатора на Тверской. Каляеву удалось видеть однажды его приезд. Великий князь приехал не с главного крыльца, выходящего на площадь, а с подъезда, что в Чернышевском переулке. Несмотря на такие точные данные, сведений для покушения было, по нашему мнению, еще недостаточно. Невозможно было караулить великого князя несколько дней подряд, невозможно было ожидать его ежедневно с бомбами в руках по 2–3 часа на Тверской и в Кремле. Между тем, регулярных выездов у него больше не было, и нам оставалась единственная надежда — узнать заранее из газет, в котором часу и куда он поедет. Великий князь ездил нередко на официальные торжества: в театр, на торжественные богослужения, на открытия больниц и богоугодных заведений и т.п. Но газеты не всегда давали точные сведения. Необходимо было подумать, как отыскать источник верных и заблаговременных указаний.

Пока мы обдумывали подробности покушения, в Москву неожиданно приехал инженер-технолог Петр Моисеевич Рутенберг.

Рутенберга я знал давно, с университетской скамьи. Он вместе со мной был членом групп „Социалист“ и „Рабочее Знамя“, вместе со мной был привлечен к делу и содержался в доме предварительного заключения. Дело его окончилось полицейским надзором, отбыв который он поступил на Путиловский завод инженером. На заводе он приобрел любовь и уважение рабочих, и 9 января, вместе с Георгием Гапоном, шел к Зимнему дворцу в первых рядах. У Нарвских ворот он выдержал залп пехоты, поднял лежавшего на земле Гапона, увел его с собой с Нарвского шоссе, и через несколько дней отправил из Петербурга, в деревню, чтобы скрыть его от полиции. Он, конечно, тоже разыскивался полицией и приехал ко мне в Москву нелегально. Явку мою он узнал от А.Г.Успенского.

Рутенберг встретил меня словами:

— В Петербурге восстание.

Он рассказал мне во всех подробностях то, что произошло в Петербурге, рассказал и про Гапона, упомянув о его желании выехать за границу. Я предложил мой запасной внутренний паспорт и обещал достать заграничный. Рутенберг через несколько дней отослал тот и другой Гапону, но последний не воспользовался ими: не дождавшись Рутенберга, он уехал из деревни и бежал без паспорта за границу.

Впечатление от петербургских событий было громадно. Неожиданное выступление петербургских рабочих, со священником во главе, действительно, давало иллюзию начавшейся революции. Рутенберг рассказывал о баррикадах на Васильевском острове, о прекращающемся волнении рабочих, о подъеме общественных сил

и выражал твердую уверенность, что 9 января только начало событий, еще более значительных и широких. Он убеждал меня, поэтому, ехать немедленно в Петербург и попытаться соединить боевую организацию с рабочей массой.

— Ведь у вас есть что-нибудь в Петербурге? — спрашивал он у меня.

Я дал ему уклончивый ответ, не имея права рассказывать о предприятии Швейцера.

— Но бомбы-то есть?

— Бомбы есть.

— Ну, так едем... С бомбами многое можно сделать.

Я посоветовался с Каляевым, Моисеенко и Бриллиант и решил послушаться Рутенберга, съездить в Петербург, чтобы убедиться на месте, можно ли чем-нибудь помочь выступлению рабочих. Рутенберг ожидал новых и решительных столкновений с войсками.

12 января я приехал в Петербург и немедленно разыскал Швейцера. Он подтвердил мне все, что говорил Рутенберг, но прибавил, что, по его мнению, никаких выступлений в ближайшем будущем быть не может, что рабочие обессилены потерями, и что все попытки поднять упавшее движение неизбежно окончатся неудачей. Тогда же Швейцер рассказал мне следующее. Положение Татьяны Леонтьевой в так называемом большом свете укрепилось настолько, что ей было сделано предложение продавать цветы на одном из тех придворных балов, на которых бывает царь. Бал этот должен был состояться в двадцатых числах декабря. Леонтьева предложила убить царя на балу, и Швейцер согласился на это. Бал, однако, был отменен. Вопрос о цареубийстве еще не подымался тогда в центральном комитете, и боевая организация не имела в этом отношении никаких полномочий. Швейцер, давая свое согласие Леонтьевой, несомненно нарушал партийную дисциплину. Он спрашивал меня, как я смотрю на его согласие, и дал ли бы я такое же. Я ответил, что для меня, как и для Каляева, Моисеенко и Бриллиант, вопрос об убийстве царя решен давно, что для нас это вопрос не политики, а боевой техники, и что мы могли бы только приветствовать его соглашение с Леонтьевой, видя в этом полную солидарность их с нами. Я сказал также, что, по моему мнению, царя следует убить даже при формальном запрещении центрального комитета.

Швейцер рассказал мне еще следующее. Наблюдая за Треповым, петербургский отдел боевой организации случайно установил день, час и маршрут выездов министра юстиции Муравьева. Швейцер, действовавший в вопросе убийства царя самостоятельно, почему-то счел нужным на этот раз испросить разрешения партии. Кроме члена центрального комитета Тютчева, в Петербурге находилась в то время и Ивановская, не принимавшая еще участия в покушении на Трепова и близкая к центральному комитету. Швейцер сообщил им, что наблюдение за Муравьевым закончено, и что 12 января, в

среду, возможно приступить к покушению. Он просил их совета. И Тютчев, и Ивановская решительно высказались против убийства министра юстиции. Они доказывали, что смерть его не может иметь серьезного влияния на ход общей политики, и что боевая организация не должна тратить силы на такие, второстепенной важности, акты. Швейцер на свой страх не решился убить Муравьева, и 12 января министр, не потревоженный никем, по обыкновению проехал в Царское Село к царю. Я и до сих пор думаю, что этот совет Ивановской и Тютчева был ошибкой. Я думаю, что убийство Муравьева и само по себе могло иметь значение большое, непосредственно же после 9 января оно приобретало особую важность.

Выслушав Швейцера, я спросил:

— Если наблюдение за Муравьевым уже закончено, почему вы не можете убить его 19-го в среду, — ведь он опять поедет к царю?

— А центральный комитет? — ответил мне Швейцер.

— Во-первых, Тютчев — не весь центральный комитет, а во-вторых — нельзя же теперь сноситься с Женовой.

Швейцер задумался.

— Вы думаете, убийство министра юстиции будет иметь значение?

Я сказал, что если есть случай убить Муравьева, то нельзя не воспользоваться им уже потому, что неизвестно, будут ли удачны покушения на Трепова и великого князя Сергея. Швейцер согласился со мной.

19 января состоялось покушение на Муравьева, но оно окончилось неудачей. Метальщиками были упомянутые выше „Саша Белостоцкий“ и Я. Загородний. Первый накануне покушения скрылся, сославшись на то, что за ним якобы следят. Второй встретил Муравьева, но не мог бросить бомбы, ибо карету министра загородили от него ломовые извозчики. А через несколько дней Муравьев вышел в отставку, и покушение на него, действительно, потеряло смысл.

Случай с „Сашей Белостоцким“ еще раз показал, как важен тщательный подбор членов организации. Будь на месте „Саши“ Дулебов или Леонтьева, Муравьев, конечно, был бы убит.

Петербургский отдел боевой организации в то время еще окончательно не сложился: во главе его стоял Швейцер, Леонтьева хранила динамит, Подвицкий и Дулебов были извозчиками, Трофимов — посыльным, „Саша Белостоцкий“ — папиросником, приехавший же из-за границы Басов и только что рекомендованный Тютчевым Марков еще не имели определенной профессии. Не имели ее также Шиллеров и Барыков, только собиравшиеся принять участие в деле Трепова.

11 января в Сестрорецке был случайно арестован Марков под фамилией Захаренко. При нем было найдено письмо, не оставлявшее сомнения в его принадлежности к боевой организации. Там же, в Сестрорецке, был арестован, под фамилией Дормидонтова, Басов,

приехавший к Маркову по поручению Швейцера. Швейцер этим арестом был огорчен еще более, чем неудачей 19 января, но, замкнувшись в себя, не выказывал этого наружно. Он с прежней настойчивостью продолжал дело Трепова.

Он сообщил мне тогда же, что ездил в Киев к Боришанскому, что киевский отдел уже приступил к работе, но что больше никаких сведений о нем он не имеет.

Убедившись, что в Петербурге мое присутствие совершенно не нужно, и что в ближайшем будущем нельзя ожидать нового выступления рабочих, я числа 15 января уехал с Рутенбергом обратно в Москву, куда приехала и Ивановская. Рутенберг, бывший до сих пор вне партии, выразил теперь желание вступить в партию социалистов-революционеров и, получив от нас партийные пароли и заграничные явки, уехал за границу. Я рассказал Ивановской о положении дел в Москве и просил ее указать мне какое-либо влиятельное лицо, способное давать нам сведения о великом князе.

Ивановская указала мне князя N.N. Она предложила мне зайти к писателю Леониду Андрееву, который знал князя лично и мог меня познакомить с ним. В один из ближайших дней я отправился в Грузины, к Андрееву. Ивановская не успела предупредить его о моем приходе, и он был очень удивлен моей просьбой. Я ему назвал мою фамилию, и только тогда он решился познакомить меня с N.N. Мы должны были встретиться с последним в ресторане „Эрмитаж“, где N.N. мог узнать меня по условленным признакам: на моем столе лежало „Новое Время“ и букет цветов.

Князь N.N. был выхоленный, крупный, румяный и белый русский барин. Он занимал в Москве положение, которое давало ему легкую возможность узнавать о жизни великого князя. Он был известен, как либерал, но редко выступал открыто. Впоследствии он стал видным членом кадетской партии. Когда он вошел в ресторан, я по его тревожной походке увидел, что он боится, не следят ли за ним или за мной. Это обещало мне мало хорошего, но я все-таки вступил с ним в разговор. Я сказал ему, что слышал много о его сочувствии революции, и спросил его, правда ли это.

— Да, правда, — отвечал он, — но как вы думаете, здесь безопасно?

Он в волнении заговорил, что в „Эрмитаже“ его многие знают, что он может встретить здешних, что конспиративные дела надо делать конспиративно, и в заключение предложил мне прийти к нему на квартиру.

Я хотел ему сказать, что он выбирает самый неконспиративный способ свидания, но промолчал и согласился прийти к нему на дом.

На дому у него повторилось то же, что в „Эрмитаже“. Он, видимо, боялся знакомства со мной и желал одного, — чтобы я возможно скорее ушел. Тем не менее, он с большой охотой согласился давать нужные сведения. Он говорил, что ему нетрудно их получить, что убийство великого князя — акт первостепенной полити-

ческой важности, что он от всей души сочувствует нам, и в самом ближайшем будущем даст ценные и точные указания. Слушая его, я не совсем верил ему, но, конечно, я не мог себе представить тогда, что он, обещая многое, не сделает ничего.

Именно так и вышло. Князь N.N. ограничился обещаниями. Эта встреча показала мне, что в деле террора нельзя рассчитывать даже на наиболее смелых и уважаемых людей, если они не члены организации. Я убедился, что мы должны полагаться только на свои силы и рассчитывать исключительно на себя. Мой последующий опыт подтвердил это мое заключение.

Приближался конец января. В Москву приехал Тютчев. Он рассказал, что наблюдение за Треповым подвигается медленно, но что зато Швейцеру удалось случайно установить выезды великого князя Владимира. Швейцер хотел, поэтому, оставив покушение на Трепова, попытаться убить великого князя, — одного из виновников „кровавого воскресенья“.

В Москве у нас все шло по-старому. По-старому Каляев, Моисеенко и Куликовский наблюдали за кремлевским дворцом, по-старому Дора Бриллиант ожидала, когда потребуется ее работа. Наше покушение грозило затянуться на неопределенное время.

Если дело Плеве сплотило организацию, связало ее тем духом, который впоследствии Сазонов определял, как дух „рыцарства“ и „братства“, то наша работа в Москве еще более упрочила эту связь. Я могу без преувеличения сказать, что все члены московского отдела, не исключая и Куликовского, представляли собою одну дружную и тесную семью. Этой дружбе не мешала разница характеров и мнений. Быть может, индивидуальные особенности каждого только укрепляли ее. Я склонен приписывать исключительный успех московского покушения именно этому тесному сближению членов организации между собою.

Моисеенко по характеру напоминал Швейцера. Он был так молчалив, непроницаем и хладнокровен, как Швейцер. Его молчаливость переходила в угрюмость, и люди, знавшие его недостаточно близко, под этой угрюмостью могли не заметить широкой и оригинальной натуры Моисеенко. Но в отличие от Швейцера, строго партийного в своих мнениях, — Моисеенко был человек самостоятельных и оригинальных взглядов. С партийной точки зрения он был еретиком по многим вопросам. Он придавал мало значения мирной работе, с худо скрываемым пренебрежением относился к конференциям, совещаниям и съездам. Он верил только в террор.

Каляев в Москве был тот же, что и в Петербурге. Но он уже чувствовал приближение конца своей жизни, и это предчувствие отражалось на нем постоянным нервным подъемом. Быть может, он никогда не высказывал такой горячей любви к организации, как в эти дни, непосредственно предшествовавшие его смерти.

В последний раз я видел его извозчиком в конце января, когда покушение было уже решено. Мы сидели с ним в грязном трактире

в Замоскворечьи. Он похудел, сильно оброс бородой, и его лучистые глаза ввалились. Он был в синей поддевке, с красным гарусным платком на шее. Он говорил:

— Я очень устал... устал нервами. Ты знаешь, — я думаю, — я не могу больше... но какое счастье, если мы победим. Если Владимир будет убит в Петербурге, а здесь, в Москве, — Сергей... Я жду этого дня... Подумай: 15 июля, 9 января, затем два акта подряд. Это уже революция. Мне жаль, что я не увижу ее...

— Опанас (Моисеенко) счастлив, — продолжал он через минуту, — он может спокойно работать. Я не могу. Я буду спокоен только тогда, когда Сергей будет убит. Если бы с нами был Егор... Как ты думаешь, узнает Егор, узнает Гершуни? Узнают ли в Шлиссельбурге?.. Ведь ты знаешь, для меня нет прошлого, — все настоящее. Разве Алексей умер? Разве Егор в Шлиссельбурге? Они с нами живут. Разве ты не чувствуешь их?.. А если неудача? Знаешь что? По-моему, тогда по-японски...

— Что по-японски?

— Японцы на войне не сдавались...

— Ну?

— Они делали себе хакакири.

Таково было настроение Каляева перед убийством великого князя Сергея.

V

С конца января мы стали готовиться к покушению. Каляев продал сани и лошадь и уехал в Харьков, чтобы скрыть следы своей извозчичьей жизни и переменить паспорт. Вот что он писал от 22 января Вере Глебовне С.*:

„Вокруг меня, со мной и во мне сегодня ласковое сияющее солнце. Точно я оттаял от снега и льда, холодного уныния, унижения, тоски по несовершенному и горечи от совершающегося. Сегодня мне хочется только тихо сверкающего неба, немножко тепла и безотчетной хотя бы радости изголовавшейся душе. И я радуюсь, сам не зная чему, беспредметно и легко, хожу по улицам, смотрю на солнце, на людей и сам себе удивляюсь, как это я могу так легко переходить от впечатлений зимней тревоги к самым уверенным предвкушениям весны. Еще несколько дней тому назад, казалось мне, я изнывал, вот-вот свалюсь с ног, а сегодня я здоров и бодр. Не смейтесь, бывало хуже, чем об этом можно рассказывать, душе и телу, холодно и неприветливо и безнадежно за себя и других, за всех вас, далеких и близких. За это время накопилось так много душевных переживаний, что минутами просто волосы рвешь на себе... Мы (боевая организация) слишком связаны и нуждаемся в большей самостоятельности. Таков мой взгляд, который я теперь буду защищать без уступок, до конца.

Может быть, я обнажил для вас одну из самых больших сторон пережитого нами?.. Но довольно об этом. Я хочу быть сегодня беззаботно сияющим, бестревожно радостным, веселым, как это солнце, которое манит

*Жена Савинкова, урожденная Успенская.

меня на улице под лазуревый шатер нежно-ласкового неба. Здравствуйте же, все дорогие друзья, строгие и приветливые, бранящие нас и болеющие с нами. Здравствуйте, добрые, мои дорогие детские глазки, улыбающиеся мне так же наивно, как эти белые лучи солнца на тающем снегу".

Мы колебались, в какой именно день назначить покушение. Следя за газетами, я прочел, что 2 февраля должен состояться в Большом театре спектакль в пользу склада Красного Креста, находившегося под покровительством великой княгини Елизаветы Федоровны. Великий князь не мог не посетить театра в этот день. Поэтому на 2 февраля и было назначено покушение. Дора Бриллиант незадолго перед этим уехала в Юрьев и там хранила динамит. Я съездил за ней, и к февралю вся организация была в сборе в Москве, считая в том числе и Моисеенко, оставшегося все время извозчиком.

Дора Бриллиант остановилась на Никольской в гостинице „Славянский Базар“. Здесь, днем, 2 февраля, она приготовила две бомбы: одну для Каляева, другую для Куликовского. Было неизвестно, в котором часу великий князь поедет в театр. Мы решили, поэтому, ждать его от начала спектакля, т.е. приблизительно с 8 часов вечера. В 7 часов я пришел на Никольскую к „Славянскому Базару“, и в ту же минуту из подъезда показалась Дора Бриллиант, имея в руках завернутые в плед бомбы. Мы свернули с нею в Богоявленский переулок, развязали плед и положили бомбы в бывший со мной портфель. В большом Черкасском переулке нас ожидал Моисеенко. Я сел к нему в сани, и на Ильинке встретил Каляева. Я передал ему его бомбу и поехал к Куликовскому, ожидавшему меня на Варварке. В 7.30 вечера обе бомбы были переданы, и с 8 часов вечера Каляев стал на Воскресенской площади, у здания городской думы, а Куликовский в проезде Александровского сада. Таким образом, от Никольских ворот великому князю было только два пути в Большой театр — либо на Каляева, либо на Куликовского. И Каляев, и Куликовский были одеты крестьянами, в поддевках, картузах и высоких сапогах, бомбы их были завернуты в ситцевые платки. Дора Бриллиант вернулась к себе в гостиницу. Я назначил ей свидание, в случае неудачи, в 12 часов ночи, по окончании спектакля. Моисеенко уехал на извозничий двор. Я прошел в Александровский сад и ждал там взрыва.

Был сильный мороз, подымалась вьюга. Каляев стоял в тени крыльца думы, на пустынной и темной площади. В начале девятого часа от Никольских ворот показалась карета великого князя. Каляев тотчас узнал ее по белым и ярким огням ее фонарей. Карета свернула на Воскресенскую площадь, и в темноте Каляеву показалось, что он узнает кучера Рудинкина, всегда возившего именно великого князя. Тогда, не колеблясь, Каляев бросился навстречу и наперерез карете. Он уже поднял руку, чтобы бросить снаряд. Но, кроме великого князя Сергея, он неожиданно увидел еще великую княгиню Елизавету и детей великого князя Павла — Марию и

Дмитрия. Он опустил свою бомбу и отошел. Карета остановилась у подъезда Большого театра.

Каляев прошел в Александровский сад. Подойдя ко мне, он сказал:

— Я думаю, что я поступил правильно, разве можно убить детей?..

От волнения он не мог продолжать. Он понимал, как много он своей властью поставил на карту, пропустив такой единственный для убийства случай: он не только рискнул собой, — он рискнул всей организацией. Его могли арестовать с бомбой в руках у кареты, и тогда покушение откладывалось бы надолго. Я сказал ему, однако, что не только не осуждаю, но и высоко ценю его поступок. Тогда он предложил решить общий вопрос, вправе ли организация, убивая великого князя, убить его жену и племянников. Этот вопрос никогда не обсуждался нами, он даже не подымался. Каляев говорил, что если мы решим убить всю семью, то он, на обратном пути из театра, бросит бомбу в карету, не считаясь с тем, кто будет в ней находиться. Я высказал ему свое мнение: я не считал возможным такое убийство.

Во время нашего разговора к нам присоединился Куликовский. Он увидел со своего поста, как карета великого князя повернула на Каляева, но не услышал взрыва. Он думал поэтому, что покушение не удалось, и Каляев арестован.

Я высказал сомнение, был ли в карете великий князь, и не ошибся ли Каляев, приняв карету великой княгини за карету великого князя. Мы решили тут же проверить это. Каляев должен был пройти к тому месту, где останавливаются у Большого театра кареты, и посмотреть вблизи, какая именно из карет ждет у подъезда, и не ждут ли обе. Я должен был убедиться в театре, там ли великий князь.

Я подошел к кассе. Билеты все уже были проданы. Ко мне бросились перекупщики. Я сообразил, что в театре я легко могу не заметить великого князя. Поэтому, не покупая билета, я спросил у перекупщиков:

— Великая княгиня в театре?

— Так точно—с. С четверть часа, как изволили прибыть.

— А великий князь?

— Вместе с ее высочеством приехали.

На улице меня ждали Каляев и Куликовский.

Каляев осмотрел стоявшие экипажи. Карета была одна, и именно великого князя. Великий князь был в театре с семьей.

Было все—таки решено дожидаться конца спектакля. Мы надеялись, что, быть может, великой княгине подадут ее карету, и великий князь уедет один.

Мы втроем отправились бродить по Москве и незаметно вышли на набережную Москвы—реки. Каляев шел рядом со мной, опустив голову и держа в одной руке бомбу. Куликовский шел следом, не-

сколько сзади нас. Вдруг шаги Куликовского смолкли. Я обернулся. Он стоял, опершись о гранитные перила. Мне показалось, что он сейчас упадет. Я подошел к нему. Увидев меня, он сказал:

— Возьмите бомбу. Я сейчас ее уроню.

Я взял у него снаряд. Он долго еще стоял, не двигаясь. Было видно, что у него нет сил.

К разъезду из театра Каляев, с бомбой в руках, подошел издали к карете великого князя. В карету сели опять великая княгиня и дети великого князя Павла. Каляев вернулся ко мне и передал мне свой снаряд. В 12 часов я встретился с Дорой и отдал ей обе бомбы. Она молча выслушала мой рассказ о случившемся. Окончив его, я спросил, считает ли она поступок Каляева и наше решение правильным.

Она опустила глаза.

— „Поэт“ поступил так, как должен был поступить.

У Каляева и Куликовского паспортов не было. Оба они оставили их в своих вещах на вокзале. Квитанции от вещей были у меня. Возвращаться за паспортами было поздно, как поздно было уезжать из Москвы. Им приходилось ночевать на улице. Я был одет барином, англичанином, они крестьянами. Оба замерзли и устали, и Куликовский, казалось, едва держится на ногах. Я решил, несмотря на необычность их костюмов, рискнуть зайти с ними в ресторан: трактиры были уже закрыты.

Мы пришли в ресторан „Альпийская роза“ на Софийке, и, действительно, швейцар не хотел нас впустить. Я вызвал распорядителя. После долгих переговоров нам отвели заднюю залу. Здесь было тепло и можно было сидеть.

Каляев скоро оживился и с волнением в голосе начал опять рассказывать сцену у думы. Он говорил, что боялся, не совершил ли он преступления против организации, и что счастлив, что товарищи не осудили его. Куликовский молчал. Он как-то сразу осунулся и ослабел. Я и до сих пор не понимаю, как он провел остаток ночи на улице.

Около четырех часов утра, когда закрыли „Альпийскую розу“, я попрощался с ними. Было решено, что мы предпримем покушение на этой же неделе. 2 февраля была среда. Моисеенко, наблюдая за великим князем, утверждал, что в последний раз он выехал в свою канцелярию в понедельник. Зная привычки великого князя, мы пришли к заключению, что 3, 4 или 5 февраля он непременно поедет в генерал-губернаторский дом на Тверской. Третьего, на следующий день после неудачи, нечего было и думать приступить к покушению: Каляев и Куликовский, очевидно, не могли положиться вполне на свои силы. Покушение откладывалось на четвертое или пятое. Утром, третьего, Каляев и Куликовский должны были уехать из Москвы и вернуться днем четвертого. Это давало им возможность отдохнуть. Мы тогда же, заранее, чтобы не стеснять себя временем в день покушения, назначили место и час для передачи снарядов.

Дора Бриллиант вынула запалы из бомб. Ей приходилось их снова вставить обратно. Четвертого, в пятницу, в час дня я опять пришел на Никольскую, к подъезду „Славянского Базара“, и она опять передала мне, как и прежде, завернутые в плед бомбы.

Я сел в сани Моисеенко, но не успели мы отъехать несколько шагов, как он, обернувшись ко мне, спросил:

— Видели „Поэта“?

— Да.

— Ну, что он?

— Как что? Ничего.

— А я вот видел Куликовского.

— Ну?

— Очень плохо.

Он тут же на козлах рассказал мне, что Куликовский, приехав утром в Москву и увидевшись с ним, сообщил ему, что он не может принять участия в покушении. Куликовский говорил, что переоценил свои силы и видит теперь, после 2 февраля, что не может работать в терроре. Моисеенко без комментариев передал мне об этом.

Положение мне показалось трудным. Нужно было выбирать одно из двух: либо вместо Куликовского принять участие в покушении мне или Моисеенко, либо устроить покушение с одним метальщиком, Каляевым.

Моисеенко был извозчик. Его арест повлек бы за собой открытие полицией приемов нашего наблюдения. Я имел английский паспорт. Мой арест отразился бы на судьбе того англичанина, который дал мне его, инженера Джемса Галлея. Значит, наше участие не могло быть немедленным, и приходилось откладывать покушение до продажи Моисеенкой лошади и саней или до перемены мной паспорта. Значит, Дора должна была еще раз вынуть из бомб запалы и снова вставить их. Помня смерть Покотилова, я опасался учащать случаи снаряжения бомб.

С другой стороны, покушение с одним метальщиком, Каляевым, казалось мне рискованным. Маршрут великого князя был известен в точности: он ездил всегда через Никольские и Иверские ворота по Тверской к своему дому на площади. Но я опасался, что один метальщик может только ранить великого князя. Тогда покушение надо было бы признать неудачным.

Решение необходимо было принять тут же, в санях, потому что Каляев ждал меня недалеко, в Юшковом переулке. Куликовский за бомбой не явился. Вечером того же дня он уехал и через несколько месяцев был арестован в Москве. Он бежал из Пречистенской полицейской части, где содержался, и 28 июня 1905 года, разыскиваемый по всей России, открыто явился на прием к московскому градоначальнику, гр[афу] Шувалову, и застрелил его. За это убийство московским военно-окружным судом он был приговорен к смертной казни. Казнь ему была заменена бессрочной каторгой.

Таким образом, его нерешительность в деле великого князя Сергея еще не доказывала, как он думал, что он не в силах работать в терроре.

Подъезжая к Каляеву, я склонился в пользу первого решения, и когда он сел ко мне в сани, я, рассказав ему об отказе Куликовского, предложил отложить дело. Каляев заволновался:

— Ни в коем случае... Нельзя Дору еще раз подвергать опасности... Я все беру на себя.

Я указывал ему на недостаточность сил одного метальщика, на возможность неудачи, случайного взрыва, случайного ареста, но он не хотел меня слушать.

— Ты говоришь, мало одного метальщика? А позавчера разве было нас двое? Я в одном месте, Куликовский — в другом. Где же резерв?.. Почему же сегодня нельзя?

Я отвечал ему, что у нас динамита всего на две бомбы, что 2 февраля мы, по необходимости, должны были расставить метальщиков в двух местах, ибо маршрут великого князя в театр был неизвестен, что сегодня такого положения нет, что правильнее не рисковать, а, выждав несколько дней, устроить покушение с двумя метальщиками.

Каляев в ответ на это сказал:

— Неужели ты мне не веришь? Я говорю тебе, что справлюсь один.

Я знал Каляева. Я знал, что никто из нас не может так уверенно поручиться за себя, как он. Я знал, что он бросит бомбу, только добежав до самой кареты, не раньше, и что он сохранит хладнокровие. Но я боялся случайности. Я сказал:

— Послушай, Янек, двое все-таки лучше, чем один... Представь себе твою неудачу. Что тогда делать?

Он сказал:

— Неудачи у меня быть не может.

Его уверенность поколебала меня. Он продолжал:

— Если великий князь поедет, я убью его. Будь спокоен.

В это время с козел к нам обернулся Моисеенко.

— Решайте скорее. Пора.

Я принял решение: Каляев шел на великого князя один.

Мы слезли с саней и пошли вдвоем по Ильинке к Красной площади. Когда мы подходили к гостиному двору, на башне в Кремле часы пробили два. Каляев остановился.

— Прощай, Янек.

— Прощай.

Он поцеловал меня и свернул направо к Никольским воротам. Я прошел через Спасскую башню в Кремль и остановился у памятника Александра II. С этого места был виден дворец великого князя. У ворот стояла карета. Я узнал кучера Рудинкина. Я понял, что великий князь скоро поедет к себе в канцелярию.

Я прошел мимо дворца и кареты и через Никольские ворота

вышел на Тверскую. У меня было назначено свидание с Дорой Бриллиант на Кузнецком Мосту в кондитерской Сиу. Я торопился на это свидание, чтобы успеть вернуться в Кремль к моменту взрыва. Когда я вышел на Кузнецкий Мост, я услышал отдаленный глухой звук, как-будто кто-то в переулке выстрелил из револьвера. Я не обратил на него внимания, до такой степени этот звук был непохож на гул взрыва. В кондитерской я застал Дору. Мы вышли с ней на Тверскую и пошли вниз к Кремлю. Внизу у Иверской нам навстречу попалась мальчишка, который бежал без шапки и кричал:

— Великого князя убило, голову оторвало.

По направлению к Кремлю бежали люди. У Никольских ворот была такая толпа, что не было возможности пробиться в Кремль. Мы с Дорой остановились. Вдруг я услышал:

— Вот, барин, извозчик.

Я обернулся. Моисеенко, бледный, предлагал нам сесть в его сани. Мы медленно поехали прочь от Кремля. Моисеенко спросил:

— Слышали?

— Нет.

— Я здесь стоял и слышал взрыв. Великий князь убит.

В ту же минуту Дора наклонилась ко мне и, не в силах более удерживать слезы, зарыдала. Все ее тело сотрясали глухие рыдания. Я старался ее успокоить, но она плакала еще громче и повторяла:

— Это мы его убили... Я его убила... Я...

— Кого? — переспросил я, думая, что она говорит о Каляеве.

— Великого князя.

VI

Каляев, простившись со мной, прошел, по условию, к иконе Иверской божией матери. Он давно, еще раньше, заметил, что на углу прибита в рамке из стекла лубочная патриотическая картина. В стекле этой картины, как в зеркале, отражался путь от Никольских ворот к иконе. Таким образом, стоя спиной к Кремлю и рассматривая картину, можно было заметить выезд великого князя. По условию, постояв здесь, Каляев, одетый, как и 2 февраля, в крестьянское платье, должен был медленно пройти навстречу великому князю, в Кремль. Здесь он, вероятно, увидел то, что увидел я, т.е. поданную к подъезду карету и кучера Рудинкина на козлах. Он, считая по времени, успел еще вернуться к Иверской и повернуть обратно мимо Исторического музея через Никольские ворота в Кремль, к зданию суда. У здания суда он встретил великого князя.

„Против всех моих забот, — пишет он в одном из писем к товарищам, — я остался 4 февраля жив. Я бросал на расстоянии четырех шагов, не более, с разбега, в упор, я был захвачен вихрем взрыва, видел, как разрывалась карета. После того, как облако рассеялось, я оказался у остатков

задних колес. Помню, в меня пахнуло дымом и щепками прямо в лицо, сорвало шапку. Я не упал, а только отвернул лицо. Потом увидел шагах в пяти от себя, ближе к воротам, комья великокняжеской одежды и обнаженное тело... Шагах в десяти за каретой лежала моя шапка, я подошел, поднял ее и надел. Я огляделся. Вся поддевка моя была истыкана кусками дерева, висели ключья, и она вся обгорела. С лица обильно лилась кровь, и я понял, что мне не уйти, хотя было несколько долгих мгновений, когда никого не было вокруг. Я пошел... В это время послышалось сзади: „держи, держи“, — на меня чуть не наехали сыщичьи сани, и чьи-то руки овладели мной. Я не сопротивлялся. Вокруг меня засуетились городовой, околоток и сыщик противный... „Смотрите, нет ли револьвера, ах, слава богу, и как это меня не убило, ведь мы были тут же“, — проговорил, дрожа, этот охранник. Я пожалел, что не могу пустить пулю в этого доблестного труса. — „Чего вы держите, не убегу, я свое дело сделал“, — сказал я... (я понял тут, что я оглушен). „Давайте извозчика, давайте карету“. Мы поехали через Кремль на извозчике, и я задумал кричать: „Долой проклятого царя, да здравствует свобода, долой проклятое правительство, да здравствует партия социалистов-революционеров!“ Меня привезли в городской участок... Я вошел твердыми шагами. Было страшно противно среди этих жалаких трусишек... И я был дерзок, издевался над ними. Меня перевезли в Якиманскую часть, в арестный дом. Я заснул крепким сном...“

Событию 4 февраля посвящена статья в № 60 „Революционной России“. Самое событие со слов очевидца представляется в таком виде:

„Взрыв бомбы произошел приблизительно в 2 часа 45 минут. Он был слышен в отдаленных частях Москвы. Особенно сильный переполох произошел в здании суда. Заседания шли во многих местах, канцелярии все работали, когда произошел взрыв. Многие подумали, что это землетрясение, другие, что рушится старое здание суда. Все окна по фасаду были выбиты, судьи, канцеляристы попадали со своих мест. Когда через десять минут пришли в себя и догадались, в чем дело, то многие бросились из здания суда к месту взрыва. На месте казни лежала бесформенная куча, вышнейшей вершков в десять, состоявшая из мелких частей кареты, одежды и изуродованного тела. Публика, человек тридцать, сбежавшихся первыми, осматривала следы разрушения; некоторые пробовали высвободить из-под обломков труп. Зрелище было подавляющее. Головы не оказалось; из других частей можно было разобрать только руку и часть ноги. В это время выскочила Елизавета Федоровна в ротонде, но без шляпы, и бросилась к бесформенной куче. Все стояли в шапках. Книгиня это заметила. Она бросалась от одного к другому и кричала: „Как вам не стыдно, что вы здесь смотрите, уходите отсюда“. Лакей обратился к публике с просьбой снять шапки, но ничто на толпу не действовало, никто шапки не снимал и не уходил. Полиция же это время, минут тридцать, бездействовала, — заметна была полная растерянность. Товарищ прокурора судебной палаты, безучастно и растерянно, крадучись, прошел из здания мимо толпы через площадь, потом раза два на извозчике появлялся и опять исчезал. Уже очень нескоро появились солдаты и оцепили место происшествия, отодвинув публику“.

Официальный источник так описывает смерть великого князя:

„4 февраля 1905 года в Москве, в то время, когда великий князь Сергей Александрович проезжал в карете из Никольского дворца на Тверскую, на Сенатской площади, в расстоянии 65 шагов от Никольских ворот, неизвестный злоумышленник бросил в карету его высочества бомбу. Взрыв

вом, происшедшим от разорвавшейся бомбы, великий князь был убит на месте, а сидевшему на козлах кучеру Андрею Рудинкину были причинены многочисленные тяжкие телесные повреждения. Тело великого князя оказалось обезображенным, причем голова, шея, верхняя часть груди с левым плечом и рукой, были оторваны и совершенно разрушены, левая нога переломлена, с раздроблением бедра, от которого отделилась нижняя его часть, голень и стопа. Силой произведенного злоумышленником взрыва кузов кареты, в которой следовал великий князь, был расщеплен на мелкие куски, и кроме того были выбиты стекла наружных рам ближайшей к Никольским воротам части зданий судебных установлений и расположенного против этого здания арсенала".

Из Якиманской части Каляева перевели в Бутырскую тюрьму, в Пугачевскую башню. Через несколько дней его посетила жена убитого им Сергея Александровича, великая княгиня Елизавета Федоровна.

„Мы смотрели друг на друга, — писал об этом свидании Каляев, — не скрою, с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые остались в живых. Я — случайно, она — по воле организации, по моей воле, так как организация и я обдуманно стремились избежать излишнего кровопролития.

И я, глядя на великую княгиню, не мог не видеть на ее лице благодарности, если не мне, то во всяком случае судьбе, за то, что она не погибла.

— Я прошу вас, возьмите от меня на память иконку. Я буду молиться за вас.

И я взял иконку.

Это было для меня символом признания с ее стороны моей победы, символом ее благодарности судьбе за сохранение ее жизни и покаяния ее совести за преступления великого князя.

— Моя совесть чиста, — повторил я, — мне очень больно, что я причинил вам горе, но я действовал сознательно, и если бы у меня была тысяча жизней, я отдал бы всю тысячу, не только одну.

Великая княгиня встала, чтобы уйти. Я также встал.

„Прощайте, — сказал я. — Повторяю, мне очень больно, что я причинил вам горе, но я исполнил свой долг, и я его исполню до конца и вынесу все, что мне предстоит. Прощайте, потому что мы с вами больше не увидимся“.

Свидание это впоследствии было передано в печати в неверном и тенденциозном освещении, и эта передача доставила Каляеву много тяжелых минут. Впоследствии, в письме от 24 марта, он писал великой княгине:

„Я не звал вас, вы сами пришли ко мне: следовательно, вся ответственность за последствия свидания падает на вас. Наше свидание произошло, по крайней мере, с наружной стороны, при интимной обстановке. Все то, что произошло между нами обоими, не подлежало опубликованию, как нам одним принадлежащее. Мы с вами сошлись на нейтральной почве, по вашему же определению, как человек с человеком, и, следовательно, пользовались одинаковым правом инкогнито. Иначе как понимать бескорыстие вашего христианского чувства? Я доверился вашему благородству, полагая, что ваше официальное высокое положение, ваше личное достоинство могут служить гарантией, достаточной против клеветнической интриги, в которую так или иначе были замешаны и вы. Но вы не побоялись оказать замешанной в нее: мое доверие к вам не оправдалось. Клеветническая

интрига и тенденциозное изображение нашего свидания налицо. Спрашивается: могло ли бы произойти и то, и другое помимо вашего участия, хотя бы пассивного, в форме непротivления, обратное действие которому было обязанностью вашей чести. Ответ дан самим вопросом, и я решительно протестую против приложения политической мерки к добродушному моему снисхождению к вашему горю. Мои убеждения и мое отношение к царствующему дому остаются неизменными, и я ничего общего не имею какой-либо стороной моего „я“ с религиозным суеверием рабов и их лицемерных владык.

Я вполне сознаю свою ошибку: мне следовало отнестись к вам безучастно и не вступать в разговор. Но я поступил с вами мягче, на время свидания затаив в себе ту ненависть, с какой, естественно, я отношусь к вам. Вы знаете теперь, какие побуждения руководили мной. Но вы оказались недостойной моего великодушия. Ведь для меня несомненно, что это вы — источник всех сообщений обо мне, ибо кто же бы осмелился передавать содержание нашего разговора с вами, не спросив у нас на то позволения (в газетной передаче оно исковеркано: я не объявлял себя верующим, я не выражал какого-либо раскаяния).

Это резкое письмо не могло не повлиять на судьбу Каляева. Он написал товарищам следующие письма:

„Мои дорогие друзья и незабвенные товарищи, вы знаете, я делал все, что мог для того, чтобы 4 февраля достигнуть победы. И я — в пределах моего личного самочувствия — счастлив сознанием, что выполнил долг, лежавший на всей истекающей кровью России.

Вы знаете мои убеждения и силу моих чувств, и пусть никто не скорбит о моей смерти.

Я отдал всего себя делу борьбы за свободу рабочего народа, с моей стороны не может быть и намека на какую-либо уступку самодержавию, и если в результате всех стремлений моей жизни я оказался достойным высоты общечеловеческого протеста против насилия, то пусть и смерть моя венчает мое дело чистотой идеи.

Умереть за убеждения — значит звать на борьбу, и каких бы жертв ни стоила ликвидация самодержавия, я твердо уверен, что наше поколение кончит с ним навсегда...

Это будет великим торжеством социализма, когда перед русским народом откроется простор новой жизни, как и перед всеми, кто испытывает тот же вековой гнет царского насилия.

Всем сердцем моим с вами, мои милые, дорогие, незабвенные. Вы были мне поддержкой в трудные минуты, с вами я всегда разделял все ваши и наши радости и тревоги, и если когда-нибудь, на вершине общенародного ликования, вы вспомните меня, то пусть будет для вас весь мой труд революционера выражением моей восторженной любви к народу и горделивого уважения к вам; примите его, как дань моей искренней привязанности к партии, как носительнице заветов „Народной Воли“ во всей их широте.

Вся жизнь мне лишь чудится сказкой, как-будто все то, что случилось со мной, жило с ранних лет в моем предчувствии и зрело в тайниках сердца для того, чтобы вдруг излиться пламенем ненависти и мести за всех.

Хотелось бы многих близких моему сердцу и бесконечно дорогих назвать в последний раз по имени, но пусть мой последний вздох будет для них моим прощальным приветом и бодрым призывом к борьбе за свободу.

Обнимаю и целую вас всех.

Ваш И.Каляев“.

„Прощайте, мои дорогие, мои незабвенные. Вы меня просили не торопиться умирать, и, действительно, не торопятся меня убивать. С тех

пор, как я попал за решетку, у меня не было ни одной минуты желания как-нибудь сохранить жизнь. Революция дала мне счастье, которое выше жизни, и вы понимаете, что моя смерть, это — только очень слабая моя благодарность ей. Я считаю свою смерть последним протестом против мира крови и слез и могу только сожалеть о том, что у меня есть только одна жизнь, которую я бросаю, как вызов, самодержавию. Я твердо надеюсь, что ваше поколение, с боевой организацией во главе, покончит с самодержавием.

Я хотел бы только, чтобы никто не подумал обо мне дурно, чтобы верил в искренность моих чувств и твердость моих убеждений до конца. Помилование я считал бы позором. Простите, если в моем поведении вне партийных интересов были какие-либо неровности. Я пережил довольно острой муки по поводу нелегких слухов о свидании с великой княгиней, которыми меня растревали в тюрьме. Я думал, что я опозорен... Как только я получил возможность писать, я написал письмо великой княгине, считая ее виновницей сплетни. Потом, после суда, мне было неприятно, что я нарушил свою корректность к великой княгине... На суде я перешел в наступление не вследствие аффекта, а потому, что не видел другого смысла: судьи, и особенно председатель, — действительно мерзавцы, и мне просто противно открывать что-нибудь им из моей души, кроме ненависти. В кассационной жалобе я старался провести строго партийный взгляд, и думаю, что ничем не повредил интересам партии своими заявлениями на суде. Я заявил, что убийство великого князя есть обвинительный акт против правительства и царского дома. Поэтому в приговоре вставлено „дядя е[го] в[еличества]“. Я написал в кассационной жалобе, что в деле против в[еликого] к[нязя] мне не было нужды действовать против личности его, как племянника, и потому заявил протест, имея в виду будущий процесс...

Обнимаю, целую вас. Верьте, что я всегда с вами до последнего издыхания. Еще раз прощайте.

Ваш И. Каляев“.

В личном письме к одному из товарищей он, тревожась тенденциозной передачей в газетах своего свидания с великой княгиней, писал из тюрьмы:

„27/4. Мой дорогой, прости, если в чем-либо я произвел на тебя дурное впечатление. Мне очень тяжело подумать, что ты меня осудишь. Теперь, когда я стою у могилы, все кажется мне сходящимся для меня в одном, — в моей чести, как революционера, ибо в ней моя связь с Б. О. за гробом. В четырех стенах тюрьмы трудно ориентироваться в важном и неважном. Минутами мне кажется, что кто-нибудь злой оскорбит мой прах пасквилом. Тогда я хотел бы жить для того, чтобы мстить за мою идею. Но, — ты знаешь, — я кончил все земные счета. Я любил тебя, страдал и молился с тобой. Будь же ты защитой моей чести. Быть может, я бывал чересчур откровенен с людьми относительно своей души, но ты знаешь, что я не лицемер. В. Г. и всем нашим кланяйся. Прощай, мой дорогой, единственный друг. Будь счастлив! Будь счастлив!“

VII

Каляева судили в особом присутствии сената 5 апреля 1905 года. Защищали его присяжные поверенные Жданов и Мандельштам.

Жданов близко знал Каляева еще по Вологде и сказал в защиту его одну из лучших речей в истории русских политических процессов. Но еще более замечательную речь сказал сам Каляев:

«Прежде всего, фактическая поправка: я — не подсудимый перед вами, я — ваш пленник. Мы — две воюющие стороны. Вы — представители императорского правительства, наемные слуги капитала и насилия. — Я — один из народных мстителей, социалист и революционер. Нас разделяют горы трупов, сотни тысяч разбитых человеческих существований и целое море крови и слез, разлившееся по всей стране потоками ужаса и возмущения. Вы объявили войну народу, мы приняли вызов. Взяв меня в плен, вы теперь можете подвергнуть меня пытке медленного угасания, можете меня убить, но над моей личностью вам не дано суда. Как бы вы ни ухищрялись властвовать надо мной, здесь для вас не может быть оправдания, как не может быть для меня осуждения. Между нами не может быть почвы для примирения, как нет ее между самодержавием и народом. Мы все те же враги, и если вы, лишив меня свободы и гласного обращения к народу, устроили надо мной столь торжественное судилище, то это еще нисколько не обязывает меня признать в вас моих судей. Пусть судит нас не закон, облеченный в сенаторский мундир, пусть судит нас не рабе свидетельство сословных представителей по назначению, не жандармская подлость. Пусть судит нас свободно и нелюбезно выраженная народная совесть. Пусть судит нас эта великомученица истории — народная Россия.

Я убил великого князя, члена императорской фамилии, и я понимаю, если бы меня подвергли фамильному суду членов царствующего дома, как открытого врага династии. Это было бы грубо, и для XX века дико. Но это было бы, по крайней мере, откровенно. Но где же тот Пилат, который, не омыв еще рук своих от крови народной, послал вас сюда строить виселицу? Или, может быть, в сознании предоставленной вам власти, вы овладели его тщедушной совестью настолько, что сами присвоили себе право судить именем лицемерного закона в его пользу? Так знайте же, я не признаю ни вас, ни вашего закона. Я не признаю централизованных государственных учреждений, в которых политическое лицемерие покрывает нравственную трусость правителей, и жестокая расправа творится именем оскорбленной человеческой совести, ради торжества насилия.

Но где ваша совесть? Где кончается ваша продажная исполнимость, и где начинается бессеребрность вашего убеждения, хотя бы враждебного моему? Ведь вы не только судите мой поступок, вы посягаете на его нравственную ценность. Дело 4 февраля вы не называете прямо убийством, вы именуете его преступлением, злодеянием. Вы дерзаете не только судить, но и осуждать. Что же вам дает это право? Не правда ли, благочестивые сановники, вы никого не убили, и опираетесь не только на штыки и закон, но и на аргумент нравственности? Подобно одному ученому профессору времен Наполеона III, вы готовы признать, что существуют две нравственности. Одна для обыкновенных смертных, которая гласит: «не убий», «не укради», а другая нравственность политическая, для правителей, которая им все разрешает. И вы, действительно, уверены, что вам все дозволено, и что нет суда над вами...

Но оглянитесь: всюду кровь и стоны. Война внешняя и война внутренняя. И тут, и там пришли в яростное столкновение два мира, непримиримо враждебные друг другу: бьющая ключом жизнь и застой, цивилизация и варварство, насилие и свобода, самодержавие и народ. И вот результат: позор неслыханного поражения военной державы, финансовое и моральное банкротство государства, политическое разложение устоев монархии внутри, наряду с естественным развитием стремления к политической самодержавию.

тельности на так называемых окраинах, и повсюду всеобщее недовольство, рост оппозиционной партии, открытые возмущения рабочего народа, готовые перейти в затяжную революцию во имя социализма и свободы, и — на фоне всего этого — террористические акты... Что означают эти явления?

Это суд истории над вами. Это — волнение новой жизни, пробужденной долго накопленной грозой, это — отходная самодержавию... И революционеру наших дней не нужно быть утопистом-политиком для того, чтобы идеал своих мечтаний сводить с небес на землю. Он суммирует, приводит к одному знаменателю и облекает в плоть лишь то, что есть готового в настроении жизни, и, бросая в ответ на вызов в бою свою ненависть, может смело крикнуть насилью: я обвиняю!

...Великий князь был одним из видных представителей и руководителей реакционной партии, господствующей в России. Партия эта мечтает о возвращении к мрачнейшим временам Александра III, культ имени которого она исповедует. Деятельность, влияние великого князя Сергея тесно связаны со всем царствованием Николая II, от самого начала его. Ужасная ходынская катастрофа и роль в ней Сергея были вступлением в это злощастное царствование. Расследовавший еще тогда причины этой катастрофы граф Пален сказал, в виде заключения, что нельзя назначать безответственных лиц на ответственные посты. И вот боевая организация партии социалистов-революционеров должна была безответственно перед законом великого князя сделать ответственным перед народом.

Конечно, чтобы подпасть под революционную кару, великий князь Сергей должен был накопить и накопил бесчисленное количество преступлений перед народом. Деятельность его проявлялась на трех различных поприщах. Как московский генерал-губернатор, он оставил по себе такую память, которая заставляет бледнеть даже воспоминание о преловутом Закревском*. Полное пренебрежение к закону и безответственность великого князя сделали из Москвы, поистине, какое-то особое великокняжеское. Преследование всех культурных начинаний, закрытие просветительных обществ, гонения на бедняков-евреев, опыты политического развращения рабочих, преследование всех протестующих против современного строя, — вот в какого рода деяниях выражалась роль убитого, как маленького самодержца Москвы. Во-вторых, как лицо, занимающее видное место в правительственном механизме, он был главой реакционной партии, вдохновителем всех репрессивных попыток, покровителем всех наиболее ярких и видных деятелей политики насильственного подавления всех народных и общественных движений. Еще Плеве заезжал к великому князю Сергею за советами перед своей знаменитой поездкой в Троицкую лавру, за которой последовала поездка на усмирение полтавских и харьковских крестьян. Его другом был Сипягин, его ставленником был Боголепов, затем Зверев. Все политическое направление правительства отмечено его влиянием. Он боролся против слабой попытки смягчения железного режима Святополк-Мирским, объявляя, что «это — начало конца». Он провел на место Святополка своих ставленников — Булыгина и Трепова, роль которого в кровавых январских событиях слишком известна. Наконец, третье поприще его деятельности, где роль его была наиболее значительна, хотя и наименее известна: это — личное влияние на царя. Дядя и друг государев* выступает здесь, как наиболее беспощадный и неуклонный представитель интересов династии*.

*В 1828—1831 г.г. — министр внутренних дел, прославился своей жестокостью при подавлении «холерных бунтов». — Ред.

Закончил Каляев свою речь такими словами:

„Мое предприятие окончилось успехом. И таким же успехом увенчается, несмотря на все препятствия, и деятельность всей партии, ставящей себе великие и исторические задачи. Я твердо верю в это, — я вижу грядущую свободу возрожденной к новой жизни трудовой, народной России.

И я рад, я горд возможностью умереть за нее с сознанием исполненного долга“.

В 3 часа дня Каляеву был вынесен приговор: смертная казнь.

„Я счастлив вашим приговором, — сказал он судьям, — надеюсь, что вы решитесь его исполнить надо мной так же открыто и всенародно, как я исполнил приговор партии социалистов-революционеров. Учитесь смотреть прямо в глаза надвигающейся революции“.

Каляев подал кассационную жалобу. Ее поддерживал в сенате присяжный поверенный В.В.Беренштам.

В ней Каляев писал:

„Я родился* от матери польки и вырос в Варшаве, но всегда чувствовал себя русским. Отец мой происходил из крепостных крестьян Рязанской губ[ернии], и от него я перенял любовь к русскому народу. Из гимназии, единственной русской в Варшаве, я вынес какую-то романтическую любовь к России и жажду служения ей во имя человечества. Но развивавшаяся во мне с ранних лет наблюдательность и склонность к анализу окружающей действительности рано приучили меня к критической оценке отечественных порядков. Мне было тяжело в атмосфере казенного патриотизма и национальной вражды, и вот почему я не поступил в варшавский университет, а уехал в Москву. Параллельно с развитием моих политических убеждений, шло развитие моих общественных симпатий. Мой отец служил околоточным надзирателем в варшавской полиции и впоследствии артельщиком в управлении завода В.Гантке. Это был человек честный, не брал взяток, и потому мы очень бедствовали. Братья мои выросли рабочими, и мне одному посчастливилось пробраться в университет. С юных лет я свыкся с интересами труда и нуждой и стал вскоре убежденным социалистом. Я верил в свои силы, восторженно стремился к высшему образованию и имел честные намерения быть честным общественным деятелем, тружеником на пользу родному народу. Таким образом, я заявил себя впервые публично во время студенческого движения Петербургского университета в 1899 году. В результате я был исключен без права обратного поступления и выслан на два года под надзор полиции в Екатеринослав. Это было тяжелым ударом для меня, навсегда определившим мою судьбу. Живя в Екатеринославе, я работал в газетах, изучал хозяйственный быт России, был членом ревизионной комиссии в местном просветительном учреждении, но мне жаль было терять мои молодые годы. На все прошения принять меня в университет, даже по истечении срока надзора, я получил холодный отказ. Близость моя с революционными деятелями [социал]-д[емократии] и влияние народовольческой литературы указали мне выход из неопределенного положения человека, которому отказано в праве жить и развиваться. С тех пор я стал убежденным революционером. В декабре 1901 г. я принял участие в комитете партии [социал]-д[емократов] накануне декабрьской демонстрации. Демонстранты были рассеяны и изранены полицией. Я был готов ответить на это покушением на жизнь тогдашнего губернатора графа Келлера, который вообще буйствовал в губернии,

*В 1877 г.

но, будучи одинок, должен был оставить свое намерение. Террористические идеи глубоко западали мне в душу, и я искал их разрешения в действии. С жадной жаждой знания, с жадной такой деятельностью, которая захватила бы меня всего, я уехал за границу, во Львов, где поступил в университет, и, кроме того, занялся изучением революционной литературы. Там я определился окончательно. Дело Балмашева* было как бы моим делом, но, имея связи с социал-демократами, я решил принять участие в нелегальной деятельности, с целью найти себе соратников для открытой революционной борьбы. Летом 1902 г., во время переезда из Львова в Берлин, я был арестован германской полицией, с революционными изданиями на пограничной таможене, и выдан русским властям. Этот эпизод несколько отклонил в сторону мои намерения и надолго отсрочил их осуществление. Выждав окончания этого неприятного для меня инцидента, я в октябре 1903 г. уехал за границу. С тех пор до последнего дня я искал случая выйти в качестве террориста. Мои непосредственные чувства в этом направлении, мои мысли о необходимости подобного рода действий питались вопиющими бедствиями, выпавшими на долю моей родины. За границей я испытал, с каким презрением все европейцы относятся к русскому, точно имя русского — позорное имя. И я не мог не прийти к заключению, что позор моей родины, это — чудовищная война внешняя и война внутренняя, этот открытый союз царского правительства с врагом народа — капитализмом — есть следствие той злостной политики, которая вытекает из вековых традиций самодержавия" (см. кассационную жалобу И.П. Каляева в сенат, „Былое" 1908 г., № 7).

В юридической части своей жалобы Каляев, исполняя свой долг, старался провести строго партийную точку зрения, как он делал это и на суде. Он коснулся вопроса царубийства и отношения партии к анархизму. В том и другом случае он не считал для себя возможным защищать свое личное мнение. Он писал:

„Если бы я имел в виду его величество, я сказал бы, что я действовал против его величества и не было бы мне надобности скрывать мою мысль в общей формуле „против императорского дома". Моя формула имеет ограничительное значение, и вовсе не касается в этом смысле его величества, как царствующего монарха. Моя партия, насколько я понимаю партийную политику, не ставила вопроса о личности его величества. В своем заявлении, как член партии, сознающий свой долг блюсти ее интересы, я также не высказывал лично от себя больше, чем это мне позволяла партийная дисциплина. Говоря о политике Александра III и т.д., я имел в виду не личность его величества, а партийную реакционную политику, в которой великие князья принимают самое невыгодное для его величества участие. Это я и высказал словами: „Если верно то, что такие министры, как Плеве, губят монархию, то еще с большим основанием можно сказать, что такие великие князья, как Сергей Александрович, губят престиж династии". В изъяснение настоящего заявления я считаю долгом подробнее развить свою мысль о том, что ни партия, ни я не могу быть признаны анархистами. Поэтому, во избежание неправильного толкования моих мыслей, я заявляю свой протест против включения формулы — „дядя его величества" — в окончательную форму приговора.

В государственном вопросе партия социалистов-революционеров стоит на точке зрения европейской социал-демократии, проповедующей участие рабочего народа в государственном управлении посредством выборов в

*С.В. Балмашев в 1902 г. убил министра внутренних дел Сипягина. — Ред.

парламент. Наша партия, как и социал-демократы, выставляет в настоящее время требование всеобщего избирательного права и очень далека от анархистского отрицания блага государственного народоуправления. Я могу указать на программу, опубликованную в одном из номеров „Революционной России“, а также на заявление по случаю убийства Плева, в котором она явно отграничивает себя от анархистов, повторяя заявление „Народной Воли“.

Протест этот сенатом уважен не был, и в понедельник, 9 мая, Каляев был перевезен на полицейском пароходе из Петропавловской крепости в Шлиссельбург. В ночь на 10 мая, около 10 часов вечера, его посетил священник, о. Флоринский. Каляев сказал ему, что хотя он человек верующий, но обрядов не признает. Священник ушел. Во втором часу ночи, когда уже светало, Каляева вывели на двор, где чернела готовая виселица. На дворе находились представители сословий, администрация крепости, команда солдат и все свободные от службы унтер-офицеры. Каляев взошел на эшафот. Он был весь в черном, без пальто, в фетровой шляпе.

Стоя неподвижно на помосте, он выслушал приговор. К нему подошел священник с крестом. Он не поцеловал креста и сказал: — Я уже сказал вам, что я совершенно покончил с жизнью и приготовился к смерти.

Место священника занял палач Филиппов. Он набросил веревку и оттолкнул ногой табурет.

Похоронен Каляев за крепостною стеною, между валом, окаймляющим крепость со стороны озера, и Королевской башней.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

I

ВЕЧЕРОМ, 4 февраля, я уехал из Москвы в Петербург. Куликовский вышел из состава организации. Дора Бриллиант уехала в Харьков. Моисеенко, продав лошадь и сани, присоединился к ней.

В Петербурге я увидел Швейцера. Он подтвердил то, что раньше, в Москве, рассказывал Тютчев. Петербургский отдел, ослабленный арестом Маркова и Басова и исчезновением „Саши Белостоцкого“, медленно собирал сведения о Трепове. Наблюдение еще было далеко не закончено, и убить Трепова не было никакой возможности. Зато Швейцер имел сведения о выездах великого князя Владимира Александровича. Сведения эти были проверены наблюдением, и Швейцер решил сосредоточить все силы на этом неожиданно новом деле. Он сообщил мне о своем решении, и я одобрил его. Тогда же Швейцер рассказал мне о положении дел в Киеве.

Боришанский и супруги Казак к концу января установили выезды Клейгельса и решили приступить к покушению. Супруги Казак, по причинам мне неизвестным, участия в нем не приняли. Боришанский остался один. Он сам зарядил свою бомбу и вышел с ней на Крещатик. Он ждал там около часа, но Клейгельс не появился. Тогда он вернулся к себе в гостиницу. Впоследствии оказалось, что Клейгельс выехал на несколько минут позже, и, не увиди Боришанский, генерал-губернатор был бы тогда же убит. Боришанский еще оставался в Киеве, но было мало надежды, что он справится один со своей задачей.

Несмотря на потерю Каляева, на неудачи Швейцера и на полное расстройство киевского отдела, боевая организация представляла собой в то время крупную силу. Убийство Плеве и затем убийство Сергея создали ей громадный престиж во всех слоях населения, правительство боялось ее, партия считала ее своим самым ценным учреждением. С другой стороны, реальные силы организации были для тайного общества несомненно очень велики.

В ее рядах был такой даровитый и теперь уже опытный организатор, как Швейцгер; самый кадр ее состоял из людей хотя и слабых численностью, но испытанных и скрепленных между собой любовью к организации, долговременным опытом и преданностью террору, таких людей, как Дора Бриллиант, Моисеенко, Дулебов, Боришанский, Ивановская, Леонтьева, Шиллеров и др. Денег было довольно, в кандидатах в боевую организацию тоже не было недостатка, наконец, — и это самое главное, — мы были накануне нового, не менее крупного, чем дело Сергея, покушения — покушения на великого князя Владимира. Можно с уверенностью сказать, что к этому времени организация окончательно окрепла, отлилась в твердую форму самостоятельного и подчиненного своим собственным законам отдельного целого, т.е. достигла того положения, к которому, естественно, стремится каждое тайное общество, и которое единственно может гарантировать ему успех. Сознание этого основного успеха не покидало нас; в это время и Швейцгер, несмотря на свои неудачи, твердо верил в будущее террора.

Убедившись, что в моем присутствии в Петербурге нет необходимости, я решил поехать в Женеву, чтобы посоветоваться с Гапоном и Азефом о дальнейших боевых предприятиях. Я попросил Ивановскую съездить к Моисеенко и Бриллиант в Харьков, сообщить им о моем отъезде и предложить подождать моего возвращения. Тогда же в Петербурге я в последний раз встретился с Татьяной Леонтьевой. Белокурая, стройная, с светлыми глазами, она по внешности напоминала светскую барышню, какой она и была на самом деле. Она жаловалась мне на свое тяжелое положение: ей приходилось встречаться и быть любезной с людьми, которых она не только не уважала, но и считала своими врагами, — с важными чиновниками и гвардейскими офицерами, в том числе с знаменитым впоследствии усмирителем московского восстания, тогда еще полковником Семеновского полка, Мином. Леонтьева, однако, выдерживала свою роль, скрывая даже от родителей свои революционные симпатии. Она появлялась на вечерах, ездила на балы и вообще всем своим поведением старалась не выделяться из барышень ее круга. Она рассчитывала таким путем приобрести необходимые нам знакомства. В этой трудной роли она проявила много ума, находчивости и такта, и, слушая ее, я не раз вспоминал о ней отзыв Каляева при первом его с ней знакомстве: „Эта девушка — настоящее золото“.

Мы встретились с ней на улице и зашли в один из больших ресторанов на Морской. Рассказав мне о своей жизни и о своих планах, она робко спросила, как было устроено покушение на великого князя Сергея. В нескольких словах я рассказал ей нашу московскую жизнь и самый день 4 февраля, не называя, однако, имени Каляева. Когда я окончил, она, не подымая глаз, тихо сказала:

— Кто он?

Я промолчал.

— „Поэт“?

Я кивнул головой.

Она откинулась на спинку кресла и вдруг, как Дора, 4 февраля, неожиданно зарыдала. Она мало знала Каляева и мало встречалась с ним, но и эти короткие встречи дали ей возможность в полной мере оценить его.

В Леонтьевой было много той сосредоточенной силы воли, которую была так богата Бриллиант. Обе они были одного и того же — „монашеского“ типа. Но Дора Бриллиант была печальнее и мрачнее; она не знала радости в жизни, смерть казалась ей заслуженной и долгожданной наградой. Леонтьева была моложе, радостнее и светлее. Она участвовала в терроре с тем чувством, которое жило в Сазонове, — с *радостным сознанием большой и светлой жертвы*. Я убежден, что если бы ее судьба сложилась иначе, из нее выработалась бы одна из тех редких женщин, имена которых остаются в истории, как символ активной женственной силы.

Перед самым отъездом из Петербурга я, тоже в последний раз, увиделся со Швейцером. Он был более молчалив, чем обыкновенно, и, как всегда, очень сдержан. Он подробно и долго расспрашивал меня о московском деле, желая знать все детали его и мое о них мнение. Он говорил, что постоянное изменение плана, — то на царя, то на Муравьева, то на Трепова, то на великого князя Владимира, — как он убедился, мешает работе. Он говорил также, что решил готовить теперь только одно покушение, — на великого князя Владимира, и что, пока оно не удастся ему, он не уедет из Петербурга.

Случайно мы заговорили о 9 января и о Гапоне. Швейцер восхищался стойкостью петербургских рабочих и так же, как и Каляев, с убеждением говорил о неизбежном близком расцвете массового террора. Личность Гапона его глубоко интересовала, — он надеялся, что имя его всколыхнет всю трудовую Россию. Несколько раз он подчеркивал мне необходимость прочной связи партии с массами, но говорил, что задача боевой организации, — от великих князей перейти к царю, и убийством царя довершить дело центрального террора. При прощании он несколько изменил своей обычной сдержанности и, целуя меня, сказал:

— Поцелуй е от меня Валентина.

Швейцеру было всего 25 лет. Он не успел еще проявить все скрытые в нем возможности. Но уже и тогда были ярко заметны две черты его сурового характера: сильный, направленный прямо к цели практический ум и железная воля.

Он постоянно работал над собой и обещал в будущем занять исключительно крупное место в рядах террористов. Резко бросалась в глаза его любовь к техническим знаниям: химии, механике,

электротехнике. Он не только следил за литературой по вопросам общественным, в свободные часы он изучал любимые им науки.

В партийной тактике он придавал решающее значение террору, но, мне кажется, из него мог бы выработаться первоклассный общепартийный организатор. Как и Леонтьева, он погиб слишком рано.

II

В середине февраля я выехал за границу через Эйдкунен, по паспорту Джемса Галлея. В Женеве я застал Азефа, Рутенберга и Гапона.

Азеф подробно расспрашивал меня о Киеве, Петербурге и Москве, о всех членах организации вместе и о каждом из них в отдельности. Он в общем остался доволен положением дел, так как не придавал большого значения киевской неудаче. В этом же разговоре он сообщил мне, что я кооптирован в члены центрального комитета, а также и то, что за границей есть несколько человек, желающих вступить в боевую организацию: Лев Иванович Зильберберг с женой Ксенией Ксенофонтовной, урожденной Памфиловой, Маня Школьник и Арон Шпайзман. Первые двое и брат Азефа, Владимир, под руководством Бориса Григорьевича Виллита, химика по образованию, изготовляли динамит в нанятой ими вилле в Вильфранше, на юге Франции. Двое других жили в Женеве.

Я познакомился, по указанию Азефа, с Маней Школьник и с Ароном Шпайзманом. Школьник была портниха. Шпайзман, кажется, переплетчик. Первой было года 22, второму лет 30. Оба были родом из маленьких местечек Западного края, оба судились осенью 1903 года по делу о тайной типографии и оба, по лишении всех прав состояния, были сосланы в Сибирь на поселение. Они бежали оттуда и теперь просили принять их в боевую организацию.

Маня Школьник была хрупкая девушка с бледным лицом. Она говорила с заметным еврейским акцентом и в разговоре сильно жестикулировала. В каждом слове ее и в каждом жесте сквозила фанатическая преданность революции. Особенно возбуждалась она, когда начинала говорить о тех унижениях и бедствиях, которые терпит рабочий класс. Она показалась мне агитатором по призванию, но и сила ее преданности террору не подлежала сомнению. Я поэтому не протестовал против ее вступления в организацию.

Арон Шпайзман был человек невысокого роста, с черными волосами и с черными еврейскими, печальными глазами. Он, как Маня Школьник, был по темпераменту скорее агитатор, чем террорист, и до ссылки пользовался большою популярностью у рабочих.

Жили они оба очень бедно, с большим вниманием присматривались к западно-европейскому рабочему движению и терпеливо ждали отъезда в Россию.

Тогда же, в Женеве, я впервые увидел Гапона. Гапон получил от Рутенберга в России женевский адрес В. Г. С., но, разыскивая ее, явился к социал-демократам. Когда я встретил его, он был занят планом общепартийной конференции, которая, по его мнению, должна была положить начало объединению всех партий. Он громко высказывал сочувствие партии социалистов-революционеров, но одинаково поддерживал сношения и с социал-демократами, и с анархистами, и с Союзом Освобождения, и со всеми группами, представители которых находились в Женеве или в Париже. Первое впечатление он произвел на меня скорее отрицательное. Он был без бороды, и я сразу заметил несоответствие между верхней частью его лица, — красивым и умным лбом и живыми карими глазами, — и нижней челюстью с выдвинутым вперед подбородком. Первая встреча моя с ним тоже не оставила во мне хороших воспоминаний.

Я встретил его на rue de Saugouge в квартире В.Г.С. Очевидно, он знал уже о моем участии в московском деле. Поздоровавшись со мною, он взял меня под руку и отвел в другую комнату. Там он неожиданно поцеловал меня.

— Поздравляю.

Я удивился:

— С чем?

— С великим князем Сергеем.

Один только Гапон счел нужным „поздравить“ меня с „великим князем“.

Первое впечатление скоро рассеялось. Я был под обаянием 9 января, видел в „кровавом воскресеньи“ зарю русской революции и, как ни скептически относился к революционной готовности масс, должен был признать значение в силу только что совершившегося исторического события. Гапон был для меня не просто бывший священник, отец Георгий, шедший во главе восставших рабочих, — я возлагал на него большие надежды. Он казался мне, по впечатлению 9 января, человеком необычайных дарований и воли, тем человеком, который, быть может, единственно способен овладеть сердцами рабочих. Это заблуждение разделяли со мною многие. Только Азеф и И.А.Рубанович сразу верно, т.е. невысоко, оценили Гапона.

Более близкое знакомство подтверждало предвзятое мнение об его дарованиях. У него был живой, быстрый, находчивый ум; прокламации, написанные им, при некоторой их грубости, показывали самобытность и силу стиля; наконец, и это самое главное, у него было большое, природное, бьющее в глаза ораторское дарование.

Я не слышал его петербургских речей и не могу судить о до-

стоинствах их. Но однажды, на одном из гапоновских совещаний, при мне произошел такой случай.

Один из поволжских комитетов российской социал-демократической партии издал прокламацию, в которой о Гапоне грубо упоминалось, как о „нелепой фигуре обнаглевшего попа“. Прокламацию эту кто-то принес на совещание. Гапон прочел листок и внезапно преобразился. Он как-будто стал выше ростом, глаза его загорелись. Он с силой ударил кулаком по столу и заговорил. Говорил он слова, не имевшие не только никакого значения, но не имевшие и большого смысла. Он грозил „стереть социал-демократов с лица земли“, показав „всем рабочим лживость их и наглость“, бранил Плеханова и произносил разные другие, не более убедительные фразы. Но не смысл его речи производил впечатление. Мне приходилось не раз слышать Бебеля, Жореса, Севастьяна Фора. Никогда и никто из них на моих глазах не овладевал так слушателями, как Гапон, и не на рабочей сходке, где говорить несравненно легче, а в маленькой комнате на немногочисленном совещании, произнося речь, состоящую почти только из одних угроз. У него был истинный ораторский талант, и, слушая его исполненные гнева слова, я понял, чем этот человек завоевал и подчинил себе массы.

Присматриваясь ближе к Гапону, я не заметил в нем большой и горячей любви к революции. Но впечатление от его личности оставалось неясное. Передо мною был человек, несомненно рискнувший своею жизнью 9 января. Я склонялся поэтому к мысли, что ошибаюсь и не умею увидеть в Гапоне той преданности идее, которая есть у него в действительности.

Я слушал отзывы о Гапоне Рутенберга, тогда еще его друга. Эти отзывы ничего мне не разъясняли. Рутенберг характеризовал Гапона, как „бедного, запутавшегося в революции попа, искреннего и честного“. Я думаю, что Рутенберг ошибался: Гапон подделывался под него и был с ним таким, каким хотел бы!

Гапон много говорил о необходимости основать „боевой комитет“ — особое учреждение, которое бы ведало центральный и массовый террор. Он развивал идею террористического движения в крестьянстве и в своих планах встречал сочувствие со стороны многих товарищей, особенно со стороны Брешковской и кн[язя] Д.А.Хилкова. Он вступил, после долгих переговоров, в партию, и в Россию нелегально ехать не собирался, ограничиваясь предсказаниями в близком будущем массовых вооруженных выступлений и призывом к их подготовке. Из партии он, впрочем, скоро вышел.

Рутенберг тоже сочувствовал планам Гапона. Он тоже считал необходимым немедленно приступить к вооружению народных масс. Общее настроение было в то время таково, что лишь немногие смели высказываться против такого образа действий. Это меньшинство указывало, что вооружение народа — задача неис-

полная, ибо ни одна партия не имеет достаточно сил для ее решения. А раз это так, то благоразумнее и в интересах революции выгоднее употребить назначенные для этого силы и средства на развитие центрального террора. Центральный комитет в то время был очень многочислен. Решения принимались медленно и не всегда в полном составе комитета. Руководящую роль играли Азеф и Гоц. От них зависело многое.

Мнение партийного большинства одержало верх. Было решено учредить особую организацию в целях боевой подготовки масс. Дело это было поручено Рутенбергу, и в его распоряжение было предоставлено три кандидата в боевую организацию, — Александра Севастьянова, принимавшая участие еще в 1902 г. в томской типографии, Борис Горинсон, техник из Варшавы, рекомендованный К.М.Гершковичем, и Ханн Гершкович, рекомендованный Н.В.Чайковским. Рутенберг при их помощи и с теми лицами, которых он кооптировал бы в России, должен был положить начало боевой подготовке масс. Он должен был приготовить квартиры для складов оружия в Петербурге, изыскать возможность приобретения оружия в России, получить от армян, членов партии „Дашнакцутюн“ транспорт бомб, нам ими уступленный, наконец, выяснить возможность экспроприации в арсеналах. Предполагалось, впоследствии, когда окрепнет организация в Петербурге, расширить деятельность ее на всю Россию. Дальнейшим шагом в этом направлении была экспедиция корабля „Джон Крафтон“.

Рутенберг, Горинсон, Севастьянова и Гершкович уехали в Россию, Гапон уехал в Лондон по делам издания своей „Автобиографии“, за которую ему в Англии были обещаны большие деньги. Я уехал в Ниццу к Гоцу.

Гоц, помимо блестящей эрудиции, большого ума и выдающегося организаторского дарования, в высшей степени обладал еще одним качеством, — чрезвычайно редким и снискавшим ему горячую привязанность всех тех, кто лично встречался с ним. У него была драгоценная способность не только узнавать, после немногих встреч, людей, но, индивидуализируя особенности каждого, входить в личное и партийное положение их. Он делал это с такой чуткостью и любовью, с таким исключительным знанием людей, что личное с ним знакомство давало громадную нравственную поддержку. Многие, в том числе Каляев, считали себя его учениками.

Гоц лежал больной. У нас сразу установились те мягкие, нежные и добрые отношения, секрет которых был только у Гоца и которые так редко встречаются у людей, объединенных общностью взглядов, но не симпатий и образа жизни. От него я впервые узнал о предполагаемой экспедиции упомянутого выше корабля „Джон Крафтон“.

Член финской партии Активного Сопrotивления журналист

Жонни Циллиакус сообщил центральному комитету, что через него поступило на русскую революцию пожертвование от американских миллионеров в размере миллиона франков, причем американцы ставят условием, чтобы деньги эти, во-первых, пошли на вооружение народа и, во-вторых, были распределены между всеми революционными партиями без различия программ*.

Центральный комитет принял пожертвование на этих условиях, за вычетом 100 тысяч франков, которые деньгами поступили в боевую организацию.

На американские деньги решено было снарядить нагруженный оружием корабль, который должен был доставить свой груз революционным партиям, выгружая его постепенно на Прибалтийском побережье и в Финляндии. На имя норвежского купца в Англии был приобретен корабль „Джон Крафтон“. Он принял груз исключительно из оружия и взрывчатых веществ и с командой, главным образом, из шведов, летом 1905 года ушел в море. На корабле находился, в качестве заведующего взрывчатыми веществами, упомянутый уже мною химик Б.Г.Виллит. „Джон Крафтон“ не выполнил своего назначения. Он сел на скалу у острова Кеми в Ботническом заливе и был взорван своею командою. Часть оружия была предварительно выгружена на острове и там впоследствии найдена пограничною стражею. Оружие это было в дни октябрьской забастовки отобрано финскими революционерами и роздано по рукам финским крестьянам.

Я не принимал никакого участия в снаряжении „Джона Крафтона“ и знал об этой экспедиции только со слов товарищей. Я не участвовал также в попытке боевой подготовки масс, если не считать моего присутствия на нескольких совещаниях и покупке мною в Антверпене в мае 1905 года транспорта револьверов, предназначенных для России.

Живя в Ницце и проводя большую часть времени у Гоца, я был несколько раз в Вильфранше, в химической лаборатории Виллита, Владимира Азефа и супругов Зильберберг, более известных в революционной среде под именем „Серебровых“.

Лаборатория помещалась в стоявшей особняком двухэтажной вилле, и прислугой при ней была Рашель Владимировна Лурье. Лурье и Виллита я встречал раньше в Женеве, Зильбербергов я увидал в первый раз.

Лев Иванович Зильберберг, бывший студент московского университета, уже побывавший в Сибири, был молодой человек, лет 25. Он был хорошо сложен, мускулист и широкоплеч. По характеру он принадлежал к тому же типу людей с твердыми убежде-

*Впоследствии в „Новом Времени“ появилось известие, что пожертвование это было сделано не американцами, а японским правительством. Жонни Циллиакус опровергал это, и центральный комитет не имел оснований отнестись с недоверием к его словам.

ниями и твердой волей, к какому принадлежал и Швейцер. Он был математик по образованию и с любовью занимался прикладными науками. От его скупых слов веяло той же силой, какая чувствовалась в замкнутости Швейцера. Жена его Ксения, или по партийной кличке „Ирина“, была тоже замкнута и молчалива. Так же замкнута и молчалива была и Рашель Лурье.

Еще в Женеве из газет мы узнали о смерти Швейцера. Швейцер под фамилией Артура Генри Мюр Мак-Куллона погиб в ночь на 26 февраля 1905 года в гостинице „Бристоль“ в Петербурге такой же смертью, какой умер Покотиллов 31 марта 1904 г. в Северной гостинице. Он заряжал бомбы для покушения на великого князя Владимира Александровича.

По поводу его смерти в № 61 „Революционной России“ появилась следующая заметка:

„В ночь на 26 февраля в С.-Петербурге, в меблированных комнатах „Бристоль“, погиб от случайного взрыва член боевой организации партии социалистов-революционеров“.

Официальный документ так описывает смерть Швейцера:

„...В ночь на 26 февраля 1905 г. в г.Петербурге в меблированных комнатах „Бристоль“, помещающихся в д. № 39 — 12, на углу Морской и Вознесенского проспекта, произошел приблизительно в 4 утра взрыв в комнате № 27. Силой взрыва в означенном доме, по фасаду, обращенному к Исаакиевскому скверу, во всех четырех этажах выбиты стекла в 36 окнах. Прилегающая часть Вознесенского проспекта (панель и часть мостовой) в беспорядке завалены досками, кусками мебели и разными вещами, выброшенными силой взрыва из разрушенных помещений. Часть этих вещей перекинуло через всю ширину проспекта (37 шагов) в Исаакиевский собор, в котором на протяжении 16 шагов повалило даже чугунную решетку в трех пролетах. Взрывом произведено более или менее значительное разрушение в прилегающих к комнате № 27 номерах 25, 26 и 24 в коридоре, соединяющем эти номера, а также в прилегающем к № 27 ресторане „Мишель“. Заметное разрушение произвел взрыв в меблированных комнатах в третьем этаже, расположенных над комнатой № 27, а также в комнатах, расположенных в первом этаже.

Номер 27 носил следы полного разрушения; состоял он из комнаты, 6 аршин 5 вершков вышины, с двумя окнами и дверью в коридор. Стены в этой комнате оказались частью разрушенными, частью выпученными наружу. Штукатурка потолка и карнизов растрескалась и местами обвалилась. В окнах все стекла и рамы выбиты и разрушены. Подоконник и часть рамы окна, ближайшего к ресторану „Мишеля“, обуглены, как равно и обои в этом месте. В амбразуре второго окна, на штукатурке откосов и в остатках рамы имеются выбоины, а откос окна забрызган кровью. Печка частью разрушена. Пол комнаты сплошь покрыт обломками деревянной перегородки, отделявшей соседний номер, штукатурки и мебели. Металлическая кровать с двумя матрацами, стоявшая у капитальной стены, отделявшей ресторан „Мишель“, в беспорядке и засыпана штукатуркой; на ней в скомканном виде лежали две подушки, две простыни, два байковых одеяла, номер газеты „Neue Freie Presse“ от 24 февраля и книги на французском языке. У капитальной стены, прилегающей к световому дворику, стояли комод и шкаф, от которых после взрыва остались только обломки задних стен. У капитальной стены, выходящей на Вознесенский проспект, стояли:

письменный стол, трюмо и этажерка, но от этих вещей не осталось даже следа. У капитальной стены в том месте, где находились комод и шкаф, на груде обломков досок и мебели, в расстоянии одного аршина от стены, лежал обезображенный труп мужчины. Голова его, обращенная к окнам, откинута назад, так что открыта шея, лицо обращено прямо к окнам. Туловище лежит спиной книзу. Грудная полость совершенно открыта спереди, в правой ее половине ничего нет, позвоночник в грудной и отчасти в брюшной полости открыт. Из левой половины грудной полости видны оба легкие. В связи с головой сохранились части плечевого пояса с прилегающими мышцами, а также руки без кистей и части предплечья. Брюшная полость совершенно разорвана; сердце было найдено среди обломков мышц в области левого плечевого сустава. Правая нога с частью таза лежит параллельно туловищу, на ней имеются остатки нижнего белья. Левая нога, с частью тазовой кости лежит на разрушенной стене, служившей перегородкой между 26 и 27 номерами. Части пальцев и мягких частей тела были найдены в Исаакиевском сквере. В комнате № 27 были найдены вещи, принадлежавшие погибшему от взрыва: иностранный паспорт на имя великобританского подданного Артура Генри Мюр Мак-Куллона и различные предметы, составляющие, по-видимому, части разорвавшегося снаряда. Эти последние были исследованы экспертом, который, на основании результатов исследования, дал следующее заключение: взорвавшийся снаряд был устроен так, что мог употребляться, как метательный снаряд. Оболочка его была легкая, из жести, 0,3 миллиметра. Разрывной заряд снаряда составлял магnezальный динамит, приближающийся по силе к гремучему студню, наиболее сильному из нитроглицериновых препаратов. Взрыв произошел от взрывчатого вещества детонатора, помещенного в детонаторской трубке снаряда, по-видимому, гремучей ртути. Сам снаряд мог быть значительных размеров для ручного снаряда и допускать наполнение зарядом взрывчатого вещества в количестве 4-5 фунтов.

...Судя по расположению наиболее глубоких и обширных повреждений в области передней поверхности туловища и на нижнем отделе верхних конечностей, принимая во внимание расположение ожогов, следует полагать, что в момент взрыва покойный был обращен ближе всего передней и нижней частью туловища к снаряду; например, если он стоял у стола, на котором разорвался снаряд. Судя же по остаткам одежды на трупе, можно думать, что в момент взрыва покойный был одет только в белье. Взрыв по-видимому произошел у окна, и силою взрыва тело Мак-Куллона было брошено на противоположную капитальную стену и вверх, где имеются обильные следы крови в виде мазков и брызг; оттуда, в силу тяжести, оно упало на место, где было найдено. Смерть наступила моментально (см. „Дело о покушении 16 лиц на жизнь генерала Трепова“).

Максимлиан Ильич Швейцер родился 2 октября 1881 года в Смоленске в зажиточной купеческой семье. В 1889 году он поступил в смоленскую гимназию и уже учеником седьмого класса принял участие в революционной работе. По окончании курса в гимназии он в 1897 году уехал в Москву, в университет, где слушал лекции на естественном отделении физико-математического факультета. В 1899 году он был сослан по студенческому делу в Якутскую область, по возвращении откуда отбывал надзор у родителей в Смоленске. В ссылке его убеждения окончательно определились, и он тогда уже мечтал о поездке за границу для изучения химии взрывчатых веществ. Тогда же он примкнул к партии социалистов-революционеров. В 1903 году он уехал за

границу и вступил в боевую организацию, где и работал до своей смерти.

Сохранилось характерное письмо его к матери из Сибири. Родители его подал в 1902 году прошение о помиловании его. Он был, конечно, против такого прошения и ответил на него официальным отказом от всякого снисхождения, посланным им в департамент полиции.

Об этом отказе он и пишет в своем письме:

„Мача, 14 сентября 1902 г.

Дорогая мама.

Сегодня получил твое письмо от 13 августа, и очень, очень мне было больно читать его, больно было мне, во-первых, оттого, что ты меня так поняла, а, во-вторых, и оттого, что я доставляю тебе столько горя. Напрасно ты думаешь, что я из-за холода позабыл тебя. Наоборот, теперь я еще более почувствовал, как ты мне дорога. Ни холода, ни многие годы не заставят меня позабыть тебя, но как бы я тебя ни любил, как бы ни был привязан к тебе, иначе я поступить не мог. Я знал, что доставляю тебе своим поступком большое горе, и не недостаток мужества, как ты пишешь, было то, что я не известил тебя прямо об этом, а просто хотел, чтобы тебе сообщили это известие помягче.

Мне хотелось бы поговорить о наших отношениях, дорогая мама. Ты и папа меня горячо любите, хотите мне больше, чем кто-либо, добра. Я горячо люблю вас и привязан, только не умею проявлять эту любовь так, как другие, я тоже не хочу себе зла и желаю себе только хорошего. Кажалось бы, между нами не может быть никаких разногласий, но дело в том, что добро — то мы понимаем различно. Вы выросли в одних условиях, я в других. Вы желаете мне хорошую жену, большое состояние, безмятежное семейное счастье, положение в обществе. Что касается меня, то я чувствовал бы себя несчастным от такой жизни. Я не мог бы прожить и один год, и я добро понимаю иначе, чем вы. Вот почему между нами так часто проходят облака, вот почему мне так часто приходится заставлять тебя страдать. Мамочка, как ты не понимаешь, что то, что я делаю, доставляет мне удовлетворение. Это одно из условий счастья, и раз ты мне желаешь добра, ты не должна горевать. Когда я послал прошение от 12 июля, у меня камень свалился с сердца, и я почувствовал сильное облегчение, и если бы, благодаря твоему прошению о помиловании, меня вернули бы, в то время, как все мои товарищи оставались бы здесь, я бы не мог смотреть в глаза ни одному честному человеку и я чувствовал бы себя крайне несчастным. Не знаю, доставило ли бы тебе, мама, такое мое положение удовлетворение.

Я не касаюсь здесь общих вопросов, побудивших меня подать это прошение. Если, мама, я буду поступать во всем так, как ты лично хочешь, мне придется ломать себя. Будем же, мама, любить друг друга по-прежнему, и позволь еще, мама, жить так, как я хочу.

Лишь при последней условии я могу быть счастлив, и ведь этого ты хочешь. Брось, мама, скверные мысли в сторону, три с половиной года — срок небольшой, пролетит быстро, и я вернусь к тебе таким же, как и раньше, только более старший и в разлуке более оценивший твою любовь ко мне и тебе самой. Этот же случай тут только крепче свяжет нас друг с другом. До свидания, дорогая мама, целую тебя крепко, крепко. Твой горячо любящий тебя.

М. Швейцер.*

В лице Швейцера боевая организация лишилась одного из наиболее ценных своих членов.

III

Узнав о смерти Швейцера и полагая, что смерть эта может гибельно отразиться на всем петербургском отделе, я сказал Азефу, что, по моему мнению, нам обоим необходимо ехать немедленно в Петербург. Азеф был согласен со мной, но заявил, что ему нужно закончить сперва дела за границей. Я уехал к Гоцу, и в ожидании прошло недели две-три. В середине марта я неожиданно прочел во французской газете, что в Петербурге арестованы члены боевой организации. В числе названных фамилий была и моя. Как оказалось впоследствии, полиция, арестовав Моисеенко, приняла его за меня.

Вскоре выяснилось следующее:

16 и 17 марта в Петербурге и в Москве были арестованы извозчики — Агапов (Дулесов) и Борис Подвицкий и посыльный Трофимов, далее: Василий Шиллеров, Прасковья Волошенко-Ивановская, Борис Моисеенко, Сергей Барыков, Яков Загородный, Анна Надеждина, Татьяна Леонтьева, Надежда Барыкова, Моисей Шнееров, Моисей Новомейский, Михаил Шергов, Сура Эфрусси и Фейга Кац. Кроме того, на станции Малкин С.-Петербургско-Варшавской железной дороги был задержан Боришанский, под фамилией Подновского.

У Боришанского и у Леонтьевой был найден динамит. Трофимов же при аресте оказал вооруженное сопротивление.

Смертью Швейцера и арестом 16 и 17 марта начинается новый период в истории боевой организации. Впоследствии она никогда уже не достигала такой силы и такого значения, какими пользовалась в промежуток времени от 15 июля 1904 г. до февраля 1905 г. Причины ее постепенного упадка были многочисленны, и одной из важнейших, тогда нам неизвестной, было появление в центральном комитете провокатора. Провокатор этот сумел почти на год остановить дело центрального террора.

30 июня 1905 г. в Петербурге был арестован и 20 августа за вооруженное сопротивление полиции казнен один из товарищей, уехавший вместе с Рутенбергом в Россию — Хаим Гершкович. Рутенберг еще до его ареста вернулся за границу. Почти одновременно с ним приехал и член центрального комитета Тютчев. Они нам рассказали следующее.

После смерти Швейцера боевая организация в Петербурге осталась без руководителя. Члены ее, как и можно было ожидать, решили дело не ликвидировать. Во главе организации стал коллектив, состоявший из Ивановской, Леонтьевой, недавно приехавшего в Петербург Барыкова и др. Не говоря уже о том, что коллективное начало в терроре нужно признать вредным, ибо оно предполагает многочисленные и долгие совещания, — коллектив этот состоял из людей, для руководства организацией недостаточно опытных, и, кроме того, сносился еще с Тютчевым, тоже

незнакомым с техникой боевых предприятий. Коллектив решил оставить покушение на великого князя и продолжать дело на Трепова. Я думаю, что, несмотря на несовершенство своего внутреннего устройства, на малочисленность наблюдающего состава (Подвицкий, Дулебов и Трофимов) и на отсутствие дисциплины, организация, поколебленная смертью Швейцера, вскоре все-таки встала бы на ноги. В ней было довольно людей смелых и энергичных, или прошедших школу дела Сергея (Моисеенко, Бриллиант), или участвовавших в покушении на Плеве (Ивановская, Дулебов). Вероятно, естественным путем руководство перешло бы к наиболее опытному лицу, тогда само собой восстановилась бы дисциплина и, конечно, улучшилось бы наблюдение. Кроме того, с приездом руководителя устранились бы и мелкие недостатки и, что всего важнее, — появилась бы уверенность в своих силах. Упомянутый выше провокатор в корне подрезал всякую возможность успеха.

В конце 1904 г. в Петербург вернулся из ссылки Николай Юрьевич Татаров. Бывший член польской социалистической партии, он основал в конце 90-х годов группу „Рабочее Знамя“ и был одним из наиболее видных нелегальных того периода. Он был арестован в феврале 1901 года в Петербурге и, объявив в Петропавловской крепости голодовку, голодал 22 дня. После долгого тюремного заключения он был выслан в Восточную Сибирь на 5 лет. Ему было разрешено поселиться в Иркутске. Здесь он примкнул к партии социалистов-революционеров и поставил комитетскую типографию. Типография эта работала больше года и не была открыта полицией. Срок ссылки Татарову был сокращен.

Революционная репутация Татарова стояла высоко. Еще Гершуни имел его в виду, как выдающегося революционера. Я знал Татарова по Варшаве, откуда он был родом, и затем встретился с ним в Петербурге в 1900–1901 г.г. на работе, когда он был нелегальным. В один из своих приездов в Москву Тютчев спросил мое мнение о Татарове. Я дал самый лучший отзыв, и иного дать не мог: революционное прошлое Татарова не нуждалось в рекомендации, и сам он был человеком крупного ума и больших дарований.

По возвращении в Россию, Татаров был официально кооптирован в центральный комитет в Одессе. В Петербурге, еще до своей кооптации, он часто бывал у Тютчева. Вскоре ему стало известно не только то, что Ивановская состоит членом боевой организации, но и адрес ее.

С этого момента боевая организация была в руках полиции, и арест ее был вопросом короткого времени.

Ни Гоц, ни Тютчев, ни члены боевой организации, конечно, ничего не знали о роли Татарова, большинство не знало даже, что он состоит в партии. Только значительно позже, когда было

учреждено над ним следствие и еще после его смерти, — вполне выяснилось, что он был одной из главных причин арестов 17 марта.

Тютчев, рассказывая о положении дел в Петербурге, даже не упоминал о Татарове. Ему, конечно, и в голову не приходило, что Татаров мог иметь какое-либо отношение к разгрому боевой организации, о котором „Московские Ведомости“ писали, как о „Мукдене русской революции“. Но, рассказывая об арестах, Тютчев сообщил подробность, тогда оставшуюся необъясненной: дня за два до 17 марта к нему позвонил телефон, и чей-то мало знакомый голос сказал: „Предупредите, — все комнаты заражены“. Затем телефон зазвонил отбой.

Тютчев немедленно предупредил о слышанном Ивановскую, но Ивановская, в те дни больная, не обратила на это предупреждение достаточного внимания.

Дальнейшая судьба лиц, арестованных 17 марта, была следующая. Обвинение, возникшее против Басова, Агапова (Дулехова), Подвицкого, Шиллерова, Волошенко-Ивановской, Моисеенко, Барыкова, Барыковой, Шнеерова, Загороднего, Надеждиной, Новомейского, Шергова, Эфрусси и Кац, было прекращено по манифесту 17 октября (указом от 21 октября), а обвинение по отношению к Леонтьевой — „за душевной болезнью“, как сказано в официальном документе. Все они, кроме Агапова (Дулехова), страдавшего в Петропавловской крепости нервным расстройством, были освобождены. В боевую организацию из них вернулись лишь Моисеенко и Шиллеров. Загородний был арестован в декабре 1905 г. по делу о динамитной мастерской в Петербурге, и дальнейшая судьба его мне неизвестна. Эфрусси приняла участие в терроре много позже, в 1907 году. Агапов (Дулехов), нервное расстройство которого перешло в душевную болезнь, был переведен из крепости в больницу Николая-чудотворца. В ноябре-декабре 1905 г. мы сделали попытку освободить его из больницы, и Моисеенко вел с этой целью переговоры с одним из больничных врачей, Трошиным. Переговоры эти кончились неудачей, и Агапов, так и не открыв своего настоящего имени, умер в той же больнице в 1908 году. После него остался один мне известный документ, — письмо, написанное им перед убийством уфимского губернатора Богдановича.

Вот оно:

„Товарищи, думаю, что мне не нужно объяснять вам, почему я иду убивать уфимского губернатора, думаю, что вы хорошо понимаете, что это необходимо. Нельзя допускать, чтобы нас давили, как рабов, нельзя допускать, чтобы нашу кровь проливали, как воду. А за свою свободу, за свое счастье мы должны сами бороться. Но я хочу, товарищи, сказать вам одно: я иду выполнить приговор боевой организации не потому, что не верю в рабочее движение, и сознаю, что если не будем наказывать разбойников и палачей народа, то падет дух, и мы не будем двигаться вперед. Может быть, скажут, что я повредил рабочему движению своим поступ-

ком. Могу сказать, товарищи, вредить я не хотел, думал много над этим, чувствую и верю, что это нужно сделать, потому что за каждый мирный протест нас ожидает наглое издевательство. Выходя на демонстрацию, не поспеем поднять знамя, как на нас сейчас же налетают озверелые казаки, жандармы и шпионы, и начинается дикая расправа: бьют нагайками, бьют шашками, топчут лошадьми, увозя в участок, нагло издеваются над личностью демонстрантов. Кто виноват во всех этих зверствах? Наши министры, генерал-губернаторы и губернаторы. И вот я считаю счастьем, что на мою долю выпало отомстить этому извергу, уфимскому губернатору. По произволу его было пролито много крови златоустовских рабочих. А за проливаемую кровь должна течь кровь угнетателей. И вот я от всей души хочу принести своим братьям пользу, и верю в это дело так же, как и в наше общее дело. Верю, что мы победим. Верю, что хищный коршун, т.е. царское самодержавие, которое рвет на части русский народ, не долго еще будет пить нашу кровь. Боритесь же, товарищи. Боритесь за благо народа, за лучший мир, за святую свободу. Боритесь же, товарищи, не покладая оружия до тех пор, покуда не разлетится в прах русское самодержавие”.

Идя на убийство Богдановича и оставляя это письмо, Дулебов не сомневался, что будет арестован и казнен. 6 мая он шестью выстрелами из браунинга застрелил в городском саду Богдановича и бежал.

Убийство было совершено им одним, вопреки следующему заявлению, напечатанному в № 24 „Революционной России“:

„13 марта 1903 года, по приказанию уфимского губернатора Н.М.Богдановича, войска стреляли в толпу забастовавших рабочих Златоуста, не переставая преследовать залпами даже бегущих. Было убито наповал 28 человек, ранено около двухсот, из которых несколько десятков уже умерло от ран... Среди убитых и раненых оказалось немало случайных зрителей трагедии, женщин и маленьких детей...”

6 мая, по постановлению боевой организации партии социалистов-революционеров, двумя ее членами убит уфимский губернатор Н.М.Богданович”.

Егор Олимпиевич Дулебов родился в 1883 или в 1884 г. По происхождению крестьянин, он работал слесарем в железнодорожных мастерских в Уфе. Зимой 1901 года он вошел в революционный кружок рабочих, во главе которого стоял высланный тогда под надзор полиции в Уфу Егор Сергеевич Сазонов. От Сазонова он и получил первые уроки революционного социализма. Гершуни, организуя убийство Богдановича, выбрал его для исполнения акта. После 6 мая Дулебов перешел на нелегальное положение и скрывался в Екатеринбурге, Саратове и Баку. В Баку он работал в тайной типографии. С весны 1904 года, как я выше упоминал, он принял участие в деле Плеве. В боевой организации все товарищи относились к нему с большим уважением за его отвагу, преданность делу и практический опыт. Ближе всех он был, кроме Сазонова, с Каляевым, Ивановской и Дорой Бриллиант.

Татьяна Леонтьева, вскоре по выходе из Петропавловский крепости, уехала за границу, чтобы через Гоца отыскать боевую

организацию. До меня и до Азефа дошло известие о ее желании снова работать. Мы высоко ценили Леонтьеву, но, не видя ее, не могли знать, насколько она оправилась от своей болезни. Посоветовавшись с Азефом, я написал ей письмо, в котором просил ее пожить за границей, отдохнуть и поправиться. По поводу этого письма произошло печальное недоразумение. Леонтьева поняла мое письмо, как отказ ей в работе, т.е. приписала мне то, чего я не только не думал, но и думать не мог: Леонтьева была всегда в моих глазах близким товарищем, и для меня был вопрос только в одном: достаточно ли она отдохнула после болезни. Поняв мое письмо, как отказ боевой организации, она примкнула к партии социалистов-революционеров-максималистов. В августе 1906 года в Швейцарии, в Интарлакене, во время завтрака она выстрелила в старика, сидевшего за соседним с нею столом. Она стреляла в уверенность, что перед нею бывший министр внутренних дел П.Н.Дурново. Произошла ошибка: старик оказался не Дурново, а французом, по фамилии Мюллер.

Покушение это не было личным делом Леонтьевой. Оно было организовано максималистами, и ответственность за печальную ошибку не может ложиться на нее целиком. В марте 1907 года Леонтьеву судили в Туне швейцарским судом, и приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Что касается остальных членов организации, арестованных по обвинению в приготовлении покушения на Трепова, то 21 ноября 1905 года петербургский военно-окружной суд слушал дело о Подновском (Шевеле), Давыдове, Шиманове, Боришанском, Сидоренко (сыне полковника Трофимова) и Маркове и, признав их виновными, приговорил в каторжные работы: Маркова на четыре года, Трофимова на десять лет; главный военный суд заменил десятилетнюю каторгу Трофимову пятнадцатилетней.

Суд не вынес ни одного смертного приговора. Это объясняется исключительно политическим моментом, „днями свобод“: реакция только готовилась к наступлению. Если бы суд состоялся на два месяца раньше или позже, в сентябре или январе, нет сомнения, что Боришанский, Трофимов и Марков были бы казнены.

После ареста боевой организации на свободе осталась, как я уже упоминал, только Дора Бриллиант. Тютчев, не имевший на то полномочий, и Рутенберг, имевший полномочия исключительно по боевой подготовке мас, образовали вместе с ней комитет боевой организации. Комитет этот ни к каким действиям не приступал, и вскоре Рутенберг и Тютчев уехали за границу. Дора Бриллиант, оставив свой запас динамита в Полтаве, переехала в Юрьев, где и ожидала приезда кого-либо из нас, — меня или Азефа.

Таким образом, боевая организация в сущности перестала существовать. Был Азеф, была Дора Бриллиант, был я. Были также люди неиспытанные и мало известные: супруги Зильберберг,

Рашель Лурье, Маня Школьник и Арон Шпайзман, но не было единого целого, связанного общей работой и одной и той же идеей, не было того, что было достигнуто ценой больших усилий и многих жертв. Предстояло восстановить организацию и закончить дело Трепова. Работы в лаборатории в Вильфранше приходили к концу. Нами было принято следующее решение:

С наличными силами организации, из которых было четыре женщины, мы не считали возможным приступить к покушению на Трепова. Поэтому я взял на себя покушение на Клейгельса, давно признанное необходимым и окончившееся у Боришанского неудачей. В мое распоряжение поступали Зильберберг, Школьник и Шпайзман, причем Зильберберг не должен был принимать непосредственного участия в деле: организация была слаба, и в Зильберберге мы видели единственную ее крупную силу, единственного человека, способного впоследствии заменить нас. Школьник и Шпайзману, как евреям, было неудобно выступать с бомбой в руках в Петербурге. Наоборот, в Киеве их еврейское происхождение только могло подчеркнуть, что убийство генерал-губернатора вызвано отчасти еврейским погромом. Ксения Зильберберг и Рашель Лурье должны были хранить динамит на одесских лиманах. Азеф брал на себя более трудное: подбор людей для основного кадра боевой организации, того кадра, который должен был убить Трепова. Предполагалось действовать и в Киеве, и в Петербурге прежним методом — путем уличного наблюдения. Шпайзман должен был торговать папиросами, Школьник — цветами.

Аресты 17 марта были поворотным пунктом в истории боевой организации.

IV

В мае 1905 г. я, по паспорту бельгийского подданого Рене Ток, через Волочиск выехал в Россию и в Харькове встретился с Зильбербергом. Дора Бриллиант была в Юрьеве, Ксения Зильберберг и Рашель Лурье хранили динамит на лиманах, Шпайзман ждал меня в Вильно, Школьник — в Друскениках.

Начиная дело Клейгельса, я полагал, что оно не может представить серьезных затруднений, — при правильной постановке оно должно было окончиться верным и быстрым успехом, даже без непосредственного участия Зильберберга. Зильбербергу нужно было пройти школу террористического предприятия. С этой точки зрения его присутствие в Киеве было необходимо. Повидавшись с ним в Харькове и поручив ему съездить в Западный край за паспортными бланками, я уехал к Шпайзману в Вильно.

В Вильно я не нашел Шпайзмана. Несколько дней подряд я ждал его на условленной явке и, не дождавшись, пошел вопреки

конспирации в гостиницу, где он должен был остановиться. В гостинице его не было. Я поехал в Друскеники, надеясь от Школьник узнать что-либо о Шпайзмানে.

Школьник рассказала мне следующее: Шпайзман, как и все члены организации, перевозил динамит через границу под плащем. В Александрове, когда он стоял в таможенном зале, к нему подошел чиновник и неожиданно попросил его в отдельную комнату для подробного обыска. При обыске был найден динамит, зашитый пачками в холщевый мешок. Найден был также револьвер. На вопрос таможенного чиновника, что именно заключается в мешке, Шпайзман ответил, что он фармацевт, везет с собой камфору и, не желая платить пошлину, скрыл ее на себе. Ему поверили, но пригласили жандармского офицера. Офицер, осмотрев динамит, тоже принял его за лекарство. Шпайзману предложили уплатить 60 руб. пошлины, отобрали у него револьвер, составили протокол и отпустили. Из Александрова он приехал в Вильно, ждал меня несколько дней и, боясь обыска, уничтожил динамит. Не дождавшись меня, он уехал к Школьник в Друскеники. Накануне моего приезда он снова уехал в Вильно за деньгами. Мне этот рассказ не понравился. Не понравилось и уничтожение динамита, и самое происшествие на границе. Зная, с каким доверием относится к Шпайзману Школьник, я, ничего не сказав о своих впечатлениях, предложил ей дожидаться его в Друскениках и потом вместе с ним ехать в Киев ко мне.

В Киеве я сказал Шпайзману:

— Расскажите, что было с вами на границе?

Он смутился, но повторил рассказ Школьник.

— А как же вы объяснили, что у вас есть револьвер? — спросил я.

— Я сказал, что в России погром, что каждый человек имеет право самозащиты, и что если я и виновен в чем-либо, то только в том, что не имел надлежащего разрешения на хранение оружия.

— Вам поверили?

— Да, и отобрали револьвер.

Тон его речи был правдив. Кроме того, я не имел основания сомневаться в его словах, наоборот, за границей он произвел на меня впечатление безусловно правдивого человека. Я все-таки спросил:

— При вас был внутренний паспорт?

— Да.

— Его нашли?

Шпайзман почувствовал в моих словах недоверие. Он еще больше смутился.

— Нет, его не нашли. Заграничный паспорт отобрали у меня при входе, в дверях. Внутренний, тоже зеленого цвета, остался в кармане. При обыске я вынул его и положил на стол.

— И жандармы не посмотрели?

— Нет. Вероятно они думали, что это мой заграничный паспорт.

Я верил Шпайзману, но история была все-таки странная. Особенно странно было то, что он уничтожил динамит. Я спросил его:

— Где вы уничтожили динамит?

— В Вильно.

— Почему?

— Я боялся, что от Александра за мной следят, а поменять паспорт не мог, — другого у меня не было.

Я рассказал о происшествии Шпайзмана Зильбербергу. Зильберберг расспросил его со своей стороны и тоже поверил ему. Тем не менее, когда в Киев в мае приехал Азеф, я сообщил ему обо всем происшедшем.

Азеф покачал головой и сказал:

— А правда ли это?

Я сказал, что я Шпайзману верю, но что это происшествие само по себе настолько невероятно, что если бы рассказывал не Шпайзман, а кто-либо другой, то я бы не поверил ни одному слову.

Азеф опять покачал головой.

— А не испугался ли он? Не выбросил ли он динамит еще в Вене, а потом придумал всю историю? Я его спрошу?

Азеф сам расспросил Шпайзмана. Впоследствии Шпайзман уже перед смертью, из тюрьмы, передавал нам, что история на границе верна от слова до слова.

Зильберберг вернулся с сотней паспортных бланков. Он их купил в городе Слониме. Я сделал паспорта для Школьник и Шпайзмана, и они, поселившись вместе, занялись уличной торговлей. Он продавал папиросы, она цветы. На Крещатике не воспрещалась торговля в разнос, и наблюдать было чрезвычайно удобно: нужно было только занять места недалеко от Институтской улицы, где находился дом генерал-губернатора. Я предложил Шпайзману торговать у Купеческого сада, чтобы видеть Клейгельса, если он поедет на Подол на парходную пристань. Школьник наблюдала правее Институтской, на углу Анненской, и не могла пропустить выезда в город или на вокзал. Регулярных выездов у Клейгельса быть не могло, и мы решили, поэтому, выяснив его внешность, приступить к покушению в один из тех дней, когда он по обязанностям службы бывал в соборе, — например, в царский день. По принятому нами плану, Школьник и Шпайзман должны были наблюдать с 9 утра до 12 часов дня и с 1 часа до 8 вечера. Трудно было предположить, что Клейгельс после восьми вечера может выезжать куда-либо, кроме театра. Нам же было известно из просмотренных за год газет, что в театрах он бывал исключительно редко.

Зильберберг и я тоже старались гулять по Крещатику. Вскоре

нам обоим удалось увидеть Клейгельса. Он ехал в открытой коляске. Этим устранялась возможность ошибки при покушении.

Однажды в июне я, по обыкновению, бродил по Крещатику. Вдруг неожиданно я услышал за собою голос:

— Позвольте вас на минуту.

Я был уверен, что это филер. Кто же мог обратиться ко мне с такими словами? Я обернулся. Передо мной стоял Дыдынский.

Мы вошли с ним в кондитерскую. Там Дыдынский рассказал мне свою историю — как он вскрыл себе жилы в бане, как был арестован и отвезен в Киев. Кончил он просьбой принять его вновь в боевую организацию.

Я сказал:

— Слушайте, Дыдынский, неужели вы думаете, что товарищи теперь согласятся на это?

Он опустил голову.

Я продолжал:

— Я первый не соглашусь. В сущности, вы ведь совершили преступление против организации.

Тогда Дыдынский сказал:

— Я не могу жить. Я решил так или иначе убить Клейгельса. Я убью его один, если вы не поможете мне.

Я сказал ему, что мы, конечно, будем приветствовать убийство Клейгельса, кто бы его ни убил. Он спросил:

— А на суде могу я назвать себя членом боевой организации?

Я сказал:

— Слушайте, оставим это: вы не убьете Клейгельса. Не думайте больше о терроре: ведь не всякий обязан стрелять и бросать бомбы. Работайте лучше в мирной работе.

Дыдынский настаивал на своем. Он говорил, что пойдет на Клейгельса один, что он не нуждается в помощи и не просит ее, что ему нужно одно: иметь право назвать себя на суде членом боевой организации. Он говорил также, что чувствует свою вину перед товарищами по делу Плеве и хочет ее загладить. В случае неудачного покушения он, по его словам, будет молчать на суде.

Выслушав его, я сказал:

— Мы вам ни позволить, ни запретить убить Клейгельса не можем. У вас есть револьвер, вы легко, как человек легальный и со связями в Киеве, можете добиться приема у генерал-губернатора, это ваше дело. Но помогать мы вам не будем, и встречаться с вами я не хочу. Если же вы убьете Клейгельса, — можете назвать себя членом боевой организации. Еще скажу вам следующее: никаких приготовлений ваше покушение не требует, — вы его можете совершить в любой день приема у Клейгельса. Даю вам срок три недели: если через три недели Клейгельс не будет убит, я буду считать, что вы сегодня ничего мне не говорили.

Через три недели Клейгельс не был убит. А еще через несколько дней я опять встретил Дыдынского на Крещатике. Он сделал вид, что не замечает меня.

V

Гуляя часто по Крещатику в те часы, когда Шпайзман и Школьник должны были наблюдать за Клейгельсом, я редко видел их на местах. Особенно редко бывал на посту Шпайзман. Встречаясь с ними по вечерам, в Царском саду или где-нибудь в трактире, я не раз высказывал им свое удивление. Они объясняли свое отсутствие разными причинами: то Шпайзман был нездоров, то у Школьника болит голова от уличного шума и т.п. Мне казалось, однако, что они что-то от меня скрывают. То же самое впечатление было у Зильберберга, который часто присутствовал при наших встречах. Было странно, что наблюдение тянется уже месяц, а наблюдающие систематически — еще не видели Клейгельса, между тем, как Зильберберг и я, наблюдая случайно, уже встречали его. Эта загадочность и поведение Школьника не соответствовали моему представлению о ней, как о фанатике революции, как о человеке, который во имя террора готов на всякую жертву. Однажды я вызвал ее на свидание одну, без Шпайзмана, и откровенно высказал ей свое мнение: я сказал ей, что лучше бросить дело совсем, чем вести его таким образом. Когда я кончил, я увидел на глазах ее слезы. Сильно жестикулируя, она заговорила со своим типичным еврейским акцентом.

— Ну, хорошо... Я вам скажу все... Только бога ради пусть не знает Арон.

— В чем дело?

— Арон мне не позволяет.

— Следить?

Она закрыла глаза руками:

— Он не хочет, чтобы я бросила бомбу...

Для меня это было неожиданностью: я никогда не подозревал, что Шпайзман может по каким бы то ни было причинам противиться покушению. Я сказал:

— Но ведь не вы будете бросать бомбу, а он. Вы ведь будете только в резерве.

— Все равно. Он не хочет и этого.

Я тоже не хотел этого. Но выбора не было: нужно было идти либо Школьнику, либо Зильбербергу. Кроме того, я надеялся, что Клейгельс будет убит первой бомбой: бомбы были сделаны Зильбербергом, и на Крещатике не было большого движения; ничто не могло помешать метальщику подбежать к коляске. Я сказал:

— А вы, — вы этого хотите?

Она подняла на меня свои заплаканные глаза.

— Вы спрашиваете. Как вы можете спрашивать?

Через несколько дней я сказал Шпайзману:

— Я вас не вижу на улице... Может быть, вы не хотите следить? — Он смутился.

— По правде сказать, я думаю не о Клейгельсе.

— А о ком?

— О Трепове.

— Но вы ведь знаете, — мы с вами уже говорили, — для дела Трепова нужна большая организация, а ее пока нет, и, кроме того, вам, как еврею, неудобно выступать в Петербурге.

— Да... Но что же такое Клейгельс?

Я сказал ему, что он знал заранее, что будет участвовать в покушении именно на Клейгельса, и заранее соглашался на это, даже просил об этом. Я сказал также, что принуждать его мы, конечно, не можем, и что если он не хочет работать в Киеве, то организация вернет ему немедленно свободу действий.

Шпайзман смутился еще больше:

— Вы мне предлагаете уйти из организации?

— Нет, я только не хочу вас принуждать.

Он поколебался минуту.

— Хорошо. Я иду на Клейгельса.

Такие разговоры начали возбуждать во мне сомнения в успехе дела. Я знал от Школьник, что Шпайзман продолжает уговаривать ее не следить и что дело доходит даже до того, что он силой готов ей мешать работать. Я рассказал обо всем Азефу, с которым встретился в конце июня в Харькове.

— Ну, значит, ничего из покушения не выйдет, — сказал он, подумав. — Лучше ликвидировать дело.

Я советовал подождать еще до 15 июля, дня св. Владимира, и 30 — рождение наследника. Была надежда, что в эти дни Клейгельс поедет в собор. Азеф не протестовал. Вернувшись в Киев, я, на свидании, прямо поставил Школьник и Шпайзману вопрос, желают ли они участвовать в покушении на Клейгельса 15 или 30 июля.

Шпайзман сказал:

— Но мы еще не видели Клейгельса.

Я ответил, что времени довольно, и они, наблюдая, успеют увидеть его. Тогда Шпайзман сказал:

— Я бы предпочел Трепова.

Но Школьник перебила его:

— Мы решили Клейгельса и пойдем на него.

Я видел, что Шпайзман на Клейгельса не пойдет. Устраивать покушение с одною Школьник я по многим причинам не хотел. Дать бомбу Зильбербергу я не имел права, да если бы и имел, то не сделал бы этого, считая нецелесообразным при слабости организации жертвовать наиболее ценным работником для провинциального дела.

Покушение на Клейгельса не состоялось ни 15, ни 30 июля, Шпайзман от него отказался, и мы с ним расстались. Расстались мы и со Школьник, хотя наша уверенность в ее преданности террору не поколебалась. На прощанье Шпайзман сказал:

— А вы дадите мне бомбу, если я вас об этом буду просить?

— Зачем вам бомба?

— Быть может, я пойду на провинциальное дело.

Я удивился.

— Слушайте, Арон, для вас Клейгельс слишком ничтожен, вы хотите Трепова, не меньше, — и решаетесь на провинциальное дело?

— Я этого не сказал, я хотел только знать, дадите ли вы мне бомбу.

Я ответил, что бомбы ему не дам: распоряжаться динамитом вне пределов организации я не имею права.

Я думаю до сих пор, что Шпайзману было все равно, в каком покушении участвовать: в покушении на Трепова или на Клейгельса. Думаю также, что он, отказываясь от киевского дела, не имел в виду сохранить свою жизнь: его готовность пожертвовать ею уже тогда не подлежала сомнению. Но мне кажется, что он в то время еще не мог примириться с участием Школьник в террористическом акте, а примирился с ним много позже, оставив нашу организацию.

Действительно, через несколько месяцев, в январе 1906 г. в Чернигове было произведено покушение на жизнь местного губернатора Хвостова. Впоследствии оказалось, что его устроили Маня Школьник и Арон Шпайзман. Бомба Шпайзмана не разорвалась, бомбою Школьник губернатор был ранен. Военно-окружной суд приговорил Шпайзмана к смертной казни, и он был тогда же повешен. Школьник получила 20 лет каторжных работ. Так кончили они свою революционную карьеру.

При свиданиях со мною Азеф рассказывал мне о ходе своей работы. Она подвигалась медленно. Годных для боевой работы людей в партии было мало. Азеф отыскал пока одного нелегального партийного работника, бывшего дворника в тайной иркутской типографии, Петра Иванова. Иванов приехал в Киев.

Иванов был небольшого роста, очень застенчивый и молчаливый юноша лет 22. Было решено, что он поедет в Петербург и устроится там извозчиком.

Иванов стал первым извозчиком в возобновленном деле Трепова, и оставался им целый год, с осени 1905 года по осень 1906 г.

Тогда же Азеф сообщил мне, что бывший член „Народной Воли“, бежавшая с поселения Анна Васильевна Якимова, желает принять участие в боевой организации. Он звал меня и Зильберберга в Нижний Новгород, куда должна была приехать Якимова, и где, по его словам, тоже были подходящие люди для дела Трепова. Зильберберг съездил в Одессу и, рассказав о киевской неудаче Ирине и Рашель Лурье, выехал в Нижний Новгород. Туда же выехал и я.

В Нижнем Новгороде было три кандидата в боевую организа-

цию: бывший студент московского университета Александр Васильевич Калашников и рекомендованные им слесари Сормовского завода, члены местной боевой дружины: Иван Васильевич Двойников и Федор Александрович Назаров. Калашников был нам мало известен. Наученные киевским опытом, мы не решились взять его и его товарищей сразу на такое ответственное дело, как покушение на Трепова. Мы предложили им сперва попытаться убить нижегородского губернатора барона Унтерберга. Двойников и Назаров должны были торговать на улице папиросами, а Калашников должен был руководить наблюдением.

Азеф уехал по общепартийным делам. Меня он попросил съездить в Пензу, где был под надзором полиции усиленно нам рекомендованный бывший студент московского университета Борис Устинович Вноровский. Встретиться с Азефом я должен был опять в Нижнем Новгороде.

В Пензе я не без труда отыскал Вноровского. Я пришел к нему на квартиру и увидел перед собою очень красивого, широкоплечего молодого человека, с густыми черными с проседью волосами и задумчивыми светлыми глазами. Одет он был в ситцевую рубашку и высокие сапоги. Он не удивился мне, как будто давно ожидал моего появления. Я спросил его:

— Я слышал, вы хотите работать в боевой организации?

— Да.

— Можно вас спросить, почему именно?

Он дал ответ, удививший меня тогда своею простотою:

— Я социалист-революционер, признаю террор, значит должен делать его.

Он говорил мало, только отвечая на прямые мои вопросы. В его наружности было много общего со Швейцером и Зильбербергом: небольшой рост, широкие плечи, черные волосы и светлые глаза. Так же, как и они, он был молчалив и сдержанно спокоен.

Я сказал ему, что террористическая работа заключается не только в том, чтобы с бомбой в руках выйти на улицу, что она гораздо мелочнее, скучнее и труднее, чем это принято думать, что террористу приходится месяцами жить простолюдином, почти не встречаясь с товарищами и занимаясь самым трудным и неприятным делом — систематическим наблюдением.

Вноровский слушал молча. Потом он сказал:

— Я это знаю и справлюсь с этим.

Я переспросил его:

— Вы можете быть извозчиком?

Он просто ответил:

— Конечно.

Он показался мне спокойным, сильным и смелым. В его лице мы приобретаем первоклассного работника.

Мы решили с ним, что он поедет в Петербург и устроится там

извозчиком. Я сказал ему, что мы готовим покушение на Трепова.

В Пензе я пробыл дня три. Я надеялся увидеть еще крестьян, которые предлагали свои услуги боевой организации. К несчастью, этих крестьян мне так и не удалось увидеть, они были арестованы по своему, комитетскому, делу.

Я вернулся в Нижний. Калашников сообщил мне, что барон Унтербергер, очевидно, опасаясь покушения, почти не показывается на улице, и что Двойников и Назаров караулят его, но безрезультатно. Я остался в Нижнем ожидать Азефа. Со мною был Зильберберг.

Зильберберг был чрезвычайно огорчен киевской неудачей. Он предлагал свое непосредственное участие в покушении на Клейгельса, и был очень огорчен нашим отказом. Колебания Шпайзмана произвели на него тяжелое впечатление, эти колебания он считал преступлением.

Зильберберг был одним из тех людей, которые, быть может, более всяких других, необходимы для организации. Он исполнял всю черную работу террористического дела. На его долю приходилось наиболее скучное, но и совершенно необходимое: поездки, сношения с товарищами, паспортное бюро, доставка динамита и т.д.

Он никогда не жаловался и молчаливо и точно исполнял поручения. Скромный и аккуратный, он брался за всякую работу: он был и химик, и извозчик, и впоследствии организатор. Каковы были его задушевные мнения, — мне неизвестно. Он почти не говорил о них, как вообще не любил касаться вопросов теории. В Киеве и в Нижнем я близко сошелся с ним и убедился, что мы были правы: он был достойный наследник Каляева, Покотилова, Сазонова и Швейцера. Было решено, что в деле Трепова он тоже примет участие, как извозчик.

Таким образом, если за лето нам не удалось выполнить первую часть нашей задачи, — убить Клейгельса, зато вторая, главная, была нами выполнена. Мы могли с уверенностью сказать, что организация восстановлена, что в ней есть тот необходимый кадр испытанных и дисциплинированных людей, с которыми единственно возможно было приступить к такому трудному и сложному делу, как дело Трепова. С меньшей уверенностью мы могли сказать, что в организации нет людей, которые своими колебаниями могут привести ее в расстройство. К концу лета состав ее определился окончательно: кроме Азефа и меня, для наблюдения было еще шесть человек: Зильберберг, Иванов, Вноровский, Калашников и Назаров, из которых Зильберберг и трое последних показали на деле свою преданность террору. Состав химической группы был также достаточно многочислен и опытен: Дора Бриллиант, Ксения Зильберберг и Рашель Лурье. Мы могли снова надеяться на успех.

Надежды эти были преждевременны.

Якимова в Минске увиделась с Татаровым и, как члену центрального комитета, сообщила ему, что едет в Нижний Новгород на совещание со мной и Азефом. Татаров воспользовался этим случайным сведением: он указал нас полиции.

VI

В начале августа Азеф вернулся в Нижний. Первые его слова были:

— За нами следят.

Он рассказал мне, что заметил за собой филеров. Я не замечал за собой никаких признаков наблюдения и поэтому сперва не поверил ему.

Тогда он сообщил мне, что он не только сам за собой замечал филеров, но что его дважды предупредили посторонние люди: в первый раз в Москве, после свидания его с Якимовой в кофейне Филиппова, какой-то незнакомый ему человек на улице обратил его внимание на наблюдающих за ним филеров, и второй раз кондуктор железной дороги прямо указал ему в вагоне на них. Азеф решительно настаивал на том, чтобы немедленно всем нам уехать из Нижнего, но я долго еще протестовал: мне было жаль ликвидировать дело барона Унтербергера.

Дня через два Азеф и Зильберберг заметили за собой на улице филера. Я, вернувшись к себе в номера, обратил внимание на какое-то едва уловимое изменение в отношении ко мне номерной прислуги. Но я все-таки склонен был думать, что мы преувеличиваем опасности и, в сущности, никакого наблюдения за нами не производится. Я спросил Зильберберга:

— Вы уверены, что за вами следили?

— Я не уверен, — отвечал он, — но у меня неприятное ощущение, точно с нас не спускают глаз.

В тот же день вечером, когда я с Азефом сидел в ресторане на ярмарке, мне показалось, что в залу вошел Статковский, чиновник особых поручений при петербургском охранном отделении. Я со студенческих лет не видел Статковского и, конечно, мог ошибиться, но сходство было так велико, что я обратил на это внимание Азефа.

Осторожность требовала немедленных и решительных мер. Продолжая нижегородское дело, мы могли окружить филерским кольцом всю организацию, что неизбежно привело бы ее к окончательному разгрому. Перед нами, таким образом, стояла уже не та задача, которая была раньше, — не убийство Трепова, а сохранение организации, — задача менее почетная, но не менее трудная.

Первым уехал из Нижнего Зильберберг. Ему счастливо удалось ускользнуть от наблюдения, и, по приезде в Петербург, он,

купив пролетку и лошадь, стал извозчиком. Азеф скрылся. Якимова, за которой с самого Минска было учреждено строгое наблюдение, была арестована во Владимире. В „дни свобод“ ее судили судебной палатой за побег из Сибири, и она по судебному приговору была возвращена на место своей первоначальной ссылки. Со мной случилось следующее.

Азеф назначил мне через три недели свидание в Петербурге. Эти три недели мы, — каждый порознь, — должны были посвящать сокрытию своих следов. Я прибег к хитрости: я выехал из Нижнего с поездом, который приходил в Москву за полчаса до отхода с Брянского вокзала курьерского поезда в Киев. В Москве мне едва хватало времени, чтобы переехать с одного вокзала на другой. Филеры не могли знать заранее, куда я в Москве поеду. Поэтому на Нижегородском вокзале я громко велел носильщику нанять лихача на Брестский, т.е. Смоленский, а не Киевский вокзал. Отъехав на лихаче полверсты, я спросил его:

— Куда ты едешь?

— На Брестский, как приказывали.

— На Брянский, а не на Брестский. Поезжай на Брянский.

Лихач повернул. За нами не было никого, и я уехал в Киев, в уверенности, что мой отъезд никем не замечен. В Киеве я переменил костюм и решил несколько дней провести у моего товарища по университету Данилова, служившего на станции Жмеринка, между Киевом и Одессой. Я взял билет до Одессы, но в Жмеринке соскочил с третьим звонком на платформу. На мое несчастие Данилов и вся его семья уехали в Киев. Дома была только прислуга. Я сказал ей, что я двоюродный брат Данилова и остался один в пустом доме. Так прожил я в Жмеринке дней пять, пока не приехал хозяин. В полной уверенности, что я теперь совершенно свободен от наблюдения, я решил выехать в Петербург. До условленного с Азефом срока оставалось дней семь. На всякий случай я заехал еще в имение рекомендованного мне Азефом товарища Гедды, агронома в Клинском уезде. На другой день после моего приезда встревоженная хозяйка вошла ко мне в комнату:

— За вами следят.

— Не может этого быть.

— Только что приходил садовник, говорит, что со станции приехали двое сыщиков и спрашивают о вас.

В это время приехал сам Гедда. Он рассказал, что один из железнодорожных служащих сообщил ему, что в Клину и на соседней с ним станции кого-то поджидают филеры. Очевидно, мне не удалось скрыться от наблюдения. Очевидно было и то, что дальше оставаться в имении нельзя.

В тот же вечер Гедда сам запряг лошадь и отвез меня не на станцию, а на маленький, в стороне от Клина, полустанок. Когда я садился в поезд, на полустанке этом не было, кроме сторо-

жа, ни души. Я поехал обратно в Москву с таким расчетом, чтобы в Москве захватить курьерский поезд на Петербург. Между приходом моего поезда и отходом петербургского оставалось 15 минут. Мне нужно было только выйти из вагона и на том же вокзале, даже на той же платформе, незаметно пройти в уже составленный поезд. Я так и сделал.

Я приехал в Петербург утром. Я не знал, следят ли за мной, или мне удалось скрыться от наблюдения. До вечера я не замечал за собой филеров. Вечером же, около 7 часов, я, выходя из Зоологического сада, заметил извозчика-лихача, который, не предлагая мне сесть, медленно тронулся за мной. Я прошел на Зверинскую улицу, он поехал за мной вслед, я свернул в Мытинский переулок, он немедленно свернул за мной. Так следил он около часа. На Церковной я круто повернул назад и пошел ему прямо навстречу. Он на моих глазах повернул лошадь и, усмехнувшись, сказал:

— Ну, что же, барин, смотрите...

Я понял, что меня арестуют.

Я вышел на Большой проспект Петербургской стороны, и он, обогнав меня, поехал по направлению к Введенской улице. Я взял извозчика и велел ему ехать на Большой проспект Васильевского острова. Я помнил, что посредине его есть бульвар, и решил воспользоваться им, чтобы скрыться.

На Тучковом мосту я услышал за собой крупную рысь. Я обернулся. Мой лихач догнал меня. На Большом проспекте я на ходу выскочил с извозчика и, перебежав бульвар, скрылся в Днепровском переулке. Весь расчет у меня был в том, что лихач не может с лошадью пересечь бульвар, а должен его обогнуть. Таким образом, я выиграл несколько минут. Лихач, действительно, погнав свою лошадь в объезд. Я бросился бегом по Днепровскому переулку и, свернув в Академический переулок, прижался к стене какого-то дома и ждал. Прошло полчаса. Кругом не было ни души. Я решил, что мне удалось убежать. Вещей со мной не было, зайти в гостиницу поэтому было мне неудобно. Я вспомнил, что на Большом проспекте Петербургской стороны живет мой товарищ по гимназии, прис[яжный] пов[еренный] А.Т.Земель. Я позвонил к нему.

Я рассказал Земелю, что за мной следят уже две недели и спросил его, может ли он дать мне ночлег. Земель согласился без колебания.

На следующий день, утром, к Земелю пришел гражданский инженер П.М.Макаров, мой хороший знакомый: он не раз оказывал услуги боевой организации. Макаров сказал, обращаясь к Земелю:

— Почему ваш дом окружен полицией?

Дом был, действительно, окружен полицией. Было ясно, что меня все-таки проследили, и что мне едва ли уйти. Я начал с Зе-

мелем обсуждать, каким образом скрыться мне из его квартиры. Посреди разговора Земель надел шляпу и вышел на улицу за покупками. Макаров ушел давно. Я остался один. Прошел час, прошло два и три часа. Наступили сумерки. Земель не возвращался. Я не мог понять причин его отсутствия. Зная его, я не мог думать, что он оставил меня в таком затруднительном положении, но в равной степени не мог допустить, что он арестован. Причины для ареста не было. Земеля могли взять, только обнаружив меня у него. Но полиция с обыском не являлась, и я, хотя и окруженный со всех сторон, был еще на свободе.

Часов в 8 вечера я, не дождавшись Земеля, решил выйти на улицу. Я надел его пальто и прошел мимо дворников в ворота. Дворники не обратили на меня никакого внимания. Шел дождь, началось наводнение. Филеров не было видно. Я взял извозчика и поехал на Финляндский вокзал.

Как оказалось впоследствии, Земель был арестован на улице и отвезен в охранное отделение. До вечера полиция принимала его за меня. Только к ночи выяснилось, что произошла ошибка. Тогда был сделан безрезультатный обыск у него на квартире.

Я поехал на дачу в Финляндию к А.Г.Успенскому. Я был в нерешительности, что мне теперь предпринять. Об Азефе известий я не имел. Я склонялся к тому, чтобы из осторожности прожить несколько дней в Финляндии и только тогда начать поиски Азефа. Но на дачу к Успенскому на другой день приехал член петербургского комитета В.З.Гейнце. Он сказал мне, что Азеф выехал за границу. Он же сообщил мне следующее.

К члену петербургского комитета Ростовскому являлась незнакомая дама и принесла анонимное письмо. В письме этом говорилось, что инженер Азеф и „бывший ссыльный Т.“ (Татаров) — секретные сотрудники департамента. Затем перечислялось, что именно тот и другой „осветили“ полиции.

Письмо это не вызвало тогда во мне никаких сомнений: уже не говоря об Азефе, я и Татарова не мог заподозрить в провокации. Но я не понимал происхождения и цели этого письма и решил, поэтому, ехать за границу посоветоваться с Гоцем и Азефом. Я понимал только, что письмо это во всяком случае доказывает осведомленность полиции, и что нам поэтому невозможно немедленно приступить к дальнейшей работе.

Все члены боевой организации, кроме приехавшей впоследствии в Женеву Доры Бриллиант, остались в России. Для перехода через границу я обратился в Гельсингфорсе по данному мне Гейнце адресу к члену финской партии Активного Сопrotивления Евве Прокопе.

В Гельсингфорсе я встретил Гапона: он жил в Скатудене у студента Вальтера Стенбека. Когда я пришел к нему вечером, он уже спал. Вокруг его дома дежурила вооруженная стража, — члены партии Активного Сопrotивления.

Гапон проснулся и, увидев меня, приподнялся с кровати. Первые его слова были:

— Как ты думаешь, меня повесят?

Я удивился его вопросу. Я сказал:

— Вероятно.

— А может быть в каторгу? А?

— Не думаю.

Тогда он робко спросил:

— А в Петербург можно мне ехать?

— Зачем тебе в Петербург?

— Рабочие ждут. Можно?

— Пути всего одна ночь.

— А не опасно?

— Может быть и опасно.

— Вот и Поссе мне говорит, что опасно. Убеждает не ехать.

Как ты думаешь, если вызвать рабочих сюда или в Выборг?

Я ничего не ответил. Гапон сказал:

— Паспорт у тебя есть?

— Есть.

— Дай мне.

— У меня один.

— Все равно. Дай.

— Ведь мне самому нужен.

— Ничего. Дай.

— Слушай, не могу же я остаться без паспорта.

— Дай.

Я дал ему фальшивый паспорт на имя Феликса Рыбницкого.

Пряча паспорт, он повторил свой вопрос:

— Так ты думаешь, — повесят?

— Повесят.

— Плохо.

Я стал прощаться. На столике у постели лежал заряженный браунинг. Гапон взял его и потряс им над головой.

— Живым не сдамся!

Евва Прокопе направила меня в Або. Из Або я, в сопровождении члена той же финской партии Активного Сопротивления, тов. Кувшинова, проехал на Аландские острова. На Аландских островах был снаряжен парусный бот, принадлежащий местному помещику Альфтану. Альфтан, Кувшинов, крестьянин Липдеман и студент гельсингфорсского университета Виоде составили экипаж бота. Мы прошли таможду под флагом яхт-клуба и к вечеру остановились на маленьком острове в финских шхерах. На заре мы опять снялись с якоря и через сутки были уже в шведских водах. Меня высадили на шведский маяк. Финны сказали смотрителю маяка, что я француз-турист, и с его помощью я нанял парусную лодку до Фюрюзунда, маленького курорта под Стокгольмом. К вечеру я был в Фюрюзунде и еще через день в Стокгольме.

Я не могу забыть той любезности и того радушия, с которыми встретили меня тогда эти финны. В моем лице они, по их мнению, оказывали услугу русской революции и делали это с тем большей готовностью, что справедливо считали себя товарищами русских революционеров.

В начале сентября я приехал в Женеву.

VII

В Женеве я нашел Гоца. Он по-прежнему лежал в постели больной. Гоц внимательно выслушал мой рассказ о положении дел в боевой организации и сказал, что текст упомянутого письма уже доставлен ему из Петербурга. Он спросил меня, что я думаю об этом письме.

— Что я думаю? Ничего.

— А Татаров?

Я сказал, что знаю Татарова давно и не могу допустить мысли, чтобы он мог стать провокатором.

Гоц задумался.

— По-моему, — заговорил он медленно, — письмо несомненно полицейского происхождения. За ним кроется какая-то интрига. Кроме того, мне кажется, в партии есть провокатор. Чем иным объяснить, например, наблюдение за нами в Нижнем?

— Что же вы думаете? — перебил я его.

Он не скоро ответил. Наконец, он сказал:

— По-моему, нужно расследовать дело.

Татаров жил в это время в Париже. Он предпринял в России издание легальным путем статей, появившихся одновременно в „Революционной России“, и уже напечатал в русских газетах объявление об этом издании.

В объявлении этом были перечислены имена Гоца, Шишко, Чернова, Минора, Баха и других видных социалистов-революционеров. Такое перечисление имен могло только повредить делу: оно обращало на себя внимание читателей и цензуры. Татаров не мог об этом не знать.

Не один Гоц смотрел мрачно на положение дел в партии. Присутствие провокатора чувствовалось многими. Многих также смущало, что в указанном письме упоминался Татаров. Татаров произвел на большинство заграничных товарищей неприятное впечатление, хотя, конечно, никаких поводов к его обвинению быть еще не могло.

В начале сентября Гоц собрал находившихся в Женеве членов центрального комитета и близких к комитету людей. На этом собрании были Минор, Чернов, Тютчев, я и некоторые другие. Гоц, открывая собрание, сказал:

— Я много думал. Положение очень серьезное. Мы, мне кажется, должны стоять на единственно революционной точке зре-

ния: для нас не может быть ни имен, ни авторитетов. В опасности партия, поэтому будем исходить из крайнего положения, — допустим, что каждый из нас находится в подозрении. Я начинаю с себя. Моя жизнь известна. Кто может что-нибудь возразить?

Он остановился потом на жизни каждого из присутствовавших и спросил:

— Может быть, кто-нибудь определенно подозревает кого-либо?

Встал Чернов. Он долго и горячо говорил, доказывая, что, по его мнению, подозрителен N., человек самостоятельных и оппозиционных центральному комитету взглядов, но хорошо всем известный и несомненно стоявший выше всяких подозрений. Когда Чернов кончил свою речь, все рассмеялись, и он рассмеялся первый. До того обвинение N. было непохоже на правду.

Когда наступило молчание, Гоц сказал:

— Я не хочу сказать ничего дурного, но не могу и скрыть своих подозрений; Татаров, по моим подсчетам, издержал на дела своего издательства за шесть недель более 5000 руб. Откуда у него эти деньги? Ни партийных, ни личных сумм у него нет, о пожертвовании он должен был бы сообщить центральному комитету. Я спрашивал его, откуда у него деньги, и он отвечал, что ему дал 15 тысяч руб. известный общественный деятель Чернолуцкий. Не скрою, я начинаю сомневаться в этом.

Все мы слушали Гоца со вниманием.

Помолчав, он заговорил снова:

— Итак, издательство это не обеспечено материально. По крайней мере, я не думаю, чтобы у Чернолуцкого могли быть такие деньги или чтобы к нему поступило пожертвование в таких размерах на литературное дело, тем более, то это дело начинает мало известный в литературных кругах Татаров. Но это не все: его издательство не обеспечено или, вернее, чересчур обеспечено с цензурной стороны. Татаров человек практичный и умный. Как понять его печатное заявление об участии моем, Чернова, Минора? Ведь такое заявление должно губить дело. Мне неясна роль Татарова, и я бы предложил ее выяснить... Как ее выяснить? Я предлагаю послать кого-либо в Петербург со специальной целью, — узнать у Чернолуцкого, давал ли он деньги Татарову, и если давал, то в каком именно размере. Если Татаров сказал мне правду, я откажусь от своих слов. Мы, во всяком случае, ничем не рискуем.

Все присутствовавшие согласились с Гоцем, и тогда же было решено послать в Петербург А.А.Аргунова, члена центрального комитета.

Аргунов уехал в Петербург и явился к Чернолуцкому. Чернолуцкий сказал ему, что денег Татарову не только не давал, но и не обещал. Кроме того, он был весьма удивлен, что Татаров пользуется его именем.

В отсутствие Аргунова, Татаров приехал в Женеву. Гоц предложил и настоял, чтобы за Татаровым было учреждено наблюдение. Наблюдение это я взял на себя, и мне в нем помогали Александр Гуревич и Василий Сухомлин. Наше наблюдение не дало никаких результатов, зато Тютчеву и Чернову удалось случайно установить, что Татаров дал центральному комитету неверный адрес в Женеве. В гостинице, на которую он указал, его не было.

Недели через две вернулся Аргунов и передал нам ответ Чарлуусского.

Татаров сказал Гоцу неправду.

Тогда, по инициативе Гоца и по постановлению центрального комитета, была избрана комиссия для расследования дела Татарова. В нее вошли: Бах, Тютчев, Чернов и я.

Татаров не подозревал ничего. Он возобновил со мною старые отношения. Приходил ко мне на дом и много расспрашивал о боевой организации. Я не отвечал, ссылаясь на профессиональную тайну. Он интересовался также делами моих родных, их возможным участием в революции. Я отговаривался незнанием. Он несколько раз спрашивал, следили ли за мною в России. Я отвечал, что давно не выезжал из Женевы.

Он бывал не у меня одного. В Женеве он расспрашивал всех и обо всем. Ему доверяли. Центральный комитет молчал о своих подозрениях. Это было необходимо, ибо, конечно, была возможность ошибки. Высказанное же громко подозрение уже губило Татарова. Вскоре он знал слишком много.

Татаров собирался уехать в Россию и на прощанье решил устроить обед товарищам. На этом обеде было много народу, в том числе Чернов и я.

Татаров был оживлен и весел. Товарищи, не знавшие об обвинении, которое над ним тяготело, желали ему удачи в России. После обеда, когда гости стали расходиться, Чернов и я подошли к Татарову:

— Когда вы хотите ехать?

— Сегодня вечером.

— Сегодня вечером это невозможно.

Татаров быстро спросил:

— Почему?

— У центрального комитета к вам дело.

— Но я должен уехать. какое дело?

— Мы уполномочены просить вас остаться.

Татаров пожал плечами.

— Центральный комитет просит вас.

Он опять пожал плечами.

— Ну, хорошо, я останусь. Но это странно... Почему вы раньше не предупредили меня?

На следующий день состоялось в Женеве, на квартире О.О.Минора, первое заседание упомянутой выше комиссии. Мы

сказали Татарову, что центральный комитет занят ревизией партийных дел. По его поручению, мы просим выяснить нам финансовую и цензурную сторону нового издания, ибо центральный комитет желает взять его под свое руководство. Татаров ответил, что деньги в размере 15 тысяч рублей он получил, как пожертвование, от Чернолуцкого. Дальнейшую помощь ему обещали тот же Чернолуцкий и киевский издатель Цитрон.

Чернов вел допрос. Не возражая Татарову, он осведомился об его адресе в Женеве.

Произошел следующий разговор:

Чернов. Вы говорите, что остановились в Hôtel des Voyageurs.

Под какой фамилией?

Татаров. Плевинский.

Чернов. Номер комнаты?

Татаров. Кажется, 28.

Чернов. Мы справлялись. Ни в № 28, ни вообще в Hôtel des Voyageurs Плевинского нет.

Татаров. Я ошибся. Я живу в Hôtel d'Angleterre.

Чернов. Под фамилией Плевинского?

Татаров. Я не записался еще.

Чернов. Номер комнаты?

Татаров. Не помню.

Чернов. Мы справлялись и в Hôtel d'Angleterre. Вас там нет.

Татаров. Я не помню названия гостиницы. Быть может, это и не Hôtel d'Angleterre.

Чернов. Вспомните.

Татаров. Не помню.

Чернов. На какой улице эта гостиница?

Татаров. Не помню.

Чернов. Хорошо. Запишем в протокол: не помнит ни названия гостиницы, ни улицы, ни номера комнаты, и фамилии еще не имеет.

После недолгого молчания Татаров говорит:

— Я вам солгал.

Чернов. Почему?

Татаров. Мы не дети. Я живу с женщиной. Скрывая свой адрес, я защищаю ее честь. Впрочем, хотите — я назову вам ее.

Чернов. Нет.

Татаров волнуется. Ответы его становятся еще страннее.

Чернов. Скажите, чем обеспечено ваше издание в отношении цензуры?

Татаров. Мне обещал покровительство один из людей, имеющих власть.

Чернов. Кто именно?

Татаров. Один князь.

Чернов. Какой князь?

Татаров. Князь.

Чернов. Мы просим сообщить нам его фамилию.

Татаров. Зачем? Я сказал князь. Этого довольно.

Чернов. По постановлению центрального комитета мы предлагаем вам сказать его фамилию.

Татаров. Ну, хорошо, это граф...

Чернов. Граф?

Татаров. Это неважно, граф или князь. Да и вообще зачем фамилия?

Чернов. Центральный комитет приказывает вам.

Татаров. Граф Кутайсов.

Чернов. Отец или сын?

Татаров. Сын.

Чернов. Вы знакомы с сыном Кутайсова?

Татаров. Да.

Чернов. Где вы с ним познакомились?

Татаров. У его отца.

Чернов. В Иркутске или Петербурге?

Татаров. В Петербурге.

Чернов. Вы бывали у Кутайсова в Петербурге?

Татаров. Да.

Чернов. Что же вы там делали?

Татаров. Я знаком с ним еще по Иркутску. В Иркутске мне не раз приходилось просить его за товарищей.

Чернов. Да, но зачем вы возобновили знакомство в Петербурге?

Татаров молчит.

Чернов. Вы бывали в доме Кутайсова и не сообщили об этом центральному комитету. Знаете, что партия одно время готовила на него покушение?

Татаров молчит.

Чернов. Что же, сын Кутайсова сочувствует революции, если обещал вам помощь?

Татаров молчит.

Чернов. Я вам должен сказать, что вы нам солгали, не только скрывая свой адрес. Чарнолуцкий не давал вам ни копейки денег и не обещал. Фамилию Цитрона вы услышали в первый раз три дня тому назад от Минора и в сношениях с ним поэтому быть не могли.

Татаров. Нет, Чарнолуцкий дал мне 15 тысяч.

Чернов. Не спорьте. Доказано, что вы денег от него не получили.

Татаров. Это недоразумение. Я получил.

Чернов. Один из членов центрального комитета был у Чарнолуцкого в Петербурге. Вы денег не получили.

После долгого колебания Татаров говорит:

— Я вам солгал. Деньги мне дал мой отец.

Чернов. Сколько?

Татаров. Десять тысяч.

Чернов. Разве ваш отец так богат?

Татаров. Он занял для меня под вексель.

Чернов. Вы можете это доказать?

Татаров. Я представляю удостоверение от моего отца.

Чернов. Почему вы прямо не сказали, что деньги вам дал отец? Мы бы удовлетворились этим ответом.

Татаров. Мой отец не сочувствует революции. Я не хотел здесь упоминать его имя... Но в чем вы меня обвиняете?

Чернов. Вы знаете сами.

Татаров. Нет.

Тютчев. В предательстве.

Чернов. Лучше, если вы сознаетесь. Вы избавите нас от необходимости уличить вас.

Татаров молчит. Молчание длится минут десять. Его прерывает Бах:

— Дегаеву были поставлены условия. Хотите ли вы, чтобы и вам они были поставлены?

Татаров не отвечает. Молчание длится еще минут десять.

Все время Татаров сидит, положив руки на стол и на руки голову. Наконец, он подымает глаза:

— Вы можете меня убить. Я не боюсь смерти. Вы можете меня заставить убить. Но даю честное слово: я не виновен.

Допрос продолжался еще несколько дней. Выяснилось еще, что Татаров: 1) узнал от А.В.Якимовой в Минске, что в Нижнем Новгороде летом 1905 г. предполагался съезд членов боевой организации; 2) знал петербургский адрес Волошенко-Ивановской перед арестом 17 марта; 3) имел свидание с Новомейским и бывшим членом „Народной Воли“ Фриденсоном перед арестом Новомейского; 4) виделся с Рутенбергом перед арестом его в Петербурге (июнь 1905 г.) и много других подробностей.

Все эти были подробности лишены в наших глазах большого значения. Общий характер допроса был тот же: Татаров был постоянно уличаем во лжи.

Мы дважды пытались выяснить роль Татарова помимо заседаний комиссий. Частным образом в гостинице его посетили сначала Чернов, потом я.

Когда я вошел к Татарову, он сидел в кресле, закрыв лицо руками. Мы не поздоровались. Он не обернулся ко мне. Я сказал ему, что, зная его давно, не могу верить в его предательство; что я с радостью защищал бы его в комиссии; что характер его показаний лишает меня этой возможности; что я прошу его помочь мне, — объяснить в его поведении многое, нам непонятное. Я сказал ему также, что только полная его откровенность может дать этому делу благоприятный исход.

Татаров молчал, не отрывая рук от лица. По сотрясению его плеч я видел, что он плачет.

Наконец, Татаров сказал:

— Когда я говорю с вами, я чувствую себя подлецом. Когда я один, — совесть моя чиста.

Больше я от него ничего не услышал.

Чернов имел не больше успеха.

Вместо обещанного удостоверения, Татаров представил в комиссию клочок бумаги, на котором было написано приблизительно следующее: „Мой милый сын, я дал тебе 10 тысяч рублей. Твой отец Ю. Татаров“.

Рассмотрев все имевшиеся в ее распоряжении материалы, комиссия единогласно постановила:

В виду того, что:

1) Татаров солгал товарищам по делу и о деле.

2) имел личное знакомство с гр[афом] Кутайсовым, не использовал его в целях революционных и даже не довел о нем до сведения центрального комитета.

3) не мог выяснить источника своих значительных средств,

4) устранить Татарова от всех партийных учреждений и комитетов, дело же расследованием продолжать.

Гоц одобрил это решение. Все члены комиссии единогласно вынесли уверенность, что Татаров состоял в сношениях с полицией. Характер же и цели этих сношений остались нескрытыми. Поэтому пока не могло быть и речи о лишении Татарова жизни.

Однако многие из товарищей остались недовольны нашим постановлением. Они находили, что Татаров уже уличен.

Татаров уехал в Россию. Из Берлина он прислал в комиссию несколько писем. В них он пытался объяснить свое поведение.

„...Вы не можете представить, — писал он нам, — какой ужас — выставленные вами обвинения для человека, который, кроме трех лет тюремного заключения (в три приема) и первых полутора лет ссылки, остальные восемь с половиной лет своей революционной деятельности жил непрерывной мучительной революционной работой, которая была для него всем. Теперь я думаю идти на работу на жизнь и на смерть, и вот удар. Я не могу ничего говорить, не могу писать. Я только перечислю вам голые факты и сухие доводы, и вы сами разберетесь в них по совести:

Типографию в Иркутске поставил я, и вел ее с наибольшим риском и успехом я один, до самого отъезда, т.е. до конца января 1905 г., значит, не было ничего против меня.

В 17 марта я не мог быть повинен, так как никого не знал, кроме П.И. *, от которого ничего не знал. А о Новомейском не подозревал, что он занимается революционными делами (кроме „Возрождения“). Значит, и о марте нет речи.

В Одессе я был в половине июня, за несколько дней до Потемкинских дней, бывал на собраниях центрального комитета. Видел и знал всех главных людей, знал роль каждого из них, хотя

*Тютчев.

не знал дел и предприятий... И с июня не было никого, о ком можно было бы подумать, что я повредил ему.

Наконец, уже за границей Минор и Коварский видели близко, как все время и все заботы у меня были поглощены издательством. И так не работает и не ведет себя человек, вредящий партии.

...Все эти обстоятельства вы можете и обязаны проверить, если не в моих, то в своих интересах.

И то, что (в обвинениях) упоминается целый ряд обстоятельств, имен и предприятий, очень важных и мне совсем неизвестных. И то, что в каких-то донесениях фигурирует мое имя, а иногда это имя скромно умалчивается, приводит меня к одному убеждению, — что есть лицо, которому глубже и ближе знакомы партийные дела, чем знаю их я, и которое, чтобы отвлечь внимание от себя, попробовало бросить тень на другого (я, конечно, не подозреваю здесь центральный комитет). Так как мое знакомство с Кутайсовым, при желании, может быть истолковано в разных смыслах, то прием был сделан удачный.

У меня нет и не было на совести никакого греха против революции, против нашей партии. Как ни тяжело оправдываться, я говорю вам это прямо.

В заключение скажу: я знаю, что это письмо, вероятно, не рассеет ваших подозрений. И у меня к вам одна просьба: не спешите позорить меня, дайте мне срок, чтобы время и обстоятельства могли вполне реабилитировать меня. И сами помогите мне в этом.

А затем единственное, что мне остается после всего ужаса, пережитого в эти дни: я уйду от революции и не буду никого видеть, никого знать, и все свои силы посвящу выполнению (террористического) акта, без чьей-нибудь помощи, без чьего-нибудь участия. Если вы отнесетесь ко мне с большим доверием после этого письма и согласитесь помочь мне реабилитировать себя, я все-таки уйду от людей и от работы, так как жить и работать мне теперь с людьми невозможно.

В другом письме Татаров писал:

...Не забудьте, что я много лет провел в среде своей семьи, бесконечно далекой и враждебной по своим убеждениям, с которой я, все-таки, вместе с тем тесно был связан любовью. В обстановке этой семьи приходилось не один год вести революционную работу — обманывать, скрывать, молчать, — убийственно молчать, чтобы ничего не знали. Из этой же обстановки пришлось бежать на нелегальное положение и, оставаясь нелегальным полтора года, поддерживать обман, что я не в революцию ушел, что я учусь за границей. Нужно было бы собрать сотни случаев, сотни мелочей из этой долгой двойственной жизни, чтобы понять, как молчание, скрытность, неправда крепко въелись в душу. Но нетрудно ведь понять, что все эти личные недостатки, наиболее мучительные для меня самого, были результатом того, что, как ни дороги лично мне были некоторые родные, но революция для меня была святыня, выше жизни, выше всего и ради нее для меня не существовала личность, ради нее неважны были никакие лич-

ные недостатки. Долгая, мучительная, конспиративная работа не могла способствовать ослаблению указанных свойств. Много тяжелых личных ударов только усиливали их. Недоверие к людям, замкнутость свыше всякой меры, — все это сделалось основными моими свойствами. Я часто говорил неправду (не в революционных делах), но мне всегда казалось, что не вредную неправду, — неправду, вытекавшую из привычки к конспирации и страшной, прямо болезненной замкнутости. Как только вопрос казался мне вторжением, хотя бы самым слабым, или в революционные дела, или в мою личную жизнь, или даже просто казался лишним, — я всегда готов был или совсем не ответить, или ответить уклончиво, или сказать неправду. Но я не знаю случая, чтобы моя неправда носила дрянной характер когда-нибудь или чтобы она допускалась в революционной работе. Пусть все-таки это было нехорошо, но страдал-то я один от этого. Благодаря этим качествам, я не знал того, что называется личной жизнью, лично был всегда только в муку себе и другим. Кроме революции, ничто никогда не озаряло мою жизнь. Но если я говорил неправду, то я не умел ходить кривыми путями, не умел лицемерить... Я не боялся знакомства с Кутайсовым, как не боялся бы знакомства со всяким высокопоставленным лицом. Я настолько жил всегда мыслью о революции, что никакое знакомство меня не могло унижить. Заводя такое знакомство, я всегда думал бы, что я не должен избегать того, что может быть как-нибудь выгодно для дела. Я не искал таких знакомств, но я и не бежал от них. Одна мысль — польза революционного дела — сознательно или бессознательно руководила мной во всем. Личного интереса я не знал. И я не унижался. Напротив, я говорил все прямо, а передо мной оправдывались (Кутайсов)... Когда я брался за дело, я отдавался ему *весь*, и я неоднократно убедился, что, начав дело, всегда можно его довершить. Так я взялся в Иркутске в один месяц поставить типографию, хотя не имел еще ни людей, ни пролога. Так я всегда работал. А в делах издательства я в полтора месяца положил очень большое начало, и у меня был обеспечен не только «первый», но и «второй» шаг. Я поражаюсь, что вам не ясно это. Еще прошу вас, не удивляйтесь, что многое я не могу вспомнить точно. У меня всегда была очень скверная память, кроме профессиональной, т.е. кроме памяти на те революционные дела, которые нужно запомнить. И я часто был очень рассеян».

Цитированные выше письма эти не объяснили нам ничего.
Подлинный протокол допроса гласил:

„Материальным основанием предприятия Татарова является сумма в 10 тысяч рублей, занятая отцом его, затем обещание денежной поддержки со стороны Чарнолуцкого в размерах, которые в разговорах не определялись. Вообще формальная сторона положения Чарнолуцкого в издательстве не определялась; из разговоров было ясно лишь, что он отдает себя всецело в распоряжение издательства, и выражал готовность взять на себя соредакторство. В последнее время Татаров списался через Б. с одним одесским капиталистом*, который предлагал капитал для подобного же издательства, причем пока еще ответа от него не имеется. Имеются в виду также переговоры с одним денежным лицом в Киеве. Объявление об издательстве было послано в „Сын Отечества“, а Чарнолуцкому одновременно было послано уведомление с предложением, если он найдет нужным, вычеркнуть свой адрес. Относительно окончательной редакции объявления об издательстве Татаров ни с кем не советовался. Татаров рассматривал издательство, как дело партийное только по своему содержанию, но чисто личное с организационной стороны. Что касается связей, которые

*Цитрон.

могут помочь в деле проведения издания сквозь цензуру, то здесь Татаров рассчитывал на посредничество Чарнолуцкого и сына Кутайсова, с которым он виделся в Петербурге (но никаких определенных разговоров с ним по этому поводу не имел). С отцом Кутайсова он был знаком в Иркутске, бывая в его доме. Отец познакомил его с сыном в Петербурге.

Официально кооптирован был Татаров в центральный комитет в Одессе на собрании, состоявшем из П.Я.,* Л.[#] и П.,[△] причем от первого он получил все пароли и шифры.

Что касается утверждения Чарнолуцкого, что никакого участия в деле ни он, ни кто-либо через его посредство, хотя бы в форме обещания, не принимает, и что его прикосновенность ограничивается лишь готовностью помочь некоторыми техническими указаниями, разного рода советами и т.п., то Татаров утверждает, что из всех переговоров и писем, напротив того, вынес убеждение, что Чарнолуцкий отдает себя всецело в распоряжение издательства. На основании этого убеждения Татаров считал возможным обратиться к нему с просьбой об участии в покрытии сделанных расходов, если бы в этом представилась надобность.

Подробностей разговоров с А. теперь Татаров не помнит. Помнит лишь, что А. сообщил ему об имеющейся в С[анкт]П[етербурге]Б[ургском] комитете возможности сделать покушение на Трепова. В это время, как и вообще, Татаров держался того взгляда, что местный комитет не должен заниматься такими предприятиями, как против Трепова или даже против царя, так как это дело боевой организации, и поэтому ни за себя, ни за центральный комитет Татаров не мог дать на это согласие.

Татаров знает теперь, что Новомейский жил в одних меблированных комнатах с Ивановской (этот факт передавал, между прочим, Ш. в Женеве, на квартире у Гоца), но в каких именно — не знает. Не может определить („не помнит ни времени, когда узнал об этом, ни лиц, от которых это узнал, ни города, где узнал. Думает, что в Петербурге, Ялте или Киеве“). В Петербурге Татаров был одновременно с сестрой Новомейского летом, приблизительно в июне. С Новомейским никаких переговоров и деловых революционных сношений в это время не имел, но в присутствии Татарова такие переговоры с Новомейским вел Ф.[⊗]: 1) об отношениях между организацией „Возрождения“ и п. с.-р., 2) Новомейский говорил, что имеет возможность доставать динамит из Сибири. Специально в этот разговор Татаров не вслушивался и деталей его не знает. К чему положительному привели эти разговоры, и привели ли, Татаров не знает. Говорил ли при этом Новомейский, что живет в одних меблированных комнатах с Ивановской, Татаров не помнит, но, кажется, нет. У Татарова осталось такое впечатление, что Ф. не знал, где живет Ивановская. К Новомейскому Ф., кажется, ездил.

На другой или на третий день после отъезда П., Татаров приехал с Т. в Петербург и в это время, кажется, узнал, что Ивановская была на квартире П.Ив.[□] Татаров знает от „хромого“⁺, что он привез из Сибири в Нижний динамит, кажется, из склада И. Кажется, „хромой“ говорил, что привез печать для свидетельства на получение динамита (это было приблизительно в конце июня).

В Киеве в самое первое время после арестов 17 марта Татаров слышал

*А.И.Потапов.

#А.В.Якимова.

△В.В.Леонович.

⊗Фриденсон.

□Тютчев.

+Гомель.

передаваемое в виде слуха предположение, что, кажется, кто-то из арестованных выдает. Слышал это он в сферах революционных, от кого именно — не помнит.

Якимова говорила, что собирается скоро быть в Нижнем, и повидается там с Валентином и еще с кем-то, кажется, с Павлом Ивановичем, и что там будет разговор о возможности созыва общепартийного съезда (это было в июле) после объезда ею некоторых мест (каких именно — Татаров, кроме Кавказа и Одессы, не знает). Знает еще, что раньше Якимова была в Киеве, в Нижнем, в Москве. Разговор этот происходил в Петербурге.

Якимова говорила, что порознь у каждого из имеющих быть там есть связи и силы, неиспользованные и другим неизвестные. Поэтому решено съехаться в Нижнем, выработать план и — между прочим — обсудить вопрос о большом съезде (представителей разных мест).

Об Унтербергерге она ничего в это время не говорила.

Татаров жил в Женеве в *Hôtel des Voyageurs* или в *Hôtel des Etrangers*, близко от вокзала, но не около самого вокзала. Этот отель на улице, идущей направо от *rue Mont Blanc*, не доходя до почты, кажется, в № 28. Он в этом отеле не записывался. Отель стоит на левой стороне улицы. В этом отеле он прожил всего несколько дней, дня два-три.

После вопроса относительно причины, почему эти данные противоречат совершенно указаниям, данным Татаровым в разное время разным трем лицам о своем адресе, Татаров разъяснил, что вследствие причины чисто интимного характера он, с самого начала, живя только в *Hôtel d'Angleterre*, чтобы отделаться от вопросов, на которые было неудобно отвечать, дал неверный адрес".

Много позже, уже в России, обнаружили следующие факты:

По манифесту 17 октября был освобожден из тюрьмы Рутенберг. Он рассказал, что незадолго до своего ареста имел свидание в Петербурге с Татаровым. Прощаясь, Татаров предложил ему увидеться снова через два дня и сам назначил квартиру для этой встречи. Эти два дня Рутенберг прожил в Финляндии и не имел сношений с товарищами. Утром в назначенный день он прибыл с поездом в Петербург и с вокзала зашел к своему знакомому, А.Ф.Сулиме-Самуйло. У Сулимы-Самуйло хранился его чемодан. Он переделался, взял ключ от своего чемодана и в условленный час был на месте свидания.

В указанной Татаровым квартире он никого не застал. Он опять вышел на улицу и заметил, что дом окружен полицией. Через два часа он был арестован на Марсовом поле. Ключ был найден при нем. Сулима-Самуйло не без основания полагал, что, в случае предварительного за ним наблюдения, полиция необходимо проследила бы и чемодан. Она едва ли пренебрегла бы такой находкой. Можно было подумать, что агенты получили точное указание, где и когда можно арестовать Рутенберга.

По сличении рассказа Рутенберга с рассказом о том же Татарова, оказалось, что Татаров сказал неправду.

Значительнее были сообщения Новомейского. Новомейский членом партии социалистов-революционеров не состоял, никакого

участия в делах боевой организации не принимал и услуг ей не оказывал.

Мне он был совсем неизвестен. Арестован он был по делу 17 марта и содержался в Петропавловской крепости. Освобожденный по манифесту 17 октября, он заявил, что предъявленные ему в жандармском управлении допросные пункты навели его на некоторые подозрения. Его связь с боевой организацией выразилась единственно в следующем: на свидании в ресторане Палкина он, через Татарова и Фриденсона, предложил доставить из Сибири несколько пудов динамита. При разговоре этом больше никто не присутствовал. Динамит Новомейский доставить не успел, разговор же стал известен жандармскому управлению в мельчайших подробностях. Даже порядок предъявленных обвинений соответствовал порядку разговора. Не оставалось сомнения, что полиция была осведомлена через секретного сотрудника.

Обстановка свидания исключала всякую мысль о подслушивании. Фриденсон был человек слишком известный, старый и безупречный работник. Подозрение, естественно, падало на Татарова.

Более того, Новомейский заявил, что в крепости его предъявляли какому-то человеку для опознания. Лица этого человека он разглядеть не успел. Фигурой же он напомнил ему Татарова; к этому Новомейский прибавил, что если бы он не знал, что Татаров был в эти дни за границей, он бы ручался, что это был он.

Мы навели справки. В эти дни Татаров был еще в Петербурге.

Фриденсон решил выяснить это дело. Подозрение не могло коснуться его, но он все-таки считал свою честь затронутой. Вместе со старым своим товарищем, покойным Крилем, он поехал в Киев, где тогда жил Татаров. Фриденсон сказал Татарову, что разговор с Новомейским у Палкина известен полиции; что Новомейский в этом, очевидно, виноват быть не может, и что, следовательно, вина падает либо на него, Фриденсона, либо на Татарова. Он просил Татарова объяснить.

Татаров в ответ сообщил следующее.

Защищая свою честь от позорящих ее обвинений, он обратился к первоисточнику. Его сестра замужем за полицейским приставом Семеновым. Семенов, по родству, обещал ему навести справку в департаменте полиции о секретных сотрудниках в партии социалистов-революционеров. Сделал он это через некоего Ратаева, бывшего помощника Рачковского.* Оказалось, что полиция, действительно, имеет агента в центральных учреждениях партии.

Агент этот Азеф. На него и ложится ответственность за все аресты, в том числе и арест семнадцатого марта. Татаров же оклеветан.

*Заведующий политическим розыском. — Ред.

В объяснении этом многое казалось невероятным.

Было невероятно, что полицейский пристав мог быть посвящен в тайны департамента полиции. Было невероятно, что член центрального комитета, имея связи в полиции, не только не использовал их в целях партийных, но даже не сообщил о них никому. Наконец, было невероятно, что товарищ может строить свою защиту на обвинении в предательстве одного из видных вождей партии.

Все эти обстоятельства убедили Чернова, Тютчева и меня, что Татаров предатель.

Четвертый член комиссии, т. Бах, был за границей.

Я предложил центральному комитету взять на себя организацию убийства Татарова.

Я сделал это по двум причинам. Я считал, во-первых, что Татаров принес вред боевой организации и в ее лице всему террористическому движению в России. Он указал полиции Новомейского и через Новомейского и Ивановскую (Ивановская жила в одних меблированных комнатах с Новомейским. См. обвинительный акт по делу 17 марта). Указание это привело к арестам 17 марта. Ему было известно о „съезде“ боевой организации в Нижнем Новгороде летом 1905 года. После этого съезда началось наблюдение за Азефом, Якимовой и за мной. Наблюдение это привело к ликвидации дела барона Унтербергера и приостановке покушения на Трепова.

Таким образом, Татаров фактически прекратил террор с весны 1905 г. по октябрьский манифест.

Я считал, во-вторых, что распространение позорящих слухов о главе боевой организации Азефе задевает честь партии, в особенности честь каждого из членов боевой организации. Защита этой чести являлась моим партийным долгом.

Центральный комитет согласился на мое предложение и ассигновал необходимые средства.

VIII

В Женеве я познакомился с минно-машинным квартирмейстером Афанасием Матюшенко, бывшим командиром революционного броненосца „Князь Потемкин-Таврический“. Придя летом 1905 г. с восставшим кораблем в румынский порт Констанцу и убедившись, что его товарищи-матросы не будут выданы русским властям, он поехал в Швейцарию, но не примкнул ни к одной из партий. Впоследствии он определенно склонился в сторону анархизма. Гапон вел с ним сложную интригу. Он хотел привлечь его в свой полумифический „Рабочий Союз“. На первых порах интрига эта имела успех.

Вскоре после моего приезда в Женеву, Матюшенко зашел ко мне на дом. На вид это был обыкновенный серый матрос, с

обыкновенным серым скуластым лицом и с простонародной речью.

Глядя на него, нельзя было поверить, что это он поднял восстание на „Потемкине“, застрелил собственной рукой нескольких офицеров и сделал во главе восставших матросов свой знаменитый поход в Черном море. Придя ко мне, он с любовью заговорил о Гапоне:

— А батюшка-то вернулся.

— Вернулся?

— Да. Два месяца в Петербурге прожил, „Союз“ устроил.

— Кто вам сказал?

— Да он и сказал.

Гапон сказал Матюшенке неправду. Я знал, что Гапон в Петербурге не был, а, прожив в Финляндии дней десять, вернулся за границу, причем никакого „Союза“ не учредил, а ограничился свиданием с несколькими рабочими. Я не сказал, однако, об этом Матюшенке. Он продолжал:

— Эсэры... Эсдеки... Надоели мне эти споры, одно трепание языком. Да и силы в вас настоящей нету. Вот у батюшки дела так дела...

— Какие же у него дела?

— А „Джон Крафтон“?

— Какой „Джон Крафтон“?

— Да корабль, что у Кеми взорвался.

— Ну?

— Так ведь батюшка его снарядил.

— Гапон?

— А то кто же? Он и водил, он и во время взрыва на корабле находился. Едва-едва жив остался.

Как я упоминал выше, Гапон никакого отношения к экспедиции „Джона Крафтона“ не имел. Действительно, из денег, пожертвованных в Америке, часть должна была пойти на гапоновский „Рабочий Союз“, в виде оружия, но этим и ограничивалось „участие“ Гапона.

— Вы уверены в этом?

— Еще бы: сам батюшка говорил!

— Гапон говорил вам, что он был на корабле?

— Да, говорил: и я, говорит, в Ботническом море был, едва спасся.

— Вы хорошо помните?

— Ну, конечно.

Не оставалось сомнения, что Гапон не брезгает никакими средствами, чтобы привлечь в свой „Союз“ Матюшенку. Но я все-таки еще ничего не сказал последнему. Насколько же скептически Матюшенко относился к революционным партиям, видно из следующего его характерного письма к В.Г.С. из Букареста:

...Поймите, что вся полемика, которая ведется между партиями, страшно меня возмутила. Я себе представить не могу, за что они грызутся, чорт

бы их забрал. И рабочих ссорят между собой, и сами грызутся. Вы знаете мое положение в Женеве, что я там был совершенно один. Все как-будто любят и уважают, а на самом деле видят во мне не товарища, а какую-то куклу, которая механически танцевала и будет еще танцевать, когда ее заставят. Иной говорит: вы мало читали Маркса, а другой говорит: нужно читать Бебеля. Для них непонятно, что каждый человек может мыслить так же сам, как и Маркс. Сидя в Женеве, я бы окончательно погряз в эти ссоры и раздоры. Там партии ссорятся, чье дело на „Потемкине“, а здесь люди сидят без работы и без хлеба, и некому пособить. Чудно: что сделали, то нужно, а кто сделал, те не нужны”.

Он был, конечно, прав. За границей было много ненужных тренировок, и для него, матроса, глубоко верящего в революцию, эмигрантские разговоры были чужды и непонятны. По эмиграции он судил и о деятельности партий в России. Гапон ловко пользовался этим настроением его. Несколько позже, когда обнаружился обман Гапона, и Матюшенко, возмущенный, отдалился от него, я как-то задал ему такой вопрос:

— А скажите, Илья Петрович (так звали Матюшенко за границей), какое вам дело до всех этих споров?

— Да никакого, конечно.

— Так зачем вы слушаете их?

— А что же мне делать?

— Как что? Дело найдется.

Матюшенко исподлобья взглянул на меня:

— Какое дело?

— Террор, Илья Петрович.

— Террор? Террор — верно, настоящее дело. Это не языком трепать... Да не для меня это.

— Почему?

Он задумался.

— Массовой я человек, рабочий... Не могу я в одиночку. Что хотите, а не могу.

Я, конечно, не убеждал его. Впоследствии он уехал в Америку, а еще позже, летом 1907 года, был арестован в г. Николаеве с бомбами. Его судили военным судом и тогда же повесили.

Через несколько дней после моего первого разговора с Матюшкой я случайно встретил Гапона. Я сказал ему, что он лжет, рассказывая о своем участии в экспедиции „Джон Крафтон“, и что я могу уличить его в этом.

Гапон покраснел. В большом гневе, он сказал:

— Как ты смеешь говорить мне, Гапону, что я лгу?

Я ответил, что настаиваю на своих словах.

— Так я, Гапон, по-твоему, лжец?

Я ответил, что да, он, Гапон, по-моему, несомненный лжец.

— Хорошо. Будешь помнить. Я все про тебя расскажу.

— Что ты расскажешь? — спросил я.

— Все. И про Плеве, и про Сергея.

— Кому?

Он махнул рукой в ответ.

Гапон счел себя оскорбленным мной. Он послал в заграничный комитет партии письмо, в котором требовал третейского суда между мной и им.

Я от суда отказался. Эта встреча была моей последней встречей с Гапоном. Гоц, которому я ее рассказал, улыбнулся.

— И хорошо сделали. Конечно, Гапон лжет, где, кому и когда может.

— Но ведь ему верят.

— Не очень. А скоро перестанут верить совсем.

Таково было отношение мое и Гоца к Гапону уже осенью 1905 г., но ни Гоц, ни я, конечно, не могли предвидеть конца его сложных интриг.

Дело Татарова было выяснено. Азеф приехал в Женеву (во время следствия над Татаровым он жил в Италии), и мы вместе с ним и Гоцем приступили к обсуждению дальнейших боевых планов.

В Женеву приехала даже Дора Бриллиант. Из Петербурга мы получили известие, что Зильберберг и Вноровский ликвидировали свои закладки, и что извозчиком остался один Петр Иванов.

Все трое по нашему поручению были предупреждены о временной приостановке дела Трепова младшим братом Гоца, Абрамом Рафаиловичем, уже тогда предлагавшим свои услуги боевой организации.

Был октябрь в середине. В заграничных газетах стали появляться известия о забастовках в России. Известия эти становились все многочисленнее и все важнее, и, наконец, появилась телеграмма, что забастовала железнодорожная сеть. Волей-неволей приходилось пережидать забастовку в Женеве.

Манифест 17 октября оживил эмиграцию. Его приветствовали, как начало новой эры: в окончательной революции никто не сомневался. Ежедневно устраивались многолюдные митинги. Ораторы говорили о значении совершающегося переворота, и все, или почти все, искренно верили в этот переворот. На одном из таких митингов мне пришлось говорить речь о значении террористической борьбы в истории русской революции.

Когда появились телеграммы, — сперва из крепости — об освобождении почти всех арестованных 15 марта, а потом из Шлиссельбурга — об освобождении шлиссельбуржцев, то даже и скептики начали верить, что правительство вступило на путь реформ. Падение Шлиссельбурга было залогом близкого падения самодержавия.

В партии и в центральном комитете стали раздаваться голоса, что принятая партией тактика не соответствует политическому моменту, и что она требует изменения. Я подхожу теперь еще к одной причине, сыгравшей, по моему мнению, видную роль в упадке боевой организации, и в ее лице — всего центрального

террора. Я говорю о тактике, принятой центральным комитетом непосредственно после 17 октября.

Аресты 17 марта и раскрытие приемов уличного наблюдения, как я уже говорил выше, дали правительству перевес над террором. Кроме того, измена Татарова остановила естественный рост боевой организации и парализовала ее деятельность с марта по октябрь 1905 года. Но измена эта теперь была обнаружена, и Татаров был устранил от каких бы то ни было дел.

С другой стороны, расстерянность правительства в момент октябрьского манифеста была невиданно велика. Устранение Татарова и слабость полиции, казалось, давали боевой организации возможность возродиться во всей своей силе и нанести окончательное поражение самодержавию. Случилось, однако, иное. Мнение членов боевой организации, по крайней мере, большинства их*, вступило в резкий конфликт с мнением партии в лице ее центрального комитета, и центральный комитет одержал в этом конфликте верх. Боевая организация в своем большинстве (за исключением Азефа) стояла на той точке зрения, что единственная гарантия приобретенных свобод заключается в реальной силе. Такой силой во всяком случае могло явиться активное воздействие террора. С этой точки зрения террор не только не должен был быть прекращен, но, наоборот, пользуясь благоприятным моментом, необходимо было его усилить и предоставить в распоряжение боевой организации возможно больше людей и средств. Большинство партии, в лице подавляющего большинства центрального комитета, находило, однако, что террор, как крайняя мера, допустим лишь в странах неконституционных, там, где нет свободы слова и печати; что манифестом 17 октября в России объявлена конституция, и что поэтому всякие террористические акты с этого момента принципиально недопустимы. Что же касается гарантии уже приобретенных страню свобод, то центральный комитет полагал, что народ сумеет защитить свое право. Всеобщая забастовка, многолюдные митинги и демонстрации укрепили товарищей в этом мнении.

Предварительное совещание центрального комитета по вопросу о прекращении террора произошло еще в Женеве, на квартире у Гоца. На совещании этом присутствовало много народу, ибо центральный комитет, до реорганизации его первым партийным съездом, был чрезвычайно многочислен; он считал в то время до 30 членов. На заседании этом голоса разделились. Подавляющее большинство говорило против продолжения террористической борьбы. В этом смысле долго и сильно говорил Чернов. Сущ-

*Я с уверенностью могу сказать, что такого мнения, кроме меня, держались еще: Лева и Ксения Зильберберг, Вноровский, Дора Бриллиант, Рашель Лурье, Калашиков и выпущенные из крепости Моисеенко и Шиллеров. Мнение же Иванова, Двойникова и Назарова мне неизвестно.

ность его речи заключалась в том, что террористические акты после 17 октября по принципиальным причинам недопустимы, но что, действительно, правительству верить нельзя, и единственной гарантией завоеванных прав является реальная сила революции, т.е. сила организованных масс и сила террора. Поэтому, по его мнению, боевую организацию распустить было невозможно, следовало, как он выражался, „держать ее под ружьем“. В случае контрреволюции сохраненная под ружьем боевая организация имеет обязанность выступить с народом и на защиту народа.

Точка зрения Чернова была чисто теоретической. На практике она сводилась к полному упразднению боевой организации, против которого возражал оратор. Для меня было совершенно ясно, что „держать под ружьем“ боевую организацию невозможно, и что такое предложение может сделать только человек, совершенно незнакомый с техникой боевого дела. Существование террористической организации, каковы бы ни были ее задачи, — центрального или местного характера, — невозможно без дисциплины, ибо отсутствие дисциплины неизбежно приводит к нарушению конспирации, а таковое нарушение в свою очередь неизбежно влечет за собой частичные или общие всей организации аресты. Дисциплина же в террористической организации достигается не тем, чем она достигается, например, в армии, — не формальным авторитетом старших; она достигается единственно признанием каждого члена организации необходимости этой дисциплины для успеха данного предприятия. Но если у организации нет практического дела, если она не ведет никаких предприятий, если она ожидает в бездействии приказаний центрального комитета, словом, если „она находится под ружьем“, т.е. люди хранят динамит и ездят извозчиками, не имея перед собой непосредственной цели и даже не видя ее в ближайшем будущем, то неизбежно слабеет дисциплина: отпадает единственный импульс для поддержания ее. А с ослаблением дисциплины организация становится легкой добычей полиции. Таким образом, предложение Чернова, на первый взгляд как бы разумное, на самом деле, благодаря незнакомству автора его с предметом, сводилось к тому, что боевая организация неизбежно отдавалась в руки полиции.

Азеф понял это и, возражая Чернову, высказался в пользу полного прекращения террористической деятельности и немедленного роспуска боевой организации. Гоц тоже склонялся к этому мнению.

Я упорно возражал Гоцу, Азефу и Чернову. Я доказывал, что прекращение террористической борьбы будет грубой исторической ошибкой, что нельзя руководствоваться только параграфом партийной программы, воспрещающей террор в конституционных странах, но необходимо считаться и с особенностями политического положения страны. Я резко настаивал на продолжении деятельности боевой организации.

Неожиданно я встретил частичную поддержку в лице Тютчева. Он заявил, что в общем согласен с мнением центрального комитета, но полагает, что нужно сделать исключение для некоторых лиц, в особенности для Трепова, виновника 9 января, смерть которого будет понятна массам и не вызовет нареканий на партию. К этому мнению, после долгих споров, присоединился и Азеф. В России он отказался и от этой уступки.

На следующий день после этого заседания ко мне пришла Дора Бриллиант. Она молчала, но я видел, что она опечалена.

— Что с вами, Дора?

Она опустила глаза:

— Правда ли, что террор хотят прекратить?

— Правда.

— А боевую организацию распустить?

— Правда.

— И вы позволили это? Вы тоже думаете так?

В ее голосе были слезы.

Я сказал ей свой взгляд и сообщил, что происходило на заседании. Она долго молчала в ответ.

— Значит, кончен террор?

— Значит, кончен.

Она встала и вышла, не говоря ни слова.

В начале ноября в Петербурге состоялось вторичное заседание центрального комитета по тому же вопросу. Голоса опять разделились. Громадное большинство, в том числе Чернов, Потапов, Натансон, Ракитников и Аргунов, держались той точки зрения, что террор следует временно прекратить, а боевую организацию „держать под ружьем“. Немногие, в том числе Азеф, настаивали, что такая формула невозможна, и что боевую организацию следует упразднить. Я держался прежнего мнения и, не видя ни в ком поддержки, продолжал утверждать, что партия обессилит себя таким шагом и совершит непоправимую в истории ошибку.

Одну из наиболее сильных речей в пользу полного прекращения террора произнес на этом совещании И.И.Фундаминский. Он доказывал, что главнейшая и насущная задача партии состоит в разрешении аграрного вопроса, что именно в этом заключается ее историческая миссия и ее историческое величие; что теперь, когда политическая свобода уже завоевана, все силы партии должны быть направлены на эту цель; что террористическая борьба отжила свое время; что она, отнимая людей и средства, только ослабит партию и помешает решить экономическую проблему во всей ее полноте. Фундаминский говорил с редким красноречием, и речь его произвела сильное впечатление.

Большинство центрального комитета склонялось к формуле компромисса, предложенного Черновым. Товарищи не отдавали себе отчета в том, что формула эта губит боевую организацию и уничтожает всякую надежду на центральный террор в близком будущем. Тогда Азеф поднялся и сказал:

— „Держать под ружьем“ невозможно. Это — слова. Я беру на свою ответственность: боевая организация распущена.

Центральный комитет согласился с его мнением.

Я считал и считаю это решение центрального комитета ошибкой. Опрошенные мной товарищи-террористы держались одного мнения со мной. Но выбора не было. Нам приходилось либо подчиниться центральному комитету, либо идти на открытый разрыв со своей партией. Мы выбрали первое, как наименьшее из двух зол. Наша самостоятельная от партии деятельность была тогда невозможна: организация была слаба, собственных средств у нас не было и поддержки в обществе при господствовавшем оптимистическом настроении мы ждать не могли.

Таким образом был пропущен единственный благоприятный в истории террора момент. Вместо того, чтобы воспользоваться паникой правительства и усилением престижа партии и попытаться возродить боевую организацию во всей ее прежней силе, центральный комитет из теоретических соображений воспрепятствовал развитию террора. Члены боевой организации разъехались по провинции, боевая организация распалась. Были отдельные люди, принимавшие участие в отдельных террористических актах, но не было единого целого, сильного своим единством. Я должен оговориться. В моих глазах вина этого постановления ни в коем случае не лежит на центральном комитете. Центральный комитет добросовестно выражал в этот момент взгляды громадного большинства партии, и не его, конечно, вина, если партия в решительную минуту оказалась не террористической и недостаточно революционной.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОКУШЕНИЕ НА ДУБАСОВА И ДУРНОВО

I

НОЯБРЬ и половину декабря я прожил в Петербурге. После роспуска военной организации, по настоянию Азефа, был учрежден особый боевой комитет. Задача этого боевого комитета состояла в технической подготовке вооруженного восстания, и членами его были Азеф и я. Мне было также поручено заведывание петербургской военной организацией.

Я никогда не имел дела с матросами и солдатами, с офицерской средой я был мало знаком. Я чувствовал себя неподготовленным к этой новой для меня, во всех отношениях, работе. Кроме того, у меня не было веры в успех военных восстаний. Я не видел возможности планомерного и совместного выступления армии и народа, а только такое совместное выступление, по моему мнению, могло обеспечить победу. Подумав, я отказался от предложения. Азеф настаивал.

— Военная организация слаба, нужны люди. У тебя есть боевой опыт. Ты не вправе отказываться от предложения. Как партийный человек, ты должен его принять.

На такой аргумент я не мог возразить ничего. Я вошел в комитет военной организации, но пробыл в нем, однако, не более трех недель. Слухи о московском восстании положили конец моей военной работе.

Я жил на Лиговке в меблированных комнатах, под именем Леона Роде и ежедневно с утра уходил в редакцию „Сына Отечества“ на Среднюю Подъяческую улицу. Я не знаю, было ли известно полиции о моем пребывании в Петербурге. Думаю, однако, что ей нетрудно было меня арестовать, тем более, что амнистия коснулась меня только отчасти. Но не было никогда никакой попытки к моему

задержанию, более того — я никогда не замечал за собой наблюдения. Я жил, не скрываясь; в „Сыне Отечества“ все знали мою фамилию, и товарищи, приходившие по делу ко мне, спрашивали меня просто по имени.

Личная неприкосновенность, полная свобода печати, многолюдные митинги и собрания, наконец, открытое на глазах у всех, существование совета рабочих депутатов — вселяли во многих товарищей преувеличенные надежды. Многие верили в возможность успешной третьей забастовки и не менее успешного вооруженного восстания в Петербурге и Москве. Я не разделял этих надежд. Мне были известны все боевые силы Петербурга. Я видел, что их очень немного, и я плохо верил в революционный подъем рабочих масс. В боевой неподготовленности пролетариата меня убедил следующий случай.

С боевой точки зрения, Петербург делился на районы. В каждом районе была своя боевая дружина. Одной из таких дружин заведывал П.М.Рутенберг. Однажды вечером я пошел с Рутенбергом в рабочий квартал. Я хотел лично убедиться, действительно ли эти дружины представляют собою крупную силу и действительно ли рабочие массы готовы с оружием в руках защищать завоеванную свободу.

В маленькой рабочей накуренной комнате собралось человек 30. Рутенберг сказал короткую речь. Он сказал, что в Москве началось восстание, что не сегодня—завтра восстание начнется и в Петербурге, и пригласил товарищей приготовиться теперь же ко всем случайностям. Рутенберга внимательно слушали, и я заметил, что он пользуется большим влиянием. Когда он кончил свою речь, я в свою очередь сказал несколько слов. Я сказал, что участие в восстании может быть троякого рода: либо, во-первых, боевая дружина или отдельные члены ее попытаются произвести ряд террористических актов (нападение на дом гр[афа] Витте, взрыв правительственных учреждений и зданий, убийство высших военных чинов и т.д.), либо, во-вторых, боевая дружина, как часть революционной армии, направится в город и сделает попытку овладеть им и крепостью, либо, наконец, в-третьих, она останется для защиты своего же квартала. Я не скрыл от присутствующих, что партия надеется на них и что в решительный момент все товарищи должны стать под одно общее знамя. В заключение я спросил, на кого именно и в чем может рассчитывать центральный комитет.

Собрание состояло из организованных партийных рабочих, по доброй воле и собственному желанию вошедших в боевую дружину. Нарвская боевая дружина считалась одной из лучших в Петербурге. На мой вопрос присутствующие ответили с полным сознанием серьезности момента и с полной искренностью. Эта искренность и серьезность, я помню, тогда меня поразили. Я привык уже к тому, что революционеры из интеллигенции часто невольно преувеличивают свои силы, что они из ложного самолюбия перео-

ценивают свою боевую готовность. Такого преувеличения я не заметил на этом собрании. Наоборот, каждый, видимо, хотел по совести дать себе отчет в своих силах и ответить на мой вопрос, отбросив личное самолюбие. Двое молодых рабочих предложили себя на акты единичного террора, около трети выразило согласие с оружием в руках идти в город и в крепость, большинство же категорически заявило, что они готовы драться только в том случае, если правительство устроит погром, иными словами, согласились участвовать в самообороне.

Когда я уходил, произошел маленький эпизод. Эпизод этот лучше всего показывает ту степень добросовестности, с которой рабочие отнеслись к вопросу, поставленному перед ними центральным комитетом. Поднялся пожилой, с проседью, ткач и, сбиваясь, путаясь и краснея, заговорил:

— Вот вам Христос... Как свеча перед истинным... Рад бы вот хоть сейчас умереть за землю и волю... Да, ведь, дети! Поймите, товарищи, пятеро ребят на руках... Господи, неправду давеча я сказал: не могу, и в обороне быть не могу... Освободите, ради Христа. Видит бог — что умереть?..

У него на глазах были слезы. Рутенберг подошел и пожал ему руку.

Причины упадка настроения рабочих были, конечно, понятны. Петербург выдержал две забастовки. Принять участие в третьей — значило идти на вооруженное восстание. А для этого были необходимы и глубокое недоверие к правительству, и не менее глубокая вера в силу начавшейся революции. Рабочие не были вооружены. В Петербург были стянуты войска. Силы были, очевидно, неравные, и призыв совета рабочих депутатов к третьей забастовке был не менее очевидной ошибкой. При обсуждении этого вопроса в центральном комитете я с полным убеждением присоединился к большинству, высказывавшемуся против такого призыва. К сожалению, мнение партии социалистов-революционеров не встретило сочувствия в совете рабочих депутатов. В Москве началось восстание, но на баррикадах дралось всего несколько сот человек: массы не приняли участия в революции.

Насколько настроение петербургских рабочих не соответствовало историческому моменту, настолько же и войска не были подготовлены пропагандой: не было никакого сомнения, что гвардия зальет кровью всякую попытку восстания в Петербурге. Я убедился в этом, присутствуя на собрании, специально посвященном вопросу о войсках.

Собрание это состоялось в начале декабря в Петербурге почему-то при особо конспиративных условиях: мы собрались ночью, на Лиговке, в особняке князя Барятинского. Кроме меня и другого представителя партии социалистов-революционеров — члена центрального комитета А.А.Аргунова, — присутствовали еще: от российской социал-демократической партии — Л.Дейч, от союза

союзов — г.г. Лутугин и Чернолуцкий и от офицерского союза — некий поручик NN. Целью собрания было установить, какие именно из войсковых частей, главным образом, гвардии, откажутся стрелять в народ и какие могут перейти открыто на сторону революции. Я знал состояние нашей военной организации. Знал, что в ее состав входят отдельные солдаты почти из всех батальонов, эскадронов и батарей, расположенных в Петербурге, но я знал также, что эти разбросанные по отдельным войсковым частям единицы не представляют собою никакой силы. Даже если бы все солдаты, члены военной организации, отказались стрелять, то и тогда это было бы в массе стреляющих совершенно незаметно. Период военных восстаний тогда еще не наступил, да и впоследствии в этих военных восстаниях гвардия почти не участвовала. В Петербурге же гарнизон состоял, главным образом, из гвардейских частей. Серьезно рассчитывать можно было единственно на матросов Балтийского флота, но революционные экипажи находились в Кронштадте, и поэтому их значение сводилось к нулю.

Таково было положение военной организации партии социалстов-революционеров. Я полагал, не без основания, что у социал-демократов дело обстоит не лучше. Вопрос был только за офицерским союзом, в котором, по словам его представителя, числилось около 60 офицеров, преимущественно флота и гвардии.

Собрание открылось докладом именно этого представителя. Он сообщил, что во всех полках гвардии имеются сочувствующие офицеры, что таких офицеров особенно много в гвардейской артиллерии и что они не останутся перед самыми решительными действиями в пользу революции. Закрадывалось сомнение, не преувеличила ли докладчик сил офицерского союза, не представил ли он положение дел не в том виде, в каком оно есть на самом деле, а в том, в каком ему хочется его видеть. В дальнейшем эти предположения подтвердились. На прямой вопрос, какие же именно полки или батареи откажутся стрелять в революционеров, докладчик не мог дать ответа. Он должен был сознаться, что сочувствие отдельных офицеров революционному движению еще ни в малой мере не доказывает, что солдаты не будут стрелять в народ, более того, что сами эти офицеры откажутся от своей военной присяги. Опыт Семеновского полка в Москве подтвердил этот вывод: мне неизвестно, были ли среди семеновцев сочувствующие офицеры, но я знаю, что в полку были отдельные солдаты-революционеры. Несмотря на это, Семеновский полк прославился своим усмирением Москвы, и революционные его элементы, несомненно, принимали участие в этом усмирении.

В социал-демократической партии военная работа стояла не лучше, чем у нас. Из сообщения Л. Дейча можно было убедиться, что ни на какие значительные войсковые части рассчитывать нельзя. Нужно сказать, что и его доклад отличался тем же оптимизмом, которым был проникнут доклад офицерского союза. Оптимизм

этот легко мог ввести партии в заблуждение относительно истинной силы революционных военных организаций.

У меня от этого собрания, в противоположность результатам рабочего собрания за Нарвской заставой, осталось самое грустное впечатление. Не говоря уже о том, что воочию выяснилось, что революция ни в коем случае не может рассчитывать в Петербурге на поддержку войск, самый характер собрания не соответствовал моему о нем представлению: собрание закончилось разговором на тему, как, где и из кого можно организовать кружки для пропаганды среди офицеров.

Таким образом, у меня уже не оставалось сомнения в том, что успешное массовое восстание в Петербурге невозможно. Была, однако, надежда, что удастся поддержать московскую революцию удачным террором. Но боевая организация была распущена. Наличие ее состав, кроме Азефа, Доры Бриллиант, выпущенного из тюрьмы Монсеенко и меня, разъехался из Петербурга. Монсеенко был занят освобождением из больницы Николая—чудотворца психически заболевшего Дулебова, Дора Бриллиант могла быть полезной, главным образом, своими химическими познаниями, Азеф и я, отчасти вместе с Рутенбергом, занялись рассмотрением возможностей немедленных террористических актов.

Первым таким актом являлся взрыв моста на Николаевской железной дороге. Такой взрыв, во-первых, отрезал бы Москву от Петербурга, а во-вторых, заставил бы бастовать Николаевскую железную дорогу. Была надежда, что если петербургский железнодорожный узел, а с ними и все рабочее население Петербурга. Этот взрыв взял на себя железнодорожный союз. Мы передали его представителю, Соболеву, бомбы и динамит, но покушение не состоялось: его участники едва не были арестованы на месте.

Все другие планы, как, например, взрыв охранного отделения, взрыв электрических, телефонных и осветительных проводов, арест гр[афа] Витте и прочее, тоже не могли быть приведены в исполнение, отчасти потому, что в некоторых пунктах намеченные места охранялись так строго, как будто полиция была заранее предупреждена о покушении. Тогда же со мной произошел странный случай, убедивший меня, что полиция узнала о моем пребывании в Петербурге, но почему—то не желает арестовать.

Однажды после свидания с Азефом и Рутенбергом на квартире инженера П.И.Преображенского я, спускаясь с лестницы, заметил через стеклянные двери, что у подъезда стоят околоточный и двое филеров. Швейцар распахнул передо мной дверь и, пропустив меня, стал позади. Я очутился в ловушке. Выйдя на улицу, я заметил, как один филер сделал движение руками, как будто желая схватить меня, но тотчас же я услышал голос, вероятно, околоточного надзирателя:

— Никаких мер не принимать.

Я, не оборачиваясь, прошел по переулку до ближайшего извозчика. Фльеры не последовали за мной.

Дня за два до московского восстания Азеф уехал в Москву. Мне как члену боевого комитета была поручена „техническая подготовка восстания“ в Петербурге. Я немедленно устроил две динамитные мастерские. Обе они были арестованы неожиданно и по непонятным причинам, но я в аресте их не заподозрил тогда провocations. Первая мастерская помещалась в Саперном переулке. В ней должны были работать товарищи Штолтерфорт, Друганов и Александра Севастьянова, жившая у Штолтерфорта в качестве прислуги. Севастьянова во время ареста настолько удачно разыграла роль горничной, что ее оставили на свободе. Штолтерфорт и Друганов по приговору суда были лишены всех прав состояния и сосланы в каторжные работы на 15 лет. Одновременно, в ту же самую ночь, была арестована и вторая мастерская. Она помещалась в Свечном переулке, на квартире у Всеволода Смирнова, моего товарища по университету, впоследствии члена боевой организации. Он жил по своему паспорту, но не был под наблюдением полиции. В одной квартире с ним жила молодая девушка, Бронштейн. Квартира эта служила передаточным местом для переезда из Финляндии оружия. Я знал об этом, но я не мог в короткий срок и при почти полном отсутствии нелегальных работников снять квартиру на нелегальное имя. Кроме того, я знал также, что финский транспорт оружия неизвестен полиции, и надеялся, что четыре-пять дней можно работать и в такой, грешащей против строгой конспирации, квартире.

Химиком в одну из мастерских предназначалась Дора Бриллиант. На ее обязанности было сделать, с помощью Бронштейн и Смирнова, несколько десятков бомб македонского образца.

Еще не было приступлено к работе, как мастерская была обнаружена. Смирнов и Бронштейн, предупрежденные дворником, успели скрыться. На квартире была арестована Дора Бриллиант с оболочками для бомб и член финской партии Активного Сопrotивления Онни Николайнен. Он принес туда с бокзала несколько револьверов.

Эти аресты не коснулись меня. Меня не только не арестовали, но даже не учредили за мной наблюдения. Я тогда не мог объяснить себе причин этого. Я непосредственно сносился с Дорой Бриллиант, встречался со Смирновым, Бронштейн, Другановым. Я не мог также объяснить себе совпадения обоих арестов, как и того, что они произошли до начала работ в мастерских, когда, следовательно, не было еще повода к подозрению. Но в виду других, более крупных событий, обстоятельства этих арестов забылись. Они так и остались неразъясненными. Этими двумя мастерскими и ограничилась попытка „подготовки восстания“ в Петербурге. Динамита в городе было много, но готовых снарядов почти не было вовсе. Было также оружие, главным образом, револьверы систем Брау-

нинга и Маузера, но оружие это было разбросано по складам, и им трудно было распорядиться в нужную минуту. Боевых сил было не больше.

Впоследствии Николайнен был сослан в Сибирь и оттуда бежал за границу. Дора Бриллиант, после долгого заключения в Петропавловской крепости, психически заболела и умерла в октябре 1907 года.

Дора Владимировна (Вульфовна) Бриллиант (по мужу Чиркова) родилась в 1879 или 1880 г. в еврейской купеческой семье, в Херсоне. Она получила образование в херсонской гимназии, затем на акушерских курсах при юрьевском университете. В партию она вошла в 1902 г. и работала первоначально в киевском комитете. С марта 1904 г. она приняла участие в деле Плеве. В ее лице боевая организация лишилась одной из самых крупных женщин террора.

II

После неудачного московского восстания снова был поднят вопрос о боевой организации. Не могло быть сомнения, что правительство окончательно вступило на путь реакции, а следовательно, не могло быть сомнения и в необходимости террора. Однако, решение этого вопроса было отложено до окончания работ первого общепартийного съезда. Съезд этот состоялся в самом конце 1905 г. и в первых числах января 1906 г. в гостинице „Turisten“ на Иматре.

Гостиницу эту содержал член финской партии Активного Сопротивления Уно Серениус. В Финляндии еще не был принят тогда закон о выдаче политических преступников, и члены съезда могли, не боясь за свою безопасность, спокойно работать в течение нескольких дней. На съезде не поднимался вопрос о центральном терроре, — он был решен в заседании избранного съездом центрального комитета, куда вошли по выбору: М.А.Натансон, В.М.Чернов, Н.И.Ракитников, А.А.Аргунов и Азеф. Впоследствии в состав этого комитета были кооптированы еще: П.П.Крафт (умер в 1907 г. в Петербурге), С.Н.Слетов и я. Я присутствовал на заседаниях съезда в качестве одного из представителей боевой организации, но в дебатах участия не принимал.

Съезд, после долгих прений, выработал программу партии социалистов-революционеров и ее организационный устав. Он, кроме того, единогласно принял постановление о бойкоте первой Государственной Думы и выборов в нее. Из отдельных его эпизодов я считаю важнейшим дебаты по поводу предложения, внесенного В.А.Мякотиним, А.В.Пешехоновым и Н.Ф.Анненским — впоследствии основателями народно-социалистической партии.

В вечернем заседании 30 декабря 1905 года, посвященном вопросу об организационном уставе, попросил слова тов. Рождественский (В.А.Мякотин). Он сказал:

...Наша жизнь пришла к моменту, когда требуется выступление открытой политической партии, но устав обходит этот вопрос. Между тем, можно ли сомневаться, что только такая открытая партия, организованная на демократических началах, что только она может создать новые формы жизни? Разрушительная работа может еще производиться небольшими группами, работа же созидательная должна совершаться большими организованными массами, — и такая работа нам предстоит... Кто останется с кружками, — те останутся в стороне. Речь идет не об одном выборном начале, — это сравнительно мелочь; речь может идти только о том, переходить ли на путь открытой политической партии или нет”.

В.А.Мякотин предлагал совершенно новый принцип организации. Он звал партию из подполья на широкую политическую арену, он требовал замены конспиративной кружковщины открытой и, по манифесту 17 октября, легальной агитацией в массах. Только такая агитация могла, по его мнению, привести к созданию сильной и связанной с народом партии. Н.Ф.Анненский поддерживал его предложение:

...Теперь везде играют роль массы, и с одним сочувствием далеко не уйти. Партия не всегда могла быть в курсе, как настроена масса, хотя бы по вопросу о забастовке; уверенности в настроении массы не было, было только угадывание, как эта масса чувствует. Надо сплотить массу. До сих пор прискивали по одному человеку; когда будет организована масса, она сама начнет выделять силы, в интересах борьбы выделять пропагандистов. Массу нельзя связать с конспиративной организацией, вовлечь в конспирацию. Единственный путь: существующую организацию конспиративную сохранить и рядом с ней строить другую. Говорят, что сейчас это несвоевременно; но после 17 октября был период, когда этого не сказал бы никто, и мы тогда, предвидя реакцию, настаивали перед центральным комитетом на открытой партии. Центральный комитет не решился тогда взять на себя ответственность за это и отказался... Мы полагаем, что за организацию новой партии должны взяться люди, стоящие во главе существующей организации; если они возьмутся за это, то они и придадут новой партии необходимую окраску, создадут настроение, и тогда должна будет определиться равнодействующая обеих организаций. Надо сохранить существующую организацию, улучшить ее, как деловую, и в то же время, пользуясь имеющимися силами, начать организацию новой большой партии... Когда масса организуется и обратится в партию, она будет иметь громадную силу”.

Анненскому и Мякотину возражали многие товарищи. Сущность этих возражений сводилась к следующему:

„Понимание необходимости при первой же возможности организовать открытую партию у нас есть, но оно дополняется еще другим пониманием, — необходимостью упорного расширения пути суровой борьбой, натиском организованных конспиративно-боевых сил. Мы работаем для будущей открытой организации даже тогда, когда по внешности пользуемся противоположным методом, — уходим в подполье, кропотливо, во тьме, куем оружие и втайне готовим удары врагу. Но, может быть, настало время проститься с нелегальностью главной части работы? Ничего подобного; напротив: организации, выступившие открыто и легально, как, например, крестьянский всероссийский союз, железнодорожный союз и т.д., теперь загоняются в подполье. Я ставлю товарищам первый вопрос: считают ли мы возможным обойтись дальше без террора? Если же это очевидно не-

возможно, то возможна ли организация такой партии, в программе которой стоит террор? А если это невозможно, то что же возможно? Здесь-то и выступает следующее предложение товарищей: параллельно открытой партии почему не быть партии конспиративной, сохраняющей прежние приемы борьбы? Удвоим себя, будем существовать „в двух лицах“. Затруднение, по-видимому, устранено, но только по-видимому. На его место встает новое затруднение: каждая партия должна иметь определенную тактику, на каждый вопрос партия должна отвечать открыто. Как же стали бы отвечать обе партии на самые большие, самые острые вопросы? Если они будут отвечать одинаково, то, следовательно, это будет одна партия, и двойное существование ее никого не обманет. Если будут отвечать различно или если одна будет на известные вопросы отвечать, а другая умалчивать, то дело неизбежно кончится их расхождением... Неизбежно возникнут трения и борьба. Да разве мыслимо быть рядом в двух партиях?

Оратор закончил свою речь следующими словами, которые были покрыты аплодисментами: „Мы говорили, что рабочий класс должен быть верховным законодателем, но путь к такой организации, которая осуществит „прямое народное законодательство“, лежит через Кавдинские ущелья, а через эти ущелья необходимо идти сомкнутым строем, тесными группами, в них пройдешь широко развернутым фронтом“ (речь В.М.Чернова).

После долгих дебатов В.А.Мякотин внес на суждение съезда следующую резолюцию:

„Признает ли съезд желательным, сохраняя пока существующую организацию активных сил партии, приступить при их деятельном участии, к созданию открытой политической партии, как особой организации, построенной на широких демократических началах?“

Большинством всех голосов против одного при семи воздержавшихся съезд по поводу этой резолюции высказался отрицательно. Затем была принята резолюция И.А.Рубановича и М.А.Натансона:

„Партия социалистов-революционеров, представительница интересов городского пролетариата и трудового крестьянства, объединяемых ею в единый рабочий класс, борющийся непримиримо против всех классов эксплуататоров и партий, их представляющих, как бы ни были радикальны политические программы последних, — стремится всей своей деятельностью к установлению такого режима, при котором эта борьба могла бы происходить в самых широких размерах, в самом тесном общении и единении с трудящимися массами, на вполне открытой арене и в кадрах открытой организации.“

В виду современных политических условий и потребностей текущей борьбы, немедленный переход от конспиративной организации к вполне открытой партии социалистов-революционеров признается еще невозможным“.

В обоих случаях я воздержался от голосования. Я не мог голосовать за резолюцию Пешехонова, Анненского и Мякотина, потому что считал задачу, намеченную ими, практически в данное время неосуществимой: правительство несомненно не допустило бы легального существования партии социалистов-революционеров,

даже если бы боевые ее силы были выделены в особую, совершенно самостоятельную организацию. Опыт партии народных социалистов доказал впоследствии невозможность существования в России открытой социалистической партии: сами основатели ее, я думаю, должны признать, что, благодаря преследованиям правительства, ее влияние на массы было невелико, а ее политическое значение — ничтожно.

Я не мог также голосовать за резолюцию центрального комитета. Я считал, что предложение Пешехонова, Анненского и Мякотина было в принципе верно, и что, наоборот, съезд, в лице центрального комитета, не уловил того противоречия в партийной тактике, которое впоследствии не раз давало себя чувствовать и не раз ставило партию и, в частности, террор в тяжелое положение. Большинство партийных работников стремилось ко всеобщему вооруженному восстанию, как конечному и победоносному завершению начавшейся революции. Это вооруженное восстание казалось им возможным и близким. „Принимая во внимание, — гласит одна из резолюций съезда, — что, по нашему общему убеждению, крупный аграрный взрыв, если не полное крестьянское восстание, в целом ряде местностей почти неизбежен, съезд рекомендует всем учреждениям партии быть к весне в боевой готовности и заранее составить целый план практических мероприятий, вроде взрыва железных дорог и мостов, порчи телеграфа, распределить роли в этих предприятиях и т.д., наметить административных лиц, устранение которых может внести дезорганизацию в среду местной организации, и т.д.“ (принято без прений).

Такой взгляд диктовал, конечно, и определенную тактику. Террор центральный и местный отходил на второй план. Наоборот, „техническая подготовка восстания“ приобретала первостепенное значение. Неменьшее значение приобретала и революционная агитация в массах. Отсюда бойкот первой Думы, как средство для такой агитации, отсюда участие во второй Думе, как использование думской трибуны в тех же целях. Отсюда, далее, — подчинение террора агитационным задачам и агитационных задач — подготовке восстания. В этом взгляде была, конечно, своя логика, но нельзя не признать, что реальные условия жизни разрушили ее. Конспиративно и кружковщиной нельзя серьезно воздействовать на массы: в пределах нелегальной партии агитация всегда ограничена, неизбежно захватывает только узкие слои народных масс. И дальше, — „подготовка восстания“, „план практических мероприятий“ при отсутствии стихийного взрыва, исключающего нужду в такой подготовке, — осуществимы только конспиративной организацией, заговором. Большинство партийных работников в своей тактике попадало, поэтому, в заколдованный круг: только открытая агитация может дать желательный результат, только заговор может результат этот использовать технически. Соединение того и другого в одной партии неизбежно ведет ее к ослаблению — либо агитация

замыкается в рамки подпольных комитетов, либо „подготовка восстания“ сталкивается с открытой или полукрытой агитацией и теряется тогда характер заговора. Пешехонов, Мякотин и Анненский поняли это противоречие и пытались его устранить. Я не мог не согласиться с ними.

Далее. Самые надежды на близость всеобщего восстания могли казаться преждевременными. Не было признаков, знаменующих высокий подъем революционного настроения в крестьянстве. Поэтому едва ли разумно было строить партийную тактику на уверенности в близости крупного аграрного взрыва. Наоборот, можно было прийти к необходимости медленной и долгой, упорной социалистической работы, работы созидания партии легальным путем. 17 октября был дан известный минимум политической и гражданской свободы. Немедленное использование этого минимума в целях мирной социалистической пропаганды, с одной стороны, и закрепления легальных партийных форм, с другой, — такова была по мнению Анненского, Пешехонова и Мякотина, одна из насущных задач только что пережитого момента. И в этом пункте я не мог с ними не согласиться.

Наконец, в дебатах на съезде было вскользь упомянуто еще об одном вопросе — о центральном терроре. Необходимостью его Чернов аргументировал невозможность разделения партии на две части. Если бы я даже мог признать, что всеобщее восстание неизбежно и близко, то и тогда я не присоединился бы к мнению партийного большинства. В моих глазах партия даже в то время была недостаточно сильна, чтобы ставить перед собою две одинаково трудные практические задачи: задачу „подготовки восстания“ и задачу террора. Неизбежно силы партии разбились бы. Неизбежно террор пострадал бы в своей интенсивности и широте. Неизбежно „техническая подготовка“ лишилась бы многих ценных работников. Отказ же от вооруженного восстания и соединение в одной партии боевых функций с мирной социалистической агитацией не привел бы к результатам лучшим, чем те, которые получились от тактики, принятой большинством съезда. Террор неизбежно мешал бы мирной работе, отвлекая от нее силы и средства. Он неизбежно компрометировал бы ее, как компрометировал социально-революционную фракцию во второй Думе. И, наоборот, мирная социалистическая агитация в пределах той же партии неизбежно препятствовала бы развитию террора: интересы партийной агитации взяли бы верх над интересами террора и революции. Так случилось впоследствии, когда террор был неоднократно прекращаем и возобновляем центральным комитетом по причинам политическим, т.е. по условиям данного преходящего момента.

Вот почему я, не голосуя за предложение Анненского, Пешехонова и Мякотина, не голосовал также и за формулу центрального комитета. Я находил, что надежды на всеобщее восстание преждевременны, что только террор является той силой, с которой пра-

вительство будет серьезно считаться и которая может вынудить его на значительные уступки; что партийная тактика должна, поэтому, прежде всего исходить из пользы террора; что польза террора, как равно и интересы мировой социалистической агитации, требуют в настоящий момент разделения партии на две идейно связанные, но организационно независимые части: на партию полулегальной или даже конспиративной социалистической агитации, но не в целях всеобщего в близком будущем восстания, а в целях распространения партийных идей, и на организацию, которая, сосредоточив в себе все боевые социально-революционные элементы, поставила бы своей целью развитие центрального и местного широкого террористического движения.

Мнение Анненского, Пешехонова и Мякотина осталось в меньшинстве. Они все трое ушли из партии. Я, немедленно после съезда, вместе с Азефом приступил к воссозданию боевой организации.

III

Базой для нашей террористической деятельности мы избрали Финляндию. Как я уже говорил, в Финляндии тогда не могло быть и речи о выдаче кого-либо из нас русскому правительству, а если бы такой вопрос и возник, то мы немедленно были бы извещены и, значит, имели бы время скрыться. Во всех финских правительственных учреждениях и даже в полиции были члены финской партии Активного Сопrotивления или люди, сочувствующие ей. Финны эти оказали нам много ценных услуг.

Мы находили у них приют, они покупали для нас динамит и оружие, перевозили его в Россию, доставляли нам финские паспорта и прочее. Особенно близко сошлись мы с четырьмя „активистами“, людьми, горячо преданными русской революции, смелыми и энергичными. Хотя они и не вступили в боевую организацию, но каждый из нас всегда мог рассчитывать на их помощь, даже если бы эта помощь была связана с большим риском. Эти четверо были: учительница лицея Айно Мальмберг, служащая в торговой конторе Евва Прокопе, архитектор Карл Франкенгейзер и студент гельсингфорского университета Вальтер Стенбек, принимавший в 1905 году непосредственное участие в освобождении из тюрьмы убийцы прокурора Ионсона, Ленарта Гогенталя. Можно без преувеличения сказать, что только свободным условиям Финляндии и помощи названным лиц мы были обязаны быстрым и не сопряженным с жертвами восстановлением боевой организации.

Как только стало известно, что партия решила возобновить террор, старые члены боевой организации стали съезжаться в Финляндию. Некоторые из них успели за это короткое время принять участие в отдельных боевых актах в провинции; так, Борис Вноровский участвовал в освобождении Екатерины Измайлович из минской тюрьмы. Кроме него, Азефа и меня, в Гельсингфорс при-

ехали еще: Моисеенко, Шиллеров, Рашель Лурье и Зильберберг. В Петербурге остался только Петр Иванов, извозчик.

Центральный комитет решил, что боевая организация предпримет одновременно два крупных покушения: на министра внутренних дел Дурново и на московского генерал-губернатора Дубасова, только что „усмирившего“ Москву. Из соображений политических нам, однако, было поставлено условие, чтобы оба эти покушения были закончены до созыва первой Государственной Думы. Это условие сильно стесняло нас: оба дела были трудные и требовали долгого времени для своей подготовки. Кроме того, наличный состав боевой организации был слишком малочислен, чтобы в такой короткий срок совершить хотя бы одно из этих покушений. Поэтому первой нашей заботой было пополнить наш состав новыми членами.

К весне 1906 г. в боевую организацию входили, кроме перечисленных выше, еще следующие лица: Владимир Азеф (брат Евгения Азефа), Мария Беневская, Владимир Вноровский (брат Бориса Вноровского), Борис Горинсон, Абрам Рафаилович Гоц (брат Михаила Гоца), Двойников, Александра Севастьянова, Владимир Михайлович Зензинов, Ксения Зильберберг, Кудрявцев („Адмирал“), Калашников, Валентина Колосова (урожденная Попова), Самойлов, Назаров, Павлов, Пискарев, Всеволод Смирнов, Зот Сазонов (брат Егора Сазонова), Павла Левинсон, Трегубов, Яковлев и некий рабочий „Семен Семенович“, фамилия которого мне неизвестна. Всего в боевой организации было тогда около 30 человек. Я считал, что такое переполнение организации только вредит делу, и не раз указывал на это Азефу. Азеф не соглашался со мной: по его инициативе и только с его одобрения были приняты некоторые из перечисленных мною лиц. Лица эти, достойные всякого уважения и готовые на всякое боевое дело, были, однако, лишними в наших планах и оставались в бездействии.

Из новых товарищей мое внимание в особенности обратили на себя четыре лица: Абрам Гоц, „Адмирал“, Федор Назаров и Мария Беневская. Каждый из них представлял собою не только крупную боевую силу, но и оригинальную, не похожую на других, индивидуальность и каждый из них сыграл, по-своему, заметную роль в боевой организации.

Абрам Гоц был сын очень богатого купца. Молодой человек лет 24, крепкий, черноволосый, с блестящими черными глазами, он во многом напоминал своего старшего брата. У него был неиссякаемый источник революционной энергии, а отсутствие опыта заменялось большим практическим умом. От него постоянно исходила инициатива различных боевых предприятий, он непрерывно был занят составлением всевозможных террористических планов. Убежденный последователь Канта, он относился, однако, к террору почти с религиозным благоговением и брался с одинаковой готовностью за всякую, самую неблагоприятную террористическую работу.

По своим взглядам он был правоверный социалист-революционер, любящий массу, но любовь эту он сознательно принес в жертву террору, признавая его необходимость и видя в нем высшую форму революционной борьбы. Его ожидала судьба всех даровитых террористов: он был арестован слишком рано и не успел занять в терроре то место, на которое имел все данные, — место главы боевой организации.

„Адмирал“ был выше среднего роста, блондин, с большими светло-голубыми глазами. Он сразу привлекал к себе своей спокойной силой. В нем не было блестящих задатков Гоца, но он был одним из тех редких людей, на которых можно целиком положиться в уверенности, что они не отступят в решительную минуту. Больше, чем кто-либо другой, он вносил в организацию дух братской любви и дружеской связи.

Федор Назаров, рабочий Сормовского завода, по характеру был полной противоположностью „Адмиралу“. Он тоже принадлежал к тем людям, которые, однажды решившись, без колебания отдают свою жизнь, но мотивы его решения были иные. „Адмирал“ верил в социализм, и террор был для него неотделимой частью программы партии социалистов-революционеров. У Назарова едва ли была твердая вера. Пережив сормовские баррикады, демонстрацию рабочих под красным знаменем и шествие тех же рабочих за трехцветным национальным флагом, он вынес с завода презрение к массе, к ее колебаниям и к ее малодушию. Он не верил в ее созидательную силу и, не веря, неизбежно должен был прийти к теории разрушения. Эта теория шла навстречу его внутреннему чувству: в его словах и делах красной нитью проходила не любовь к униженным и голодным, а ненависть к унижающим и сытым. По темпераменту он был анархист и по мировоззрению далек от партийной программы. Он имел свою, вынесенную им из жизни, оригинальную философию, в духе индивидуального анархизма. В терроре он отличался из ряда вон выходящей отвагой и холодным мужеством решившегося на убийство человека. Организацию и каждого из членов ее он любил с тем большей любовью, чем сильнее было его презрение к массе и чем озлобленнее была ненависть к правительству и буржуазии. Он едва ли сознавал истинные размеры своих сил.

Мария Беневская, знакомая мне еще с детства, происходила из дворянской военной семьи. Румяная, высокая, со светлыми волосами и смеющимися голубыми глазами, она поражала своей жизнерадостностью и весельем. Но за эту беззаботную внешностью скрывалась сосредоточенная и глубоко совестливая натура. Именно ее, более чем кого-либо из нас, тревожил вопрос о моральном оправдании террора. Верующая христианка, не расстававшаяся с евангелием, она каким-то неведомым и сложным путем пришла к утверждению насилия и к необходимости личного участия в терроре. Ее взгляды были ярко окрашены ее религиозным сознанием, и ее личная жизнь, отношение к товарищам по организации носили

тот же характер христианской незлобивости и деятельной любви. В узком смысле террористической практики она сделала очень мало, но в нашу жизнь она внесла струю светлой радости, а для немногих — и мучительных моральных запросов.

Однажды в Гельсингфорсе я поставил ей обычный вопрос:

— Почему вы идете в террор?

Она не сразу ответила мне. Я увидел, как ее голубые глаза стали наполняться слезами. Она молча подошла к столу и открыла евангелие.

— Почему я иду в террор? Вам неясно? „Иже бо а е хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою мене ради, сей спасет ю“.

Она помолчала еще:

— Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу...

Назаров говорил иное. Я встретился с ним впервые в Москве, в ресторане „Волна“, в Каретном ряду. Он пил пиво, слушал машину и спокойно, почти лениво, отвечал на мои вопросы:

— По-моему, нужно бомбой их всех... Нету правды на свете... Вот во время восстания сколько народу убили, дети по миру бродят... Неужто еще терпеть? Ну, и терпи, если хочешь, а я не могу.

„Адмирал“ не говорил ничего. Товарищ М.А.Спиридоновой, крестьянский партийный работник, он видел еще перед своими глазами реки крови и возы розог. Он помнил еще Луженовского, помнил Жданова и Абрамова и не мог простить Лауницу усмирения Тамбовской губернии. За этим молчанием мне чудился тот же вопрос, который поставил Назаров:

— Неужто еще терпеть?

Военная организация еще не сорганизовалась, и еще не все товарищи приехали в Гельсингфорс, когда Азеф неожиданно отказался от участия в терроре. Мы обсуждали втроем, — он, Моисеенко и я, — план нашей будущей кампании. В середине разговора Азеф вдруг умолк.

— Что с тобой?

Он заговорил, не подымая глаз от стола:

— Я устал. Я боюсь, что не могу больше работать. Подумай сам: со времени Гершуни я все в терроре. Я имею право на отдых.

Он продолжал, все еще не подымая глаз:

— Я убежден, что ничего на этот раз у нас не выйдет. Опять извозчики, папиросники, наружное наблюдение... Все это вздор... Я решил: я уйдю от работы. „Опанас“ (Моисеенко) и ты справишься без меня.

Мы были удивлены его словами: мы не видели тогда причин сомневаться в успехе задуманных предприятий. Я сказал:

— Если ты устал, то, конечно, уйди от работы. Но ты знаешь, — мы без тебя работать не будем.

— Почему?

Тогда Моисеенко и я одинаково решительно заявили ему, что

мы не чувствуем себя в силах взять без него ответственность за центральный террор, что он — глава боевой организации, назначенный центральным комитетом, и еще неизвестно, согласятся ли остальные товарищи работать под нашим руководством, даже если бы мы приняли его предложение.

Азеф задумался. Вдруг он поднял голову:

— Хорошо, будь по-вашему. Но мое мнение, — ничего из нашей работы не выйдет.

Тогда же был намечен следующий план. Было решено сосредоточить главные силы в Петербурге: дело Дурново нам казалось труднее дела Дубасова. В обоих случаях был принят метод наружного наблюдения. Из соображений конспиративных, петербургская наблюдающая организация разделилась на две самостоятельные и связанные только в лице Азефа группы: на группу извозчиков (Трегубов, Павлов, Гоц), с которой непосредственно должен был сноситься Зот Сазонов, и на смешанную группу из пяти человек, куда входили извозчики — „Адмирал“ и Петр Иванов, газетчик Смирнов и уличные торговцы Пискарев и Горинсон. С этой последней группой должен был все сношения вести я. Параллельно с этим учреждалось, под моим руководством, наружное наблюдение в Москве за адмиралом Дубасовым (Борис и Владимир Вноровские, Шиллеров). Кроме того, Зензинов уехал в Севастополь, чтобы на месте выяснить возможность покушения на адмирала Чухнина, усмирившего восстание на крейсере „Очаков“; Самойлов и Яковлев предназначались для покушения на генерала Мина и полковника Римана, офицеров лейб-гвардии Семеновского полка; Зильберберг стал во главе химической группы, куда вошли, кроме него, его жена Ксения, Беневская, Левинсон, Колосова, Лурье, Севастьянова, „Семен Семенович“. Группа эта наняла для лаборатории дачу в Териоках. Наконец, Моисеенко, Калашников, Двойников и Назаров оставались пока в резерве и жили в Финляндии.

Прошел весь январь, пока организация приступила к работе. Азеф и я жили в Гельсингфорсе: Азеф на квартире у Мальмберг, я снимал комнату в незнакомом финском семействе по паспорту Лена Рода. Мне приходилось бывать в этой комнате очень редко: я был в постоянных разъездах между Москвой и Петербургом. Я приезжал в Гельсингфорс только для совещания с Азефом.

IV

С начала февраля установилось правильное наблюдение за Дубасовым. Шиллеров и оба брата Вноровские купили лошадей и сани и, как некогда Моисеенко и Каляев, соперничали между собою на работе. Все трое мало нуждались в моих указаниях. Одинаково молчаливые, одинаково упорные в достижении поставленной цели, одинаково практичные в своих извозничьих хозяйских делах, они зорко следили за Дубасовым. Дубасов, как когда-то Сергей Алек-

сандрович, жил в генерал-губернаторском доме на Тверской, но выезжал реже великого князя, и выезды эти были нерегулярны. Наблюдение производилось обычно на Тверской площади и внизу, у Кремля. Вскоре удалось выяснить внешний вид поездок Дубасова: иногда он ездил с эскортом драгун, иногда, реже, в коляске, один со своим адъютантом. Этих сведений было, конечно, мало, и мы не решались еще приступить к покушению.

Первоначально наблюдение производилось только Шиллеровым и Борисом Вноровским. Владимир Вноровский заменил собою Михаилом Соколовым, впоследствии шефа максималистов. Соколов одно время состоял членом боевой организации.

Однажды в Гельсингфорсе, на одну из наших конспиративных квартир, явился высокий мускулистый, крепко сложенный молодой человек. Мне бросилась в глаза „особая примета“ — несколько родинок на правой щеке. Азеф познакомил меня с ним. Это был „Медведь“ — Михаил Соколов.

На этом первом свидании Соколов сказал нам, что он не во всем согласен с программой партии социалистов-революционеров, что он придает решающее значение террору; что боевая организация — единственное сильное террористическое учреждение и что поэтому он хочет работать с нами, несмотря на свои программные разногласия.

Я много слышал о Соколове. Я слышал о нем, как об одном из вождей московского восстания, как о человеке исключительной революционной дерзости и больших организаторских способностей. Личное впечатление оставалось от него самое благоприятное: он говорил обдуманно и спокойно, и за словами его чувствовалась глубокая вера и большая моральная сила. Я обрадовался его предложению.

Азеф говорил мне, и я видел сам, что Соколов более, чем кто-либо другой, способен внести в организацию энергичную инициативу и даже взять на себя руководство всеми ее делами. Ему не хватало опыта. Таким опытом могло служить московское дело. Он должен был, в качестве извозчика, руководить наблюдением.

Соколов согласился на эту роль не без некоторого колебания.

— Меня знают в Москве, знает вся Пресня. Я легко могу встретить филеров, которые раньше знали меня.

Я сказал ему, что опыт показывает безопасность таких непредвиденных встреч. Не только филер, но даже близкий товарищ не могут узнать в извозчике и на козлах то лицо, которое привыкли видеть студентом или в статском костюме. Я указал на пример Бориса Вноровского, москвича, который, однако, не видит риска в своем пребывании в Москве. Соколов, выслушав меня, согласился со мною.

Недели через полторы я приехал в Москву и не нашел его на условленной явке. Я обратился к Слетову. Слетов в это время был агентом боевой организации для Москвы: он доставлял деньги и

паспорта, собирал сведения о Дубасове, проверял кандидатов, предлагавших себя на террор, и был звеном между нами и всеми, имевшими до нас дело. Через Слетова я разыскал Соколова на какой-то даче в Сокольниках. Соколов встретил меня недружелюбно:

— У нас дело, видимо, плохо стоит, если вы решились дать мне работу в Москве. Здесь меня многие знают: это не безопасно.

Я отметил, что он сам согласился на предложенную ему в Гельсингфорсе роль.

— Я передумал, — сказал Соколов, — кроме того, наш способ работы отжил свой век. Теперь нужно действовать партизански, а не сидеть по полгода на козлах. Я должен сказать вам, что выхожу из вашей организации.

Я не пробовал его убеждать. Я сказал только, что мне кажется, он неправ: центральный террор всегда требует долгой и тяжелой подготовительной работы и что только тесно сплоченная организация может развить достаточную для победы энергию.

Мы расстались. Я услышал впоследствии о нем, как об организаторе взрыва на Алтекарском острове дачи премьер-министра Столыпина в августе 1906 г. и кровавой экспроприации в Фонарном переулке осенью того же года. Вскоре после этой экспроприации я встретился с ним, во второй и последний раз, опять в Гельсингфорсе.

Он показался мне утомленным. Видимо, напряженная террористическая деятельность не прошла для него даром. В его словах звучали грустные ноты.

— Вы были правы. Одним партизанством немного сделаешь. Нужна крепкая организация, нужен предварительно большой и тяжелый труд. Я убедился в этом. Эх, если бы у нас была ваша дисциплина...

Я хотел ему в ответ сказать, что у нас зато нет инициативы и решимости максималистов, но я сказал только:

— Слушайте, мы беседуем, как частные лица... Скажите, почему мы не можем работать вместе? Что касается меня, то я не вижу препятствий к этому. Мне все равно, — максималист вы, анархист или социалист-революционер. Мы оба террористы. В интересах террора — соединение боевой организации с вашей. Что вы имеете против этого?

Он задумался.

— Нет, конечно, я, лично я, ничего не могу иметь против. Нет сомнения, для террора такое соединение выгодно и полезно. Но захотят ли товарищи, ваши и мои?

Я ответил ему, что за своих товарищей я ручаюсь; что, разумеется, придется установить известное техническое соглашение, но что программные разногласия нас не могут смущать, — что мы, террористы, не можем расходиться из-за вопроса о социализации фабрик и заводов.

Соколов махнул рукой.

— Мои не согласятся ни за что... Нет, что сделано, — не воротишь. Террор был бы сильнее, работай мы вместе, но теперь это невозможно: вы нам объявили войну.

— Не мы, а партия социалистов-революционеров.

— Все равно, вы — часть партии.

Я опять не пытался убедить его, и мы снова расстались. Через месяц он был арестован на улице в Петербурге. Его судили военно-полевым судом и приговорили к смерти. Он повешен 2 декабря 1906 г.

Шиллеров и оба брата Вноровские продолжали свое наблюдение. Они хорошо узнали Дубасова в лицо, отметили все особенности его выездов, но регулярности их отметить не могли. В самом конце февраля Дубасов уехал в Петербург, и мы решили попытаться устроить на него покушение на возвратном его пути, в Москве. Такие поездки совершались впоследствии Дубасовым неоднократно, и в марте мы сделали несколько безрезультатных попыток на улице, по дороге с вокзала в генерал-губернаторский дом. Химиками для приготовления снарядов были „Семен Семенович“ и позднее Рашель Лурье. По поводу химиков у меня произошло резкое столкновение с Азефом.

Приехав в Гельсингфорс, я сообщил Азефу, что, по моему мнению, на Дубасова возможно только случайное покушение и что одной из случайностей может быть его поездка в Петербург. Я сказал, что поэтому нужно быть всегда готовым к его возвращению.

Азеф сказал:

— Поезжай в Териоки. Там ты найдешь Валентину (Колосова-Попову). Предложи ей поехать с тобою в Москву. Она приготавливает бомбы.

В тот же вечер я уехал в Териоки. Химическая лаборатория помещалась на даче, у взморья. Хозяином ее был Зильберберг, прислугой — Александра Севастьянова. Лаборатория не возбуждала никаких подозрений ни у полиции, ни у соседей. Рашель Лурье, Колосова и Беневская обучались при изготовлению снарядов. Во всех комнатах лежали готовые и неготовые жестяные оболочки, части запальных трубок, динамит и гремучая ртуть. Ранее, до устройства этой лаборатории, Зильберберг один, без помощников, приготовил несколько бомб на квартире у члена финской партии Активного Сопротивления, судьи Фуругельма, в Выборге.

В Териоках я впервые увидел Валентину Попову. Она была больна. Заметив это, я удивился, что Азеф мог именно ее назначить для работы в Москве. Лурье и Беневская легко могли заменить ее. Они обладали не меньшими техническими знаниями.

Я вернулся в Гельсингфорс к Азефу, и у нас произошел следующий разговор.

Я сказал Азефу, что Попова больна и что ее болезненное состояние должно вредно отразиться на ее работе, — беременная женщина не может вполне отвечать за себя в таком трудном, опасном

деле, как приготовление снарядов. Я сказал также, что я не могу мириться с опасностью для жизни не только матери, но и ребенка: я хотел бы поэтому иметь в своем распоряжении в Москве не Попову, а Бенеvскую или Лурье.

Азеф равнодушно сказал:

— Какой вздор... Нам дела нет, здорова ли Валентина или больна. Раз она приняла на себя ответственность, мы должны верить.

Я возразил, что недостаточно одного желания Поповой. Мы, как руководители, отвечаем за каждую деталь общего плана, и на нас лежит обязанность сообразоваться не только с готовностью члена организации, но и с прямыми интересами дела.

Азеф ответил:

— Ну, я знаю Валентину. Она приготовит снаряды, и не о чем толковать.

Я не мог удовлетвориться этим ответом. Я сказал, что тоже совершенно не сомневаюсь в знаниях, преданности делу и самоотверженности Поповой, но что я не могу согласиться, чтобы в одной организации со мной, с моего ведома и одобрения, беременная женщина подвергалась крупному риску. Я заявил в заключение, что я не поеду в Москву, если Поповой будет предложено приготовление снарядов.

Азеф сказал:

— Это — сентиментальность. Поезжай в Москву. Теперь поздно менять.

Я стоял на своем и решительно заявил Азефу, что не только не поеду в Москву, но даже выйду совсем из организации, если он не примет моего условия.

Тогда Азеф уступил, и было решено, что вместо Поповой в Москву поедет Рашель Лурье.

В Москве я, как раньше в деле великого князя Сергея, сделала попытку воспользоваться сведениями со стороны, из кругов, чуждых организации. Шиллеров познакомил меня со своей знакомой, г-жей Х. Г-жа Х. имела непосредственные сношения с дворцом великой княгини Елизаветы. Во дворце этом она узнала из полицейского источника день и час возвращения Дубасова из Петербурга.

Эти сведения оказались неверными. Я не знаю, сознательно ли она была введена в заблуждение, или полицейский чин, сообщивший об этом, сам не знал в точности намерений Дубасова. Как бы то ни было, я еще раз убедился, как осторожно следует относиться ко всем указаниям, не проверенным боевою организацией.

V

Первые попытки покушений на Дубасова произошли 2 и 3 марта. В них участвовали Борис Вноровский и Шиллеров: первый — простолюдином, второй — извозчиком на козлах. Дубасов уехал в Пе-

тербург, и они оба ждали его на обратном пути в Москве, по дороге с Николаевского вокзала в генерал-губернаторский дом, к приходу скорого и курьерского поездов. Вноровский занял Домниковскую улицу, Шиллеров — Каланчевскую. В обоих случаях они не встретили Дубасова. Вторая серия покушений относится к концу марта. В них принимал участие также и Владимир Вноровский. 24, 25 и 26 числа метальщики снова ждали возвращения Дубасова из Петербурга и снова не дождались его приезда. Опять были замкнуты Уланский переулочок и Домниковская, Мясницкая, Каланчевская и Большая Спасская улицы. Борис Вноровский давно продал лошадь и сани и жил в Москве под видом офицера Сумского драгунского полка. У него не было паспорта и ему часто приходилось оставаться без ночлега. Из осторожности он избегал ночевать на частных квартирах и проводил ночь частью на улице, частью в ресторанах и увеселительных садах...

Я и до сих пор не могу вспомнить без удивления выносливости и самоотвержения, какие показали в эти дни покушений Шиллеров и в особенности Борис Вноровский. Последнему принадлежала наиболее трудная и ответственная роль; он становился на самые опасные места, именно на те, где по всем вероятностям должен был проехать Дубасов. Для него было бесповоротно решено, что именно он убьет генерал-губернатора, и, конечно, у него не могло быть сомнения, что смерть Дубасова будет неизбежно и его смертью. Каждое утро 24, 25 и 26 марта он прощался со мною. Он брал тяжелую шестифунтовую бомбу, завернутую в бумагу из-под конфет, и шел своей легкой походкой к назначенному месту, — обычно на Домниковскую улицу. Часа через два он возвращался опять так же спокойно, как уходил. Я видел хладнокровие Швейцера, знал сосредоточенную решимость Зильберберга, убедился в холодной отваге Назарова, но полное отсутствие аффектации, чрезвычайная простота Бориса Вноровского, даже после этих примеров, удивляли меня.

Однажды я спросил:

— Скажите, вы не устали?

Он удивленно взглянул на меня:

— Нет, не устал.

— Но ведь вы почти не спите ночами.

— Нет, я сплю.

— Где же?

— Вчера я ночевал в Эрмитаже.

Он замолчал.

— А вот сколько, — продолжал он в раздумьи, — я без калош.

Того и гляди — упаду.

— Не упадете.

Он улыбнулся.

— Я тоже так думаю. А все-таки, боишься, — нет, нет — упадешь.

Он говорил очень спокойно. Я представил себе, как он два часа

ходит взад и вперед по скользкому тротуару в ожидании Дубасова и снова спросил его:

— Не хотите ли, можно ведь вас сменить?

Он опять улыбнулся.

— Нет, ничего. Только рука устала: ведь все время несешь на весу.

Мы помолчали опять.

— Слушайте, — сказал я, — а если Дубасов поедет с женой?

— Тогда я не брошу бомбы.

— И значит будете еще много раз его ждать?

— Все равно: я не брошу.

Я не возражал ему: я был с ним согласен.

Остаток дня обычно мы проводили вместе. Он мало рассказывал о своей прошлой жизни, а если говорил, то только о своих родителях и семье. Я редко встречал такую любовь, такую сыновнюю привязанность, какая сквозила в его неторопливых спокойных словах об его матери и отце. С такой же любовью говорил он и о своем брате Владимире.

Кто не участвовал в терроре, тому трудно представить себе ту тревогу и напряженность, которые овладели нами после ряда наших неудачных попыток. Тем значительнее были неизменное спокойствие и решимость Бориса Вноровского.

Рашель Лурье во многом напоминала Дору Бриллиант. Она жила в гостинице „Боярский Двор“ и так же, как Дора, работала у себя в номере. Она так долго ждала случая активно принять участие в терроре, так истомилась ожиданием на конспиративных квартирах, что чувствовала себя теперь почти счастливой. Я говорю „почти“, потому что и в ней была заметна та же женственная черта, которая отличала Дору Бриллиант. Она верила в террор, считала честью и долгом участвовать в нем, но кровь смущала ее не менее, чем Дору. Она редко говорила о своей внутренней жизни, но и без слов было видно это глубокое и трагическое противоречие ее душевных переживаний. 29 марта она приняла личное участие в покушении: она сопровождала Бориса Вноровского на Николаевский вокзал. В этот день Дубасов должен был ехать из Москвы в Петербург. Но и на этот раз Дубасов избег покушения.

В самом конце марта я съездил в Гельсингфорс к Азефу. Я хотел посоветоваться с ним о положении дел в Москве. Я повторил ему, что, по данным нашего наблюдения, Дубасов не имеет определенных выездов; что наши неоднократные попытки встретить его на пути с вокзала кончились неудачей; что все члены московской организации, однако, верят в успех и готовы принять все, даже самые рискованные меры, для того, чтобы ускорить покушение; что, наконец, срок, назначенный центральным комитетом, — до созыва Государственной Думы, — близится к концу. Я предложил ему, поэтому, попытку убить Дубасова в тот день, когда он неизбежно должен выехать из своего дома, — в страстную субботу, день тор-

жественного богослужения в Кремле. Я сказал, что мы имеем возможность замкнуть трое кремлевских ворот: Никольские, Троицкие и Боровицкие, и спрашивал его, согласен ли он на такой план. Азеф одобрил мое решение.

Я вернулся в Москву и встретил одобрение этому плану также со стороны всех членов организации. Мы стали готовиться к покушению. Борис Вноровский снял офицерскую форму и поселился по фальшивому паспорту в гостинице „Националь“ на Тверской. В среду днем я встретился с ним в „Международном Ресторане“ на Тверском бульваре. Наше внимание обратили на себя двое молодых людей, прислушивавшихся к нашему разговору. Когда мы вышли на улицу, они пошли следом за нами.

В четверг о подозрительном случае наблюдения сообщил Шиллеров. Я у своей гостиницы тоже заметил филеров.

Мы все еще не оставляли надежды. Мы не знали, какой характер имеет это наблюдение, и, не понимая его причины, полагали, что оно, быть может, случайно. В страстную пятницу вечером у нас состоялось собрание в ресторане „Континенталь“. На собрании этом присутствовали Рашель Лурье и Борис Вноровский. С Шиллеровым, Владимиром Вноровским и „Семеном Семеновичем“ я должен был увидеться на следующий день, в субботу утром...

По случаю страстной недели ресторан был почти пуст. Мы вскоре заметили, что зала начала наполняться. Приходили по одиночке старые и молодые прилично одетые люди и садились так, чтобы мы им были видны. Мы вышли на улицу. Я вышел первый. Я увидел, как вслед за мной вышли Рашель Лурье и Вноровский. Они сели на лихача. На моих глазах от извозчицкой биржи отделилось еще двое лихачей, и на них село трое филеров. Я долго смотрел, как мчался лихач, увозя Вноровского и Лурье, и как за ним гнались филеры. В уверенности, что меня в эту ночь арестуют, я вернулся к себе в гостиницу и заснул.

Лурье и Вноровский целую ночь спасались от погони. К утру им удалось скрыться. По совету Вноровского Лурье не вернулась в гостиницу. В „Боярском Дворе“ остался ее динамит.

Прислуга, не дождавшись возвращения Лурье, снесла его вместе со всеми ее вещами в подвал. В подвале этот динамит много месяцев спустя взорвался от близости к калориферу. К счастью, взрыв этот не причинил никому вреда и только испортил стены подвала.

В субботу, в кондитерской Сиу, я встретил Шиллерова и „Семена Семеновича“. Я опять вышел первым и увидел, что за ними обоими наблюдают филеры. Не оставалось сомнения, что вся организация накануне разгрома.

Тогда передо мною стал вопрос уже не о покушении на Дубасова, а о сохранении организации. В 5 часов у меня было назначено свидание в „Альпийской Розе“ с Борисом Вноровским. Я хотел посоветоваться с ним. Владимира Вноровского я мог предупредить еще раньше: он, извозчик, должен был ожидать меня в час дня в Долгоруковском переулке.

Я оглянулся. Сзади и впереди меня, с боков и по другой стороне Кузнецкого моста, сновали филеры. Их было несколько человек, и по их откровенным приемам я понял, что есть приказ о моем аресте.

Было 12 часов. Я надеялся, что если меня не арестуют немедленно, то я скроюсь в пролетке Владимира Вноровского. Так и случилось. В час дня я в Долгоруковском переулке издали заметил знакомую мне белую, в мелких яблоках лошадь и маленького ростом, коренастого, с добродушным лицом кучера. Я вскочил к Вноровскому и обернулся. Я видел, как филеры заметались по переулку: поблизости не было ни одного свободного „Ваньки“.

Я сказал Владимиру Вноровскому, чтобы он продавал пролетку и лошадь и уезжал в Гельсингфорс. Я объяснил ему, что за нами следят. Он ответил, что не замечал за собой наблюдения.

В „Альпийской Розе“ меня ждал Борис Вноровский. После бессонной ночи и ночной погони, он был, как всегда, спокоен. Я не заметил никаких следов тревоги или волнения на его лице. Он выслушал меня молча и молча же согласился со мною, что дело продолжать невозможно и, для спасения организации, всем членам ее необходимо немедленно уехать в Финляндию. Когда был решен этот вопрос, он неожиданно обратился ко мне:

- А динамит Кати (Рашель Лурье)?
- Какой динамит?
- Тот, что остался в „Боярском Дворе“.
- Ну?
- Я пойду и получу его обратно.

Я с удивлением посмотрел на него:

— Послушайте, ведь вас наверно арестуют.

Он улыбнулся.

— Почему же наверно? Попытка не пытка...

Мне удалось убедить его не делать такой попытки. В тот же день я известил о нашем решении Шиллерова и „Семена Семеновича“. Борис Вноровский известил Лурье.

Через несколько дней мы все собрались в Гельсингфорсе.

VI

Я рассказал Азефу о происшедшем в Москве и объяснил ему причины нашего решения временно ликвидировать дело. Азеф отнесся к моим словам с недоверием.

— Ты говоришь, — за вами следили... Вам показалось, что за вами следят. Если бы следили, то, наверно, и арестовали бы. Ты поторопился уехать из Москвы.

В „Новом Времени“ была напечатана заметка, в которой сообщалось, что „шайка злоумышленников“ приготавливала покушение на адмирала Дубасова, но приготовления эти были своевременно раскрыты полицией, члены же шайки скрылись. Я показал эту заметку Азефу.

Пыхтя папироской и, как всегда, лениво роняя слова, он сказал:
— Ну, значит, верно. Пережди несколько дней и поезжай обратно в Москву. Нужно закончить дело.

Я ответил, что, по-моему, посылать меня снова в Москву, — значит подвергать московскую организацию напрасному риску; что если возможно меня заменить, то это следует сделать, тем более, что постоянно бывая в Москве, я реже, чем того требовало покушение на Дурново, бывал в Петербурге, что он, Азеф, ни разу за все это время в Москве не был; что его там не знают и что, следовательно, целесообразнее, если поедет он.

Азеф сказал:

— Нет, поезжай ты. К тебе привыкли товарищи и ты знаешь их. Ты будешь более полезен, чем я.

Я сказал на это в ответ, что, по моему мнению, такой риск не разумен и что я вообще предложил бы заменить кого можно из тех товарищей, которые уже работали в Москве. Если братья Вноровские и Шиллеров необходимо должны вернуться в Москву, ибо только они знают в лицо генерал-губернатора, то нет нужды посылать с ними Рашель Лурье, которую легко может заменить Беневская. „Семен Семенович“ не приехал в Гельсингфорс и скрывался где-то под Москвою. Я предложил заменить и его.

Азеф внимательно выслушал. Потом он сказал:

— Хорошо. Я поеду в Москву.

Было решено, что Шиллеров и Беневская наймут квартиру где-нибудь в Замоскворечьи, — в той части города, где мы вообще редко появлялись. Одну комнату они сдадут Владимиру Вноровскому, как жильцу. Борис Вноровский с паспортом мещанина должен был поселиться тоже в Замоскворечьи. Азеф должен был приехать, когда все приготовления будут закончены.

В первой половине апреля все поименованные товарищи, кроме Азефа, уехали в Москву. Зильберберг дал Беневской последние указания, как нужно готовить бомбы, и, по предложению Азефа, вручил Борису Вноровскому один готовый снаряд. Дубасов был в это время в Петербурге. Со дня на день ожидалось его возвращение в Москву. Вноровский мог его встретить в курьерском поезде. Я был против этого плана, находя его слишком рискованным: при малейшей неосторожности снаряд мог взорваться в вагоне и убить посторонних людей. Азеф настоял на своем. Бомбу Вноровского, если бы он не встретил Дубасова в поезде, должна была разрядить Беневская в Москве.

Шиллеров под именем мещанина Евграфа Лубковского снял 10 апреля квартиру из трех комнат в доме церкви св. Николая на Пыжах, в Пятницкой части, а 15 апреля, когда Шиллерова не было дома, Беневская, разряжая принесенную ей Вноровским бомбу, сломала запальную трубку. Запал взорвался у нее в руках. Она потеряла всю кисть левой руки и несколько пальцев правой. Окровавленная, она нашла в себе столько силы, чтобы, когда вернулся

Шиллеров, выйти из дому и, не теряя сознания, доехать до больницы. Шиллеров на квартиру не вернулся и приехал с известием о взрыве в Финляндию.

Шиллеров много раз на работе показал примерное мужество и находчивость. Его наблюдение давало всегда ценный и проверенный результат. Его участие в неудачных мартовских покушениях не оставляло сомнения в его полной готовности. Оставление им квартиры было, несомненно, несчастием, ибо в квартире осталась фотографическая карточка Дубасова. Эта карточка на суде значительно отягчила участь Беневской, доказав ее связь с покушением на генерал-губернатора. Мне думается, однако, что было бы несправедливо обвинить Шиллерова в растерянности или недостатке мужества. Осторожность требовала, чтобы он не возвращался обратно в квартиру: нельзя было предположить, как это случилось в действительности, что она не будет открыта в течение нескольких дней. Шиллеров поступил по всем правилам конспирации, но, поступив так, был чрезвычайно огорчен, что не имел ни возможности, ни права рискнуть вернуться в квартиру. Он изменился лицом до неузнаваемости и настойчиво требовал немедленного, с бомбой в руках, участия в покушении на Дубасова.

Официальный источник (обвинительный акт о потомственной дворянке Марии Аркадиевне Беневской) так описывает взрыв в квартире Лубковского 15 апреля 1906 г.

„21 апреля, перед вечером, дворник Имохин, приведя к Лубковским какого-то нанимателя, желавшего посмотреть комнату, нашел квартиру их незапертой и пустою, а в передней заметил окровавленное полотенце. Об этом немедленно было заявлено полиции, которая, при осмотре, обнаружила, что передняя, кухня и те две комнаты, которые занимали жильцы, залита кровью. В особенности в этом отношении выдавалась комната в одно окно, обращенная к тупику и служившая, по-видимому, спальней женщины. Эта же комната и находившаяся там мебель носили на себе следы разрушения. Так, ножки деревянного стола, стоявшего около окна, имели несколько свежих выбоин; венский стул у стола был без сиденья, тоже с выбоинами и царапинами, причем в круге стула торчали осколки жести; обломки от сиденья и самый стул были испачканы кровью, а к спинке, в нижней части опаленной, пристали кусочки мышц. В расстоянии шага от стола линолеумовая покрывка пола была пробита насквозь и в обнаженном полу виднелась взорвавшаяся кусочки жести и осколок кости. Около пробитого отверстия находилась лужа крови, от которой по направлению к двери в переднюю и с разветвлением к печке, что близ этой же двери, шли зигзагами сплошные пятна крови. По кафлям печки, с высоты одного аршина от пола, тянулось книзу несколько линейных стоков крови, образовавших на полу лужу. Задвижка и ручка на двери со стороны спальни были сильно испачканы кровью и от них по полотну двери книзу шла струя крови. Затем кровавые следы по полу передней вели в кухню к раковине с водопроводным краном, а оттуда к стене, где укреплен полка с посудой. В передней и комнатах валялось три смоченных кровью полотенца. По всей спальне были усмотрены разбросанные как бы по радиусам и прилипшие к полу, потолку и стенам, а больше всего — к углу у окна, сгустки крови, частицы мышц, сухожилий и костей. В разных местах этой комнаты нашли: указательный палец левой руки женщины, оторванный, по мнению

присутствовавшего при осмотре врача, за несколько дней до 21 апреля; ноготь с пальца руки и крышку от конфетной коробки с приставшими к внутренней стороне ее куском кожи и сухожилиями, небольшой осколок кости и кусочки жести.

В соседней со спальней комнате, где, по-видимому, помещался мужчина, от двери, ведущей из спальни, к противоположной стене, у которой стоял большой стол, шел след крови. Кровью же был испачкан стул около стола и абажур на лампе, находившейся на другом столе. К потолку близ двери прилипли сгустки крови и частицы мышц, а на полу подобрали кусочки пальца с ногтем.

В жилых комнатах квартиры Лубковских были обнаружены следующие, служащие к разъяснению настоящего дела, предметы: сверток с 2 пакетами гремучего студня, весом около 5 фунтов; 4 стеклянных трубочки с шариками, наполненными серной кислотой, с привязанными к трубочкам свинцовыми грузиками; две цилиндрической формы жестяных коробки с укрепленными внутри капсюлями гремучей ртути; две крышки к этим коробкам; одна закрытая крышкой и залитая парафином, подобная указанной выше, коробка, представляющая из себя, как выяснилось потом, вполне снаряженный детонаторный патрон; крышка от жестяного цилиндра и деформированный кусок жести, коробка со смесью из бертолетовой соли и сахара, два мотка тонкой проволоки; 10 кусков свинца: медная ступка; аптекарские весы и граммовый разновес; записная книжка с условными записями и вычислениями; три конфетных коробки, сверток цветной бумаги; два мотка цветных тесемок; пучок шелковых ленточек; фотографическое изображение вице-адмирала Дубасова и несколько номеров московских и петербургских газет за время с 10 по 14 апреля включительно, причем за 14 апреля имелась петербургская газета „Речь“, которая могла быть приобретена в Москве не раньше 15 апреля.

Приглашенные эксперты, подполковник Колонтаев и титулярный советник Тисленко, высказали мнение, что в квартире Лубковских произошел взрыв детонаторного патрона во время снаряжения его, вызванный неловким или неосторожным движением лица, занимавшегося означенной работой. Взрыв этот причинил работавшему повреждения, на которые указывали обнаруженные при осмотре следы крови и оторванные пальцы. Все найденные материалы и взрывчатые вещества предназначались для изготовления ударно-разрывных снарядов подобно тому, который был брошен в коляску генерал-губернатора.

При розыске лиц, проживавших в доме церкви св. Николая под фамилией Лубковских, выяснилось, что предъявленный ими паспорт был подложный. Несмотря на все принятые меры, личность мужчины, нанявшегося квартиру, осталась в точности неустановленной и он разыскан не был; женщину же, которую он выдавал за свою жену, удалось задержать.

Данными дознания и предварительного следствия было установлено, что 15 апреля, вечером, в частную лечебницу Шульмана на Пятницкой улице явилась окровавленная женщина, у которой на левой кисти руки отсутствовали все пальцы, исключая большого, висевшего на маленьком куске кожи, а на правой руке несколько пальцев были повреждены. По оказании первоначальной помощи, женщину из лечебницы Шульмана отправили в первую городскую больницу, где она назвалась мещанкой города Полтавы Шестаковой и предъявила соответствующий паспорт, который, однако, потом оказался подложным. В больнице было констатировано, что у Шестаковой на левой руке пальцы фаланги и пястной кости частью совершенно отсутствуют, частью в раздробленном виде торчат в разорванной мышечной ткани; на правой ладони находится несколько ушибленно-рваных ран с темными омертвевшими кожными лоскутами и две фаланги большого и

среднего пальца совершенно обнажены; на лбу одна, а на груди несколько ран и помимо того на лице, груди и животе масса мелких и точечных темного цвета ранений. Шестакова происхождение повреждений объяснила взрывом керосинки. В больнице Шестаковой произвели операцию и несколько дней после того она находилась там на излечении. 21 апреля какие-то мужчина и женщина, оставшиеся неразысканными, перевезли Шестакову из первой городской больницы в Бахрушинскую городскую больницу, где она назвалась уже тетюшкой мещанкой Яковлевой и объяснила, что неделю тому назад пострадала от взрыва бензинки.

По справкам выяснилось, что и паспорт на имя Яковлевой, который больная предъявила в Бахрушинской больнице, также был подложный. 28 апреля Яковлева была арестована.

Моисеенко, узнав о взрыве, немедленно поехал в Москву и с помощью Р.И. Гавронской перевез Бенеvскую из лечебницы Шульмана в Бахрушинскую больницу, где служил личный знакомый Бенеvской, доктор Огарков. После ареста Бенеvской вскоре случайно был арестован и Моисеенко.

Бенеvскую судили осенью 1906 г. в Москве в судебной палате с участием сословных представителей по обвинению в участии в тайном сообществе и в приготовлениях к покушению на адм[ирала] Дубасова. Защищали ее прис[яжные] пов[еренные] Жданов и Мальянтович. Суд вынес ей приговор: лишение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы на 10 лет. Моисеенко, против которого не было никаких улик, был выслан административным порядком из пределов Европейской России и, женившись на Бенеvской, последовал за ней в Восточную Сибирь.

VII

Несмотря на взрыв 15 апреля, нами было решено продолжать покушение на адм[ирала] Дубасова. 20 и 21 оба брата Вноровские и Шиллеров, при химике „Семене Семеновиче“, снова безрезультатно ожидали приезда генерал-губернатора в Москву у Николаевского вокзала. Только к 23 апреля в Москву приехал Азеф.

23 апреля был царский день. Дубасов неизбежно должен был присутствовать на торжественном богослужении в Кремле. План покушения, принятый сперва Азефом и мной в Гельсингфорсе, а затем непосредственными его участниками в Москве, состоял в следующем.

Предполагалось замкнуть три главных пути из Кремля к генерал-губернаторскому дому. Борис Вноровский в форме лейтенанта флота должен был занять наиболее вероятную, по нашим соображениям, дорогу — Тверскую улицу от Никольских ворот до Тверской площади. Владимир Вноровский, одетый простолюдином, должен был находиться на углу Воздвиженки и Неглинной, чем замыкались Троицкие ворота. Шиллеров, тоже одетый простолюдином, замыкал Боровицкие ворота со стороны Знаменки. Таким образом, единственным открытым путем оставались Спасские ворота

и объезд через Никольскую, Большую Дмитровку и Козьмодемьянский переулок к генерал-губернаторскому дому. Казалось, на этот раз успех был обеспечен вполне.

О том, как произошло покушение 23 апреля, я узнал впервые от Азефа, в Гельсингфорсе. Он рассказал мне следующее.

Согласно плана, братья Вноровские и Шиллеров, каждый с бомбой в руках, заняли около 10 часов утра назначенные посты. Дубасов в открытой коляске, сопровождаемый своим адъютантом гр[афом] Коновницыным, выехал из Кремля через Боровицкие ворота и проехал по Знаменке мимо Шиллерова. Шиллеров случайно стоял спиной к нему и его не заметил. Переулками и по Большой Никитской Дубасов затем выехал в Чернышевский переулок. Он не остановился около ворот генерал-губернаторского дома, выходящих на переулок, а выехал на Тверскую площадь. Борис Вноровский был в это время случайно как раз на Тверской площади, хотя мог так же случайно находиться и посередине Тверской, и у Никольских ворот, внизу. Не ожидая появления Дубасова со стороны Чернышевского переулка и уверенный, что Троицкие и Боровицкие ворота замкнуты, он сосредоточил все свое внимание на Тверской. Тем не менее он заметил Дубасова и мимо дворцовых часовых бросился к коляске. Его бомба взорвалась. Взрывом были убиты сам Вноровский и граф Коновницын. Дубасов был ранен. Азеф в момент покушения находился в кофейне Филиппова недалеко от генерал-губернаторского дома.

Недели через три, уже направляясь в Севастополь, я в Харькове виделся с Шиллеровым. Я спросил его:

— Скажите, как могли вы не заметить коляски Дубасова?

— Я ее и не видел.

— Вы ее не видели, но она проехала мимо вас.

Шиллеров изумился.

— Как мимо меня? Дубасов проехал через Троицкие ворота, мимо Льва (Владимира Вноровского).

— Почему же он не бросил бомбы?

Шиллеров изумился еще более:

— Потому что ее у него не было. Бомбы были только у Пушкина (Борис Вноровский) и у меня.

И Шиллеров рассказал мне следующее.

Накануне покушения химик „Семен Семенович“ заявил, что у него испортилась часть динамита и что он может приготовить только 2 бомбы. Хотя покушение с двумя метальщиками было очень рискованно, все-таки было решено не откладывать дела и замкнуть хотя бы Боровицкие и Никольские ворота. Борис Вноровский, действительно, наблюдал за Тверской, и появление Дубасова со стороны Чернышевского переулка могло быть для него неожиданным, хотя он и знал, что Троицкие ворота свободны.

Таким образом, я услышал два противоречащие друг другу рассказа: Шиллеров не подтвердил мне того, что рассказал Азеф.

Обвинительный акт по делу Бенеvской так рассказывает о покушении 23 апреля:

„23 апреля 1906 года в городе Москве было совершено покушение на жизнь московского генерал-губернатора, генерал-адъютанта, вице-адмирала Дубасова. В первом часу дня, когда он вместе с сопровождавшим его корнетом Приморского драгунского полка гр[афом] Коновницыным подъезжал в коляске к генерал-губернаторскому дому на Тверской площади, какой-то человек в форме флотского офицера, пересекавший площадь по панели против дома, бросил в экипаж на расстоянии нескольких шагов конфетную, судя по внешнему виду, фунтовую коробку, обернутую в бумагу и перевязанную ленточкой. Упав под коляску, коробка произвела оглушительный взрыв, поднявший густое облако дыма и вызвавший настолько сильное сотрясение воздуха, что в соседних домах полопались стекла и осколками своими покрыли землю. Вице-адмирал Дубасов, упавший из разбитой силой взрыва коляски на мостовую, получил неопасные для жизни повреждения, гр[аф] Коновницын был убит. Кучер Птицын, сброшенный с козел, пострадал сравнительно легко, а также были легко ранены осколками жести несколько человек, находившихся близ генерал-губернаторского дома. Злоумышленник, бросивший разрывной снаряд, был найден лежащим на мостовой, около панели, с раздробленным черепом, без признаков жизни. Впоследствии выяснилось, что это был дворянин Борис Вноровский-Мищенко, 24 лет, вышедший в 1905 г. из числа студентов императорского московского университета“.

Газета „Путь“ (от 25/IV 1906 г., № 43) сообщала следующие подробности:

„Адмирал Ф.В. Дубасов, отстояв обедню в Успенском соборе, раньше чем ехать в ген[ерал]-губернаторский дом, заехал навестить в Кремлевском дворце заведующего дворцовой частью гр[афа] Олсуфьева, чтобы дать разойтись собравшимся в Кремле богомольцам. Выйдя от гр[афа] Олсуфьева, адмирал сел с гр[афом] Коновницыным в коляску и поехал в генерал-губернаторский дом по заранее намеченному маршруту, через Чернышевский переулоч, чтобы въехать во двор через ворота.

Гр[аф] Коновницын, обыкновенно составлявший распisanие маршрута при поездках генерал-губернатора по городу и на этот раз сообщивший, по обыкновению, предполагаемый маршрут градоначальнику, когда коляска миновала ворота генерал-губернаторского дома, не дал приказания ехать во двор. Коляска, вопреки маршруту, поехала дальше по Тверской, миновав установленное у ворот наблюдение.

Когда лошади поворачивали из Чернышевского переулка на Тверскую, от дома Варгина сошел на мостовую молодой человек в форме морского офицера. В одной руке у него была коробка, перевязанная ленточкой, как перевязывают конфеты; в ленточку был воткнут цветок, — не то левкой, не то ландыш. Приблизившись к коляске, он взял коробку в обе руки и подбросил ее под коляску. Она была в это время против третьего окна генерал-губернаторского дома. Лошади понесли, адмирал, поднявшись с земли, пошел к генерал-губернаторскому дому; тут его подхватили городовые и еще некоторые лица, личность которых нельзя было установить, и помогли ему дойти до подъезда. Гр[афа] Коновницына выбросило на левую сторону; у него было повреждено лицо, раздроблена челюсть, вырван левый бок, раздроблены обе ноги и повреждены обе руки. Он тут же скончался. Адмирал, войдя в вестибюль, почувствовал такую адскую боль, что присил отнести его наверх, так как он дальше идти не мог. Пользующийся адмирала врач Богоявленский нашел, что у него порваны связки левой ноги. Боли не давали адмиралу уснуть все время. На ноге оказалась целая

сеть мелких поранений, из которых сочится кровь; полагают, что эти поранения причинены мелкими осколками разорвавшейся бомбы; на сапоге адмирала дырочки, точно от пореза ножом; над глазом у него кровоподтек. На руках ссадины, вероятно, вследствие того, что, когда он упал, коляска протатила его. Когда адмирала внесли наверх, лицо у него было черно-желтое; от удушливых газов разорвавшегося снаряда он не мог дышать. Человек, покушавшийся на жизнь адмирала, пал тут же жертвой своей бомбы... У него снесло верхнюю часть черепа; при нем найдены два паспорта, оба фальшивые. Один на имя Метца. На вид он молодой человек, лет 27. Мундир на нем совершенно разорван, а под мундиром оказалась фуфайка, которую обыкновенно носят люди достаточного класса. На убийце были черные носки и ботинки со шнурками. на погонах мундира был штемпель магазина гвардейского экономического общества; ногти у него тщательно обточены. Все это показывает, что он человек из интеллигентного класса. Коляска с бешено мчавшимися лошадьми была задержана в Кисельном переулке. Лошади ушибли стоявшего на углу генерал-губернаторского дома городского.

От взрыва пострадал кучер Птицын, получивший легкие поранения, и дворник генерал-губернаторского дома, получивший ушибы. Часовой, стоявший на углу генерал-губернаторского дома за рогаткой, оглушен вследствие повреждения барабанной перепонки, и один из прохожих получил ожог под глазом и ожог уха.

В окнах генерал-губернаторского дома выбиты стекла в IV этаже; в нижнем этаже пострадали больше наружные стекла, а в верхнем — внутренне. В коляске найдено золотое оружие Дубасова*.

Так умер Борис Вноровский. После него остался черновой набросок его автобиографии и последнее письмо к родителям. Вот это письмо:

"Мои дорогие!

Я предвижу всю глубину вашего горя, когда вы узнаете о моей судьбе. Для вас тяжело будет и то, что ваш сын сделался убийцей. Верьте, если бы возможно было мне сохранить свою жизнь для вас, я это бы сделал. Сколько раз в юношестве мне приходило в голову лишить себя жизни и всякий раз я отбрасывал эту мысль, зная, какое горе вызвал бы мой поступок. Я оставался в живых и жил для вас. Теперь я живу для вас, для народа, для всего человечества, и теперь я приношу свою жизнь не в жертву расстроеным нервам, а для того, чтобы улучшить, насколько это в моих силах, положение отчизны, чтобы удовлетворить вас не как родных, а как граждан. Знайте, что и мне самому в моем акте, кроме вашего горя, страшно тяжел факт, что я становлюсь убийцей. И если я не погибну от брошенной мною же бомбы, то в тюрьме мне будут рисоваться ваши опечаленные лица и растерзанный труп моей жертвы. Но иначе нельзя. Если бы не эти два обстоятельства, то, уверяю вас, трудно было бы найти человека счастливее меня. Невыразимое спокойствие, полная вера в себя и надежда на успех, если не воспрепятствуют посторонние причины, наполняют меня. На казнь я пойду с ясным лицом, с улыбкой на устах. И вы должны утешаться тем, что мне будет так хорошо. Ведь вы в своей любви ко мне должны стремиться не к тому, чтобы я был обязательно жив, а к тому, чтобы я был счастлив. О моей любви к вам не буду говорить — вы ее знаете. Прощайте же, дорогие. Будьте счастливы, насколько можете, без горячо любимого сына и брата. Спасибо вам за вашу любовь, за ваши заботы, за саму жизнь, которую я приношу трудящейся России, как дар моей любви к правде и справедливости.

Целую крепко, крепко всех вас четверых.

Ваш Боря*.

„Родился я, — пишет в своей автобиографии Вноровский, — 13 декабря 1881 г. Родители мои, принимавшие участие в революционном движении 80-х годов, были в это время прикреплены к Костроме, где я и прожил по ти безвыездно — уезжая только на лето к знакомым в деревню, до 18 лет, до университета. Отец мой занимался уроками, мать, главным образом, по хозяйству. Старше меня — почти на два года — был только брат, с ним я всегда был очень дружен. Двух лет я перенес страшный дифтерит, сделавший меня болезненным на всю жизнь. Грамоте я выучился шутя около пяти лет от роду, году на седьмом начал правильно учиться. О социализме узнал из разговоров матери, когда мне было не больше шести лет. Благодаря общей культурности нашей семьи, никогда не переживал религиозных сомнений и помню, еще перед гимназией, проповедывал атеизм одному товарищу детства, причем затруднялся только вопросом — „откуда же все взялось“, так как не имел представления о вечности. Знакомые родителей, большей частью бывшие ссыльные, своими разговорами на общественные темы, рассказы родителей о своей бывшей деятельности, хороший подбор книг, — все это соединилось для того, чтобы заложить, так сказать, фундамент будущего революционера и, во всяком случае, сделать идеи веротерпимости, национализма (отец поляк), антимилитаризма настолько близкими мне, что над ними я никогда не задумывался. Такие предпосылки оказались весьма полезными мне, когда я поступил в гимназию, где я не получила положительно ни одной светлой идеи и где старательно, по временам, изгонялось все неподходящее под общую мерку. Когда мне было 18 лет, — родилась сестра. Мать занялась ею, отец, поступивши к этому времени в земство, принужден был, как честный работник, целиком уйти в свою бухгалтерию, и мы с братом целиком в своей духовной жизни были предоставлены самим себе. В это время произошел случай, оставивший большой след на направлении работы моей мысли: застрелился, несмотря на несоответствие лет — друг моего детства, гимназист третьего класса. Вопрос цели жизни встал передо мной. Насколько припоминаю — служение народу являлось одним из приходивших мне в голову ответов на него. Я представлял себе, что я сделаюсь либо очень богатым, либо царем и что я все свои богатства, всю свою власть приношу на пользу народу. Припоминаю также, что тогда я увлекся идеей жизни личным физическим трудом и решил, когда сделаюсь большим, оставить культурное общество, сделаться простым работником — чаще всего почему-то извозчиком — и показать своим примером, что правда жизни — в работе. Упорная, замкнутая умственная работа привела к сильному нервному расстройству. Учился я в гимназии средние, ничего не делая. Впрямь, поскольку казенная наука представляла из себя что-нибудь живое, я ее знал. Из гимназии в конечном счете вынес отвращение к усидчивому труду, частичную потерю способностей и отвращение ко всему размеренному, прилизанному и угодливому. По окончании ее в 1900 г. поступил на математический факультет московского университета. Первую половину учебного года посвятил, главным образом, опере. Красота во всех формах производила и производит на меня всегда большое впечатление. В опере я не столько слушал музыку, сколько думал под музыку, и эти внутренние переживания, могу сказать, дали мне много счастья. Во второй половине года (в начале 1901) происходили студенческие волнения. Я почти не принимал в них никакого участия до ареста сходки в университете, затем пустился, так сказать, во всю: целые дни торчал у манежа, ходил с демонстрантами, одну ночь принужден был провести в манеже, меня арестовали, утром выпустили.

В этом году мне попадалась социал-демократическая литература, но симпатий моих не вызывала. Выстрел Карповича* произвел на меня огромное впечатление. Летом этого года я полюбил одну замужнюю женщину — это была моя первая и, надеюсь, последняя любовь. Обойду этот период молчанием. Скажу только, что любовь моя осталась чистой и что я пережил очень, очень много во время ее. Не дай бог никому. В 1902 г. в Москве происходили снова студенческие волнения. С самого начала я бывал на всех сходках и пошел, разумеется, 9 января. Помню несколько комичную, но рисующую мое тогдашнее настроение, фразу, которую я сказал удерживавшей меня любимой женщине: „Я прокляну тебя, если опоздаю к товарищам“. Сходка 9 января дала России много революционеров. С нее я считаю также и свою революционную карьеру. Ею я перешел грань, делавшую невозможным возвращение назад. Цель жизни определилась. Оставалось найти определенную программу. Из Бутырок я с братом и несколькими товарищами был отправлен в Вологду. Там в спорах, еще не будучи знаком со взглядами с.-р., я защищал мелкое крестьянство от нападок марксизма. Исторический материализм меня не удовлетворял. К террору я всегда относился очень сочувственно. Понятно, поэтому, что, когда после тюрьмы, я, с целью учиться в каком-нибудь университете, очутился за границей и получил возможность узнать программу с.-р., я без всяких колебаний принял ее и вступил в партию. Это было приблизительно в октябре 1902 г. До июня я мог кое-как удовлетворяться заграничной работой: продажей литературы, карточек, рассылкой их, столкновением с с.-д. (я читал рефераты) и т.д. Но дальше я не мог выдержать и вернулся в Россию с мыслью работать там. К сожалению, некоторая заминка в получении рекомендаций (я уехал из-за границы внезапно) отсрочила для меня возможность немедленно приступить к делу. К тому же общие антигигиенические условия, в каких я жил в Бельгии, а также болезненность, о которой я упоминал, сделали меня неработоспособным и заставили даже уехать из Москвы. У меня началось что-то вроде чахотки: по настоянию родителей я, вместе с матерью и сестрой, отправился в Ялту. Страшная физическая слабость, делавшая затруднительной небольшую прогулку, наименее связи с товарищами, мысль о том, что я так и останусь бесполезным инвалидом, все это делало мою жизнь там крайне тяжелой. Спасла только моя способность заполнять свою жизнь внутренними переживаниями. Я занялся выработкой стройной этической теории для себя. Исканиям этим помогло знакомство с одной особой, не революционеркой. В попытках доказать ей, что только революционная деятельность носит в себе самооправдание и обязательность, я нашел самого себя. Трудно сказать, сколько счастья дали мне эти искания, несмотря на весь внешний ужас моего положения. Весною 1904 г., немного оправившись, я вернулся в Москву и к осени случайно нашел товарищей. С этого момента жизнь моя богата более внешними фактами, чем внутренними переживаниями, за исключением момента, когда мне предложили вступить в боевую организацию. Вначале я работал в качестве пропагандиста при московском комитете, затем, продолжая (начало 1905 г.) эту работу, перешел в ряды оппозиции по вопросам тактики. Мне казалось, что необходимо немедленно готовиться к вооруженному восстанию, что если бы у нас была только сотня решительных людей в Москве, то и тогда следует сделать попытку поднять восстание.

*В 1901 г. Карпович смертельно ранил министра народного просвещения Н.П.Боголепова, отправлявшего студентов в солдаты. — Ред.

Пусть эти люди все погибнут, но другие увидят, с каким личным самоотвержением должно бороться. Я, вместе с одной госпожой, начал работу в этом направлении; но после убийства Сергея 4 февраля мы оба были арестованы. Насколько я отчасти был прав, показывают московские декабрьские события. В тюрьме я познакомился ближе с сочинениями Лаврова. Припоминаю, как я наслаждался там его „Опытом истории мысли“. Философией я занимался раньше порядочно. По выходе из тюрьмы я попал в Пензу. Там, поскольку не был в разъездах, принимал участие в местной работе. Читал рефераты, занимался с кружками молодежи и рабочих. Ездил я много с целью устроить динамитную мастерскую для приготовления бомб к массовому выступлению. Идею о попытке вооруженного восстания я не оставлял и своими разъездами пробовал подготовить одну из деталей. Во время сношений моих по этому поводу с центром, я через одно лицо получил предложение вступить в боевую организацию. На это предложение я ответил отказом, но на другой день взял его обратно. Мотивы моего согласия следующие: теоретически я признаю террор, я знаю, что у меня достаточно хладнокровия и смелости для какого угодно страшного акта, значит, я не имею права отказаться. Что из того, что я не чувствую призвания убивать людей (я никогда даже не охотился, находя это занятие зверским), что мне, может-быть, дорога моя жизнь? Я сумею умереть, как честный солдат. Между моментом моего согласия и моментом, когда меня поставили на подготовительную работу, прошло около месяца. Время это я употребил на переживание моего нового положения. И я перед лицом своей совести, перед лицом смерти, навстречу которой я сейчас иду, могу сказать — я победил совершенно страх смерти, я хладнокровно застрелю себя, если мой снаряд не взорвется, не изменившись ни в одном мускуле лица, и, не поблдеув, я взойду на эшафот в случае успеха. И это будет не насилие над собой, не последнее напряжение сил и воли, — это будет вполне естественный результат того, что я пережил. До 17 октября я работал в боевой организации, затем временно прекратил эту деятельность, и, когда отчасти выяснилось направление правительственного курса, занялся организацией террористических актов от имени летучего боевого отряда. Товарищам, выступившим при моем участии, мой привет! Когда же вновь начала свою деятельность боевая организация, я попросился в Москву. Теперь осталось меньше двух суток до моего выступления. Я спокоен. Я счастлив.

Б.Вноровский”.

Боевая организация издала по поводу покушения 23 апреля следующую, написанную неизвестным мне лицом, прокламацию:

„Партия социалистов-революционеров.

„В борьбе обретешь ты право свое!“

23 апреля, в 12 час. 20 мин. дня, по приговору боевой организации партии социалистов-революционеров, была брошена бомба в экипаж московского генерал-губернатора вице-адмирала Дубасова при проезде его на углу Тверской улицы и Чернышевского переулка, у самого генерал-губернаторского дома. Приговор боевой организации явился выражением общественного суда над организатором кровавых дней в Москве. Покушение, твердо направленное и выполненное смелой рукой, не привело к желаемым результатам вследствие роковой случайности, не раз спасавшей врагов народа. Дубасов еще жив. но о неудаче покушения говорить не приходится. Оно удалось уже потому, что выполнено в центре Москвы и в таком месте, где охрана всех видов, казалось, не допускала об этом и мысли. Оно удалось

потому, что при одной весте о нем вырвался вздох обегчения и радости из тысячи грудей, и молва упорно считает генерал-губернатора убитым.

Пусть это ликование будет утешением погибшему товарищу, сделавшему все, что было в его силах.

*Боевая Организация Партии Соц.-Рев.**

Типография Московского Комитета П. С.-Р.

VIII

Я упоминал выше, что расследование о Татарове, произведенное в России, убедило трех членов следственной комиссии — Чернова, Тютчева и меня (четвертый, Бах, был за границей и о результатах расследования не знал) — в виновности обвиняемого. Я предложил центральному комитету взять на себя организацию убийства Татарова, и центральный комитет дал на это свое согласие.

В феврале 1906 г. Моисеенко выехал из Гельсингфорса с поручением разыскать Татарова. Несмотря на обязательство сообщать комиссии о своих передвижениях, Татаров скрылся. Моисеенко безрезультатно справлялся о нем у его родных в Петербурге и Киве и, наконец, нашел его в Варшаве. В Варшаве Татаров жил у своего отца, протоиерея, настоятеля униатской церкви.

С этим известием Моисеенко вернулся в Финляндию.

Я хотел поставить дело так, чтобы Азеф не принимал в нем никакого участия. Татаров обвинял Азефа, обвиняло его и анонимное, уже цитированное мною письмо, полученное в августе 1905 года Ростовским. Центральный комитет и все члены боевой организации считали это обвинение ни на чем не основанной клеветой. Нам казалось необходимым избавить Азефа от тяжелых забот по убийству оклеветавшего его провокатора.

Я был вполне убежден в виновности Татарова. Я был вполне убежден, что именно благодаря ему боевая организация потерпела большой урон 17 марта 1905 года и временно должна была прекратить свою деятельность. Я считал убийство его необходимым и справедливым. И, несмотря на это, я ни к одному покушению не приступал с таким тяжелым чувством, как к убийству этого агента полиции.

В приготовлениях к этому убийству была еще одна очень щекотливая сторона. Из членов боевой организации только я участвовал в следственной комиссии, только я знал все детали обвинения, значит, только я один мог составить себе самостоятельное убеждение. Между тем интерес партии и организации требовал, чтобы убийство это произошло по возможности без жертв. Соблюсти же это условие было возможным только привлечением к делу нескольких товарищей, т.е. лиц, самостоятельного суждения не имевших, таких лиц, согласие которых поневоле обуславливалось только полным доверием к центральному комитету и ко мне, как инициатору этого дела. После долгих колебаний я остановился на товарищах, мне лично и давно хорошо известных, связанных со мною не только

долголетней дружбой, но и общностью взглядов, на Моисеенко и Беневской.

Я рассказал им во всех подробностях о роли Татарова в партии, о первых подозрениях, о допросах следственной комиссии за границей и о результатах расследования в России. Оба они слушали молча. Наконец, Моисеенко спросил:

— Ты убежден, что он провокатор?

Я ответил, что у меня не остается в этом сомнения.

Тогда Моисеенко сказал:

— Значит, нужно его убить.

Беневская все еще не отвечала. Я обратился к ней.

— А вы, что вы думаете?

Она не сразу ответила:

— Я?.. Я всегда в распоряжении боевой организации.

Двоих товарищей было мало. Подумав, я решил привлечь к делу еще Калашникова, Двойникова и Назарова. Все трое жили в Финляндии в резерве.

Я и им рассказал подробности обвинения. Все трое задали мне тот же вопрос, что и Моисеенко, — убежден ли я в виновности Татарова? Я ответил им утвердительно.

Тогда все трое согласились принять участие в убийстве Татарова.

Наш план состоял в следующем: Моисеенко и Беневская должны были нанять уединенную квартиру в Варшаве. К ним вечером должны были прийти Калашников, Двойников и Назаров, вооруженные браунингами и финскими ножами. Я должен был явиться к Татарову на дом и пригласить его на свидание в эту квартиру.

Моисеенко и Беневская не должны были принимать участия в самом убийстве. Выждав в квартире прихода Калашникова, Двойникова и Назарова, они должны были с первым поездом выехать из Варшавы. Так как исполнителей было трое, и квартира была уединенная, то исполнители легко могли скрыться. Я условился с каждым отдельно, как и куда он после убийства уедет.

Азеф знал об этом плане. Знал о нем и Чернов, принимавший участие в его обсуждении.

В конце февраля Моисеенко, Беневская, Калашников, Двойников и Назаров выехали из Гельсингфорса в Варшаву. Моисеенко должен был телеграфировать мне в Москву, когда все приготовления по найму квартиры будут закончены. К этому времени я и должен был приехать в Варшаву для свидания с Татаровым.

В начале марта я получил условную телеграмму. Непосредственно после неудачных покушений на Дубасова, 2 и 3 марта, я выехал в Варшаву. В Варшаве я на назначенной явке — в главном почтамте — встретил Моисеенко.

Квартира была уже нанята, — по фальшивому паспорту на имя супругов Крамер, на улице Шопена. Я назначил последнее свидание Моисеенко и Беневской в ресторане Бокэ.

Всегда радостная, оживленная и светлая, Беневская была на этот раз задумчива и печальна. Молчаливый, немного угрюмый Моисеенко, по обыкновению, говорил очень мало. Я долго рассматривал все возможности предполагаемых убийства и бегства. Когда я кончил, наступило молчание.

Мы не находили темы для разговора: деловая сторона была исчерпана до конца. Но мы и не расходились. Наконец Беневская подняла свои голубые глаза:

— Значит, завтра?

— Да, завтра.

Она примолкла опять. После долгого промежутка, Моисеенко сказал:

— Ты вернешься в Москву?

— Да, в Москву.

Мы опять замолчали. Тогда я простился с ними и пошел на условленное свидание к Калашникову, Двойникову и Назарову в Уздовские аллеи.

Я издали заметил их. Все трое были одеты по-русски и резко выделялись своими картузами и сапогами бутылками на улицах Варшавы. Назарову шел этот костюм. Высокий, сильный, стройный — он казался в нем еще стройнее и выше ростом. Двойников — маленький, скуластый и черный, сильно напоминал по типу московского фабричного, каким он и был на самом деле. Калашников — высокий студент с бледным лицом, в пенсне, видимо, чувствовал себя неловко в непривычном костюме. Мы гуляли в Лазенках. Двойников говорил, волнуясь:

— К такому делу в чистой рубашке нужно... Может, я еще не достоин за революцию умереть, как, например, Каляев. Что я в жизни видал? Пьянство, ругань, побои. Как я, значит, из черносотенной семьи и отец у меня черносотенный, — чему он мог меня научить? А в терроре будь, как стеклышко, иначе нельзя. Правда ли, Федя?

Федя (Назаров) не отвечал. Высоко подняв голову, он смотрел вдаль, на полузамерзший пруд и белую статую Яна Собесского. Я спросил:

— О чем ты думаешь, Федя?

— Так, ни о чем. Если сказано, что убить, — значит, нужно убить... Сколько народу он загубил...

Калашников говорил только о подробностях убийства. Он был наиболее ответственным лицом всего предприятия: на квартире, встретив Татарова, он должен был сыграть первую роль, — нанести первый удар. На его ответственности лежало устроить бегство Двойникову, Назарову и себе.

На следующее утро я позвонил у квартиры Татарова.

Мне открыла его мать, седая старуха. Я спросил, дома ли Николай Юрьевич?

— Дома, зайдите сюда.

Я прошел в невысокую, длинную, уставленную цветами, залу. Я ждал недолго. Минут через пять на пороге появилась плотная, очень высокая фигура Татарова. Увидев меня, он смутился:

— Чем могу вам служить?

Я сказал, что я проездом в Варшаве; что все члены следственной комиссии, кроме Баха, тоже в Варшаве; что необходимо устроить еще раз допрос; что мы хотим дать ему, Татарову, полную возможность защититься; что получены новые сведения, которые сильно могут изменить его положение, и что, наконец, товарищи поручили мне зайти к нему и спросить, желает ли он явиться в комиссию для дачи дополнительных показаний.

Татаров сидел против меня по другую сторону небольшого круглого столика; он сидел, опустив глаза и заметно волнуясь: на щеках у него выступили красные пятна, и руки его сильно дрожали.

— Я ничего не могу прибавить к тому, что я говорил и писал, — ответил он мне.

Я сказал, что есть новые факты. Так, например, мы слышали, что он в свою защиту приводит указание на другого, по его сведениям, провокатора.

Я хотел лично услышать от него обвинение против Азефа.

Татаров сказал:

— Да, здесь печальная ошибка. Я справлялся. В партии есть провокатор, но не я, а так называемый „Толстый“ (Азеф).

Я спросил:

— Откуда у вас эти сведения?

Татаров сказал:

— Эти сведения достоверны. Я имею их непосредственно из полиции. Им можно верить.

— Как из полиции?

— Моя сестра замужем за приставом Семеновым. Я просил его, в виде личной услуги, осведомиться о секретном сотруднике в партии. Он справлялся у Ратаева. Ратаев сказал, что провокатор — „Толстый“.

Татаров повторил мне то, что сказал раньше Криво и Фриденсону и что я считал клеветой на Азефа и оскорблением боевой организации.

Тогда я сказал:

— Сегодня вечером на улице Шопена состоится заседание комиссии. Вы придете?

Татаров взволновался еще более:

— А кто там будет?

— Чернов, Тютчев и я.

— Больше никого?

— Никого.

— Хорошо. Я приду.

В передней он заглянул мне в глаза, покраснел и сказал:

— Я вас не понимаю. Вы подозреваете меня в провокации, зна-

чит, думаете, что я в любой момент могу выдать вас. Как вы не боялись прийти ко мне на квартиру?

Я ответил, что для меня вопрос о виновности его еще недостаточно ясен и что я считал своим долгом лично расспросить его о сведениях, касающихся Азефа. Он сказал:

— Что же, вы верите, что „Толстый“ служит в полиции?

Я сказал, что я ничего не знаю. А если знаю, то только одно: что в центральных учреждениях партии есть провокатор.

Он протянул мне руку, и я пожал ее.

В тот же вечер Татаров явился на квартиру Крамер на улице Шопена. Назаров видел, как он, войдя в ворота, вызвал дворника и о чем-то долго с ним разговаривал. Наверх в квартиру Татаров не поднялся, а поговорив с дворником, вышел на улицу и скрылся.

Наш план, таким образом, рушился; Татаров понял, в чем дело.

Предстояло на выбор две комбинации: либо учредить за Татаровым постоянное наблюдение и убить его на улице, либо убить его на дому. То и другое имело свои особенности.

Учреждая за Татаровым наблюдение, нужно было содержать в Варшаве, состоявшей на военном положении, организацию, по крайней мере, из трех человек, т.е. подвергать трех товарищей постоянному риску. Риск этот не вознаграждался возможностью бегства: на улице трудно бежать. Он не давал также ни малейшей гарантии успеха: Татаров был очень опытен и всегда мог заметить наблюдение, а заметив наблюдение, он легко мог арестовать наблюдающих.

Убийство на дому в несколько большей степени давало надежду на бегство, но зато имело одну чрезвычайно тяжелую сторону. Татаров жил в одной квартире с родителями. Родители могли стать свидетелями убийства. Так, в действительности, и случилось.

Выбирая из этих двух комбинаций, я, после долгого колебания, выбрал вторую. Я сделал это потому, что считал себя не вправе в данном случае рисковать несколькими товарищами, и еще потому, что надеялся на бегство исполнителя из квартиры.

Быть таким исполнителем вызвался Федор Назаров. Я спросил его, почему он предлагает себя на такую роль. Он вскинул на меня свои смелые, карие глаза:

— Да, ведь, говоришь, нужно его убить?

— Да, нужно.

— Значит, я его убью.

— Почему именно ты?

— А почему же не я?

Назаров показал в этом случае высшую преданность партийному долгу, как при самом убийстве он показал большое хладнокровие и отвагу. Он, конечно, понимал, что у него почти нет надежды сохранить свою жизнь, как понимал и разницу между убийством министра и убийством провокатора. Но, еще недавний член боевой организации, он более, чем многие, любил ее и более, чем многие, готов был жизнью своей защищать ее честь.

Я уехал в Москву, Назаров — в Вильно. Остальные товарищи вернулись в Гельсингфорс. Из Гельсингфорса Моисеенко съездил к Назарову, чтобы окончательно условиться с ним о подробностях убийства. Назаров должен был прийти на квартиру Татарова и, увидев его, застрелить. Он жил в Вильно один и в Варшаве тоже должен был действовать без помощников.

В конце марта в Петербурге, наблюдая за Дурново, я имел свидание с Всеволодом Смирновым. Он пришел на свидание бледный и с первых же слов спросил:

— Читали?

— Нет.

Он показал мне газету. Из Варшавы была телеграмма: „22 марта на квартиру протоиерея Юрия Татарова явился неизвестный человек и убил сына Татарова, Николая Юрьевича. Спасаясь бегством, убийца ранил ножом мать убитого“.

Когда я кончил читать, Смирнов сказал:

— Ранил мать...

Я знал Назарова. Я не верил словам телеграммы: я не мог допустить, чтобы Назаров действительно, хотя бы и для спасения своей жизни, ударил ножом ни в чем неповинную старуху. Я сказал об этом Смирнову.

— Дай бог, — ответил он мне, — но если он действительно ранил, что тогда?

Смирнов считал, и я думаю, все товарищи согласились бы с ним, что такое действие Назарова запятнало бы организацию и что Назаров за это должен был подлежать исключению.

Через несколько дней в Москве, на Тверском бульваре, я случайно встретил Назарова. Я окликнул его.

— Федя!

Он узнал меня и радостно улыбнулся.

— Что ты, Федя, наделал?

— А что?

— Как что? Что ты наделал?

Он побледнел и спросил почти шопотом:

— Неужто остался жив?

— Нет, конечно, убит. Но ты ранил мать...

— Я? Ранил мать?

И Назаров с негодованием стал опровергать газетное сообщение.

— Вот как было все дело, — рассказывал он мне. — Пришел я в дом, швейцар спрашивает, — куда идешь? Я говорю: в квартиру шестую. А Татаров в пятой живет. К протоиерею Гусеву, говорит? Да, к Гусеву. Ну, иди! Пошел. Позвонил. Старуха вышла. — Можно видеть, говорю, Николая Юрьевича? — А вам, спрашивает, зачем? Говорю: нужно. Вышел отец: вам кого? Николая Юрьевича, говорю. — Его видеть нельзя... Тут, смотрю, сам Татаров выходит. Стал на пороге, стоит, большой такой. Я вынул револьвер, под-

нял. Тут старик толкнул меня в руку. Я стал стрелять, не знаю, куда пули ушли. Бросился на меня Татаров, все трое бросились. Мать на левой руке висит, отец на правой. Сам Татаров прижался спиной к груди, руками револьвер у меня вырывает. Я револьвер не даю, крепко держу. Только он тянет. Ну, думаю, и его не убил и сам попался. Только левой рукой попробовал я размахнуться. Оттолкнул, — старуха упала. Я левой опять рукой нож вынул и ударил ему в левый бок. Он мою руку пустил, сделал два шага вперед и упал. Старик за правую руку держит. Я в потолок выстрелил, говорю: пусти — убью. Старик руку пустил. Тут я подошел к Татарову, положил ему в карман записку: „Б.О.П.С.—Р“. Руки я в карман спрятал и на лестницу вышел. Подымается вверх швейцар. Спросил: что там за шум? Я говорю: если шум, тебя надо, — иди. Он пошел. Я извозчика взял, в номера приехал, расплатился и на вокзал. Вот как все было, а старуху я ножом не ударил. Неужели ты думаешь — я бы мог?

Таким образом, убийство Татарова совершилось на глазах у его родителей, но исполнитель убийства скрылся. Впоследствии, уже в 1906 г., я узнал, что мать Татарова была действительно ранена двумя пулями. Очевидно, Назаров, сам того не зная, случайно выстрелом задел ее.

Расследовать убийство Татарова был назначен чиновник особых поручений при варшавском охранном отделении М.Е.Бакай. Он впоследствии сообщил, что причины убийства были ему сначала непонятны: ему, как и вообще варшавскому охранному отделению, не было известно, что Татаров служит в полиции. Уже в процессе следствия ему об этом сообщил помощник варшавского генерал-губернатора ген[ерал] Утгоф. Тогда же Бакай обнаружил телеграфные сношения между Татаровым и Рачковским. Впоследствии премьер-министр Столыпин, в своей речи, произнесенной в третьей Государственной Думе, публично подтвердил, что Татаров состоял секретным сотрудником.

Как я выше писал, я был совершенно убежден в виновности Татарова. Только это убеждение и позволило мне взять на себя ответственность за его убийство. Но и убежденный, я хорошо понимал, что юридических улик против Татарова нет и что суд присяжных оправдал бы его. К несчастью, там, где существуют военные и военно-полевые суды, революционерам для защиты партии от провокации не остается ничего другого, как прибегать к тем же приемам борьбы: судить агентов полиции военно-полевым, не формальным судом.

Сообщение Бакай и речь Столыпина доказали, что убеждение следственной комиссии по делу Татарова не было ошибочным. В феврале 1909 г. центральный комитет в газете „Знамя Труда“ сделал заявление, в котором удостоверял, что Татаров был убит по партийному приговору.

IX

Одновременно с покушением на адм[ирала] Дубасова в Москве и с приговорением к убийству Татарова в Варшаве, в Петербурге производилось наблюдение за министром внутренних дел Дурново. Наблюдающая организация, как я упоминал выше, была разделена на две самостоятельных группы. В первую вошли: Абрам Гоц, Трегубов и Павлов, все трое извозчики. Руководил ею сперва Зот Сазонов, а затем — Азеф. Вторая состояла из „Адмирала“ и Петра Иванова (извозчики), Горинсона и Пискарева (уличные торговцы) и Всеволода Смирнова (газетчик). С нею сносился я.

Наблюдение было учреждено в январе и производилось первой группой до апреля, второю — до созыва Государственной Думы. Абрам Гоц, переодетый извозчиком, в высоких сапогах, синем халате и картузе, не был похож на еврея, — он походил скорее на разбитного ярославского мужика. Тем не менее опытный взгляд улавливал еврейские черты в его наружности. Однажды, когда он находился на своем наблюдательном посту, к нему подошел городской. Он внимательно осмотрел Гоца, его лошадь и его пролетку и сказал:

— А ведь ты, сукин сын, жид!

Гоц сорвал картуз с головы и закрестился:

— Есть ли крест на тебе, — заговорил он быстро, — я — жид?.. Господи!.. Служил в стрелковой бригаде, вот в Петербург приехал, думал заработать копейку, а ты лаешься: жид!..

Городовой недоверчиво улыбнулся.

— Служил, говоришь, в стрелковой бригаде?

— Как же!.. За отличную стрельбу знак имею.

— А в какой бригаде?

— В седьмой.

— Ишь ты!.. А я в восьмой...

Через минуту они говорили совсем дружелюбно, и городской не заподозревал больше еврейского происхождения Гоца. В данном случае только находчивость спасла Гоца от ареста.

От первой группы вскоре начали поступать сведения, что ею усмотрен Дурново. Более того — сообщался его маршрут: по Гороховой на Царско-сельский вокзал, а также подробное описание выезда. Вторая группа к этим сообщениям относилась скептически: несмотря на систематическое наблюдение, Дурново еще ни разу не был замечен ею.

Всеволод Смирнов был типичный, по внешности, нищий. Небритый, лохматый, в рваном, подпоясанном веревкой халате, он начал с того, что продавал на улицах папиросы. Он скоро нашел более подходящее ремесло. Он поступил газетчиком в „Русское Знамя“. Так как наблюдению подвергался особенно Царскосельский вокзал, откуда Дурново ездил к царю, то теперь задача Смирнова заключалась в том, чтобы получить место для продажи газет на

Загородном проспекте, в районе казарм Семеновского полка. Он выбрал угол Введенского канала и явился в участок к приставу с просьбой разрешить ему там стоянку. Пристав встретил его сердито:

- Пошел вон. Нельзя.
- Разрешите, ваше высокородие!
- Нельзя.
- Христа ради!

Пристав посмотрел на его лохмотья.

- Ты что же, от какой газеты?
- От „Русского Знамени“.
- От „Русского Знамени“?
- Точно так.

Пристав подумал минуту.

— Ну, ладно, чорт с тобой. Разрешаю.

Смирнов получил разрешение, неотступно в назначенные часы наблюдал за Царскосельским вокзалом. Наблюдение это, как и всех товарищей из второй группы, не давало никаких результатов. Но однажды произошел эпизод, который чрезвычайно удивил его и нас всех.

Смирнов, как и все наблюдающие, был не вооружен. Никто из них не носил с собой револьвера: при случайном аресте, — а такой арест всегда возможен, — револьвер послужил бы тяжелой уликой. Однажды днем, когда Смирнов на Загородном проспекте продавал газеты, к нему подошел не кто другой, как Дурново, и купил у него „Новое Время“. Смирнову ничего не оставалось делать, как смотреть вслед удаляющемуся министру. Этот случай подтвердил то мнение, которое стало слагаться у нас. Мы давно уже предполагали, что Дурново, вместо открытых выездов в карете, пользуется новой для министров и старой для революционеров тактикой, — выходит из дому пешком и в пути принимает все меры предосторожности. Мы не выводили тогда заключения, что он может быть предупрежден, в частности, именно о нашем наблюдении. Мы думали, что наш метод стал известен полиции уже со времени ареста первых извозчиков 17 марта, и что все вообще высокопоставленные лица должны поэтому принимать специальные меры. И им и нам было хорошо известно, что филерская охрана никогда охранить не может.

Петр Иванов не слезал с козел с конца лета 1905 года. По наружному виду даже самый опытный сыщик не заподозрил бы в нем революционера. Небольшого роста, широкоплечий и крепкий, он по-извозничьи сгибался на козлах, по-извозничьи бранился с полицией и по-извозничьи торговался с седоками. Лошадь у него была захудалая и пролетка подержанная. Не раз я проходил мимо него на явке, не отличая его в длинном ряду других извозчиков. Он более, чем кто-либо другой, приспособился к своему ремеслу и быту. Он искренно входил в положение своих товарищей по профессии и посещал митинги извозчиков, как член извозничьего со-

юза. Но на дворах и в частных беседах он тщательно скрывал свои истинные убеждения и не шел дальше программы кадет.

— Был я наемни на митинге, — рассказывал он, улыбаясь. — Председателя выбрали. Ну, явился тут один хозяйчик, эсэр. Речь говорил. О земле. Землю чтобы, значит, крестьянам отдать. Что ж, дело хорошее... Только не выбрали мы его.

— Почему?

— Не хозяйский мужик. Извозчик должен быть справен. Лошадь, чтобы в порядке. Пролетка чтобы, значит, блесит, ну и ездить умеет. А он... Известен он мне. Так, извозчишко дрянь, — полтинник, разве, наедет. Такого можно ли выбирать? Нет, уж лучше кадет, да чтобы хозяйский был.

„Адмирала“ на козлах можно было принять за простого деревенского парня. Светло-русый, коренастый, с широким лицом, он был похож на сотни и тысячи приезжающих в Петербург на заработки крестьян. Он тоже скоро привык к своей роли. Он питал какую-то исключительную ненависть к петербургскому градоначальнику, генералу фон-Лауницу, и не раз возвращался к вопросу об убийстве его.

— Не дается нам Дурново, — говорил он, понукая свою лошаденку, — не поймешь, где он ездит и как... Ну, не дается, а вот Лауница я много раз видел. Почему Лауница беречь? Нельзя Дурново, — нужно Лауница убить.

Именно он и убил Лауница.

С Ивановым и „Адмиралом“ я встречался часто, обыкновенно в их же пролетках, беседуя с ними во время езды. Для этой цели мы уезжали на острова. Со Смирновым я виделся в дрянном трактире „Ростов-на-Дону“, и половые уже привыкли к нашим свиданиям — к свиданиям барина и рваного газетчика. Горинсона и Пискарева я видел гораздо реже, главным образом на улице, покупая у них папиросы. Через Смирнова я поддерживал с ними постоянную связь.

Итак, наблюдение нашей группы не дало никаких результатов. Кроме случая со Смирновым, когда Дурново купил у него газету, еще всего раз мы усмотрели его: „Адмирал“ заметил министра на Морской. Дурново стоял на углу, разговаривая с каким-то чиновником. Но „Адмирал“, как и Смирнов, был невооружен.

Между тем первая группа настаивала на своем. Гоц, Павлов и Трегубов утверждали, что они уже выследили Дурново и что уже можно приступить к покушению. Мы же были убеждены, что это неверно: мы не могли допустить мысли, чтобы при сосредоточенном наблюдении наша группа не заметила Дурново.

Недоразумение скоро рассеялось. Оказалось, при проверке, что Гоц, Павлов и Трегубов выследили не министра внутренних дел, а министра юстиции Акимова, напоминавшего лицом Дурново.

Тогда они предложили произвести покушение на Акимова.

В марте, после покушения на Дубасова и после поездки в Вар-

шаву, я приехал через Петербург в Гельсингфорс. В Гельсингфорсе я нашел Азефа. Я рассказал ему о московских и варшавских делах и спросил, скоро ли он думает приступить к покушению на министра юстиции.

Азеф, как всегда, по внешности равнодушно, сказал:

— Покушение на Акимова, видимо, состояться не может. Получено сведение из достоверного источника, что полиции известно о существовании трех извозчиков в Петербурге в связи с делом Дурново. С другой стороны, Гоц, Павлов и Трегубов жалуются, что за ними следят. Что ты об этом думаешь?

Я спросил, какие именно сведения получены и от кого. Азеф рассказал мне следующее.

В.И.Натансон в гостях у одного видного кадета услышала за столом разговор о боевой организации. Из этого разговора она поняла, что гостям известно о существовании в Петербурге трех извозчиков-террористов. Так как факт этот ей самой был неизвестен и дойти до кадетов мог, очевидно, не из революционных, за-конспирированных кругов, а из полицейских источников, то она и поспешила сообщить в центральный комитет об услышанном.

Окончив, Азеф опять спросил:

— Что же ты думаешь об этом?

Я сказал, что, по моему мнению, необходимо немедленно снять из Петербурга Гоца, Павлова и Трегубова; необходимо также проверить, не следят ли за второй группой, и если нет, то наблюдение ею должно производиться дальше, на место же выбывших извозчиков нужно поставить новых: Двойникова, Калашникова и Назарова.

Азеф согласился со мной. Гоц, Трегубов и Павлов продали свои выезды и уехали из Петербурга. Двойников, Калашников и Назаров не вошли, однако, в состав наблюдающей организации: до созыва Думы оставался всего месяц только, и за покупкой пролеток и лошадей назначенный срок истек бы наполовину. Значит, возможно было увеличить наблюдающий состав только торговцами в разнос. Торговцы же в разнос, по словам Горинсона и Пискарева, встречали такие препятствия для работы, что кратковременное их наблюдение могло дать только самые ничтожные результаты.

Впоследствии, уже в самом конце апреля, накануне открытия Думы, все-таки была сделана попытка убить Акимова. Трегубов, в форме чиновника министерства юстиции, с бомбой в руках, ожидал его выезда на Михайловской улице, где Акимов жил. Он не дождался министра, и покушение не удалось. Конечно, оно могло бы быть повторено и, быть может, с большим успехом, но рамки, поставленные центральным комитетом, не позволяли нам этого без предварительного решения центрального комитета. Трегубов, вернувшись после своей неудачи в Финляндию, объяснил, что за ним в Петербурге следили. Это и не дало ему возможности дождаться министра. Бомбу для него приготовил Зильберберг. Он тоже сообщил, что заметил за собой наблюдение.

Вскоре после этого был арестован на финляндском вокзале Павлов, несколько позже был арестован Трегубов, еще позднее, уже летом, в Петергофе на улице был задержан Гоц. Их судили осенью 1907 г. в петербургской судебной палате по обвинению в принадлежности к боевой организации партии социалистов-революционеров и, по лишении всех прав состояния, сослали в каторжные работы на разные сроки.

X

Перед самым созывом Государственной Думы, но еще до 23 апреля, когда выяснилось, что покушение на Дурново невозможно, покушение же на Дубасова сопряжено со многими затруднениями, — Гоц предложил два плана.

Он считал, и мы все были с ним согласны, что до открытия Думы необходимо совершить крупный террористический акт. Если не было возможности совершить его путем одновременной подготовки, то, по его мнению, следовало попытаться достигнуть успеха партизанским путем. Он предложил взорвать либо дом, где жил Дурново, либо поезд, в котором он ездил к царю. Не вдаваясь еще в технические подробности этих планов, Азеф сказал:

— Я согласен только в том случае, если я пойду впереди.

Я и Гоц ответили ему, что, по нашему мнению, это недопустимо. Как бы ни была велика необходимость в немедленном террористическом акте и как бы он ни был ответствен, организация не может жертвовать Азефом, — своим шефом и практическим руководителем. Мы сказали, что мы просим его отказаться от такого его условия.

Азеф сказал:

— В таких делах, в открытых нападениях, необходимо, чтобы руководитель шел впереди. Я должен идти.

На это мы оба возразили ему, что находим достаточным, если с товарищами пойдем мы двое, и что, поэтому, нет нужды в его непосредственном участии в покушении.

Азеф задумался, потом он сказал:

— Ну, хорошо. Там посмотрим.

Мы перешли к технической стороне планов Гоца. Нам встретилось два затруднения: во-первых, мы не были уверены, что в такой короткий срок сумеем обеспечить оба предприятия или хотя бы одно из них взрывчатым веществом, — взрыв и дома Дурново, и поезда требовал несколько пудов динамита.

Во-вторых, нам было неизвестно в точности расположение комнат в квартире Дурново, дом же, который он занимал на Мойке, был настолько велик, что, даже если бы удалось проникнуть внутрь его, не было никакой гарантии, что взрывом министр будет убит. Могло легко случиться, что половина дома была бы разрушена, но Дурново все-таки остался бы жив. Так случилось в августе 1906 г.,

когда максималисты выполнили аналогичный план, взорвав дачу министра Столыпина на Аптекарьском острове.

Точно так же нам не было известно в точности, с каким именно поездом и в каком именно вагоне ездит Дурново. Мы могли опасаться взрыва обычного курьерского поезда и смерти лиц, совершенно не причастных к правительству. Мы помнили о взрыве свитского поезда партией „Народной Воли“ в ноябре 1878 года.

Установить в короткий срок расположение комнат Дурново не было никакой возможности. Едва ли также в этот срок было возможно выяснить с достоверностью, каким именно поездом ездит Дурново. Мы могли только установить силы охраны Царскосельской железнодорожной ветки и возможность открытого нападения на ней. Выяснением этого занялся Гоц. Он заявил, что ветка охраняется достаточно сильно, взрыв ее днем, при приближении министерского поезда, был более чем затруднителен.

Что касается динамита, то заключение по этому поводу должен был дать Зильберберг.

Зильберберг жил в Териоках, в лаборатории. Он и его квартира были вне всяких подозрений, и работа его шла очень успешно. Но Зильберберг тяготился своей, скорей пассивной ролью. Он хотел принять более непосредственное и близкое участие в делах организации и имел к тому все данные. Предполагалось, что он возьмет на себя непосредственное наблюдение за Дурново в Петербурге и для этой цели станет извозчиком. Но его занятия в лаборатории, — приготовление бомб для Дубасова и Акимова, помешали этому: он остался в той же роли старшего химика.

Зильберберг, которому мы сообщили план Гоца, ответил, что он берется при помощи обученных товарищей в короткий срок сделать несколько динамитных панцирей и бомб, но что общее количество динамита, имеющегося в его распоряжении, едва ли достаточно, чтобы взорвать поезд или дом Дурново.

Таким образом, первое из наших затруднений не устранялось, второе устранялось только отчасти.

Азеф, рассмотрев план еще раз, сказал:

— Кроме всех затруднений, есть еще одна сторона: вправе ли организация требовать, чтобы член ее взорвал себя на воздух?

Было решено план Гоца отклонить, и сам Гоц согласился с этим.

Итак, к созыву Государственной Думы, т.е. к сроку, поставленному центральным комитетом, мы оказались не в состоянии совершить крупный террористический акт, если не считать покушения на Дубасова, которое, хотя и имело несомненный моральный успех, все-таки было почти неудачей: Дубасов остался жив.

Я был склонен приписывать тогда эти неудачи трем причинам: во-первых, ограничению срока нашей работы, во-вторых, устарелостью метода наружного наблюдения, в чем убеждала меня неуловимость Дурново, и, в-третьих, недостаточной гибкостью и подвижностью боевой организации. Кроме того, переполнение ее при

немногочисленном центре (Азеф и я) исключало тесную связь между центром и отдельными лицами. Эти недостатки были мной неоднократно указаны Азефу.

XI

Кроме крупных террористических предприятий, боевая организация в тот же период подготавливала некоторые акты меньшей важности: против адмирала Чухнина, генерала Мина, полк[овника] Римана, провокатора Гапона и заведующего политическим розыском Рачковского. Но ни одно из этих дел не было приведено в исполнение силами боевой организации.

Как я уже говорил, Зензинов отправился в Севастополь с поручением выяснить возможность убийства адм[ирала] Чухнина. Он приехал, когда в Севастополе находился Владимир Вноровский, тогда еще не член боевой организации, и Екатерина Измайлович, поставившие себе ту же цель. Зензинов вернулся в Финляндию и сообщил, что Чухнин будет, вероятно, убит этими товарищами. Действительно, 22 января 1906 г. Екатерина Измайлович, явившись во дворец адм[ирала] Чухнина в качестве просительницы, произвела в адмирала несколько выстрелов из револьвера и тяжело его ранила. Она была тут же на дворе, без всякого суда и следствия, расстреляна матросами. Вноровский скрылся. Чухнин был убит 29 июня того же года матросом Акимовым на своей даче под Севастополем, „Новая Голландия“.

Покушение на ген[ерала] Мина и полк[овника] Римана произошло при следующих обстоятельствах.

Студент института путей сообщения Самойлов и бывший студент московского университета Яковлев (Гудков) заявили боевой организации о своем желании принять участие в террористическом акте. За Самойловым не было боевого прошлого. Яковлев участвовал в московском восстании. Ни того, ни другого до их предложения я никогда не встречал, но у них были наилучшие рекомендации. И действительно, оба покушения окончились неудачей не по их вине.

Было решено, что оба они в один и тот же день и по возможности в один и тот же час явятся в квартиру к Мину и Риману и застрелят их.

Накануне их отъезда из Гельсингфорса я видел их обоих на квартире г. Тидермана, редактора журнала „Framtid“, и г-жи Элин Нолландер, — товарищей финнов, много раз оказывавших нам ценные услуги. Самойлов и Яковлев оба одинаково были спокойны. Яковлев своим красивым и сильным тенором пел арию Ленского „Что день грядущий мне готовит“. На следующий день он был арестован.

С вечерним поездом они выехали из Гельсингфорса. Самойлов был в форме лейтенанта флота, Яковлев — в мундире пехотного офицера. Самойлов должен был явиться к Мину с визитной кар-

точкой кн[язя] Вадбольского, Яковлев — к Риману под именем кн[язя] Друцкого-Соколинского. Оба они в первый раз, утром, не застали Мина и Римана дома и обещали зайти вторично днем. Самойлов и днем не застал никого или, вернее, Мин не принял его, несмотря на флотский мундир и громкую фамилию. Яковлев был схвачен полицией в самом подъезде дома Римана, когда явился во второй раз. Его судили вместе с Гоцем, Павловым и Трегубовым в судебной палате с сословными представителями и приговорили к лишению прав и ссылке в каторжные работы на 15 лет.

Этот арест остался тогда неразъясненным. Было похоже на то, что Риман был заранее предупрежден о приходе Яковлева, иначе непонятно было присутствие полиции в подъезде его дома. Справки, которые мог навести Риман о явившемся утром офицере Друцком-Соколинском, едва ли могли установить к 5 часам дня, что явившийся — не офицер, а террорист. Риман остался жив. Мин был убит в августе того же года Зинаидой Конопляниковой.

Тогда же было предпринято покушение на Рачковского и Гапона.

В начале февраля в Гельсингфорс приехал П.М.Рутенберг и рассказал следующее:

6 февраля в Москве к нему явился Гапон. Гапон рассказал ему, что состоит в сношениях с полицией, в частности, с начальником петербургского охранного отделения Герасимовым и упомянутым уже мною Рачковским. Он предложил Рутенбергу поступить на службу в полицию и совместно с ним, Гапоном, указать боевую организацию, за что, по его словам, правительство обещало сто тысяч рублей.

Уже давно о Гапоне ходили темные слухи. Говорили, что он в октябре — ноябре вступил в какие-то сношения с гр[афом] Витте, через чиновника мин[истерства] вн[утренних] дел Манасевича-Мануйлова и сотрудника газеты „Гражданин“ Колышко; что еще раньше, за границей, он виделся с кем-то из великих князей; что в последнее время в разговорах с корреспондентами иностранных газет он высказывал преданность престолу и раскаяние в своих заблуждениях и т.д. Этим слухам нельзя было не придавать некоторой веры. Гапон любил жизнь в ее наиболее элементарных формах: он любил комфорт, любил женщин, любил роскошь и блеск, словом, то, что можно купить за деньги. Я убедился в этом, наблюдая его парижскую жизнь. Одного этого, конечно, было мало, чтобы из Григория Гапона превратиться в предателя. Но у Гапона была еще одна черта, которая в соединении с первой могла его заставить пойти на соглашение с правительством: Гапон был лишен мужества, он боялся за свою жизнь, боялся виселицы. Я убедился в этом при описанной выше встрече моей с ним в Гельсингфорсе в сентябре 1905 г. Быть может, однако, ни любовь к роскоши, ни страх смерти не привели бы его еще к гр[афу] Витте, а затем к Рачковскому, если бы у него были твердые убеждения. Но у него

таких убеждений не было. Он жил настроениями, чувством. Он сначала действовал, а потом уже отдавал себе отчет в своих действиях. Натура очень увлекающаяся и вместе с тем слабая, даровитая и в высшей степени импульсивная, он мог сделать много ложных шагов и потом сам каяться в них. Как бы то ни было, рассказ Рутенберга не шел вразрез ни с впечатлениями, ни со слухами о Гапоне.

Рутенберг был очень взволнован. Он помнил, как он вместе с Гапоном шел с путиловскими рабочими навстречу войскам, помнил, как увел Гапона с Нарвского шоссе и тем спас его от ареста; помнил, как за границей Гапон говорил о терроре и о вооруженном восстании; наконец, помнил личную дружбу Гапона и свое к нему чувство. Явившись в Гельсингфорс к Азефу и ко мне, он поставил перед нами вопрос:

— Что теперь делать?

Как ни понятно было психологически предательство Гапона, самый факт этого предательства представлял из себя нечто, совершенно выходящее за обычную мерку. Еще тогда, зимою 1906 г., Гапон был самым популярным человеком в массах. Его имя, имя вождя революции, переходило из уст в уста, от рабочих к крестьянам. Его портреты можно было найти везде, — в городе и деревне, у русских, поляков, даже евреев. Он первый всколыхнул городской пролетариат. Он первый решил стать во главе поднявшихся рабочих. Ни всеобщая забастовка 1905 г., ни даже декабрьские баррикады не могли заслонить образ этого человека, от которого ждали новых выступлений, ждали, что если он начал революцию, то он и закончит ее. Неясные слухи, о которых я говорил выше, не проникали в широкие массы. И когда в Петербурге и в других больших городах имя Гапона уже настолько упало, что его открыто стали обвинять в сношениях с гр[афом] Витте, осталось еще много рабочих, вполне доверявших ему и готовых идти за ним по первому его слову.

В моих глазах Гапон был не обыкновенный предатель. Его предательство не состояло в том, в чем состояло предательство, например, Татарова. Татаров предавал людей, учреждения, партию. Гапон сделал хуже: он предал всю массовую революцию. Он показал, что массы слепо шли за человеком, недостойным быть не только вождем, но и рядовым солдатом революции. Я, не колеблясь, ответил Рутенбергу, что, по моему мнению, на его вопрос может быть только один, заранее определенный ответ: Гапон должен быть убит.

Разговор этот происходил на квартире Вальтера Стенбека, на той самой, где полгода назад скрывался Гапон. Кроме Азефа, Рутенберга и меня, при разговоре этом присутствовал еще Чернов.

Азеф и Чернов высказались не сразу. Я не был тогда еще кооптирован в члены центрального комитета, и мой голос, как и голос П.М. Рутенберга, мог иметь только совещательный характер. Азефу и Чернову принадлежало решение.

Азеф долго думал, курил папиросу за папиросой и молчал. Наконец, он сказал:

— По моему мнению, Гапона, на основании только сообщения Мартына (Рутенберга), убить невозможно. Гапон слишком популярен в массах. Его смерть будет непонятной. Нам не поверят: скажут, что мы его убили из своих партийных расчетов, а не потому, что он действительно состоял в сношениях с полицией. Эти сношения надо еще доказать. Мартын — революционер, он член партии, он не свидетель в глазах всех тех, кто заинтересуется этим делом. А ведь заинтересуются все. Вот если бы уличить Гапона...

Рутенберг спросил:

— Как уличить?

— Очень просто. Ведь Гапон говорит, что имеет свидания с Герасимовым и Рачковским. Он даже зовет вас на это свидание. Согласитесь фиктивно на его предложение вступить на службу в полицию и, застав Гапона с Рачковским, убейте их вместе.

— Ну?

— Ну, тогда улика ведь налицо. Честный человек не может иметь свидания с Рачковским. Все убедятся, что Гапон действительно предатель. Кроме того, будет убит и Рачковский. У партии нет врага сильнее Рачковского. Убийство его будет иметь громадное значение.

Чернов поддержал Азефа. Он находил также, что убийство одного Гапона поставит партию в весьма трудное положение, ибо доказательств виновности Гапона нет никаких, кроме утверждения Рутенберга. Он считал, кроме того, весьма важным убийство Рачковского.

Рутенберг и я держались другого мнения. Мы оба думали, что, конечно, если возможно, то следует убить и Рачковского, но и убийство одного Гапона, в наших глазах, имело большое значение. Мы оба были убеждены, что доказательства измены Гапона рано или поздно найдутся сами собою и что поэтому нам нет нужды считаться с тем, что мы в данную минуту не можем их представить. По нашему мнению, для убийства Гапона достаточно было признания им самим своего предательства перед Рутенбергом. Более того, мы оба считали, что предатель Гапон во всяком случае и при всяких обстоятельствах должен быть убит именно от лица партии, ибо именно с партией он был наиболее близок и именно партия в лице Рутенберга обнаружила его измену.

Ни Азеф, ни Чернов с нами не согласились. Они заявили, кроме того, что все берут на свою ответственность, что и центральный комитет в полном его составе присоединится не к нашему, а к их мнению. Действительно, впоследствии центральный комитет санкционировал их решение, несмотря на оппозицию М.А.Натансона, находившего, что следовало отказаться даже и от убийства Гапона и Рачковского вместе.

После заявления Азефа и Чернова, Рутенберг вышел в другую

комнату и долго там оставался один. Когда он вернулся, он сказал: — Я согласен. Я попытаюсь убить Рачковского и Гапона.

Азеф тут же выработал план действий. Рутенберг должен был при новом свидании с Гапоном заявить ему, что он согласен поступить на службу в полицию, согласен увидаться для этой цели с Рачковским. Он должен был сказать также Гапону, что он член боевой организации и стоит во главе покушения на Дурново. Предвидя, что Рачковский отнесется недоверчиво к согласию Рутенберга, Азеф предложил следующее. Во-первых, Рутенберг должен был порвать все сношения с партией и с партийными людьми и жить совершенно изолированно. Таким образом, наблюдение за Рутенбергом не повлекло бы за собою наблюдения за другими товарищами и ареста их. Во-вторых, Рутенберг, с той же целью обмануть недоверие Рачковского, должен был симулировать покушение на Дурново при помощи извозчиков. Он должен был нанять несколько извозчиков и ездить с ними в определенные часы на определенных улицах, — там, где мог проезжать Дурново. Филеры, наблюдая за Рутенбергом, несомненно, заметили бы, что Рутенберг постоянно находится в сношениях с одними и теми же извозчиками, и донесли бы об этом. Извозчики, разумеется, никакой опасности не подвергались. Кроме того, Азеф заявил, что готов предложить кому-либо из членов организации действительно стать извозчиком и сноситься с Рутенбергом. Этот член организации обрекался почти на верную гибель, но убийство Рачковского было, с организационной точки зрения, столь важно, что организация пожертвовала бы для него и не одним, а многими из своих членов: Рачковский фактически держал в своих руках все нити политического розыска. Бомбу для Рутенберга должен был приготовить Зильберберг.

Рутенберга этот план смутил. Его смущала щекотливая сторона его фиктивного Гапону согласия и весь план, построенный на лжи. Он не привык еще к тому, что все боевое дело неизбежно и неизменно строится не только на самопожертвовании, но и на обмане. Оставляя в стороне моральную сторону вопроса, я находил, что план, предложенный Азефом, целесообразен и достигает цели. Гапон давно потерял все связи с партией и тем более с боевой организацией. Ни один из товарищей не поделился бы с ним не только ценным для полиции сведением, но и безобидной подробностью дела. Он не знал местопребывания ни центрального комитета, ни Азефа, ни моего. Значит, Рачковскому полезен он сам быть не мог, и услуга его полиции могла заключаться единственно в том, что он склонил бы на провокацию такого видного члена партии, как Рутенберг. Уже для одного того, чтобы доказать Рачковскому успешность своих переговоров, он должен был сам, без всякой просьбы Рутенберга, стремиться к свиданию его с Рачковским. Это было в прямых интересах Гапона, как в его интересах было, конечно, присутствовать при этом свидании. Мне казалось поэтому, что Рутенберг без больших усилий с своей стороны и при полном молчании

Гапону о людях и делах, может встретить Рачковского и Гапона вместе, а следовательно, может их и убить. Я находил, однако, что фиктивное наблюдение за Дурново излишне, ибо филеры, следя за Рутенбергом и не замечая никаких с его стороны действий, никак не выведут заключения, что он не у дел: они решат, что он временно конспирирует, и в таком именно смысле донесут по начальству. Кроме того, я боялся за Рутенберга. Мне казалось, что план, предложенный Азефом, настолько не нравился ему, что он не решится или не найдет в себе сил довести его до конца. Я сказал об этом Рутенбергу.

— Я не мальчик, — ответил он мне, — что я сказал, то я и сделаю.

Он тут же принял азефовский план. Я пошел переговорить с Двойниковым, который предназначался для фиктивного наблюдения в Петербурге.

Двойников выслушал меня с удивлением, но он, не колеблясь, сказал:

— Я согласен.

— Вы ведь понимаете, Ваня, — сказал я ему, — за вами, наверно, будут следить, вас могут арестовать в ходе самой работы, а если Гапон и Рачковский будут убиты, то ареста вам не избежать ни в коем случае.

Он вскинул на меня свои темные глаза:

— Что арест... Господи, неужели Гапон провокатор?

Он не мог примириться с этой мыслью. Видя впечатление, произведенное на него этим известием, я понял, что должны будут чувствовать и как должны будут отозваться, узнав о провокации Гапона, рабочие, которые шли за ним девятого января.

Двойников уехал в Петербург и там купил пролетку и лошадь. Рутенберг уехал к Гапону: на последнем его свидании с Азефом я не присутствовал, — я уехал в Москву.

Рутенберг, встретив Гапона, стал действовать согласно принятому плану. Он постепенно стал соглашаться с Гапоном и, наконец, заявил ему, что для него вопрос якобы решен, — он поступает на службу в полицию. Он заявил ему также, что это решение обуславливается размером суммы, которую готов уплатить Рачковский. Тогда их беседы приняли характер торга: Рутенберг назначал цену, а Гапон торговался. Рутенберг ежедневно со стенографической точностью записывал содержание этих бесед и впоследствии представил их центральному комитету. Ознакомившись с ним, я не удивился, что Рутенберг был смущен предложением Азефа: его роль была не столько трудная, сколько неприятная, — Гапон был циничен в своих рассказах и предложениях. Рутенбергу нужно было много характера, чтобы спокойно слушать, как Гапон торгует его товарищей и друзей.

После некоторых таких разговоров, Гапон сообщил Рутенбергу, что Рачковский согласен увидеться с ним и назначает ему свидание

на 4 марта в отдельном кабинете ресторана Контан. Гапон должен был присутствовать при этом свидании. Согласно уговору, Рутенберг в первый раз должен был прийти к Рачковскому без оружия: мы боялись, что он будет обыскан при входе, и тогда, разумеется, покушение рушилось бы само собою. Только убедившись в доверии к себе Рачковского, Рутенберг должен был взять с собою бомбу.

4 марта Рутенберг явился в ресторан Контан и, по условию с Гапоном, спросил отдельный кабинет г-на Иванова. Лакей ответил ему, что такого кабинета нет. Рутенберг удалился.

Гапон объяснил ему на следующий день, что произошло недоразумение и что Рачковский приглашает его на свидание в ближайшее воскресенье.

Рутенберг не стал ждать этого воскресенья. Беседы с Гапоном привели его в чрезвычайно нервное состояние. Кроме того, в происшедшем „недоразумении“ он увидел обман, если не со стороны Гапона, то со стороны Рачковского. Он решил ликвидировать дело и уехать за границу, о чем и сообщил запискою Азефу.

Все подробности я узнал в марте, когда вернулся, после поездки в Варшаву, в Гельсингфорс. Я пробыл в Гельсингфорсе дня два и снова уехал. Я уезжал в уверенности, что дело Гапона—Рачковского ликвидировано окончательно и что Рутенберг за границей.

В самом конце марта я снова был в Гельсингфорсе. Я увиделся с Азефом на квартире у Айно Мальмберг, где он жил. Он выслушал мой рассказ о положении дел в Москве и Петербурге и затем, помолчав, сказал, как всегда, равнодушно:

— А ты знаешь, Гапон убит.

Я удивился.

— Кем?

— Мартыном (Рутенбергом).

Я удивился еще более.

— Когда?

— Двадцать второго, на даче в Озерках.

— Партия разрешила?

— Нет. Мартын действовал самостоятельно.

Рутенберг был в Гельсингфорсе. Я нашел его в Брунспарке у г. Гумеруса, второго редактора журнала „Framtid“. Рутенберг еще находился весь под впечатлением убийства Гапона. Он сказал:

— Я собирался уехать в Бельгию. Но, приехав сюда, я задумался. Хорошо, — Рачковского убить невозможно, но Гапона можно убить. Я решил, что я обязан это сделать.

Я спросил его:

— Но ведь ты же знал, что центральный комитет не разрешил убить одного Гапона?

Он ответил:

— Как не разрешил? Мне было сказано: если обоих вместе нельзя, то убить одного Гапона?

Я не возражал. Я спросил:

— А где Двойников?

— Продал лошадь и пролетку и теперь здесь.

Затем Рутенберг рассказал мне следующее: решив убить одного Гапона, он пригласил его на снятую заранее дачу в Озерках, якобы для последних переговоров о своем решении поступать на службу в полицию. Он собрал несколько человек рабочих, лично ему хорошо известных, членов партии, из которых некоторые шли вместе с Гапоном 9 января, и сообщил им все свои разговоры с Гапоном. Рабочие сперва не поверили. Рутенберг предложил им убедиться в правдивости его слов и только тогда приступить к убийству. Один из этих рабочих ожидал Гапона и Рутенберга на ст. Озерки, как извозчик. Пока они ехали на дачу, он, сидя на козлах, слышал весь разговор Гапона с Рутенбергом и убедился, что Гапон, действительно, предлагает Рутенбергу поступить на полицейскую службу. То же самое повторилось на даче. В пустой комнате, за прикрытой дверью, несколько рабочих слышали разговор Рутенберга с Гапоном. Гапон никогда не говорил так цинично, как в этот раз. В конце разговора Рутенберг открыл внезапно дверь и впустил рабочих. Несмотря на мольбу Гапона, рабочие тут же повесили его на крючке от вешалки.

Рассказывая, Рутенберг чрезвычайно волновался. Он говорил:

— Я вижу его во сне... Он мне все мерещится. Подумай, — ведь я его спас девятого января... А теперь он висит!..

Тело Гапона было обнаружено полицией только через месяц после убийства. Центральный комитет, ссылаясь на свое постановление, отказался признать это дело партийным. Рутенберг уехал за границу.

Впоследствии Рутенберг не раз обращался к центральному комитету с просьбой расследовать дело об убийстве Гапона и признать, что оно совершено с ведома и разрешения высшего учреждения партии. Он говорил, что Азеф дал ему, на последнем с ним свидании, разрешение на убийство одного Гапона в случае, если совместное убийство его с Рачковским окажется невозможным; что Азеф за два дня до 22 марта был поставлен в известность о приготовлениях к убийству, но убийства не остановил; наконец, что Азеф сам косвенно принимал участие в этом деле советами и указаниями ему людей, которые могли бы помочь убить одного Гапона. Азеф отрицал это заявление Рутенберга. Так как постановление центрального комитета не допускало двух толкований, и разрешение было дано исключительно на убийство Гапона и Рачковского вместе, то центральный комитет не принимал к сведению заявлений Рутенберга и в просьбе ему отказывал. Я считал, что центральный комитет действовал правильно: я хорошо помнил, что Азеф и Чернов высказались против убийства одного Гапона.

Когда убийство было раскрыто полицией, появились самые разнообразные слухи о причинах его и о самом его исполнении. Находились, конечно, люди, которые не верили в виновность Гапона, но

что более странно, — находились люди, высказывавшие подозрение в политической честности Рутенберга. Они утверждали, что Рутенберг убил Гапона на почве полицейской конкуренции. Центральный комитет в одном из номеров „Партийных Известий“ опроверг эти слухи, мне же не приходится прибавлять, что честность Рутенберга стояла выше всяких подозрений и что, соглашаясь фиктивно на предложения Гапона, он только исполнял приказание центрального комитета.

По этому делу в № 15 газеты „Знамя Труда“ появилось официальное сообщение центрального комитета, во всех отношениях реабилитирующее Рутенберга.

XII

Открытием первой Государственной Думы закончилась наша террористическая кампания, начатая немедленно после первого общепартийного съезда. Из ряда боевых предприятий целиком не удалось ни одно: Дубасов был ранен, Гапон был убит, но без Рачковского, Мин, Рима, Акимов и, что всего важнее, Дурново, остались живы. В организации стали раздаваться голоса, и мой голос был в их числе, что серия наших неудач не может обуславливаться только случайными причинами и что причины ее должны лежать глубоко. Я вспоминал мысль Швейцера о применении к делу террора новейших технических изобретений. В этом отношении организация находилась на очень низком уровне: кроме некоторых усовершенствований в динамитном деле, внесенных Зильбербергом, в смысле научной техники ничего сделано не было. Я указал на это Азефу, как на коренной недостаток организации, и Азеф соглашался со мной.

После взрыва на квартире Лубковских, я увиделся в Гельсингфорсе с Зильбербергом. Он был очень бледен и почти изменил своему обычному спокойствию. Я спросил его: Что с вами?

— Это я виноват.

— В чем?

— Что Генриетта (Беневская) взорвалась.

— Почему?

— Я делал бомбу.

Я удивился, спросив снова:

— Ну, так что же?

— Вероятно, запал был тугой и ей трудно было вынуть его.

Конечно, Зильберберг был так же мало виноват во взрыве 13 апреля, как когда-то Сазонов в неудаче 18 марта. Но Зильберберг, как и Сазонов, обвинял только себя.

С моей же точки зрения, взрыв 13 апреля, не касаясь вопроса, кто был в нем виноват, устанавливал на будущее время незыблемое правило: бомба, сделанная одним химиком, не должна разряжаться другим. Если бы Вноровский не получил снаряда в Петербурге, а

Беневская не разряжала бы его в Москве, несчастья не было бы.

Эта ошибка, происшедшая, скорее всего, по вине Азефа, настоявшего на плане убийства Дубасова в поезде, и по моей вине, ибо я не отстоял моего противоположного мнения, указала мне еще на одну причину наших неудач. Я чувствовал себя утомленным. Я помнил, что Азеф еще в январе жаловался на усталость и хотел оставить работу. Я приходил к выводу, что утомление Азефа и мое неизбежно должно отражаться на ходе дел организации, и если в тех условиях, в каких протекало покушение на Дубасова, взрыв 23 апреля и можно считать победой, то в общем мы не могли не признать, что поставленная перед нами партийная задача выполнена далеко неудовлетворительно.

Я с удивлением отметил тогда еще один факт, показавший, что я состою под наблюдением полиции. В одну из моих поездок в Петербурге в середине апреля на Финляндском вокзале в Петербурге ко мне подошел солдат пограничной стражи с винтовкой и пригласил меня следовать за ним. Он привел меня в комнату, где были еще двое солдат и чиновник. Чиновник, не спрашивая моего имени, попросил раскрыть чемодан. Я раскрыл и оставил лежать его на полу. Осмотрев чемодан, чиновник и солдаты, ни слова не говоря, вышли из комнаты. Я остался один. Я поднял свой чемодан и вышел. Меня не остановил никто.

Я делился своими сомнениями с Азефом. Я указывал ему на странность этого случая и спрашивал его, как он объясняет его себе? Азеф смеялся. Он говорил, что это — случайное совпадение, что, вероятно, таможенный чиновник заподозрил во мне контрабандиста. Я готов был согласиться с этим, если бы с Зильбербергом не случилось тогда же следующее происшествие.

На станции Белоостров его задержала пограничная стража и предъявила требование уплатить за новый костюм, бывший на нем. Зильберберг уплатил, но обратился в главное таможенное управление с заявлением о возвращении ему денег, неправильно потребованных с него. Начальник управления приказал вернуть ему деньги, и в разговоре с Зильбербергом сказал:

— Я вообще не понимаю этого происшествия. Брать деньги за надетый костюм!.. Единственно, чем я это могу объяснить, это — наблюдение за вами тайной полиции. Агенту тайной полиции нужно было вас обыскать, не возбуждая вашего подозрения, и он указал на вас таможенной страже. Она и придралась к костюму.

Я высказывал Азефу также свои сомнения относительно самой постановки организации. Он, по обыкновению, слушал молча. Однажды он спросил меня:

— Ну, что ж, по-твоему, нужно делать?

Я сказал, что нужно сократить число членов организации или, наоборот, значительно увеличить его; что сокращение придаст гибкость организации и, быть может, позволит нам перейти к методу вооруженных нападений, в котором мы оказались неудовлетвори-

тельными; что увеличение даст возможность расширить метод наружного наблюдения и тем улучшить его. Я сказал также, что, однако, радикальное решение, быть может, лежит в применении технических усовершенствований к делу террора.

— Может быть, ты и прав, — сказал Азеф. — Попробуй. Отбери, кого хочешь, и поезжай в Севастополь. Нужно убить Чухнина, особенно нужно теперь, — после неудачи Измайлович. Ты согласен на это?

Я сказал, что принимаю его предложение. Я был убежден, что небольшая группа близких друг другу людей сумеет подготовить покушение на Чухнина, каковы бы ни были затруднения на месте.

Я спросил однако:

— А разве решено во время думских занятий продолжать террор?

— А ты сам как думаешь? — спросил Азеф.

Я ответил, что для меня нет вопроса: я считал бы прекращение террористической деятельности большою ошибкой.

Азеф сказал:

— Я сам так думаю. Так выбери, кого хочешь, а я останусь в Петербурге. Будем готовить покушение на Столыпина.

Я переговорил с Калашниковым, Двойниковым, Назаровым и Рашель Лурье. Они все четверо согласились ехать со мной в Севастополь. Зная их, я не сомневался в удаче.

В последнее время боевая организация понесла некоторые потери: Вноровский был убит, Моисеенко, Яковлев, Беневская и Павлов были арестованы. Гоц уехал за границу к больному брату, Зензинов совсем ушел из организации. Однако в распоряжении Азефа, кроме химиков, оставалась нетронутая группа наблюдающих в Петербурге (Смирнов, Иванов, „Адмирал“, Горинсон и Пискарев). К ним должен был присоединиться Владимир Вноровский, Шиллеров и в качестве руководителя наблюдения — Зильберберг. Азеф мог рассчитывать на успех.

ГЛАВА ВТОРАЯ
АРЕСТ И БЕГСТВО

I

В САМОМ начале мая я, простившись с Азефом, выехал из Гельсингфорса. Калашников, Двойников и Назаров, каждый отдельно, поехали в Харьков, где должны были ждать меня. В Харькове находился и Шиллеров: он уехал из Москвы после взрыва 23 апреля. Я остановился на день в Москве, где Д.О.Гавронский сообщил мне, что совет партии закончил свои работы. Я не только не был приглашен на этот совет, но, работая все время вне непосредственной связи с партийными учреждениями, даже не знал, что он состоялся. Я не знал также, что на совете этом было решено прекратить террористическую борьбу на время сессии Государственной Думы. Таким образом, вышло так, что я поехал в Севастополь с партийным поручением убить адм[ирала] Чухнина уже в то время, когда партия постановила временно прекратить террор. Об этом я узнал только в тюрьме из газет.

Постановление совета партии шло настолько вразрез с моими и большинства моих товарищей мнениями, что я не знаю, как бы мы к нему отнеслись, если бы узнали о нем заблаговременно. Вторичное прекращение террора в наших глазах было очевидной политической ошибкой: оно губило только что окрепшую боевую организацию. Быть может, мы бы не подчинились в данном случае центральному комитету и пошли бы на открытый конфликт с партией. Как бы то ни было, для меня и до сих пор остается непонятным, каким образом и почему мы не были извещены о состоявшемся постановлении, почему, также, в силу этого постановления, нам не было предложено оставить дело Чухнина и вернуться в Финляндию...

В Харькове я застал Шиллерова, Калашникова, Двойникова и Назарова. Шиллеров уехал из Харькова в Вильно, чтобы там отдохнуть несколько дней. С Двойниковым, Калашниковым и Назаровым я провел сутки, обсуждая план предстоящего покушения на Чухнина.

На совещании этом было решено, что они все трое займутся в

Севастополе уличным наблюдением, в качестве торговцев в разное и чистильщиков сапог. Я назначил им свидание в Симферополе для выяснения еще некоторых подробностей, а сам решил ехать в Севастополь, чтобы на месте составить окончательный план. Прощаясь с ними, я заметил в Университетском саду подозрительную фигуру. Мне показалось, что фигура эта наблюдает за нами. Я спросил товарищей:

— За вами не следят?

— Нет, — ответил за всех Калашников.

— Вы уверены в этом?

— Конечно.

Я уехал в тот же вечер из Харькова. Как выяснилось потом из следственных материалов, за мною не было еще учреждено наблюдение, но за Двойниковым, Калашниковым и Назаровым оно производилось уже в течение нескольких дней. Филеры отметили наше харьковское свидание.

В Симферополе повторилась та же история. Мы снова увидели каких-то странных людей, будто бы наблюдавших за нами, и снова Двойников, Калашников и Назаров уверили меня, что за ними никто не следит.

Я считаю своею большой ошибкой, что тогда положился на их уверения. Двойников и Назаров, как рабочие, привыкшие к широкой массовой работе, не обращали достаточного внимания на филеров. Калашников, по характеру своему, тоже был склонен скорее уменьшать, а не преувеличивать опасность. Я знал это и, тем не менее, не сделал той необходимой проверки, которая, быть может, спасла бы нас от ареста.

Я приехал в Севастополь 12 мая и остановился в гостинице „Ветцель“ под именем подпоручика в запасе Дмитрия Евгеньевича Субботина. Ни в какие сношения с местным комитетом я не входил, даже не знал комитетских явок. Я не мог знать, поэтому, что в Севастополе готовится покушение 14 мая. Наоборот, именно на 14 мая, день коронации, я рассчитывал для начала наблюдения за Чухниным и к этому числу просил Двойникова, Назарова и Калашникова приехать в Севастополь. Они трое должны были наблюдать у Владимирского собора, куда должен был, по моим расчетам, приехать на торжественное богослужение Чухнин. Я же как раз в это время, часов в 12 дня, имел явку на Приморском бульваре: Рашель Лурье с динамитом должна была приехать в Севастополь на днях, и я ожидал ее. К счастью, 14 мая ее еще в Севастополе не было.

Это опоздание спасло нас: будь она арестована с динамитом, ни у кого не осталось бы ни малейших сомнений, что именно мы участвовали в покушении на ген[ерала] Неплюева. 14 мая утром, часов в 10, я встретил Калашникова на Екатерининской улице, в церкви, и предложил ему идти к Владимирскому собору. Как оказалось впоследствии, наблюдавший за Калашниковым филер отметил и эту нашу встречу.

В 12 часов дня произошло следующее.

По окончании службы в соборе, когда комендант севастопольской крепости г[енерал]-л[ейтенант] Неплюев принимал церковный парад, из толпы народа выбежал юноша, лет 16, Николай Макаров, и бросил Неплюеву под ноги бомбу. Бомба Макарова не взорвалась. В ту же минуту раздался сильный взрыв, — взорвалась бомба второго участника покушения — матроса 29 флотского экипажа Ивана Фролова. Взрывом этим Фролов был убит на месте. С ним было убито 6 и ранено 37 человек из толпы.

Фролов и Макаров были членами партии социалистов-революционеров и действовали, если не с одобрения, то с ведома и при содействии севастопольского комитета. Представитель этого комитета на упомянутом выше партийном совете голосовал, в числе многих, за временное прекращение террора.

Макаров, Двойников (под фамилией Соловьева) и Назаров (под фамилией Селивестрова) были арестованы на месте взрыва. Двойников, заметив за собою наблюдение, бросился бежать с площади по Ушакову переулку, но был задержан агентом охранного отделения Петровым и каким-то шедшим навстречу офицером. Назаров был схвачен немедленно после взрыва агентом Щербаковым, но Назаров, как гласит обвинительный акт, „не понимая, по-видимому, в чем дело, и предполагая, что с ним, Щербаковым, дурно, увлек его с паперти в ограду, где он, Щербаков, не видя, к кому обратиться за помощью, отпустил Назарова, который сейчас же бросился в толпу народа, а затем побежал по Большой Морской улице. Следуя за ним и увидев около ворот городской управы патруль, Щербаков быстро настиг Назарова, схватил его сзади и крикнул патрулю: „Берите его, это тот, который бросает бомбы“. С помощью патруля, Назаров был задержан.

Калашников успел скрыться и был арестован несколько позже, — 20 мая на Финляндском вокзале в Петербурге. Я был взят у себя, в гостинице „Ветцель“.

Сидя на Приморском бульваре, я слышал отдаленный гул взрыва. Я вышел на улицу. На углах собирались кучки, толпились люди. Какой-то матрос, с обрадованным лицом, громко сказал, обращаясь ко мне: „Неплюева, барин, убили...“ Несколько минут я колебался. Я знал, что вслед за взрывом начнутся усиленные поиски в городе и думал о том, не лучше ли немедленно выехать из Севастополя и вернуться назад, когда поиски стихнут. Но я рассудил, что поиски эти не могут коснуться меня, ибо я не только не участвовал в покушении, но даже не знал о нем. Я был уверен, что за мной не следят. Я решил поэтому вернуться к себе в гостиницу.

Когда я подымался по лестнице, я услышал позади себя крик: „Барин, вы задержаны“... В ту же минуту я почувствовал, что кто-то сзади крепко схватил меня за руки. Я обернулся. Площадка лестницы быстро наполнялась солдатами с ружьями наперевес. Они окружили меня и опустили штыки так, что я был в их центре. Двое

держали меня за руки. Полицейский офицер, очень бледный, приставил мне к груди револьвер. Какой-то сыщик грозил мне кулаком и ругался. Тут же суетился взволнованный морской офицер и убеждал „не возиться“ со мной, а „сейчас же на дворе расстрелять“. Обыскав, меня под сильным конвоем доставили в штаб севастопольской крепости. В штабе крепости я нашел уже Двойникова, Назарова и Макарова. В тот же вечер нас, опять под сильным конвоем, перевели на главную крепостную гауптвахту. Всем нам было предъявлено одно и то же обвинение в принадлежности к тайному сообществу, имеющему в своем распоряжении взрывчатые вещества, и в покушении на жизнь ген[ерала] Неплюева (2 ч. 126 ст., 13 и 1 ч. ст. 1453 ул. о нак.угол. и ст. 279 кн. XXII св.в.п.). По распоряжению командующего войсками Одесского военного округа ген[ерала] Каульбарса мы были преданы военному суду для суждения по законам военного времени. Суд был назначен на четверг, 18 мая.

В понедельник, 15 мая, ко мне явились наши защитники по назначению: капитан артиллерии Иванов и пехотный капитан Баяджиев.

От услуг Баяджиева нам скоро пришлось отказаться: на столе у Макарова он нашел мою записку. Он спокойно спрятал ее в карман и отнес в жандармское управление. К счастью в записке ничего „явно преступного“ не было.

Наоборот, с капитаном Ивановым у нас вскоре установились добрые отношения. Он принес мне проект своей защитительной речи, и я не могу не признать, что она тронула меня своим содержанием. Иванов не просил о смягчении приговора, — он знал, что я не мог бы согласиться на это, — он только подчеркивал неизбежность террора с точки зрения партийной программы и говорил о чести революционера, о традициях партии и об истории боевой организации. Прочитав речь, я одобрил ее, тем более, что сам не находил нужным говорить на суде. Полиция, жандармы и штаб крепости считали меня инициатором и руководителем севастопольского покушения. Именно мне приписывались жертвы у Владимирского собора и привлечение малолетнего Макарова к террористическому предприятию. Между тем я во все время моей боевой деятельности старался, по мере моих сил, щадить лиц, непрямых к правительству. Более того, участие 16-летнего мальчика в террористическом акте, как бы ни был высок по своим личным качествам этот мальчик, противоречило моей совести террориста, как моему организационному опыту противоречило устройство покушения на людной площади во время парада. Но говорить об этом на суде значило — косвенно обвинять устроителей покушения, даже и самого Макарова. Занять такую позицию я, конечно, не мог. Мне поэтому оставалось молчать во время процесса.

Я знал от арестованных на гауптвахте солдат, что капитан Иванов принимал участие в усмирении очаковского восстания, — его

батарея стреляла по крейсеру. Я не хочу ни оправдывать его, ни защищать. Но я должен отметить, что капитан Иванов, усмирявший восстание, по отношению к нам четверым, — к Макарову, Двойникову, Назарову и ко мне, — проявил много безукоризненной деликатности и горячей готовности помочь, чем был в силах. Он не скрывал своих убеждений и открыто говорил мне, что он не на стороне революции, а на стороне правительства, но, видя в нас врагов, он, как офицер, относился к нам с уважением и, как защитник, стремился, чем мог, облегчить наше тюремное заключение.

Еще во вторник, 18-го, я, полагаясь на честное слово капитана Иванова, открыл ему свое имя. Я просил его телеграфировать моей матери и жене с таким расчетом, чтобы они успели приехать ко дню приведения приговора в исполнение. Я рассчитывал официально назвать себя уже после суда и, таким образом, иметь возможность попрощаться с ними. Капитан Иванов исполнил данное мне обещание, и мои родные приехали в Севастополь, когда имя мое суду еще не было известно. В одном поезде с ними приехал также и бывший директор деп[артамента] полиции, Трусевич, тогда еще товарищ прокурора петербургской судебной палаты. Он знал меня лично по моим прежним делам. Не желая видеть его у себя, я, узнав от капитана Иванова о его приезде, в тот же день назвал свою фамилию.

Тогда же приехали в Севастополь и адвокаты: Л.Н.Андронников, В.А.Жданов, П.Н.Малянтович и Н.И.Фалеев; Андронников и Фалеев взяли на себя защиту Макарова.

Макаров был невысокого роста, румяный и крепкий юноша, на вид совсем еще мальчик. Он со страстной верою относился к террору и за счастье считал быть повешенным во имя революции. Он рассказал мне, как было организовано покушение на ген[ерала] Неплюева. Всех участников было четверо. Местный севастопольский комитет знал об их приготовлениях, и даже сам указал им лабораторию, но официального разрешения комитет не давал. Быть может, этим полуотказом комитета и объясняется и неудачный выбор места покушения, и тот печальный факт, что бомба Макарова не разорвалась.

Первое время нашего заключения караульную службу на гауптвахте нес 50 Белостокский полк. Во всех ротах были солдаты социалисты-революционеры, социал-демократы и просто сочувствующие революции, были также и унтер-офицеры, входившие в революционные военные организации. Двери наших камер оставались поэтому постоянно открытыми, несмотря на строжайшее запрещение военного начальства и присутствие на гауптвахте жандармов, назначенных специально для нас. При приближении караульного начальника, офицера, двери всех камер закрывались, по знаку часового, и открывались снова, когда из коридора удалялось начальство. Я должен сказать, что, в большинстве случаев, я встречал со стороны карауливших меня солдат самое сердечное отноше-

ние. Они не только не исполняли данной им инструкции, но и всеми мерами старались облегчить наше положение. Мы вели с ними долгие разговоры о земле, об учредительном собрании, о военной службе и о терроре. Эта относительная свобода дала мне возможность познакомиться ближе с Макаровым и поддерживать постоянные и тесные сношения с Двойниковым и Назаровым.

Во вторник, 16-го, ко мне в камеру пришел капитан Иванов и сообщил, что суд назначен окончательно на 18-е. На мой вопрос о приведении приговора в исполнение, он сказал:

— Я не скрою от вас, исполнение 19-го.

В тот же день я сообщил об этом Двойникову. Двойников слегка побледнел.

— Как, и Федю? — спросил он дрогнувшим голосом.

— И Федю.

— И вас?

— И меня... Но ведь и вас, Ваня!

— Что меня, — он махнул рукой, — а вот Федю...

Он был с детства привязан к Назарову, вместе с ним работал в Сормове, вместе дрался на баррикадах и вместе вошел в боевую организацию. Он не мог помириться с мыслью, что Назаров будет повешен.

Назаров к моим словам отнесся иначе. Я не заметил в его лице и тени смущения или страха. Весело улыбаясь, он заговорил спокойно и просто:

— Ну, и ладно... Значит, не мучают здесь людей. По крайности, быстро... Это лучше, чем измором тянуть... Так в пятницу, говоришь?

Макаров был в приподнятом настроении, светлом и ярком. Смерть казалась ему радостным и достойным революционера концом. Выслушав меня, он воскликнул:

— За землю и волю!

Однако заседание суда не состоялось 18 мая. В среду, 17-го, выяснилась полицейским путем фамилия Макарова. Он, как и мы, скрывал свое имя. Выяснилось также, что ему 16 лет. Суд откладывался до постановления симферопольского окружного суда по вопросу о разумении Макарова, как малолетнего.

II

Одновременно с защитой прибыли в Севастополь моя мать, моя жена, Вера Глебовна, ее брат, Борис Глебович Успенский, и мой товарищ, еще по гимназии, прис[яжный] пов[еренный] Александр Тимофеевич Земель. Последний не выступал на суде, но оказал много услуг по организации защиты.

Тогда же, и независимо от кого-либо, приехал и Зильберберг. После постановления о прекращении террора, он явился к Азефу и заявил, что так как террор прекращен, а, следовательно, прекраще-

но и дело Столыпина, он, Зильберберг, на свой страх и риск, желает сделать попытку освободить Двойникова, Назарова и меня из тюрьмы. Он просил только денежной помощи.

Азеф долго отговаривал Зильберберга от этого предприятия. Он доказывал, что нет возможности освободить не только нас всех троих, но и меня одного; говорил о том, что организация не может жертвовать своими членами для таких заведомо неудачных попыток, и советовал Зильбербергу терпеливо ждать возобновления террористической деятельности. Зильберберг не согласился с ним, и центральный комитет предоставил в его распоряжение нужные для побега средства.

Вера Глебовна известила меня о приезде Зильберберга. Задача ему предстояла трудная. Освободить из гауптвахты возможно было только двояким путем: либо вооруженным нападением на самое здание, либо с помощью кого-либо из караульного начальства. Зильберберг сначала остановился на первом плане. Белостокский полк, как я уже говорил, был в общем настроен очень революционно. Мы неоднократно слышали от часовых и от унтер-офицеров, что при первом выстреле нападающих караул побросает винтовки. Как ни скептически относились мы к их словам, все-таки являлась надежда, что часть солдат сложит оружие. План этот, однако, нами был вскоре оставлен.

Было ясно, что, атакуя, нельзя избежать убийства, и, быть может, не только офицеров, с чем мы мирились, но и солдат, на что согласиться мы не могли. К тому же местный комитет не располагал достаточными боевыми силами. Зильберберг не мог подобрать многочисленной и во всех отношениях подходящей дружины.

С оставлением этого плана почти исчезала надежда на побег всех товарищей вместе. Представлялось возможным освободить только одного, да и такого рода побег был сопряжен со многими затруднениями.

Главная крепостная гауптвахта охранялась ротой пехоты, сменявшейся ежедневно, и делилась на три отделения: общее, офицерское и секретное. В последнем мы и содержались. Это секретное отделение имело вид узкого и длинного коридора с двадцатью камерами по обеим его сторонам. С одной стороны коридор кончался глухой стеной с забраным решеткой окном, с другой — железной, всегда запертой на замок, дверью. Дверь эта вела в умывальную, куда выходили: комната дежурного жандармского унтер-офицера, совершенно темная, без окон кладовая, офицерское отделение и кордегардия. Через кордегардию вел единственный выход в ворота. Внутри секретного коридора постоянно несли службу трое часовых. У дверей в умывальную и далее, у дверей в кордегардию, были тоже посты караула. Такие же посты находились снаружи, между гауптвахтой и ее внешней стеной, а также и за внешней стеной, на улице и у фронта. Таким образом, чтобы выйти из гауптвахты, нужно было миновать троих часовых секретного коридора,

затем запертые на замок двери, затем еще двух часовых, далее всегда полную солдатами кордегардию, и только тогда, через сени, мимо комнаты дежурных офицеров, пройти к воротам, где опять стоял часовой. Ясно отсюда, что побег мог окончиться удачей только, как я говорил выше, с помощью кого-либо из начальства, например, караульного офицера, жандарма, разводящего и т.д., или с согласия нескольких часовых. Караул сменялся ежедневно, и пока стоял Белостокский полк, ни солдаты, ни офицеры не знали никого из заключенных в лицо.

Зильберберг действовал на воле. Сперва он организовывал нападение, затем подыскивал через местный комитет товарищей в Белостокском полку. Я старался действовать на гауптвахте. С помощью одного из отбывавших наказание солдат Брестского полка, Израйля Кона, я завязал знакомства во многих из карауливших нас рот. Уже после оставления нами плана нападения на гауптвахту, мне удалось, наконец, условиться с одним из стоявших у моих дверей часовых. Я условился с ним, что, при содействии знакомого ему писаря, он через неделю снова явится на караул, причем одна из смен нашего коридора должна состоять, по постовой росписи, из ближайших его товарищей, людей, тоже сочувствующих революции и готовых помочь побегу. Солдат этот не просил у меня ни денег, ни какой-либо награды. Он просил лишь помочь ему после побега выехать за границу.

Я сообщил Зильбербергу об этих моих переговорах. Он отвечал мне, что на воле все уже готово, и советовал не упускать случая. Но, в течение назначенного моим часовым недельного срока, произошла крупная перемена: 50 Белостокский полк был неожиданно снят с караула и его заменил второй батальон 57 Литовского полка.

Таким образом все знакомства, приобретенные Зильбербергом и мною в Белостокском полку, сразу потеряли свое значение. Кроме того, вскоре выяснились и другие неудобства такой перемены. Хотя карауливший нас батальон 57 Литовского полка оказался не менее, если не более, революционно настроенным, чем Белостокский полк, роты теперь возвращались на караул уже не на 13-й, а на 4-й день. Солдаты и офицеры очень скоро хорошо ознакомились с нами, и было мало надежды, что они не узнают меня, если я даже переоденусь в солдатское платье. Оставалось положиться на случай.

С помощью подкупленного жандарма, нам удалось еще до рассказанных переговоров устроить общее совещание в камере Назарова. На совещании этом я сообщил товарищам, что приехал „Николай Иванович“ (Зильберберг) со специальной целью освободить из тюрьмы. Я сообщил также, что почти нет надежды на освобождение нас всех четверых, и поставил вопрос, кому бежать, если можно будет бежать только одному.

Первый заговорил Назаров:

— Кому бежать? Конечно, тебе... Больше и говорить не о чем.

Двойников присоединился к его мнению.

В день ареста Макаров не знал, что мы, арестованные с ним вместе, — члены боевой организации, приехавшие в Севастополь для убийства Чухнина. Узнав об этом, он тоже, не колеблясь, согласился с Двойниковым и Назаровым.

Я возражал. Я указывал на справедливость в этом случае жребия, но предложение мое было отклонено. Тогда я второй раз поставил тот же вопрос об единичном побеге и просил желающего бежать заявить. Я сказал, что охотно уступлю свое право.

Все трое товарищей опять ответили мне, что, по их мнению, бежать должен именно я.

Я согласился. Я надеялся, что ни один из них не будет казнен: Макаров — по малолетству, Двойников и Назаров — по недостаточности улик. Приговор показал, что я не ошибся.

Между тем симферопольский окружной суд в распорядительном заседании признал Макарова действовавшим с разумением. Суд над нами был снова назначен, на этот раз на 26 мая. Приходилось, по-видимому, отказаться от всякой надежды на бегство: в обвинительном приговоре, по словам защиты и по моему убеждению, сомневаться было нельзя.

26 мая под сильным конвоем мы были доставлены в помещение минной роты, где должен был происходить суд над нами. Председательствовал генерал Кардиналовский, обвинял военный прокурор ген[ерал] Волков. В самом начале заседания прис[яжный] пов[еренный] Андронников возбудил ходатайство об отложении дела. Он заявил, что хотя Макаров и признан окружным судом действовавшим с разумением, но на постановление это принесена апелляция жалоба в харьковскую судебную палату, впредь до решения которой Макаров судим быть не может. После долгого совещания, суд постановил дело слушанием отложить.

Такой исход судебного заседания неожиданно и к лучшему изменил мое положение. Дело затягивалось и необходимо поступало к расследованию. Зильберберг получал неограниченное время для своих приготовлений. Опасность заключалась в одном, — в переводе меня в Петербург, в Петропавловскую крепость. На этом, как мне стало известным, сильно настаивал Трусович.

Я не могу не вспомнить с чувством глубокой признательности наших защитников: Жданова, Малянтовича, Фалеева и Андронникова. Уже не говоря о Жданове, моем близком знакомом еще по Вологде, человеку, не раз оказывавшем боевой организации услуги в Москве и защищавшем Каляева, все защитники показали много горячего интереса к нашему делу и много отзывчивости. Свидания с ними были для нас настоящими праздниками.

III

В конце июня у нас в коридоре, вопреки обычному запрещению, оказался на часах еврей, член еврейского Бунда. При посредниче-

стве уже упомянутого мною Израила Кона, мне удалось, через мою жену, устроить Зильбербергу свидание с этим, сразу согласившимся нам помочь, часовым. Зильберберг на свидании просил его указать, кто из батальона взялся бы непосредственно участвовать в побеге. В ответ на это, вскоре состоялось, по инициативе того же часового, совещание Зильберберга с несколькими товарищами-солдатами. На это совещание явился и вольноопределяющийся 6-й роты 57 Литовского полка, член симферопольского комитета партии социалистов-революционеров, Василий Митрофанович Сулятицкий, уже кончавший срок своей службы. Сулятицкий категорически заявил, что лично берется за мой побег и никому этого дела не уступит. Зильберберг сразу же оценил его предложение и сразу согласился. С тех пор мои отношения с Зильбербергом и Сулятицким, поддерживаемые через мою жену, приняли характер определенных приготовлений к побегу.

31 июля Сулятицкий впервые явился к нам на гауптвахту. Он пришел вместе с караулом, как разводящий внутренних постов. Разводящий — непосредственный начальник над часовыми. Только он назначает на пост, только он с поста и снимает. Ничьих иных приказаний часовые исполнять не вправе. Утром, после поверки, дверь моей камеры отворилась, и я увидел перед собою очень высокого, белокурого солдата с голубыми смеющимися глазами.

— Здравствуйте, я от Николая Ивановича, — сказал он мне, подавая записку от Зильберберга.

Он присел ко мне на кровать и сказал, что ночью предполагается мой побег, и что он, Сулятицкий, выведет меня из тюрьмы. Он спросил, готов ли я с своей стороны?

К несчастью, уже днем стало ясно, что побег едва ли возможен. Караульный начальник неожиданно отдал приказ возвращать ему ключ от дверей нашего коридора каждый раз, по миновании надобности. До этого приказа ключ хранился у караульного унтер-офицера, и разводящий мог пользоваться им по желанию. Сулятицкий немедленно дал знать Зильбербергу о происшедшем и передал ему слепок с дверного замка. По этому слепку был тотчас же приготовлен на воле ключ и к вечеру передан на гауптвахту. Но ключ не подошел к замку, и мысль о побеге в ту ночь пришлось оставить.

3 июля Сулятицкий снова пришел с караулом. На этот раз, по соглашению с Зильбербергом, он сделал попытку освободить всю гауптвахту. Он принес с собой полный подсумок конфет, смешанных с сонными порошками. Он должен был ночью угостить этими конфетами офицеров и часовых, и когда те заснут, — открыть двери всех камер. Сонные порошки были рекомендованы и дозированы партийным врачом. И Зильберберг, и Сулятицкий, оба не медики, положились на его знания и опыт. Ночью, в первом часу, Сулятицкий стал раздавать конфеты. Он был уверен, что они для здоровья безвредны, но что ими вызывается долгий и крепкий сон.

Из своей камеры я слышал, как он угощал часовых:

— Хочешь, земляк, конфету?

— Покорно благодарим.

Хлопнула в коридоре железная дверь... Я понял, что Сулятицкий ушел. Наступило молчанье. Я стал ждать, когда солдаты уснут. Через несколько минут я услышал, что часовые разговаривают между собою:

— Яка гирка конфета...

— Та-ж паны жруть.

— Тьфу!..

Потом опять наступило молчанье. Я не спал всю ночь, но и часовые не спали. Ни один из них не заснул, как ни один не заболел сколько-нибудь серьезно. Порошки оказались морфием.

Через четыре дня, 7 июля, Сулятицкий сделал еще попытку. Он опять пришел разводящим в наш коридор. Каждый раз, чтобы быть назначенным на гауптвахту, ему приходилось в лагере поить фельдфебеля водкой и придумывать всевозможные предлоги. Было непонятно, почему он предпочитает тяжелую и ответственную службу в тюрьме более легким занятиям, на которые он, как вольноопределяющийся, имел право. Поэтому дорог был каждый день и каждая неудача уменьшала надежду.

В эту последнюю перед побегом попытку, нам опять помешала случайность. Караульный начальник, подпоручик Коротков, неожиданно и не объясняя причин, не утвердил Сулятицкого разводящим. Он назначил его часовым у наружной стены гауптвахты. На этом посту Сулятицкий, конечно, не мог оказать мне никакой помощи. Побег откладывался опять.

Положение, казалось, изменилось бесповоротно. Были все основания думать, что и следующие попытки окончатся неудачей. Вера Глебовна мне сообщила, что Зильберберг стал исследовать гражданскую тюрьму. Он решил, что оттуда легче бежать, и предложил мне подать прошение о моем туда переводе. Я немедленно подал прошение в штаб крепости, мотивируя его отсутствием на гауптвахте прогулок. В прошении мне было отказано.

Между тем Сулятицкий скрылся. Впоследствии оказалось, что он в эти дни был в Симферополе, где стоял его полк. Он явился к командиру полка, полковнику Черепяхину-Ивашенко и рассказал ему, как был снят с поста разводящего Коротковым. Он заявил, что в этом распоряжении Короткова видно ясно оскорбительное для него, Сулятицкого, недоверие. Сославшись на свою беспорочную службу в полку, он просил защитить его от оскорблений его воинской чести. Полковник Черепяхин обещал ему защиту. Только тогда Сулятицкий вернулся назад, в Севастополь, и, увидевшись с Зильбербергом, 15 июля явился опять на гауптвахту, опять разводящим и опять в дежурство подпоручика Короткова. Но уже не могло быть и речи о poste у наружной стены.

Мы условились бежать в третью смену, между одним и тремя часами ночи. Зильберберг, как и в предыдущие дни, поставил у га-

уптвахты свой собственный караул, приготовил в городе место, где бы я мог скрываться, и сам ждал нас всю ночь. Но всю третью смену Коротков не ложился. Мы рисковали встретить его в коридоре. Бежать не пришлось. В три часа сменились часовые. На караул вступила первая смена, и почти тотчас же я услышал, как отворяется моя дверь. Вошел Сулятицкий, как всегда, очень спокойный. Дверь оставалась открытой. У порога стоял часовой.

Почти до самой этой минуты я беседовал с Двойниковым и иногда, проходя мимо, останавливался у дверей Назарова и разговаривал с ним. Часовые привыкли к этим ночным разговорам и заранее предупреждали, когда Коротков появлялся в коридоре. Двойникову и Назарову было известно, что мой побег должен состояться в эту ночь. Макаров не знал об этом.

Двойников долго отговаривал меня:

— Как убежишь? Отсюда невозможно бежать... Кончится тем, что вас застрелят. Лучше оставьте это. Как пройти мимо часовых? Я возражал ему, что я ничего потерять не могу.

Назаров говорил другое:

— Ну, беги... Только гляди, — распорют тебя штыком. А убежишь, — кланяйся там, на воле...

Когда Сулятицкий вошел ко мне, я уже потерял надежду на побег в эту ночь и собирался лечь спать. Он, по обыкновению, присел у меня на кровати.

— Так бежим? — спросил он, закуривая папиросу. Я сказал ему то, что говорил Двойникову, — что мне терять нечего. Но я прибавил также, что если мне терять нечего, то он, Сулятицкий, рискует жизнью, и я просил его еще раз подумать об этом раньше, чем решиться на побег.

Он улыбнулся:

— Знаю. Попробуем...

Он передал мне револьвер. Я спросил его:

— Что вы думаете делать, если нас остановят солдаты?

— Солдаты?

— Да, если меня караул узнает?

— В солдат не стрелять.

— Значит, назад к себе в камеру?

Он улыбнулся опять.

— Нет, зачем в камеру?

— А что же?

— Если встретится офицер, — в офицера стрелять, если задержит солдат, тогда... ну, тогда, вы понимаете, надо стрелять в себя.

Я согласился с ним.

Мы помолчали.

— Есть у вас сапоги? — вдруг спросил он.

У меня не было высоких солдатских сапог. Я сказал ему об этом. Тогда он открыл одну из соседних с моею камер. Там содержался арестованный солдат пограничной стражи. Он спал. Сулятицкий

взял стоявшие на полу его сапоги и на глазах у караула передал их мне. Я оделся, перекинул через плечо полотенце, и мы пошли по длинному коридору к дверям умывальной. Обычно, как я уже говорил, на этом пути стояло трое часовых. В эту ночь Сулятицкий убедил Короткова снять одного. Он говорил, что довольно и двух, что солдаты устали от долгих и частых смен. Коротков согласился, и один часовой был немедленно снят. Проходя со мной мимо двух остальных, Сулятицкий небрежно сказал:

— Мыться идет... Говорит, — болен...

По инструкции, я умывался не ранее 5 часов утра и всегда — под наблюдением жандарма и так называемого „выводного“ солдата. Несмотря на это, полусонные часовые, непосредственно подчиненные Сулятицкому, не увидели ничего странного в том, что я выхожу из камеры ночью с одним разводящим.

Мы дошли до железных дверей в конце коридора. Сулятицкий сказал часовому:

— Спишь, ворона?

Часовой встрепенулся.

— Спать будешь потом. Открой.

Часовой открыл дверь.

Я прошел к умывальнику и стал мыться. Справа и слева стояли солдаты. В отдельной комнате, с незапертой дверью, крепко, в платье и сапогах, спал жандарм. Я умывался, а Сулятицкий, заперев за нами двери на ключ, прошел в кордегардию посмотреть, все ли спокойно. Вернувшись, он провел меня мимо часовых в кладовую. Там, в темноте, я срезал усы, накинул приготовленную заранее рубашку и надел фуражку, подсумок и пояс. Вышел я из кладовой уже солдатом. На глазах у тех же часовых я прошел вслед за Сулятицким в кордегардию. Часть солдат спала. Часть, сняв висячую лампу с крючка и поставив ее на нары, собралась в кружок и слушала чтение. На наши шаги кое-кто обернулся, но никто не узнал меня в темноте. Мы вышли в сени. Дверь в комнату дежурных офицеров была открыта. У стола, освещенного лампой, сидел спиной к нам дежурный по караулам. Коротков лежал на диване и, по-видимому, спал. У фронта на улице нас заметил фронтовой часовой. Он посмотрел на наши погоны и отвернулся. Завернув за угол гауптвахты, мы пошли к городу. По стенам белели в тумане рубахи наружных постов.

В узком каменном переулке мы встретили поставленный Зильбербергом часовой, бывший матрос, Федор Босенко. Он держал в руках корзину с платьем и предложил нам здесь же переодеться. Мы отказались. Уже могла быть погоня. Нельзя было терять ни минуты. Я сбросил подсумок, и Сулятицкий сунул мне в руку, на случай патруля, отпускной билет на имя солдата того же Литовского полка. Впоследствии мы не пожалели, что остались в солдатском платье и не потеряли времени на переодевание. Побег был обнаружен минут через пять, и Коротков немедленно выслав погоню и сделал обыск на квартире моей жены.

Почти бегом мы спустились в город. Светало, и вдали на нашем пути, через улицу, белел ряд солдатских рубах. Не было сомнения, что навстречу идет патруль. Бежать было некуда, сзади была гауптвахта. Но, подойдя близко, мы увидели, что ошиблись. Только что открылся толчок, и матросы в белых рубашах закупали провизию. Они не обратили на нас внимания, и через десять минут мы были на квартире рабочего Н. У него нас ждал Зильберберг. Мы переоделись и вместе с Зильбербергом и Босенко отправились на квартиру последнего. Босенко не имел работы и жил в сыром и темном подвале. Нельзя было думать, что полиция будет искать меня у него.

Я был на воле. Зильберберг, инициатор и руководитель моего побега, потерял свое обычное хладнокровие. Он радостно обнимал Сулятицкого и меня. Но перед ним стояла теперь другая, не менее трудная задача, — устроить наш побег за границу. Вся полиция города была на ногах. По улицам и за городом ходили дозором жандармы и конные объездчики, так называемые „эскадронцы“. Необходимо было пройти сквозь их сеть.

Сулятицкий тоже был счастлив. Я должен сказать, что мне не часто приходилось наблюдать такое спокойное мужество, какое он проявил в эту ночь. Я уже не говорю о его самоотвержении: я был ему незнакомый и чужой человек.

Тогда же, на квартире Босенко, мы написали следующее, отпечатанное в большом количестве экземпляров извещение.

„В ночь на 16 июля, по постановлению боевой организации партии социалистов-революционеров и при содействии вольноопределяющегося 57 Литовского полка В.М.Сулятицкого, освобожден из под стражи содержащийся на главной крепостной гауптвахте член партии социалистов-революционеров Борис Викторович Савинков“.

Севастополь, 16 июля 1906 г.

IV

В тот же день вечером, когда стемнело, мы в фабричных рубашах и картузах, вышли из квартиры Босенко. Нас было пятеро: Зильберберг, Сулятицкий, Босенко, я и наш проводник, студент института гражданских инженеров, Иосиф Сепи.

Последний должен был указать нам дорогу через горы и степь к хутору немецкого колониста Карла Ивановича Штальберга, где заранее нам был приготовлен приют.

Идти было далеко, ибо мы шли кружным путем.

Босенко, Зильберберг и Сепи, казалось, не чувствовали усталости, но Сулятицкому и мне, после бессонной ночи, трудно было пройти 40 верст. Сепи нас торопил. Он хотел еще ночью добраться до хутора. Мы все были вооружены, но, к счастью, не встретили полиции по дороге.

Хутор Штальберга лежал в узкой и замкнутой со всех сторон

холмами долине. На одном из этих холмов мы устроили постоянный наблюдательный пункт за дорогой в Севастополь. Старший сын хозяина, мальчик лет 14, исполнял обязанности часового и целые дни проводил на своем посту. Ночь мы также разделили на смены, и обычно Зильберберг со Штальбергом караулили остальных. Спали мы, из осторожности, не дома, а далеко в горах, под открытым небом. Вечером Зильберберг выбирал где-нибудь в чаще спокойное место, расстилал циновки, клал громадное, одно на всех, одеяло, и мы засыпали, окруженные разложенным на траве оружием и с часовым на холме. Если бы даже рота солдат оцепила хутор, то и тогда мы имели бы время уйти и скрыться в далеких горных пещерах.

Те десять дней, которые мы провели на хуторе, остались одним из лучших воспоминаний моей жизни. У Штальберга была многочисленная семья, и мы скоро подружились с его маленькими детьми. Дети понимали, в чем дело, и каждый из них старался быть нам чем-нибудь полезным. Часто они помогали своему старшему брату следить за дорогой в Севастополь. За их охраной мы чувствовали себя в безопасности.

Хозяин хутора Карл Иванович Штальберг был человек лет 40 с лишком, с загорелым деревенским лицом и с мозолистыми руками крестьянина. Мы часто подолгу сидели с ним на холме, откуда открывался далекий вид на амфитеатр невысоких гор. Он рассказывал мне о своей жизни и почему он стал в 40 лет революционером. Это была жизнь, полная труда, лишений и скорби. Его жена и свояченица делили с ним тяжелые заботы его небольшого хозяйства. Однажды он сказал мне:

- Знаете, я решил совсем уйти в революцию.
- То есть, оставить хутор?
- Да, оставить хутор и перейти на нелегальное положение.
- Дети?
- Дети проживут и без меня.

Я доказывал ему, что решение неправильно, что без крайней необходимости нет нужды переходить на нелегальное положение, что он может быть полезен и на хуторе, давая приют, приготавливая бомбы, пряча оружие, словом, делая то, что он уже много раз делал. Но Штальберг не соглашался со мной.

— Вы едете за границу, — сказал он мне, — возьмите меня с собой. Я хочу познакомиться с Брешковской и Гоцем, а потом поеду на Волгу к крестьянам.

Штальберг оказал мне услугу: он, рискуя собой, скрыл меня в своем доме. Я не считал себя вправе отказать ему в его просьбе. Я обещал ему, что он поедет за границу.

Зильберберг часто пешком с хутора уходил в Севастополь. До нас доходили слухи, что полиция усиленно ищет в городе и в окрестностях, на пристанях, вокзалах и на соседних с городом станциях. Слишком много солдат, жандармов и сыщиков знали меня в

лицо. Мы решили поэтому ехать не по железной дороге, а морем, в Румынию. Зильбербергу предстояло поэтому много хлопот. Для переезда через Черное море он рассчитывал на одного знакомого ему контрабандиста. Контрабандист этот не брался лично, на своей парусной лодке, отвезти нас в Констанцу. Он предлагал подождать, пока придет из Турции кочерма (двухмачтовая шхуна) турецких его товарищей. Но время шло, кочерма не приходила, контрабандист уверял, что ей мешают встречные ветры, и мы продолжали бесполезно скрываться в горах.

Зильберберг сердился. Он считал, что на его ответственности лежит безопасность Сулятицкого и моя, и боялся за нас.

Я старался отвлечь его внимание от приготовлений к отъезду.

Я спрашивал его о первой Думе, о партии, о боевой организации и о прекращении террора. Вопреки своему обычному спокойствию, он возмущался:

— Сегодня прекращают террор, завтра его возобновляют. Вот теперь, — разогнали Думу, — это можно было предвидеть, — и ты увидишь, опять возобновят террор. Может ли организация работать в таких условиях?

Я ничего не мог ему возразить.

Когда Зильберберг уходил в город, а Штальберг работал по хозяйству, я оставался вдвоем с Сулятицким.

Этот юноша, спасший меня от смерти, все более привлекал мое внимание. В каждом его слове сквозила спокойная уверенность в своих силах и каждое свое решение он выносил только после долгого размышления. Я уже видел его мужество и решимость. Я убеждался теперь в твердости и продуманности его убеждений. Он был, прежде всего, террорист и, как Каляев, видел в терроре высшую форму революционной борьбы и высшее исполнение революционного долга. Дня через три после моего побега, он обратился ко мне с такими словами:

— Я ведь не знал, что Николай Иванович и вы — члены боевой организации.

— А теперь знаете?

— Да, знаю и рад этому... Я хотел вам сказать: я хочу работать в терроре.

Я убеждал его отказаться от этой мысли. Он казался мне, несмотря на молодость лет, прекрасным типом террориста, но, быть может, впервые я не находил в себе силы согласиться на такое предложение: я знал, что оно означает для него скорую смерть.

Он слушал меня, улыбаясь:

— Это решено: я все равно буду в терроре.

Я должен был замолчать.

Зильберберг решил больше не ждать кочермы. 25 июля он вернулся из Севастополя с известием, что вполне снаряженный одномачтовый бот, под казенным флагом, будет нас ожидать ночью в море, у устья реки Качи. Бот этот взял для прогулки с севастополь-

ской биологической станции отставной лейтенант флота, тогда не состоявший еще ни в какой революционной организации, Борис Николаевич Никитенко. Вечером, 25-го, мы вышли впятером, — Зильберберг, Штальберг, Сулятицкий, Босенко и я, — с хутора, и на рассвете, под проливным дождем, были у устья Качи. На море у самого горизонта ярко горели огни эскадры, в эту ночь случайно для практической стрельбы пришедшей сюда. Левее огней, саженях в 30–40 от берега, серел под сеткой дождя еле заметный парус. Пограничной стражи не было видно. С моря дул свежий ветер.

Зильберберг не умел плавать. С бота был брошен спасательный пояс, и он поплыл на нем. Я плыл, держась за канат. Канат тонул под моей тяжестью, и волны хлестали через мою голову. Когда я схватился за поручни бота, я чувствовал, что у меня нет больше сил. Чьи-то руки подняли меня на борт.

Бот был маленький, полупалубный, но устойчивый и крепкий. Команда состояла из Б.Н.Никитенко и двух матросов: Босенко и студента петербургского технологического института, Михаила Михайловича Шишмарева. Пассажирами были: Сулятицкий, Зильберберг, Штальберг и я.

В пятом часу утра, 26 июля, мы снялись с якоря и вышли в море. Мы прошли почти под носом крайнего броненосца эскадры и видели, как вахтенный офицер рассматривал нас в бинокль. В полдень уже едва виднелась Яйла, а вечером мы увидели со стороны Севастополя далекий дымок. В бинокль мы узнали миноносец. Казалось, он шел прямо на нас. Мы долго следили за ним, пока, наконец, он не повернул руль и не стал заметно от нас удаляться. Никитенко взял курс на Констанцу.

Никитенко был такого же высокого роста, как Сулятицкий. У него было открытое и энергичное загорелое лицо и смелые карие глаза. Он вышел в отставку после казни лейтенанта Шмидта. Участие в моем побеге было первым крупным революционным делом его. По немногим его словам я понял, что и он так же, как и Сулятицкий, готовит себя на боевую работу.

Мы шли, и ветер свежел, иногда достигая силы настоящего шторма. Мы, четверо пассажиров, конечно, ничем полезны быть не могли, и вся работа целиком лежала на команде. Но Никитенко прекрасно знал свое дело и, едва держась от усталости на ногах, спокойно и точно вел бот на Констанцу. В ночь на 27-е ветер достиг небывалой силы. Казалось, что бот не выдержит и его захлестнет волной. Никитенко заявил, что не может держать более курс на Констанцу, и предложил идти по ветру в Сулин, маленький порт на румынском берегу, в самом устье Дуная. Мы знали, что в Сулине нам могут встретиться затруднения, что из Констанцы, где есть железная дорога на Бухарест, нам легче незаметно уехать, чем из Сулина, где пароход по Дунаю отходит не каждые сутки. Мы просили Никитенко идти все-таки на Констанцу, но он отказался, не ручаясь за безопасность. Мы пошли на Сулин. Поздно вечером, 28-го,

мы увидели, наконец, маяки Сулина и осторожно, между мелей, вошли в гавань. Явился румынский чиновник, записал имя бота („Александр Ковалевский“) и позволил нам выйти на берег за водой и провиантом. Мы, пассажиры, сошли с бота, надеясь утром поехать в Галац. Никитенко с командой на рассвете ушел опять в море, назад в Севастополь.

Оказалось, однако, что пароход на Галац отходит лишь через день. Приходилось остаться в Сулине. Утром пришел полицейский комиссар и спросил у нас паспорта. Заграничный паспорт был только у меня одного, у остальных товарищей паспорта были фальшивые, годные для России, но не для заграницы. Отобрав документы, комиссар заявил, что не может впустить нас в пределы Румынии, ибо на паспортах нет румынской визы. Он выразил также удивление, почему мы не ищем защиты у русского консула. Мы боялись за судьбу команды и Никитенко. Консул, поняв, что мы эмигранты, мог телеграфировать в Севастополь, и тогда товарищей ждал немедленный арест. Поэтому мы решили явиться к консулу. Мы сказали ему, что вышли на морскую прогулку из Севастополя в Феодосию, что штормом нас занесло к берегам Румынии, что мы не хотим ехать морем назад и просим лишь об одном — разрешить нам вернуться в Россию через Галац и Яссы. После этого разговора мне вернули мой паспорт, и я, под наблюдением румынских агентов, выехал в Бухарест к Э.К.Арборэ-Ралли выручать товарищей, оставшихся в Сулине.

Арборэ-Ралли принял в нас самое живое участие. Преподаватель русского языка у наследного принца румынского, он имел большой вес в Бухаресте. Он телеграфировал немедленно в Сулин, с просьбой освободить его арестованных племянников. В противном случае он угрожал обратиться с жалобой к королю. В ответ на это, Зильберберг, Сулятицкий и Штальберг, под охраной румынской полиции, были доставлены в Бухарест. Мы собрались все четверо в доме Ралли.

Впервые мы находились в полной безопасности.

Старик Ралли, его жена, сын и дочери приняли нас не только, как товарищей, но как друзей, почти как родных. Признательность к этой семье навсегда сохранится в моей памяти.

Оставалось одно мелкое затруднение. У нас не было паспортов, а на венгерской границе необходимо было их представлять. Старшая дочь Ралли, Екатерина, познакомила нас с румынским социалистом тов. Константинеску. Константинеску помог нам нелегально переправиться в Венгрию. Подкупленный венгерский жандарм сделал вид, что не замечает нас. В Венгрии мы простились с Штальбергом, — он один поехал в Женеву, мы же трое хотели заехать в Гейдельберг к Гоцу.

Я опасался, что мой побег отразится на участи Двойникова и Назарова. Поэтому из Базеля я написал ген[ералу] Неплюеву нижеследующее письмо:

„Его превосходительству генерал-лейтенанту
Неплюеву.

Милостивый государь!

Как вам известно, 14 сего мая я был арестован в г. Севастополе — по подозрению в покушении на вашу жизнь — и до 15 июля содержался вместе с г.г. Двойниковым, Назаровым и Макаровым на главной крепостной гауптвахте, откуда, по постановлению боевой организации партии социалистов-революционеров и при содействии вольноопределяющегося 57 Литовского полка, В.М.Сулятицкого, в ночь на 16 июля — бежал.

Ныне, находясь вне действия русских законов, я считаю своим долгом подтвердить вам то, что неоднократно было мной заявлено во время нахождения моего под стражей, а именно, что имею честь принадлежать к партии социалистов-революционеров и, вполне разделяя ее программу, тем не менее никакого отношения к покушению на вашу жизнь не имел, о приготовлениях к нему не знал и морально ответственности за гибель ни в чем неповинных людей и за привлечение к террористической деятельности малолетнего Макарова, — принять на себя не могу.

В равной степени к означенному покушению не причастны И.В.Двойников и Ф.А.Назаров.

Такое же сообщение одновременно посылается мной ген[ералу] М.Кардиналовскому и копии с него бывшим моим защитникам, прис[яж-ным] пов[еренным] Жданову и Малянтовичу.

С совершенным уважением

Борис Савинков.*

Безель 6 (19) VIII, 1906 г.

В начале октября состоялся в Севастополе суд над Двойниковым, Назаровым, Макаровым и Калашниковым, перевезенным уже после моего побега из Петербурга в Севастополь. Двойников, Калашников и Назаров были оправданы по обвинению в покушении на жизнь ген[ерала] Неплюева, но признаны виновными в принадлежности к тайному сообществу, имеющему в своем распоряжении взрывчатые вещества.

Все трое были лишены всех прав состояния и приговорены: Калашников к семи, Двойников и Назаров к четырем годам каторжных работ. Макаров, как малолетний, был заключен в тюрьму на 12 лет. Он содержался в севастопольской гражданской тюрьме, откуда 15 июня 1907 г. бежал. Он повешен в сентябре того же года за убийство начальника петербургской тюрьмы Иванова.

V

В Гейдельберге я нашел Михаила Гоца. Он по-прежнему лежал больной. Его лицо еще более осунулось и побледнело, но глаза горели все тем же живым огнем. Я познакомил его с Сулятицким. Зильберберга он знал давно.

Когда я приехал к Гоцу, он только что получил известие о взрыве на Аптекарском острове. Взрыв этот возбудил разноречивые мнения. Впоследствии я узнал, что центральный комитет выпустил по поводу его прокламацию, где резко отмежевался от террора максималистов. Эту прокламацию писал Азеф. Я нашел ее неуместной.

Гоц с сожалением заговорил о максималистах. Он указал, что взрыв на Аптекарском острове был организован без предварительной подготовки: на даче происходили заседания совета министров, и уже если было решено ее взорвать, то уж, конечно, можно было выбрать для этого день и час одного из таких заседаний. Он указывал также, что гибель многих, непричастных к правительству, лиц должна дурно повлиять на общественное мнение. Но он воздерживался от осуждения максималистов. Взрыв на Аптекарском острове был единственным ответом террора на разгон Государственной Думы.

Во мне этот взрыв возбудил тоже много сомнений. Слабость боевой организации была для меня очевидной. Я не знал только, какая из двух причин помешала ей выступить с крупным террористическим актом: майский ли роппуск ее или рутина уличного наблюдения. Мне казалось, что, быть может, максималисты сумели решить ту задачу, которая нам была не под силу: сумели создать подвижную организацию, способную к открытым вооруженным нападениям. Но моральная сторона вопроса — гибель невинных людей — смущала меня не меньше, чем Гоца.

Я рассказал Гоцу об обстоятельствах моего ареста, а также о том, что постановление совета партии о прекращении террора стало мне известно только в тюрьме. Гоц сказал:

— Это позор. Вам должны были сообщить заранее. Вы поехали в Севастополь, не имея на это права.

Я сказал:

— Если бы я знал о постановлении совета, я все-таки, вероятно, поехал бы в Севастополь.

Гоц подумал минуту.

— Вопрос о терроре не исчерпывается только вопросами партийного права. Он, по-моему, гораздо глубже. Разве вы не видите, что боевая организация в параличе?

Я ответил, что давно это вижу: весенние неудачи убедили меня в этом; что, по моему мнению, нужно радикально изменить самый метод террористической борьбы и что изменение это должно заключаться в применении научных изобретений к террору, но что таких изобретений я не знаю.

Гоц слушал внимательно.

— Вы правы, — сказал он, наконец, — я тоже думаю, нужно изменить самый метод. Но как?.. Я, как и вы, не знаю. Быть может, придется даже прекратить на время террор...

Для меня было ценно мнение Гоца. Я ценил его более, чем мнение кого бы то ни было в партии. В моих глазах Михаил Гоц всегда был и остается до сих пор самым крупным революционером нашего поколения. Только болезнь помешала ему фактически стать во главе террора в партии.

Я хотел остаться в Гейдельберге у Гоца, но он настойчиво требовал, чтобы я уехал во Францию: он боялся, что в Германии меня

арестуют и выдадут русскому правительству. Я простился с ним. Я видел его в последний раз. 8 сентября того же года он скончался в Берлине после сделанной ему операции. Его смерть была невознаградимой потерей для партии: отсутствие Гоца не раз отражалось на судьбах ее и террора.

Зильберберг уехал в Финляндию. Сулятицкий и я поселились в Париже. Мы ждали, когда Зильберберг вышлет нам из Финляндии паспорта. Ждать нам пришлось недолго, но за эти две или три недели я имел случай коротко сблизиться с Сулятицким.

Мечтой Сулятицкого, как когда-то Каляева, было убийство царя. Он предлагал для этого план, хотя и длительный, но зато, по его мнению, верный. Он говорил, что нужно кому-нибудь из революционеров поступить в любое военное училище в Петербурге. Ежегодно выпускные юнкера производятся в офицеры лично царем. Каждый юнкер может убить царя на этой церемонии. Сулятицкий предлагал именно себя в такие исполнители. Я рассказал впоследствии об этом плане Азефу, и он одобрил его, но, по причинам, мне неизвестным, никем и никогда не было сделано попытки привести этот план в исполнение. Я же думаю, что, быть может, Сулятицкий был прав: партия потратила впоследствии не менее времени и гораздо больше сил на цареубийство, но безрезультатно.

В Сулятицком гармонично сочетались две черты — основные черты психологии каждого террориста. В нем, в одинаковой степени, жили два желания: желание победы и желание смерти во имя революции. Он не представлял себе своего участия в терроре иначе, как со смертным концом, более того, он хотел такого конца: он видел в нем, до известной степени, искупление неизбежному и все-таки греховному убийству. Но он с наименьшим напряжением желал и победы, желал умереть, совершив террористический акт, трудный по исполнению и значительный по результатам. В этом отношении у него было много общего с Зильбербергом.

Я убедился в Париже, что боевая организация приобретает в его лице исключительного, по своим внутренним качествам, члена.

В первой половине сентября мы выехали с ним вместе через Копенгаген в Гельсингфорс. В Гельсингфорсе нам ждал Зильберберг.

VI

После разгона Государственной Думы (июль 1906 года), центральный комитет решил снова возобновить террор. Члены боевой организации отчасти уже разъехались за границу и по провинции, отчасти были арестованы. Азефу предстояла задача собрать их снова и пополнить организацию новыми силами. К моему приезду в Финляндию боевая организация состояла, за исключением арестованных, с апреля по август, Трегубова, Павлова, Гоца, Яковлева, Назарова, Двойникова, Калашникова, Шиллерова (арестован в мае в Вильно), Семена Семеновича (арестован в мае в Киеве), Мои-

сеенко и Беневоской, — из следующих лиц: во главе организации стоял Азеф, я был его ближайшим помощником, старшим химиком оставался Зильберберг, младшими химиками: Рашель Лурье, Ксения Зильберберг, Валентина Попова, в наблюдающем составе: „Адмирал“, Иванов, Горинсон, Смирнов, Пискарев, Павла Левинсон, Александра Севастьянова и Владимир Вноровский. Самойлов, после неудачного покушения на ген[ерала] Мина, уехал в Петербург и больше, насколько мне известно, не принимал участия в терроре. Сазионов тоже уехал к себе на родину, в Уфу. К старым членам организации присоединились новые: Сулятицкий, Александр Фельдман, Борис Успенский, Мария Худатова и жена Владимира Вноровского Маргарита Грунди.

Азеф руководил покушением на премьер-министра Столыпина. Столыпин после взрыва на Аптекарском острове жил в Зимнем дворце и ездил ежедневно к царю в Петергоф катером по Неве и затем по морю, на яхте. Наблюдающий состав, куда вошли и новые члены, за исключением Успенского, уехавшего в провинцию за паспортами, очень скоро установил все подробности выезда Столыпина: премьер-министр садился в катер на Зимней канавке и ехал так до Балтийского завода или Лисьего Носа, где пересаживался на яхту. На министерской яхте были два матроса социалиста-революционера. Они давали нам сведения о времени прибытия министра и о месте стоянки яхты. Сведениями этими для покушения невозможно было воспользоваться: мы получали их *post factum* и они служили только проверкой для наших наблюдений.

Между тем, слабость боевой организации стала предметом критики для всей партии. Даже в центральном комитете раздавались голоса, осуждавшие наши приемы борьбы. Азеф и я, в виду этого, поставили, на одном из заседаний центрального комитета, вопрос о доверии к нам. Доверие это было нам выражено. Но мы не ограничились этим. Мы оба видели, что дело Столыпина подвигается очень медленно и что хотя путь и выезды премьера нам известны, но до покушения еще далеко; бросить бомбу с Дворцового или Николаевского мостов было едва ли возможно, — мосты усиленно охранялись, организовать же нападение на катер на Неве нам казалось весьма затруднительным, — мы не имели к тому никаких средств. Объяснив центральному комитету положение дела, мы сказали, что не можем принять на себя ответственность за успешное покушение, не принимая же ответственности, — не можем стоять во главе организации. Мы просили снять с нас наши полномочия.

Центральный комитет не согласился с нами. Он обязал нас продолжать покушение на Столыпина.

Заседание это происходило в сентябре 1906 года, на Иматре, и на нем присутствовали, кроме Азефа и меня, еще следующие члены центрального комитета: Чернов, Натансон, Слетов, Крафт и Панкратов.

Мы подчинились решению центрального комитета. Я оставался

в Финляндии. Азеф часто уезжал в Петербург, чтобы лично руководить наблюдением за Столыпиным. Пользуясь сравнительно свободным временем, я в Гельсингфорсе попытался с помощью Эсфирь Лапиной (Бэлы) организовать небольшую террористическую группу для актов второстепенного значения, т.н. центральный боевой летучий отряд.

Этот отряд должен был находиться в заведывании центрального комитета. Он ставил своей ближайшей задачей убийство петербургского градоначальника ген[ерала] фон-дер-Лауница. Я же придавал ему еще и другое значение. Я видел, как неподготовленность к боевой работе отражается на терроре; я помнил наши неудачи во время покушения на Плеве, неудачу дела Клейгельса, недостатки наблюдения за Дурново и т.д. Я думал, что товарищи, прошедшие школу хотя и небольшого террористического акта, приобретут необходимый для центрального террора опыт, что совместная работа заставит их сблизиться между собою и, наконец, что эта совместная работа, естественно, выдвинет на руководящие роли лиц, более всего к этому способных, обладающих инициативой и энергией. Я смотрел поэтому на летучий боевой отряд, как на своего рода тяжелую школу для террористов, и считал, что каждый член этого отряда является кандидатом в боевую организацию.

Хотя мое мнение о наружном наблюдении, как об основе работы, значительно поколебалось, но я все-таки еще полагал, что акты менее значительные, а следовательно, и менее трудные, могут быть совершены этим путем. Поэтому покушение на ген[ерала] Лауница первоначально строилось по прежнему, общепринятому плану: во главе дела стояли Бэла (Лапина) и ее ближайший помощник Роза Рабинович. Наблюдающими, в качестве торговцев в разнос, были: Сергей Николаевич Моисеенко, брат Бориса Моисеенко, слесарь из Екатеринослава, по имени Александр, и старик позолотчик (Сухов), участвовавший вместе с Конопляниковой в приготовлениях к покушению на ген[ерала] Мина. Фамилия его, как и товарища Александра, осталась мне неизвестной. В октябре упомянутые лица приступили к делу ген[ерала] Лауница, но уже через полтора месяца должны были от него отказаться. Сергей Моисеенко заметил за собой наблюдение, Александр же и старик-позолотчик впоследствии, по разным причинам, вышли из организации.

Покушение на Столыпина тоже не подвигалось вперед. Наблюдающий состав по-прежнему отмечал каждый выезд Столыпина к царю, но по-прежнему не было возможности приступить к покушению. Только попытка открытого нападения на премьер-министра, в момент его выхода из Зимнего дворца, давала некоторую надежду на успех. Но и от этой попытки нам пришлось отказаться. Этому было несколько причин.

Во-первых, нам не было в точности известно, когда именно Столыпин садится в катер, вернее, время его выхода из дворца было неопределенно. Следовательно, нападающая группа должна была с

бомбами в руках ожидать его выхода неопределенное время именно в тех местах, где была сосредоточена охрана: на Дворцовой набережной, на Мойке и на Миллионной. Было более, чем вероятно, что нападающие будут заблаговременно замечены филерами.

Во вторых, даже в случае, если бы нападающие обманули бдительность охраны, нападение с трудом могло увенчаться успехом: Столыпин выходил из подъезда дворца и, перешагнув через тротуар Зимней канавки, спускался к катеру. При первом выстреле он мог повернуть обратно в подъезд и скрыться в неприступном Зимнем дворце. Помешать этому мы не могли.

Азеф устроил собрание членов организации в Териоках, и на собрании этом было решено, по вышеуказанным мотивам, дело Столыпина временно прекратить. Я оставался в Гельсингфорсе, где за мной было учреждено неотступное наблюдение. Я не знал причин этого наблюдения и объяснял его своей случайной встречей на улице с арестовавшим меня в Севастополе агентом охранного отделения Григорьевым.

Тогда же произошел следующий случай.

Сулятицкий, наблюдая, в качестве торговца яблоками, на Дворцовом мосту за выездами Столыпина, был сперва арестован и отведен в участок, а затем — в охранное отделение. Там его подвергли подробному допросу. Он объяснил, что он крестьянин такой-то губернии, такого-то уезда и волости, приехал в Петербург искать работы и, не найдя ее, принялся за торговлю в разнос; на все остальные вопросы он отзывался непониманием. В охранном отделении усомнились, однако, в подлинности его паспорта, если не в правдивости его слов. В сопровождении одного городского его отправили к мировому судье — он подлежал высылке на родину для удостоверения его личности. Из камеры мирового судьи Сулятицкий бежал.

Азеф отнесся к этому рассказу с таким же недоверием, как некогда я — к рассказу Арона Шпайзмана. Оставшись со мной наедине, он сказал:

— Мне рассказ Малютки (Сулятицкого) не нравится... Правда ли все это?

Я знал Сулятицкого. Я ни на минуту не усомнился в правдивости его слов, я был убежден, что Сулятицкий не может сказать неправды. Я сказал об этом Азефу.

Азеф покачал головой.

— Ты его знаешь... Конечно... Но как ты знаешь его? Разве самые честные люди не становились провокаторами? Мало ли таких примеров? Разве ты можешь поручиться за Малютку?

Я был оскорблен за Сулятицкого. Я решительно и резко сказал, что я ручаюсь за него так же, как за себя.

Азеф ответил лениво, едва роняя слова:

— Ты ручаешься, а я все-таки ему не верю. Арестовали... Привели в участок... К судье... Бежал... Что-то не ладно. Я снимаю с себя за него ответственность.

Я ответил, что целиком принимаю эту ответственность на себя. Азеф умолк. Потом он сказал:

— Ты не успокоил меня, я все-таки не верю Малютке... Но оставим это... Как вести дальше дело?

Я сказал, что для меня нет сомнений, что организация в полном параличе. Я повторил затем Азефу то, что говорил Гоцу: что, по моему мнению, единственный радикальный способ укрепить организацию и поднять террор на надлежащую высоту заключается в применении к нему технических изобретений. Я сказал также, что мы оба устали и не можем с прежним успехом вести дела, ибо наша усталость, несомненно, отражается на их ходе.

Азеф, выслушав меня, согласился со мной:

— Да, — сказал он, — я тоже думаю так. Нам следует заявить центральному комитету, что мы не можем больше руководить боевой организацией.

Через несколько дней состоялось второе заседание центрального комитета, посвященное специально вопросу о боевой организации. На заседании этом присутствовали, кроме Азефа и меня, товарищи: Натансон, Чернов, Аргунов, Слетов, Крафт и Ракитников. Я говорил от имени своего и Азефа. Я подробно указал на все недостатки принятого метода боевой работы, на неудачи покушений на Дурново и Столыпина. Я заявил, что, по моему мнению, наружное наблюдение бессильно против специальных мер предосторожности, принимаемых министрами; что Дурново был неуловим, а Столыпин путешествует по воде; что открытое нападение, по типу максималистов, для нас недоступно, ибо организация построена на наружном наблюдении, лишена подвижности, лишена также и боевой инициативы; в наблюдающий состав, естественно, отбираются люди выносливые, терпеливые и пассивные; люди же активной инициативы и революционной дерзости, не находя себе применения в боевой организации, уходят к максималистам. Я сказал также, что виной этому — рутина нашей боевой работы, виной же этой рутины — мое и Азефа утомление, и сказал также, что радикальное решение боевого вопроса я вижу в технических усовершенствованиях, но что, как паллиатив, я допускаю увеличение численного состава организации. Оно улучшит наружное наблюдение и, быть может, доведет его до той степени, когда никакие меры, принимаемые министрами, уже не окажутся достаточными. Я сказал еще, что ни Азеф, ни я не можем в настоящее время взять на себя руководство боевой организацией, какую бы форму она ни приняла, ибо оба мы настоятельно нуждаемся в отдыхе.

Центральный комитет, выслушав меня, постановил нас от наших обязанностей освободить. Член его Слетов и член поволжского областного комитета Гроздов заявили, что готовы принять, с нашим уходом, ответственность за руководство боевой организацией.

Еще раньше, чем сообщить о нашем решении центральному комитету, мы сообщили о нем товарищам по организации. Мнение

наше разделялось большинством из них. Только несколько человек, главным образом Павла Левинсон, Владимир Вноровский и жена его Маргарита, искали причины слабости боевой организации не в принятом методе работы. Они думали, что причины лежат, скорее, в форме организации, в ее внутреннем устройстве. По их мнению, основным недостатком боевой организации было руководство ею комитетом, наделенным неограниченными полномочиями, т.е. Азефом и мной. Они полагали, что замена комитета общим собранием членов организации значительно улучшит положение дел, ибо каждый товарищ будет в состоянии влиять на решения, прилагая свой организационный опыт и свою инициативу. Подавляющее число товарищей, в том числе и я, находили, что они неправы. Во-первых, форма организации, принятая нами в вопросах организационных и технических, оставляющая за комитетом всю полноту прав, не исключала возможности применения инициативы и организационного опыта отдельных членов организации. Фактически ни одно решение ни по делу Плеве, ни по делу Сергея, Дубасова, Дурново, Столыпина и т.д. не принималось без предварительных долгих и подробных совещаний с товарищами: Сазонов, Каляев, Борис Вноровский и многие другие вложили в эти дела много личной инициативы и самостоятельной энергии. Ни о каком стеснении в этом смысле никогда не могло быть речи. На совещаниях, действительно, практический ум и организационный опыт Азефа, обыкновенно, в конечном счете, влияли на принятое решение больше, чем мнение кого бы то ни было из товарищей, но все товарищи единогласно признавали авторитет Азефа в практических делах.

Во-вторых, мы находили, что боевое дело, по самой своей сущности, требует единой, стоящей во главе его, воли. Во всех случаях разногласия, несходства мнений по текущим вопросам, — единственно такая воля могла вывести организацию из тупика бесконечных прений.

В-третьих, наконец, постоянные совещания всех членов организации по конспиративным причинам были неосуществимы: было затруднительно собирать вместе химическую группу и наблюдающий состав, особенно, когда в него входили извозчики и торговцы. Такие собрания неизбежно привели бы к арестам.

Если по этому вопросу существовало некоторое разногласие во мнениях, то зато все члены организации сходились в следующем: все они, без исключения, считали, что боевая организация настолько слаба, что не может в данное время справиться с крупным центральным актом, и что для успеха террора необходимы радикальные изменения в самой постановке дела. Работать под руководством товарищей, им лично неизвестных, — Слетова и Гроздова, — все члены боевой организации отказались.

С нашим уходом она разделилась на три части: Борис Успенский, Всеволод Смирнов, Мария Худатова, Александр Фельдман, Валентина Попова, Рашель Лурье и Александра Севастьянова ото-

шли от работ. Владимир Вноровский, Маргарита Грунди, Горинсон и Павла Левинсон уехали в Одессу, где, построив организацию на принципе общих собраний, попытались произвести покушение на ген[ерала] Каульбарса. Покушение это не было ими приведено в исполнение. Зильберберг, его жена, Сулятицкий, „Адмирал“ и Иванов остались в Петербурге для актов второстепенной важности, как, например, убийство главного военного прокурора ген[ерала] Павлова. Во главе этой группы стоял Зильберберг. Азеф и я уехали за границу.

VII

В начале января 1907 г. ко мне в Болье, где я жил, приехал из Италии Азеф. Он сказал:

— Я привез тебе хорошую новость. Вопрос о терроре решен. Боевая организация возродится.

И он рассказал мне следующее:

Некто Сергей Иванович Бухало, уже известный своими изобретениями в минном и артиллерийском деле, работает в течение 10 лет над проектом воздухоплавательного аппарата, который ничего общего с существующими типами аэропланов не имеет, и решает задачу воздухоплавания радикально: он подымается на любую высоту, опускается без малейшего затруднения, подымает значительный груз и движется с максимальной скоростью 140 километров в час. Бухало по убеждениям скорее анархист, но он готов отдать свое изобретение всякой террористической организации, которая поставит себе целью цареубийство. Он, Азеф, виделся с ним в Мюнхене, рассмотрел чертежи, проверил вычисления и нашел, что теоретически Бухало задачу решил, что же касается конструктивной ее части, то в этом и состоит затруднение. У Бухало нет достаточно средств для того, чтобы поставить собственную мастерскую и закупить необходимые материалы. Средства эти нужно достать: если действительно, будет построен такой аппарат, то цареубийство станет вопросом короткого времени.

Я слушал слова Азефа, как сказку. Я знал об опытах Фармана, Делагранжа и Блерно, знал и о том, что в Америке братья Райт достигли в воздухоплавании крупных успехов. Но аппарат, развивающий скорость в 140 километров в час и поднимающий на любую высоту большой груз, казался мне несбыточной мечтой. Я спросил:

— Ты сам проверял чертежи?

Азеф ответил, что он в последнее время специально изучал вопрос о воздухоплавании и сам проверил все формулы Бухало.

Тогда я сказал:

— Ты веришь в это открытие?

Азеф ответил:

— Я не знаю, сумеет ли Бухало построить свой аппарат, но задача, повторяю, в теории решена верно. Нужно рискнуть. Риск

только в деньгах. Нужно только тысяч двадцать. Я думаю, что на это дело можно и должно рискнуть такой суммой.

Азеф тут же развил план террористических предприятий с помощью аппарата Бухало. Скорость полета давала возможность выбрать отправную точку на много сот километров от Петербурга, в Западной Европе — в Швеции, Норвегии, даже в Англии. Подъемная сила позволяла сделать попытку разрушить весь Царско-сельский или Петергофский дворец. Высота подъема гарантировала безопасность нападающих. Наконец, уцелевший аппарат или, в случае его гибели, вторая модель могли обеспечить вторичное нападение. Террор, действительно, подымался на небывалую высоту.

Когда Азеф кончил, я спросил:

— Уверен ли ты, что Бухало отдаст свое изобретение боевой организации?

Азеф сказал:

— Да, я уверен. Это бесстребник и убежденный террорист. В нем сомневаться нельзя.

Азеф, по специальности, был инженер. Я не имел никаких технических знаний. Я сказал:

— Я полагаюсь на твоё слово. Я согласен, что для такого дела, даже если оно и кончится неудачей, можно и должно затратить 20 тысяч рублей. Но, по-моему, деньги эти должна дать не партия, а частные лица, посвященные в курс предприятия и знающие, что они рискуют своим капиталом.

Азеф согласился со мной.

Деньги для Бухало были пожертвованы: 3000 руб. дал М.О. Цейтлин, 1000 руб. — Б.О. Гавронский, остальные — неизвестный мне лично, Доенин. Бухало оборудовал в Мюнхене мастерскую, нанял рабочих и приступил к конструкции своего аппарата.

Я приветствовал эту попытку. В моих глазах это был первый шаг к радикальному решению вопроса о терроре. В случае действительной ценности нового изобретения, боевая организация становилась непобедимой.

В феврале того же года я впервые увидел Григория Андреевича Гершуни.

Я знал Гершуни по рассказам Михаила Гоца. Он отзывался о нем с глубокой любовью и уважением. Я знал также, что он, Гершуни, организовал убийство мин[истра] внутр[енних] дел Сипягина и уфимского губернатора Богдановича и покушение на харьковского губернатора кн[язя] Оболенского. Я следил за его процессом. Я, не зная его лично, с тревогой ждал его казни. Я радовался, когда он бежал из акатуйской каторжной тюрьмы. Вместе с другими товарищами, я видел в нем вождя партии и шефа террора.

Я знал его также и по его статьям в „Революционной России“, и по письмам из Шлиссельбурга от 1905 г. Вот отрывки из этих неопубликованных до сих пор писем.

„Бабушке^{*}, Михаилу Рафаиловичу[#], Виктору Мих.^Δ и всем близким товарищам.

Наконец — то я, друзья мои, получил от вас известие: вы живы, здоровы и невредимы. Каким радостным и успокоительным было для меня это известие, вы во всей полноте вряд ли представите себе. Но не в том дело. Вы живы, — это главное, и я уже окрыляюсь надеждой, что, быть может, мне еще доведется прижать вас к груди и снова очутиться с вами в рядах партии. Как странно! Минутами кажется, что целая вечность отделяет меня от живого прошлого, минутами — точно вчера мы расстались, но расстались безвозвратно. Живой мир, борьба казались в этой могиле так безнадежно утраченными, что порой прямо не верится, что впереди еще что-то ждет тебя светлое. Все теперь переживаемое представляется тебе каким-то сном. Подумайте: с апреля 904 по август 905 я не видел ни живой души и не имел никакого представления о том, что делается на свете.

Я возлагал надежды на естественные, благоприятные для страны результаты войны, но опасался, не заставит ли партию патриотический пыл „непобедимых россов“ временно прекратить деятельность. В августе 905 г. комендант по одному частному поводу проговорился, что Плевэ уже нет, „вышел в отставку“. Плевэ вышел в отставку, в отставку вынуждена выйти и партия, так представлялось мне положение дел. Через две недели я получил газету „Хозяин“ за 904 г., из которой узнал, что с сентября настала какая-то „весна“, что произошел решительный поворот правительственной политики, что 12 декабря, к торжеству России, дан „правовой порядок, восстановлены „великие реформы“. Где-то промелькнуло: „покойный министр Плевэ“. Покойный волей божей или партии? Ровно месяц я терзался в неизвестности: Плевэ умер, но жива ли партия? Ибо для меня ясно было, что если он умер естественной смертью, и весь поворот произошел без давления партии, партия раздавлена. 15 сентября, в день перевода меня в новую тюрьму, комендант рассказал мне все: что Плевэ убит Сазоновым, что Сазонов жив и сидит здесь, что смерть Плевэ встречена восторженно всеми, что объявлена конституция, что учреждена Гос[ударственная] Дума и пр. В тот же день я увиделся со всеми старыми шилссельбуржцами, узнал о позорном разгроме „непобедимых россов“, о каких-то неопределенных волнениях, о казни, бывшей здесь в связи с покушением на Сергея, и массу мелких известий, тогда-то производивших на меня потрясающее впечатление по своей импозантности. Настали радостные, светлые дни, казавшиеся мне особенно светлыми после подавляющего мрака и одиночества 904–905 г.г. „Конституция“ — результат напора революционных сил, значит, партия жива, значит, борьба будет продолжаться, значит, вырвет нечто существенное. Что делается на воле, мы не знали. Изредка удавалось схватить неопределенные, неясные намеки на брожение, на всеобщее недовольство, на рост оппозиции. По этим намекам мы рисовали себе фантастические, дух захватывающие картины народного движения, порой пессимистически относясь к своим оптимистическим фантазиям. И, боже мой, какими жалкими, бесцветными оказались эти фантазии в сравнении с действительностью! Известия, сообщенные Константиновичем, были жгучим, ослепительно ярким снопом света, ударившим в наши потемки. Точно вихрь ворвался в наш склеп и перевернул все вверх дном, а сердце, точно спугнутая птица, трепещет, радостно и порывисто рвется туда, наружу! Трудно вам передать ясно то странное, двойственное настроение, крайне нервное и приподнятое, которое охватило нас в эти дни. Последнее

*Г. Брешковская.

#Гоц.

ΔЧернов.

время, после первого радостного потрясения, начал постепенно приходить в себя и успокаиваться. С одной стороны, бодрящее сознание, что довелось дожить до момента поворота России, с другой, — уверенность, что созидательная работа партии пойдет теперь планомерным путем, совершенно помирили меня с моим положением, и, после отъезда стариков, я расположился на зимние квартиры. Свидание с отцом, не открывшим мне положения дел, но обнадежившим в возможности близкого освобождения, еще более успокоило нас. И тут вдруг перед нами, во всей грандиозности, совершенно неожиданно развернулась вся картина пережитого страной за последний год! Все величие момента встало перед нами во всей своей необъятности и, сконцентрированное во времени и пространстве, в первую минуту раздавило нас своими размерами и необъятными горизонтами. Навзавтра мы получили „Сын Отечества“, сразу выяснивший нам положение дел и, каюсь, заставивший позавидовать вам, все это пережившим в горниле борьбы. Из-за печатных строк перед нами встает гром революции, смертный бой с ненавистным чудовищем, а мы тут вынуждены, полные сил и жажды борьбы, в бездействии томиться в царской цитадели! Момент — единственный не только в истории России, но и Европы, небывалый по широте настроения и задач, — идет мимо нас, будто мимо мертвецов!

К мечам рванулись наши руки,
Но лишь оковы обрели!..

Сбылось предсказание — последние да будут первыми... Россия сделала гигантский скачок и сразу очутилась рядом с Европой, но оказалась впереди ее. Изумительная по грандиозности и стройности забастовка, революционность настроения, полное мужества и политического такта поведение пролетариата, великолепные его постановления и резолюции, сознательность и организованность трудового крестьянства, готовность его биться за решение величайшей социальной проблемы, — все это не может не быть чревато сложнейшими благоприятными последствиями для всего мирового трудового народа, и России, по-видимому, в двадцатом веке суждено сыграть роль Франции девятнадцатого века. Но крупнейшим счастливым результатом будет, как то мне кажется, то, что России удастся миновать пошлый период мещанского довольства, охватывавший мертвящей петлей европейские страны, переживавшие революционный период при менее благоприятной конъюнктуре и в другой исторической эпохе. Какое счастье выпало на долю партии! Вот уж именно — сеется в унижении, восстает во славе; сеется в немощи — восстает в силе. При благоприятных условиях, если только вожди окажутся на высоте своей задачи, партия может занять в ближайшем будущем положение, которому позавидуют все европейские партии. Не жалейте только сил на достижение возможно скорейшего объединения в одну российскую социалистическую партию. Как это ни трудно, постарайтесь забыть все тяжелое, безобразное, лежащее преградой по пути к объединению, все личные отношения, — ведь теперь социал-демократия находится уже не в руках отдельных лиц, а части организованного пролетариата, к здравому смыслу и гражданскому долгу которого вы можете и даже обязаны в ближайшем будущем апеллировать. Имея в виду желательность и неизбежность такого предстоящего объединения, вы, конечно, будете прилагать все старания не обострять настоящих отношений и в полемике по-прежнему побеждать не ухарством, а благородством. Пусть по-прежнему останется распределение сил на наиболее чуткие, морально-чистые элементы, тогда и победа обеспечена за вами.

Милая Рая*. Как она, вероятно, изменилась! Из прежней скромненькой, робкой девочки она, мне рисуется, превратилась в пышную красавицу, с высоко поднятой головой, победоносно и гордо шествующую сквозь толпу покорных поклонников. Как-то она встретит, если только этот счастливый час настанет, своих друзей детства? Пожалуй, отуманенная успехом, давно уже забыла о поре первой юношеской любви и первых вздыхателях?.. Вот говорю о встрече, а ведь это, возможно, и „бессмысленное мечтание“. Рисуешь себе торжествующее шествие революции, затоптанную в грязи гидру самодержавия, но раздастся окрик часового, помотришь на эти ужасные стены, и невольно дрожь охватит тебя: Шлиссельбург стоит, — самодержавие еще живо! Недаром же в воротах его красуется золотая надпись: „государева“; пока не разбита эта надпись, — цело и не безнадежно „государево дело“.

Но что бы ни было впереди, мы постараемся снова войти в колею, терпеливо ждать минуты освобождения и готовиться к этой великой для нас минуте: настанет же она когда-нибудь.

Несколько вырезок „С[ына] От[чества]“ произвели на нас хорошее впечатление. Статья „О забастовках“, „А все-таки не верьте“, „Скорбный манифест“, фельетон Максимова о сарат[овском] крест[ьянском] движ[ении] — великолепны. Статья Ратнера о радикальной программе мне ой-ой как не понравилась! В некоторых статьях много пистолетов, и пистолетов скверных, хотя в такое боевое время, может, и незаметных. Старайтесь привлечь в сотрудники возможно больше народу, активно действующего в партии, и отвлекать возможно больше социалистически-малосознательных. По нескольким номерам трудно, конечно, судить, но мне кажется, классовая точка зрения не всеми твердо и сознательно проводится и не все еще сотрудники сжились с сознанием, что это орган *трудового народа*, связанный с интеллигенцией лишь постольку, поскольку последняя порывает со своей средой и, под влиянием идеалистических мотивов, становится в защиту интересов этого народа, отказываясь от каких-либо самодовлеющих интересов. Трудовой народ должен *почувствовать всем нутром* своим, что это действительно его орган, что все и все служат ему и выражают лишь его интересы, что в этом органе все одушевлено им, что единственный хозяин — он, все другие приходят к нему в гости, а не он находится в гостях у благожелателей.

Если у вас, друзья, будет время, — я был бы счастлив получить от вас восточку. Ознакомьте меня с положением партийных дел, с партийными органами и видами на будущее. Так как родные, быть может, только желая утешить нас, обнадеживают скорым освобождением, прошу вас, как товарищей, сообщить действительное положение этого вопроса. Вы понимаете, как неразумно было бы что-либо скрывать перед нами: мы не институтки и умеем смотреть действительности прямо в глаза. Знать же нам необходимо, чтобы быть в состоянии, сообразно положению дела, распределить свои занятия (ведь мы здесь не бездельничаем).

Всем товарищам горячий привет. Дорогой Михаил Рафаилович, выдвигайвай скорей! Вот бы теперь тебе здоровье с удовольствием отдал бы, ибо не знаю, куда девать его.

Каковы ваши предположения о газете для широких масс? Видел объявление о „Буревестнике“, но хорошо не понял, что за этим кроется...

Почему вы избегаете старых партийных названий? Какое подходящее для социалистической газеты было бы, например, „Голос Труда“. Кстати. Не в виде упрека, а в виде вопроса: почему вы предпочли войти в старый

*Боевая организация.

орган с таким бесконечно нелепым прошлым, а не выступить в ad hoc* учрежденном? „Сын Отечества“! Чорт возьми, ведь пока сживешься с тем, что это действительно сын отечества, а не сукин сын, сколько времени должно пройти еще! Любопытно, что ту же злую шутку судьба сыграла и с „Отечественными“ записками, но, если я не ошибаюсь, до последней минуты редакция скорбела об этом нелепом названии, и Михайловский даже прямо где-то заявил, что если бы „от них зависело“, они бы подобрали более соответствующее название. Не подумываете ли вы о понижении подписной цены? до 8 руб.? 12 руб. слишком уж буржуйская сумма. Каков ежедневный тираж и как расхочется 2-е издание? Как обстоит дело с партийной брошюрной литературой? Ужели „Рев[олюционная] Рос[сия]“ так и закроется, и все заграничное издательство уже не нужно? До чего дожили!

Что будет теперь с „Русск[им] Бог[атством]“? Где и как теперь Марк Андреевич? Как вы встретили наших стариков? Какие установились у вас отношения и что они внесли к вам? Я уже писал вам про Антонова. Он, Мартынов и Панкратов сумеют сыграть крупную роль в объединении пролетариата с крестьянством. Разнесите широко их имена, сделайте их популярными и дорогими для пролетариата, который вправе и должен гордиться ими. С Ант., не имеющим еще никаких связей, постарайтесь повидаться лично и приютить его. Это необычайно милый, душевный человек. Как здоровье Веры Николаевны? Получила ли она возможность развернуть крылья? Вошел ли в колею Лопатин? Пишите, пожалуйста, обо всех подробно. Морозов, чорт, если бы не ухлопал век на свою химию, каким бы дорогим человеком мог теперь быть! Привет им всем.

Союзники кланяются вам всем, Сазонов обнимает.

Собудьте подробно о крестьянском союзе. Рад бы узнать об участии там А.Ос. Сносился ли вы организационно или он все волком норовит в лес, в одиночку? Привет ему низкий! Каково истинное положение наше в армии? Действительно ли Раечка там душкам-военным кружит головы, как нам нахвастила? Что привело меня в безумный восторг, так это — позиция крестьянства. Вот победа наша, действительно страданная! Сколько насмешек, издевательства пришлось партии перенести из-за этого вопроса! И вы с полным правом можете сказать себе, что если бы не настойчивость партии в этом пункте, если бы не ее предварительная работа — степень сознательного отношения крестьянства была бы совсем другая и результаты для крестьянства, несомненно, менее благоприятные. Жестокая ирония судьбы! Крестьянство может выйти из борьбы с социальной победой — вопреки партии, именующей себя социалистической (я говорю о С.-Д.), и эта социалистическая партия в своих требованиях стоит позади даже „Нового Времени“! Не успею кончить. Обнимает всех вас преданный вам Гр...”

„Дорогие товарищи!

С сердцем, трепетным и радостным, мы прислушиваемся к неясным, смутным отзвукам борьбы, гремящей там, за стенами нашей тюрьмы. То, о чем так страстно мечтали, что казалось то бесконечно близким, то бесконечно далеким, начинает сбываться: страна подымается, рвет рабские оковы, и сквозь мрак, окутывающий нашу крепость, мы видим отблески зари восходящей над Россией свободы. Ужас захватывает душу при мысли о страшной цене, которой куплена эта заря, о чудовищно тяжких жертвах, понесенных народом. Вечным позором да ляжет на продажные головы виновных эта ответственность за эти жертвы и да будут они вечным укором тем, кто не препятствовал шайке куртизанов и авантюристов терзать ис-

*Для этой цели (лат.). — Ред.

страдавшую и измученную страну. Тем больше мужества и гражданской честности требуется в этот великий момент от тех, кто стал в защиту интересов и свободы народа, тем больше испытаний вас ждет впереди, товарищи партии соц.-рев... Много будет попыток предать и продать народ за чечевичную похлебку, которую умирающий режим готов уступить буржуазии, а на плечах народа и революционеров, самоотверженно вынесших всю тяжесть борьбы, устроить свое мещанское благополучие. Отойдут от вас холодные к интересам трудового народа, попытаются прийти ищущие популярности, трусливо прятавшиеся раньше. Партия не будет жалеть о первых и отвергнет вторых. С надежным компасом — свобода и счастье трудового народа — соц.-рев. партия пробьется сквозь ряды открытых врагов и лицемерных друзей. Оторванные от партии правительством, но связанные с ней неразрывными узами идейными, мы всей душой, всеми чувствами и мыслями с вами, незабвенные товарищи, с вашей творческой и плодотворной работой. Шлем со старшими братьями, 20 лет терзавшимися в когтях деспотизма и сегодня покидающими мрачный Шлиссельбург, горячий товарищеский привет всем, всем борющимся под знаменем социализма. Радуйтесь прибывшим и не скорбите об оставшихся и осиротевших.

С твердой верой в политический такт, мужество и самоотверженность соц.-рев. партии, в силу и стойкость трудового народа, мы бодро глядим в будущее России, бодро встречаем разлуку с товарищами, скорбим лишь о том, что и тут правительством умудрилось отягчить их судьбу.

Григорий Гершуни.*

28 октября 1905 г.

В Гершуни обращала внимание его наружность. Когда я в Париже вошел в его комнату в „Гранд-Отель“, я увидел типичного еврея, среднего роста и крепкого телосложения. На обыкновенном добром еврейском лице, как контраст ему, выделялись совершенно необыкновенные, большие, молочно-голубые холодные глаза. В этих глазах сказывался весь Гершуни. Достаточно было взглянуть на них, чтобы убедиться, что перед вами человек большой воли и несокрушимой энергии. Его слова были тоже, по первому впечатлению, обыкновенно бесцветны. Только в дальнейшем разговоре выяснялась сила его логических построений и чарующее влияние его проникновенной веры в партию и социализм. Эта первая наша встреча была целиком посвящена его воспоминаниям о Шлиссельбурге и Акатуе, — о Сазонове, Сикорском и старых шлиссельбургцах. Я видел в этот раз его очень недолго. Он с Азефом ехал на второй общепартийный съезд, состоявшийся в феврале 1907 г. в Финляндии, в Таммерфорсе. На этом съезде он был избран в члены центрального комитета.

VIII

Всю зиму и весну 1907 г. я с нетерпением ожидал результатов работы Бухало. Мое мнение о постановке боевого дела осталось прежним, — я не видел причин его менять. Я все надежды возлагал на научную технику. Азеф соглашался со мной. После таммерфорского съезда он остался в России, но не принял непосредственного участия в террористических предприятиях. Он занимался делами центрального комитета.

Я посетил Бухало в его мастерской, в Моссаве около Мюнхена. За токарным станком я нашел еще не старого человека лет 40, в очках, из-под которых блестели серые умные глаза. Бухало был влюблен в свою работу: он затратил на нее уже много лет своей жизни. Он принял меня очень радушно и с любовью стал показывать мне свои чертежи и машины. Подо дя к небольшому мотору завода Антуанетт, он сказал, хлопая рукой по цилиндрам:

— Привезли его. Я обрадовался. Думал, у него душа. А теперь пожил с ним, вижу — просто болван. Придется его переточить у себя...

Точно так же, как к живым существам, он относился к листам стали, к частям машин, к счетной линейке, уже не говоря о его чертежах и сложных математических вычислениях. От каждого его слова веяло верой в свой аппарат и упорной настойчивостью. О революции он говорил мало, с пренебрежением отзывался о нелегальной литературе и отмечал многие, по его мнению, ошибки в тактике партии. Зато террор он считал единственным верным средством вырвать победу из рук правительства. Уезжая из Мюнхена, я уносил с собой если не веру в ценность его открытия, то полное доверие к нему. Я был убежден, что он использует в своем деле все, что могут дать наука, дарование и опыт.

Работы Бухало затянулись. К августу стало ясно, что если даже он и решит задачу воздухоплавания, то не в близком будущем; в конструкции своего аппарата он встретил неожиданно затруднения.

Азеф вернулся уже за границу и жил со своей семьей в Швейцарии, в Шарбоньере. Он вызвал меня к себе для совещания по вопросам террора.

Это совещание состоялось в Монтре. В нем участвовал также Гершуни.

В начале совещания Азеф заявил:

— Из дела Бухало не скоро что-либо выдет. Нужно ехать в Россию.

Я сказал:

— Чтобы ехать в Россию, нужно знать, что и как мы намерены делать.

Тогда Гершуни спросил:

— Что же, по вашему мнению, возможно сделать?

Я сказал следующее.

Опыт боевой организации убедил меня, во-первых, в том, что принятая форма организации не соответствует задачам террора. Организация, построенная на методе наружного наблюдения, не обладает достаточной гибкостью, — она не может осуществлять открытых нападений вооруженными группами. Этому мешает как официальное положение наблюдающих (извозчики, торговцы), так и отсутствие сведений о царе, великих князьях и министрах. Такие сведения могла бы собирать и ими пользоваться только специальная, для этой цели приспособленная группа, члены которой были бы

в связи со всеми партийными учреждениями, а не замыкались бы в узкие рамки террористической организации. Опыт показывает, однако, что такие сведения имеют обыкновенно характер слухов, что ими следует пользоваться с величайшей осторожностью, что ни в коем случае их нельзя принять за основание для всей террористической деятельности боевой организации. В лучшем случае, они могут дать возможность совершить отдельный террористический акт.

Я сказал, что, во-вторых, опыт убеждает меня в том, что метод наружного наблюдения не дает существенных результатов, по крайней мере, при том количестве наблюдающих, какое было принято и допускалось как притоком из партии годных для наблюдения сил, так и формами самой организации. Я сказал также, что увеличение наблюдающего состава, быть может, отразится благоприятно на результатах наблюдения.

Опыт боевой организации, по моему мнению, вполне подтверждался опытом последующих террористических актов: убийство ген[ерала] Лауница, генерала Павлова (декабрь 1906), где случайные сведения дали возможность приступить к покушению, но не позволили на этих сведениях построить весь план дальнейшей работы; арестов Штифтаря и Гронского (февраль 1907 г.), арестов товарищей по так называемому „царскому процессу“ (31 марта 1907 г.) и ареста участников второго покушения на премьер-министра Столыпина (летом того же года).

Исходя из всего вышесказанного, я утверждал, что единственным радикальным решением вопроса остается, по-прежнему, применение технических изобретений. Значит, необходимо, во-первых, поддерживать предприятие Бухало, и, во-вторых, изучить минное и саперное дело, взрывы на расстоянии и т. п.

Как временный паллиатив, я предлагал следующий план.

В виду крайней необходимости немедленных террористических выступлений и в виду невозможности пока использовать научную технику, партия должна напрячь все свои силы, не жалея ни средств, ни людей, на восстановление боевой организации в том ее виде, какой, по моему мнению, единственно был способен развить достаточную для успешного действия террористическую энергию. Наблюдающий состав должен быть увеличен до нескольких десятков человек. Параллельно с ним должна быть создана группа, цель которой должна состоять в открытых вооруженных нападениях на основании собираемых ею, при помощи партийных учреждений, сведений. Во главе такой организации, включающей, конечно, и химиков, должен стоять сильный, практический и авторитетный морально центр. Я считал, что в такой комитет должен войти и Гершуни.

Гершуни молчал. Когда я кончил, Азеф спросил:

— Если в организации будет несколько десятков, пятьдесят — шестьдесят человек, то как не допустить провокации?

Я ответил, что строгий выбор членов может, до известной сте-

пени, оградить от провокатора, строгие же формы организации, разделение труда и изоляция отдельных работников могут уменьшить вред его даже в случае его проникновения.

Тогда Азеф сказал:

— Ты не раз говорил мне, что я переполняю организацию новыми членами, а теперь хочешь сам переполнить ее еще больше.

Я ответил на это, что я видел переполнение организации в приеме новых членов, для которых не было в данный момент работы. Такие товарищи жили бездельно в Финляндии, а это деморализующим образом отражалось на них и на всей организации. В моем же плане каждый человек будет занят полезной работой.

Тогда Гершуни задал мне вопрос:

— Где вы найдете такое количество террористов?

Я сказал, что в партии довольно боевых сил, что многие из них не находили до сих пор себе применения и что опыт максималистов показывает, что недостатка в людях нет и не может быть.

Гершуни сказал:

— Да, но где вы найдете унтер-офицеров и офицеров? Комитет из трех лиц не может удержать в равновесии такую организацию. Необходимы помощники — руководители на местах.

Я ответил, что в партии есть много даровитых работников, которые до сих пор не участвовали в терроре. Я хочу верить, что в такой исключительный момент они по собственному желанию войдут в боевую организацию. Я назвал имена. Я прибавил, однако, что я боюсь, что центральный комитет не разрешит им уйти от общепартийной работы.

Азеф сказал:

— Центральный комитет разрешит, но они сами не пойдут в террор.

Гершуни задумался.

— А что, — сказал он, — если они действительно в террор не пойдут?

Я сказал:

— Тогда мой план неосуществим. Мы трое не можем руководить организацией из 50 человек.

Гершуни задумался опять.

— А при прежней форме организации, — спросил он, — вы считаете террор невозможным?

— Я никакой ответственности за такой террор взять не могу.

— И в нем участвовать не желаете?

Не только не желаю, но и не могу. Не веря в успех, я не могу звать людей на террор. Зная, что организация по самому методу и по своим формам обречена на бессилие, я принимать участие в руководительстве ею считаю для себя невозможным.

Азеф сказал:

— Твой план практически неосуществим, — не хватит людей и денег. Кроме того, неизбежно будет провокация.

Я сказал:

— Предложи свой план взамен моего.

Азеф пожал плечами.

— Я не знаю. Я знаю только, что нужно работать.

Гершуни молчал. Я обратился к нему:

— А вы?

— Я тоже не знаю. Но тоже думаю, что нужно работать.

Я сказал тогда, что готов участвовать в любом предприятии, которое мне покажется осуществимым, но что я считаю протитивным своей революционной совести и террористическому убеждению ангажировать людей в террор, не видя возможности осуществлять его.

По этому поводу Азеф впоследствии мне писал следующее:

...Нужно прямо ехать, исходя из положения, что надо напрячь все силы для создания того, что нужно, т.е. стать на точку зрения, на которой я стою и которую я тебе изложил... Относительно нравственного права ангажировать и т.д. скажу, что когда я буду ангажировать, я надеюсь, что я буду иметь и нравственное право это делать, пока же я могу только напрячь силы для создания... и т.д. Ты пишешь, что я стараюсь вдохнуть в тебя веру в мертворожденное дело. Не знаю, из чего ты взял, что я стараюсь вдохнуть в тебя веру. Я очень далек от этого и, наоборот, думаю, что при полном отсутствии веры в дело, каковое проглядывает в твоём письме, ехать не следует, — это я говорю совершенно по-товарищески" (письмо из Мюнхена, 24/IX — 1907).

Несмотря на заключительные слова цитированного отрывка, Азеф стал на такую же точку зрения в этом вопросе, на какую стали Г.А.Гершуни, В.Н.Фигнер и очень многие уважаемые мною члены партии. Они находили, что долг террориста — при всяких обстоятельствах и при каких угодно условиях работать в терроре, и что я, отказываясь принять участие в боевой работе, не исполняю своего долга. Я не мог согласиться с ними в этом их рассуждении. Наоборот, я считал, что я бы не исполнил своего долга, если бы не указал товарищам и центральному комитету, что, по моему мнению, возврат к старым формам террористической борьбы ни в коем случае не даст надежды на успех. Я считал также, что я бы совершил преступление, если бы ангажировал на террор людей, доверяющих моему практическому опыту, не веря сам в возможность успеха. Мой план боевой организации был отвергнут и Гершуни, и Азефом. Ни Гершуни, ни Азеф не наметили другого, более практичного. Предприятие Бухало затягивалось. Оставалось вернуться к тому, что уже доказало свою непригодность. Я считал это нецелесообразным и для себя морально недопустимым: если бы я даже отказался от руководящей роли и предложил себя в исполнители, то самый факт моего пребывания в организации возлагал бы на меня ответственность как за ее деятельность, так и за товарищей, принявших участие в ней по доверию к Гершуни, Азефу и ко мне.

Я решил не ограничиваться моим заявлением Азефу и Гершуни. Я считал своим долгом попытаться воздействовать на центральный

комитет в смысле изменения приемов террористической борьбы, даже если бы эта попытка заранее была обречена на неудачу.

В октябре 1907 года я с этой целью выехал в Финляндию. В Выборге состоялось заседание центрального комитета, на котором я сделал доклад.

На заседании этом присутствовали: Азеф, Гершуни, Чернов, Ракитников, Авксентьев и Бабкин. Последние двое были кооптированы после таммерфорсского съезда в центральный комитет.

Я повторил перед этим собранием все то, что мною было сказано в Монтре. Я внес предложение: в случае, если центральный комитет признает план боевой организации, предложенный мною, по каким бы то ни было причинам, неосуществимым, — сосредоточить все свои силы на научной технике, впредь же до применения технических изобретений к делу террора, центральный террор в организационной его форме прекратить. Я сознательно употребил слова „в организационной форме“. Я допустил возможность случайного террора, независящего от деятельности боевой организации. Могли явиться единичные террористы из числа лиц, окружающих министров или царя, — матросы, солдаты, прислуга, офицеры. Таким террористам, конечно, нужна была помощь партии, но они не нуждались в существовании боевой организации. Впоследствии на таких случайных предложениях были построены три попытки царубийства, все три на кораблях Балтийского флота. Они окончились неудачей.

Во все время моей речи Гершуни и Азеф молчали. После прений центральный комитет, найдя мой план боевой организации неосуществимым, отверг четырьмя голосами против двух (Бабкин и Авксентьев) все мои предложения (было постановлено центральный террор в его организационной форме продолжать). Во главе боевой организации оставался Азеф. Впоследствии я узнал, что помощником явился П.В.Карпович. Восстановленная ими боевая организация не совершила ни одного покушения.

Я уехал из Выборга в Гельсингфорс. В Гельсингфорсе меня нашел Азеф. Он долго убеждал меня вернуться к работе:

— Послушай, — говорил он, — ты, конечно прав, — работать теперь чрезвычайно трудно, но, по-моему, не невозможно. Ведь раньше же было возможно...

Я сказал:

— Прошлою осенью ты соглашался со мною, что методы наружного наблюдения устарели. Почему ты изменил мнение теперь?

— Я не изменил, — ответил он мне. — Наружным наблюдением, действительно, много сделать нельзя, но остается еще собиране сведений... На основании таких сведений убиты Павлов и Лауниц...

Я сказал:

— В прошлом году ты соглашался со мною, что эти сведения — большею частью все вздорные слухи. Убийство Павлова и Лауница — исключение, и царь — не Лауниц и не Павлов. „Царский про-

цесс", наоборот, показывает, как трудно базировать работу на случайных сведениях о царе.

Азеф возразил:

— Мы систематически и не собирали сведений. Мы всегда пользовались случайными. Теперь мы поставим это дело серьезно.

Я ответил, что, по моему мнению, одно собирание сведений, особенно в царском деле, не дает надежды на успех, и что, как бы он ни убеждал меня, я не могу согласиться, что следует жертвовать людьми, не имея осуществимого плана.

Тогда Азеф подумал и, нахмурясь, сказал:

— Григорий (Гершуни) считает, что долг революционера требует от тебя участия в терроре.

Я спросил:

— И ты думаешь так?

Он сказал:

— Да, и я думаю так.

Я ответил на это, что, хотя и ценю мнение его и Гершуни, я так не думаю, и что, отказываясь участвовать в безнадежном предприятии, я, по моему мнению, именно и исполняю свой долг.

Азеф нахмурился еще больше.

— Мне будет трудно работать без тебя, — сказал он.

Я ответил, что из одного чувства товарищеской солидарности я в терроре участвовать не могу.

Азеф уехал в Выборг, к Гершуни. Я решил поселиться за границей и на пароходе „Polaris“ выехал в Копенгаген.

В Копенгагене со мной произошло следующее.

Еще из Або я телеграфировал моему другу, датскому писателю Ааге Маделунгу, чтобы он встретил меня. Когда пароход подошел к пристани, Маделунг взбежал на палубу и шепнул мне:

— Вас желают арестовать. Здесь русские агенты и датский детектив.

Ожидая парохода, он заметил на пристани этих людей. Они рассматривали мою фотографическую карточку и, видимо, ждали меня.

По датским законам меня, в случае ареста, немедленно выдали бы русскому правительству. Я был очень благодарен Маделунгу за его предупреждение.

Маделунг спрятал меня в Копенгагене у своих родителей. Датская полиция искала меня по следам моих вещей, которые Маделунг отвез к своему другу, актеру королевского театра Тексиеру. В дом, где жил Тексиер, являлись датские детективы с моей фотографической карточкой. Они расспрашивали, не видел ли меня кто-либо из жильцов.

В сопровождении Маделунга, я выехал из Копенгагена, но не прямо в Германию, а сперва в Швецию, в г. Готенбург, а оттуда уже в Берлин. Через несколько дней я был в Париже.

Этот случай убедил меня в том, что в партии, около ее центральных учреждений, есть провокатор. Если бы за мной следили в Фин-

ляндии, меня арестовали бы в Гельсингфорсе; мне не дали бы возможности уехать в Данию. Очевидно, провокатор телеграфировал обо мне, когда я уже находился на „Polaris'e" в море. Только случай и дружба Маделунга спасли меня от ареста. — Я терялся в догадках, но не мог заподозрить никого из товарищей.

IX

До июня 1908 года я прожил в Париже, вдали от всех террористических предприятий. В июне я принял участие в покушении на цареубийство.

В г. Глазго, в Шотландии, на кораблестроительном заводе Викерса, строился русский бронированный крейсер „Рюрик". Один из корабельных инженеров, К.П.Костенко, был членом военной организации партии социал-революционеров. По его инициативе и под его руководством началась революционная пропаганда среди матросов строящегося крейсера. Пропагандистами были: бывший пехотный офицер Варшамов, бывший матрос с эскадры адм[ирала] Рождественского Затертый (псевдоним) и член российской социал-демократической партии рабочий Петр (псевдоним). Костенко весной 1908 года известил центральный комитет, что на корабле есть несколько десятков матросов-революционеров и что среди них есть люди с террористическим настроением, готовые убить царя на предстоявшем, по возвращении „Рюрика" в Россию, царском смотре.

М.А.Натансон сообщил мне это известие. Он спросил меня, желаю ли я поехать в Глазго и лично убедиться в возможности цареубийства? Я ответил, что ничего не могу иметь против этого: я мог только приветствовать каждую случайную попытку террора.

Азеф в Петербурге был занят также приготовлением к цареубийству. Он знал о положении дел на „Рюрике" и, по его предложению, за границу приехал член восставленной Азефом боевой организации — П.В.Карпович. Он тоже должен был ехать в Глазго. Я встретился с ним в Париже.

Я знал Карповича в 1900 году, в Берлине, еще до убийства им министра Боголепова. В моей памяти остался высокий, чернородый и длинноволосый студент в красной рубашке. Я увидел теперь перед собою пожилого человека с молодым лицом, но с проседью на висках. Он был изящно одет и по внешнему виду ничем не напоминал революционера.

Он провел несколько лет в Шлиссельбурге. Об его отношении к революции и к партии можно судить по следующему письму, присланному им из крепости после манифеста 17 октября:

„Свершилось! Оковы, столь долго угнетавшие Россию, готовы пасть. Еще натиск — и прекратятся кровавые оргии российского бюрократизма и расчистится путь к созданию новой России. Увы! Я из моего мюнрепо мог только послать мой привет и пожелание успеха всем, борющимся за освобождение России, особенно вам, дорогие товарищи, стоящие под зна-

менем социализма! Несколько времени тому назад я узнал о выступлении на поле битвы с.-р. партии, воплотившей в своей программе все мои стремления и надежды. В то же время я с болью в сердце узнал о разногласии между двумя партиями, представляющими социализм в России. Дорогие товарищи! Ищите скорее в наших программах того, что ведет к единению, чем упорно подчеркивать разногласия, решение которых предстоит будущему.

П.Карпович“.

Карпович был резок и прям. Чрезвычайно правдолюбивый, он и в других не переносил ни малейшей неискренности. Это было основной чертой его характера. Другой чертой была его отвага. Он напоминал тех средневековых рыцарей, о которых говорится в сказках: чем опаснее было предприятие, тем охотнее он брался за него. По своим взглядам, он был в партийной оппозиции. Он признавал только террор и с оттенком пренебрежения относился ко всякой другой партийной работе. Он с чисто женскою нежностью привязался к Азефу и, быть может, более, чем кто-либо другой, видел в нем прирожденного вождя центрального террора.

Мы выехали с ним вместе в Глазго и поселились там в одной квартире. За полтора месяца, которые мы с ним прожили вместе, я заметил, что цельность его убеждений была только внешней. За резкими отзывами и решительными мнениями скрывались колебания, — признак зрелого ума и совестливой души. Его волновали вопросы о моральном оправдании насилия, и в его крайних, часто жестоких выводах мне чудилось отвращение к крови и отчаяние, что революция неизбежно должна быть кровавой. Он говорил:

— Нас вешают, — мы должны вешать. С чистыми руками, в перчатках, нельзя делать террора. Пусть погибнут тысячи и десятки тысяч — необходимо добиться победы. Крестьяне жгут усадьбы — пусть жгут. Людям есть нечего, они делают экспроприации — пусть делают. Теперь не время сентиментальничать, — на войне, как на войне.

Таковы были его слова. Но он сам не экспроприировал и не жег усадеб. И я не знаю, много ли встречал в моей жизни людей, которые, за внешней резкостью, хранили бы такое нежное и любящее сердце, как Карпович. И это было тем более хорошо, что о любви к людям он отзывался с презрением, а о ненависти говорил, как о законном чувстве. Противоречие между словом и делом у него было всегда, и решительно — в пользу дела. Даже те, с кем он не сходил ни во взглядах, ни в симпатиях, ни в образе жизни, относились к нему с любовью и уважением.

Костенко, молодой офицер, увлеченный идеей восстания Балтийского флота, познакомил нас с Варшамовым и матросами. Из серой толпы команды выделялся три человека: триумфный квартирмейстер Котов, строевой матрос Поваренков и машинист Герасим Авдеев. Они все трое входили в комитет корабельной организации. С ними мы и решили познакомиться ближе.

Котов был пропагандист по призванию. Он осенью кончал свою

службу и его мечтой было, вернувшись в деревню, учить крестьян революционному социализму. В партийной программе его привлекало решение аграрного вопроса, вопросы террора его интересовали мало. Быть может, в этом сказывалось влияние социал-демократической пропаганды и умолчание нашими пропагандистами о необходимости цареубийства. Этот матрос, чистый тип учителя-подвижника, оставлял светлое и яркое впечатление, но мы не решились с ним даже заговорить о цели нашего приезда: в его отказе не могло быть сомнения.

Поваренков был маленький, коренастый хохол. Он не был так начитан, как Котов, аграрным вопросом интересовался так же мало, как и террором. Он верил только в восстание флота, захват Кронштадта, бомбардировку Петергофа. Он имел большое влияние на команду: именно он являлся организатором на корабле, он создавал матросские революционные кружки и он спайвал их в одно целое. Практичный и скрытный, он был незаменим в подпольной организации.

Герасим Авдеев был высокого роста с загорелой шеей матрос. У него был большой революционный темперамент, — он был из тех людей, которые в массовых движениях идут впереди массы, являются ее естественными вождями в решительную минуту. Смелый, энергичный, чуждый по природе конспирации и учительства, он один из всех матросов показался нам способным увлечься идеей террора. Костенко передавал нам, что он не раз говорил ему о необходимости цареубийства.

Когда я в первый раз увидел Авдеева, я сказал ему:

— Я слышал, вы хотите участвовать в терроре?

Он побледнел:

— Кто вам сказал?

— Порфирий (Костенко).

Авдеев опустил глаза. Он сказал громко:

— Нет. Не могу. Не готов.

На следующий день он пришел опять. Он сказал:

— Я думал всю ночь. Я согласен. Говорите, что нужно делать?

Я сказал:

— Вы знаете, речь идет о царе.

Он ответил:

— Тем лучше, что о царе. Что нужно делать?

План состоял в следующем: „Рюрик“ уходил в конце лета в Россию, и осенью, в Кронштадте должен был состояться смотр в присутствии царя. Мы хотели поместить на корабле кого-нибудь из товарищей: Карповича, меня или кого-либо из членов боевой организации. Конечно, пребывание на крейсере должно было быть тайным. Но чтобы сесть на корабль и жить на нем тайно, необходима была помощь, по крайней мере, одного из матросов. Таким матросом мог быть Авдеев. Предстояло выяснить, можно ли скрываться на корабле, и где удобнее сесть на борт, — в Глазго или в Кронштадте.

Я рассказал Авдееву этот план.

Он выслушал его молча. Потом сказал:

— На корабле можно скрываться.

— Где?

— Я найду место.

Несколько дней Костенко и Авдеев искали такое место. Наконец, оно было найдено. В румпельном отделении, в отсеке, за головой руля, было несколько темных и узких отверстий. В этих отверстиях с трудом мог поместиться человек. Сидя на корточках и полулежа, там можно было просидеть несколько дней. Если само помещение было неудобно, зато выход из него представлял все удобства: прямо из румпельного отделения через палубы шел вентилятор. Внутри этого вентилятора была лестница. Выйдя из отсека и поднявшись с бомбой по этой лестнице, можно было взорвать адмиральское помещение, мимо которого шел вентилятор. Можно было также взорвать и верхнюю палубу, именно ту, где и происходит смор: гриб вентилятора выходил у правой кормовой башни. Теперь, когда место было найдено, нужно было решить другой вопрос, — задачу посадки на корабль.

Авдеев следил за нашими изысканиями и, видимо, переживал тяжелые минуты. Он видел, с какими затруднениями сопряжено царевубийство, если непосредственным исполнителем его является человек нелегальный, не имеющий случая встретиться с царем лицом к лицу.

Он понимал также, что все эти затруднения падают, если на царевубийство решится человек, по роду своей службы встречающийся с царем. Перед ним невольно вставал вопрос, не обязан ли он предложить себя в исполнители? Неподготовленный к такого рода переживаниям, он не спал, худел и бледнел. Было видно, что он глубоко мучается своим бессилием.

Мы встречались с ним или у нас на квартире, или на лугу, на берегу реки Клайд, когда команда вечером отпускала на прогулку. Он спрашивал меня с волнением о Спиридоновой, Каляеве, Сазонове, Гершуни, Конопляниковой. Особенно его поражало, что женщины самоотверженно участвуют в терроре. Говоря с Костенко о царевубийстве, он не думал, что его слова могут повлечь попытку покушения, и теперь перед ним во всей своей простоте становился вопрос: пожертвовать собой во имя революции.

В одну из моих с ним встреч, он вдруг робко сказал:

— Я хотел вам сказать...

— Что?

— Я решился.

Я ответил ему, что пока у нас есть надежда поместить своего человека на крейсер, мы не нуждаемся в нем, как исполнителя, а нуждаемся только в его помощи: мы рассчитывали, что он будет кормить спрятанного товарища и даст ему условный сигнал, когда царская шляпка приблизится к крейсеру. Я сказал также, что не

нужно торопиться с таким решением; что в деле террора ни малейшее насилие над собой неуместно; что нужно и можно идти в террор только тогда, когда человек психологически не может в него не идти; что, наконец, я вижу, что он, Авдеев, еще не примирился с необходимостью умереть.

Он грустно покачал головой:

— Да, вы правы.

Вскоре выяснилось, что в Глазго можно посадить постороннего человека на корабль. Было, однако, неизвестно, когда именно должен состояться смотр, и поэтому возникло новое затруднение. В рулевом отсеке можно было, как я уже говорил, с большим трудом прожить несколько дней, о неделях нельзя было и думать. Между тем, человек, садясь в Глазго на „Рюрик“, должен был совершить весь морской переход от Глазго до Кронштадта и затем ждать в Кронштадте неопределенное время смотра. Очевидно, такая задача была не по силам даже самому здоровому человеку. Допустив даже, что спрятанный человек не умрет, он, во всяком случае, ослабел бы настолько, что едва ли бы нашел в себе силы с пудовой бомбой подняться по перпендикулярной лестнице в несколько этажей.

Мы стали думать, возможно ли посадить человека в России, на рейде в Кронштадте. Костенко познакомил нас со своим товарищем, тоже офицером, членом партии, корабельным инженером А.И.Прохоровым. Прохоров должен был на корабле идти в Россию и присутствовать, как строитель, на смотре. Костенко уезжал в отпуск. Прохоров прямо сказал, что не чувствует себя в силах лично убить царя, но готов помочь нам, чем может. Его прямота делала ему честь, и на большее, чем его помощь, мы и рассчитывать не могли. Его указания были для нас очень ценны: он вместе с Костенко еще раз проверил отсек руля и снова подтвердил нам, что там можно жить. Относительно же посадки на „Рюрик“ в Кронштадте он, как и Костенко, высказался отрицательно.

Рейд охранялся по уставу миноносцами. Через их сеть можно было, конечно, проскользнуть при удаче, но едва ли было возможно обмануть бдительность вахты на „Рюрике“. Авдеев брался помочь взлезть на судно, но и он находил, что попытка тайком, ночью, подняться на военный корабль и пройти в румпельное отделение — не может иметь успеха. Мы наталкивались на препятствие, которого не могли устранить.

В конце июня в Глазго приехал Азеф. Он хотел лично выяснить подробности покушения. Вместе с Костенко он, с разрешения командира судна, не подозревавшего, конечно, с кем он имеет дело, посетил „Рюрик“ и сам осмотрел отсек. Он осмотрел и все неровности борта, дающие возможность подняться на корабль. Он пришел к тому же, что и мы, к заключению: в отсеке можно было жить, но невозможно было тайно подняться на „Рюрик“.

Авдеев ревностно следил за результатами наших изысканий.

Однажды, после проверки, он тайком убежал с корабля и явился к нам.

В нашей комнате он увидел новое лицо, незнакомого ему человека, Азефа. Посмотрев на него, он вдруг нахмурился и замолчал.

Я отвел его в другую комнату:

— Что с вами?

— Кто этот толстый?

— Это товарищ.

Авдеев нахмурился еще больше.

— Какое неприятное лицо.

Тогда я сказал:

— Если вы верите мне, — верьте ему. Он мой товарищ и друг.

Авдеев протянул мне руку.

— Не сердитесь... Я не хотел вас обидеть, но он не понравился мне.

Авдеев пришел с готовым решением. Он сказал при Азефе и Карповиче:

— Я сам, один, на смотру убью царя. Я чувствую, что должен это сделать, и сделаю.

Я опять убеждал его отказаться от его намерения. Я видел, что он говорит искренно и не сомневался, что он верит сам своей готовности умереть и убить, но я видел также, что перед ним, матросом, скованным дисциплиной, стала непосильная для него задача: в один месяц пережить все колебания и решиться на то, на что каждый из нас решался после долгих, иногда многолетних сомнений. Я был убежден, что он не готов для террора, и что царь на „Рюрик“ не будет убит. Так же думали Карпович и Азеф.

Авдеев твердо стоял на своем. Он просил дать ему револьвер. Мы не считали возможным отказать ему в этой просьбе. Он просил свидания в Кронштадте. Карпович решил ехать в Кронштадт. Азеф уехал на юг Франции, я вернулся в Париж.

Из Гринoka, в Шотландии, куда „Рюрик“ ушел, Авдеев писал мне:

„Я только теперь начал понимать, что такое я. Я никогда не был и никогда не буду работником-пропагандистом... Я теперь глубоко, серьезно подумавши, представляю себе выполнение порученной мне задачи. Вот это, действительно, радость... Я говорю, что я пушка, которую заряди, да выпали из нее, а на корабле мне говорят: иди, трепли языком... Приходится, в силу необходимости, покориться. А как покориться? Я чувствую, что я закалил пружину и теперь эту пружину приходится сильно гнуть, боюсь, как бы не сломать ее... А может быть... Нет, одна минута разрешит более целых месяцев. Тогда лучше видно...“ (13 августа 1908 г.).

Карпович оставался еще несколько дней в Глазго. Кроме Авдеева еще один матрос, вестовой Каптелович, лично мне почти неизвестный, пожелал принять участие в цареубийстве. Карпович дал револьвер и ему. В октябре, в Кронштадте состоялся высочайший смотр „Рюрику“. И Авдеев, и Каптелович встретились с царем лицом к лицу. Ни один из них не выстрелил. Я считаю несправедли-

вым заподозрить Авдеева в недостатке мужества. Слишком быстро и слишком напряженно пришлось переживать ему все колебания террора. Нет ничего удивительного, что „пружина“ сломалась.

X

Судьба товарищей, с которыми я расстался осенью 1906 г., была следующая:

1) Борис Успенский и Мария Худатова отошли от террористической работы и живут под своими именами в России.

2) Владимир Вноровский и жена его Маргарита Грунди, после неудачного покушения на ген[ерала] Каульбарса, выехали за границу.

3) Валентина Колосова-Попова также выехала за границу.

4) Борис Горинсон, после неудачного покушения на ген[ерала] Каульбарса, принимал участие в провинциальных террористических попытках. Он арестован летом 1908 г. в Москве.

5) Павла Левинсон, вернувшись из Одессы, работала в боевой организации, восстановленной Азефом. В настоящее время она находится за границей.

6) Всеволод Смирнов занялся общепартийной работой. Проживает в России под чужим именем.

7) Ксения Зильберберг, приняв участие в покушениях на ген[ерала] Лауница, вел[икого] кн[язя] Николая Николаевича и на царя, после арестов 31 марта 1907 г. выехала за границу.

8) Александр Фельдман, приняв участие в покушении на Столыпина в 1907 г., выехал за границу.

9) Рашель Вульфовна (Владимировна) Лурье родилась в 1884 г. в состоятельной еврейской купеческой семье. Она воспитывалась в ковенской гимназии, сперва была членом еврейского „Бунда“ и в партию социалистов-революционеров вступила в 1904 г. Рашель Лурье застрелилась в Париже 1 января (н[ового] ст[иля]) 1908 г.

10) Александра Севастьянова в ноябре 1907 года бросила бомбу в Москве в московского генерал-губернатора Гершельмана. Ее судили военно-окружным судом и приговорили к смертной казни. Она повешена*.

*В № 9 газеты „Знамя Труда“ появился следующий ее некролог.

„К числу самоотверженных бойцов террора, погибших от руки палача, прибавилось новое имя: в Москве казнена А.Севастьянова, с бомбой в руках вышедшая, по поручению центрального боевого отряда п. с.-р., на московского генерал-губернатора Гершельмана. Покойная стала в ряды партии социалистов-революционеров еще тогда, когда последняя только зарождалась. В конце 1901 года она была уже арестована и сослана на шесть лет в Сибирь, откуда вскоре бежала, и с тех пор неустанно вела трудную, замкнутую от мира, суровую конспиративно-боевую работу. Мир ее праху! Живая душа ее не знала мира, и самая смерть ее является таким же призывом к упорной самоотверженной борьбе, как вся ее жизнь...“

11) Петр Иванов застрелил в г. Пскове 28 августа 1907 г. начальника алгачинской каторжной тюрьмы, Бородулина. Его судили военно-окружным судом и приговорили к смертной казни. Он повешен в Пскове. Биография его мне неизвестна.

12) Борис Николаевич Никитенко, перевозивший меня на боте из Севастополя в Румынию, в конце 1906 года приехал в Петербург и вошел в боевую организацию Зильберберга. После ареста последнего, оставшиеся члены организации делали приготовления к покушению на царя. Никитенко, в числе других товарищей, был арестован 31 марта 1907 г. Его судили в Петербурге военно-окружным судом вместе с Наумовым, Синявским и др. и приговорили к смерти. Он повешен 21 августа того же года, на Лисьем Носу, под Петербургом. Его биография мне неизвестна.

13) Карл Иванович Штальберг, укрывавший меня после побега на своем хуторе, был арестован в Севастополе в 1907 г. Он скончался в тюрьме.

14) „Адмирал“ застрелил в Петербурге — на открытии клиники накожных болезней — петербургского градоначальника ген[ерала] Лауница 23 декабря 1906 года. После убийства он тут же застрелился.

В № 9 газеты „Знамя Труда“ М.А.Спиридонова, товарищ „Адмирала“ по Тамбову, посвящает ему следующие строки:

...В черном фраке, в безукоризненной перчатке на левой руке стоял рядом с Лауницей молодой, белокурый денди, спокойный, светский, богомольный... Он мог бы застрелить тут же, в церкви, того, кого он искал в течение целого года, но... но „Адмирал“ остался верен себе. С деликатностью чуткого человека, который не войдет в обуви в мечеть, не засмеется при виде маленького, вымазанного кашей бурхана, он выждал и убил Лауница на площадке. И долго гадали русские Лекоки, разглядывая мозолистую руку, сразившую царского опричника, долго старались определить, к какому сословию принадлежит ее обладатель. Как удивились бы они, узнавши, что этот изящный франтик незадолго до акта служил в извозничьей артели, чистил навоз, запрягал лошадей... Как удивились бы они, узнавши, что этот извозчик с таким простодушным, румяным лицом, был интеллигентом в лучшем значении этого слова“.

15) Василий Митрофанович Сулятицкий находился вместе с „Адмиралом“ на открытии вышеупомянутой клиники. Он должен был застрелить Столыпина, приезд которого ожидался. Столыпин не приехал. Сулятицкий арестован на улице 9 февраля 1907 года. Его судили военно-окружным судом и приговорили к смерти. Он повешен 16 июля того же года в стенах Петропавловской крепости под именем Гронского.

Сулятицкий — сын священника. Он родился в 1885 году и, по окончании курса в полтавской духовной семинарии, поступил военноопределяющимся в 57 пехотный Литовский полк.

16) Лев Иванович Зильберберг с осени 1906 года стал во главе центрального летучего боевого отряда, который совершил в лице „Адмирала“ убийство генерала Лауница. Под руководством Зиль-

берберга подготавливалось также покушение на Столыпина и на взрыв поезда, в котором должен был выехать в Царское Село главнокомандующий войсками гвардии и петербургского военного округа вел[икий] кн[язь] Николай Николаевич. Последнее покушение состоялось 13 февраля 1907 года, но окончилось неудачей: исполнитель был замечен охраною на вокзале.

Зильберберг был арестован за несколько дней до этого покушения — 9 февраля 1907 года. Родился Зильберберг 26 сентября 1880 года в г. Елисаветграде. Учился сначала в местной гимназии, потом в 3 московской, по окончании курса в которой поступил в 1899 г. на физико-математический факультет московского университета (по математическому отделению). В феврале 1902 года был арестован в Севастополе по студенческому делу и в административном порядке сослан на четыре года в Олекминск, Якутской области. По общестуденческой амнистии, через год был возвращен в Европейскую Россию и отбывал гласный надзор в Твери. В Твери примкнул к партии социалистов-революционеров и, организовав несколько рабочих и крестьянских кружков, уехал в августе 1903 года за границу. На съезде заграничных организаций партии (1904 г.) был представителем от льежской группы с.-р. Весной 1905 года вступил в боевую организацию. Судили Зильберберга вместе с Сулятицким в Петербурге военно-окружным судом. Он повешен тоже вместе с Сулятицким 16 июля 1907 года в стенах Петропавловской крепости под именем Владимира Штифтаря.

Обвинительный акт сообщает следующие подробности по делу Зильберберга и Сулятицкого.

„21 декабря 1906 г. в 12 часов дня в помещении института экспериментальной медицины был убит с.-петербургский градоначальник, свиты его величества генерал-майор фон-дер-Лауниц.

Убийство это, как видно из предварительного следствия, произошло при следующих обстоятельствах: 21 декабря предстояло освящение и открытие вновь построенных в районе института, на средства ст[атского] сов[етника] Н.К.Синягина, клиники кожных болезней и домового церкви. На это торжество директором института, ст[атским] сов[етником] Подвысоцким, было приглашено около 200 человек, причем всем приглашенным заблаговременно были разосланы частью именные, а частью безымянные пригласительные билеты. Съезд приглашенных начался в десятом часу утра. В 12 часов дня, по окончании обеда, все гости вышли из церкви, находящейся в четвертом этаже, и направились в третий этаж, к завтраку. Впереди всех шли певчие, за ними ее императорское высочество принцесса Ольденбургская со статским советником Синягиным, затем его высочество принц Александр Петрович Ольденбургский с градоначальником, генерал-майором фон-дер-Лауницем, за ними адъютант принца капитан Воршев и камергер Вуич, а за ними остальные приглашенные. Когда они проходили на верхней площадке лестницы, то здесь стоял какой-то молодой человек в безукоризненной фракчной паре, которого все признали за одного из приглашенных. Лишь только капитан Воршев и камергер Вуич миновали этого молодого человека, как он внезапно выхватил револьвер и, из-за спины их, произвел один за другим три выстрела в генерала Лауница, который после третьего выстрела упал и, спустя несколько минут, скончался. Между тем капитан Воршев и камергер Вуич при звуке выстрелов обернулись на-

зад, господин Вунч схватил убийцу за горло, а капитан Воршев, выхватив шашку, стал рубить ею убийцу. В то же время местный полицейский пристав, подполковник Корчак, видя, что убийца продолжает стрелять, схватил правой рукой правую руку убийцы и поднял ее вверх, и вместе с тем из собственного револьвера два раза выстрелил в убийцу, который после второго выстрела весь осел и тут же скончался.

По осмотре трупа убийцы оказалось, что ему нанесено было семь шашечных ран в голову, непроникающих далее кости, и три огнестрельных — одна в грудь, причем пуля пробила легкое, сердечную сорочку, легочную артерию, седьмое ребро и остановилась в подмышечной области; другая — в левую подчревную область, причем пуля пробила тонкие кишки, левую подвздошную вену и край тазовой кости, остановилась в мягких тканях; третья — сзади правого уха, причем пуля, пробив кости черепа и мозг, остановилась под кожей, несколько выше и сзади левого уха. По сличению вынутых из тела пуль с теми, коими были заряжены револьверы убийцы и подполковника Корчака, оказалось, что раны в грудь и живот были нанесены из револьвера подполковника, а рана в голову — из револьвера самого убийцы. Как видно из протоколов осмотра трупа, убийца был одет в совершенно новое, без меток, белье, совершенно новую французную пару и ботинки; в руках у него находился пистолет браунинг с отвинченными щечками рукоятки, причем в обойме, вложенной в пистолет, осталось два патрона с распиленными крестообразно оболочками пуль; в карманах убийцы были найдены: запасная обойма с пулями, оболочки коих оказались с отпиленными головками, около 49 рублей деньгами, кошелек и безымянный пригласительный билет на торжество освящения церкви.

Никаких указаний на личность убийцы при трупе найдено не было. Несмотря на все принятые меры, ни полиции, ни судебному следователю не удалось установить ни личности убийцы, ни того обстоятельства, откуда и каким образом он мог достать пригласительный билет на освящение. Единственное указание на личность убийцы дал осужденный ныне за преступление, предусмотренное 126 ст. уголовного уложения, Али-Кули-Бек-Шах-Тахтинский, который заявил, что это член боевой дружины социалистов-революционеров, которого Шах-Тахтинский два раза видел на собрании, но имени и фамилии его не знает. Точно также не удалось выявить, один ли прибыл убийца в клинику накожных болезней или вместе с соучастниками; только легкой извозчик Петр Трофимов показал, что 21 декабря, в 11 часу, двое штатских хотели его нанять с Исакиевской площади на Лопухинскую улицу, но он уже был занят, и наружности нанимавших припомнить не может".

Что же касается причины убийства генерала фон-дер-Лауница, то таковая явствует из следующего письма, полученного редакцией газеты „Россия“ и скрепленного печатью центрального комитета партии социалистов-революционеров:

„В редакцию газеты. ЦК заявляет, что смертный приговор над петербургским градоначальником фон-дер-Лауницем 21 декабря приведен в исполнение членом центрального боевого отряда п. с.-р. 24 декабря 1906 г.“

Далее говорится, что в феврале 1907 г. швейцар и горничная гостиницы на Иматре указали охранному отделению на двух лиц, встречавшихся в гостинице с молодым человеком, похожим на убийцу Лауница.

Задержанные оказались именующими себя Гронским и Штифтарем.

Привлеченные к следствию, в качестве обвиняемых в принадлежности к сообществу, составившемуся с целью ниспровержения существующего государственного строя и имевшему в своем распоряжении средства для взрыва, и в участии в убийстве петербургского градоначальника ген[ерала] Лауница, — именующие себя мещанином Гронским и преподавателем древних языков Штифтарем, не признавая себя виновными и отказываясь от дачи каких-либо объяснений по делу, вместе с тем заявили, что найденные при них паспортные книжки — чужие, и что своего настоящего звания, имен и фамилий они обнаруживать не желают, добавив, что они принадлежат к партии социалистов-революционеров.

Вот как описывает очевидец последние минуты Сулятицкого и Зильберберга:

„Мужество и спокойствие перед смертью поражало людей, остающихся жить, — случайных свидетелей... Один из последних рыдал, как ребенок, приговоренный к смерти утешал его... На смерть он смотрел, как на исполнение долга. — „Я умираю, глубоко сознавая, что должен умереть... В прошлом много мною пережито прекрасного, счастливого, чудесного!“ — С восторгом говорил о прошлом, вспоминал о славно погибших друзьях. „Мы все умираем по одной мерке“. И ни слова о своем будущем... Не жалел ни о чем хорошем, что могло бы дать будущее, если бы не смерть... Смех беспечный, шутки, остроты своих друзей, обреченных на смерть, заставляли слушателя преступно забывать о неизбежной смерти, уготованной палачами. С детской радостью передавал он рассказ об извозчике, с которым он жил на постоялом дворе (играя роль извозчика, не зная Питера, взяв седока часто не туда, куда нужно, он не раз бывал ругаем седоками). „Смотрю издали на тебя — говорил извозчик, — будто ты барин, а вот сейчас говорю с тобой и гляжу тебе в глаза и вижу — ты ведь наш!“ Его радовало искреннее признание мужика в нем друга, брата своего. При воспоминании о жене, о матери, чудные ясные глаза его затуманивались подчас слезой... Отходил прочь... Минута тяжелого молчания... Вот и справился с душевным волнением: снова спокойное, ясное лицо. Вопросы все покончены. Сомнений и сожалений не было никаких, даже о том, что его ждет смерть... Одна лишь мысль сверлит его мозг, — как он перенесет прикосновение палача к его телу! Бедная мать, страдая, думала о том же. Он вспомнил дорогого товарища, погибшего от своей руки, сразив врага, ибо был не в силах допустить чьего-либо прикосновения — насилия над собой. Теперь ему была понятна решимость товарища покончить с собой!.. Но зато как он умел экономить свои душевные силы! Он спал днем, бодрствовал ночью, чтобы не быть застигнутым врапскою врагами, чтобы со сна, как поведут на казнь, не проявить и тени слабости... Все время, до самого последнего момента жизни своей он работал усердно над решением математической задачи — деление треугольника на три равные части, решив которую, он просил передать ее в университет. Он имел силу переписать свой труд после приговора, может, даже, за несколько часов до казни... После приговора, прочитанного им, два друга, движимые одним чувством, одновременно встали и поцеловались, как бы навсегда прощаясь и благодаря друг друга за все...

„Не выношу нервных людей! Они способны на подвиги, но пусть умирают, совершив их, в живых оставаться не должны — не хватит душевных сил надолго“. „Мы из мертвецкой“, — говорил он о себе. Неоднократно возвращался в разговорах к проекту боевой организации захватывать пещеру...

Вот все, что угнетенный, подавленный мозг случайного свидетеля мог передать о последних минутах дорогого, погибшего так рано, но славно, незабвенного товарища*.

В своем последнем письме к матери Зильберберг писал:

„Мама! Раньше я тебя только любил, потом (благодаря, главным образом, К.) научился уважать. С тех пор это уважение росло. Оно мне порукой, что ты твердо перенесешь все, что бы со мной ни случилось. Да, ведь, с тобой большая часть моей жизни! Вы (ты и К.), женщины-матери — единственные люди, к которым у меня соединяется чувство любви и уважения. Всем хорошим, что во мне, я обязан вам. С великим любящим и мужественным сердцем, твердо переносящим физические страдания и духовные потрясения, вы вселили во мне святое чувство к женщине-человеку. Спасибо вам!

Надо кончать, — трудно писать, — смотрят. Целую тебя, дорогая мама, и отца, сестру с мужем и брата, девочек с их отцом. Остальным родным и знакомым (кто интересуется) — привет. Прощай!“

В последнем письме к жене он писал следующее:

„О, жизнь! О, юность! О, любовь!
 Любовь мучительная... Вновь
 Хочу, хочу предаться вам
 Хотя б на миг один... А там
 Погасну...“

Тургенев.

Я счастлив — ты не здесь. Я счастлив — ты думаешь обо мне. Это мне облегчает последние дни и облегчит конец. Сколько раз я переходил от надежды, что ты свободна, к сомнению в этом! Эти 5 месяцев прошли как миг, а время, которое идет и которое еще осталось, кажется вечностью. Я это объясняю себе сравнением с долгим зимним путешествием в закрытом возке. День за днем проходит. Сегодня, как вчера, завтра, как сегодня. И от этого однообразия прошедшие дни не оставляют по себе ничего, и когда оглядываешься назад, кажется, что они не прошли, а пролетели; от этого же отсутствия всяких впечатлений, и от этого же однообразия так томительно тянется время. Я сильно изменился за это время, и с внешней стороны, и духовно. Я оброс бородой (большой, черной бородой) и волосы стали длинные; я их ношу так, как ты любила, — вверх. Иногда, в полубабытьи, мне кажется, что милая рука проводит по ним...

Я прочел много книг, хороших книг. Отчасти непосредственно, отчасти косвенно они открыли мне целый мир, новый, неизвестный, прекрасный и величественный. Они осмыслили мою инстинктивную любовь к природе. Они возвысили меня, и я нашел многое, что раньше только чувствовал. Это книги по естественной истории, биологии и физиологии.

Я отказался видеть девочку*... Для каждого человека есть предел его духовных страданий. Я могу видеть мать. С большим трудом мог бы я видеть тебя, но ее... Это выше моих сил: здесь мой предел. Я не могу. Когда я представляю ее себе, эту маленькую девочку, которой я не знаю и которую так люблю, представляю, как она будет смотреть и не понимать, что происходит, быть может, даже заплачет, увидев незнакомое лицо... Я не могу. Я знаю, что и я, у которого ни один человек, кроме тебя, не видел слез, что и я заплачу, как ребенок, при жандармах...

*Дочь Л.И.Зильберберга.

К предстоящему концу отношусь спокойно, и ни один из всей своры, окружавшей меня эти 5 месяцев, не мог бы сказать, что когда-нибудь заметил во мне хотя малейшее волнение. Посылаю тебе образчики (лучшие) бедной флоры нашего крепостного двора для прогулки: я их засушил для тебя...

Мое последнее и страстное желание, чтобы у нашей девочки была бы мать, с которой она бы жила и росла. А когда она выросла бы, ты ей показала бы те прекрасные страницы твоей тетради и рассказала бы ей, как я любил тебя, как я любил ее, ты сказала бы, что я расстался с самым большим для меня, — с этой великой любовью, с жизнью, — в борьбе против горя и страдания других. Передай мой привет отцу и брату. Я часто жалел, что не пришлось повидаться с ними. Это письмо — последнее.

Прощай, друг, прощай, милая, прощай любимая... Прощай... Это ужасное слово как-оудто носится в воздухе и как звук колокола, замирая, становится все тише и тише... Прощай!"

8/VII—07 г Петропавловская крепость

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА АЗЕФА

I

Я ПРИСТУПАЮ теперь к самой печальной странице моих воспоминаний.

В мае 1908 года Владимир Львович Бурцев, редактор журнала „Былое“, заявил центральному комитету, что имеет основание подозревать Азефа в провокации.

Такое же заявление, по его словам, было им сделано еще осенью 1907 года П.П.Крафту и членам северного летучего боевого отряда Карлу Траубергу и Кальвино-Лебединцеву.

Одновременно с этим, Бурцев сообщил о своих подозрениях еще нескольким товарищам, — членам партии социалистов-революционеров.

Об Азефе уже давно ходили недобрые слухи.

Еще в 1902 г., когда Азеф работал в Петербурге, партийный пропагандист студент Крестьянинов обвинил его в провокации. Обвинение это было рассмотрено судом чести, членами которого были писатели Пешехонов, Анненский и Гуковский. Суд признал обвинение несостоятельным и отпустил Азефа с извинениями.

Слухи не прекратились. В августе 1905 г. в центральный комитет было доставлено упомянутое уже мною однажды анонимное письмо. Оно содержало указание на провокаторскую роль Татарова и Азефа.

Вот это письмо.

„Тов[арищ]. Партии грозит погром.

Ее предадут два серьезных шпиона. Один из них бывш[ий] ссыльн[ый] некий Т. *, весной лишь вернулся, кажется, из Иркутска, втерся в полное доверие к Тютчеву, провалил дело Иваницкой, Бар., указал, кроме того, Фрелих, Николаева, Фейта, Старынкевича, Лионовича, Сухомлина, много других, беглую каторжанку Акимову, за которой потом следили в Одессе, на Кавказе, в Нижнем, Москве, Питере (скоро, наверное, возьмут); другой шпион недавно прибыл из-за границы, какой-то инженер Азиев, еврей, называется и Валуцкий; этот шпион выдал съезд, происходивший в Ни-

*Татаров.

жнем, покушение на тамошнего губернатора; Конопляникову в Москве (мастерская), Вединяпина (привез динамит), Ломова в Самаре (военный), нелегального Чередица в Киеве, бабушку (укрывается у Ракитниковых в Самаре)... Много жертв намечено предателями. Вы их обоих должны знать. Поэтому мы обращаемся к вам. Как честный человек и революционер, исполните (но пунктуально: надо помнить, что не все шпионы известны и что многого мы еще не знаем) следующее. Письмо это немедленно уничтожьте, не делайте из него копий и выписок. О получении его никому не говорите, а усвойте основательно содержание его и посвятите в эту тайну, придумав объяснение того, как вы ее узнали, только: или Брежневскую, или Потапова (доктор в Москве), или Майнова (там же) или Прибылева, если он уедет из Питера, где около него трутся тоже какие-то шпионы. Переговорите с кем-нибудь из них лично (письменных сношений по этому делу не должно быть совсем). Пусть тот действует уже от себя, не называя вас и не говоря того, что сведения эти получены из Питера. Надо, не разглашая секрета, поспешить распорядиться: все, о ком знают предатели, будут настороже, а также и те, кто с ними близок по делу. Нелегальные должны постараться избавиться от слежки и не показываться в места, где они раньше бывали. Технику следует переменить сейчас же, поручив ее новым людям".

Осенью 1907 года центральным комитетом было получено из Саратова от партийных товарищей другое письмо, обвинявшее Азефа. Вот текст этого письма.

«Из источника компетентного нам сообщили следующее:

В августе 1905 года один из виднейших членов партии с.-р. состоял в сношениях с департаментом полиции, получая от департамента определенное жалование. Лицо это то самое, которое приезжало в Саратов для участия в бывших здесь совещаниях некоторых крупных партийных работников.

О том, что эти совещания должны состояться в Саратове, местное охранное отделение знало заблаговременно и даже получило сообщение, что на совещаниях должен обсуждаться вопрос об организации крестьянских дружин и братств. Имена участников также были охранному отделению известны, а потому за всеми участниками совещания была учреждена слежка. Последнюю руководил, в виду особо важного значения, которое приписывалось охраной совещаниям, специально командированный департаментом ветеран-сыщик [статский] [советник] Медников. Этот субъект, хотя и достиг высокого чина, однако остался во всех своих привычках простым филером и свободное время проводил не с офицерами, а со старшим агентом местной охраны и с письмоводителем. Им-то Медников и сообщил, что среди приехавших в Саратов на съезд социалистов-революционеров находится лицо, состоящее у департамента полиции на жалованьи, — получает 600 рублей в месяц. Охранники сильно заинтересовались получателем такого большого жалованья и ходили смотреть его в сад Очкина (увеселительное место). Он оказался очень солидным человеком, прекрасно одет, с видом богатого коммерсанта или вообще человека больших средств.

Стоял он в „Северной гостинице“ (угол Московской и Александровской, д[ом] о[бщест]ва взаимного кредита) и был прописан под именем Сергея Мелитоновича (фамилия была нам „источником“ сообщена, но мы ее, к сожалению, забыли).

„Сергей Мелитонович“, как лицо, „дающее сведения“, был окружен особым надзором для контроля правильности его показаний: в Саратов его провозжали из Нижнего через Москву два особых агента, звавших его в своих дневниках кличкой „Филипповский“.

Предполагался ли арест участников совещания или нет, неизвестно, но только участники были предупреждены, что за ними следят, и они тотчас же разъехались. Выехал из Саратова и Филипповский (назовем и мы его этой кличкой). Выехал он по железной дороге 19 августа, в 5 часов дня. Охрана не знала об отъезде революционеров и продолжала следить. 21 августа ночью (11 часов) в охрану была прислана из департамента телеграмма с приказом прекратить наблюдение за отъездом. Телеграмма указывала, что участники съезда предупреждены были писарями охранного отделения. Такого рода уведомление могло быть сделано только на основании сведений, полученных от кого-либо из участников съезда, и заставляло предполагать, что сведения эти дал департаменту Филипповский, уехавший из Саратова в 5 или 6 часов вечера 19 августа и успевший доехать до Петербурга к ночи 21-го. Незадолго до открытия первой Думы, т.е. в апреле 1906 года, в Саратов возвратился начальник саратовского охранного отделения из Петербурга, Федоров (убитый позднее при взрыве на Аптекарском острове), и рассказывал, что в момент его отъезда из Петербурга тамошнюю охрану опечаливал прискорбный факт: благодаря антагонизму между агентами департамента полиции и агентами с[анкт]п[етер]б[ургской] охраны, был арестован Филипповский, имевший, по словам Федорова, значение не меньшее, чем Дегаев. Филипповский участвовал вместе с другими террористами в слежке, организованной революционерами за высокопоставленными лицами. Агенты с[анкт]п[етер]б[ургской] охраны получили распоряжение арестовать террористов, занятых слежкой, и хотя они отлично знали, что Филипповский не подлежит аресту, но в пику агентам департамента прикинулись незнающими об этом и арестовали Филипповского, ухитрившись при этом привлечь к участию в аресте и наружную полицию. Последнее было сделано, чтобы затруднить освобождение Филипповского, так как, раз в его аресте участвует наружная полиция, т.е. ведомство, постороннее охране, вообще лишние люди, то уж трудно покончить дело келейно, не обнаружив истинной роли Филипповского. Когда Федоров выезжал из Петербурга, то еще не был придуман способ выпустить Филипповского, не возбудив у революционеров подозрений. Федоров сообщил при этом, что в этот раз едва не был арестован хорошо известный саратовским филерам Зот Сергеевич Сазонов, также участвовавший в слежке, переодетый извозчиком. Он и еще одно лицо успели скрыться".

Азеф состоял членом партии с самого ее основания. Он знал о покушении на харьковского губернатора кн[язя] Оболенского (1902 г.) и принимал участие в приготовлениях к убийству уфимского губернатора Богдановича (1903 г.). Он руководил с осени 1903 года боевой организацией и в равной степени участвовал в следующих террористических актах: в убийстве министра внутренних дел Плеве, в убийстве велик[ого] князя Сергея Александровича в покушении на петербургского ген[ерал]—губ[ернатора] генерала Трепова, в покушении на киевского ген[ерал]—губ[ернатора] ген[ерала] Клейгельса, в покушении на нижегородского ген[ерал]—губ[ернатора] барона Унтербергера, в покушении на московского ген[ерал]—губ[ернатора] адм[ирала] Дубасова, в покушении на офицеров Семеновского полка ген[ерала] Мина и полк[овника] Римана, в покушении на заведующего политическим розыском Рачковского, в убийстве Георгия Гапона, в покушении на командира черноморского флота адм[ирала] Чухнина, в покушении на пре-

мьер-министра Столыпина и в трех покушениях на царя. Кроме того, он заранее знал об убийстве саратовского ген[ерал]-губ[ернатора] Сахарова, об убийстве петербургского градоначальника ген[ерала] фон-дер-Лауница, об убийстве главного военного прокурора ген[ерала] Павлова, о покушении на великого князя Николая Николаевича, о покушении на московского ген[ерал]-губ[ернатора] Гершельмана и др.

В виду таких фактов в биографии Азефа, центральный комитет не обращал внимания на указанные слухи и цитированные письма: он склонен был усматривать в них интриги полиции. Полиции было выгодно, конечно, набросить тень на одного из вождей революции и тем лишить его возможности продолжать свою деятельность. Такого мнения деожалось большинство товарищей. Меньшинство, не веря в полицейскую интригу, тем не менее далеко было от подозрения Азефа в провокации. К последним принадлежал и я.

Я был связан с Азефом дружбой. Долговременная совместная террористическая работа сблизила нас. Некоторые странности его характера (например, случай с Колосовой-Поповой, случай с Сулятицким) я объяснял недостатком душевной чуткости и тою твердостью, которая в известных пределах является долгом человека, несущего ответственность за боевую организацию. Я мирился с этими странностями. Я знал Азефа за человека большой воли, сильного практического ума и крупного организаторского таланта. Я видел его на работе. Я видел его неуклонную последовательность в революционном действии, его преданность революции, его спокойное мужество террориста, наконец, его тщательно скрываемую нежность к семье. В моих глазах он был даровитым и опытным революционером и твердым и решительным человеком. Это мнение в общих чертах разделялось всеми товарищами, работавшими с ним. Так думали люди, по характеру и темпераменту очень разные, доверчивые и скептики, старые революционеры и юноши. Так думали Михаил Гоц, Гершуни, Карпович, Чернов, Натансон, Каляев, Швейцер, Сазонов, Вноровский, Абрам Гоц, „Адмирал“, Зильберберг, Сулятицкий, Брешковская, Беневская, Бриллиант, Школьник, Севастьянова, Лурье и многие другие. Быть может, не все одинаково любили его, но все относились к нему с одинаковым уважением. Было невероятно, что все эти товарищи могли ошибиться.

Ни неясные слухи, ни анонимное письмо 1905 г. (о письме 1907 г. я узнал только во время суда над Бурцевым), ни указания Бурцева не заронили во мне и тени сомнения в честности Азефа. Я не знал, чем объяснить появление этих слухов и указаний, но моя любовь и уважение к Азефу ими поколеблены не были.

II

Центральный комитет, узнав, что Бурцев сообщил о своих подозрениях некоторым партийным товарищам, решил призвать Бурце-

ва к суду чести. Бурцеву было предъявлено обвинение в том, что он: во-первых, распространяет неосновательные и позорящие одного из членов центрального комитета слухи, чем наносит партии вред, и, во-вторых, — распространяет их без ведома и помимо центрального комитета, чем лишает возможности центральный комитет эти слухи опровергнуть. Судьями были избраны Г.А.Лопатин, кн[язь] Кропоткин и В.Н.Фигнер. Решение это состоялось в Лондоне, летом 1908 года, во время заседания партийной конференции.

Я на этой конференции не присутствовал и не принимал участия в решении этого вопроса. Узнав же о таком решении, я сделал все, от себя зависящее, чтобы оно не было приведено в исполнение. Я сделал это по следующим причинам.

Во-первых мне казалось, что привлечением Бурцева к суду центральный комитет не только не препятствует распространению позорящих Азефа слухов, но наоборот, способствует им: суд над Бурцевым должен был возбудить и в действительности возбудил много нежелательных разговоров.

Во-вторых, мне казалось, что позиция центрального комитета на суде крайне невыгодна. Уже не говоря о том, что весьма трудно опровергать слухи, идущие из полицейского источника, — а только этим располагал Бурцев, — даже обвинительный приговор Бурцеву еще не снимал подозрений с Азефа: Бурцев мог распространять неосновательные слухи, но слухи все-таки оставались. Суд, даже в лучшем для центрального комитета исходе, не достигал желательной для партии цели.

Наконец, и это самое главное, — мне казалось, что самое привлечение Бурцева к суду несовместимо с достоинством боевой организации. Подозрения, падавшие на Азефа, оскорбляли не только его. Они являлись оскорблением для всех террористов. На такое оскорбление нельзя было отвечать словами. Единственным, по моему мнению, достойным ответом была бы совместная с Азефом террористическая работа всех членов организации и соответствующее об этом заявление. Только такая работа могла доказать полное доверие организации к своему руководителю и презрение к оскорблению, столь же незаслуженному, сколь тяжкому.

Я пошел к В.М.Чернову, чтобы попытаться склонить его к моему мнению: к оскорбительности для боевой организации и невыгодности для партии суда над Бурцевым. Чернов сказал:

— Оскорбления для боевой организации я не вижу — ведь судят не Азефа, а Бурцева.

Я возразил, что самый факт суда есть оскорбление — боевая организация не может унижаться до разговоров, когда вопрос идет о ее чести. Я сказал также, что суд невыгоден для центрального комитета.

— Почему? — сказал Чернов. — Бурцев будет раздавлен. Ему придется каяться на суде.

Тогда я с тою же целью пошел к М.А.Натансону. Я имел у него

не больше успеха. Оставалось попытаться подействовать на самого Азефа.

Он приехал в Париж, утомленный конференцией и встревоженный подозрениями. Но, по внешности равнодушный, он мне сказал при встрече:

— Как это гадко... Ты слышал, что говорит Бурцев? Ты слышал, что будет суд?

Я повторил ему на это в ответ то, что говорил Чернову и Натансону. Я просил его стать на точку зрения боевой организации и отказаться от суда над Бурцевым. Я сказал также, что знаю, как ему тяжело жить при таких подозрениях, но что подозрения эти словами не смяются, а смяются только делом.

— Так ты думаешь, — спросил он, — нужно ехать в Россию?

— Конечно.

— И ты поедешь со мной?

Я сказал, что остаюсь при своем прежнем мнении о причинах бедствия боевой организации, но в данном случае вопрос касается чести террора, и даже если попытка будет заведомо безнадежной, я и тогда считаю своим долгом ехать в Россию, ибо вижу в такой поездке единственную возможность защищать организацию, Азефа и мою честь. Я прибавил, что я убежден, что товарищи-террористы согласятся со мной, что же касается меня лично, то я готов заявить печатно, что продолжаю с ним, Азефом, работать.

Азеф сказал:

— Мы поедем и будем все арестованы. Что тогда?

Я ответил, что я предвижу такой конец, но что именно процесс и несколько казней реабилитируют честь боевой организации.

— А если меня случайно не арестуют? — спросил Азеф.

— Тогда мы заявим на суде, что вполне тебе верим.

Азеф задумался.

— Нет, — сказал он, — этого мало. Скажут: Фигнер верила же Дегаеву... Нужен суд надо мной. Только на таком суде вскрыется нелепость всех этих подозрений.

Я сказал:

— Я ничего не хочу в этом деле предпринимать без твоего согласия. Если ты не принимаешь моего предложения, то позволь, по крайней мере, мне попытаться убедить Бурцева отказаться от суда. Он не знает тебя и твоей биографии. Когда я ему ее расскажу, я убежден, — он откажется от своих подозрений.

Азеф сказал:

— Против этого я ничего не имею.

Я мало верил, что сумею убедить Бурцева: Бурцев слишком решительно и определенно обвинял Азефа, но я считал своим долгом сделать еще и эту попытку.

Азеф уехал на юг Франции. Я предложил Бурцеву ознакомить меня с содержанием обвинений и выслушать биографию Азефа. Бурцев охотно согласился на это. Он рассказал мне следующее:

В 1906 году к нему в Петербурге, в контору редакции журнала „Былое“, явился чиновник особых поручений при варшавском охранном отделении М.Е.Бакай, упомянутый мною выше в связи с убийством Татарова. Бакай сперва предложил Бурцеву некоторые секретные документы для напечатания, а затем указал ему приметы и имена ряда секретных полицейских сотрудников в польской социалистической партии. Этими разоблачениями Бакай приобрел доверие Бурцева. О партии социалистов-революционеров Бакай сообщил следующее:

„Пользуясь совершенно секретными сведениями департамента полиции, я имею возможность констатировать, что главнейшие обыски и аресты среди революционеров, произведенные в течение последних двух лет, явились почти исключительно результатом „агентурных сведений“, т.е. провокации. Аресты Штифтаря, Гронского, участников готовившейся экспроприации у Биржевого моста, аресты в типографии „Мысль“ Венедиктовой и Мамаевой в Кронштадте, участников подготавливавшегося заговора на цареубийство в 1907 году, поголовный арест оппозиционной фракции социал-революционеров в Москве, аресты в Финляндии северной летучки (Карла и др.), а также обнаружение подготавливавшегося покушения на Щегловитова (арест Лебединцева, Распутиной и др.) — все это случилось благодаря провокации, и искать причин этих провалов вне ее — бесполезно.

Для наглядности я приведу несколько примеров, где действовала провокация, и что из этого выходило.

Когда Гершуни стал во главе боевой организации, то это тотчас же сделалось известным департаменту полиции; для его ареста напрягали все силы и даже назначили 10-тысячную премию. Когда Гершуни бывал за границей, — это тоже было известно департаменту полиции; его появления в России являлись неожиданными, но передвижения были известны. Объясняется это тем, что он освещался только заграничной секретной агентурой; в России он с провокацией если сталкивался, то случайно, и жандармы всего позднее узнавали о нем; и несмотря на то, что его лично знали многие филеры, наблюдавшие за ним в свое время в Минске, и что его карточки находились у всех жандармов, — он всегда благополучно ускользал. В конце-концов его арестовали по данным киевской агентуры, которая хотя и не соприкасалась с ним лично, но знала, что он едет из Уфы в Киев. О том, что Гершуни должен был принять участие в покушении на Богдановича, департамент полиции знал, и для его ареста был командирован заведующий наружным наблюдением всей России Медников, но не успел доехать, как убийство совершилось.

О подготавливавшемся покушении на великого князя Сергея Александровича тоже знали. Было известно, что в нем обязательно должен принять участие Савинков. По пути следования князя всегда расставлялись филеры для наблюдения за подозрительными личностями. Однако, несмотря на присутствие филеров, покушение совершилось, и это лишний раз доказывает, что филерское наблюдение без точных данных не способно что-либо сделать. О том, что московскому охранному отделению было известно о возможном покушении, мне передавал заведующий наружным наблюдением Д.Попов, и это подтверждается тем, что в день убийства или на другой — департамент полиции разослал телеграммы о немедленном аресте Савинкова при каких бы то ни было обстоятельствах, а за его родными, проживавшими в то время в Варшаве, предписал учредить самое строгое наблюдение. Что подобная телеграмма разослана из департамента, а не московским охранным отделением, показывает, что указания исходили от провокатора, имевшего лишь отношение к департаменту полиции или к петербургскому охранному отделению.

Далее, — в одном из номеров „Былого“ я прочел воспоминания Аргунова, в которых он описывает возникновение „Революционной России“ и заканчивает арестом типографии в Томске, где печатался этот журнал. Причину ареста он не указывал и, кажется, даже приблизительно не может догадаться, каким образом последовал провал.

На основании официальных данных (мне в свое время пришлось познаться с докладом Зубатова о ликвидации томской типографии) и из рассказов Медникова, Зубатова и филера Дм. Яковлева могу сообщить, что в числе участников возникшей тогда партии с.-р. находился один субъект, по профессии инженер. — он был провокатором. носил псевдоним у охранников „Раскин“ и числился при департаменте полиции.

От упомянутого „Раскина“ были получены агентурные сведения, что „такого-то числа, такой-то (точно не помню) поедет на юго-восток России по партийным делам, а оттуда, если не заедет в Москву, то направится в Томск, где устраивается нелегальная типография для печатания „Революционной России“.

„Такой-то“ был взят в наблюдение двумя филерами — Дм. Яковлевым и, кажется, Д. Поповым, — за ними следовали по пятам и дальнейшим за ним наблюдением установили место нахождения типографии, — что уж не так трудно. Следовательно, причину провала надо искать в указаниях провокатора „Раскина“.

Личность этого неизвестного провокатора, скрывавшегося под псевдонимом „Раскин“, крайне интересна, и его обнаружение может послужить поводом к выяснению многих бывших провалов. Впервые о „Раскине“ я услышал в январе 1903 года, узнал, что это — инженер, является главным сотрудником по партии с.-р., числится сотрудником департамента полиции, сообщал сведения только Зубатову или Медникову и получал по 350 руб. в месяц, — что считается очень солидным жалованьем.

Знаю, что „Раскин“ бывал на съездах, разъезжал по России, и когда он куда-нибудь ехал, то за ним всегда следовали филеры летучего отряда и Медников, — настолько его поездки были важны.

„Раскин“ давал ценные сведения о партии с.-р. и находился в курсе дела всех ее революционных предприятий; между прочим, он осветил роль Гершуни, указал на Серафиму Клитчоглу, как на члена боевой организации, проживавшую осенью 1903 г. в Харькове, а потом в Петербурге и находившуюся под неотступным наблюдением; указал на террористический народофильский кружок Негрескул; по его сведениям велось наблюдение за инженером Витенбергом; осветил связь тверских земцев — Бакунина, Петрункевича и др. — с революционерами и указал, между прочим, на возможность появления у них Брешко-Брешковской, вследствие чего за этими лицами велось неотступное наблюдение филерами летучего отряда.

„Раскин“ встречался с Зубатовым и Медниковым на квартире сожительницы последнего Е. Гр. Румянцевой — Преображенская ул., 40, кв. 1.

По указанию „Раскина“ было учреждено наблюдение в феврале 1903 г. за дантистом Шнеуром в Лодзи, который там поселился с целью переправы нелегальщины с.-р. из-за границы.

Переехав в Варшаву, я потерял „Раскина“ из виду, но вот однажды, в 1904 году, вдруг является в Варшаву из Петербурга через Москву Медников в сопровождении филеров и заявляет, что на следующий день приезжает сотрудник „Раскин“, который должен иметь серьезное деловое свидание с N. (один из поднадзорных лиц), и что после свидания наблюдение за N. будут осуществлять привезенные им филеры. В день посещения „Раскиным“ N. за ними обомни было учреждено наблюдение с филерами от варшавского охранного отделения, и вот последние вечером доносили, что в таком-то часу в квартиру наблюдаемого, т.е. N., пришла „подметка“ (так филеры называют сотрудников-провокаторов), описали его приметы, но,

по их словам, „Раскин“, однако, скоро оттуда вышел и пошел под наблюдением одних только „приезжих“, т.е. филеров летучего отряда, которые заявили, что будут сами наблюдать. В тот же день „Раскин“ и Медников уехали, а в Ваошаве остались два филера летучки, в том числе А. Тутушкин, ныне служащий артельщиком на юго-западных дорогах. Через несколько дней из департамента полиции последовало распоряжение филеров летучки возвратиться, за N. наблюдать местными силами.

После этого сведения о „Раскине у меня теряются, но на основании личных сообщений, без фактических данных, что будет единственным предположением во всей этой статье, — думаю, что этот таинственный провокатор не исчез со сцены, а только переименовался и стал называться „Виноградовым“. Со слов многих деятелей департамента полиции, в том числе Гуровича, передаю, что независимо от Татарова, одновременно с ним сотрудничал среди с.-р. и какой-то Виноградов, который в той же. если не в большей степени, способствовал провалу подготовлявшегося покушения на Грешова и Шулыгина в марте 1905 года.

Возможно, что я в отождествлении личностей Раскина и Виноградова ошибаюсь, но с.-р. должны позаботиться выяснением, кто мог скрываться под псевдонимом „Раскин“. Если бы „Раскин“ провалился, я бы это знал, ибо провал провокатора такой величины, какой он являлся для департамента полиции, не мог пройти для меня незамеченным. Остаются два предположения: или „Раскин“ ушел от революции в сторону, или же по-прежнему находится в рядах партии с.-р.

Бурцев из этих указаний Бакая выводил заключение, что Раскин, он же Виноградов, — не кто иной, как Азеф.

В доказательство правильности этого вывода он приводил два сообщения.

Во-первых, по сведения Бакая, анонимное письмо 1905 г. писал начальник петербургского охранного отделения полк[овник] Кременецкий. Сделал он это по личной злобе к Рачковскому. Рачковский, пользуясь услугами провокаторов Татарова и Виноградова, произвел 17 марта 1905 г. аресты членов боевой организации помимо и без ведома петербургского охранного отделения, в частности полк[овника] Кременецкого. За эти аресты Рачковский и его сотрудники получили крупную денежную сумму, а Рачковский, кроме того, был назначен заведующим всем политическим розыском империи на правах директора департамента полиции. Кременецкий, разумеется, никакой награды не получил. Это и послужило поводом к озлоблению против Рачковского. Таким образом, этим анонимным письмом устанавливалось тождество Азефа с Виноградовым.

Во-вторых, устанавливалось его тождество с Раскиным. Сообщенный Бакаем факт о посещении некоего N. Раскиным в Варшаве в 1904 году совпадал с посещением этого N. Азефом.

Бурцеву казалось, что этих совпадений достаточно, чтобы с уверенностью обвинить Азефа в провокации. Остальные приводимые им сообщения и факты были несущественны и служить к обвинению Азефа не могли.

Мне не удалось убедить Бурцева в ошибочности его выводов.

Зная об этих моих с Бурцевым переговорах, Азеф писал мне:

„...Я не вижу выхода из создавшегося положения, помимо суда. Не совсем понимаю твою мысль, что мы ничего не выиграем. Неужели и после

разбора, критики и опровержения „фактов“, Бурцев еще может стоять на своем? Я понимаю, когда у него была отговорка, что его не слушали и не разбирали его „материала“.

В другом письме он писал:

„Слушаюсь твоего совета не думать об этом грязном деле. Хотя признаюсь, что трудно не думать. Так или иначе, но лезет в голову вся эта грязь...“

В начале октября Бурцев известил меня, что у него есть новое, уличающее Азефа сведение. Он под честным словом просил меня никому об этом сведении до суда не сообщать. Поэтому центральный комитет досудебного разбирательства с ним ознакомлен не был.

Бывший директор департамента полиции сенатор Алексей Александрович Лопухин, знакомый Бурцева еще по Петербургу, приехал в октябре месяце за границу. Бурцев встретил его в поезде между Кельном и Берлином. Бурцев просил Лопухина сообщить ему, действительно ли Азеф состоял на службе в полиции и не имел ли Лопухин с ним дела в бытность свою директором департамента?

После долгого колебания и настойчивых просьб Бурцева, Лопухин на оба вопроса ответил утвердительно.

Он сообщил, что дважды встречался с Азефом по служебным делам.

Рассказ Лопухина не заставил меня заподозрить Азефа. Мое доверие к последнему было настолько велико, что я бы не поверил даже доносу, написанному его собственной рукой: я бы считал такой донос подделкой. Однако сообщение Лопухина было мне непонятно. Я не видел цели у Лопухина обманывать Бурцева. Я не мог допустить также мысли, что он участвует в полицейской интриге, если такая интрига в действительности существует: бывший директор департамента полиции едва ли мог унизиться до роли мелкого провокатора. Я склонился к мысли, что произошло печальное недоразумение: Лопухин принял за Азефа кого-либо из многочисленных секретных сотрудников полиции. Как бы то ни было, для меня было ясно, что рассказ Лопухина должен произвести большое впечатление на судей. Я боялся, что суд окончится не полным обвинением Бурцева и даже его оправданием. Такой исход был бы тяжелым ударом для партии и для боевой организации.

Уверенный в честности Азефа, уверенный, что мы имеем дело с недоразумением, я опять стал просить Чернова и Натансона отказаться от суда. Мои настояния не увенчались успехом.

Суд был назначен на конец октября в Париже.

III

Суд чести, как я говорил выше, состоял из избранных центральным комитетом, с согласия Бурцева, Г.А.Лопатина, кн[язя] П.А.Кропоткина и В.Н.Фигнер. Представителями от партии

были: В.М.Чернов, М.А.Натансон и я. Суд начался в конце октября и происходил сперва в помещении библиотеки имени Лаврова (50, rue Lhomond), а затем на моей квартире (32, rue La Fontaine).

Первые заседания были посвящены докладу Бурцева. Он взял слово для обвинения и повторил то, что рассказал мне в частных беседах со мною: бессилие боевой организации и многочисленные аресты последних лет, в частности, казнь Зильберберга и Сулятицкого, аресты 31 марта 1907 г. и аресты членов северного летучего боевого отряда (Карл Трауберг и др.) уже давно убедили его в существовании в центральных учреждениях партии и даже, быть может, в самом центральном комитете, провокатора. Путем исключения, он обратил свое внимание именно на Азефа. Сведения, сообщенные Бакаем* о Раскине и Виноградове и совпадение этих имен с именем Азефа убедили его, что подозрения его правильны. Сообщение Лопухина рассеяло последнюю тень сомнения.

Доклад Бурцева, видимо, поколебал Кропоткина и Лопатина. Оба они не знали Азефа, соображения же, высказанные Бурцевым, в особенности рассказ Лопухина, действительно, представляли собой значительный материал для обвинения. Фигнер давно знала Азефа и после доклада Бурцева продолжала твердо верить в его невиновность. Натансон, Чернов и я попросили слова для возражения Бурцеву.

Чернов не только защищал Азефа, он обвинял Бурцева. Сначала он шаг за шагом разбивал его доказательства. Он объяснил причины казни Зильберберга и Сулятицкого и указанных обвинением арестов, — по его и нашему общему мнению, незачем было искать этих причин в провокации Азефа: аресты могли произойти естественным путем через наружное наблюдение, казнь же Зильберберга и Сулятицкого, против которых на суде не было никаких улик, могла, конечно, свидетельствовать о наличии провокации, но еще ни в коем случае не указывала именно на Азефа. Затем Чернов остановился на самой сущности обвинений. Он указал, что источником их являются два лица. Одно из них Бакай, — бывший провокатор, агент охранного отделения. Уже одно это заставляет недоверчиво относиться к его показаниям. Но и далее, — рассказ Бакай страдает неточностью: так, например, сообщая, что Раскин в 1904 г. в Варшаве посетил Н., он не устанавливает в точности дату этого посещения, чем обесценивает свое показание. Другое лицо, — бывший директор департамента полиции Лопухин, человек, хотя, конечно, и компетентный в вопросах провокации, но едва ли заслуживает доверия большего, чем Азеф, много лет работавший в партии. Чернов отказывался выяснять во всех подробностях загадочную историю показания Лопухина, — к этому он не имел данных. Но он, как одну из допустимых гипотез, предлагал следующую: правительство уже давно стремится деморализовать партию,

*Чиновник варшавской охранки.

обвиняя одного из видных ее вождей в провокации. Так было в 1905 г., когда из полицейского источника было получено пресловутое анонимное письмо; так было в 1906 г., когда Азефа обвинял Татаров; так было в 1907 г., когда из Саратова были получены сведения о важном провокаторе Валуйском (Азефе). Так, конечно, есть и сейчас. Только теперь главную роль играют Бакай и Лопухин, а игрушкой в их руках является Бурцев. До какой степени такую игрушкой он является, видно из того, что он, Бурцев, ранее, чем сообщить о своих подозрениях центральному комитету, счел возможным говорить о них с партийными людьми, чем уже вредил партии, уже вносил в нее деморализацию, уже служил интересам правительства. Чернов просил поэтому обвинить Бурцева в легкомысленном обращении с чужим именем и признать факты, им сообщенные, неосновательными, исходящими из недостоверного источника.

Натансон поддерживал Чернова, главным образом, в той части его речи, где он выяснял некорректность отношений Бурцева к партии и центральному комитету.

Я не был во всем согласен с Черновым и Натансоном. Я полагал, во-первых, что обвинения Бурцева в некорректности настолько ничтожны, что останавливать на этом пункте свое внимание значит терять время даром. Контробвинение Бурцева (Бурцев обвинял центральный комитет в бездействии и в небрежении партийною безопасностью) мне представлялось в такой же степени неважным. Центр тяжести был в подозрениях на Азефа. Этим подозрениям следовало противопоставить факты его революционной биографии. Я это и сделал на суде. Во-вторых, я не был согласен с гипотезою Чернова: я не верил, что Лопухин может играть роль провокатора.

Суд, однако, не убедился нашими речами. Фигнер оставалась при прежнем доверии Азефу, но Лопатин и Кропоткин продолжали колебаться.

Я спросил однажды Лопатина:

— Как ваше мнение, Герман Александрович?

Лопатин сказал:

— Да ведь на основании таких улик убивают.

Кропоткин, по-видимому, допускал возможность двойной, со стороны Азефа, игры, т.е. одновременного обмана правительства и революционеров. Для него, как и для Лопатина, единственным крупным в пользу Азефа фактом было дело ***. Но они не могли связать его провокацию с участием в обнаруженном покушении на царевбийство.

Это был единственный пункт наших возражений, имевший значение в глазах судей. Зато рассказ Лопухина определенно склонял весы в сторону обвинения.

Лопатин, очень вдумчиво следивший за нашими речами, в частном разговоре спросил меня:

— Как вы объясняете роль Лопухина?

Я развел руками.

— Налево Лопухин, направо Азеф. Лопухин, конечно, не участвует в полицейской интриге, даже если такая есть налицо, в чем и можно усомниться. Но я, конечно, скорее поверю Азефу, чем Лопухину.

Лопатин покачал головой.

— Лопухин не заинтересован сказать неправду.

Я сказал:

— Да. И я ничего здесь понять не могу. Но я верю Азефу и я убежден, что он не виновен.

Я сказал также, что, по моему мнению, все это недоразумение объясняется не полицейской интригой, а гораздо проще: отчасти слетней, отчасти случайным совпадением, отчасти, быть может, добросовестными ошибками. Я, как уже говорил, склонялся к предположению, что Лопухин ошибся.

Последующие заседания были посвящены допросу свидетелей. Было вызвано несколько лиц, в том числе и Бакай. Только его показания и имели интерес для суда.

Бакай повторил то же, что уже рассказал Бурцев. Он ни разу, однако, не отождествил Азефа с Раскиным или Виноградовым. Он подчеркнул несколько раз, что не сомневается только в одном, — в существовании центральной провокатуры; кто же именно этот провокатор, — ему неизвестно. Во время допроса выяснилась и предшествующая деятельность Бакай: он признался, что состоял на службе полиции в качестве секретного сотрудника в 1900–1901 году в Екатеринославе.

Чернов, Натансон и я, допрашивая Бакай, пытались воочию доказать судьям, что слова его не заслуживают веры. В частности, Чернов несколько раз указывал на противоречие в его показаниях. Мы не достигли цели. На мой вопрос, какое впечатление произвел на него Бакай, Кропоткин, идеальный по беспристрастию судья, спокойно ответил:

— Какое впечатление? — Хорошее.

Лопатину тоже казалось, что Бакай говорит правду. Только Фигнер была с нами согласна: она к словам Бакай относилась и в данном случае с недоверием.

Бурцев опровергал наше мнение о Бакае. Он говорил, что совершенно убежден в его искренности. Убеждение это он вынес не только из личных впечатлений и встреч, но и из фактов: Бакай обнаружил свыше 50 провокаторов в польской социалистической партии; он предупредил в Петербурге о готовящихся арестах 31 марта 1907 года, но предупреждением этим не по его вине не воспользовались; он предупредил о наблюдении за социал-демократической лабораторией на ст. Куоккала в Финляндии; он был арестован за сношения с ним, Бурцевым, и сослан в Тобольскую губернию; из ссылки он бежал с помощью Бурцева, а не какого-либо неизвестного лица.

Эти факты из биографии Бакая не убеждали Натансона, Чернова и меня в правдивости его слов. Мы не могли забыть, что Бакай был провокатором и затем долгое время слушал в охранном отделении.

После допроса свидетелей и речи Бурцева слово опять было предоставлено Чернову, Натансону и мне. Мы опять пытались разбить доказательства Бурцева и противопоставить им бесспорность фактов террористической деятельности Азефа.

Суд, выслушав нас, объявил перерыв для допроса некоторых свидетелей вне Парижа и для представления документов, — анонимное письмо 1905 года и саратовское сообщение находились в партийном архиве в Финляндии.

Предстояло допросить Лопухина. Бурцев написал ему письмо с просьбой приехать для этого допроса за границу. Мы же с разрешения суда послали в Петербург члена центрального комитета Аргунова, чтобы на месте справиться о Лопухине, о его отношениях к правительству, о его политических убеждениях, о его личности, о причине отказа ему в приеме его в конституционно-демократическую партию и в сословие присяжных поверенных, о каковых отказах нам было известно.

Сделав постановление о перерыве, суд разъехался из Парижа: Лопатин уехал в Италию, Кропоткин вернулся в Лондон. Оба они уносили с собой большое сомнение в честности Азефа, и мы это знали.

Суд, как я предвидел, не только не был полезным для партии, но, наоборот, грозил нежелательными осложнениями. Посоветовавшись втроем, Чернов, Натансон и я решили, в случае оправдательного Бурцеву приговора, идти на прямой конфликт с судом: еще ни в малой степени мы не подозревали Азефа. Все обвинения Бурцева казались нам не только печальным и нелепым недоразумением, оскорбительным для партии, для Азефа и для нас, но и лишенным всякого основания и даже правдоподобия.

Во время суда Азеф жил на юге Франции. Он видимо тревожился обвинениями Бурцева и писал мне письма, в которых не скрывал своей тревоги. Я находил объяснение этой тревоги в его оскорбленном чувстве собственного достоинства.

Так, он писал мне от 21 октября:

«...Ход или постановка дела мне несколько непонятны. Обвинение ведь могло бы быть сформулировано так. Имел ли Бурцев право на основании всего того, что он имеет, распространять и т.д. Я представлял себе весь ход гораздо быстрее. Он выкладывает все, — это рассматривается и решается, имел право он или нет. При чем тут допрос Бакая и свидетелей, живущих вне Парижа? Но вам там, конечно, виднее. Уверен в одном, что вы все маху не дадите. Пожалуй, послушаюсь тебя, и с приездом еще подожду».

В другом письме из Сан-Себастьяна от 26/X он писал:

Дорогой мой.

Конечно, судьи не историки, они обязаны выслушать и проверить все; они обязаны потребовать доказательства и от вас. Но... ведь тут не равные стороны: вы и полиция (я становлюсь на точку зрения ваших впечатлений от Бакая). Ну, как вы докажете судьям, например, утверждение Бакая, что когда Раскин приехал в Варшаву и должен был посетить *N.*, было в охране сделано распоряжение не следить за *N.*, дабы шпионы не видели Раскина. Как это доказать? Я не понимаю. Относительно письма, которое писал Кременецкий, — пойди и докажи. Хотя тут, пожалуй, легче. Ибо объяснение уже довольно-таки странное, — что за сей поступок перевели лишь человека в Сибирь. Тут, конечно, можно было заставить Бурцева, чтобы он при помощи своих охранных связей, документально доказал, что Кременецкий был именно переведен в Сибирь после того письма, т.е. августа 1905 года. В общем мне кажется, что опровергать все, что исходит от охраны, для нас почти невозможно: и судьи, и будучи историками, должны и обязаны стать на эту точку зрения. Даже и в формальном суде введен институт присяжных заседателей, дабы решалось не исключительно формально, но принимая во внимание очень и очень многое другое. Став на эту точку зрения, мне все-таки не все понятно в этом суде. И прежде всего, перерыв для бесконечных допросов. Я не критикую, мой дорогой, но мне все не совсем ясно, а вернее всего тут мое настроение, мой субъективизм. Хотелось бы уже развязаться с этой мерзостью, да и потом шатание уж надоело*.

В ноябре Азеф приехал в Париж.

Он пришел ко мне утомленный и разбитый. У нас произошел такой разговор.

Я повторил ему все обвинения Бакая (Бурцев при частных беседах со мною дал мне на это право: я был обязан словом молчать только о сообщении Лопухина). Я сказал, что, по моему впечатлению, двое из судей, — Лопатин и Кропоткин, — едва ли не на стороне Бурцева. Я сказал также, что, кроме показаний Бакая, есть еще одно показание, которое я рассказать не вправе.

Азеф встревожился:

— Опять какой-нибудь Бакай?

— Нет, не Бакай.

— Но чиновник полиции?

— Не знаю.

Азеф переменял разговор. Он сказал:

— Так ты говоришь, что Кропоткин подозревает двойную игру?

— Да.

Азеф помолчал. Затем он вдруг рассмеялся.

— Да, конечно, не очень-то вы умны, чтобы нельзя было вас обмануть.

Через несколько минут он сказал:

— Ты говоришь, есть еще показание. Верно, из полицейского источника?

Я опять ответил:

— Не знаю.

Затем я сказал Азефу, что не совсем понимаю его поведение. Я бы понял его отказ от суда и поездку вместе с членами боевой ор-

ганизации в Россию на работу, — он на это не согласился. Я бы понял также его полное невмешательство в вопрос о суде и в самый ход судебных заседаний. Но он не сделал и этого: он желал, чтобы суд состоялся, и он в письмах ко мне старался на него повлиять. Кроме того, ему известна лишь часть обвинения; другая, главнейшая, от него скрыта. Я сказал, что мне непонятно, как он может мириться с таким положением; что — одно из двух: либо судья Бурцева и не подозревают честности Азефа, тогда Азефу должен быть предъявлен весь следственный и судебный материал; либо Азефа подозревают в провокации, и тогда нужно судить его, а не Бурцева. Я сказал, наконец, что я вижу, что аргументы Натансона, Чернова и мои не действуют на судей и что мы бессильны защищать его, Азефа. По моему мнению, он должен сам явиться на суд, сам опровергать Бурцева и защищать себя; только он один может защищать свою честь.

Азеф сказал:

— Я думал, вы, как товарищи, защитите меня.

Я ответил, что мы сделали все, что могли, и что не наша вина, если мы не можем большего.

Азеф долго молчал. Потом он сказал:

— Так ты думаешь лучше, если я явлюсь на суд?

— Да, лучше.

Он опять ответил не сразу.

— Нет. Я не могу. У меня нет сил.

Он казался совсем разбитым. Я молчал.

Он заговорил снова:

— Или ехать в Россию?

— Поедем.

— Но если вас всех повесят?

Я убеждал его не считаться с этим. Он сказал:

— Нет. Я этого не могу...

Уходя, он поцеловал меня.

— Знаешь, эта история меня совсем убьет...

Через несколько дней я получил от него письмо:

„21 декабря.

Дорогой мой.

Сегодня к тебе заходил, а вчера у тебя просидел целый вечер, поджидая. Хотел тебе передать, что Викт. [в] понед[ельник] не может принять участия в совещ[ании], а главное, что я решил не принимать участия в нем по 2 причинам: 1) из предварительного разговора с В. я выяснил себе, что все детали суда мне не могут быть известны (добросовестное отношение к суду это, конечно, требует), — а то, что я могу сказать по поводу фактов, мне известных, уже мною сказано и тебе, и Виктору (Виктор даже мне заметил, что на все это мы уже указывали); я боюсь, что могу даже повредить или вернее стеснить вас всех. Я не знаю вполне ни состояния судебного следствия, ни психологии судей — и, вероятно, получаю неправильное впечатление о способе вашей защиты, и мне не хотелось бы, чтобы мое мнение (вероятно, неправильное) имело бы на вас влияние. Хочу избежать вторичного упрека в том, что я принимаю и активное и недоста-

точно активное участие в этом деле. Дело в том, что я все время стояла на точке зрения, с вашего общего благословения, невмешательства в это дело (сиди и не думай об этом деле, мы справимся — ваш совет). Не могу считать активным вмешательством то, что на твой вопрос о необходимости суда или ненужности его высказался, что мне представляется лучше суд, чем нет, — но в то же время предоставил решать вопрос вам, и что я вполне присоединяюсь к вашему решению. Вы решили. Моя активность выразилась лишь в том, что я определенно высказывал свое желание, чтобы ты непременно участвовал в суде, как ты этого хотел. Вот эти две причины, вследствие которых я решил не участвовать в этом совещании, т.е., вернее, я отказываюсь от инициативы этого совещания. Вам же, если считаете возможным для себя сговориться, следует это сделать и принять во внимание, если находите нужным, то, что я тебе и В. высказывал. Затем надо ускорить дело и принять все меры и посчитаться с моим требованием — потребовать сенсацию* на очную ставку. Относительно же фактических указаний из материала я уже условился с В.

Твой Иван*.

Это свидание и это письмо зародили во мне впервые смутное подозрение.

IV

А.А.Аргунов собрал в Петербурге справки о Лопухине. Справки эти выяснили, что Лопухин заслуживает доверия, — ни о каком участии его в полицейской интриге не могло быть и речи. Он не был принят в сословие присяжных поверенных и в конституционно-демократическую партию по чисто формальным причинам, как бывший полицейский чиновник. С правительством он давно порвал всякую связь.

Но не эти справки были главным результатом изысканий Аргунова. Увидевшись лично с Лопухиным, он узнал от последнего столь же неожиданную, как и смутившую его новость. Лопухин сообщил ему, что 11 ноября ст[арого] стили к нему на его квартиру, на Сергиевской улице в Петербурге, около 10 часов вечера, явился Азеф и умолял его взять свое показание, данное им Бурцеву, обратно. Лопухин Азефу отказал. Тогда, через несколько дней, к нему пришел начальник охранного отделения полк[овник] Герасимов и уже не просил, а требовал отказа от слов, сказанных Бурцеву, угрожая в противном случае преследованием. Лопухин отказал и Герасимову. Кроме того, он написал письмо премьер-министру Столыпину, тов[арищу] мин[истра] внутр[енних] дел Макарову и директору департамента полиции Трусовичу с просьбой оградить его в будущем от подобных посещений. Письма эти в подлиннике читал Аргунов.

С этими новостями Аргунов вернулся в Париж. Натансон, Чернов и я скорее обрадовались им: впервые мы имели возможность проверить обвинение против Азефа, впервые давалось точное ука-

*Лопухин.

зание места и времени его конспиративных сношений. Мы надеялись, что расследование докажет полную неосновательность сообщения Лопухина: мы знали, что Азеф в начале ноября поехал в Мюнхен к Н. и, пробыв там дней десять, вернулся в Париж. Тем легче было расследование: нужно было только выяснить день приезда и выезда Азефа из Мюнхена. Нам казалось, что на этот раз мы легко установим ошибку Лопухина.

Случилось иное.

Немедленно после приезда Аргунова, я выехал в Мюнхен к Н. Я не сказал ни ему, ни его товарищу о сообщении Лопухина. Я сказал только, что в связи с делом Бурцева необходимо выяснить местопребывание Азефа в средних числах ноября. Н. и товарищ его рассказали мне, что Азеф приехал в Мюнхен 15 или 16 ноября ст[арого] стиля и оставался там всего дней пять. Они получили от него письмо из Берлина от 9/22 ноября.

Азеф был уличен во лжи: он сказал Чернову и Натансону, что пробыл в Мюнхене десять дней.

Кроме того, в Берлине он был без ведома центрального комитета. Тогда центральный комитет постановил произвести тайное расследование об Азефе. В декабре в Лондон из Петербурга приехал Лопухин. Он еще в России обещал подтвердить все им сказанное Чернову и мне. На свидание к нему выехали поэтому Аргунов, Чернов и я. Свидание состоялось в маленькой гостинице недалеко от Чаринг-Кросса.

Лопухин сообщил нам следующее.

Впервые он узнал об Азефе вскоре после своего назначения на пост директора департамента полиции. Весною 1903 года Дурново, тогда товарищ министра внутр[енних] дел, рассказал ему, что Рачковский, заведывающий русским политическим сыском за границей, обратился с ходатайством об ассигновании его секретному сотруднику Раскину (Азефу) 500 руб. для передачи Гершуни. Рассказывая об этом, Дурново выразил опасение, что эти деньги пойдут на бомбы в кассу боевой организации. Он просил Лопухина увидеть Раскина и лично выяснить истинное назначение этой суммы. Раскин (Азеф), по требованию Лопухина, явился к нему по приезде своем из-за границы и объяснил, что, во-первых, деньги 500 руб. отнюдь не предназначались на боевое дело и, во-вторых, что он, Азеф — не член партии, но личный друг Гершуни и через Гершуни может освещать весьма видных революционеров.

Второе свидание Азефа с Лопухиным состоялось в конце 1903 или в начале 1904 г. Лопухин через прислугу получил записку, в которой „лицо ему лично известное“ просит его о свидании. Этим „лично известным лицом“ оказался Азеф. Он просил Лопухина об увеличении ему содержания. Лопухин отказал. Чиновник Ратаев впоследствии сообщил Лопухину, что Азеф в то время получал до 6000 руб. в год.

Третье свидание Азефа с Лопухиным произошло 11 ноября

1908 г. около 10 часов вечера на квартире Лопухина. Азеф именем своих детей умолял не губить его. Лопухин подробно описал наружность человека, приходившего к нему в этот день: толстый, сутуловатый, выше среднего роста, ноги и руки маленькие, шея толстая, короткая. Лицо круглое, одутловатое, желто-смуглое; череп кверху суженный; волосы прямые, жесткие, темный шатен. Лоб низкий, брови темные, глаза карие, слегка на выкате, нос большой, приплюснутый, скулы выдаются, губы очень толстые, нижняя часть лица слегка выдающаяся. В этом портрете мы узнали Азефа.

Кроме того, по словам Лопухина, Азеф „осветил“ полиции: пензенскую тайную типографию, транспорт нелегальной литературы в Лодзи, террористическую группу С.Клитчоглу в Петербурге, поездку в Россию Слетова в 1904 г., нижегородский съезд боевой организации в 1905 г. и многое другое. Лопухин сказал также, что, по его сведениям, Азеф был наиболее крупным провокатором в партии социалистов-революционеров: в последнее время он получал до 14000 рублей в год.

В искренности Лопухина нельзя было сомневаться: в его поведении и словах не было заметно ни малейшей фальши. Он говорил уверенно и спокойно, как честный человек, исполняющий свой долг.

Лопухин никогда ранее не оказывал услуг партии. Насколько мне известно, он оставил полицейскую службу и вообще не занимался политикой. Я не знаю, какие мотивы руководили им при сообщении нам сведений об Азефе, но нет сомнения, что он действовал более, чем бескорыстно: он знал, что правительство будет преследовать его. И действительно, когда Азеф был разоблачен, Лопухин был арестован в Петербурге.

Рассказ Лопухина и ложь Азефа о его пребывании в Мюнхене убедили Аргунова, Чернова и меня в виновности Азефа. Центральный комитет решил допросить Азефа о дне 11 ноября. Допрос Азефу делал Чернов, стараясь не показать ему своих подозрений.

Чернов сказал Азефу, что Бурцев, учредив наблюдение за Ратаевым, непосредственным, по словам Лопухина, начальником Азефа, жившим в то время в Париже под именем ген[ерала] Гирса, — утверждает, что наблюдением этим установлен визит Азефа к Ратаеву 11 ноября ст[арого] стиля в 7 часов утра. Чернов спрашивал Азефа, где он был в этот день, ибо, несмотря на явную нелепость такого указания, суд может потребовать документального его опровержения.

Азеф в ответ вынул из кармана два счета: один на имя Лагермана из гостиницы „Fürstenhof“ в Берлине, где он пробыл с 7/20 XI по 9/22 XI-08 г. и другой — на имя Иоганна Данельсона с 9/22 XI-08 г. по 13/26 XI-08 г. из меблированных комнат „Керчь“, тоже в Берлине, содержимых русским евреем Черномордиком. Азеф прибавил, что ездил в Берлин, чтобы отдохнуть. Из Берлина он проехал к NN в Мюнхен.

Было странно, что Азеф по дороге к NN остановился в русских

меблированных комнатах в Берлине, т.е. не соблюл элементарных правил конспирации.

Было решено проверить подлинность представленных им счетов.

С этой целью в Берлин поехал тов. В. (псевдоним).

Из Берлина В. телеграфировал нам следующее:

„Ihre schlimmste Verdaechte vollkommen richtig seid bereit das Dicker wusste heute Woldemars mission“*.

Оказалось по справкам В., что, во-первых, меблированные комнаты „Керчь“ скорее похожи не на гостиницу, а на притон низшего разряда, во-вторых, что Черномордик служит переводчиком при берлинском Polizei-Praesidium e и, в-третьих, что лицо, останавливавшееся в „Керчи“ с 22 по 26/ХІ и записанное под именем Иоганна Данельсона, даже отдаленно не напоминает собою Азефа. Счет был фальшивый. Наши худшие подозрения, действительно, оправдались.

Азефу в партии доверяли так, как, быть может, доверяли только Гершуни. Сособенною любовью и уважением пользовался он у членов боевой организации. Карпович был в России, но из его ближайших товарищей в Париже находилось несколько человек: Н. (псевдоним), П—а, Эсфирь Лапина и др. Узнав о подозрениях на Азефа, они отказались им верить даже после допроса нами Лопухина. Как показатель того волнения, которое охватило боевые круги, характерно следующее письмо Лапиной центральному комитету:

„Я несколько сомневаюсь в том, что моя позиция достаточно ясна ЦК. Постараюсь поэтому резюмировать ее еще раз:

1) Я заявляю, что желаю занять активную роль в интересующем нас всех деле. Степень моей активности может простираться вплоть до приведения приговора в исполнение, если этого потребуют интересы дела.

2) То или другое активное участие в этом деле, размеры которого может определять только ЦК, для меня лично приемлемы только при одном условии: при участии моем в таком суде, который имеет право выносить только единогласное решение.

3) ЦК имеет право в известный момент действовать исключительно по совести. В данном деле такой момент наступил. ЦК имеет право передоверить свои полномочия другим членам партии. Но если ЦК имеет право передоверить *совесть* другим членам партии, то минимальным условием осуществления этого права ЦК является требование полного единства решения этих членов партии. Передавая суд в руки коллеги, ЦК тем самым обязует всех членов суда нести полную ответственность за возможный исход суда. Быть членами суда моральное право имеют только те члены партии, которые в силах привести приговор в исполнение, если они — судьи праведные.

Всякий член суда при таких условиях имеет право заявить: я не желаю быть *моральным* участником убийства, которое может идти вразрез с моей совестью, я не имею никакого права ставить другого члена суда в такое же положение. Коллегиальный суд, а не ЦК, может убивать только единогласно. Никакие аналогии ни с другим партийным положением, ни с другим судом невозможны. Суд присяжных заседателей только судит, но сам

* „Ваши худшие подозрения оправдались. Будьте готовы к тому, что „Толстяк“ уже осведомлен о миссии Вольдемара“ (нем.). — Ред.

не убивает. А убивать каждый член суда имеет право только при единогласном решении. Значит, мое мнение сводится к следующему: коллегия может судить только тогда, если в основу ее образования будет положен тот принцип, который я защищаю, а потому речь идет не об обязательствах ЦК только передо мною.

4) Если судить будут не только члены ЦК, но и члены партии, то в основу создания коллегии должен быть положен и следующий принцип: представительство всех оттенков мнений, высказанных на общем совещании. Иначе коллегия будет судом пристрастным.

5) Высказывая свои пожелания и мнения, я хочу обратить внимание ЦК на следующее: если не по практическим соображениям, то, быть может, по чисто моральным, ЦК должен обратить внимание на то, что я имею формальное право добиваться своего участия в суде, раз судьей является не только ЦК.

6) С данного момента, когда моя позиция мне совершенно ясна, когда ЦК заявил мне, что мое предложение не может быть принято при тех условиях, которые ставлю я, мне остается сказать: данное мною честное слово меня обязывает только к *пассивному умалчанию* перед заинтересованным лицом о том, о чем я знаю.

Бэла*.

Центральный комитет был поставлен в трудное положение: с одной стороны, улики против Азефа были неопровержимы, его виновность была доказана, а следовательно, Азеф должен был быть убит, с другой — партийное общественное мнение не помирилось бы со смертью Азефа без предварительного и обставленного судебными гарантиями его допроса. Такой допрос необходимо предполагал присутствие, по крайней мере, одного члена центрального комитета. Между тем, убийство Азефа было возможно только тут же на допросе, ибо после допроса он немедленно нашел бы возможность скрыться, что и случилось в действительности. Таким образом, центральный комитет должен был решиться на гибель, по крайней мере, одного из своих членов и на аресты и высылки из Парижа всего заграничного центра партии, иными словами, он должен был взять на себя ответственность за разгром центральных партийных учреждений в тот именно момент, когда разоблачение провокации Азефа должно было неизбежно вызвать в партии смуту. Центральный комитет решил посоветоваться по этому вопросу с некоторыми уважаемыми товарищами, жившими в Париже.

В самом конце декабря 1908 г., на rue Lhomond 50, состоялось собрание приглашенных центральным комитетом товарищей. На нем присутствовали: М.А.Натансон, В.М.Чернов, А.А.Аргунов, Н.И.Ракитников, В.Н.Фигнер, И.А.Рубанович, Г-ский, В.М.Зензинов, И.И.Фундаминский, М.А.Прокофьева, Эсфирь Лапина, С.Н.Слетов, Н. (псевдоним) и я.

На обсуждение был поставлен вопрос: возможно ли убить Азефа немедленно, не приступая к допросу, или необходимо произвести дополнительное расследование и, в зависимости от результатов его, решить и судьбу Азефа?

Мнения разделились. Четыре человека (Зензинов, Прокофьева, Слетов и я) высказались за немедленное, без допроса, убийство

Азефа. Мы утверждали, что Азеф, конечно, знает о подозрениях центрального комитета, — если он не поставлен в известность полицией, то он догадался о них по перемене отношений к нему товарищей. Таким образом, продолжение расследования грозит бегством Азефа. Кроме того, мы указывали, что убийство Азефа после допроса может юридически компрометировать весь центральный комитет и отразиться на судьбе всех центральных учреждений партии, а это с партийной точки зрения недопустимо: Азеф должен быть убит без значительных для партии потерь. Наконец, виновность Азефа, по нашему мнению, была столь очевидна, что обвинение ни в дальнейшем расследовании, ни в допросе не нуждалось.

Противоположное мнение, к которому примкнуло большинство (при воздержавшихся „Николае“ и Лапиной и при особом мнении Рубановича) заключалось в следующем: смерть Азефа вызовет в партии раскол, раскол этот будет тем более значителен, чем менее юридически оформлен суд над Азефом. Если последнему не будет дано всех возможных в партии средств защиты, многие из партийных, в особенности боевых работников, будут считать, что центральный комитет совершил преступление. Наконец, и справедливость требует такой постановки дела: в самом центральном комитете есть люди, например, Натансон, не вполне уверенные в виновности Азефа.

После прений собрание постановило: расследование об Азефе продолжать, подготавливая одновременно его убийство при условии наименьших для партии потерь.

Было решено убить Азефа вне пределов Франции, например, на территории ***. Аргунов и бывший член петербургской военной организации — А. (псевдоним) выехали в *** с целью нанять там уединенную виллу. Чернов и я должны были под каким-либо предлогом привезти в эту виллу Азефа.

Я был не согласен с решением собрания. Я считал, что Азеф во что бы то ни стало должен быть убит, и видел, что дальнейшее расследование обеспечивало ему легкую возможность бегства; я был убежден, что в Италию он не приедет. Исполняя постановление центрального комитета, я принял участие в обсуждении плана убийства в Италии, но лично для меня вопрос стоял иначе: я спрашивал себя, не обязан ли я, вопреки мнению центрального комитета, убить Азефа на свою личную ответственность? Я решил этот вопрос отрицательно: я не считал возможным в эту минуту быть причиной раскола в партии. Кроме того, я хотел знать мнение Карповича, ближайшего сотрудника и друга Азефа. Карпович, вопреки ожиданию, приехал в Париж уже после того, как Азеф бежал.

Пока шли переговоры в Италии, т. В. делал расследование в Берлине. По получении от него цитированной уже телеграммы, центральный комитет решил немедленно приступить к допросу Азефа. Он сделал это из опасения, что Азеф узнает о поездке В. и бежит. Произвести допрос должны были Чернов, „Николай“ и я. Было по-

становлено, что убивать Азефа мы не имеем ни в коем случае права.

Постановление это равнялось решению освободить Азефа. Но я не считаю, что центральный комитет в данном случае поступил неправильно. Была сделана ошибка значительно раньше: Азефа нужно было немедленно убить после нашего свидания с Лопухиным, когда виновность его уже не подлежала сомнению. Но колебания в самом центральном комитете, с одной стороны (Натансон), и колебания боевиков (Николай, Лапина и др.) — с другой, не позволяли центральному комитету решиться на эту меру. С этого момента центральный комитет оставил путь революционных решений и вступил на дорогу формального суда, защиты и слова. Дорога эта неизбежно приводила к допросу Азефа, а следовательно, и к его бегству: центральный комитет не имел права платить за смерть Азефа арестом единственного теоретика партии Чернова, без Чернова же допрос был невыносим.

Как бы то ни было, Азеф мог чувствовать себя в безопасности.

V

Вечером 5 января н[ового] стилия 1909 г. Чернов, Николай и я позвонили у квартиры Азефа в доме № 245 по Boulevard Raspail.

Дверь нам открыл сам Азеф. Он провел нас в крайнюю комнату, — свой кабинет. Он сел за стол у окна. Мы втроем загородили ему выход из комнаты.

Азеф спросил:

— В чем, господа, дело?

Чернов ответил:

— Вот почти новый документ.

И он передал Азефу саратовское от 1907 года письмо. Азеф побледнел.

Он долго читал письмо. Мне показалось, что он только делает вид, что читает его: он выигрывал время, чтобы спокойно выслушать нас.

Все еще очень бледный, он, наконец, обернулся к нам. Он спросил:

— Ну, так в чем же, однако, дело?

Чернов медленно сказал:

— Нам известно, что 11 ноября старого стилия ты в Петербурге был у Лопухина.

Азеф не удивился. Он ответил очень спокойно:

— Я у Лопухина не был.

— Где же ты был?

— Я был в Берлине.

— В какой гостинице?

— Сперва в „Fürstenhofe“, а затем в меблированных комнатах „Керчь“.

— Нам известно, что ты в „Керчи“ не был.

Азеф засмеялся: — Смешно... Я там был.

— Ты там не был.

— Я был... Впрочем, что это за разговор?.. — Азеф выпрямился и поднял голову. — Мое прошлое ручается за меня.

Тогда я сказал:

— Ты говоришь, твое прошлое ручается за тебя. Хорошо. Расскажи нам подробности покушения на Дубасова.

Азеф ответил с достоинством:

— Покушение 23 апреля было неудачно потому, что Шиллеров пропустил Дубасова. Было трое метальщиков: Борис Вноровский на Тверской, Владимир Вноровский на Воздвиженке, Шиллеров на Знаменке. Я был в кофейне Филиппова.

Я сказал:

— Это неправда. Мы допросили Владимира Вноровского. Было только двое метальщиков; Борис Вноровский и Шиллеров. Дубасов проехал мимо Владимира Вноровского, но у того не было бомбы.

Азеф пожал плечами.

— Не знаю. Бы о так, как я говорю.

Я сказал:

— Кроме того, ты накануне покушения не пришел на свидание к метальщикам.

Азеф ответил:

— Нет, я пришел.

Я. — Значит, Вноровский сказал неправду?

Азеф. — Нет, Вноровский не может сказать неправды.

Я. — Значит, ты говоришь неправду?

Азеф. — Нет, и я говорю правду.

Я. — Где же объяснение?

Азеф. — Не знаю.

Я. — Ты говоришь, был в кофейне Филиппова?

Азеф. — Да.

Я. — Ты попал в полицейское оцепление?

Азеф. — Нет.

Я. — Аргунову ты говорил, что ты попал в оцепление, но представил приставу иностранный паспорт, и тебя отпустили.

Азеф. — Я этого Аргунову не говорил.

Я. — Значит, Аргунов сказал неправду?

Азеф. — Нет.

Я. — Значит, ты говоришь неправду?

Азеф. — Нет, я говорю правду.

Я. — Где же объяснение?

Азеф. — Не знаю... Но какое же заключение ты выводешь?

Я. — Ты, по меньшей мере, проявил небрежность, граничащую с преступлением. За такую небрежность ты удалил бы из организации любого из ее членов. Твоя ссылака на твое прошлое неуместна.

Азеф опять пожимает плечами. Он волнуется. Он говорит:

— Дайте же мне возможность защищаться.

Чернов. — Мы спрашиваем и ждем ответа. Зачем ты ездил в Берлин?

Азеф. — Я желал остаться один. Я устал. Я хотел отдохнуть.

Чернов. — Видел ли ты в Берлине кого-либо из партийных людей?

Азеф. — Нет.

Чернов. — А из непартийных?

Азеф. — Я не желаю на этот вопрос отвечать.

Чернов. — Почему?

Азеф. — Он не относится к делу.

Чернов. — Об этом судить не тебе.

Азеф. — Я член центрального комитета и не вижу, чтобы все здесь присутствующие были ими.

Я. — Мы действуем от имени партии.

Чернов. — Значит, ты отказываешься отвечать на этот вопрос?

Азеф. — Нет. Я скажу: я не видел никого.

Чернов. — Почему ты переселился в „Керчь“?

Азеф. — В „Керчи“ дешевле.

Чернов. — Так ты переехал из-за дешевизны?

Азеф. — Была и еще причина.

Чернов. — Какая?

Азеф. — Этот вопрос тоже не относится к делу.

Чернов. — Ты не желаешь отвечать?

Азеф. — Хорошо. Запишите: я переехал только из-за дешевизны.

Чернов. — В какой комнате ты жил в „Керчи“?

Азеф. — В № 3.

Чернов. — Опиши подробно этот номер.

Азеф. — Кровать, налево от входа, покрыта белым покрывалом, с периною, стол круглый, покрытый плюшевой скатертью, около стола два кресла темно-зеленого лаюпа, у умывальника зеркало, ковер на полу темного цвета.

Чернов. — Кого ты видел в „Керчи“?

Азеф. — Что за вопрос?.. Ну, хозяина, посыльного, горничную, лакея...

Я. — Скажи, как ты понял мои слова, когда я говорил тебе, что некто, имени которого я назвать не могу, сказал Бурцеву, что ты служишь в полиции, и разрешил сообщить это мне. Понял ты так, что именно некто разрешил мне сказать, или так, что Бурцев решился на это самостоятельно?

Азеф. — Конечно, я понял так, что некто разрешил сказать только тебе.

Чернов. — Некто — Лопухин. Он не называл фамилии Савинкова. Он позволил Бурцеву сказать одному революционеру, по его, Бурцева, выбору. Бурцев выбрал Павла Ивановича (меня).

Азэф. — Ну?

Чернов. — Ну, а ты вошел к Лопухину со словами: вы разрешили сказать Савинкову...

Азэф. — Я не понимаю... Вы должны производить расследование серьезно.

Чернов. — Прошу выслушать далее. Лопухин не назвал фамилии Савинкова. Ты понял со слов Павла Ивановича, что он эту фамилию назвал. Павел Иванович такого толкования в свои слова вложить не мог, ибо не слышал его от Бурцева... Значит...

Азэф бледнеет, но он говорит еще спокойно:

— Ну, Бурцев мог сказать Бакаю. Бакай понял неверно и сказал Лопухину... Впрочем, я ничего не знаю.

Чернов. — Бурцев не говорил Бакаю и Бакай не говорил Лопухину. Как объяснить, что Лопухин на расстоянии угадал, что ты понял Павла Ивановича так, как никто понять не мог — что он, Лопухин, назвал фамилию Савинкова?

Азэф волнуется.

— Что за вздор. Я ничего понять не могу.

Чернов. — Тут нечего понимать. Ты сказал Лопухину: вы позволили сообщить Савинкову, сообщите тому же Савинкову, что вы ошиблись.

Азэф встает из-за стола. Он в волнении ходит по комнате.

Чернов. — Мы предлагаем тебе условие, — расскажи откровенно о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить твою семью. Дегаев* и сейчас живет в Америке.

Азэф продолжает ходить взад и вперед. Он курит папиросу за папиросой.

Чернов. — Принять предложение в твоих интересах.

Азэф не отвечает. Молчание.

Чернов. — Мы ждем ответа.

Азэф останавливается перед Черновым. Он говорит, овладев собой:

— Да... Я никогда ни в каких сношениях с полицией не состоял и не состою.

Чернов. — Как же ты объясняешь себе все обвинения? Интрига полиции?

Азэф. — Не знаю...

Чернов. — Ты не желаешь рассказать о своих сношениях?

Азэф. — Я в сношениях не состоял.

Чернов. — Ты ничего не желаешь прибавить к своим ответам?

Азэф. — Нет. Ничего.

Чернов. — Мы дадим тебе срок подумать.

Азэф ходит по комнате. Он опять останавливается против Чернова и смотрит ему прямо в глаза. Он говорит дрожащим голосом:

* Дегаев С.П. — глава Центральной группы „Народной воли“ и одновременно агент петербургской охранки. После разоблачения скрылся в Америке. — Ред.

— Виктор. Мы жили столько лет душа в душу. Мы работали вместе. Ты меня знаешь... Как мог ты ко мне прийти с таким... с таким гадким подозрением.

Чернов говорит сухо:

— Я пришел. Значит, я обязан был прийти.

Я. — Мы уходим. Ты ничего не имеешь прибавить?

Азеф. — Нет.

Чернов. — Мы даем тебе срок: завтра до 12 часов. Ты можешь обдумать наше предложение.

Азеф. — Мне нечего думать.

Я. — Завтра в 12 часов мы будем считать себя свободными от всех обязательств.

Азеф. — Мне нечего думать.

Мы ушли. Вслед за нами во втором часу ночи Азеф вышел на улицу в сопровождении своей жены и скрылся.

Описание „Керчи“ и комнаты в ней было сделано Азефом неверно. Не оставалось сомнения, что он, если и был там, то мимоходом и недолгое время. Так утверждал вернувшийся из Берлина т. В.

Подлинный протокол допроса Азефа гласил:

„На вопрос, имел ли Азеф когда-либо и в каких-либо целях сношения с полицией, — Азеф ответил, что никогда и никаких сношений не имел.

Азеф заявил:

Из гостиницы „Fürstenhof“ он переехал в меблированные комнаты „Керчь“ из-за сравнительной дешевизны последней и по причине, назвать которую отказывается, не находя вопрос о ней относящимся к делу. Из „Керчи“ Азеф переехал в „Central Hôtel“ в видах конспирации, не желая прямо из „Керчи“ ехать в Мюнхен.

Впоследствии Азеф изменил свое показание, заявив, что единственной причиной этого переезда была сравнительная дешевизна „Керчи“.

Вещи из „Fürstenhof“а были доставлены Азефом на вокзал Fridrichstrasse, с вокзала же человеком из „Керчи“ в „Керчь“. Из „Керчи“ они были доставлены опять на тот же вокзал лично Азефом и оттуда человеком из „Central Hôtel“ в „Central Hôtel“.

Поехал Азеф в Берлин, ибо желал остаться один и отдохнуть перед поездкой в Мюнхен, в „Fürstenhof“е он платил за номер 16 марок. В „Central Hôtel“ — 5 — 6 марок. Причину дороговизны в „Fürstenhof“е объяснить не желает, находя, что вопрос этот к делу не относится.

Занимал Азеф в гостинице „Керчь“ комнату № 3 в нижнем этаже. № 3 имеет такой вид: кровать стоит налево от входа, она довольно больших размеров, покрыта белым покрывалом и периною, стол в номере круглый, покрытый плюшевой скатертью, около стола два кресла темно-зеленого плюша, у умывальника зеркало, ковер на полу темного цвета.

Видел Азеф в „Керчи“ хозяина, горничную, посыльного и при столе — лакея и горничную. Жил он все время в № 3, не покидая его ни на один день, обедал и завтракал всегда один за столом, в левом дальнем углу. Предварительно, Азеф на вопрос, обедал ли он за табльдотом или у себя в номере, ответил, что не всегда одинаково, — и там, и здесь. Противоречие в этих своих показаниях он объяснил тем, что не придавал этому вопросу значения.

В Берлине Азеф, по первоначальному заявлению, партийных людей не видел, виделся ли с непартийными людьми сказать не желает, ибо вопрос

об этом считает неотносящимся к делу. Другая версия Азефа, — он не видел в Берлине никого.

Говорил Азеф в „Керчи“ со всеми по-немецки, выдавая себя за немца, но в листок этого не записал, ибо там места рождения не было. „Керчь“ не произвела на него впечатления полицейского притона.

На вопрос, как объясняет себе Азеф наличие против него показаний ряда лиц, взаимно друг друга дополняющих и единогласно указывающих на сношения Азефа с полицией, — Азеф определенного ответа не имеет.

Азеф настаивает на очной ставке с Лопухиным и партийным лицом, видавшим его в С[анкт]П[етер]Б[урге], и заявляет, что постарается установить свое алиби путем показаний частных лиц, проживающих одновременно с ним в „Керчи“ и видевших его в столовой.

В Берлине Азеф был в театрах: Kammerspiel (Der Arzt am Scheidewegen), в Lessingtheater (Gespenster), в Hebeltheater (Das Hohespiel), в Kleiner Theater (Die liebe Wacht), в Metropol Theater (Revue), в Central Theater (Bekümmere dich um Amalia), в Wintergarten.*

Азеф дает обязательство о всех своих перемещениях предварительно извещать центральный комитет, причем нарушение этого обязательства будет рассматриваться центральным комитетом, как признание Азефом своей виновности.

Впоследствии Азеф прислал в центральный комитет следующее письмо:

7 января 1909 года.

Ваш приход в мою квартиру вечером 5 января и предъявление мне какого-то гнусного ультиматума без суда надо мною, без дачи мне какой-либо возможности защититься против взведенного полицией или ее агентами гнусного на меня обвинения, возмутителен и противоречит всем понятиям и представлениям о революционной чести и этике. Даже Татарову, работавшему в нашей партии без года неделю, дали возможность выслушать все обвинения против него и ему защищаться. Мне же, одному из основателей партии с.-р. и вынесенному на своих плечах всю ее работу в разные периоды и поднявшему, благодаря своей энергии и настойчивости, в одно время партию на высоту, на которой никогда не стояли другие революционные организации — приходят и говорят: „Сознавайся или мы тебя убьем“. Это ваше поведение будет, конечно, историей оценено. Мне же такое ваше поведение дает моральную силу предпринять самому, на свой риск все действия для установления своей правоты и очистки своей чести, запятнанной полицией и вами. Оскорбление такое, как оно нанесено мне вами, знайте, не прощается и не забывается. Будет время, когда вы дадите отчет за меня партии и моим близким. В этом я уверен. В настоящее время я счастлив, что чувствую силы с вами, господа, не считаться.

Моя работа в прошлом дает мне эти силы и подымает меня над смрадом и грязью, которой вы окружены теперь и забросали меня.

Иван Николаевич.

Я требую, чтобы это письмо мое стало известным большому кругу с.-р.*

*Камерном, в театре Лессинга, в театре Хеббеля, в Малом Театре, в Метрополе, в Центральном театре, в Зимнем саду (нем.). В скобках перечислены пьесы текущего репертуара. — Ред.

VI

Обвинение, предъявленное к Бурцеву, падало само собою. Суд чести закончился следующим соглашением:

Протокол.

Мы, нижеподписавшиеся, представители партии социалистов-революционеров, сим заявляем:

В виду того, что: расследованием центрального комитета вполне подтвердился факт провокации Азефа,

центральный комитет партии социалистов-революционеров берет назад предъявленное им т. Бурцеву обвинение во всех этого обвинения частях.

Я, В. Л. Бурцев, со своей стороны, отказываюсь от обвинения, предъявленного мною к центральному комитету партии социалистов-революционеров.

О вышеизложенном обе стороны постановили довести до сведения судебной комиссии.

Париж, 17/30 января 1909 г.

*В. Л. Бурцев.
Б. Савинков.
М. Бобров.
О. Гарденин.*

Еще раньше, 23 декабря, центральный комитет выпустил следующее извещение:

„Центральный комитет партии соц.-революц. доводит до сведения партийных товарищей, что инженер *Евгений Филиппович Азеф*, 38 лет (партийные клички: „Толстый“, „Иван Николаевич“, „Валентин Кузьмич“), состоявший членом партии с.-р. с самого основания, неоднократно избиравшийся в центральные учреждения партии, состоявший членом б[о]ево[й] о[рганизации] и ЦК, уличен в сношениях с русской политической полицией и объявляется провокато[р]ом. Скрывшись до окончания следствия над ним, Азеф, в виду своих личных качеств, является человеком крайне опасным и вредным для партии. Подробные сведения о провокат[ор]ской деятельности Азефа и ее разоблачения будут напечатаны в ближайшем времени“.

Впоследствии центральный комитет выпустил по делу Азефа следующий листок:

„1) История деятельности Азефа в партии такова.

Еще студентом одного из немецких политехникумов, Азеф во второй половине 90-х годов примыкает к заграничной революционной группе, именуемой союзом русских социалистов-революционеров и издающей газету „Русский Рабочий“.

В июле 1899 г. Азеф едет в Россию и по рекомендации „Союза русских социалистов-революционеров“ вступает в Москве в „Северный союз с.-р.“ (основанный Аргуновым, Павловым, Селюк и др.), издавший два первых номера „Революционной России“. После ареста томской типографии „Союза“ руководители его, опасаясь своего ареста, передают Азефу все связи и полномочия на продолжение дела. Они поручают ему закончить переговоры об объединении с южными группами с.-р., образовавшими партию социалистов-революционеров.

В 1901 г. Азефу вместе с другим членом северного союза и Г. А. Гершуни окончательно удается слияние „южных“ и „северных“ социалистов-революционеров в объединенную партию. Ближайшее участие принимает Азеф также в разрешении вопроса о центральном органе пар-

тии, каковым признается „Революционная Россия“, о приглашении в состав редакции его Гоца и Гарденина, о превращении в партийный террористический орган „Вестника русской революции“, редактируемого Тарасовым, и заключении федеративного союза с „Аграрно-социалистической лигой“. В то же время Азеф участвует в выработке плана кампании организованного террора, началом которого должно было служить подготавливавшееся убийство Сипягина.

С июля 1902 года Азеф работает в Петербурге одновременно, как член ЦК и пет[ербургского] ком[итета]. Он организует транспорт партийной литературы через Финляндию, совершает объезды организаций. Наряду с этим он вместе с Гершуни обсуждает планы террористических предприятий: вторичного покушения на кн[язя] Оболенского и покушение на Богдановича. Гершуни назначает его своим ближайшим помощником по руководству б[оевой] о[рганизацией].

После ареста, по данным киевской охраны, Гершуни, Азеф в мае 1903 года едет за границу. Здесь он продолжает заведывать организованным им совместно с Гершуни большим транспортом литературы в комнатных ледниках. Но главные усилия его направлены на разрешение вопроса о пользовании взрывчатыми веществами, как новой технической основы террористической борьбы партии.

С января 1904 г. Азеф, во главе расширенной боевой организации (куда вошли Каляев, Сазонов, Покотилов, Швейцер и др.), ставит террористическую работу против Плеве. В то же время он участвует в общепартийной работе и организует в России динамитную мастерскую.

После убийства Плеве Азеф уезжает за границу, где находится до июня 1905 г. За границей он снова работает над разрешением вопроса о технических средствах террористической борьбы и организует транспорт литературы в бочках с салом (через Прибалтийский край). В ноябре 1904 г. Азеф, снова пополнив б[оевую] о[рганизацию], разделяет ее на три отряда, отправляемые: 1) в Москву против вел[икого] кн[язя] Сергея Александровича (попытка оканчивается успехом); 2) в Петербург против Трепова, и 3) в Киев (против Клейгельса). Наряду с этим, летом 1905 года, Азеф принимает участие в организации массовой переправы оружия в Россию (пароход „Джон Крафтон“).

С середины 1905 г. Азеф в России. Он занят новым пополнением состава б[оевой] о[рганизации], необходимым после ареста петербургской группы. Но скоро террористическую работу в Петербурге пришлось прекратить и Азефу уехать за границу, так как за организацией систематически следят. Инициатива в раскрытии полицейского наблюдения принадлежит Азефу.

В январе 1906 года, после краткого перерыва террористической деятельности, Азеф ставит дело против Дурново. При этом одной частью наблюдения заведует непосредственно сам Азеф; другой же — его ближайший помощник. Группа, находящаяся под непосредственным руководством Азефа, выслеживается полицией. Азеф, получив сведения об этом от товарищей, успевает прекратить работу. В то же время происходит несколько неудачных попыток против Дубасова, после которых Азеф едет лично в Москву руководить делом. Покушение происходит.

Незадолго перед роспуском первой Думы, Азеф организует покушение против Столыпина. Боевой организации удается установить пути, которыми ездит Столыпин, но вместе с тем выясняется, что с наличными техническими средствами успешное нападение на Столыпина в обследованных условиях невозможно. Азеф представляет ЦК доклад о том, что пока не будут приспаны новые, более могущественные средства террористической борьбы, он не может руководить ею и слагает с себя обязанности. Вместе с ним уходят все его сотрудники по боевому делу. Боевая организация распускается, Азеф уезжает за границу.

Вслед за тем, по настояниям ЦК, часть членов прежней организации возвращается к работе, которая вскоре приводит к ряду успехов (Лауниц, Павлов).

В Россию Азеф возвращается в феврале 1907 г. и с небольшим перерывом остается в России до лета 1908 г. В его заведывании находится организация террористического акта против царя. Происходит несколько попыток произвести этот акт. Последняя из этих попыток не приводит к цели совершенно независимо от него, исключительно по вине непосредственных исполнителей.

II) Вопрос о политической честности Азефа поднимался за время его работы при следующих обстоятельствах.

В начале 1903 г. Азеф обвиняется в провокации одним студентом—пропагандистом. Выясненные правильности обвинения взяли на себя видные литераторы народнического направления. Объяснения Азефа убедили их в неосновательности обвинения, о котором впоследствии сожалел и сам обвинитель.

В августе 1905 года было получено одним из членов петербургского комитета анонимное письмо. В нем извещалось, что партию предадут два видных провокатора: бывший ссыльный, фамилия которого начинается на Т., и «какой-то инженер Азиев». Последнему приписывалась выдача нижегородского съезда б[оевой] о[рганизации], попытки организовать убийство нижегородского губернатора и предание четырех лиц.

Провокатура Т., т.е. бывшего ссыльного Татарова (убит по приговору партии в начале 1906 г.), подозревавшегося и раньше, была с несомненностью доказана документальными данными. Обвинение же против Азефа было отвергнуто по следующим соображениям. На нижегородском съезде Азеф первый заметил, что полиция следит, и предложил план, избавивший участников съезда от ареста. В организации покушения на нижегородского губернатора первую роль играл он сам. Наконец, была принята во внимание вся предшествовавшая работа его в рядах партии. Татаров, не сознаваясь в сношениях с полицией, построил свою защиту на обвинении Азефа, ссылаясь на сведения, исходящие от Ратаева, заведывающего заграничным сыском, переданные Татарову его родственником, приставом Семеновым. Такое поведение Татарова придавало обвинению против Азефа характер злого помысла полицейского маневра.

Осенью 1906 г. сообщение исходило от помощника начальника одного из провинциальных охранных отделений. Он обещал партийным людям, если ему устроят свидание с одним из трех названных им видных деятелей партии, указать признаки, по которым они смогут, вероятно, установить личность одного очень крупного провокатора. Несмотря на опасность ловушки, одно из названных им лиц поехало для переговоров, но тот уклонился от свидания. Вскоре этот полицейский агент бежал с кассой охранного отделения, но был арестован. Теперь можно думать, что сведения его относились к Азефу.

В начале 1906 года один из мелких агентов охраны в Саратове рассказал сочувствующим партии людям, что на совещании в этом городе в 1905 году видных партийных работников присутствовал важный провокатор, имени которого он не знает, но которого ему показали приехавшие из Петербурга агенты. В 1907 году к этому он присоединил сообщение об аресте того же провокатора при провале в Петербурге боевого отряда перед созывом первой Государственной Думы. Хотя некоторые данные (указания мест, которые посещал провокатор в Саратове) и подходили к Азефу, однако, при обсуждении ЦК осенью 1907 г. саратовского письма, излагавшего все эти данные, Азеф остался вне подозрений по следующим основаниям: помимо общего доверия, которое питал ЦК к руководителю наиболее крупных террористических предприятий, сообщение об аресте

Азефа вместе с террористической группой противоречило действительности и тем совершенно обесценило в глазах ЦК самое письмо.

Наконец, последний раз источником слухов о провокации Азефа является В.А.Бурцев, заявивший весной 1908 г. об имеющихся у него по этому поводу данных. Бурцев был приглашен для сообщения их в комиссию, образованную ЦК для установления причин неудач террористических попыток последнего времени и для расследования всех данных о провокации в партии. Данные эти имели в то же время характер лишь подозрений и предположений, оценка которых впоследствии послужила предметом третейского разбирательства между Бурцевым и центральным комитетом, обвинявшим его в том, что он, не сообщив своих данных ЦК и не проверив их сведениями последнего, оглашал их к явному вреду партии.

В качестве материала Бурцев представил на суд рассказы некоего Бакая, предателя по социал-демократическому делу, а затем — провокатора в екатеринославской организации с.-р., о его последующей официально-полицейской карьере. При этом, по предположениям В.А.Бурцева, к Азефу относились рассказы Бакая о провокатуре „Раскина“ и „Виноградова“, под каковыми кличками, согласно его гипотезе, в разное время скрывалось одно и то же лицо. Неточности, противоречия и неправдоподобности, встречающиеся в рассказах Бакая, вместе с характером самого источника, лишали в глазах ЦК показания Бакая надлежащей ценности.

Основным доказательством, что Раскин (он же Виноградов) есть Азеф, являлось совпадение: 1) известного Бакаю посещения провокатором Раскиным одного железнодорожного служащего в Варшаве в 1904 г. и 2) посещения в том же году, при видимо аналогичных условиях, этого служащего Азефом по поручению ЦК [партии] с.-р. Однако доказательство это теряло значение, благодаря тому, что Бакай отнес к посещению Раскина к октябрю, и лишь позднее, узнав, что посещение Азефа относится к январю 1904 г., соответственно изменил свои показания; кроме того, Бакай дважды, по поручению Бурцева, пробовал выведывать у чинов охраны настоящее имя „Раскина“, и в первый раз принес ему положительное утверждение, что „Раскиным“ у охранников зовется известный Рысс, а во второй раз — предположительное сведение, что это некий Г. (никогда не состоявший в партии с.-р. Что касается сообщений Бакая о выданных Раскиным-Виноградовым фактах, то дальнейшим расследованием ЦК, из источника, компетентность которого как им, так и Бурцевым ставится несравненно выше, часть из них отвергнута, часть же подтвердилась. К числу совершенно отвергнутых принадлежит, например, сообщение, будто правительством знало заранее о покушении боевой организации против Богдановича и вел[икого] ки[язя] Сергея.

В процессе третейского разбирательства Бурцевым сообщено было добытое им незадолго перед тем новое показание относительно сношений Азефа с полицией. Показание это, однако, осталось, по требованию Бурцева, известным лишь для лиц, непосредственно участвующих в разбирательстве; и лишь один из членов ЦК, с разрешения суда, получил право произнести по этому поводу негласное расследование.

Во время перерыва третейского разбирательства для целей этого расследования, уполномоченному на это члену ЦК сделался известным факт, получивший некоторую огласку в петербургском обществе.

Со слов одного бывшего крупного чиновника мин[истерства] вн[утренних] дел сделалось известным, что к нему 11 ноября 1908 г. явился имевший с ним раньше служебные сношения инженер Евно Азеф, а через 10 дней от его имени начальники петербургского охранного отделения Герасимов; оба они заявляли, что к нему могут обратиться от имени революционного суда за показаниями по делу Азефа, и что он должен скрыть или опровергнуть данные о сношениях последнего с полицией. В тех же кругах

сделалось известным, что, усматривая в некоторых заявлениях Герасимова косвенную угрозу, этот отставной чиновник обратился к премьер-министру Столыпину и некоторым другим правительственным лицам с письменным требованием о принятии мер к охране его личности. Данное обстоятельство послужило исходным пунктом нового расследования, произведенного ЦК против Азефа.

Расследование это, после допроса Азефа, установило:

I) что Азеф, уезжая из Петербурга, обеспечил себе ложное алиби в меблированных комнатах Берлина, содержимых лицом, служащим в качестве переводчика при местном *Polizei-Praesidium'e*. Ложный характер этого алиби установлен и одним показанием на месте, и поверкой подробного описания меблированных комнат, данного Азефом на допросе и оказавшего совершенно не соответствующим действительности, и что по данным из источника, правдивость показаний которого подтвердилась во всем, доступно проверке, может быть восстановлена довольно точная картина сношений Азефа с полицией с весны 1902 г. по конец 1905 года.

Не сознаваясь в сношениях с полицией и требуя очной ставки со своими обвинителями, Азеф, однако, после первого же допроса успел скрыться.

II) Первый факт провокации Азефа, установленный ЦК, относится к 1902 году. В июне этого года заведующий русской политической полицией за границей Рачковский обратился письменно в департамент полиции с просьбой об ассигновании ему 500 руб. для внесения этой суммы в кассу п[артии] с.-р. через своего секретного сотрудника, лично знакомого с Гершуни. Тов[арищ] мин[истра] вн[утренних] дел Дурново, опасаясь, что деньги эти могут поступить в специальную кассу б[оевой] о[рганизации], предложил вызвать упомянутого выше сотрудника в департамент полиции для объяснения. Сотрудник этот оказался инженером Евно Азефом. Явившись в департамент полиции, Азеф объяснил, что деньги 500 руб. в кассу б[оевой] о[рганизации] поступить не могут, что он не состоит членом партии, но что, благодаря близости своей к Гершуни, может быть и впрямь полезен департаменту полиции. В это время от Азефа в департамент полиции поступают сравнительно несущественные, а иногда и совершенно ложные сообщения, как, например, указание Азефом центрального комитета для России: Д.Клеменц, Браудо, Бунге и Гукровский (на самом деле, ни одно из названных лиц не состояло ни в центральном комитете, ни в каком из других комитетов партии). Так же вымышленно его другое сообщение о предполагаемом проезде Гершуни через ст. Барановичи в то время, когда Гершуни уже давно находился за границей, что было известно Азефу.

Но постепенно Азеф начинает давать департаменту полиции все больше правдивых и существенных показаний. Он сообщает о существовании в Пензе тайной типографии п[артии] с.-р. (ее точный адрес получается полицией от одного доносчика из Саратова), об организованном им самим транспорте нелегальной литературы через границу под видом экспорта комнатных ледников заграничной фабрики, о попытке одной группы в январе 1904 г. вести наблюдение за министром внутренних дел Плеве, независимо от боевой организации (С.Клитчоглу и др.); наконец, начинает давать общие характеристики отдельных террористов, состоящих в б[оевой] о[рганизации].

В то же время ни удачные, ни неудачные террористические попытки б[оевой] о[рганизации] не делаются для департамента полиции заранее известными, и все террористические акты, до убийства велик[ого] князя] Сергея включительно, являются неожиданными для правительства.

С осени 1904 г. указания Азефа полиции еще более увеличиваются. Азеф верно сообщает о поездке по делам транспорта и крестьянской работы Слетова из Женевы в Россию, ложно выдавая его за террориста; о

плане поездки кн[язя] Хилкова с товарищами для работы в крестьянстве; о парижской конференции революционных и оппозиционных партий. На этой конференции Азеф был представителем п[артии] с.-р., о чем департаменту было известно. В то же время Азеф ездит в сопровождении отряда агентов полиции в Нижний Новгород и Саратов, где он принимал участие в революционных совещаниях.

Сколько-нибудь точные сведения о провокаторской деятельности Азефа в последнее время отсутствуют. Причастен ли он к арестам центрального боевого отряда (Штифтарь, Гронский, „дело о заговоре“ на царя) и северного летучего боевого отряда (Карл Трауберг и др.) — центральному комитету неизвестно. Видимое отсутствие участия в упомянутых арестах, как и, наоборот, присутствие в них провокатора Ратинова и предателя Масокина, не служат еще, конечно, доказательством невинности Азефа.

Если верить сообщению упомянутого выше Бакая, то за последнее время по указаниям Азефа были произведены аресты в редакции газеты „Мысль“, где лишь случайно не было арестовано большинство членов современного ЦК... По словам Бакая, Азеф же доставил департаменту сведения, что будто II таммерфорский съезд п[артии] с.-р. решил в период второй Государственной Думы ничего не предпринимать против Столыпина. Если это верно, то Азеф и в это время давал сознательно полиции неверные сведения — решение, принятое в Таммерфорсе, было как раз обратное.

Обращает на себя внимание еще ряд следующих фактов деятельности Азефа. В 1904 году Азеф проектировал план убийства директора департамента полиции Лопухина, которое должно было служить прологом к убийству Плеве. После манифеста 17 октября Азеф предложил план взрыва здания охранного отделения. Весною 1906 года он приступил к подготовке к покушению на Рачковского. Факты эти могут быть рассматриваемы, как попытка Азефа уничтожить возможность обнаружения в будущем его провокаторской деятельности.

Такова общая картина деятельности Азефа и установленные пока центральным комитетом факты его провокации.

Положение, созданное провокацией Азефа, несомненно, угрожающее. Правда, вскрыта и уничтожена язва, разъедавшая и ослаблявшая партию, вырвано оружие, которым пользовалась так долго государственная полиция. Но вместе с тем нанесен тяжелый удар моральному сознанию партийных товарищей, обнаружена шаткость многих лиц и предприятий партии.

Центральный комитет вполне сознает тяжесть обязанности, которая ложится на него в данный момент. Он, по возможности, обезопасил все предприятия, которые ведутся им. Он принял меры к локализации опасности, которой грозят дальнейшие разоблачения провокатора. Центральный комитет считает, что главная доля ответственности за допущение провокации всей тяжестью ложится на него, как на руководителя партийной жизни. Правда, эту ответственность обманутых морально разделяют с ним все предыдущие составы ЦК, многие из наиболее деятельных и ценных работников партии. Но это не умаляет его ответственности. Поэтому ЦК считает своим долгом дать в своих действиях полный отчет полномочному партийному собранию. Первым шагом своим ЦК считает поэтому созыв в самом скором времени такого полномочного собрания, которому он наряду с отчетом вручит и свою отставку. Партия должна свободно разбирать действия своего руководителя, вынести слово решения и снова избрать руководителей, которые получили бы полное доверие партии на ведение всех дел в данный тяжелый момент. До сложения полномочий ЦК считает для себя обязательным продолжать ту работу, которую поручила ему партия. Как бы ни тяжелы были условия, он должен остаться на посту и ждать смены.

Партия переживает глубокий кризис. Тем больше становится долг каждого члена партии помочь ей выйти из настоящего положения. Раскрытие опасности должно послужить для истинно партийных людей в этот час испытания призывом к усиленной исключительной деятельности по восстановлению рядов партии и сплочению и объединению партийной мысли и действия. ЦК выражает твердую уверенность, что из этого небывалого в истории революции испытания партия социалистов-революционеров выйдет победительницей.

7/20 января 1909 г.

Центральный комитет [артии] с.-р.

ЦК считает нужным заявить, что расследование по делу Азефа продолжается. Результаты его, могущие дополнить и осветить новым светом сообщенные выше факты, будут опубликованы своевременно.

Фотографическая карточка и подробное описание примет Азефа будут напечатаны особо.

ЦК.*

VII

В феврале состоялся в Государственной Думе запрос по делу Азефа. Депутат Покровский от имени социал-демократической фракции, депутат Булат от имени трудовиков и депутат Пергамент от имени конституционно-демократической партии поддерживали этот запрос. Булат прочел в заседании Думы следующее письмо Азефа ко мне:

„10 октября — 08.

Дорогой мой.

Спасибо тебе за твое письмо. Оно дышит теплотой и любовью. Спасибо, дорогой мой. Переходя к делу, скажу, что теперь уж, вероятно, поздно отказываться от суда над Б.* Я сегодня получил от В.† письмо (получил его с запозданием на два дня, т.к. оно было заказное, а для получения заказного надо было визировать паспорт, иначе не выдают), где он писал, что суд сегодня, суббота, начнется, и просил телеграфировать, согласен ли я на то, чтобы ты был третьим представителем от ЦК.

Я сегодня уже протелеграфировал тебе и... о своем желании этого. Но если бы еще и можно было похерить суд над Б., то я бы скорее был бы против этого, чем за, но, конечно, не имел бы ничего, если бы там так решили бы это дело. Некоторые неудобства имеются. Я многое, указанное в твоём письме, разделяю, но не все. Мне кажется, дорогой мой, ты слишком преувеличиваешь то впечатление, которое может получиться от этого, что выложит Б. Конечно, ты делаешь предположение, что моя биография судьям неизвестна, и что Бак. можно верить. Это предположение, на мой взгляд, лишнее: моя биография может стать известна судьям, а насколько можно верить Бак., то, может быть, и его биография (которая, по-моему, должна была бы быть несколько полнее, чем это приводится Бурцевым в „Былом“, что Бак. служил в полиции случайно, и ему была эта служба притвита, но по инерции он служил и дослужился) не так уж расположит к особому доверию. Ты не сердись, что я сейчас говорю о моей биографии рядом с биогр[афией] Бакая. Я понимаю, что недостойно меня и нас всех. Но, очевидно, может создаться такое положение. Но я даже становлюсь

*Бурцев.

†Чернов.

на точку зрения этого предположения, т.е. меня не знают, а Бак., который указал провокаторов среди [артии] [олевских] [официалистов], заслуживает доверия. И вот и при этих условиях, мне кажется, то, что выложит Бак., не может произвести впечатление — ну, скажем, — в его, Б., пользу. Я, конечно, не знаю этого, что имеет Б. сказать. Знаю только то, что сообщил мне ты при нашем свидании. И вот, это, по-моему, не выдерживает никакой критики. Постараюсь доказать. Может, я субъективен, но, во всяком случае, не сознательно, ибо стараюсь быть объективным, насколько только возможно. Основа — письмо августа 1905 г. о Татарове и обо мне. Бак. передает со слов, кажется, Петерсона, что это письмо написал Кременецкий, желая насолить какому-то начальству и Рачковскому, и получил за сие действие наказание — перевели из Питера, где он был начальником охраны], в Сибирь начальником же охраны. Всякий, объективно думающий человек, не поверит этому, такому легкому наказанию не может подвергнуться лицо, совершившее такое преступление. Выдача таких двух птлц, как в том письме — и за это вместо Питера Томск — и тоже нач[альником] охраны. Все равно, если бы мы Татарову дали бы работу вместо Питера в другой области. Но для правдоподобия придумывается, что тогда была конституция, и они растерялись. Рачковский-то! Да и при том, ведь, письмо появилось в августе, а конституция в октябре. Что же эти два месяца-то! Да и при том, как могли узнать, что Кременецкий писал, что сам он рассказал своему начальству. Тут, мне кажется, нам бы следовало установить не только со слов Б. или Бак. факт, действительно ли происходила перевод Кременецкого из Питера в Сибирь, а если происходила, то когда именно — может, окажется, что Кременецкий сидит в Сибири раньше появления этого письма, или перевел его гораздо позже, когда вовсе нельзя и говорить о растерянности октябрь[ских] дней. Это было бы важно установить. Может быть, это бы повлияло на самого Б., он увидел бы, что его дурачат, мягко выражаясь. Но как это сделать? Может, это и не трудно, ведь известно публике, когда появляются новые нач[альники] охраны — хотя, чорт его знает, может, это и не легко. Это письмо для меня загадка. Между прочим, кроме Кременецкого, другой охранник в Одессе тоже говорил, что он автор этого письма. Если ты помнишь, это было в конце 1906 года. Из Одессы приехал в ЦК от... к которому ходил один охранник, указывая на меня, что, мол, он писал это письмо и что, мол, с одним покончили, а другого не трогают. Если всему верить, то ведь два охранника писали одно и то же письмо, и оба охранника спасают партию от меня. Я думаю, что я не путаю об одесском охраннике. Мне это рассказал тогда... тогда, т.е. два года назад. Если даже и допустить, что Бак. не врет, а честно действует, то ведь все это он слышал от Петерсона, а Петерсон от Рачковского или Гуровича, или от обоих. Теперь, если думать, что высшие круги полиции почему-то выбрали путь пустить в ход меня в том письме, то и естественно, что им и дальше говорить о двух провокаторах было выгодно, и что он-де, слава богу, уцелел. В истории провокаторства, — говорит Б., — не было случая, чтобы компрометация члена партии выдавали настоящего провокатора. Я и историю не знаю, он знает. Ну, а было ли в истории полиции, чтобы начальник охраны выдавал для насоления начальству важных провокаторов? Можно сказать, когда выгодно, «а это бывает», но ведь на самом-то деле этого до сих пор не было. А в истории провокаторства разве было, чтобы из провокатора получился сотрудник „Былого“? А ведь теперь есть. Итак, основа всего письма — неужели рассказ о нем на кого-либо может подвешивать, чтобы думать, что Б. имел какое-либо нравственное право так уверенно распространяться обо мне. И не нужно знать моей биографии для того, чтобы сказать Б.: этого мало, а если знать и биографию, — то можно и в физиономию Б. плюнуть. Что же с Б., когда он узнает от тебя мою биографию? Он от

своей мысли не откажется, а еще укрепляется и очень просто рассуждает: Плеве это дело, но с согласия Рачковского. Рачковский был Плеве устранен от дела. Рачковский не у дел. Рачковский зол на Плеве. Рачковский и придумал. Создавайте б[о]евую о[рганизацию]. Убейте Плеве. Я друг Рачковского, не могу же не убить его врага Плеве. И вот создалась б[о]евая о[рганизация]. Просто. Но отчего историку не приходит в голову такой мысли. Ведь Рачковский не у дел. Департамент и охрана в Питере существуют (они, конечно, не знают о плане Рачковского и моем), но ведь все-таки они могут ведь проследить работу б[о]евой о[рганизации] и арестовать и, конечно, меня, работающего на Плеве. И что же я, продажный человек (такой, конечно, в глазах Рачковского), пойду спокойно на виселицу за идею дружбы Рачковского и не скажу совсем, что, помилуйте, да ведь я действовал по приказанию Рачковского, начальства своего, и что Рачковского ведь тоже наделаил бы муравьевским галстук. И что же, Рачковский готов и на виселицу, как член б[о]евой о[рганизации] и главный ее вдохновитель. Или Рачковский мог думать, что его за это переведут на службу только в Сибирь, или что я его не выдам, и уж совсем пойду на виселицу, из дружбы к нему, а о нем ни гу-гу. Или Рачковский думал: он отвернется, скажет, что они тут не при чем, что я, мол, хотя и продажный, но все-таки дурак-дураком буду рисковать своей жизнью из-за Рачковского, который между прочим и не у дел, и если попадусь и не сумею доказать, что я действовал с Рачковским. Противно все это писать. Но, вместе с тем, меня и смех разбирает. Уж больно смешно Б., построив эту гипотезу да еще с ссылками на историю. Мол, в истории это уж было, Судейкин* хотел убить Толстого. Но ведь только хотел, ведь знаем только разговор с Дегаевым (и то где его историческая неопровержимость?) А почему Судейкин не сделал? Может быть, оттого, что Судейкин побоялся виселицы, чего не боялся бы Рачковский. А ведь Судейкину — легко было делать. Ведь он был при делах и все дела были в его руках. Тогда он царил, он был в смысле выслеживания рев[олюционной] орг[анизации] вне конкуренции и вне контроля. А Рачковский не у дел. Кажется, однако, он б[о]евой о[рганизации] не создал. А вот историк Б. ссылается на историю. 15 июля и Рачковский. Ты как-то сказал, что Б. единственный историк революции и провокации. Да, единственный. И вот это может действовать, ты боишься! Мне кажется, бояться нечего. К счастью, он единственный историк, а заседать будут не историки. А если немного пострель на до 15 июля и на после 15 июля.

Да, б[о]евая о[рганизация] началась, конечно, не Рачковским, а Гершуни. О Сипягине я узнал только через несколько дней после акта, что это дело Г., вскоре приехал Г. ко мне, и мы стоворились о совместной работе с ним в данном направлении. План начать кампанию против Плеве уже был тогда в апреле-мае 1902 г., одновременно был план и на Оболенского. Я тогда уезжал в июне-июле 1902 года в Питер, а Гершуни на юг России, где имел в виду Оболенского. Не хочу распространяться — скажу только, что, кроме Сипягинского дела, я был причастен и ко всем другим. т.е. Оболенского и еще ближе уж к Уфе, куда я людей посылал. Во всяком случае надо считать и эти дела (кроме Сипягинского) с благоволения начальства. А известно, что тогда еще царевичество далеко на очереди не стояло, кроме, конечно, как у Бурцева, а потому договор с начальством тоже не приходилось заключать — начальство разрешает всех убивать, кроме царя и Столыпина, а что касается после 15 июля, то ты ведь все знаешь. Скажу только о Сергее. Нет, раньше вот еще что. Ну, совершается 15 июля. Плеве нет. Рачковский рад. Враг его убит. Он не получает муравьевского галстука. Знает он состав организации и [кто] по каким паспортам живет,

* Жандармский подполковник, организатор политических провокаций. — Ред.

знает, что она разделилась на три части. В Москве, в Питере и в Киеве. Знает, что ты в Москве, словом, знает все, что ты и я, — и результатом убивают Сергея. Б. говорит, — не успели арестовать, дали по оплошности убить. То есть, знали в течение трех или больше месяцев, по какому паспорту ты живешь, по каким паспортам все уехали из Парижа, когда проезжали границу с динамитом, по какому делу живут в Москве, об извозчиках знали, словом, все, все в течение трех месяцев и дали убить Сергея, не успевают, и после убийства тоже никого не берут и не устанавливают долго Ивана Платоновича, дают всем разъехаться — ты, кажется, с паспортом, по которому жил (хотя не помню). Дора разъезжает и возится еще долго. Хорош Рачковский. Отчего бы партии не иметь Рачковских таких. Не скверно вовсе. Бурцев знает все из истории — предупреждали, не успели только взять, дали убить. Что делать — медленно двигается охранка. Если она будет знать все с самого начала работы организации и паспортов, по которым живут организаторы, — она все-таки прозевает все — и убить даст, и разъехаться даст всем. В истории Б., может, и это бывает. Теперь о варшавском посещении. Рассказ Бак. следующий. Из Питера сообщают ему, как охраннику, едет, мол, важный провокатор Раскин — он посетит такое-то лицо; снимите слежку у этого лица, дабы филеры не видели этого важного провокатора. Б. установил, что у этого лица был я. Мне безразлично, как он это установил и можно ли это установить вообще. Факт, что я единственный раз за всю свою деятельность был по делам в Варшаве и посетил одно лицо. Фамилию этого лица совершенно сейчас не помню. Но понятно, что это было в январе... Был я по поручению Мих.Раф. по делу — насколько припоминаю, транспорта. Чорт его знает, совсем не помню сейчас — этот господин каким-то способом мог перевозить литературу. А Мих. об этом передал... и, кажется, я являюсь от..., но этот господин мне сказал, что он ничего не знает и не ведает — выпучил глаза только. Я и решил, что тут... напел и уехал... варшавским филерам, неизвестный мог совершенно проскользнуть мимо них. И что за нелепость депар[тамента] делать распоряжение о снятии филеров, дабы они не видели меня, провокатора. Да потом, неужели всякий раз, когда провокаторы куда-нибудь ходят, то снимают филеров. И здорово бы им приходилось со мной возиться — так как раньше я очень многих посещал и вернее из любопытства бы все филеры уже хотели бы взглянуть на этого знаменитого Раскина. Но это относится к истории. Мы тут ничего не понимаем. Но этот рассказ плохо согласуется с другим рассказом того же историка. Когда мы были в Нижнем, т.е. я, то за нами следили по шесть человек, кажется, дабы нас не арестовали нижегородские шпионы. В одном городе снимают филеров, дабы они Раскина не видели, а в другом посылают филеров, да еще по шесть человек на каждого, дабы они на Раскина смотрели. Кроме того, это предписание из Петербурга из департамента полиции или охраны говорит, что Раскин имел дело не только с Рачковским, но и с департаментом или охраной. Так что и департамент благословляла организацию убийства Плева. Я думаю, что каждый, более или менее не желающий сделать из меня во что бы то ни стало провокатора, — не будет считать это более или менее важным и стоящим внимания. Не знаю, что еще имеет Б. — пишите, что Б. припас какой-то ультрасенсационный "материал", который пока держится в тайне, рассчитывая поразить суд, — но то, что я знаю, действительно не выдерживает никакой критики, — всякий нормальный ум должен крикнуть — купайся сам в грязи, но не пачкай других. Я думаю, что все, что они держат в тайне, не лучшего достоинства. Кроме лжи и подделки быть не может. Потому, мне кажется, суд, может быть, и сумеет положить конец этой грязной клевете. По крайней мере, если Б. будет кричать, то он останется единственным маниаком. Я надеюсь, что авторитет известных лиц будет для остальных известным образом удер-

живающим моментом. Если суда не будет — разговоры не уменьшатся, а увеличатся, а почва для них имеется; ведь биографии моей многие не знают. Ты говоришь, делами надо отвечать. Работой. Теперь мне представляется, что заявление твое все-таки не заставит молчать. Они, слепые, будут говорить, а разве Вера Фигнер не работала с Дегаевым. Конечно, мы унизились, идя на суд с Б. Это недостойно нас, как организации. Но все приняло такие размеры, что приходится унижаться. Мне кажется, что молчать нельзя — ты забываешь размеры огласки, но если вы там найдете возможным наплевать, то готов плюнуть и я вместе с вами, если это уже не поядно. Я уверен, что товарищи пойдут до конца в защите чести товарища, а потому я готов и отступить от своего мнения, и отказаться от суда. Поговори. Я... передаю твое мнение, если хочешь, прочти ему и это письмо. Прости, что написал тебе столь много и, вероятно, ты все это знаешь и думал обо всем. Мне бы хотелось только присутствовать во время этой процедуры. Я чувствую, что это меня совсем разобьет. Старайся, насколько возможно, изабавить меня от этого. Обнимаю и целую тебя крепко. Твой Иван. Пересылаю и письма. Пиши. Только не заказным*.

Письмо это было юридическою уликою участия Азефа в террористических предприятиях.

Премьер-министр Столыпин отвечал на запрос. В своей речи он официально признал полицейскую роль Азефа:

„Перейдем к отношению Азефа к полиции. В число сотрудников Азеф был принят в 1892 году. Он давал сначала показания департаменту полиции, затем в Москве поступил в распоряжение начальника охранного отделения; затем переехал за границу, опять сносится с д[епартамен]том полиции и, когда назначен был директором д[епартамен]та Лопухин, переехал в Петербург и оставался до 1903 года. В 1905 г. поступил в распоряжение к Рачковскому, а в конце 1905 г. временно отошел от агентуры и работал в петербургском охранном отделении. Конечно, временно, — когда Азефа начинали подозревать или после крупных арестов, Азеф временно отходил от агентуры“.

По мнению Столыпина, скандал Азефа поднят для большей славы революции. Столыпин, к концу своей речи, разбирает источники, откуда пошло азефское дело — это Бакай, Бурцев и бывший директор департамента полиции Лопухин. Оба первые не заслуживают доверия в силу своего прошлого, а из дела о Лопухине видно, что об участии Азефа в террористических актах он ничего не знал.

При таком положении дела, несмотря на цитированное выше письмо, Столыпин не видел ни в деятельности министерства, ни в агентурной работе Азефа каких-либо незаконных действий.

Лопухин, как я уже говорил, был арестован по обвинению в выдаче государственной тайны. Азеф арестован не был.

VIII

Разоблачение Азефа нанесло тяжелый моральный удар партии и в частности террору: оно показало, что во главе боевой организации много лет стоял провокатор. Но разоблачение это освободило вместе с тем партию от тяготевшей над ней провокации. Оно заставило пересмотреть многое в прошлом. В частности, оно заста-

вило меня проанализировать снова те выводы, к которым я пришел всем опытом моей боевой работы.

Я должен был признать, что если мое мнение о полном бессилии боевой организации было правильно и что если все террористические попытки последних лет, действительно, были заранее обречены на неудачу, то зато в причинах этого бессилия я в значительной степени ошибался. Так, некоторые недостатки наружного наблюдения были, очевидно, результатами полицейской роли Азефа: Дурново, Столыпин, Дубасов были заранее предупреждены о готовившихся на них покушениях, и самые приемы нашей работы были им, вероятно, в точности известны. Непонятные аресты отдельных товарищей нужно было отнести также на счет провокации Азефа.

Оставаясь при моем прежнем мнении о технических изобретениях, как о единственном пути, который может поднять террор на должную высоту, я тем не менее решил взять на себя ответственность за попытку восстановления боевой организации. Я сделал это по двум причинам.

Во-первых, я считал, что честь террора требует возобновления его после дела Азефа: необходимо было доказать, что не Азеф создал центральный террор и что не попустительство полиции было причиной удачных террористических актов. Возобновленный террор смывал пятно с боевой организации, с живых и умерших ее членов.

Во-вторых, я считал, что правильно поставленная, расширенная боевая организация, при отсутствии провокаторов, может, пользуясь старыми методами, явиться паллиативом в деле террора: при благоприятных условиях, ее деятельность могла увенчаться успехом.

Я счел своим долгом заявить о своем решении центральному комитету. Центральный комитет выразил мне доверие и сделал следующее постановление.

1. Б[оевая] о[рганизация] п[артии] с.-р. объявляется распущенной.
2. В случае возникновения боевой группы, состоящей из членов п[артии] с.-р. под руководством Савинкова, ЦК: а) признает эту группу, как вполне независимую в вопросах организационно-технических б[оевой] о[рганизации] п[артии] с.-р., б) указывает ей объект действия, в) обеспечивает ее с материальной стороны деньгами и содействует людьми, г) в случае исполнения ею задачи, разрешает наименоваться б[оевой] о[рганизацией] п[артии] с.-р.
3. Настоящее постановление остается в силе впредь до того или другого исхода предпринятого б[оевой] о[рганизацией] дела и во всяком случае не более года.

Я стал готовиться к новой террористической кампании.

Август 1909 г.

КОНЬ БЛЕДНЫЙ



„...и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад следовал за ним..“

Откр. VI, 8.

„...кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.“

1. Иоан. II, 11.

I

6 марта.

В ЧЕРА вечером я приехал в N. Он все тот же. Горят кресты на церквах, визжат по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, в монастыре звонят к обедне. Я люблю этот город. Он мне родной.

У меня паспорт с красной печатью английского короля и с подписью лорда Ландсдоуна. В нем сказано, что я, великобританский подданный Джордж О'Бриен, отправляюсь в путешествие по Турции и России. В русских участках ставят штампель: „турист“.

В гостинице все знакомо до скуки: швейцар в синей поддевке, золоченые зеркала, ковры. В моем номере потертый диван, пыльные занавески. Под столом три кило динамита. Я привез их с собой из-за границы. Динамит сильно пахнет аптекой, и у меня по ночам болит голова.

Я сегодня пойду по городу. На бульваре темно, мелкий снег. Где-то поют куранты. Я один, ни души. Передо мною мирная жизнь, забытые люди. А в сердце святые слова:

„Я дам тебе звезду утреннюю“.

8 марта.

У Эрны голубые глаза и тяжелые косы. Она робко жметесь ко мне и говорит:

— Ведь ты меня любишь немножко?

Когда-то давно она отдалась мне, как королева: не требуя ничего и ни на что не надеясь. А теперь, как нищенка, просит любви. Я смотрю в окно на белую площадь.

Я говорю:

— Посмотри, какой нетронутый снег.

Она опускает голову и молчит.

Тогда я говорю:

— Я вчера был за городом. Там снег еще чище. Он розовый. И синие тени берез.

Я читаю в ее глазах:

— Ты был без меня.

— Послушай, — говорю я опять, — ты была когда-нибудь в русской деревне?

Она отвечает:

— Нет.

— Ну, так ранней весной, когда на полях уже зеленеет трава и в лесу зацветает подснежник, по оврагам лежит еще снег. И странно: белый снег и белый цветок. Ты не видала? Нет? Ты не поняла? Нет?

Она шепчет:

— Нет.

А я думаю об Елене.

9 марта.

Губернатор живет в старинном доме. Кругом шпионы и часовые. Двойная ограда.

Нас немного: пять человек. Федор, Ваня и Генрих — извозчики. Они непрерывно следят за ним и сообщают мне свои наблюдения. Эрна — химик. Она приготовит снаряды.

У себя за столом я по плану черчу пути. Я пытаюсь воскресить его жизнь. В залах его дома мы вместе встречаем гостей. Вместе гуляем в саду, за решеткой. Вместе прячемся по ночам. Вместе молимся Богу.

Я его видел сегодня. Я ждал его на улице. Долго бродил по замерзшему тротуару. Падал вечер, был сильный мороз. Я уже потерял надежду. Вдруг на углу пристав махнул перчаткой. Городовые вытянулись во фронт, сыщики заматались. Улица замерла.

Мимо мчалась карета. Черные кони. Кучер с рыжею бороною. Ручка дворец изгибом, желтые спицы колес. Следом — сани.

В быстром беге я едва различил его. Он не увидел меня: я был для него улицей.

Счастливый, медленно, я вернулся домой.

10 марта.

Когда я думаю о нем, у меня нет ни ненависти, ни злобы. У меня нет и жалости. Я равнодушен к нему. Но хочу его смерти. Я верю, что сила ломит солому, не верю в слова. Я не хочу быть рабом. Я не хочу, чтобы были рабы.

Говорят, нельзя убивать. Говорят еще, что одного можно убить, а другого нельзя. Всячески говорят.

Я не знаю, почему нельзя убивать. И не пойму никогда, почему убить во имя вот этого хорошо, а во имя вот того-то — дурно.

Помню, — я был в первый раз на охоте. Краснели поля гречихи, падала паутина, молчал лес. Я стоял на опушке, у изрытой дождем дороги. Иногда шептали березы, пролетали желтые листья. Я ждал.

Вдруг непривычно колыхнулась трава. Маленьким серым комочком из кустов выбежал заяц и осторожно присел на задние лапки. Озирался кругом. Я, дрожа, поднял ружье. По лесу прокатилось эхо, синий дым растаял между берез. На залитой кровью, побуревшей траве бился раненый заяц. Он кричал, как ребенок плачет. Мне стало жалко его. Я выстрелил еще раз. Он умолк.

Дома я сейчас же забыл о нем. Будто он никогда и не жил, будто не я отнял у него самое ценное — жизнь. И я спрашиваю себя: почему мне было больно, когда он кричал? Почему мне не было больно, что я для забавы убил его?

11 марта.

Федор — бывший рабочий. Он в синем халате, в извозничьем картузе. Сосет с блюдечка чай.

Я говорю ему:

— Ты где был тогда?

— Я-то? Я в доме сидел.

— В каком доме?

— В школе, в городской, то-есть.

— Зачем?

— В резерве я был.

— Значит, ты не стрелял?

— Как нет?

— Да ты расскажи.

Он машет рукой.

— Да что... Тут скоро шум большой вышел. Потолок пробило.

— А ты что?

— Я? Что-ж я? Я главное в резерве был. А потом приказ вышел: уходить. Ну, мы видим: дела хоть закуривай. Подождали малое время — ушли.

— Куда-ж вы ушли?

— А в нижний этаж ушли. Там ловчее.

Он говорит неохотно. Я жду.

— Да, — продолжает он, помолчав. — Была тут одна... со мной солидарная... вроде будто жена.

— Ну?

— Ну, ничего... убили ее.

За окном гаснет день.

13 марта.

Елена замужем. Она живет здесь. Я ничего больше не знаю о ней. По утрам, в свободные дни, я брожу по бульвару вокруг ее дома. Пушится иней, хрустит под ногами снег. Я слышу, как медленно бьют на башне часы. Уже 10 часов. Я сажусь на скамью, терпеливо считаю время. Говорю себе: я не встретил ее вчера, я встречу ее сегодня.

Год назад я впервые увидел ее. Весной был проездом в N. и утром ушел в парк, большой и тенистый. Над мокрой землей вста-

вали крепкие дубы, стройные тополя. Было тихо, как в церкви. Даже птицы не пели. Только журчал ручей. Я смотрел в его струи. В брызгах сверкало солнце. Я слушал голос воды. Я поднял глаза. На другом берегу в зеленой сетке ветвей стояла женщина. Она не замечала меня. Но я уже знал: она слышит то, что я слышу.

Это была Елена.

14 марта.

Я у себя в комнате. Наверху, надо мной, тихо звенит фортепиано. Шаги тонут в мягком ковре.

Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. Не хочу знать будущего. Стараюсь забыть о прошедшем. У меня нет родины, нет имени, нет семьи. Я говорю себе:

Un grand sommeil noir
Tombe sur ma vie,
Dormez, tout espoir,
Dormez, toute envie.

Но ведь надежда не умирает. Надежда на что? На „звезду утреннюю“? Я знаю: если мы убили вчера, то убьем и сегодня, неизбежно убьем и завтра. „Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод и сделалась кровь“. Ну, а кровь водой не зальешь и огнем не выжжешь. С нею, — в могилу.

Je ne vois plus rien,
Je perds la mémoire
Du mal et du bien.
Ô, la triste histoire!

Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскресение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделенной земли меня не прельщают. Я сказал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода? Какая жалкая свобода... И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя крови, для крови?..

Je suis un berceau,
Qu'une main balance
Au creux d'un caveau
Silence, silence.. *

В двери стучат. Это Эрна.

17 марта.

Я не знаю, почему я иду... но знаю, почему идут многие. Генрих убежден, что так нужно. У Федора убили жену. Эрна говорит, что ей стыдно жить. Ваня... Но пусть Ваня скажет сам за себя.

*Я в черные дни
Не жду пробужденья.
Надежда, усни,
Усните, стремленья!

Спускается мгла
На взор и на совесть.
Ни блага, ни зла, —
О, грустная повесть!

Под чьей-то рукой
Я — зыбки качанье
В пещере пустой...
Молчанье, молчанье!
(Пер. с фр. Ф.Сологуба) — Ред.

Накануне он возил меня по городу. Я назначил ему свидание в скверном трактире.

Он пришел в высоких сапогах и поддевке. У него теперь борода и волосы острижены в скобку. Он говорит:

— Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе?

— О ком? — переспрашиваю я.

— О Христе? О Богочеловеке Христе?.. Думал ли ты, как веровать и как жить? Знаешь, у себя на дворе я часто читаю Евангелие и мне кажется есть только два, всего два пути. Один — все позволено. Понимаешь ли: все. И тогда — Смердяков. Если, конечно, сметь, если на все решиться. Ведь если нет Бога и Христос — человек, то нет и любви, значит, нет ничего... И другой путь — путь Христов ко Христу... Слушай, ведь если любишь, много, по-настоящему любишь, можно тогда убить, или нельзя?

Я говорю:

— Убить всегда можно.

— Нет, не всегда. Нет, убить — тяжкий грех. Но вспомни: нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою. Не жизнь, а душу. Пойми: нужно крестную муку принять, нужно из любви для любви на все решиться. Но непременно, непременно из любви и для любви. Иначе — опять Смердяков, то есть путь к Смердякову. Вот я живу. Для чего? Может быть, для смертного моего часа живу. Молюсь: Господи, дай мне смерть во имя любви. А об убийстве ведь не помолишься. Убьешь, а молиться не станешь... И ведь знаю: мало во мне любви, тяжел мне мой крест.

— Не смейся, — говорит он через минуту, — зачем и над чем смеешься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь: бред. Ведь ты скажешь, ты скажешь: бред?

Я молчу.

— Помнишь, Иоанн в Откровении сказал: „В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них“. Что же, скажи, страшнее, если смерть убежит от тебя, когда ты будешь звать и искать ее? А ты будешь искать. Как прольешь кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем. У тебя нет закона, кровь для тебя — вода. Но слушай же меня, слушай: будет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдешь: смерть убежит от тебя. Верую во Христа, верую. Но я не с ним. Недостоин быть с ним, ибо в грязи и в крови. Но Христос, в милосердии своем, будет со мною.

Я пристально смотрю на него. Я говорю:

— Так не убий. Уйди.

Он бледнеет:

— Как можешь ты это сказать? Как смеешь? Вот, душа моя скорбит смертельно. Но я не могу не идти, ибо я люблю. Если крест тяжел, — возьми его. Если грех велик, — прими его. А Господь пожалеет тебя и простит. — И простит, — повторяет он шепотом.

— Ваня, все это вздор. Не думай об этом.

Он молчит.
На улице я забываю его слова.

19 марта.

Эрна всхлипывает. Она говорит сквозь слезы:

— Ты меня совсем разлюбил.

Она сидит в моем кресле, закрыв руками лицо. Странно: я никогда раньше не замечал, что у нее такие большие руки.

Я внимательно смотрю на них и говорю:

— Эрна, не плачь.

Она подымает глаза. Нос у нее покраснел и нижняя губа некрасиво отвисла. Я отворачиваюсь к окну. Она встает и робко трогает меня за рукав:

— Не сердись. Я не буду.

Она часто плачет. Сначала краснеют глаза, затем опухают щеки, наконец, незаметно выкатывается слеза. У нее тихие слезы.

Я беру ее к себе на колени.

— Послушай, Эрна, разве я когда-нибудь говорил, что люблю тебя?

— Нет.

— Разве я тебя обманул? Разве я не сказал, что люблю другую?

Она вздрогнула и не отвечает.

— Говори же.

— Да. Ты сказал.

— Слушай же дальше. Когда мне станет с тобой тяжело, я не солгу тебе, я скажу. Ведь ты мне веришь?

— О, да.

— А теперь не плачь. Я ни с кем. Я с тобою.

Я целую ее. Счастливая, она говорит:

— Милый мой, как я люблю тебя.

А я глаз не могу оторвать от ее больших рук.

21 марта.

Я не знаю ни слова по-английски. В гостинице, в ресторане, на улице я говорю на ломаном, русском языке. Выходят недоразумения.

Вчера я был в театре. Рядом со мной, — купец, толстый, красный, с потным лицом. Он сопит и угрюмо дремлет. В антракте поворачивается ко мне:

— Вы какой нации?

Я молчу.

— Я спрашиваю: какой вы нации?

Я, не глядя на него, отвечаю:

— Подданный Его Величества Великобританского короля.

Он переспрашивает:

— Кого?

Я поднимаю голову и говорю:

— Я англичанин.

— Англичанин? Так-с, так-с, так-с... Самой мерзкой нации. Так-с. Которые на японских миноносцах ходили, у Цусимы Андреевский флаг топили, Порт-Артур брали... А теперь, извольте, к нам в Россию пожаловали. Нет, не позволяю я этого.

Собираются любопытные. Я говорю:

— Прошу вас молчать.

Он продолжает:

— В участок его. Может, он опять японский шпион или жулик какой... Англичанин. Знаем мы их, англичан этих... И чего полиция смотрит?

Я шупаю в кармане револьвер.

— Второй раз: прошу вас молчать.

— Молчать? Нет, брат, пойдем в участок. Там разберут. Недозволено, чтобы, значит, шпионы. Нет. Ура! С нами Бог!

Я встаю. Смотрю в упор в его круглые, налитые кровью глаза и говорю очень тихо:

— В последний раз: молчать.

Он пожимает плечами и молча садится.

Я выхожу из театра.

24 марта.

Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он ораторствовал на сходках, носил пенсне и длинные волосы. Теперь, как Ваня, он огрубел, похудел и оброс небритой щетиной. Лошадь у него тощая, сбруя рваная, сани подержанные, — настоящий Ванька.

Он везет нас: меня и Эрну. За заставой обернулся и говорит:

— Намедни попа одного возил. На Круглую площадь рядился, пятальтынный давал. Ну, а где она, Круглая площадь? Везу. Крутил я, крутил. Стал, наконец, поп ругаться: куда везешь, сукин сын? Я, говорит, тебя в полицию представлю. Извозчик, говорит, должен город, как мешок с овсом, знать, а ты, говорит, экзамен, небось, за целковый сдал. Насилу я его умолил: простите, говорю, батюшка, Христа ради... А экзамена я действительно не держал. Карпуха-босьяк за полтинник вместо меня явился.

Эрна почти не слушает. Генрих продолжает с одушевлением:

— Вот тоже на днях барин один с барыней порядились. Старички. Будто из благородных. Выехал я на Долгую, а там трамвай электрический у остановки стоит. Ну, я не глядя: Господи благослови, — через рельсы. Ка-ак барин-то вскочит и давай меня по шее тузить: ты, говорит, негодяй, что же? Задавить нас желаешь? Куда, говорит, прешь, сукин сын? А я и говорю: не извольте, говорю, ваше сиятельство, себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит, проедем. Тут, слышу, барыня по-французски заговорила: Жан, не волнуйся, во-первых, тебе это вредно, а кроме того и извозчик, говорит, человек. Ей-Богу, вот так и сказала: извозчик, мол, человек. А он ей по-русски: сам знаю, что человек, да ведь какая скотина... А она: фи, говорит, Жан, что ты, право, стыдись... Тут он, слышу, за плечо меня тронул: прости, говорит, голубчик, и на чай двугри-

венный подает... Не иначе: кадеты... Н-но, милая, выручай!..

Генрих стегает свою лошаденку. Эрна незаметно жметса ко мне.

— Ну, а вы как, Эрна Яковлевна, привыкли?

Генрих говорит робко. Эрна нехотя отвечает:

— Ничего. Конечно, привыкла.

Направо парк, черный переплет обнаженных ветвей. Налево — белая скатерть поля. Сзади — город. Сияют на солнце церкви.

Генрих примолк. Только сани скрипят.

Приехали. Я сую ему в руку полтинник. Он снимает заиндевелый картуз и долго смотрит нам вслед.

Эрна мне шепчет:

— Можно сегодня придти к тебе, милый?

28 марта.

Губернатор ждет покушения. Вчера ночью он неожиданно переехал в Подгородное. За ним переехали и мы. Ваня, Федор и Генрих следят в одних местах, я брожу в других.

Мы уже много знаем о нем. Знаем его лошадей, его кучера, его карету. Ошибиться нельзя, и я думаю, что мы скоро назначим день. Ваня бросит первый...

29 марта.

Приехал Андрей Петрович. Он член комитета. За ним много лет каторги и Сибири, — тяжкая жизнь старого деятеля. У него грустные глаза и седая бородка клином.

Мы сидим в ресторане. Он застенчиво говорит:

— Вы знаете, Жорж, поднят вопрос о временном прекращении дел. Что вы об этом думаете?

— Человек, — подзываю я полового, — поставь машину из „Корневильских колоколов“.

Андрей Петрович опускает глаза.

— Вы не слушаете меня, а вопрос очень важный. Как совместить с этим... парламентскую работу? Или мы ее признаем и идем на выборы в Думу, или нет ничего, и тогда, конечно... Ну, что вы думаете об этом?

— Что думаю? Ничего.

— Вы подумайте. Может быть, придется вас распустить, то-есть организацию распустить.

— Что? — переспрашиваю я.

— То-есть не распустить, а как бы это сказать? Вы знаете, Жорж, ведь мы понимаем. Мы знаем, как товарищам трудно. Мы ценим... И потом, ведь это только предположение.

У него лимонного цвета лицо, морщинки у глаз. Он наверное живет в нищей каморке, где-нибудь на окраине города, сам варит себе на спиртовке чай, бегает зимою в осеннем пальто и занят по горло всякими делами. Он „делает“ дело...

Я говорю:

— Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там, как хотите. Это

ваше право. Но как бы вы ни решили, мы свое сделаем...

Что вы? Вы не подчинитесь?

— Нет.

— Послушайте, Жорж...

— Я сказал, Андрей Петрович.

— А партия? — напоминает он.

— А дело? — отвечаю я.

Он вздыхает. Потом протягивает мне руку.

— Я там ничего не скажу. Авось, как-нибудь обойдется. Вы не сердитесь?

— Я не сержусь.

— Прощайте, Жорж.

— Прощайте, Андрей Петрович.

Вызвездило. К морозу. Жутко в пустых переулках. Андрей Петрович спешит на вокзал. Бедный старик, бедный взрослый ребенок. Именно вот таких и есть царство небесное.

30 марта.

Я опять брожу около дома Елены. Это громадный, серый, тяжелый дом купца Купоросова. Как могут жить люди в этой коробке? Как может жить в ней Елена?

Я знаю: глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых дверей, ждать того, чего никогда не будет. Ну, если я даже встречу ее? Что изменится? Ничего.

А вот вчера, на главной улице, у магазина, я встретил мужа Елены. Я издали заметил его. Он стоял у окна, спиной ко мне, и разглядывал фотографии. Я подошел и стал рядом с ним. Он высокого роста, белокурый и стройный. Ему лет 25. Офицер.

Он обернулся и сразу узнал меня. В его потемневших глазах я прочел злость и ревность. Не знаю, что он прочел в моих.

Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает. Он стоит на моей дороге. И еще: когда я думаю о нем, я вспоминаю слова:

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,—
Выйди на улицу
И убей!

2 апреля.

Сегодня тает, бегут ручьи. Лужи сверкают на солнце. Снег размок и за городом пахнет весной, — крепкой сыростью леса. Вечерами еще мороз, а в полдень скользко и каплет с крыш.

Прошлой весной я был на юге. Ночи — ни зги, только горит созвездие Ориона. Утром по каменистому берегу я ухожу к морю. В лесу цветет вереск, расцветают белые лилии. Я карабкаюсь на утес. Надо мной раскаленное солнце, внизу — прозрачная зелень воды. Ящерицы скользят, трещат цикады. Я лежу на жарких камнях, слушаю волны. И вдруг, — нет меня, нет моря, нет солнца, нет

леса, нет весенних цветов. Есть одно громадное тело, одна бесконечная и благословенная жизнь.

А теперь?

Один мой знакомый, бельгийский офицер, рассказывал мне о своей службе в Конго. Он был один и у него было пятьдесят черных солдат. Его кордон стоял на берегу большой реки, в девственном лесу, где солнце не жжет и бродит желтая лихорадка. По ту сторону кило племя независимых негров со своим царьком и со своими законами. День сменялся ночью и снова наступал день. И утром, и в полдень, и вечером была все та же мутная река с песчаными берегами, те же ярко-зеленые лианы, те же люди с черным телом и непонятным наречием. Иногда он от скуки брал ружье и старался попасть в курчавую голову между ветвей. А когда черным людям с этого берега случалось поймать кого-нибудь из тех, кто на том, пленника привязывали к столбу. От нечего делать его расстреливали, как мишень для стрельбы. И наоборот: когда кто-нибудь из его людей попадался на том берегу, ему разрубали руки и ноги. Затем клали на ночь в реку так, что торчала одна голова. А на утро рубили голову.

Я спрашиваю: чем белый человек отличается от черных? Чем мы отличаемся от него? Одно из двух: или „не убий“, и тогда мы такие же разбойники, как другие. А если „око за око и зуб за зуб“, то к чему оправдания? Я так хочу и так делаю. Уж не скрыта ли здесь трусость, боязнь чужого мнения? Боязнь, что иные скажут: убийца, когда теперь говорят: герой? Но на что мне чужое мнение?

Раскольников убил старушонку и сам захлебнулся в ее крови. А Ваня идет, будет счастлив и свят. Будет ли? Он говорит: во имя любви. Да разве есть на свете любовь? Разве Христос воистину воскрес в третий день? Все это слова... Нет, —

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,—
Выйди на улицу
И убей!

6 апреля.

Прошла страстная неделя. Сегодня веселый перезвон: Пасха. Ночью радостный крестный ход, слава Христу. А с утра весь город на гуляньи, яблоку негде упасть. Бабы в белых платочках, солдаты, оборванцы, гимназисты. Целуются, щелкают семечки, зубоскалят. На лотках красные яйца, пряники, американские черти, на ленточках разноцветные пузыри. Люди, словно пчелы в улье. Гомон и шум.

В детстве говеешь еще на шестой. Пост всю неделю, до причастия ни маковой росинки во рту. На страстной неистово бьешь поклоны, к плащанице всем телом прильнешь: Господи, прости мне мои прегрешения. У заутрени, как в раю: свечи ярко горят, воском пахнет, ризы белые, кият золотой. Стоишь, не вздохнешь, — скоро ли домой со святым куличом пойдешь? Дома праздник, великое торжество. Всю святую неделю праздник.

А сегодня мне все чужое. Томит колокольный звон, скучен смех. Уйти бы куда глаза глядят, не вернуться.

— Барин, купите счастье, — сует мне девчонка конверт.

Девчонка босоногая, рваная, какая-то вся неспраздничная. На клочке серой бумаги напечатано предсказание:

“Если тебя преследуют неудачи, не теряй надежды и не предавайся отчаянию. Труднейшее преодолешь и повернешь, наконец, к себе колесо фортуны. Твое предприятие окончится полным успехом, которого даже не смеешь ожидать”.

Вот и яичко на красный день.

7 апреля.

Ваня живет на постоялом дворе, в артели. Он спит со всеми вповалку на нарах. Ест из котла. Сам чистит лошадь, моет пролетку. Днем — на улице, на работе. Он не жалуется, доволен.

Сегодня он в новой поддевке, волосы смазаны маслом, сапоги у него со скрипом.

Он говорит:

— Вот и Пасха пришла. Хорошо... Жорж, ведь Христос-то воскрес.

— Ну так что-ж, что воскрес?

— Эх, ты... Радости в тебе нет. Мира ты не приемлешь.

— А ты приемлешь?

— Я? Я — дело другое. Мне тебя, Жоржик, жалко.

— Жалко?

— Ну, да. Никого ты не любишь. Даже себя. Знаешь, есть у нас на дворе извозчик Тихон. Черный такой мужик, курчавый. Зол, как чорт. Был он когда-то богат, потом погорел: подожгли. Простить до сих пор не может. Всех проклинает: Бога студентов, купцов, даже детей. И тех ненавидит. Сукины дети все, говорит, и все подлецы. Кровь христианскую пьют, а Бог с небес радуется... Давеча прихожу из чайной на двор, гляжу: посреди двора Тихон стоит. Ноги расставил, рукава засучил, кулачищи у него громадные, — и лошаденку свою вожжей по глазам хлещет. Лошаденка-то хилая, еле дышит, морду в гору дерет. А он ее по глазам, по глазам. Стерва, хрипит, сволоочь проклятая, я тебе покажу, я тебя научу... За что, говорю, Тихон, бьешь животину? Молчи, кричит, хлюст паршивый... И давай хлестать еще свирепее. На дворе грязь, вонь, конский навоз, а наши повылезали, смеются: Тихон, мол, балует... Так и ты, Жоржик, всех бы ты вожжей по глазам... Эх, ты, бедняга.

Он скусывает кусочек сахару, долго пьет чай, потом говорит:

— Не сердись. И не смейся. Вот я думаю. Знаешь о чем? Ведь мы нищие духом. Чем, милый, живем? Ведь голой ненавистью живем. Любить-то мы не умеем. Душим, режем, жжем. И нас душат, вешают, жгут. Во имя чего? Ты скажи. Нет, ты скажи.

Яжимаю плечами.

— Спроси Генриха, Ваня.

— Генриха? Генрих верит, что люди будут свободны и сыты. Но ведь это же все для Марфы, а что для Марии? * За свободу можно, конечно, жизнь отдать. Что за свободу? За слезу одну можно. Я молюсь: пусть не будет рабов, пусть не будет голодных. Но ведь это же, Жоржик, не все. Мы знаем, мир неправдой живет. Где же правда, скажи?

— Что есть истина? Да?

— Да, что есть истина. А помнишь: „Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глас Моего“.

— Ваня, Христос сказал: не убий.

— Знаю. Ты о крови пока молчи. Ты вот что скажи: Европа два великих слова миру сказала, два великих слова своею мукой запечатлела. Первое слово: свобода, второе слово: социализм. Ну, а мы что миру сказали? Кровь лилась за свободу. Кто ей верит теперь? Кровь лилась за социализм. Что же, по-твоему социализм — рай на земле? Ну, а за любовь, во имя любви кто-нибудь на костре горел? Разве кто-нибудь из нас смел сказать: мало еще, чтобы люди были свободны, мало еще, чтобы с голоду дети не умирали, чтобы матери слезами не обливались. Нужно еще, нужно, чтобы люди друг друга любили, чтобы Бог был с ними и в них. Про Бога-то, про любовь забыли. А ведь в Марфе одна половина правды, другая в Марии. Где же наша Мария? Слушай, я верю: вот идет дело крестьянское, христианское, Христово. Во имя Бога, во имя любви. И будут люди свободны и сыты, и в любви будут жить. Верю: наш народ, народ Божий, в нем любовь, с ним Христос. Наше слово, — воскресшее слово: ей, гряди, Господи!.. Малoverы мы и слабы, как дети: мы поэтому подымаем меч. Не от силы своей подымаем, а от страха и слабости. Подожди, завтра придут другие, чистые. Меч не для них, ибо будут сильны. Но раньше, чем придут, мы погибнем. А внуки детей будут Бога любить, в Боге жить, Христу радоваться. Мир им откроется вновь, и узрят в нем то, чего мы не видим. А сегодня, Жоржик, Христос воскрес, святая Пасха. Ну, так в этот день забудем обиды, перестанем хлестать по глазам...

Он задумчиво умолкает.

— Что ты, Ваня? О чем?

— Да вот, слушай: цепь неразрывна. Нет мне выхода, нет исхода. Иду убивать, а сам в Слово верю, поклоняюсь Христу. Больно мне, больно...

В трактире пьяный гул. Люди справляют праздник. Ваня склонился над скатертью, ждет. Что я могу ему дать? Разве вожжей по глазам?..

8 апреля.

Я опять с Ваней. Он говорит:

— Знаешь, когда я Христа узнал? в первый раз Бога увидел?

*См. Евангелие от Луки, X, 38-42. — Ред.

Был я в Сибири, в ссылке. Пошел я раз на охоту. В Обской губе дело было. Обь—то у Океана — море. Небо низкое, серое, река тоже серая, серые гребни волн, а берегов не видать, будто вовсе их нет. Высадили меня из лодки на островок. Сговорились: к вечеру, мол, за тобой приедем. Ну, брожу я, уток стреляю. Кругом болото, березки гнилые, кочки зеленые, мох. Шел я, шел, от края совсем отбился. Утку одну пристрелил, запала, найти не могу. Ищу между кочек. А тут и вечер упал, потянуло туманом с реки, стало темно. Вот решил я к берегу добираться. Кое—как по ветру взял направление, иду. Шагнул: чувствую, ноги вязнут. Я было на кочку хотел, нет, — тону в болотной трясине. Знаешь, медленно так тону, на полвершочка в минуту. Сиверко, дождь пошел. Дернул я ногу, не выдернул, хуже: еще на вершок увяз. Поднял я тут ружье, стал с отчаянья в воздух стрелять. Авось, услышат, авось, помогут, придут. Нет, тишина, только, слышу, ветер свистит. Вот стою я так, почти по колено в тине. Думаю: в болоте завязну, пузыри надо мною пойдут, как прежде одни зеленые кочки. Противные мне стало, до слез. Рванул опять ногу, — еще того хуже. Оледенел я весь, как осина дрожу: вот он какой конец, на краю света, как муха... И знаешь, в сердце как—то все опустело. Все — все равно: погибать. Закусил я губы до крови, из последних сил рванул в третий раз. Чувствую, — выдернул ногу. Тут вдруг радостно стало. Гляжу, бродень в болоте увяз, нога вся в крови. Кое—как я на кочку одною ногою ступил, ружьем оперся, другую ногу тяну. Ну, как стал обеими ногами, боюсь шелохнуться. Думаю: шаг ступлю, значит, — обратно в трясику. Так всю ночь до рассвета на одном месте и простоял, и сеял дождь, и небо было темное, и ветер выл, в эту—то ночь я и понял, знаешь, всем сердцем, до конца понял: Бог над нами и с нами. И не страшно мне было, а радостно, с сердца камень упал. А утром товарищи подошли, подобрала меня.

— Перед смертью многие Бога видят. Это от страха, Ваня.

— От страха? Что—ж, может быть. Только что же ты думаешь? Бог тебе здесь, в грязном трактире, явиться может? Перед смертью душа напрягается, пределы видны. Вот почему и Бога люди чаще всего перед смертью видят. Увидел и я.

— Слушай дальше, — продолжает он, помолчав, — великое счастье Бога увидеть. Пока не знаешь Его, не думаешь о нем вовсе. Обо всем думаешь, а о нем нет. Сверхчеловек вот иным мерещится. Ты подумай только: сверхчеловек. И ведь верят: философский камень нашли, разгадку жизни. А по—моему смердяковщина это. Я, мол, ближних любить не могу, а люблю зато дальних. Как же дальних можешь любить, если нет в тебе любви к тому, что кругом? Знаешь, легко умереть за других, смерть свою людям отдать. Жизнь вот отдать труднее. Изю дня в день, из минуты в минуту жить любовью, Божьей любовью к людям, ко всему, что живет. Забывать о себе, не для себя строить жизнь, не для дальних каких—то. Ожесточились мы, озверели. Эх, милый, горько смотреть: мечутся

люди, ищут, верят в китайских божков, в деревянных чурбанов, а в Бога верить не могут, а Христа любить не хотят. Яд в нас с детства горит. Вот Генрих не скажет: цветок; говорит: семьи такой-то, вида такого-то, лепестки такие-то, венчик такой-то. За этим сором он цветка не увидел. Так и Бога за сором не видим. Все по арифметике да по разуму. А вот там, когда я под дождем на болотной кочке стоял, смерти своей дожидался, там я понял: кроме разума есть еще что-то, да шоры у нас на глазах, да не видим, не знаем. Ты, Жоржик, чего смеешься?

- Да ведь ты словно поп приходской.
- Ну, пусть поп. А ты мне скажи, — можно жить без любви?
- Конечно, можно.
- Как же? Как?
- Да плевать на весь мир.
- Шутишь, Жорж?
- Нет. Не шучу.
- Бедный, Жоржик, ты бедный...

Я прощаюсь с ним. Я опять забываю его слова.

10 апреля.

Сегодня видел губернатора. Высокий, благообразный старик, в очках, с подстриженными усами.

На площади, вчера белой, сегодня мокрые камни. Лед стоял и река ярко блестит на солнце. Чирикают воробьи.

У подъезда карета. Я сразу узнал ее: черные кони, желтые спицы колес. Я пересек площадь и пошел к дому. В это время дверь распахнулась, городской отдал честь. С лестницы медленно спустился губернатор. Я прирос к мостовой. Не отрываясь, смотрел на него. Он поднял голову и взглянул на меня. Я снял шляпу. Я низко опустил ее перед ним. Он улыбнулся и приложил руку к фуражке. Он поклонился мне.

В эту минуту я ненавидел его.

Я побрел в сад. Ноги вязли в размытой глине дорожек. В березах шумно летали галки.

12 апреля.

В свободные часы я ухожу в библиотеку. В тихом зале стриженные курсистки, бородатые студенты. Я резко отличаюсь от них своим бритым лицом и высоким воротником.

Со вниманием читаю древних. У них не было совести, они не искали правды. Они попросту жили. Как трава растет, как птицы поют. Может быть, в этой святой простоте — ключ к приятию мира.

Афина говорит Одиссею:

Буду стоять за тебя и теперь я, не будешь оставлен
Мной и тогда, как приступим мы к делу. И думаю скоро
Лоно земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом
Многих из тех, беззаконных, твое достояние губящих.

Какому богу мне молиться, чтобы он не оставил меня? Где моя

защита и кто мой покровитель? Я один. И если нет у меня защиты, я сам себе покровитель. И если нет у меня бога, я сам себе бог. Ваня говорит: „Если все позволено, тогда — Смердяков“. А чем Смердяков хуже других? И почему нужно бояться Смердякова?

Лоно земли беспредельной обрызжется кровью и мозгом...

Пусть обрызжется. Я ничего против этого не имею.

13 апреля.

Эрна мне говорит:

— Мне кажется, я жила только для того, чтобы встретить тебя. Ты грезился мне во сне. Я о тебе молилась.

— Эрна, а наше дело?

— Мы вместе умрем... Слушай, милый, когда я с тобой — мне кажется, что я маленькая девочка, еще ребенок. Я знаю: я ничего не могу дать тебе. Но у меня есть любовь. Возьми же ее.

И она плачет.

— Эрна, не плачь.

— Я от радости... Видишь, я не плачу уже. Знаешь, я хотела тебе сказать... Генрих...

— Что Генрих?

— Ты только не сердись... Генрих мне вчера сказал, что любит меня.

— Ну?

— Ну, я же не люблю его. Я люблю только тебя. Ты не ревнуй, милый? — шепчет она мне на ухо.

— Ревную? Я?

— Ты не ревнуй. Я не люблю его вовсе. Но он такой несчастный, и мне так больно было, когда он сказал... И еще: мне казалось, что я не должна его слушать, что это измена тебе.

— Измена мне, Эрна?

— Милый, я так люблю тебя и мне так жалко было его. Я ему сказала, что я ему друг. Ты не сердись? Нет?

— Будь покойна, Эрна. Я не сержусь и не ревную.

Она обиженно опускает глаза:

— Тебе все равно? Скажи, ведь тебе все равно?

— Слушай, — говорю я, — есть женщины — верные жены, и страстные любовницы, и тихие друзья. Но все они вместе не стоят одной: женщины-царицы. Она не отдает свое сердце. Она дарит любовь.

Эрна испуганно слушает. Потом говорит:

— Так ты меня не любишь совсем?

Я целую ее в ответ. Она прячет лицо на моей груди и шепчет:

— Ведь мы вместе умрем? Да?

— Может быть.

Она засыпает у меня на руках.

15 апреля.

Я сажусь к Генриху в пролетку.

— Ну что, как дела?

— Да что, — качает он головой, — не легко: целый день под дождем, на козлах.

Я говорю:

— Не легко, когда человек влюблен.

— Откуда вы знаете? — быстро оборачивается он ко мне.

— Что знаю? Я ничего не знаю. И ничего знать не хочу.

— Вы, Жорж, все смеетесь.

— Я не смеюсь.

Вот и парк. С мокрых сучьев на нас летят разноцветные брызги. Кое-где уже юная зелень травы.

— Жорж.

— Ну?

— Жорж, ведь при изготовлении бывают иногда взрывы?

— Бывают.

— Значит, Эрну может взорвать?

— Может.

— Жорж?

— Ну?

— Почему вы поручаете ей?

— Ее специальность.

— Специальность?

— Да.

— А кому-нибудь другому нельзя?

— Нельзя... Да вы чего беспокоитесь?

— Нет... Я так... Ничего... К слову пришлось.

Он поворачивает обратно. На полдороге опять окликает меня:

— Жорж?

— Ну?

— А скоро?

— Думаю, скоро.

— Как скоро?

— Недели две, три еще.

— А выписать вместо Эрны нельзя никого?

— Нет.

Он ежится в своем синем халате, но молчит.

— Прощайте, Генрих. Бодритесь.

— Бодрюсь.

— И, право, не думайте ни о ком.

— Знаю. Не говорите. Прощайте.

Он медленно отъезжает. На этот раз я долго смотрю ему вслед.

16 апреля.

Я спрашиваю себя: неужели я все еще люблю Елену? Или я люблю только тень, — мою прежнюю любовь к ней? Может быть,

Ваня прав и я не люблю никого, и не могу и не умею любить. Может быть, и не стоит любить.

Генрих любит Эрну и будет любить только ее, и всю жизнь. Но любовь для него источник не радости, а муки. А моя любовь — радость?

Я опять в своей комнате, в скучном номере скучной гостиницы. Сотни людей живут под одной крышей со мною. Я им чужой. Я чужой в этом каменном городе, может быть в целом мире. Эрна отдает мне себя, всю себя без оглядки. А я не хочу ее и отвечаю, — чем? Дружбой? Не ложью ли? Глупо думать об Елене, глупо целовать Эрну. Но я думаю о первой и целую вторую. Да и не все ли равно?

18 апреля.

Губернатор переехал назад, в город. Наши планы опять разбиты. Нужно начать наблюдение сначала. Это труднее здесь. Кругом бес-сменная цепь часовых, на площади и в воротах шпионы. Каждый прохожий у них на примете. Каждый извозчик на подозрении.

Конечно, не знают, где мы и кто мы. Но уже ходит молва.

Вчера в трактире я услышал такой разговор. Разговаривали двое: один, по виду приказчик, другой, должно быть, его подручный, мальчишка лет восемнадцати.

— Это уж, как от Бога кому, — наставительно говорит приказчик, — одному, значит, одно, другому — другое. Приходит, слышь, барышня, при прощении. Допустили. Стал он прошение читать. Покуда читал, она револьвер вынула и давай в него пули садить. Четыре пули ему всадила.

Мальчишка всплескивает руками.

— Ах ты... Что-ж, помер?

— Какой...

— Ну?

— Повесили ее, значит. По времени приходит другая. Опять при прощении.

— Неужто-ж допустили?

— Нет. Она было то, се, десятое, пятое. Однако обыскали в прихожей. Глядят, в косе револьвер. Это значит, Бог спас.

— Ну?

— Повесили, значит, ее. Только что же ты думаешь? — рассказчик изумленно разводит руками, — по времени, гуляет он у себя в саду, по дорожке. Стража при нем. Вдруг, откуда бы ни возмись, выстрел. Прямо в сердце пуля пронзила. Ахнуть едва успел.

— Язви те... Вот так раз.

— Да-а... Опять, значит, повесили, а он все-таки помер. Так уж положено ему было. Судьба.

20 апреля.

Вчера, наконец, я встретил Елену. Я не думал о ней, я почти забыл, что она здесь. Я шел по улице и вдруг услышал чей-то зов. Я

обернулся. Передо мною была Елена. Я увидел ее громадные серые глаза, пряди ее черных волос. Мы идем с нею рядом. Она с улыбкою говорит:

— Вы забыли меня.

Нам в лицо бьет сноп яркого вечернего солнца. В его лучах тонет улица, золотом горит мостовая. Я краснею, как мак. Я говорю:

— Нет. Я не забыл.

Она берет меня под руку и говорит тихо:

— Вы надолго?

— Не знаю.

— Что вы здесь делаете?

— Не знаю.

— Не знаете?

— Нет.

Она вспыхивает густым румянцем.

— А я знаю. Я вам скажу.

— Скажите.

— Вы...

— Может быть.

Вечерний луч догорел. На улице прохладно и серо.

Я хочу ей много сказать. Но я забыл все слова. Я говорю только:

— Почему вы здесь?

— Муж служит.

— Муж?

Я вспоминаю вдруг про этого мужа. Я ведь встретил его. Да, конечно, у нее есть муж.

— Прощайте, — говорю я, неловко протягивая ей руку.

— Вы спешите?

— Да, я спешу.

— Оставайтесь.

Я смотрю ей в глаза. Они сияют любовью. Но я опять вспоминаю: муж.

— До свиданья.

Ночью темно и пусто. Я иду в Тиволи. Гремит оркестр, бесстыдно смеются женщины. Я один.

25 апреля.

Губернатор уехал в Х... Я поехал за ним. Радостно встречаю широкую воду, сияющие купола. Весна хороша здесь. Она целомудренно-ясная, как девушка шестнадцати лет.

Губернатор отправился в здешний пригород. Я в том же поезде, в вагоне первого класса. Входит нарядная дама. Она роняет платок. Я поднимаю.

— Вы не русский? — говорит она по-французски, всматриваясь в меня.

— Я англичанин.

— Англичанин? Как ваше имя? Я знаю ваше имя.

Я колеблюсь минуту. Потом вынимаю карточку: Джордж О'Бриен, инженер, Лондон.

— Инженер... Как я рада... Приезжайте ко мне. Я буду вас ждать.

Вечером возвращаюсь.

На пригородном вокзале в буфете опять она: пьет чай с каким-то евреем. Он подозрителен... Я подхожу к ней:

— Счастлив встретиться снова!

Она смеется.

Мы гуляем с ней по платформе.

В вагоне кондуктор отбирает билеты. Она подает ему серый конверт. Я читаю внизу печатным курсивом: „Жандармское управление“.

— У вас, вероятно, сезонный билет? — спрашиваю я ее.

Она густо краснеет:

— Нет, это так... Ничего... Это подарок. Ах, как я рада познакомиться с вами... Я так люблю англичан.

Свисток. Вокзал. Я кланяюсь ей и украдкой иду за ней следом.

Она входит в жандармскую комнату.

„Ага“, — думаю я.

В гостинице решаю: или за мной следят, и тогда я, конечно, погиб, или эта встреча — случайность, скучное совпадение. Хочу знать всю правду. Хочу проверить судьбу.

Я надеваю цилиндр. Беру лихача. Звоню, по адресу, у подъезда.

— Барышня дома?

— Пожалуйста.

Комната — бонбоньерка. В углу букет чайных роз: цветочное подношение. На столах и стенах портреты хозяйки. Во всех видах и позах.

— Ах, вы пришли... Как это мило... Садитесь.

Мы опять говорим по-французски. Я курю сигару, держу на коленях цилиндр.

— Нравятся вам русские дамы?

— Лучшие дамы в мире.

В двери стучат.

— Войдите.

Входят два господина, очень черных, очень усатых. Не то шулера, не то сутенеры. Мы жмем друг другу руки.

Все трое отходят к окну.

— Это кто? — слышу я шопот.

— Это? Ах, это инженер-англичанин, богатый. Ты говори, не стесняйся: он по-русски ни слова.

Я встаю:

— Жалею, что должен уйти. Честь имею кланяться.

Снова жму руки. А на улице смеюсь: слава Богу, я — англичанин.

26 апреля.

Губернатор едет обратно в N. У меня до поезда целый день. Я брожу по городу без цели.

Вечереет. Над рекой пурпур зари. За рекой четкий шпиц пронзает небо.

У дубовых ворот трехцветная будка. За белой стеной темная пасть коридора. По каменным плитам эхо шагов. Мрак, решетка окон. Ночью трепетный бой курантов. Великая скорбь на всю землю.

Я вижу низкие бастионы, серые стены. Мало сил, мало сил... Но ведь день великого гнева придет...

Кто устоит в этот день?

28 апреля.

В парке еще свежо. Липы голые, но орешник уже оделся листвой. В зеленых кустах поют птицы.

Елена рвет, нагибаясь, цветы. Оборачивается ко мне и смеется:

— Как хорошо... Не правда ли, как сегодня радостно и светло?

Да, мне радостно и светло. Я смотрю ей в глаза, и мне хочется ей сказать, что в ней радость и что она — яркий свет. Я тоже невольно смеюсь.

— Как давно я не видела вас... Где вы были, где жили, что видели, что узнали?... Что вы думали обо мне?

И, не ожидая ответа, краснеет:

— Я так боялась за вас.

Я не запомню такого утра. Цветут ландыши, пахнет весной. В небе тают перистые облака, догоняя друг друга. В моей душе опять радость: она за меня боялась.

— Знаете, я живу и не замечаю жизни. Вот я смотрю на вас, и мне кажется вы — не вы, а кто-то чужой и все-таки милый. Да, ведь вы мне чужой... Разве я знаю вас? Разве вы знаете меня? И не надо... Ничего не надо нам знать. Ведь нам и так хорошо?.. Не правда ли — хорошо?

И, помолчав, говорит с улыбкой:

— Нет, скажите же мне, что вы делали, чем вы жили?

— Вы ведь знаете, чем я живу.

Она опускает глаза:

— Так правда?..

По ее лицу пробегает тень. Она взяла меня за руку и молчит.

— Слушайте, — говорит она, наконец, — я ничего в этом не понимаю... Но, скажите, зачем? Зачем? Вот смотрите, как здесь хорошо: расцветает весна, поют птицы. А вы думаете о чем? Живете чем?.. Смертью? Милый, зачем?

Я хочу ей сказать многое... Но почему-то не могу сказать никаких слов. Я знаю, что это только слова для нее, что она меня не поймет.

А она настойчиво повторяет:

— Милый, зачем?

На деревьях роса. Заденешь ветку плечом, — брызнет дождь разноцветных капель. Я молчу.

— Не лучше ли жить, попросту жить?.. Или я не поняла вас? Или так нужно... Нет, нет, — отвечает она себе, так не нужно, не может быть нужно.

И я робко спрашиваю, как мальчик:

— Что же нужно, Елена?..

— Вы спрашиваете меня? Вы?.. Разве я знаю? Разве я могу знать? Ничего я не знаю... Да и знать не хочу... А сегодня нам хорошо...

Вот она опять рвет со смехом цветы, а я думаю — скоро я снова буду один, и ее детский смех зазвучит не для меня, — для другого.

Кровь бросается мне в лицо. Я говорю едва слышно:

— Елена.

— Что, милый?

— Вы спрашиваете меня, что я делал?.. Я... я помнил о вас.

— Помнили обо мне?

— Да... вы ведь видите: я вас люблю...

Она опускает глаза.

— Не говорите мне так.

— Почему?

— Боже мой... Не говорите. Прощайте.

Она быстро уходит. И долго еще между белых берез мелькает ее черное платье.

29 апреля.

Я написал Елене письмо:

„Мне кажется, что я не видел вас долгие годы. Каждый час и каждую минуту я чувствую, что вас нет со мною. Днем и ночью, всегда и везде, — вот, я вижу ваши сияющие глаза.

Я верю в любовь, в свое право любить. В глубине моего сердца, на самом его дне живет спокойная уверенность, предчувствие будущего. Так должно быть. Так будет.

Я люблю вас и я счастлив. Будьте же счастливы любовью и вы“.

Я получил короткий ответ:

„Завтра в парке, в шесть часов“.

30 апреля.

Елена мне говорит:

— Я рада, я счастлива, что вы со мною... Но не говорите мне о любви.

Я молчу.

Нет, обещайте: не говорите мне о любви... И не печальтесь, не думайте ни о чем.

— Я думал о вас.

— Обо мне?.. Не думайте обо мне...

— Почему?

И я сам тотчас же отвечаю.

— Вы замужем? Муж? Честь мужа? Долг честной женщины? О, конечно, простите... Я осмелился говорить о своей любви, я осмелился просить вашей. Для добродетельных жен есть только домашний покой, чистые комнаты сердца. Простите.

— Как вам не стыдно?

— Нет, мне не стыдно. Я знаю: трагедия любви и долга. Трагедия любви и подвенечного платья, законного брака, законных супружеских поцелуев. Не мне стыдно, Елена, а вам.

— Молчите.

Несколько минут мы молча идем по узкой дорожке парка. На ее лице еще гнев.

— Слушайте, — поворачивается она ко мне, — неужели для вас есть закон?

— Не для меня, а для вас.

— Нет... А вот вы... Чем живете? Кровью. Зачем вы этим живете?

— Не знаю.

— Не знаете?

— Нет.

— Слушайте, ведь это закон... Вы сказали себе: так нужно.

Я говорю, помолчав:

— Нет. Я сказал: я хочу.

— Вы так хотите?

Она с изумлением смотрит мне прямо в глаза.

— Вы так хотите?

— Ну, да.

Вдруг она мягко кладет мне руки на плечи.

— Милый мой, Жорж.

И быстро, гибким движением целует меня прямо в губы. Долго и жарко. Я открываю глаза: ее уже нет. Где она? И не сон ли мне снился?

1 мая.

Сегодня первое мая, — праздник. Я люблю этот день. В нем много света и радости. Именно сегодня... Но сегодня я не видел губернатора.

Он стал осторожен. Он сидит дома, и мы напрасно следим за ним. Мы видим только сыщиков и солдат. И они видят нас. Я думаю поэтому прекратить наблюдение.

Узнал: тринадцатого он поедет в театр. Мы запрем все ворота. Ваня станет у одних, Федор у других, Генрих у третьих. И здесь будет наше терпенье.

Я радуюсь заранее победе. Вижу темные своды церкви, зажженные свечи... Слышу пенье молитв, душный ладан кадила...

5 мая.

Эти дни я как в лихорадке. Вся моя воля в одном желании. Каждый день я ярко смотрю: не следят ли за мной. Я боюсь, что мы

посеем и не пожнем. Но я не сдамся живым.

Живу теперь в гостинице „Эдинбург“. Вчера принесли мне мой паспорт. Принесший топчется на пороге и говорит:

— Осмелюсь спросить, господин пристав спрашивают, какого вы изволите быть вероисповедания?

Странный вопрос. В паспорте сказано, что я лютеранин. Я, не поворачивая головы, говорю:

— Как?

— Какого исповедания—с? Веры какой—с?

Я беру в руки паспорт. Я громко читаю английский титул лорда Лансдоуна:

„We, Henry Charles Keith Petty Fitz Maurice Marquess of Lawdowne, Earl Wycombe“* и т. д.

Я не умею читать по-английски, произношу все буквы подряд.

Тот внимательно слушает.

— Понял?

— Так точно.

Я говорю с сильным акцентом:

— Иди к приставу, скажи: сейчас телеграмма посланнику. Понял?

— Так точно.

Я стою спиной к нему, смотрю в окно, говорю очень громко.

— А теперь, — пошел вон.

Он с поклоном уходит. Я остаюсь один. Неужели за мной следят?

6 мая.

Мы встретились за городом, у полотна железной дороги: я, Ваня, Генрих и Федор. Они в сапогах бутылками, в картузах: по-мужицки.

Я говорю:

— Тринадцатого губернатор поедет в театр. Нужно теперь же решить места. Кто будет первым?

Генрих волнуется:

— Первое место мне.

У Вани русые кудри, серые глаза, бледный лоб. Я вопросительно смотрю на него.

Генрих повторяет:

— Непременно мне, непременно.

Ваня ласково улыбается:

— Нет, Генрих, я жду очень давно. Не огорчайтесь: за мною право. За мною первое место.

Федор равнодушно пыхтит папирсой.

Я спрашиваю:

— Федор, а ты?

* „Мы, Генри Чарльз Кейс Петти Фитц Морис, Маркиз Лоудаун, Граф Викомб“ (англ.). — Ред.

— Что-ж, я всегда готов.

Все молчат.

По железнодорожному полотну вьются тонкие рельсы. Столбы телеграфа уходят вдаль. Тихо. Только проволока гудит.

— Слушай, — говорит Ваня, — я вот о чем думал. Ведь легко ошибиться. Бросишь с рук, — не всегда попадешь. Попадешь, например, в заднее колесо.

Генрих волнуется...

— Да, да... Как же быть?

Федор внимательно слушает. Ваня говорит:

— Я думал. Лучшее средство: кинуться под ноги лошадям.

— Ну?

— Ну, тогда наверное.

— И тебя тоже наверное.

— И меня.

Федор с презрением пожимает плечами:

— Не надо этого ничего. Подбежать к окну, да в стекло. Вот и готово дело.

Я смотрю на них. Федор навзничь лежит на траве и солнце жжет его смуглые щеки. Он жмурится: рад весне. Ваня, бледный, задумчиво смотрит вдаль. Генрих ходит взад и вперед и порывисто курит. Над нами синее небо.

— Я скажу, когда продавать пролетки. Федор оденется офицером, ты, Ваня, — швейцаром, вы, Генрих, останетесь мужиком, в поддевке.

Федор поворачивается ко мне. Он доволен. Смеется:

— Я, говоришь, его благородием... Ловко... Значит, без пяти минут барин.

Я жму им всем руки. На дороге меня догоняет Генрих:

— Жорж.

— Ну что?

— Жорж... Как же это... Как же Ваня пойдет?

— Так и пойдет.

— Значит, погибнет.

Он смотрит себе под ноги, на траву. На свежей траве следы наших ног.

— Я этого не могу, — говорит он глухо.

— Чего не могу?

— Да этого... Чтобы он шел...

Он останавливается. Он говорит быстро:

— Лучше я первый пойду. Я погибну. Как же так, если он? Ведь его...

— Ну, конечно.

— Нет, Жорж, слушайте, нет... Неужели его не будет? Вот мы спокойно решили, а от нашего решения Ваня наверное погибнет. Главное, что наверное. Нет, Бога ради, нет...

Он щиплет бородку. Руки его дрожат. Я говорю:

— Вот что, Генрих, одно из двух: или так, или этак. Или дело, и тогда оставьте все эти скучные разговоры, или разговаривайте и уйдите назад, — в университет.

Он молчит. Я беру его под руку.

— Помните, Того своим японцам сказал: „Я жалею лишь об одном, что у меня нет детей, которые бы разделили с вами вашу участь“. Ну и мы должны жалеть об одном, что не можем разделить участь Вани. И не о чем плакать.

Близко город. На солнце где-то искрятся стекла. Генрих подымает глаза:

— Да, Жорж, вы правы.

Я смеюсь:

— И подождите еще: *suum cuique*.*

7 мая.

Эрна приходит ко мне, садится в угол и курит. Я не люблю, когда женщины курят. И мне хочется ей об этом сказать.

— Скоро, Жоржик? — спрашивает она.

— Скоро.

— Когда?

— Тринадцатого.

Она кутается в теплый платок. Видны только ее голубые глаза.

— Кто первый?

— Ваня.

— Ваня?

— Да, Ваня.

Мне неприятны ее большие руки, неприятен ласковый голос, неприятен румянец щек. Я отворачиваюсь.

Она долго курит. Потом встает и молча ходит по комнате. Смотрю на ее волосы. Они льняные и вьются на висках и на лбу. Неужели я мог ее целовать?

Она останавливается. Засматривает мне робко в глаза:

— Ведь ты веришь в удачу?

— Конечно.

Она вздыхает:

— Дай Бог.

— А ты, Эрна, не веришь?

— Нет, верю.

Я говорю:

— Если не веришь, — уйди.

— Что ты, Жоржик, милый. Я верю.

Я повторяю:

— Уйди.

— Жорж, что с тобою?

— Ах, ничего. И оставь меня ради Бога.

Она опять прячется в угол, снова кутается в платок. Не люблю этих женских платков. Молчу.

*Каждому свое (лат.). — Ред.

Тикают на камине часы. Я боюсь: я жду жалоб и слез.

— Жоржик.

— Что, Эрн?

— Нет. Ничего.

— Ну, так прощай. Я устал.

В дверях она шепчет грустно:

— Милый, прощай.

Ее плечи опущены, губы дрожат.

Мне ее жаль.

8 мая.

Говорят, где нет закона, нет и преступления. В чем же мое преступление, если я целую Елену? В чем моя вина, если я не хочу больше Эрны? Я спрашиваю себя. Я не нахожу ответа.

Если бы у меня был закон, я бы не убивал, я, вероятно, не целовал бы Эрны, не искал бы Елены. Но в чем мой закон?

Говорят еще: нужно любить человека. А если нет в сердце любви? Говорят, нужно его уважать. А если нет уважения? Я на границе жизни и смерти. К чему мне слова о грехе? Я могу сказать про себя: «я взглянул, и вот конь бледный и на нем всадник, которому имя смерть». Где ступает ногой этот конь, там вянет трава, а где вянет трава, там нет жизни, значит нет и закона. Ибо смерть — не закон.

9 мая.

Федор продал на Конной свой выезд. Он уже офицер, драгунский корнет. Звякают шпоры, звенит сабля по мостовой. В форме он выше ростом и походка у него увереннее и тверже.

Мы сидим с ним на пыльном кругу. Поют в оркестре смычки. Мелькают мундиры военных, белые туалеты дам. Солдаты отдают Федору честь.

Он говорит:

— Слышь, как по-твоему, сколько плачено за этот костюм?

Он тычет в нарядную даму за соседним столом.

Я пожимаю плечами:

— Не знаю. Рублей, вероятно, двести.

— Двести?

— Ну да.

Молчанье.

— Слышь.

— Что?

— А я вот работал, — целковый в день получал.

— Ну?

— Ну, ничего.

Вспыхивают электрические огни. Низко над нами сияет матовый шар. На белой скатерти синие тени.

— Слышь.

— Что, Федор?

- А что думаешь, если, к примеру, этих?
- Что этих?
- Ну, известно...
- Зачем?
- Чтобы знали.
- Что знали?
- Что рабочие люди, как мухи мрут.
- Ну, Федор, это ведь... Мы не анархисты.

Он переспрашивает:

- Чего?
- Анархизм это, Федор.
- Анархизм?.. Экое слово... Вот за этот костюм плачено двести рублей, а дети копеечку просят. Это как?

Мне странно видеть его серебряные погоны, белый китель, белый околыш. Мне странно слышать эти слова.

Я говорю:

- Чего ты сердисься, Федор?
- Эх, нету правды на свете. Мы день-деньской на заводе, матери воют, сестры по улицам шляются... А эти... Двести рублей... Да... Всех бы их, безусловно.

Тонут во мраке кусты, жутко чернеет лес. Федор облокотился о стол и молчит. В его глазах злоба.

- Всех бы их, безусловно.

10 мая.

Осталось всего два дня. Через два дня...

Образ Елены заволокло туманом. Я закрываю глаза, хочу его воскресить. Знаю: у нее черные волосы и черные брови, у нее тонкие руки. Но я не вижу ее. Я вижу мертвую маску. И все-таки в душе живет тайная вера: она будет моею.

Мне теперь все равно. Вчера была гроза, гремел первый гром. Сегодня трава умылась, расцветает сирень. На закате кукует кукушка. Но я не замечаю весны. Я почти забыл об Елене. Ну, пусть она любит мужа, пусть она не будет моею. Я один. Я останусь один.

Я так говорю себе. Но знаю: уйдут короткие дни, и опять буду мыслью с нею. Жизнь замкнется в кованый круг. Если только уйдут эти дни...

Сегодня я шел по бульвару. Еще пахло дождем, но уже щебетали птицы. Справа, на мокрой дорожке рядом со мной я заметил како-го-то господина. Он еврей, в котелке, в длинном желтом пальто. Он стал на углу и долго смотрел мне вслед.

Спрашиваю себя опять: не следят ли за мною?

11 мая.

Ваня все еще извозчик. Он по-праздничному пришел ко мне на свидание. Мы сидим на скамье, у собора, в сквере.

- Жоржик, вот и конец.
- Да, Ваня, конец.

— Как я рад. Знаешь, вся жизнь мне чудится сном. Будто я на то и родился, чтобы умереть и...

Белый храм уходит главами в небо. Внизу на солнце блещет река. Ваня спокоен. Он говорит:

— Трудно в чудо поверить. А если в чудо поверишь, то уже нет вопросов. Зачем насилие тогда? Зачем меч? Зачем кровь? Зачем „не убий“? А вот нету в нас веры. Чудо, мол, детская сказка. Но слушай и сам скажи, сказка или нет. И, быть может, вовсе не сказка, а правда. Ты слушай.

Он вынимает черное, в кожаном переплете, Евангелие. На верхней крышке тисненный, позолоченный крест.

„Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит ему: Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе.“

Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?

Итак, отняли камень, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче, благодарю тебя, что Ты услышал Меня.

Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня, но сказал для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня.

Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон.

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет...”

Ваня закрыл Евангелие. Я молчу. Он задумчиво повторяет:

— „Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе...”

В синем воздухе вьются ласточки. За рекою в монастыре звонят к вечерне. Ваня вполголоса говорит:

— Слышишь, Жоржик, четыре дня...

— Ну?

— Великое чудо.

— И Серафим Саровский чудо?

Ваня не слышит.

— Жорж.

— Что, Ваня?

— Слушай:

„Мария стояла у гроба и плакала. И когда плакала, наклонилась во гроб.“

И видит двух ангелов, в белом одеянии сидящих, одного у главы, другого у ног, где лежало тело Иисуса.

Они говорят ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его.

Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус.

Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? Кого ищешь? Она, думая, что это садовник, говорит ему: Господин! если Ты вынес Его, скажи мне, где Ты положил Его, и я возьму Его.

Иисус говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Раввун! что значит: Учитель!”

Ваня умолк. Тихо.

— Слышал, Жорж?

— Слышал.

Разве сказка? Скажи.

— Ты, Ваня, веришь?

Он говорит наизусть:

„Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.

Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.

После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были закрыты, стал посреди них и сказал им: мир вам!

Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри на руки Мои, подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим.

Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!

Иисус говорит ему: ты поверил потому, что увидел меня; блаженны не видевшие и уверовавшие”.

— Да, Жорж, — „блаженны не видевшие и уверовавшие”.

Тает день, вечернею тянет прохладой. Ваня встряхивает кудрями.

— Ну, Жоржик, прощай. Навсегда прощай. И будь счастлив.

В его чистых глазах печаль. Я говорю:

— Ваня, а „не убий”?..

— Нет, Жоржик, — нет...

— Это ты говоришь?

— Да, я говорю. Чтобы потом не убивали. Чтобы потом люди по Божьи жили, чтобы любовь освящала мир.

— Это кошунство, Ваня.

— Знаю. А „не убий”?..

Он протягивает мне обе руки. Улыбается большой и светлой улыбкой. И вдруг целует крепко, как брат.

— Будь счастлив, Жоржик.

Я тоже целую его.

11 мая.

У меня было сегодня свиданье с Федором в кондитерской. Мы сговаривались о подробностях.

Я первый вышел на улицу. У соседних ворот я заметил трех сыщиков. Я узнал их по быстрым глазам, по их напряженным взглядам. Я застыл у окна. Сам превратился в сыщика. Ищейкой следил за ними. Для нас они или нет?

Вот вышел Федор. Он спокойно пошел по улице. И сейчас же один из шпионов, высокий, рыжий, в белом фартуке и засаленном картузе, бросился на извозчика. Двое других побежали за ним бегом. Я хотел догнать Федора, остановить его. Но он взял случайного лихача. За ним помчалась вся свора, — стая борзых. Я был уверен, что он погиб.

Я тоже был не один. Кругом какие-то странные люди. Вот человек в пальто с чужого плеча. Голова низко опущена, красные руки сложены на спине. Вот какой-то хромой в рваных заплатах, нищий с рынка. Вот мой недавний знакомый, еврей. Он в цилиндре, с черной подстриженной бородою. Я понял, что меня арестуют.

Бьет двенадцать часов. В час у меня свидание с Ваней в переулке. Ваня еще не продал пролетки. Он извозчик. Я втайне надеюсь, что он увезет меня.

Я иду на главную улицу. Хочу затеряться в толпе, утонуть в уличном море. Но опять впереди та же фигура: руки сложены на спине, ноги путаются в полах пальто. И опять рядом черный еврей в цилиндре. Я заметил: он не спускал с меня глаз.

Я свернул в переулок. Вани там нет. Я дошел до конца и повернул круто обратно. Чьи-то глаза гвоздями впились в меня. Кто-то зоркий следит, кто-то юркий не отстает ни на шаг.

Я опять на проспекте. Помню: там за углом пассаж, двери в переулок. Я вбегаю, прячусь в воротах. Прижался спиной к стене и застыл. Длятся минуты — часы. Знаю: тут же рядом черный еврей. Он караулит. Он ждет. Он — кошка, я — мышь. До дверей четыре шага. И вдруг, — одним прыжком я в переулке. Ваня медленно едет навстречу. Я бросаюсь к нему.

— Ваня, гони!

Стучат колеса по мостовой, на поворотах трещат рессоры. Мы сворачиваем за угол. Ваня хлещет свою лошаденку. Я оборачиваюсь назад: пустой переулок коленом. Никого. Мы ушли.

Итак, нет колебаний: за нами следят. Но я не теряю надежды. А если это только случайное наблюдение? Если они не знают, кто мы? Если мы успеем закончить дело?

Но я вспоминаю: Федор. Что с ним? Не арестован ли он?

12 мая.

Федор ждет меня в ресторане. Я должен увидеть его. Если он окружен, — дело погибло. Если ему удалось уйти, — мы дотянем до завтра и завтра же победим.

Я за трактирным столом, у окна. Мне видна улица, виден городской в намокшем плаще, извозчик с поднятым верхом, зонтики редких прохожих. Дождь барабанит по стеклам, уныло струится с крыш. Серо и скучно.

Входит Федор. Звякают шпоры, он здоровается со мной. А на улице под дождем вырастают знакомые мне фигуры. Двое, спрятав мокрые лица в воротники, караулят подъезд. С городовым на углу, — начеку еще двое. Один из них вчерашний хромой. Я ищу глазами еврея: вот, конечно, и он, — под резным навесом ворот.

Я говорю:

— Федор, за нами следят.

— Чего ты?

— Следят.

— Не может этого быть.

Я беру его за рукав:

— Ну-ка, взгляни.

Он пристально смотрит в окно. Потом говорит:

— Глянь-ка, вон этот хромой, ишь, пес, как вымок... Да-а... Дела... Чего делать-то, Жорж?

Дом оцеплен. Нам едва ли уйти. Нас схватят на улице.

— Федор, револьвер готов?

— Восемь патронов.

— Ну, брат, идем.

Мы спускаемся с лестницы. Ливрейный швейцар почтительно распахнул перед нами дверь.

Мы идем плечо-о-плечо. Звеня, волочитса сабля. Я знаю: Федор решился. Я решился давно.

Вдруг Федор локтем толкает меня. Он шепчет скороговоркой:

— Гляди, Жорж, гляди.

На углу одинокий лихач.

— Барин, вот резвая... Барин...

— Пять целковых на чай. Шевели.

Призовой рысак мчится крупной рысью. Нам в лицо летят комья грязи. Сетка дождя затянула небо. Где-то сзади слышно: держи!

От коня валит густой пар. Я трясу кучера за плечо:

— Эй, лихач, еще пять рублей.

В парке соскакиваем в кусты. Мокро. Брызжут деревья. Дождь размыл все дорожки. Мы бежим по лужам бегом.

— Федор, прощай. Уезжай сегодня же.

Его форменное пальто мелькнуло в зеленых кустах и скрылось.

Под вечер я в городе. В гостиницу не вернусь. Дело погибло бесповоротно. А что с Ваней? С Генрихом? С Эрной?

У меня нет ночлега, и я долгую ночь брожу по улицам. Тает лениво время. До рассвета еще далеко. Я устал и продрог и у меня болят ноги. Но в сердце надежда: упование мое со мною.

13 мая.

Я сегодня вызвал Елену запиской. Она пришла ко мне в городской сад. У нее сияющие глаза и черные кудри. Я говорю:

— Большие воды не могут потушить любви и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть... Елена, скажите, и я брошу все. Я буду вашим слугою.

Она смотрит на меня, улыбаясь. Потом задумчиво говорит:

— Нет.

Я наклонился к ней близко. Я шопотом говорю:

— Елена... Вы любите его?.. Да?

Она молчит.

— Вы не любите меня, Елена?

Она вдруг сильным движением протягивает ко мне свои длинные, тонкие руки. Она обнимает меня. Она шепчет мне:

— Люблю, люблю. Люблю.

Я услышал ее слова, я почувствовал ее тело. Живая радость

вспыхивает во мне, и я говорю с усилием:

— Я уезжаю, Елена.

Она бледнеет. Я смотрю ей прямо в глаза:

— Вот что, Елена. Вы не любите меня. Если бы вы любили, вы бы мучились мною. Вот за мною следят. Я на одном волоске. Но мне все равно: вы не любите меня.

Она переспрашивает с тревогой:

— Вы сказали: за вами следят?

Сухо шепчет вечерний ветер, пахнет дождем. В парке нет никого: мы одни. Я говорю громко:

— Да, следят.

— Жорж, милый, уезжайте скорее, скорее...

Я смеюсь:

— И больше не возвращайтесь?

Она говорит:

— Я люблю вас, Жорж.

— Не смейтесь. Как смеее вы говорить о любви? Разве это любовь? Вы с мужем, я для вас чужой и разве любимый?

— Я люблю вас, Жорж.

— Любите?.. Вы ведь с мужем.

— Ах, с мужем... Не говорите же про него.

— Вы любите его? Да?

Но она снова молчит.

Тогда я ей говорю:

— Слушайте, Елена, я люблю вас и я вернусь. И вы будете моею. Да, вы будете моею.

— Милый, я с вами, я ваша...

— И его? Да, — и его?

Я ухожу. Гаснет вечер. Желтым светом горят фонари. Гнев душил меня. Я говорю себе: его и моя, моя и его. И его, и его, и его.

15 мая.

Сегодня в газетах напечатано, что „было обнаружено приготовление к покушению на жизнь губернатора“, что, „благодаря своевременным принятым мерам, преступной шайке не удалось привести свой злодейский умысел в исполнение, члены же ее скрылись и до сих пор не задержаны. К розыску их также приняты меры“.

„Приняты меры“. Разве мы не приняли своих? Победа не за нами, но в этом ли поражение? Федор, Эрна и Генрих уже уехали, Ваня и я уезжаем сегодня. Мы вернемся обратно.

II

4 июля.

Прошло шесть недель, я снова в N. Это время я прожил в старой дворянской усадьбе. От белых ворот — лента дороги: зеленый большак с молодыми березками по краям. Справа и слева желтеют поля. Шепчет рожь, гнется овес махровой головкой. В полдень,

в зной, я ложусь на мягкую землю. Ратью стоят колосья, алеет мак. Пахнет кашкой, душистым горошком. Лениво тают облака. Лениво в облаках парит ястреб. Плавно взмахнет крыльями и замрет. С ним замрет и весь мир: зной и черная точка вверху.

Я слежу за ним прилежным глазом. И мне приходит на память:

...Всю природу, как туман,
Дремота жаркая объемлет
И сам теперь великий Пан
В пещере нимф спокойно дремлет.

А в городе едкая пыль и смрад. По пыльным улицам тащатся вереницы ломовиков. Тяжело грохочут колеса. Тяжело везут тяжелые кони. Стучат пролетки. Ноют шарманки. Звонко звонят звонки конок. Ругань и крик.

Я жду ночи. Ночью город уснет, утихнет людская зыбь. И в ночи опять заблещет надежда:

„Я дам тебе звезду утреннюю“.

6 июля.

Я больше не англичанин. Я купеческий сын Фрол Семенов Титов, лесной торговец с Урала. Стою в дрянных номерах и по воскресеньям хожу к обедне в приходскую церковь. Самый опытный глаз не узнает во мне Джорджа Обриена.

В моей комнате на столе грязная скатерть, у стола хромоногий стул. На подоконнике куст увядшей герани, на стене — портреты царей. Утром шипит нечищенный самовар, хлопают в коридоре двери. Я один в своей клетке.

Наша первая неудача родила во мне злобу, и злоба владеет мною. Я живу нераздельно с ним, с губернатором. Ночью я не смыкаю глаз: шепчу его имя, утром, — первая мысль о нем. Вот он, седой старик с бледной улыбкой на бескровных губах. Он презирает нас.

Я ненавижу его белый дом, его кучера, его охрану, его карету, его коней. Я ненавижу его золотые очки, его стальные глаза, его впалые щеки, его осанку, его голос, его походку. Я ненавижу его желанья, его мысли, его молитвы, его праздную жизнь, его сытых и чистых детей. Я ненавижу его самого, — его веру в себя, его ненависть к нам. Я ненавижу его.

Уже приехали Эрн и Генрих. Я жду Ваню и Федора. В городе тихо, о нас забыли. 15-го он поедет в театр. Мы застигнем его на дороге.

Снова приехал Андрей Петрович. Я вижу его лимонного цвета лицо, седую бородку клином. Он в смущеньи мешает ложечкой чай.

— Читали, Жорж?

— Читал.

— Да-а... Вот вам и конституция...

На нем черный галстук, старомодный грязный сюртук. Грошовая сигра в зубах.

— Жорж, как дела?

— Какие дела?

— Да вот... мало ли...

— Дела идут по-хорошему.

— Что-то уж очень долго. Теперь бы вот... Самое время...

— Если долго, Андрей Петрович, поторопитесь.

Он сконфузился, — барабанил пальцами по столу.

— Слушайте, Жорж.

— Ну?

— Комитет постановил усилить.

— Ну?

— Я говорю: решено в виду данных обстоятельств усилить.

Я молчу. Мы сидим в грязном трактире „Прогресс“. Хрипло гудит машина. В синем дыму белеют фартуки половых.

Андрей Петрович ласково говорит:

— Скажите, Жорж, вы довольны?

— Чем доволен, Андрей Петрович?

— Да вот... усилением.

— Чего?

— Боже мой... Я же вам говорю.

Он искренно рад сделать мне удовольствие. Я смеюсь:

— Усилением? Что-ж? Дай Бог.

— А вы что думаете об этом?

— Я? Ничего.

— Как ничего?

Я встаю.

— Я, Андрей Петрович, рад решению комитета, но усиливать ничего не берусь.

— Но почему же, Жорж? Почему?

— Попробуйте сами.

Он в изумлении разводит руками. У него сухие желтые руки и пальцы прокопчены табаком.

— Жорж, вы смеетесь?

— Нет, не смеюсь.

Я ухожу. Он наверное долго сидит за стаканом чая, решает вопрос: не смеялся ли я над ним и не обидел ли он меня. А я опять говорю себе: бедный старик, бедный взрослый ребенок.

11 июля.

Ваня и Федор уже здесь. Я подробно условился с ними. План остается тот же. Через три дня, 15-го июля, губернатор поедет в театр.

В семь часов Эрна отдаст мне снаряды. Она приготовит их в гостинице, у себя. Она высушит на горелке ртуть, запаяет стеклянные трубки, вставит запал. Она работает хорошо. Я не боюсь случайностей.

В восемь часов я раздаю снаряды. Ваня станет у одних ворот, Федор у других. Генрих у третьих. За нами теперь не следят. Я в этом уверен. Значит, нам дана власть: острый меч.

14 июля.

Помню: я был на севере, за полярным кругом, в норвежском рыбацьем поселке. Ни дерева, ни куста, ни даже травы. Голые скалы, серое небо, серый сумрачный океан. Рыбаки в кожаных куртках тянут мокрые сети. Пахнет рыбой и ворванью. Все кругом мне чужое. И небо, и море, и скалы, и ворвань, и эти хмурые люди и их странный язык. Я потерял самого себя. Я сам себе был чужой.

И сегодня мне все чужое. Я в Тиволи, против открытой сцены. Лысый капельмейстер машет смычком, уныло свистят в оркестре флейты. На освещенных подмостках акробаты в розово-бледных трико. Они, как кошки, взбираются вверх, кружатся в воздухе, перелетают друг через друга и, яркие в ночной темноте, уверенно хватаются за трапеции. Я равнодушно смотрю на них, — на их упругое и крепкое тело. Что я им и что они мне?.. А мимо скучно сует толпа, шуршат шаги по песку. Завитые приказчики и откормленные купцы лениво бродят по саду. Они, скучая, пьют водку, скучая ругаются, скучая смеются. Женщины жадно ищут глазами.

Темнеют вечерние небеса, набегают ночные тучи. Завтра наш день. Остро, как сталь, встает четкая мысль. Нет любви, нет мира, нет жизни. Есть только смерть. Смерть — венец и смерть — терновый венец.

Вчера с утра было душно. В парке хмуро молчали деревья. Предчувствовалась гроза. За белою тучей прогремел первый гром. Черная тень упала на землю. Зароптали верхушки елей, закружилась желтая пыль. Дождь прошумел по листьям. Робко, синим огнем, сверкнула первая молния.

В семь часов я встретился с Эрной. Она одета мешанкой. На ней зеленая юбка и вязаный белый платок. Из-под платка непослушно выбились кудри. В руках большая корзина с бельем.

Я бережно кладу то, что она принесла, в портфель. Тяжелый портфель больно тянет мне руку.

Эрна вздыхает.

— Устала?

— Нет, ничего, Жоржик...

— Ну?

— Жоржик, можно мне с вами?

— Эрна, нельзя.

— Жорж, милый...

— Нельзя.

В ее глазах несмелая просьба. Я говорю:

— Иди к себе. В 12 часов приходи на это же место.

— Жорж...

— Эрна, пора.

Еще мокро, дрожат березы, но уже заревом горит вечернее солнце. Эрна одна на скамье. Она до ночи будет одна.

Ровно в восемь часов все на своих местах. Я брожу около. Жду, когда подадут карету...

Вот вспыхнули во тьме фонари. Стукнули стеклянные двери. По белой лестнице мелькнула серая тень. Черные кони шагом обходят крыльцо, медленно трогают рысью. На башне поют куранты... Губернатор уже у третьих ворот...

Я жду.

Идут минуты, идут дни, идут долгие годы.

Я жду.

Тьма еще гуще, площадь еще чернее, башни выше, тишина глубже.

Я жду.

Снова поют куранты.

.....

Я побрел к третьим воротам. Вот Генрих. Он в синей поддевке и в картузе. Неподвижно стоит на мосту.

— Генрих.

— Жорж, это вы?

— Генрих, проехал?

— Где?.. Кто проехал?

— Губернатор проехал... Мимо вас.

— Мимо меня?

Он побледнел. Лихорадочно блестят расширенные зрачки.

— Мимо меня?

— Где вы были? Да, где вы были?

— Где?.. Я был здесь... У ворот...

— И не видели?

— Нет...

Над нами тусклый рожок фонаря. Ровно мигает пламя.

— Жорж.

— Ну?

— Я не могу... уроню... Возьмите... скорее...

Мы стоим под газовым фонарем и смотрим друг другу в глаза. Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы.

— До завтра.

Он в отчаянии машет рукой.

— До завтра.

Я ушел к себе в номер. В коридоре шум, пьяные голоса. Я один в темноте.

17 июля.

Генрих, взволнованный, говорит:

— Я сначала стоял у самых ворот... Минут десять стоял... Потом вижу: заметили. Я пошел по улице... Вернулся обратно. Постоял. Губернатора нет... Снова пошел... Вот тут он наверное и проехал.

Он закрывает руками лицо:

— Какой позор... Какой стыд...

Он не спал всю ночь напролет. Под глазами у него синяя тень, на щеках багровые пятна.

— Жорж, вы ведь верите мне?

— Верю.

Пауза. Я говорю:

— Слушайте, Генрих, зачем вы идете? Я бы на вашем месте оставался в мирной работе.

— Я не могу.

— Почему?

— Ах, почему?.. Нужно это или нет? Ведь нужно...

— Ну так что-ж, что нужно?

— Так не могу же я не идти. Какое право имею я не идти?.. Ведь нельзя же говорить, а самому не делать... Ведь нельзя же... Нельзя?

— Почему нельзя?

— Ах, почему?.. Ну, я не знаю, может быть, другие и могут... Я не могу...

Он опять закрыл руками лицо, опять шепчет, будто во сне:

— Боже мой, Боже мой...

Молчание.

— Жорж, скажите прямо, верите вы мне или нет?

— Я сказал: я вам верю.

— И дадите мне... еще раз?

Я молчу.

Он медленно говорит:

— Нет, вы дадите...

Я молчу.

— Ну тогда... Тогда...

В его голосе страх. Я говорю:

— Успокойтесь, Генрих, вы получите все, что нужно.

И он шепчет:

— Спасибо.

Дома я спрашиваю себя: зачем он здесь? И чья в этом вина? Не моя ли?

18 июля.

Эрна жалуется. Она говорит:

— Когда же это все кончится, Жорж?.. Когда?..

— Что кончится, Эрна?

— Я не могу жить убийством. Я не могу...

Мы сидим вчетвером в кабинете в грязном трактире. Мутные зеркала изрезаны именами, у окна расстроенное пианино. За тонкой перегородкой кто-то играет матшиш.

Жарко, но Эрна кутается в платок. Федор пьет пиво. Ваня положил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец, Федор сплевывает на пол и говорит:

— Поспешишь — людей насмешишь... Вишь дьявол Генрих: из-за него теперь остановка.

Ваня подымает глаза:

— Федор, не стыдно тебе? Зачем?.. Не виноват Генрих ни в чем. Мы все виноваты.

— Ну, уж и все... А по мне, — назвался груздем — полезай в кузов...

Пауза. Эрна шопотом говорит:

— Ах, Господи... Да не все ли равно, кто прав и кто виноват... Я не могу. Не могу.

Ваня нежно целует ей руку.

— Эрна, милая, вам тяжело... А Генриху? А ему?..

За стеной не умолкает матшиш. Пьяный голос поет куплеты.

— Ах, Ваня, что Генрих?.. Я жить не могу...

И Эрна плачет навзрыд.

Федор нахмурился. Ваня умолк. А мне странно: к чему отчаяние и зачем утешение?

20 июля.

Я лежу с закрытыми глазами. В растворенное окно шумит улица, тяжело вздыхает каменный город. В полусне мне чудится Эрна.

Вот она заперла двери на ключ, глухо щелкнула замок. Она медленно подходит к столу, медленно зажигает огонь. На чугунной доске светло-серая пыль: гремучая ртуть. Тонкие, синие язычки — змеиные жала — лижут железо. Сушится взрывчатый порошок. Треща, поблескивают крупинки. По стеклу ходит свинцовый грузик. Этот грузик разобьет запальную трубку. Тогда будет взрыв.

Один мой товарищ уже погиб на такой работе. В комнате нашли его труп, клочки его трупа: разбрызганный мозг, окровавленную грудь, разорванные ноги, руки. Навалили все это на телегу и повезли в участок. Эрна рискует тем же.

Ну, а если ее, в самом деле, взорвет? Если вместо льяных волос и голубых, удивленных глаз, будет красное мясо?.. Тогда Ваня приговит. Он тоже химик. Он сумеет исполнить эту работу.

Я открываю глаза. Солнечный летний луч пробился сквозь занавеску, блестит на полу. Я забываюсь опять. И опять те же мысли. Почему Генрих не бросил?.. Да, почему? Генрих не трус. Но ошибка хуже, чем страх. Или это случайность? Его величество случай?

Все равно. Все — все равно. Пусть моя вина в том, что Генрих с нами. Пусть его вина в том, что губернатор жив. Пусть Эрну взорвет. Пусть повесят Ваню и Федора. Губернатор все-таки будет убит. Я так хочу.

Я встаю. Внизу на площади под окном копошатся люди — черные муравьи. Каждый занят своей заботой, мелкою злобой дня. Я презираю их.

21 июля.

Я был сегодня случайно около дома Елены. Тяжелый и грязный, он угрюмо смотрит на площадь. Я по привычке иду скамью на бульваре. По привычке считаю время. По привычке шепчу: я ее встречу сегодня.

Когда я думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный южный цветок. Растение тропиков, — пальшего солнца и выжженных

скал. Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей. Посреди заостренных игл багрово-красный, махровый цвет. Будто капля горячей крови брызнула и, как пурпур, застыла. Я видел этот цветок на юге, в странном и пышном саду, между пальм и апельсиновых рощ. Я гладил его листья, я рвал себе руки об иглы, я лицом прижимался к нему, я вдыхал пряный и острый, опьяняющий запах. Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдовство. Красный цветок околдовал меня и измучил.

Но я не хочу Елены теперь. Я не хочу думать о ней. Я не хочу помнить ее. Я весь в моей странной мести. И уже не спрашиваю себя, стоит ли мстить?

22 июля.

Он ездит два раза в неделю, от 3-х до 5-ти, к себе в канцелярию. Ездит разными путями и в разные дни. Мы проследим его выезд и через день или два зайдем все дороги. Ваня будет ждать его на Почтовой, в Кривом переулке Федор; Генрих — в резерве: он станет в дальних улицах. На этот раз нас едва ли ждет неудача.

Что бы я делал, если бы не был в моем деле? Я не знаю. Не умею дать на это ответ. Но твердо знаю одно: не хочу мирной жизни.

Курильщики опия видят блаженные сны, светлые кущи рая. Я не курю опия и не вижу блаженных снов. Но что моя жизнь без борьбы, без радостного сознания, что мирские законы не для меня? И еще я могу сказать: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы“. Время жатвы тех, кто не с нами.

25 июля.

Я говорю Федору:

— Ты, Федор, займешь Кривой переулок. Губернатор, должно быть, поедет на Ваню, но и ты будь готов. И помни: я уверен в тебе.

Он давно снял драгунскую форму и ходит теперь в фуражке министерства юстиции. Он гладко выбрит и его черные усы закручены вверх.

— Ну, Жорж, будет им на орехи.

— Ты думаешь?

— Верно. Теперь не уйдет.

Мы в далеком конце города, — в парке.

— Федор...

— Чего?

— Если будут судить, не забудь взять защитника.

— Защитника?

— Да.

— То-есть это адвоката какого?

— Ну да, адвоката.

— Адвоката не надо. Не люблю я их, адвокатов этих...

— Как знаешь.

— Да и суда вовсе не будет... Ты думаешь, что? Не нужно мне этих судов... Последняя пуля в лоб, вот и готово дело. И я по голосу знаю: да, действительно: последняя пуля в лоб.

27 июля.

Я иногда думаю о Ване, о его любви, об его исполненных верой словах. Я не верю в эти слова. Для меня они не хлеб насущный и даже не камень. Я не могу понять, как можно верить в любовь, любить Бога, жить по любви. И если бы не Ваня говорил эти слова, я бы смеялся. Но я не смеюсь. Ваня может сказать про себя:

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне явился...

И еще:

И он мне грудь рассек мечом
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.

Ваня умрет. Его не будет. С ним погаснет и „уголь, пылающий огнем“. А я спрашиваю себя: в чем же разница между ним и, например, Федором? Оба убьют. Оба умрут. Обоих забудут. Разница не в делах, а в словах.

И когда я думаю так, то смеюсь.

29 июля.

Эрна говорит мне:

— Ты меня не любишь совсем... Ты забыл меня... Я чужая тебе.

Я говорю с неохотой:

— Да, ты мне чужая.

— Жорж...

— Что, Эрн?

— Не говори же так, Жорж.

Она не плачет. Она сегодня спокойна. Я говорю:

— О чем ты думаешь, Эрн? Разве время теперь? Смотри: неудача за неудачей.

Она шопотом повторяет:

— Да, неудача за неудачей.

— А ты хочешь любви? Во мне теперь нет любви.

— Ты любишь другую.

— Может быть.

— Нет, скажи.

— Я сказал давно: да, я люблю другую.

Она тянется всем телом ко мне:

— Все равно. Люби кого хочешь. Я не могу жить без тебя. Я всегда тебя буду любить.

Я смотрю в ее голубые, опечаленные глаза.

- Эрна.
- Жорж, милый...
- Эрна, лучше уйди.

Она целует меня:

— Жорж, я ведь ничего не хочу, ничего не прошу. Только будь иногда со мною.

Над нами тихо падает ночь.

31 июля.

Я сказал: не хочу помнить Елену. И все-таки мои мысли с нею. Я не могу забыть ее глаз: в них полуденный свет. Я не могу забыть ее рук, ее длинных, прозрачно-розовых пальцев. В глазах и руках душа человека. Разве в прекрасном теле может жить уродство души?.. Но пусть она не радостная и гордая, а раба. Что из того? Я хочу ее, и нет ее лучше, нет радостнее, нет сильнее. В моей любви — ее красота и сила.

Бывают летние туманно-мглистые вечера. От напоенной росой земли встает мутный, молочно-белый туман. В его теплых волнах тают кусты, тонут неясные очертания леса. Тускло мерцают звезды. Воздух густой и влажный и пахнет скошенным сеном. В такие ночи неслышно ходит над болотами Луговой. Он колдует.

Вот опять колдовство: что мне Елена, что мне ее беспечная жизнь, муж офицер, ее буду ее матери и жены? А между тем я скован с ней железною цепью. И нет силы порвать эту цепь. Да и нужно ли рвать?

3 августа.

Завтра наш день. Опять Эрна, опять Федор, Ваня и Генрих... Я не хочу думать о завтрашнем дне. Я бы сказал: я боюсь о нем думать. Но я жду и верю в него.

5 августа.

Вот что было вчера:

В два часа я взял у Эрны снаряды. Простился с ней и на бульваре встретил Генриха, Ваню и Федора. Федор занял Кривой переулочек, Ваня — Почтовую, Генрих — дальние переулочки.

Я зашел в кофейню, спросил себе стакан чаю и сел у окна. Было душно. По камням стучали колеса, крыши домов дышали жаром. Я ждал недолго, может быть, пять минут. Помню: внезапно в звонкий шум улицы ворвался тяжелый, неожиданно странный и полный звук. Будто кто-то грузно ударил чугуном молотом по чугунной плите. И сейчас же жалобно задребезжали разбитые стекла. Потом все умолкло. На улице люди шумной толпой бежали вниз, в Кривой переулочек. Какой-то рваный мальчишка что-то громко кричал. Как-то баба с корзинкой в руках грозила кулаком и ругалась. Из ворот выбегали дворники. Мчались казаки. Где-то кто-то сказал: губернатор убит.

Я с трудом пробился через толпу. В переулочке густым роем толпились люди. Еще пахло горячим дымом. На камнях валялись

осколки стекла, чернели раздробленные колеса. Я понял, что разбита карета. Передо мной, загораживая дорогу, стоял высокий фабричный в синей рубаше. Он махал костлявыми руками и что-то быстро и горячо говорил. Я хотел оттолкнуть его, увидеть близко карету, но вдруг, где-то справа, в другом переулке отрывисто-сухо затрещали револьверные выстрелы. Я кинулся на их зов, я знал: это стреляет Федор. Толпа сжала меня, сдавила в мягких объятиях. Выстрелы затрещали снова, уже дальше, отрывистее и глуше. И опять все умолкло. Фабричный повернул ко мне свое чахоточное лицо и сказал:

— Ишь ты, палит...

Я схватил его за руку и с силою оттолкнул. Но толпа еще теснее сомкнулась передо мною. Я видел чьи-то затылки, чьи-то бороды, чьи-то широкие спины. И вдруг услышал слова:

— Губернатор-то жив...

— А поймали?

— Не слышать, чтоб поймали...

— Поймают... Как не поймать?

— Да-да... Много их ноне... этих...

Поздно вечером я вернулся домой. Я помнил одно: губернатор жив.

6 августа.

Сегодня в газетах напечатано, что когда

„лошади губернатора поворачивали в Кривой переулок, на мостовую сошел молодой человек в форме чиновника министерства юстиции. В одной руке у него была коробка, перевязанная ленточкой.

Приблизившись к карете, он взял коробку в обе руки и бросил ее под колеса. Раздался оглушительный взрыв. К счастью, губернатор остался жив. Поднявшись без посторонней помощи с земли, он направился в подъезд ближайшего дома, где и оставался до прибытия вызванного по телефону конвоя. Губернаторский кучер получил тяжкие поранения головы. Он скончался по доставлении его в больницу. Преступник, совершив свое дело, бросился бежать. За ним погнались постовой городской и агент охранного отделения. Преступник на бегу двумя последовательными выстрелами убил обоих преследователей. Свернув на Почтовую, он пытался скрыться. Стоявший на посту городской сделал попытку его задержать, но был тяжело ранен пулею в область живота. На Почтовой преступник был остановлен приставом первого участка и дворниками. Убив двумя выстрелами двоих дворников, преступник скрылся во дворе дома № 3. Дом был немедленно оцеплен отрядами пешей и конной полиции и вызванному по телефону ротой N-ского полка. При обыске домовых помещений преступник был обнаружен в дальнем углу двора, за сложенными дровами. На предложение сдать его ответил выстрелами, коими был убит наповал подполковник. Тогда был открыт по преступнику беглый огонь. Преступник, скрываясь за дровами, некоторое время отвечал выстрелами из револьвера, причем были легко ранены двое рядовых и убит унтер-офицер. По прекращении обстрела проникшими за дрова гранадерами был обнаружен труп преступника с четырьмя огнестрельными ранами, из коих две были безусловно смертельны. Преступник — молодой человек, лет 26, brunet, высокого роста и крепкого телосложения. При нем не найдено

никаких документов, в карманах же брюк обнаружено два револьвера системы Браунинг и коробка с патронами к ним.

К установлению его личности приняты меры".

7 августа.

Я лежу ничком в горячих подушках. Светает. Чуть брезжит утренняя зоря.

Вот, опять неудача. Хуже чем неудача, несчастье. Мы наголову разбиты. Федор сделал, конечно, что мог. Разве он пропустил карету?

Мне не жаль Федора, даже не жаль, что я не успел защитить его. Ну, я бы убил пять дворников и городских. Разве в этом мое желание?.. Но мне жаль: я не знал, что губернатор в двух шагах от меня, в подъезде. Я бы дождался его.

Мы не уедем. Мы не сдадимся. Если нельзя на дороге, мы пойдем к нему. Он спокоен теперь: он торжествует победу. Нет заботы, нет страха. Но ведь будет наш день. И тогда — совершится.

8 августа.

Генрих мне говорит:

— Жорж, все погибло.

Кровь заливает мне щеки.

— Молчать.

Он в испуге отступает на шаг.

— Жорж, что с вами?

— Молчать. Что за вздор? Ничего не погибло. Как вам не стыдно?

— А Федор?

— Что Федор?.. Федор убит.

— Ах, Жорж... Ведь это... Ведь это...

— Ну... Дальше.

— Нет... Вы подумайте... Нет... Но мне казалось... Что же теперь?

— Как что теперь?

— Нас ищут.

— Нас всегда ищут.

Сеет дождь. Плачет хмурое небо. Генрих промок и с его поношенной шапки струится вода. Он похудел, глаза у него ввалились.

— Жорж.

— Что?

— Поверьте... Я... я... хочу только сказать... Вот нас двое: Ваня и я... Мало двоих.

— Нас трое.

— Кто же третий?

— Я. Вы забыли меня.

— Вы?

— Конечно.

Пауза.

- Жорж, на улице трудно.
- Что трудно?
- На улице трудно.
- Мы пойдем к нему.
- К нему?
- Ну, да. Что же вас удивляет?
- Вы надеетесь, Жорж?
- Я уверен... Стыдно вам, Генрих.

Он растерянно жмет мою руку.

— Жорж, простите меня...

— Конечно... Но помните: если Федор убит, значит черед за нами. Поняли? Да?

И он, взволнованный, шепчет:

— Да...

А мне на этот раз жаль, что Федора нет со мною.

9 августа.

Я забыл зажечь свечи. В моей комнате серая полутьма. В углу зыбкий силуэт Эрны.

Она тайком прокралась сегодня ко мне и молчит. Даже не курит.

— Жорж...

— Что, Эрна?

— Это... это я виновата...

— В чем виновата?

— Что Федор...

Голос у ней глухой и в нем сегодня нет слез.

— Ах, пустяки... Не мучь себя, Эрна.

— Нет, это я, это я, это я...

Я беру ее руку:

— Эрна, твоей вины нет. Я тебе говорю.

— Он бы, может быть, жил...

— Эрна, ведь это скучно...

Она встает, делает два шага. Потом тяжело садится опять. Я говорю:

— Вот Генрих сказал, нужно оставить дело.

— Кто сказал?

— Генрих.

— Как оставить? Зачем?

— Спроси его, Эрна.

— Жорж, разве правда, оставить?

— Ты так думаешь? Да?

— Нет, скажи ты.

— Ну, конечно же нет.

Она с тревогою говорит:

— А кто третий?

— Я, Эрна.

— Ты?

— Ну, да. Я.

Она поникла, прижалась к окну. Смотрит в темную площадь. Потом вдруг быстро встает, подходит ко мне. Жарко целует в губы.
— Жорж, милый... Мы ведь вместе умрем?.. Жорж?
Снова неслышно падает ночь.

11 августа.

Перед нами всего два пути. Первый путь: переждать несколько дней и опять подстеречь на дороге. Второй путь — идти к нему. Я знаю: нас ищут. Нам трудно прожить неделю в городе, еще труднее занять те же места. Ну, вместо Федора — я, Ваня опять там же, Генрих опять в резерве. Полиция теперь начеку. Улицы усеяны сыщиками. Они караулят нас. Они окружают, незаметно схватят. Да и поедет ли губернатор той же дорогой? Ведь ему легко сделать круг... Ну, а если мы пойдем к нему? Мне, конечно, не жалко тех, кто умрет: погибнет семья, сыщики и конвой. Но опасно riskнуть. Дом велик и в нем много комнат... Я колеблюсь. Я взвешиваю все „против“ и „за“. И я не знаю: пойдем ли мы? Трудно решить и нужно. Трудно знать и еще труднее узнать.

13 августа.

Ваня — барин: мягкая шляпа, светлый галстук, серый пиджак. У него по-прежнему выются кудри, блестят задумчивые глаза. Он говорит:

— Жалко Федора, Жоржик.

— Да, жалко.

Он улыбается грустно:

— Да ведь тебе не Федора жалко.

— Как не Федора, Ваня?

— Ты ведь думаешь: товарища потерял. Ведь так? Скажи, так?

— Конечно.

— Ты думаешь: вот жил на свете деятель, настоящий деятель, бесстрашный... А теперь его нет. И еще думаешь: трудно, как быть без него?

— Конечно.

— Вот видишь... А про Федора ты забыл. Не жаль тебе Федора.

На бульваре играет военный оркестр. Воскресенье. В красных рубахах, с гармониками в руках, бродят мастеровые. Говор и смех.

Ваня говорит:

— Слушай, я все о Федоре думал. Для меня ведь он не только товарищ, не только деятель... Ты подумай, что он чувствовал там, за дровами? Стрелял и знал, каждую каплю крови знал: смерть. Сколь времени он в глаза ее видел?

— Ваня, Федор не испугался.

— Жоржик, не то. Я не про то. Ну, конечно, не испугался... А знаешь ли ты его муку? Знаешь ли муку, когда он, раненый, бился? Когда темнело в глазах и жизнь догорала? Ты не думал о нем?

И я отвечаю:

— Нет, Ваня, не думал.

Он шепчет:

— Значит, ты и его не любил...

Тогда я говорю:

— Федор умер... Ты лучше вот что скажи: идти ли нам... туда, в дом?

— Идти ли в дом?

— Да.

— Это как?

— Ну, взорвать весь дом.

— А люди?

— Какие люди?

— Да семья его, дети.

— Вот ты о чем... Пустяки...

Ваня примолк.

— Жорж.

— Что?

— Я не согласен.

— Что не согласен?

— Идти туда.

— Что за вздор?.. Почему?

— Я не согласен... детей.

И потом говорит, волнуясь.

— Нет, Жорж, послушай меня: не делай этого, нет. Как можешь ты это взять на себя? Кто дал тебе право? Кто позволил тебе?

Я холодно говорю:

— Я сам позволил себе.

— Ты?

— Да, я.

Он всем телом дрожит.

— Жорж, дети...

— Пусть дети.

— Жорж, а Христос?

— При чем тут Христос?

— Жорж, помнишь: „Я пришел во имя Отца Моего, и не принимает Меня; а если иной придет во имя свое, его примет“.

— К чему, Ваня, тексты?

Он качает головой:

— Да, ни к чему...

Мы оба долго молчим. Наконец, я говорю:

— Ну, ладно... Будем на улице ждать.

Он весь светлеет улыбкой. Тогда я спрашиваю его:

— Ты, может быть, думаешь, я ради текстов?

— Нет, что ты, Жорж!

— Я решил: так риска меньше.

— Конечно, меньше, конечно... И вот увидишь: будет удача. Услышит Господь моления наши.

Я уйду. Мне досадно: а все-таки не лучше ли туда?

15 августа.

Мои мысли опять с Еленой. Я спрашиваю себя: кто она? Почему она не ищет меня? Почему живет, ничего обо мне не зная? Значит, она не любит. Значит, она забыла. Значит, она, целуя, агала. Но такие глаза не глут.

Я не знаю. Я ничего не хочу узнать. Я видел радость ее любви, слышал счастливые слова. Я хочу ее, и я приду и возьму. Может быть, это даже не любовь. Может быть, завтра потухнут ее глаза и мне скучен будет ее любимый сегодня смех. Я сегодня люблю ее, и мне нет дела до завтра. Вот сейчас она стоит передо мною, как живая: черные косы, строгий овал лица, на щеках робкий румянец. Я зову ее, я говорю себе ее имя. А ведь скоро наш, уже непременно последний, день...

Увижу я ее когда-нибудь или нет?

17 августа.

Завтра мы опять ждем губернатора на дороге. Если-б я мог, я бы молился.

18 августа.

Эрна третий раз приготовила все. Ровно в три часа мы на своих местах. У меня в руках коробка. Когда я хожу, в коробке мерно стучит.

Иду по левой стороне. В теплом воздухе осень. Я утром заметил: кое-где на березах уже желтые листья. По небу ползут тяжелые облака. Каплет редкими каплями дождь.

Я осторожен. Если случайно меня толкнут... По тротуарам и на углах много глаз. Делаю вид, что не вижу их.

Поворачиваю назад. Кругом тихо. Я боюсь, что именно теперь меня догонит губернатор... Я не узнаю его кареты, не сумею...

Так брожу я полчаса. Когда я подхожу в третий раз к углу площади, к будке с часами, я вижу: на улице, около дома Сурикова от земли взвился узкий смерч. Столб серо-желтого, по краям почти черного дыма. Он воронкой ширится вверх, затопляет улицу. В ту же минуту, знакомый, страшный, чугунный гул. Лошадь извозчика на углу вздымается на дыбы. Передо мною дама в большой черной шляпе. Она ахнула и присела на тротуар. Городовой стоит секунду с бледным лицом и кидается туда.

Я бегу к дому Сурикова. Звенят стекла. Опять пахнет дымом. Я забываю про коробку, в ней стучит мерно и торопливо. Слышу крик и уже знаю, знаю наверно: он — убит...

.....

А через час продают известия.

Я держу газетный листок, и у меня темнеет в глазах.

20 августа.

Ване удалось из тюрьмы передать письмо:

„Вопреки моему желанию я не был убит. Я бросил на расстоянии трех шагов, с размаху прямо в окно кареты. Я видел лицо губернатора. Заметив меня, он откинулся в глубь и поднял руки, как для защиты. Я видел, как разбилась карета. В меня пахнуло дымом и щепками. Я упал на землю. Поднявшись, я осмотрелся. Шагах в пяти от меня лежали лоскутья платья и тут же рядом тело. Я не был ранен, хотя с лица струилась кровь и рукава моего пиджака обгорели. Я пошел. В это время сзади чьи-то руки крепко схватили меня. Я не сопротивлялся. Меня отвезли.

Я исполнил свой долг. Жду суда и спокойно встречу приговор. Думаю, что если бы я и бежал, я бы все равно не мог жить после того, что сделал.

Обнимаю вас, милые друзья и товарищи. От всего сердца благодарен вам за вашу любовь и дружбу.

Прощаясь, я бы хотел напомнить вам слова: „Любовь познали мы в том, что Он положил за вас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев“.

В этом письме была приписка лично ко мне. Ваня писал:

„Может быть, тебе странно, что я говорил о любви и решился убить, т.е. совершил тягчайший грех против людей и Бога.

Я не мог. Будь во мне чистая и невинная вера учеников, было бы, конечно, не то. Я верю: не мечом, а любовью спасется мир, как любовью он и устроится. Но я не знал в себе силы жить во имя любви и понял, что могу и должен во имя ее умереть.

У меня нет раскаяния, нет и радости от совершенного мною. Кровь мучит меня, и я знаю: смерть еще не есть искупление. Но знаю также: „Аз есмь Истина и Путь и Жизнь“.

Люди будут судить меня, и я жалею их. Кроме их суда, будет — я верю — суд Божий. Мой грех безмерно велик, но и милосердие Христа не имеет границ.

Целую тебя. Будь счастлив, счастлив... Но помни: „Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь“.

Я перечитываю эти листки папиросной бумаги, я спрашиваю себя: может быть, Ваня прав? Нет, сегодня сияет горячее солнце, трепещет опадающая листва... Я брожу по знакомым дорожкам, и во мне горит большая и яркая радость. Я рву цветы осени, я вдыхаю их отлетающий аромат, я целую их бледные лепестки.

Светлым праздником, торжественным воскресеньем звучат прощальные слова:

„От престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось“.

Я счастлив: да, совершилось.

III

22 августа.

Я все еще прячусь здесь, все еще не могу уехать. Нас настойчиво ищут. Я оставил мои номера и в третий раз переменял маску. Я уже не Фрол Семенович Титов и не англичанин О'Бриен.

Падает осень. Золотом горит старый парк, лист шуршит под ногами. На заре лужи сверкают на солнце, — тонким стеклом ломкого льда.

Я люблю печальную осень. Я сажусь на скамью, слушаю лес. Тихий покой обнимает меня. И мне чудится, — нет смерти, — нет крови. Есть святая для всех земля и над нею святое небо.

О случившемся уже забыли. Помнят только они, помним, конечно, мы. Ваню судят. Поговорят, помолчат, вынесут приговор, исполнят... Так замрет жизнь.

23 августа.

Я вызвал сегодня Елену письмом. Она вошла и мне сразу стало радостно и спокойно.

Будто не было долгих дней тревоги и ожидания, будто не я жил мезью, холодно готовил убийство. Так радостно и спокойно бывает в летние вечера, когда звезды зажглись и в саду аромат цветов, теплый и пряный.

На Елене белое платье. Она дышит свежестью и здоровьем. Ей двадцать лет. Ее глаза не смеются. Она, стыдливая, говорит:

— Вы были все время здесь?

— Да, конечно, я был здесь.

— Так это вы?..

И она опускает глаза.

Мне хочется ее крепко обнять, поднять на руки, целовать, как ребенка. Теперь, когда я вижу ее, ее сияющие глаза, я знаю, я люблю ее детский смех, наивную красоту ее жизни. И я с восторгом слушаю ее голос:

— Боже мой, если-б вы знали, как я боялась.

И потом шепчет еще:

— Как страшно...

Она краснеет. И вдруг, как тогда, мягко и нежно опускает мне руки на плечи.

Ее дыхание жжет мне лицо. И с неизведанной мукой встречаются наши губы.

Я прихожу в себя, — она сидит в кресле. На моих устах еще ее поцелуй и вся она такая близкая и чужая.

— Жорж, милый, любимый, Жорж, не будьте печальны.

И она стыдливо и жарко тянется ко мне.

Я целую ее. Целую ее волосы и глаза, ее бледные пальцы, ее любимые губы. Я не думаю уже ни о чем. Я знаю только: вот она у меня на руках и трепещет ее молодое тело.

Догорает в окне прощальный закат. Красный луч бродит по потолку. Она, белая, лежит у меня на руках, и уже нет похмелья пролитой крови.

И нет ничего.

24 августа.

Эрна едет сегодня. Она похудела и как-то сразу увяла. Погас на щеках румянец и лишь по-прежнему беспомощно вьются кудри, — просят пощады. Я надолго прощаюсь с ней.

Она стоит передо мною, хрупкая и печальная. Ее опущенные ресницы дрожат. Она говорит тихо:

— Ну, вот, Жоржик, конец.

— Ты рада?

— А ты?

Я хочу ей сказать, что я счастлив и горд, но в душе у меня сегодня нет ликованья. Я угрюмо молчу.

Она вздыхает. Под кружевом платья ее грудь дышит прерывисто и глубоко. Она, видимо, хочет мне что-то сказать, волнуется и не смеет. Я говорю:

— Когда поезд отходит?

Она вздрагивает:

— В девять часов.

Я равнодушно смотрю на часы:

— Эрна, ты опоздаешь.

— Жорж...

Она все еще не решилась. Я знаю: она заговорит о любви, будет просить участия. Но во мне нет любви, и я ничем не могу ей помочь.

— Жорж, неужели?..

— Что неужели?

— Неужели мы расстаемся?

— Ах, Эрна, не навсегда.

— Нет, навсегда.

Ее голос чуть слышен. Я отвечаю ей громко:

— Ты, Эрна, устала. Отдохни и забудь.

И до меня долетает шопот:

— Я не забуду.

В ту же минуту я вижу: ее глаза покраснели, и легко, как вода, покатались чистые слезы. Она некрасиво трясет головою. Ее локоны мокнули в слезах, жалко свисают к шее. Она рыдает и шепчет невнятно, глотая слова:

— Жорж, милый, не уйди от меня... Солнышко мое, не уйди...

В памяти встала Елена. Я слышу ее звонкий радостный смех, вижу сияющие глаза. И я холодно говорю Эрне:

— Не плачь.

Она сразу умолкла. Вытерла слезы, уныло смотрит в окно. Потом встает и, шатаясь, подходит ко мне.

— Прощай, Жорж, прощай.

Я повторяю, как эхо:

— Прощай.

Вот она стоит у моих закрытых дверей и ждет. И все еще шепчет с тоскою:

— Жорж, ты ведь приедешь... Жорж?..

28 августа.

Эрна уехала. Кроме меня здесь еще Генрих. Он поедет за Эрной. Я знаю: он любит ее и, конечно, верит в любовь. Мне смешно и досадно.

Помню, я сидел в тюрьме и ждал казни. Тюрьма была сырая и грязная. В коридоре пахло махоркой, солдатскими щами. За окном шагал часовой. Иногда через стену с улицы долетали обрывки жизни, случайные слова разговора. И было странно: там за окном море, солнце и жизнь, а здесь одиночество и неизбежная смерть...

Днем я лежал на железной койке, читал прошлогоднюю „Ниву“. Вечером тускло мерцали лампы. Я украдкой влезал на стол, цепляясь руками за прутья решетки. Видно было черное небо, южные звезды. Сияла Венера. Я говорил себе: еще много дней впереди, еще встанет утро; будет день, будет ночь. Я увижу солнце, я услышу людей.

Но как-то не верилось в смерть. Смерть казалась ненужной и потому невозможной. Даже радости не было, спокойной гордости, что умираю за дело. Было какое-то странное равнодушие. Не хотелось жить, но и умирать не хотелось. Не тревожил вопрос, как прожита жизнь, не рождалось сомнения, что там, — за темною гранью. А вот помню: меня занимало, режет ли веревка шею, больно ли задыхаться? И часто вечером, после поверки, когда на дворе затахал барабан, я пристально смотрел на желтый огонь моей лампы, стоявшей на покрытом хлебными крошками тюремном столе. Я спрашивал себя: нет ли страха в душе? И отвечал себе: нет. Потому что мне было все — все равно...

А потом я бежал. Первые дни в сердце было все то же мертвое равнодушие. Машинально я делал так, чтобы меня не поймали. Но зачем я это делал, зачем я бежал, — не знаю. Там, в тюрьме, иногда казалось, что мир прекрасен, и хотелось воздуха и горячего солнца. А на воле меня снова томила скука. Но вот однажды, под вечер я остался один. Восток уже потемнел, загорались ранние звезды. Розово-синей дымкой заткались горы. Снизу, с реки повеяла ночь. Сильно пахнет трава. Громко трещат цикады. Воздух тягучий и сладкий, как сливки.

И вот в эту минуту я понял вдруг, что я жив, что нет смерти, что жизнь опять впереди и что я молод, здоров и силен...

И теперь я чувствую то же. Да, я молод, здоров и силен. Я еще раз ушел от смерти. И в сотый раз я спрашиваю себя: в чем моя вина, если б я целовал Эрну? И не большая ли вина, если б я отвернулся, и если б я ее оттолкнул? Вот пришла женщина и принесла с собою любовь и милую ласку. Почему эта ласка рождает горе? Почему любовь дает не радость, а муку? Любовь... Любовь... О любви говорил и Ваня, но о какой? И знаю ли я какую-нибудь любовь? Не знаю, не могу и не пытаюсь узнать. Ваня знает. Но его уже нет.

1 сентября.

Снова приехал Андрей Петрович. Он с трудом разыскал меня и теперь долго и весело жмет мне руку. Его старческое лицо сияет. Он доволен. Морщинки у глаз расплзлись у него в улыбку.

— Поздравляю вас, Жорж.

— С чем это, Андрей Петрович?

Он лукаво щурит глаза, качает лысою головою:

— С победой и одолением.

Мне скучно с ним, и я бы охотно ушел. Мне скучны его слова, его докучные поздравления. Но он невинно улыбается мне:

— Да-а, Жорж, правду сказать, мы уж и надежду теряли. Неудачи да неудачи, — чувствовали, что у вас неудачи. И знаете, — он наклоняется к моему уху. — Упразднить даже вас хотели.

— Упразднить?.. То есть как?

— Дело прошлое... Я скажу: не верилось нам. Сколько времени, а дел никаких... Ну, и стали мы думать: не лучше ли упразднить? Все одно, ничего не выйдет... Вот старые дураки... А?

Я с изумлением смотрю на него. Он все тот же, седой и дряхлый. Пальцы его, как всегда, прокопчены табаком.

— И вы... вы думаете, можно нас упразднить?

— Ну, вот, Жорж, вы уже рассердились.

— Я не сержусь... Но скажите, вы думаете, можно нас упразднить?

Он любовно хлопает меня по плечу.

— Эх, вы... Пошутить с вами нельзя...

И потом говорит деловито:

— Ну, а теперь что? А?

— Пока ничего.

— Ничего?.. Комитет решил...

— То комитет, а то я...

— Ах, Жорж...

Я смеюсь.

— Ну, что вы, Андрей Петрович? Я говорю: дайте срок.

Он долго думает про себя, по-стариковски жует губами.

— Жорж, вы остаетесь здесь?

— Да.

— Уезжайте-ка лучше.

— У меня дело есть.

— Дело?

Он опечален: что за такие дела? Но спросить у меня не смеет.

— Ну, ладно, Жорж, приедете, — потолкуем...

И снова весело жмет руку.

Андрей Петрович судья: он хвалит и он же клеймит. Я молчу: он ведь искренно верит, что я рад похвале. Жалкий старик.

3 сентября.

Ваню сегодня судят. Я лежу в случайной квартире, на диване, в жарких подушках. Ночь. В раме окна ночное небо. На небе звездное ожерелье: Большая Медведица.

Я знаю: Ваня лежал целый день на тюремной койке, иногда вставал, подходил к столу и писал. А теперь ему так же, как мне, светит Медведица. И так же, как я, он не спит.

Я знаю еще: завтра войдет человек в красной рубахе с веревкою

и нагайкой. Он свяжет Ване руки назад и веревка вопьется в тело. Зазвенят под сводами шпоры, часовые уныло звякнут ружьем. Распахнутся ворота... На песчаной косе курится теплый туман, ноги вязнут в мокром песке. Розовеет восток. На бледно-розовом небе загнутый шпиль. Это — виселица. Это — закон.

Ваня всходит наверх. В утренней мгле он весь серый, глаза и волосы одного цвета. Холодно, и он ежится, глубже уходит шеей в поднятый воротник. А потом палач надевает саван, стягивает веревку. Саван белый и рядом красный палач. Неожиданно громко стучит отброшенный табурет. Тело висит. Висит Ваня.

Подушки жгут мне лицо. Одеяло сползает на пол. Неудобно лежать. Я вижу Ваню, его восторженные глаза, русые кудри. И робко спрашиваю себя: зачем? зачем? зачем?

5 сентября.

Я говорю себе: Вани нет. Это простые слова, но мне не верится в них. Мне не верится, что он уже умер. Вот стукнет дверь, он тихо войдет, и я, как прежде, услышу:

„Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь“.

Ваня верил в Христа, я не верю. В чем же разница между нами? Я лгу, шпионю и убиваю. Ваня лгал, шпионил и убивал. Мы все живем обманом и кровью. Во имя любви?

Христос взошел на Голгофу. Он не убил, Он даровал людям жизнь. Он не лгал, Он учил людей истине. Он не предательствовал, Он сам был предан учеником. Так одно же из двух: или путь ко Христу, или... Или — Ваня сказал — Смердяков... И тогда я — Смердяков.

Я знаю: в Ване была святость, его правда — в его муках. Но святость и правда мне недоступны, непонятны. Я умру, как и он, но темною смертью, ибо в горьких водах — полынь.

6 сентября.

Елена мне говорит:

— Знаете, я так боялась за вас... Я не смела думать о вас... Вы такой... странный.

Мы, как прежде, в парке. Осень дышит в лесу, гонит по ветру жавые листья. Холодно. Пахнет землей.

— Милый, как хорошо...

Я беру ее руки, я целую тонкие пальцы и уста мои шепчут:

— Милая, милая, милая...

Она смеется:

— Не будь таким грустным. Будь весел.

Но я говорю:

— Слушай, Елена. Я люблю тебя, я зову: иди за мною.

— Зачем?

— Я люблю тебя.

Она гибко прижалась ко мне и шепчет:

— Ты знаешь, — я тоже люблю.

— А муж?

— Что же муж?

— Ты с ним.

— Ах, милый... Не все ли равно: сейчас я с тобою.

— Будь со мною всегда.

Она звонко смеется:

— Не знаю, не знаю.

— Елена, не смейся и не шути.

— Я не шучу...

Она опять обнимает меня.

— Разве нужно любить всегда? Разве можно любить всегда? Ты бы хотел, чтобы я любила тебя одного... Я не могу. Я уйду...

— Уйдешь к мужу?

Она молча кивает.

— Значит, ты любишь его.

— Милый, вот горит вечернее солнце, шумит ветер, шепчет трава. Вот мы любим друг друга. Что же еще? Зачем думать о том, что было? Зачем знать, что будет? Не мучь же меня. Не надо мучений. Будем радоваться вдвоем, будем жить. Я не хочу горя и слез...

Я говорю:

— Ты сказала, — ты его и моя. Скажи, — так ли? Правда ли это?

— Да, правда.

Тень скользнула у нее по лицу. Глаза печальны и темны. Белое платье тает в сумерках дня.

— Почему?

— Ах, почему?..

Я наклоняюсь к ней близко:

— А если... Если бы не было мужа?

— Не знаю... Я ничего не знаю... Разве любовь вечна? Не спрашивай, милый... И не думай, не думай...

Она жарко целует меня. Я молчу. В моей душе медленно расцветает ревность; я не хочу и не буду делиться ни с кем.

10 сентября.

Елена тайком приходит ко мне, и быстро, как воды, текут часы и недели. Весь мир теперь для меня в одном: в моей к ней любви. Свернут свиток воспоминаний, помутилось зеркало жизни. Передо мною глаза Елены, ее губы, ее любимые руки, вся ее молодость и любовь. Я слышу ее смех, ее радостный голос. Я играю ее волосами, я жадно целую ее горячее и счастливое тело. Падает ночь. Ночью глаза еще ярче, смех еще звонче, поцелуй больнее. И вот снова, как чары: южный странный цветок, кровавый кактус, колдующий и влюбленный. Что мне террор, революция, виселица и смерть, если она со мной?.. Она входит робко, опуская глаза. Но вот вспыхнули огнем ее щеки, звенит ее смех. У меня на коленях она поет беззаботно и звонко. О чем ее песни? Я не знаю, не слышу. Я чувствую ее всю,

и радость ее звучит в моем сердце, и во мне уже нет печали. И она целует и шепчет:

— Все равно... Пусть ты завтра уйдешь... Но сегодня ты мой... Я люблю тебя, милый.

И я не пойму ее. Я знаю: женщины любят тех, кто их любит, любят любовь. Но сегодня муж, завтра я, а послезавтра опять его поцелуй... Я ей однажды сказал:

— Как можешь ты целовать двоих?

Она подняла тонкие брови:

— Почему, милый, нет?

И я не знал, что ответить. Я злобно сказал:

— Я не хочу, чтобы ты целовала его.

Она рассмеялась:

— А он не хочет, чтобы я целовала тебя.

— Елена...

— Что, милый?

— Не говори со мной так.

— Ах, милый мой, милый... Что за дело тебе, кого и когда я целую? Разве я знаю, кого ты еще целовал? Разве я хочу и могу это знать? Я сегодня люблю тебя... Ты не рад? Ты не счастлив?

Я хочу ей сказать: у тебя нет стыда, нет любви... Но я молчу: разве в моей душе живет стыд?

— Слушай, — смеется она, — зачем ты так говоришь? То можно, это нельзя? Умей жить, умей радоваться, умей взять от души любовь. Не нужно злобы, не нужно смерти. Мир велик и всем хватит радости и любви. В счастье нет греха. В поцелуях нет обмана... Так не думай же ни о чем и целуй...

И потом говорит еще:

— Вот ты, милый, не знаешь счастья... Вся твоя жизнь — только смерть. Ты железный, солнце не для тебя... Зачем думать о смерти? Надо радостно жить... Не правда ли, милый?

И я в ответ ей молчу.

12 сентября.

Я опять думаю об Елене. Быть может, она не любит меня, не любит и мужа. Быть может, она любит только любовь. Только в любви ее яркая жизнь, для любви она родилась на свет и во имя ее сойдет в могилу. И когда я думаю так, во мне встает отрадная злоба. Что из того, что Елена со мною, что я целую ее прекрасное тело и вижу любящие, в сиянии, глаза?.. Она с улыбкой уходит к мужу, она любовно живет его жизнью. Меня томит мысль о нем — об этом юноше, белокуром и стройном. И иногда, в тишине, я ловлю себя на мечтах, глубоких и тайных. И тогда мне кажется, что я думаю не о нем, а о том, кого уже нет и о ком я со злобою думал прежде. Мне кажется, что губернатор все еще жив...

Вот я иду тернистым путем. На узкой моей тропинке стоит он, ее муж. Он мешает мне, она любит его.

Я смотрю, как в садах изнемогает усталая осень. Рдеют холод-

ные астры, облетают сухие листья. Утренники свивают траву. В эти дни увяданья четко встает привычная мысль. Я вспоминаю забытое слово:

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу
И — убей!

13 сентября.

Генрих все эти дни прожил здесь. У него в Заречье семья. Только сегодня он уезжает к Эрне.

Он отдохнул, пополнил и окреп. Глаза у него блестят и уже нет вялых слов. Я давно не видел его.

Мы сидим с ним в трактире. Здесь когда-то бывал с нами Ваня. Генрих ест и в промежутках между едой говорит:

— Читали, Жорж, что в наших „Известиях“ пишут?

— О чем?

— Да о губернаторе.

— Нет, не читал.

Он возмущен моим равнодушием и вынимает тонкий листок печатной бумаги.

— Вот, Жорж, прочтите.

Мне скучно слушать его, скучно читать. Я отстраняю бумагу рукой. Я говорю с неохотой:

— Спрячьте. Не стоит.

— Что вы? Как же не стоит? Ведь для этого все.

— Для газетной статьи?

— Вы смеетесь... Печатное слово необходимо.

Мне скучно. Я говорю:

— Бросим об этом. Слушайте, Генрих, вы ведь любите Эрну?..

Он роняет ложку в тарелку и густо краснеет. Потом дрогнувшим голосом говорит:

— Откуда вы знаете?

— Знаю.

Он в смущеньи умолк.

— Ну так берегите ее... И желаю вам счастья.

Он встает, долго ходит по грязному кабинету. Наконец говорит тихо:

— Жорж, я вам верю. Скажите мне правду.

— Что вам сказать?

— А вы не любите Эрну?

Мне смешно его хмурое, в красных пятнах, лицо. Я громко смеюсь:

— Я? Люблю Эрну? Что вы? Бог с вами.

— И никогда... никогда не любил?

Я говорю раздельно и ясно:

— Нет. Не любил.

Его лицо расцветает счастливой улыбкой. Он приветливо жмет мне руку.

— Ну, еду. Прощайте.

Он уходит. Я долго сижу один за грязным столом, между грязных тарелок. И вдруг — безудержно смешно: я люблю, она любит, он любит... Что за скучная песня.

14 сентября.

Сегодня не видел Елены. Ушел вечером в Тиволи. Как всегда, бесстыдно гремел оркестр, пели цыгане. Как всегда, бродили женщины между столов, и их платья шуршали шелком. И я, как всегда, скучал.

За соседним столом пьяный морской офицер. Блестит в стаканах вино, вспыхивают бриллианты у дам. До меня долетает смех и бесвязный говор. Медленно ходит стрелка часов.

Вдруг я слышу:

— Что вы скучаете здесь?

Офицер, шатаясь, протягивает мне стакан. У него багровые щеки и подстриженные усы. Такие усы носил губернатор.

— Как вам не стыдно скучать... Позвольте представиться: Берг... Пойдемте к нам за наш стол... Дамы вас просят...

Я встаю, называю себя:

— Инженер Малиновский.

Мне все равно, где сидеть: я лениво сажусь за их стол. Все смеются, все чокаются со мной. Плачут скрипки, за окном сереет рассвет.

Вдруг я слышу, кто-то спросил:

— Где Иванов?

— Какой Иванов?

— Да полковник Иванов. Куда девался Иванов?

Я вспоминаю: начальник охранного отделения Иванов. Уж не его ли зовут? Я наклоняюсь к плечу соседа:

— Извините, не жандармский ли полковник Иванов?

— Ну, да... конечно... Он самый... Друг и пр-приятель...

Меня жжет желанный соблазн. Я не встану. Я не уйду. Знаю: этот Иванов, конечно, носит с собой мой портрет. Жду.

Входит Иванов. Он похож на купца, рыжебородый и толстый. Грузно садится за стол и пьет водку. Нас, конечно, знакомят.

— Малиновский.

— Иванов.

Он пришел сюда пить. И мне снова скучно. Вот опять желанный соблазн, — подойти к нему и шепнуть:

— Джордж О'Бриен, полковник.

Но я молча встаю. На дворе плачет дождь, спит каменный город. Я один. Мне холодно и темно.

15 сентября.

Я спрашиваю себя: зачем я тут? Чего я могу добиться? Елена только любовница. Она никогда не будет женой. Я знаю это и все-таки не могу уехать. Я знаю также, что лишний день — лишний

риск, и что на карте стоит моя жизнь. Но я так хочу.

В Версале, в парке, с веранды видны озера. Между нежных боскетов и кокетливых клумб их берега чертят четкие линии. Влажным дымом клубятся фонтаны, молчат зеркальные воды. И над ними сонный покой.

Я закрываю глаза: я в Версале. Я бы хотел забыть об Елене, я бы хотел сегодня покоя. Течет река жизни, день встает и уходит. А я, как раб на цепи, с моею любовью.

Где-то вдали ледяная высь. Горы блещут лазурью, девственным снегом. Люди мирно живут у их ног, мирно любят и с миром же умирают. Им светит солнце, их греет любовь. Но чтобы жить, как они, нужны не гнев и не мечь... И я вспоминаю Ваню. Может быть, он и прав, но белые ризы не для меня: Христос не со мною.

16 сентября.

— Милый мой, отчего ты всегда печальный, — говорит мне Елена, — разве я не люблю тебя? Вот, смотри, я подарю тебе жемчуг.

Она снимает с пальца кольцо. В золотом кольце, как слеза, большая жемчужина.

— Береги ее... Это моя любовь.

И она доверчиво обнимает меня.

— Ты горюешь, что я тебе не жена? О, я знаю: брак — привычка любви, вялая, без блеска любовь. А я хочу любить тебя... Я хочу красоты и счастья...

И задумчиво говорит еще:

— Почему люди пишут разные буквы, из букв слагают слова, из слов законы? Этих законов библиотеки. Нельзя жить, нельзя любить, нельзя думать. На каждый день есть запрет... Как это смешно и глупо... Почему я должна любить одного? Скажи, почему?

И я опять ничего не умею ответить.

— Вот видишь, Жорж, ты молчишь. Ты тоже не знаешь. Разве ты никого не любил?..

Мне жутко. Да, я любил не одну и я никогда не знал, зачем пишут законы. Она говорит мои же слова. Но теперь я в них чувствую ложь. И я хочу ей об этом сказать, но не смею.

У нее тяжелые черные косы. Они упали на плечи. В темной рамке кудрей ее лицо бледнее и тоньше. И глаза ее ждут ответа.

Я молча целую ее. Я целую ее невинные руки, ее сильное, молодое тело. Поцелуи мучат меня. Вот опять замороженная мысль о том, кто, как я, целует ее и кого она любит. И я говорю:

— Нет, слушай, Елена... Или он, или я...

Она смеется:

— Вот видишь: я раба, а ты господин... А если я не хочу выбирать?.. Скажи, зачем выбирать?

За окном шумит дождь. В полутьме я вижу ее силуэт, ее большие, черные ночью, глаза. Я говорю, бледнея:

— Я хочу так, Елена.

Она грустно молчит.

— Выбирай.

— Милый, я не могу...

— Я сказал: выбирай.

Она быстро встает. Говорит решительно и спокойно:

— Я люблю тебя, Жорж. Ты это знаешь. Но я не буду твоею женой никогда.

Она ушла. Я один. Только жемчуг ее со мною.

17 сентября.

Елена любит свое прекрасное тело, свою молодую жизнь. Говорят, в этой любви свобода. Мне смешно: пусть Елена раба, а я господин, пусть я раб, а она свободна... Я твердо знаю одно: я не могу делиться любовью. Я не могу целовать, если целует другой.

Ваня искал Христа, Елена ищет свободы. Мне все равно: пусть Христос, пусть Антихрист, пусть Дионис. Я не ищу ничего. Я ее желаю. И в моем желании мое право.

Вот опять багровый цветок опьяняет меня. Опять свершается тайное колдовство. Я — как камень в пустыне, но в руке моей — острый серп.

18 сентября.

Вчера было то, чего я ждал и во что тайно не верил. День скорби и поруганья. Я шел по главной улице. Ползал молочный туман, тая волнистою мглою.

Я шел без цели, без мыслей, как корабль в волнах без руля.

Вдруг в тумане сгустилось пятно, колыхнулась неясная тень. Прямо навстречу мне быстро шел офицер. Он взглянул на меня и сразу остановился. Я узнал: муж Елены. Я впился глазами в глаза и в темных зрачках прочел гнев.

Тогда я мягко взял его под руку и сказал:

— Я ждал вас давно.

Мы молча пошли по улице. Мы шли долго во мгле и оба знали свой путь. И были близки, как братья. Так вышли мы в парк.

В парке осень. Ветви голые, — решетка тюрьмы. Тает туман, в тумане мокнет трава. Пахнет гнилью и мхом.

Далеко, в заросшей чаще, я выбираю тропинку. Я сажусь на срубленный пенек и холодно говорю:

— Вы узнали меня?

Он молча кивает мне головою.

— Вы знаете, зачем я здесь?

Он кивает опять.

— Ну, вы знаете: я не уеду.

Он с усмешкою говорит:

— Вы уверены в этом?

Уверен ли я? Я не знаю. Кто поймет, кого любит Елена? Но я говорю только:

— А вы?

Пауза.

— Вот что: вы уедете. Поняли? Вы.

Он вспыхнул гневным румянцем. Но говорит хладнокровно:

— Вы — сумасшедший.

Тогда я молча вынимаю оружие. Я меряю восемь шагов по траве и кладу на концах их мокрые прутья: барьер. Он следит со вниманием. Я кончаю. Он говорит, улыбаясь:

— Что ж, вы хотите драться?

— Я требую: уезжайте.

Белокурый и странный, он смотрит мне прямо в глаза. И насмешливо повторяет:

— Вы — сумасшедший.

Я говорю, помолчав:

— Вы будете драться?

Он отстегнул кобур, нехотя вынул револьвер. Потом подумал минуту и говорит:

— Хорошо... Я к вашим услугам.

Вот он уже у барьера. Знаю: я бью в туза на десять шагов. Промаха быть не может.

Я поднял револьвер. На черной мушке пуговица пальто. Жду. Тишина. Я говорю очень громко:

— Раз...

Он молчит.

— Два и... три.

Он стоит неподвижно, грудью ко мне. Его револьвер опущен. Он насмехается надо мной... Вдруг какой-то горячий и жесткий комок сжимает мне горло. Я в гневе кричу:

— Стреляйте...

Ни звука. Тогда я медленно, радостно, долго нажимаю курок. Желтым светом сверкнуло пламя, пополз белый дым.

.....

Я пошел по мокрой траве и наклонился над телом. Он лежал на тропинке ничком в холодной и мягкой грязи. Странно согнулась рука, широко раскинулись ноги. Сеял дождь. Было мглисто. Я свернул в чащу леса. Уже сумерки набежали. Между деревьев — ни зги. Я шел, и не было цели. Так идет корабль без руля.

20 сентября.

В Цусимском бою гибли люди. Темная ночь, в море мгла, ходит зыбь. Как огромный раненый зверь прячется броненосец. Чуть чернеют черные трубы, молчат гремящие пушки. Днем дрались, ночью бегут, ждут атаки. Сотни глаз шарят тьму. И вдруг вопль, — крик испуганной чайки: „Миноносец по борту“... Вспыхнул прожектор, белым светом ослепла ночь. А потом... Кто на палубе, — кинулся в море. Кто внутри за кованой броней, — бьется о люк. Медленно тонет корабль, уходит носом под воду. Машинисты в машине кулями срываются вниз. Их бьют железные цепи, крошат колеса, душит дым, обжигает пар. Так гибнут они. А с бортов, баюкая, бьется волна... Бессмысленно-безымянная смерть.

А вот смерть еще. Север, море, северный шторм. Ветер рвет паруса, взвивает белую пену. В серых волнах рыбацья лодка. Серый день меркнет бледной зарею. Где-то вдали загорелся маяк. Красный, белый и снова красный. Люди застыли на скользком носу, сцепились в канаты. Ропщет волна, брызжет дождь... И вдруг сквозь вой ветра — медленный звон. У низкого борта бьется колокол на воде и звонит. Это бакен. Это мель. Это смерть... И потом опять ветер, небо и волны. Но уже нет никого.

И смерть еще: я убил человека... До сих пор я имел оправдание: я убиваю во имя идеи, во имя дела... Те, что топили японцев, знали, как я: смерть нужна для России.

Но вот я убил для себя. Я захотел и убил. Кто судья? Кто осудит меня? Кто оправдает? Мне смешны мои судьи, смешны их строгие приговоры. Кто придет ко мне и с верою скажет: убить нельзя, не убий? Кто осмелится бросить камень? Нету грани, нету различия. Почему для идеи убить — хорошо, для отечества — нужно, для себя — невозможно? Кто мне ответит?

Вот в окно глядит ночь, я вижу горящие звезды. Блещет Медведица, струится серебряный Млечный Путь, робко сверкают Плеяды. Что за ними?.. Ваня верил. Он знал. А я стою одинокий, и ночь непонятно молчит, и земля дышит тайной, и загадочно мерцают звезды. Я прошел трудный путь. Где конец? Где мой заслуженный отдых? Кровь родит кровь и месть живет мезтью. Я убил не только его... Камо пойду и камо бежу?..

22 сентября.

Сегодня с утра льет дождь, мелкий, осенний. Я смотрю в его паутинную сеть, и лениво, как капли, меня тревожат скучные мысли.

Жил Ваня и умер. Жил Федор, его убили. Жил губернатор, и его уже нет... Живут, умирают, рождаются. Живут, умирают... Хмурится небо, льет дождь.

Во мне нет раскаянья. Да, я убил... Во мне нет горечи за Елену. Будто мой разбойничий выстрел выжег любовь. Мне чужда теперь ее мука. Я не знаю, где она и что с нею. Плачет она над ним, над своей жизнью или уже забыла? Кого забыла? Меня? Меня и его. Опять его. Мы и теперь с ним скованы цепью.

Сеет дождь, шумит по железным крышам. Ваня сказал: как жить без любви? Это Ваня сказал, а не я... Нет, я, — мастер красного цеха... Я опять займусь ремеслом. Изю дня в день, из долгого часа в час я буду украдкой следить, буду жить смертью, и однажды сверкнет пьяная радость: совершилось — я победил. И так до величьи, до гроба.

А люди будут хвалить, громко радоваться победе. Что мне их гнев, их жалкая радость?..

Молочно-белый туман опять обвеял весь город. Уныло торчат дымовые трубы, гудит на фабрике долгий гудок. Ползет холодная мгла. Сеет дождь.

23 сентября.

Христос сказал: „Не убий“, и ученик Его Петр обнажил для убийства меч. Христос сказал: „Любите друг друга“, и Иуда предал Его. Христос сказал: „Я пришел не судить, но спасти“, и был осужден.

Две тысячи лет назад Он молился в кровавом поту, и ученики Его спали. Две тысячи лет назад народ одел Его в багряницу: „возьми и распни Его“. И Пилат сказал: „Царя ли вашего распну?“ Но первосвященники отвечали: „Нет у нас царя, кроме Кесаря“.

И теперь еще Петр обнажает меч, Анна судит с Канафою, Иуда Симонов предает. И теперь еще распинают Христа.

Значит, Он — не лоза, мы — не ветви. Значит, слово Его — сосуд глиняный. Значит, Ваня неправ... Бедный, любящий Ваня... Он искал оправдания жизни. К чему оправдание?

Гуны прошли по полям, растоптали зеленые всходы. Бледный конь ступил на траву, завяла трава. Люди слышали слово и вот, — поругано слово.

Ваня с верой писал: „не мечом, а любовью спасается мир и любовью устроится“. Но и Ваня убил, „совершил тягчайший грех против людей и Бога“. Если бы я думал, как он, я бы не мог убить. И, убив, не могу думать, как он.

Вот Генрих. Для него нет загадок. Мир, как азбука, прост. На одной стороне рабы, на другой — владыки. Рабы восстают на владык. Хорошо, когда убивает раб. Дурно, когда убивают раба. Будет день, рабы победят. Тогда, рай и благовест на земле: все равны, все сыты и все свободны. Отлично.

Не верю я в рай на земле, не верую в рай на небе. Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь — борьба. Я не могу не бороться. Но во имя чего я борюсь? — не знаю. Я так хочу. Пью вино цельное.

24 сентября.

Я опять нанял комнату, живу в номерах: инженер Малиновский. Я живу, как хочу. Мне теперь все равно: пусть меня ищут. Пусть меня арестуют.

Вечер. Холодно. Над голой фабричной трубой обманчивый месяц. Лунный свет струится на крыши, сонно ложится тень. Город спит. Я не сплю.

Вот я думаю об Елене. Мне странно теперь, что я мог ее полюбить, мог убить во имя любви. Я хочу воскресить ее поцелуи. Память лжет: нет радости, нет восторга. Утомленно звучат слова, ласкают лениво руки. Как вечерний огонь угасла любовь. Снова сумерки, скучная жизнь.

Я спрашиваю себя: зачем я убил? Чего я смертью добился? Да, я верил: можно убить. А теперь мне грустно: я убил не только его, убил и любовь. Так грустит печальная осень: осыпается мертвый лист. Мертвый лист моих утраченных дней.

25 сентября.

Взял сегодня случайно газету. Прочел мелким шрифтом известие:

„Вчера вечером в гостиницу Гранд-Отель явилась полиция с предписанием задержать проживавшую там дворянку Петрову. В ответ на требование открыть за дверью раздался выстрел. Валовавшими дверь чинами полиции был на полу обнаружен еще не остывший труп самоубийцы. Производится следствие“.

Под фамилией Петровой скрывалась Эрна.

26 сентября.

Я знаю, как это было. Ночью под утро к ней постучались. Постучались не громко. В комнате было темно и тихо. Она чутко спала и тотчас проснулась. Вот постучались опять, уже настойчивее и громче. Она быстро поправила косы и встала. Не зажигая огня, босиком, подошла к большому столу, направо, у фортепиано. Ощупью, также бесшумно вынула из ящика револьвер. Я знаю этот револьвер. Я сам подарил его ей. Потом она начала одеваться, все еще ощупью, в темноте. Постучались в третий, в последний раз. Полуодетая она ушла в угол, к окну. Откинула темную занавеску. Увидела каменный двор, сырой и узкий. Вместо звезд — тусклый фонарь внизу... Двери уже ломали. Кто-то мерно стучал топором. Она повернулась к дверям и сильным, гибким движением прижала револьвер к груди. К голому телу. У сердца, пониже соска. Потом она лежала навзничь в углу. На ковре чернел револьвер. И опять было темно и тихо.

А теперь, вот сейчас она, как живая, стоит у моих дверей. Локоны сбились, голубые глаза потухли. Она дрожит хрупким телом и шепчет:

— Жорж, ты ведь приедешь... Жорж...

.....

Я сегодня пойду по городу. Горят кресты на церквах. Звонят уныло к вечерням. В улицах говор и шум. Все мне близко и чуждо. Здесь Ваня убил. Там, в переулке, внизу, умер Федор. Здесь я встретил Елену... В парке плакала Эрна... Все прошло. Был огонь, теперь тает дым.

27 сентября.

Мне скучно жить. Сегодня, как завтра, и вчера, как сегодня. Тот же молочный туман, те же серые будни. Та же любовь, та же смерть. Жизнь, как тесная улица: дома старые, низкие, плоские крыши, фабричные трубы. Черный лес каменных труб.

Вот театр марионеток. Взвился занавес: мы на сцене. Бледный Пьерро полюбил Пьерретту. Он клянется в вечной любви. У Пьерретты жених. Хлопает игрушечный пистолет, льется кровь — красный, клюквенный сок. Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер второй: охота на человека. Он — в шляпе с петушиным пером, адмирал швейцарского флота. Мы — в красных плащах и масках. С

нами Ринальдо ди Ринальдини. Нас ловят карабиньеры, не могут поймать. Снова хлопает пистолет, визжит шарманка. Занавес. Номер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На золоченых камзолах брызги вина. В руках картонные шпаги. Они пьют, целуют, поют. Иногда убивают. Кто смелее Атоса? Сильнее Портоса? Лукавее Арамиса? Финал. Шарманка жужжит затейливый марш.

Браво! Раек и партер довольны. Актеры сделали свое дело. Их тащат за треуголки, за петушиные перья, швыряют в ящик. Нитки спутались. Где адмирал, Ринальдо, влюбленный Пьерро, — кто берет? Покойной ночи. До завтра.

Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, губернатор. Льется кровь. Завтра тащат меня. На сцене карабиньеры. Льется кровь. Через неделю опять: адмирал, Пьерретта, Пьерро. Льется кровь, — клюквенный сок.

И люди ищут здесь смысла? И я ищу звеньев цепи? И Ваня верует: Бог? И Генрих верит: свобода?.. Нет, конечно, мир проще. Вертится скучная карусель. Люди, как мошки, летят на огонь. В огне погибают. Да и не все ли равно?

Мне скучно. Дни опять побегут за днями. Завизжит за сценой шарманка, спасется бегством Пьерро. Приходите. Открыт балаган.

Помню: поздней осенью, ночью, я был на морском берегу. Сонно вздыхало море, лениво ползло на берег, лениво мыло песок. Был туман. В белесой мгле таяли грани. Волны сливались с небом, песок сливался с водой. Что-то влажное, водное обнимало меня. Я дышал соленою влагой. Я слышал шорох воды. Ни звезды, ни просвета. Кругом прозрачная мгла.

Так и теперь. Нет черты, нет конца и начала. Водевиль или драма? Клюквенный сок или кровь? Балаган или жизнь? Я не знаю. Кто знает?

1 октября.

Я бежал из города. Вчера вечером я пришел на вокзал, машинально сел в поезд. С лязгом гремят буфера, гнутся рессоры. Свистит паровоз. Торопливо в окне мелькают огни. Торопливо стучат колеса.

Здесь — осенняя грязь. Хмурится утро. Волны в реке, как свищец. За рекою туманная тень, острый шпиц.

В три часа день потух, зажгли фонари. Ревет с моря ветер. Бурлит в граните река: наводнение.

Скучно. Там — кресты, здесь — солдаты. Монастырь — и казарма... Я жду ночи. Ночью мой час. Час забвенья и мира.

3 октября.

Вчера я случайно встретил Андрея Петровича. Он обрадовался, глаза его улыбнулись. Он не подходит ко мне. Осторожный, он идет следом за мной.

Я не хочу его видеть. Не хочу говорить о делах. Я знаю его слова, благоразумные поучения. Я ускоряю шаги, ухожу в переулок. Он догоняет меня.

— Приехали, Жорж? Слава Богу.

И крепко жмет мою руку.

— Зайдемте в трактор.

Как всегда, хрипит разбитый орган, спуют половые. Мне неприятен табачный дым, крепкий запах водки, еды и пива.

— Мы вас ждали. Слушайте, Жорж.

— Ну?

Он таинственно шепчет:

— Много работы... Слышали, — Эрну взяли? Она застрелилась.

— Ну?

— Нужно поставить дело. Мы решили.

Трясется седая бородка, по-стариковски мигают глаза. Он ждет моего ответа.

Пауза. Он опять говорит:

— Мы решили вам поручить. Дело трудное. Но вы справитесь, Жорж.

Я слушаю его и не слышу. Кто-то чужой говорит чужие слова. Вот он зовет меня куда-то... Я не хочу убивать. Зачем?

И я говорю:

— Зачем?

— Что, Жорж, зачем?

— Зачем убивать?

Он не понял меня, — наливает стакан холодной воды:

— Выпейте. Вы устали.

— Я не устал.

— Жорж... что с вами?

Он с тревогой глядит на меня и ласково, как отец, гладит мне руку. А я уже знаю: я не с ним, не с Ваней, не с Эрной. Я — ни с кем.

Я беру свою шляпу:

— Прощайте, Андрей Петрович.

— Жорж...

— Ну?

— Жорж, вы больны: отдохните.

Пауза. Потом я медленно говорю:

— Я не устал и здоров. Но ничего больше делать не буду. Прощайте.

На улице та же грязь, за рекой тот же шпиг. Серо, сыро и жутко.

4 октября.

Я понял: не хочу больше жить. Мне скучны мои слова, мои мысли, мои желанья. Мне скучны люди, их жизнь. Между ними и мною — предел. Есть заветные рубежи. Мой рубеж — алый меч.

В детстве я видел солнце. Оно слепило меня, жгло лучистым сиянием. В детстве я знал любовь, — материнскую ласку. Я невинно любил людей, радостно любил жизнь. Я не люблю теперь никого. Я не хочу и не умею любить. Проклят мир и опустел для меня в один час: все ложь и все суета.

5 октября.

Было желание, я делал мое дело. Я не хочу ничего теперь. Зачем? Для сцены? Для марионеток?

Я вспоминаю: „кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь“. Я не люблю и не знаю Бога. Ваня знал. Знал ли он?

И еще: „Блаженны не видевшие и уверовавшие“. Во что верить? Кому молиться?.. Я не хочу молитвы рабов... Пусть Христос зажжет Словом свет. Мне не нужно тихого света. Пусть любовь спасет мир. Мне не нужно любви. Я один. Я уйду из скучного балагана. И, — отверзется на небе храм, — я скажу и тогда: все суета и все ложь.

Сегодня ясный, задумчивый день. Река сверкает на солнце. Я люблю ее величавую гладь, лоно вод, глубоких и тихих. В море гаснет печальный закат, горят багряные зори. Грустно плещет волна. Никнут ели. Пахнет смолой. Когда звезды зажгутся, упадет осенняя ночь, я скажу мое последнее слово: мой револьвер со мною.

1909(?) г.

КОНЬ ВОРОНОЙ



„...и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.“

Откр., VI, 5.

„...кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза.“

1. Иоан. II, 11.

I

1 ноября.

Очень хотелось спать, но я сделал над собою усилие и приказал привести Назаренку. Он вошел высокий, в желтой кубанке, и стал на пороге во фронт.

— Садись.

— Постою, господин полковник.

— Садись, вот здесь, напротив меня.

Он для приличия потоптался у двери. Потом сел на краешек стула.

— Ты рабочий Путиловского завода?

— Так точно.

— Я взял тебя на бронепоезде „Ленин“?

— Так точно.

— Что я сказал тогда? Повтори.

Он задумался и поднял глаза.

— Вы сказали, что каждый может служить; кто не хочет, того расстреляют...

— Нет. Я сказал: кто хочет, служи, а кто изменит, того повешу...

Так?

— Так точно.

— А теперь я знаю, что ты коммунист.

Он вздрогнул.

— Сознаться, кто еще в комячейке?

— Не могу знать, господин полковник.

— А что с тобой будет, знаешь?

— Воля ваша.

— Хорошо. Ординарцы!

Он хотел что-то сказать и даже привстал со стула. Но вошли Егоров и Федя.

— Ординарцы! Полтора ста плетей!

Когда его увели, я, не раздеваясь, лег на кровать. И сейчас же,

в темном тумане потонули и Назаренко, и длинный переход на морозе, и сосновый, запорошенный инеем бор, и багрово-желтая дубовая роща, и скрип седел, и гнедая кобыла Голубка. Но за стеною свистнуло и упало что-то, и сильно и равномерно стал дрогаться воздух.

— Господин полковник!

"Сорок два... Сорок три... Сорок четыре"... Сон прошел. Стало душно лежать здесь, в жаркой комнате, в чужом доме, у незнакомого и перепуганного попа. В сенях грубый голос сказал: „Ишь, ворочается... На́-голову, Федя, садись"... Это „работал“ Егоров.

2 ноября.

Егоров — седобородый крестьянин, пскович. Он старовер, не курит, ест из своей посуды и строго соблюдает закон. Лет пятнадцать назад он из ревности убил брата. Но это — „бабье дело“, а в бабьем деле закона нет. Когда он поступил добровольцем, я спросил у него:

— За что ты их ненавидишь?

— Кого?

— Коммунистов.

— Бесов-то? А за что их любить? Дом сожгли и сына убили... Даже пес жалеет своих щенят... На кострах жарить их надо.

— Да ведь белые за помещиков.

— Так чего? Мы помещикам головы-то открутим.

— Когда?

— А вот время придет.

Он дослужился до вахмистра и очень горд своим званием. И когда Федя, смеясь, говорит, что он в прихвостнях у дворян, он сердито трясет седой бородою:

— Язва. Отстань. Я не за бар, — за Рассею.

За Россию... До войны он, наверное, говорил: „мы — скобари“, и знать не хотел „калуцких“. А теперь на коне и с винтовкой изгоняет из России „бесов“.

3 ноября.

Городишко, где мы стоим, убог и неряшлив. Он утонул в сыпучем песке. Песок в лесу, песок на дороге, песок на улицах, песок на подушке. Точно мы в Аравийской пустыне. Но в пустыне горячее солнце, а здесь меркнет свинцовый день, вьется липкий осенний снег, и по утрам мороз щиплет пальцы. Мы в летних шинелях. У нас нет валенок. Нет рукавиц. Кто-то, мудрый, ворует в тылу.

На городской площади изгнившие тротуары, конский навоз и пыль. Бабы в белых платках, крестьяне в белых тулупах. Евреев почти не видно. Евреи ушли в леса, со стариками, женами и детьми, с коровами и домашним скарбом. Мы не освободители в их глазах, а погромщики и убийцы. На их месте я бы тоже ушел.

Погромы, грабежи и насилия запрещены строжайшим приказом.

За нарушение — смертная казнь. Но я знаю, что вчера во втором эскадроне играли в карты на часы и на кольца; что ротмистр Жгун разгромил еврейскую лавку; что у улан завелась валюта — американские долларá; что в лесу нашли истерзанный женский труп. Расстреливать? Двоих я уже расстрелял. Но ведь нельзя расстрелять половину полка.

Я пишу, а в столовой хрипит граммофон. Он хрипит, захлебывается и снова хрипит, точно жалуется на свою машинную немощь. Я слышу, как Федя долго возится, починая его, и, наконец, с ожесточением плачет. Потом начинает негромко:

Полюбили горяча
Русские рабоче
Троцкого и Ильича,
И все такое прочее...

4 ноября.

Федя — художник. В свободное от „занятий“ время он рисует „картинки“. Одну из таких „картинок“ он принес мне сегодня. Он написал свой портрет. Те же волосы огненно-рыжего цвета, тот же сплюснутый нос, те же смущающие глаза: один мертвый, выбитый пулей, другой прищуренный, веселый и быстрый. Он не в нашей, а в английской шинели, но с кубиками и пятиконечной звездой. Подписано: „Комиссар Федор Федоров, товарищ Мошенкин“.

Он залюбовался своим искусством. Он не в силах оторвать восхищенного взгляда. Если бы он знал историю, он бы вообразил себя Неем или Даву*. На самом деле, он бывший бакалейный торговец, владимирский мещанин. Налюбовавшись, он говорит:

— Граммо-граммо-граммофон... Пате-пате-патефон... А нельзя ли на выставку, господин полковник, послать?

5 ноября.

Я приказал оседлать Голубку и выехал в поле. Застоявшаяся кобыла весело бежала размашистой рысью, звонко цокая по дождевым лужам. День был ненастный и теплый. Со свистом носился ветер. Разорванные, черно-лиловые облака низко опускались на землю.

Я люблю простор широких полей. Я люблю синеву далекого леса, оттепель и болотный туман. Здесь, в полях, я знаю, знаю всем сердцем, что я русский, потомок пахарей и бродяг, сын черноземной, напоенной потом, земли. Здесь нет и не нужно Европы — скупого разума, скудной крови и измеренных, исхоженных до конца дорог. Здесь — „не белы снега“, безрассудство, буйство и бунт.

Я остановился на берегу Березины и пешком пошел вдоль реки. Она струилась спокойная и глубокая. Ее пустынные воды сверкали инеем ломкого льда. Слезился ржавый кустарник, нога скользила в мокрой траве, и Голубка, мягко ступая, тыкалась мне мордой в

*Маршалы Наполеона. — Ред.

плечо. Я слышал ее дыхание, и мне казалось, что и она, и нависшее небо, и Березина, и шуршащий тростник, и я — одно неразделимое целое, единый, замкнутый и непознаваемый мир... И мне вспомнилась Ольга. Она вспомнилась мне такой, какую я видел ее когда-то, в Москве, — в белом платье и соломенной шляпе. Где Ольга? Что с нею?

6 ноября.

Россия — Ольга, Ольга — Россия. Если не будет Ольги, моя влюбленность в Россию потеряет свою глубину. Если не будет России, моя любовь к Ольге утратит всеобъемлющий смысл. Жить в России без Ольги все равно, что влачиться с Ольгой в изгнании, — влачиться на „поломанных крыльях“, дрожа и „прижавшись к праху“.

7 ноября.

Вчера у меня в саду повесили Назаренку. Он не сознался. Он, как зверь, отлеживался на кухне. Верил ли он, что умрет?

Был восьмой час утра. Выходило холодное солнце. За ночь выпал пушистый снег и замел песок на дорожках. Назаренко вышел с Егоровым на крыльцо. Потом, поевиваясь и жмурясь, стал под березу. На березе, на догола обнаженном суку, верхом сидел Федя. На улице молча толпились уланы.

— Начинай.

Назаренко глубоко вздохнул. Он был без шапки, в короткой, белой, расстегнутой на шее, рубахе. Егоров толкнул его в бок.

— Лоб-то... Лоб то перекрести, сукин сын.

Я видел, как быстро-быстро задвигались пальцы и завешелились синие губы. И я скорее почувствовал, чем услышал:

— Господин... Господин полковник!..

Но Егоров угрюмо сказал:

— Даже помереть не умеешь. На что крестишься?.. Крестись на восход.

Федя накинуд веревку. Подогнулись худые колени, и голова опустилась вниз. Повисло длинное, бессильное тело. Федя прыгнул, дернул за ноги и закричал на улан:

— Чего не видели? Расходись!..

8 ноября.

Поручик Вреде, гусар, провел всю войну на фронте, ходил на проволоку в конном строю, был ранен и заслужил Георгиевский крест. Коммунисты посадили его в тюрьму. Из тюрьмы он бежал. Он командует вторым эскадроном.

Каждый вечер он приходит ко мне, садится на турецкий диван и курит. Он совсем еще мальчик, белокурый, с розовыми щеками и детским пухом вместо усов.

— Юрий Николаевич, почему мы стоим в этой дыре?

— Приказано.

— А скоро пойдем вперед?

— Когда прикажут.

Он хмурит тонкие брови.

— Надоело.

— Идите один.

— Вы всегда надо мной смеетесь.

— Смеюсь? Бог с вами, Вреде... Если бы мне надоело, я бы ушел.

— Куда?

— В лес.

Скудеет день, загорелись первые звезды. За окном морозная ночь. Вреде ходит из угла в угол.

— Нас было три сестры и два брата, и отец, генерал. Мать скончалась давно. Было у нас имение, усадьба под Ригой. Отца расстреляли, старший брат убит на Кавказе, а о сестрах я ничего не знаю. Имение разгромили, конечно... Ну, вот... Отца и брата я им простить не могу...

— У Назаренки тоже, наверное, есть брат.

— У Назаренки?... Так ведь он коммунист.

— А вы белый?

— Да, белый. Я за Россию.

Я улыбаюсь:

— И за усадьбу?

— За усадьбу? Нет... Чорт с нею, с усадьбой. Я не горюю: пусть разживаются мужики.

Федя вносит зажженную лампу. Погасли звезды в окне, запахло махоркой и керосином. Федя прикручивает фитиль и говорит, вытирая жирные пальцы о скатерть:

— И разживутся, и попользуются, господин поручик... Уж такой, стало быть, вороватый народ...

9 ноября.

У Егорова сожгли дом и убили сына. У Вреде убили отца. У Феде убили мать. Я понимаю, за что они ненавидят. Но за что ненавижу я?

У меня нет дома и нет семьи. У меня нет утрат, потому что нет достояния. И я ко многому равнодушен. Мне все равно, кто именно ездит к Яру, — пьяный великий князь или пьяный матрос с серьгой: ведь дело не в Яре. Мне все равно, кто именно „обогащается“, то есть ворует, — царский чиновник или „сознательный коммунист“: ведь не единым хлебом жив человек. Мне все равно, чья именно власть владеет страной, — Лубянки или Охранного Отделения: ведь кто сеет плохо, плохо и жнет... Что изменилось? Изменились только слова. Разве для суеты поднимают меч?

Но я ненавижу их. В распояску, с папиросой в зубах, предали они Россию на фронте. В распояску, с папиросой в зубах, они оскверняют ее теперь. Оскверняют быт. Оскверняют язык. Оскверняют самое имя: русский. Они кичатся тем, что не помнят родства. Для них родина — предрассудок. Во имя своего

копеечного благополучия они торгуют чужим наследием, — не их, а наших отцов. И эти твари хозяйничают в Москве...

Если вошь в твоей рубашке
Крикнет тебе, что ты блоха,
Выйди на улицу —
И убей!

10 ноября.

Москва... Москва — начало и конец моей жизни. Без Москвы, без ее кривых переулков, Христа Спасителя, Арбата и Кремлевских ворот, без ее богатства, славы, унижения и нищеты, нет Родины, а значит нет и меня. „Горят кресты на церквях, скрипят по снегу полозья. По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного монастыря звонят к обедне. Я люблю Москву. Она мне родная“.

Верю ли я в победу? В тылу тупоумие, взятки и воровство, — слепорожденные мыши. На фронте тупоумие, доблесть, разбой, — не воины в белых одеждах, а двойники своих же врагов. Я боюсь, что настанет день, и мы, как стадо овец, метнемся обратно. Метнемся, потому что корыстно любим Москву.

11 ноября.

Слава богу, мы выступаем. Из штаба армии получено приказание идти на Грабово и Бобруйск. Я велел отслужить молебен. Гололедица. Сеет дождь. Снег растаял на мостовой и смешался с желтым песком. Бурая грязь налипает на сапоги, липнет в руках кубанка. Священник вяло бормочет: „О мире всего мира и о спасении душ наших господу помолимся...“, и Федя в мокрой шинели гнет вместо дьячка: „господи помилуй, господи помилуй, господи поми-луй...“ Уланы крестятся. Многие стоят на коленях. Один Егоров остался дома. Он согрешит, если будет молиться с нами: мы „нехристи“ и „еретики“.

12 ноября.

Входит Вреде. Он взволнован. Голос его дрожит:

— Юрий Николаевич, что же это такое? Я больше так не могу. Что мы, погромщики, в самом деле?.. Вы знаете, что случилось?

— Что?

— Жгун застрелил еврея.

— Из-за чего?

— Из-за денег.

Ротмистр Жгун храбрый и исполнительный офицер. Но он грабитель. Он не говорит „ограбил“ или „украл“, а говорит „покупил“ шубу, „покупил“ кольцо, „покупил“ сапоги. Это же слово повторяют за ним и уланы. Пока не было крови, я закрывал поневоле глаза. Но сегодня дело другое. Я выхожу на крыльцо.

— По ко́ням!

Федя подает мне Голубку. Я трогаю ее шагом к первому эскадрону. Впереди, на высоком, сером в яблоках, жеребце,

ротмистр Жгун. Я узнаю высокого жеребца: он взят в бою у красного офицера.

— Ротмистр Жгун!

— Я.

У него добродушное, красное, с рыжими усами лицо. Ему лет 40. Он из вахмистров царской службы.

— Вы убили еврея?

— Так точно.

— За что?

— Да ведь жид, господин полковник...

— Я спрашиваю: за что?

Он побагровел, но не произносит ни слова. Я говорю трубачу:

— Трубач, за что ротмистр Жгун застрелил еврея?

Трубач потупился: боится начальства. Но я настаиваю:

— Я приказываю тебе. Отвечай.

— За часы, господин полковник.

— Вы слышали, ротмистр Жгун?

Он молчит. Он „ест“ меня по-солдатски глазами... Тогда я говорю:

— Расстрелять.

Я поворачиваю Голубку. И я не вижу, но знаю, что Егоров и Федя уже стаскивают его с седла и ставят тут же, у поповского дома, к стене. Я жду. Я жду недолго. Трещат два выстрела. Я команду:

— Справа по три. За мной! Шагом... ма-арш!

13 ноября.

Я помню: я познакомился с Ольгой случайно. Я шел по Петровскому парку. Был один из тех хромоногих дней, когда тревожит ненужная память и не смываются „печальные строки“. Я встретил девушку. Она спросила дорогу. Мы долго шли рядом. Я молчал. Я молчал потому, что мне было жутко, — жутко моей сердечной тоски. А потом... Потом я наклонился к ней и взял ее руку. Но она посмотрела мне прямо в глаза так доверчиво и так ясно, что я смутился. И в смущении зародилась любовь.

14 ноября.

Просека. Лесная дорога. Кругом густой и частый, дремучий бор. Не скрипнет ель, не дрогнет подгнивший сучок, не хрустнет, падая, ветка. Пофыркивают негромко кони, и гулко и ровно постукивают сотни копыт. Изредка Федя, закуривая, чиркает спичкой. Изредка я вполголоса говорю: „Под ноги налево... Под ноги направо...“, и взводные повторяют мою команду. Так мы идем с утра, 1-ый Уланский полк. Идем к Березине.

Расступились темно-зеленые ели, и потянулось проржавленное болото. Кое-где, среди колючей травы, еще алеет брусника. На болоте пасется стадо. Мычат коровы. Пастух в дырявом тулупе тупо смотрит нам вслед.

- Откуда?
- Из Бухчи.
- Есть в Бухче красные?
- А может и есть...
- Много?
- А может и много...

Он снял картуз и лениво скребет в затылке. Ему все равно — белые или красные, царь, или мы, или коммунисты. Для него все чужие, все незваные гости. Он родился в лесу, в лесу и умрет. Федя, шутя, замахивается нагайкой:

- Пошел вон, лесовик!..

15 ноября.

В Бухче не было красных. Я приказал созвать сход. У церкви собралось человек пятьдесят мужиков, много баб и еще больше мальчишек. Я старался им объяснить, кто мы и во имя чего воюем. Они слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне не верят: в их глазах я был барин. И когда я заговорил о земле, меня сразу прервало несколько голосов:

- А почему у вас генералы?
- А почему с вами паны?
- А почему не платите за подводы?

Что мог я ответить? Да, в тылу у нас царские генералы. Да, помещики тянутся, как пиявки, за нами. Да, в армии идет воровство... Меня выручил из беды Егоров. Он протискался сквозь толпу огромный, седобородый, похожий на раскольничьего попа, загремел, показывая корявый палец:

— Это что, огурец или палец? Палец... А я кто? Барин или мужик? Мужик... Так чего зубы-то заговаривать? Бери, ребята, винтовки! Бей их! бесов! Бей бесов окаянных, комиссаров и бар!.. Довольно поцарствовали над нами!.. Правильно ли я говорю?..

- Перекрестись, что против панов.

Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь.

- Бумагу написать можешь?
- Могу.
- А печатку приложить можешь?
- Могу.

Толпа зашумела. Особенно горячились бабы. Я не дождался конца и вернулся в халупу. А вечером Федя мне доложил, что деревня дает семь человек добровольцев. Доложив, он остановился в дверях.

- Нестоящее это дело, господин полковник.
- Почему?

— Да убегут мужичонки эти. Разве им возможно не убежать? Ведь Егоров наврал: неизвестно за что воюем.

17 ноября.

В лесу и в поле, вечером, ночью и днем, меня не покидает острая мысль, — мысль об Ольге. Позвякивает стремя о стремя, Голубка просит поводьев, оступает и снова мягко шагает, а передо мной встает Ольга. Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы. Она, смеясь, играет в горелки. Горелки... Какое наивное, навеки забытое слово... Где Ольга? В тюрьме? В подвалах Лубянки? В руках у пьяного комиссара?.. Я не могу, я не смею думать. Огонь обжигает лицо и мутится буйно в глазах.

18 ноября.

Березина оледенела. Сверкает звонкий, голубоватый лед. Выше, вверх по течению, широкая полынья, — говорливые и резвые струи. Садясь на задние ноги, ощупью спускается с крутизны Голубка. У реки она нюхает воздух и пятится в испуге назад. Но я поднимаю хлыст. Она храпит и делает быстрый скачок.

Выехав на луговой берег, я обернулся. Веселою вереницей переправляется полк. Уланы в желтых кубанках, в серых шинелях до шпор и с винтовками за плечами, осторожно ведут некованных лошадей. Впереди трубач Барабошка, тот самый, которого я спросил о Жгуне. Его лошадь скользит и падает на колени. Она беспомощно бьется на льду, а Барабошка хохочет, как сумасшедший. Смеюсь и я. Я не знаю, чему я смеюсь. Но так беспорочно раннее утро, так прозрачен морозный воздух, так разноголоса пробудившаяся река, так бодры кони и так приветливы люди, что я, как мальчик, радуюсь жизни. Жить — не думать, не знать, не помнить...

Полк собирается на лугу. Я выстраиваю его походной колонной. Раздается беззаботная песня. Уланы поют „Олега“.

19 ноября.

Федя подает мне бинокль.

— Вот они, господин полковник.

Я вижу: в сизой мгле колышатся тени. Их много. Они двигаются по Бобруйскому тракту. Это красные. Неужели они принимают нас за своих?

— В атаку! В карьер!

Засвистел и резнуло лицо воздух, напряглась и выбросилась вперед Голубка. Низко наклонясь к луке, я обнажил саблю. Справа и слева быстрый топот копыт, короткие вскрики и выстрелы, — не щелканье ли бичей? Как во сне промелькнул Егоров. Взвизгнуло острое лезвие, что-то охнуло и что-то упало... Я пришел в себя, когда окончился бой. И когда я пришел в себя, я заметил, что к далекому лесу, по вспаханной и мерзлой земле, спотыкаясь, бежит человек. Он бежал без винтовки, закрывая руками затылок. За ним тяжелым галопом скакал один из наших улан. Я узнал взводного Жеребцова. Я опять пустил Голубку в карьер.

Я догнал их уже на опушке. Блеснула сабля, очертила звенящий круг. Красноармеец, пригнувшись, бросился в ельник. Я взглянул

на него, на этого русского, в шлеме с красной звездой, мужика, и мною овладело незнакомое чувство. Я крикнул:

— Опустит руку!

Жеребцов злобно, всем телом, повернулся ко мне.

— Опустит! А ты... А ты, словая голова, иди за мною...

Красноармеец сперва не понял. Потом поднял испуганные глаза. Потом, крестясь и путаясь, и снова крестясь, забормотал невнятной скороговоркой:

— Вот спасибо... Вот так спасибо... Вот так уж на самом деле спасибо...

20 ноября.

„Не убий!“... Когда-то эти слова пронзили меня копьем. Теперь... Теперь они мне кажутся ложью. „Не убий“, но все убивают вокруг. Льется „клюквенный сок“, затопляет даже до узд конских. Человек живет и дышит убийством, бродит в кровавой тьме и в кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когда голод измучит его, человек — от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь. Таково первозданное, не нами созданное, не нашей волей уничтожаемое. К чему же тогда покаяние? Для того, чтобы люди, которые никогда не посмеют убить и трепещут перед собственной смертью, праздносили о заповедях завета?.. Какой кошунственный балаган!

21 ноября.

Мы с боями идем вперед. Вчера мы два раза ходили в атаку. Ранен командир первого эскадрона, ранено человек десять улан, и убит трубач Барабошка. Он был тоже „скобарь“, земляк Егорова, заклятый враг коммунистов. Он всегда был доволен, даже когда нечего было есть, даже когда люди от усталости засыпали на сдлах. — „Тяжело, Барабошка?“ — „Никак нет, нам скопским капшто“... В деревне у него остался отец, суровый и благочестивый крестьянин. Отец и приказал ему идти в добровольцы.

Мы похоронили Барабошку в лесу. Уланы наскоро пропели „вечную память“ и поставили березовый крест. Когда стукнул последний ком глины, Федя, нахмурясь, сказал:

— Жил грешно и умер смешно.

— Почему смешно, Федя?

— Да ведь не от чужой, а от русской пули.

22 ноября.

Ночью меня разбудил Федя.

— Вставайте, господин полковник, вставайте!

— В чем дело?

— Уже ура кричат, господин полковник...

Я мало верю в ночные атаки. Но делать нечего: я нехотя одеваюсь. На улице тьма. Ни зги. Настойчиво стучат у околицы пулеметы. Больше ни звука. Я спрашиваю:

— Кто же кричит ура?

— Виноват, господин полковник.

Федя не трус, но не лучше труса. У него испорченное воображение. Ему мерещится то, чего нет. Замечает ли он то, что есть?.. Ему стыдно. Он говорит:

— Да ведь так и лезут с одиннадцати часов...

Пусть „лезут“... Я захожу посмотреть Голубку. Она почувствовала меня и обернулась в темном сарае, — сверкнула скошенным глазом. Я ласкаю ее упругую грудь, ее гибкую шею. Она просит сахара — ищет горячими губами ладонь. Но сахара нет. Все еще стучат пулеметы. За моей спиной покорно вздыхает Федя.

24 ноября.

Разве это война? Красные сдаются почти без боя. Вчера мы взяли батарею — четыре орудия, сегодня два пехотных полка. Федя хвалится: „Так и ставку ихнюю голыми руками возьмем“. Егоров останавливает его: „Не мели. Воля божья... О себе пекись. Как бы не забрали тебя...“ Но я спокоен: Федю не заберут.

Холодно. Свищет ветер. Воеет и разыгрывается метель. Вреде выстроил пленных в поле. Он командует:

— Смирно!

Восемьсот, одетых в военную форму, крестьян впиается мне в лицо. У всех один и тот же, напряженный и недоверчивый взгляд. Они озябли, держат руки по швам и готовятся к смерти. Федя спрашивает:

— Прикажете тачанки подать?..

Тачанки... Нет, я не расстрелял никого. Я предложил желающим вернуться в Бобруйск, желающим записаться к нам. И я сказал, что каждый волен идти домой.

Они не поняли. Кружилась снежная пыль, таяла и забивалась за воротник. Я ушел. Они все еще ждали. Ждали чего? Тачанок?..

25 ноября.

К пленным я послал Егорова и „мужичонков“ из Бухчи. Я не знаю, о чем они говорили. Вероятно, опять о панах, о земле, о подводах, о генералах. Но к вечеру у нас составилась новый добровольческий полк — 1-й Партизанский, пехотный. И теперь во мне живет звериное чувство: я хочу драться. Драться, даже если нельзя победить.

26 ноября.

Я люблю Ольгу. Любит ли Ольга меня? Я впервые задаю себе этот вопрос. Там, в Москве, я знал, что она не может меня не любить. Какая женщина устоит против любви? Какая женщина не истомится и не взволнуется страстью? Чье сердце выдержит самоубийственный поединок?.. Но ведь теперь между нами даже не бездна, а колодец ее. Колодец бедствий, тревог, несчастий и поражений. Не тюрьма и не Лубянка страшны. Я сожгу тюрьму и взорву Лубянку... Страшна неразделенная жизнь.

27 ноября.

Я написал на клочке бумаги: „Начальнику Бобруйского гарнизона. Приказываю вам сдать немедленно город. В случае неисполнения сего приказания, я вас повешу. Деревня Микашевичи. Подпись“. Эту записку я передаю перебежчику. Молодой солдат в шлеме улыбается и прячет ее за рукав.

— Ничего больше, товарищ?

— Ничего.

— Счастливо оставаться, товарищ.

Для него я „товарищ“, а не „господин полковник“ и уж, конечно, не „его благородие“. Вреде не признает этих „коммунистических новшеств“. Он не может понять, что он давно не его величества лейб-гусар, а такой же доброволец, как Федя. „Товарищ“ звучит для него оскорблением. Мне все равно: лишь бы сдался Бобруйск, лишь бы сделать еще один, пусть обманчивый, шаг к Москве... Мне приказано ждать. Тем хуже. Завтра я наступаю.

28 ноября.

Целый день длился бой. Грохотали орудия, разрывались, взметая землю, гранаты, звенела и таяла в голубых небесах шрапнель. Я смотрел в бинокль, как на окрестных холмах перебежали за березами люди и падали под нашим огнем. Не люди, а игрушечные солдаты. Игрушечная шашка, как спичка; игрушечная винтовка, как карандаш; игрушечный разрыв, как дым папиросы. А когда мы взяли холмы, на истоптанной прошлогодней траве валялись шапки, сумки, шинели. Федя поднял одну, офицерскую, подбитую мехом. Она была испачкана кровью. Он счистил ножиком кровь и надел шинель в рукава. Уланы мерзнут и завидуют Феде: „ординарцам всегда везет“. Но сегодня везет и им: люди сыты, и у лошадей есть овес.

29 ноября.

Мы вошли в Бобруйск на вечерней заре. Садится круглое, багровое солнце. На гулких улицах ни души. Чернеют заколоченные дома, и четко, иглами, торчат фабричные трубы. На главной площади, на канате, два источенных дождями портрета: Ленин и Троцкий. Егоров саблей разрубает канат.

Мы победили. Но во мне нет радости, знакомого опьянения: русские победили русских. На стене белеется прокламация. Я срываю ее. В ней говорится о нас — „разбойниках“ и „бандитах“. И я спрашиваю себя: брат на брата или клоп на клопа?

30 ноября.

Взводный Жеребцов делает мне доклад:

— Так что взяли нас, господин полковник, под Микашевичами, в разъезде, — Кучеряева, Карягина и меня. Привезли в Бобруйск, потащили в Че-ку. В Че-ке не комиссар, а толстая баба, содком. Во френче и в галифах. В руке у нее наган. Взглянула на Кучеряева, говорит: „Ползи на коленях“. Кучеряев пополз. Она трах из нагана.

Потом Карягину: „А теперь ползи ты“. Карягин туда-сюда, а в дверях чекисты стоят, смеются. Нечего делать. Пополз. Она снова трах. Уволокли чекисты обоих, а она ко мне повернулась и ласково так говорит: „Как тебя звать, товарищ?“ — „Василий“. — „Ну что-ж, покури, товарищ Василий“... и папиросу дает. Взял я папиросу, курю. А она меня подозвала к себе и руки на плечи положила: „Ты ведь все мне расскажешь, товарищ Василий?.. Сколько у вас коней, орудий, винтовок“... Я ей было пушку залить хотел, а она как закричит на меня: „Врешь! Правду говори, сукин сын!“... — „Не могу знать“, — говорю. — „А, так ты так?.. Всыпать ему пятьдесят!“ Всыпали. — „Ну?..“ Я молчу. Она встала со стула и раз меня хлыстом по щеке. Искровенила все лицо. „Увести его. Всыпать еще полсотни, а потом на сосиски...“ Увели меня в паку, есть и пить не дают, измываются только: „Ты, — говорят, — Иуда, проданся господам“... А тут вы подошли и, слава богу, освободили... Она, с комиссаром, сказывают, до сих пор укрывается здесь. Тетерины их фамилия.

1 декабря.

Егоров отыскал комиссара, но жены его не нашел. Тетерин прятался в еврейской семье, под периной. В наказание Егоров выпустил из перины пух, разбил окна и изломал грошовую мебель — „побаловался немного“. Тетерина повесили утром. Вешал, конечно, Федя. Он нарочно долго возился с петлей, мылил веревку, уходил и не торопился возвращаться обратно. Теперь Федя выпил водки и пообедал. Он в снях брэнчит на гитаре:

Расстреляли сгоряча
Русские рабочие
Троцкого и Ильича
и все такое прочее...

2 декабря.

Я сказал: неразделенная жизнь... Я иду своею дорогой, Ольга — своим, неведомым мне, путем. Над нами разное небо, под нами не одна и та же земля. Она дышет Москвой, я — моей любовью к Москве. Она живет настоящим, я — будущим, если не прошлым. Может быть, я стал ей чужим, потому что далеким. Может быть, на ее суровые дни уже легла иная, темная тень... Но я верю: „Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть“.

3 декабря.

Из штаба армии приехал полковник Мейер. Блестят серебряные погоны, улыбается выхоленное лицо. Он курит сигару и говорит о штабных новостях. Я только и слышу: „Его превосходительство... Его высокопревосходительство... Господин министр... Барон... Камергер...“ И потом: „Блок... Соглашение... Левые... Правые... Париж... Япония... Америка...“ Он доволен, что в „курсе событий“ и

что находится близко к „центру“. Докурив, он озабоченно наклоняется через стол:

— Как же так, дорогой?.. Вы ведь, кажется, без приказа перешли в наступление?

— Да, без приказа.

— Ай, ай, ай... Разве можно? Вы знаете, командарм недоволен... Я-то понимаю, все понимаю и высоко ценю, но, однако, по диспозиции...

— Какой диспозиции?

— Как какой?.. — он надевает пенсне и с недоумением разглядывает меня: — По диспозиции вы должны были ждать в Микашевичах.

— Ждать кого?

— Его превосходительство командарма.

Мне надоело его пенсне, надоело его приторный голос. Мне надоели штабы, министры и генералы. Но я сдерживаю себя. Могу ли я подать пример послушания? И я, как ученик, говорю:

— Виноват, господин полковник.

4 декабря.

Вреде обиделся за меня. Он долго ходит из угла в угол. Потом садится. Потом закуривает и, наконец, говорит:

— Юрий Николаевич, гоните их в шею.

— Кого?

— Да штабных этих... Только мешают. Если бы не они, мы бы были уже в Москве.

— Вы против армии?

Он сконфузился и молчит.

— Против армии, но за его высочество великого князя?

— За царя? Кто вам сказал, что я за царя? Я ни за кого. Я не занимаюсь политикой. Я солдат. Я никогда не признаю „похабного“ мира и никогда не сниму погон. А на остальное мне наплевать.

Он горячится. Он чувствует, что в чем-то не прав, но не может осмыслить ошибки. Я улыбаюсь:

— Ах, Вреде, Вреде... Хорошо быть гусарским корнетом, звенеть шпорами, ужинать у Кюба и ухаживать за дамами в Павловске. Хорошо также рубить в атаке венгерскую кавалерию... Но плохо быть даже не белым, а просто „бандитом“, воевать в медвежьих углах, рядом с Федей, против Тетериных, под начальством какого-то Мейера... Этим и исчерпана революция? Да?

Он сердится и уходит. Честный и храбрый мальчик. За что он отдаст свою жизнь?

5 декабря.

Сегодня трескучий мороз. Стынет дым, цепенеет дыхание. Галки, замерзая, падают на лету... Я живу у мадам Минькович. В низкой „зале“ тепло и пахнет жареным луком. Мебель в серых чехлах, в углу запыленная пальма и под зеркалом, на столе, большой фамиль-

ный альбом. В альбоме местечковые „коммерсанты“ и молодые люди американского типа — племянники из Нью-Йорка. Мадам Минькович боится погрома. Она произвела меня в генералы, кормит Федю фаршированной шукой и по вечерам, чтобы я „не скучал“, усердно играет Шопена. Мне странно слышать любимые вальсы здесь, почти в гостинице, почти на вокзале. Ольга играла их... Увижу ли я ее? Или так, в одиноких скитаниях, и окончится моя жизнь?

6 декабря.

Егоров рыщет по городу. Он не ест и не спит. Он обыскал еврейские лавки, перерыл дворы, подвалы и чердаки и даже заглянул на кладбище и в собор. Он мрачен и говорит утрюмо:

— Кто ее знает, бесовку... Им, бесам, кабы что... Креста на них нет. Ну, да я ее разыщу. Я ее из-под земли откопаю. Я ей кузькину мать покажу. Где это видано, чтобы баба сама из нагана стреляла? Мало что ли на это у них холуев?... Вот оно, в Писании—то сказано: „И се жена“... Только не жена ведь она ему, а тифу, содком, и ничего больше...

— Что же ты сделаешь с ней?

— Что сделаю? А уж мы с Федей придумаем что. Уж мы обмозгуем. Ведь такую и сжечь не грех.

Он стоит у дверей прямой, седобородый и строгий. Я знаю: позволить ему, — и сожжет.

7 декабря.

Мадам Минькович почти права... По улицам ходят патрули. Они следят за порядком. Но порядка нет, — много пьяных. Пьяные, трезвые, солдаты и офицеры, грабят. По всему городу идет беспросветное воровство, неприкрытый дневной грабеж. Вчера ко мне пришел врач, у которого „покупили“ аптеку. Он жалуется. Он говорит, что при коммунистах жилось не хуже: „Конечно, таскали в Че-ка... Ну, а теперь, при вашей свободе, не волокут в контрразведку?“... В контрразведке Егоров. Чем Егоров отличается от „чекиста“? Чем я отличаюсь от комиссара? Мы верим в разное, но по делам нашим нас не познать. Мы мазаны одним миром. Мы деремся между собой, а обыватель нас одинаково проклинает, нас, белых и красных: „у хлопцев чубы трещат“. Но почему эти „хлопцы“ терпят нас, как рабы?

8 декабря.

Я раскрываю Евангелие: „И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины“... Где наше воплощенное слово? Где наша истина, наша божья благодать? „Егоров наврал, неизвестно за что воюем“. Я знаю, почему я вешаю их, но я не знаю, зачем. В тылу фабрикуется царь, даже не царь, а царек, доморощенный и карикатурный Наполеон. В нем спасение России?... Спасение генералов и бар. Спасение тех, кого с кровью выплюнул русский народ. Москва... Москва поругана и растоптана каблуком. Что мы дадим

взамен? Иное, худшее поругание и такой же солдатский каблук? Или, может быть, сантиментальные фразы, бледную немочь ново-явленных Мирабо?... „Чорт меня дернул родиться русским“.

9 декабря.

Да, „чорт меня дернул родиться русским“. „Народ-богоносец“ надул. „Народ-богоносец“ либо раболепствует, либо бунтует; либо кается, либо хлещет беременную бабу по животу; либо решает „мировые“ вопросы, либо разводит кур в ворованных фортепьяно. „Мы подлы, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы“. В особенности скопцы. За родину умирает горсть, за свободу борются единицы. А Мирабо произносят речи. Их послушать, — все изучено, расчислено и предсказано. Их увидеть, — все опрятно, чинно, благопристойно. Но поверить им, их маниловскому народолюбию, — потонуть в туманном болоте, как белорусский крестьянин тонет в „окне“. Где же выход? „Сосиски“ или нагайка? Нагайка или пустые слова?

10 декабря.

Мадам Минькович стучится ко мне:

— К вам пришли, господин генерал.

Я оборачиваюсь. На пороге молодая женщина в белой папаше. У нее серые, навывкат, глаза и круглое, нарумяненное лицо. Она нерешительно подходит ко мне.

— Вы удивляетесь? Я Тетерина.

Я не удивляюсь. Она не могла не прийти: она загнана и окружена, как волчица. Я подвигаю ей стул:

— Садитесь.

Она вынимает платок и плачет. Я молчу. В дверях бесшумно вырастают Егоров и Федя. Они жадно, в упор, разглядывают ее.

— Я пришла... Я пришла предложить вам свои услуги...

— Какие услуги?

— Я хочу служить белым.

— Вы были агентом Че-ка?

Она говорит сквозь слезы:

— Заставили... Поневоле...

— Ваш муж повешен?

— Он мне не муж...

Горячий обруч сжимает мне горло... Она своею рукой расстреливала наших солдат. Она перед смертью издевалась над ними. Мы повесили ее мужа. А теперь она предает своих.

— На службу я вас не приму.

Она с улыбкой опускает глаза.

— Напрасно... Я готова на все...

— На все?... Послушайте, вот что. Предлагаю на выбор. Либо я вас отдам вот им, либо... либо вы застрелитесь сами. Решайте.

Егоров и Федя понемногу придвигаются к ней. Она не верит. Она говорит:

- Вы шутите?
- Нет.
- Не может этого быть...
- Ординарцы!

Она встала. Она поняла, наконец. Она не плачет и не улыбается больше. И вдруг, с размаху, падает на пол. Бьется полное, обессиленное внезапно, тело. Я говорю:

— Уберите ее.

Егоров подходит и толкает ее сапогом.

— Вставай, бесовка... Пора.

А Федя подмигивает единственным глазом:

— Пожалуйте, мадам, бриться.

11 декабря.

„Соль — добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль“. Так сказано в Евангелии от Луки. Соли у нас не занимать стать. Крепкой, соленой соли. Довольно ее и у них, у наших непримиримых врагов. С точки зрения спокойного кресла, чистых комнат и уравновешенной жизни, мы такие же разбойники, как они. Я уже сказал: „Мы мазаны одним миром“. Пусть так. Но я спрашиваю: что лучше, благоденственное, то есть, в сущности, подлое, жите или наша греховность? Кто ближе к истине, святой Касьян или святой Николай? Касьян в ризах, в благочестии и в молитве. Николай в рубище, в грязи и в крови. Но ведь Николая празднуют девять раз в один год. Что мы знаем? Разве нам дано знать? „Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей“.

Федя на кухне ухаживает за судомойкой. Судомойка толста и стара, но Федя не очень разборчив. Он сегодня принарядился, смазал маслом пробор и вымылся „березовым кремом“, — „для красоты“, как он говорит. Он томно перебирает струны гитары, а судомойка хихикает визгливым смешком. У Феде душа спокойна.

12 декабря.

Красные перешли в наступление. Я иду к мосту. Его защищают взятые нами красноармейцы. Ими командует Вреде. На другом берегу реки обнаженный кустарник, низкая и густая заросль. В этой заросли стрелковые цепи. Красные постреливают лениво, точно нехотя, точно не зная зачем. На мосту пулеметы. Один из пулеметчиков, высокий рыжий детина в обмотках, узнает меня и весело говорит:

— Здравия желаю, господин полковник.

— Как живете?

— Живем.

— У кого лучше?

— У нас.

У кого, у нас? У нас или у них? Ведь и те и другие — мы.

Я спрашиваю:

— Почему лучше?

Он ухмыляется во весь рот.

— Как же можно? Знаем, по крайней мере, за что воюем.

— За что?

— За Рассею.

За Россию. Точь в точь, как Егоров. Значит, Россия не праздное слово, не безжизненное, на школьных картах, название. Значит, не я один кровно привязан к ней. Значит, голос ее звучит и в этих простых сердцах. Россия... Ей, матери нашей, наша жизнь и наша действенная любовь.

13 декабря.

Красные атакуют. Снова рвутся гранаты. Снова повизгивает шрапнель. Голубка насторожилась и повернула морду к реке. Я успокаиваю ее и медленно еду на батарею. Но вот близко, над головой, заскрежетало, кружась, колесо. Сверкнул огонь. Пахнуло горячим дымом. Я откидываюсь невольно назад и опускаю поводья. Голубка взвизывает на дыбы... Меня догоняет Вреде.

— Юрий Николаевич, мы держаться не можем.

Кровь бросается мне в лицо.

— Почему?

Но он отвечает спокойно:

— Не верите? Посмотрите сами.

Я посмотрел. Наши красноармейцы дерутся храбро, — не хуже улан. Они не могут не драться: красные победят — расстреляют. Но много ли их осталось? Но цепи уже на мосту. Но уже за горкой, на батарее, раздается „ура!“ ...

14 декабря.

Итак, совершилось. Мы уходим. Чего я достиг?.. Позади — родимая глушь, впереди — чужая граница. Где Москва? Где мечты о Москве?

Вот опять запорошенный инеем бор, звон удил и ровный топот копыт. Вот опять пофыркивает Голубка и поскрипывает кожей седло. Вот опять привычное, — нет, новое, столетнее, утомление. Уланы не поют больше... Я обернулся на их немногочисленные ряды. Вреде едет понуро, нахохлившись в летней шинели. Так же понуро едет Егоров. Один Федя не теряет бодрости духа. Он поднял меховой воротник. Ему тепло. Он мурлычит себе под нос:

Как были мы на бале,
На бале, на бале,
И с бала нас прогнали,
Прогнали по шеям...

Я командую:

— Рысью... ма-арш!..

II

3 июля.

Груша сидит на траве. Она в розовой кофте. Вечерет. В теплом воздухе комариный звон.

— Груша, узнала?

— Узнала.

— Сколько их?

— Да трое всего. Стоят в четвертом дворе, направо. С утра са-могонку пьют.

— Городские?

— Городские, из Ржева. Один рыжий, фабричный. Другой лохматый, будто из духовного звания. А третий, вроде, как писарек.

— Из исполкома?

— Да, гады... С бумагой, и винтовки при них. Сказывают: утят считать будут.

Она смеется, — скалит белые зубы. И, рассмеявшись, закрывает локтем лицо.

— Груша, не страшно?

— Чего страшно-то?.. Я их и сама придушу. Ночью подкрадусь и придушу. Всем троим цена три копейки.

— А расстреляют?

— Не расстреляют, небось... Я в лес убегу. К тебе.

Я сажусь рядом с ней. Она потупилась. Потом несмело отстраняет меня рукой:

— Барин... Голубчик... Увидят...

4 июля.

Мы четвертую неделю в лесу. У меня двадцать шесть человек, — «шайка бандитов». О нас сложилась легенда. Говорят, что нас две дивизии, что мы взяли Калугу, что мы идем на Москву. Стоустой молвой разносится слух, что пришла, наконец, своя, мужицкая, власть и карает «бесов». Вся округа нам верит. Я бы мог поднять и Столбцы, и Можары, и Зубово, и Сычевку. Но я не знаю времен и сроков.

Я сегодня встал на заре и пошел без дороги. Под ногами папоротник и мох, над головою прозрачное, омытое ночным дождем, небо. Еще утро, еще солнце не греет, а уже гудят над дикой малиной пчелы. Я слежу за ними прилежным глазом. Они живут короткое лето, мы — короткую жизнь. Они трудятся, мы — воюем. Они оставляют медовые соты, мы... Что мы оставим?..

Я «зеленый». Я скрываюсь в зеленом лесу. Я счастлив. Я счастлив, потому что слуга России.

5 июля.

Поздним вечером, огородами, мы подходим к Столбцам: я, Егоров и Федя. Сильно пахнет укропом и коноплей. Сияет луна. В лунном свете высокая тень — Груша в белом платке. Она шепчет:

— Сюда идите... Сюда.

Она проводит нас напрямик, задами. У четвертой избы, направо, я осторожно стучусь в окно.

— Кто там?

— Выдь на минутку, хозяин.

Щелкнул засов, из-за двери просунулась голова. Я узнал „дохматого из духовного звания“. Он огляделся вокруг и почесал поясницу.

— Товарищ из Ржева?

— Да... А ты кто такой?

Я не ответил. Я поднял руку и, не целясь, нажал курок. Блеснуло желтое пламя, по крыльцу пополз дым... Я не вошел. Вошли Егоров и Федя. Все так же сияет луна... На пустынной улице, у ворот, стоит Груша. Ее губы полуоткрыты. Она дышит часто и тяжело. Но она не уходит. Я говорю:

— Иди домой, Груша.

Она вздрагивает:

— Нет... Чего уж?.. Я обожду...

6 июля.

Егоров мне говорит:

— Мы вошли, а он как бросится на меня... Руку прокусил, рыжий чорт... Ну, этого Федя живо вывел в расход. А другой, паршивец, на полаты залез, трясется: — „Простите, православные, Христа ради...“ Я говорю: — „Конец твой пришел, богу молись, сукин сын...“ А он все свое: — „Верой и правдой буду служить, книжки буду для вас печатать...“ У него морда в крови, и глаз на нитке висит, а он про книжки толкует. Смехота!.. Тоже, сочинитель нашелся...

Полдень. Парит. В лагере пусто. Кто на часах, кто в разведке, кто спит. В тени, под широким кленом, „бандиты“ играют в „акульку“. Заправила, разумеется, Федя. Он посмеивается, подмигивает и жулит. Он никогда не остается „акулькой“: „уж такой, значит, фарт“... Егоров угрюмо смотрит. Смотрит он долго, потом с негодованием плюет:

— Тьфу! Табачищем воняют, картами дьявола тешат. Нехристи... Ужо погодите: будете в вечном огне гореть. Не простит господь грехов ваших!..

8 июля.

Иван Лукич — бывший советский „работник“. Вчера он заседал в „Исполкоме“, зубрил для „экзаменов“ Маркса и беспрекословно повиновался „Вцику“. Сегодня он с нами, в лесу. Он невысокого роста, но широк и крепок в плечах, — ладно скроен, неладно шит. Он сын дьячка, выгнанный за „неблагонадежность“ семинарист. Он пришел ко мне один, без оружия, миновав сторожевые посты, и начал с того, что заявил мрачно:

— Я должен предупредить, что я большевик.

Я с любопытством взглянул на него.

— Хочу стать зеленым.

— Большевик и — зеленый?

— Да. Довольно побаловались. Хорошего понемножку... Ведь рано или поздно, все равно ваша возьмет.

— Чья „наша“?

— Да мужиков...

Мне понравилась его откровенность. Я дал ему браунинг и винтовку и, платя его же монетой, сказал:

— Вы знаете, мы не только вешаем, но и грабим.

— Коммунистов?.. Так им и надо.

— Почему надо?

Он нахмурился.

— Я поверил им, как дурак... А они все наврали. Подлецы. Никому жить не дают. В свой карман норовят, — и только.

9 июля.

Груша приходит ночью, — босыми ногами пробирается по тропинкам. Меня волнует блеск ее глаз. Меня волнует ее молодое тело. В ней избыток неистраченных сил, неутолимая, почти звериная жажда. Покоем дышит земля. Тихо светится Млечный путь. Спят, как дети, „бандиты“. А в нас — палящий огонь.

Но Груша чужая. Мне чужд ее наивный язык: „Касатик... Соколик...“ Я вспоминаю Ольгу. И мне кажется, что это не Груша, а Ольга обнимает меня, что это не Груша, а Ольга ищет моего поцелуя. Ольга... Где дно колодца, разделившего нас?

10 июля.

„И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение. Такое землетрясение! Такое великое!“... Но гармоники „наяривают“ малиновым звоном, и парни горланят разухабистые частушки; но у околицы дерутся беловолосые, конечно, вшивые мальчуганы; но курится самогонка; но потрескивает и каплет смолой лучина; но матерная ругань висит топором. Те же расковырненные поля, те же неезженные проселки. А главное, там же „зимуют раки“. Над этими „раками“ я бьюсь давно и бесплодно... Где „молнии, громы и голоса“? Их нет. Есть вседержавная, всемужичкая, всероссийская порка, та самая, какая была при царе. И из-за этого пролились моря крови?..

Отец Груши, Степан Егорыч, „средняк“ — прежде зажиточный, а теперь полуразоренный крестьянин. Я спросил его, почему деревня не поддержала „белых“? Он задумался:

— Многоуважаемый, как бы это тебе получше растолковать? Тут не только в баловстве дело. Ты вот что пойми. Я гол, как сокол, и у меня паутина над образами. Зато сам себе барин. А придут генералы, может быть, и я разживусь, да не хозяином в своей хате, а холуем на барском дворе. Во то-то оно и есть.

— Но ведь тебя по-прежнему порют?

— Порют. Да кто порет-то? Ведь свои. Свой брат, фабричный или мужик... Мы их гадов, небось, одолеем. А бар, пожалуй, не одолеть...

Не в помещичьей ли усадьбе „зимуют раки“?

11 июля.

Иван Лукич ходил к Духовщине. Он докладывает:

— Я вошел и говорю: — „Товарищи, руки вверх!“..

Мужики попадали на колени, а заведующий ключи мне сует: — „Вот ключи, господин атаман“... Я приказал выбрасывать товар за окно: ситец, гвозди, кожу, подошвы. Потом говорю мужикам: — „Бери, ребята... Все ваше“. Они не верят: боятся. Я одному дал по шею: — „Бери, дубина... Дарю“. Стали расхватывать, подводы грузить. А заведующий, партийный работник, стоял-стоял, да как бросит шапку на пол: — „Эх, елки зеленые, чем я хуже других?“... И тоже стал подводу грузить. Коммунисты?.. Знаю я их. Все они таковы.

Он принес миллиард советских рублей. Я положил их в денежный ящик. У ящика часовой. Я опасаюсь „бандитов“. Не доглядишь, у своих украдут. Я мог бы тоже сказать: „Зеленые? Знаю я их... Все они таковы“.

12 июля.

Груша мне говорит:

— А когда Ржев будешь брать?

— Ржев?

— Ну да. Ведь не век же на печи прохлаждаться...

— На печи?..

Она смеется.

— Чем не печь? Живете, как в раю у Христа. Все у вас есть: и лошади, и коровы, и овцы, и самогонка. Кушаете, как бары, на скатертях. Отдыхаете, как купчихи, на шубах... Ишь, как этот одноглазый отъелся...

— Федя?

— Ну да, который вешатель твой.

— А тебе, Груша, завидно?

— Не завидно, а православные ждут.

— Ждут чего?

— Когда на Москву пойдешь.

Я смотрю на нее. Вот она рядом со мной, босоногая, в розовой кофте. В черных глазах ни тени смущения: надо идти на Москву.

— А почему мужики не идут?

— Силы их нету.

— Ну и у нас ее нет.

— У тебя?.. У тебя силы нет?..

Она хочет и не умеет сказать. Она верит: для нее со мной все возможно. Ведь судьба „назначила меня к бою“.

13 июля.

Я к вечеру возвращаюсь в лагерь. Садится солнце, в лесу сгущается мрак. Издали доносятся голоса. На поляне, под „акулькиным“ кленом, костер. Толпятся „бандиты“. Полыхают красные языки.

— Егоров!

Он подбрасывает поленьев в огонь. Потом, не торопясь, подходит ко мне.

— В чем дело, Егоров?

— Товарища провокатора жгем.

— Что?..

Я взглянул. Я только теперь заметил, что у клена стоит человек. Он привязан. Я узнаю Синицына, крестьянина из Можар. Сквозь дым белеются голые плечи. Торчит взлохмаченная, черная, закинутая вверх борода.

— Мерзавцы!..

— Никак нет, господин полковник. Что же с ним, с окаянным делать? Запороть, так время уйдет. Повесить, так людям зазорно будет... Вот и жгем помаленьку.

Я отвернулся. Я ушел без оглядки в поле. Уходя, я услышал:

— Бороду, Федя, бороду ему подпали.

14 июля.

Федя любит животных. Он с любовью ухаживает за лошадьми, с любовью доит коров. „Бессловесная тварь“ ему друг. Он подобрал в деревне щенка, Каштанку, и за позухой отнес его в лагерь. Щенок крохотный, белый, с желтыми подпалинами и брюхом. Он неуклюже ползает по траве и тычется носом в Федин сапог. Федя, как нянька, берет его на колени. Он вычесывает блох своим гребешком и, вычесав, с мылом моет его. Тихо и знойно. Федя поет по-лесному, по-псковски:

Как на горке, на горы,
Там дярущя комары,
Два дярущя,
Два смяющя,
Два убитыи ляжаць...

15 июля.

Меня разбудил летний дождь. Светает. По лесу идет тихий шорох. Все влажно. Все хмуро. Я встаю. У палатки спит часовой. Спят вповалку и остальные „бандиты“. Им „кап што“... Они давно не знают тревог. Я вдыхаю запах дождя. Я радусь его невнятного шуму. Я пью густой и прохладный воздух. В забытьи впадает душа. И вот опять, — нет лагеря, нет меня, нет „бандитов“, нет леса. Есть вечная и единая, благословенная, жизнь. И где-то есть Ольга.

16 июля.

Груша закрыла руками лицо и хохочет. Трясутся плечи, волнуется высокая грудь. Я спрашиваю:

— Груша, чего?

Она захлебывается от смеха.

— Вот уморушка... Вот так умора... Вешатель-то твой, Федя Мошенкин этот...

— Ну?

— Кандибобером ходит... Аграфеной Степановной величает, ленту мне давеча подарил... А сегодня пристал, серебряный целковый сует. А я его раз по щекам... Так и покатился, сердечный.

— Груша, зачем?

Она перестала смеяться и строго смотрит мне прямо в глаза:

— Зачем?.. Разве я гулящая девка?.. А что с тобой я гуляю, так не моя в том вина...

— А чья же?

Она молчит. Вот и соперник у меня: Федя.

17 июля.

Вреде ходил за Калугу и под Алексиным взорвал комиссарский поезд. Он вернулся с добычей: много денег, много бриллиантов и три трофея, — пулемет, печатъ „Губ-чека“ и орден Красного Знамени. Федя доволен: „Была манишка и записная книжка, а теперь и попросить на чаек не грех“. Я послал его в Москву за валютой. Валюту я раздам окрестным крестьянам. Они, конечно, зарюют ее в лесу.

У палатки Иван Лукич спорит с Вреде. Он курит и говорит:

— Вы вот думаете, что вы поручик. А поручиков давно уже нет. Были и быльем поросли.

Вреде сердится:

— А вы большевик.

— Ну так что же, что большевик?.. У вас труха в голове: честь, Россия, народ... А мне плевать на ваши идеи. Я беру жизнь, как она есть, без прикрас.

— Россия — прикраса?

— Да, и Россия прикраса. Вы не думайте о ней вовсе, а делайте свое дело. Муравейник велик. Мы, муравьи, каждый свою соломинку тащим.

— Вы какую?

— Пока ту же, что вы. А время придет, порознь пойдем.

Вреде насмешливо замечает:

— Вы, разумеется, в Коминтерн?

— Не в Коминтерн. Коминтерн — лавочка. В Коминтерне каналы... Я хутор куплю. А вы... Вы из бывших людей. Слопают вас.

— Кто слопают?

— Да такие, как я.

Вреде обиделся и уходит. В знойном воздухе предчувствуется гроза. Жалобно, сучая без Феде, повизгивает Каштанка.

18 июля.

Иван Лукич опять спорит с Вреде. Я слышу его семинарский бас: — Белые просто дрянь. И пора вам, ваше благородие, это понять. Вреде, как всегда горячится:

— Белые дрянь? Превосходно... Но почему? Потому, что грабили, расстреливали, пороли? А зеленые? Разве не грабят?.. Вот я ограбил поезд. Не порют?.. Вот вы выпороли вчера Каплюгу. За что?.. За пьянство. Разве за пьянство можно пороть?.. Не расстреливают?.. Да, конечно, потому что жгут на кострах... Почему же вы ругаете белых?

— Я не ругаю. Я говорю, что они мертвецы, что от них трупом воняет: его высочествами да золотопогонными генералами. А зеленые дело другое. Зеленые строят новую жизнь.

— Совдепскую?

— Нет, свою. Ну, а если даже совдепскую? Чем совдеп хуже земской управы?..

Длится нудный, нескончаемый спор. О чем они спорят?.. Белые мертвецы, но и зеленые не ангелы божии, но и красные поваленные гроба. Новая жизнь?.. Она строится где-то. Но где? Но кем? Но какая?.. Где всадник с мерой в руке?..

19 июля.

Я сегодня не мог уснуть. Затрепетал в орешнике ветер. Задрожала и заколыхалась палатка. Загудел вершиною клен. Потом все умолкло. Но вот разверзлись, как уголь, черные небеса. Бледным пламенем опоясался лес, и еще темнее стало в чаще. И сейчас же грозно загрохотали раскаты, и сильно и мягко застучал теплый дождь. Из темноты вышел Егоров:

— Илья пророк, батюшка, колесницей грохочет. За Иудой гоняется в облаках.

— Почему за Иудой?

— А как же? Знать, Иуда снова из ада бежал. Вот господь за ним и посылает Илью. Уж Илья ему спуску не даст.

Он крестится двуперстным крестом и долго молчит. Потом зевает.

— Дождик-то, дождик... Эка, прости господи, благодать!

Я говорю:

— А Синецын?

— Что-ж Синецын?.. Синецын без покаяния помер. Теперь с Иудой, в аду.

20 июля.

Мокеич — старый „бандит“, четыре года скрывающийся в лесу. Я послал его на разведку. Он был во Ржеве и в Вязьме. В Вязьме его поймали, но он бежал из „Че-ка“. У него „карточка“ в синяках, на спине фиолетовые рубцы и один из пальцев отрублен. Его „выспрашивали“, как он говорит. Он докладывает, что красные готовятся к наступлению. Вот уж поистине, стрелять из пушек по воро-

бьям. Нас двадцать семь человек. Правда, нас завтра может быть несколько тысяч. Но несколько тысяч крестьян не войско. Но из нашей, тлеющей, искры не возгорится бурное пламя, не разольется всероссийский пожар. „Старики“ находят, что следует „покедова что“ обождать. Я ждать не хочу, но против рожна не попрешь.

Мокеича лечит Егоров. Он поит его самогонкой и растирает рубцы „целебной травой“. Мокеич охает. Он клянется, что отрубит не один, а сто один палец... Он принес московскую прокламацию. В ней сказано: „В Ржевском уезде бесчинствует шайка бандитов, наемников Антанты и белогвардейцев. Товарищи, Республика в опасности! Товарищи, все на борьбу с бандитизмом! Да здравствует РСФСР!“ Я читаю вслух это воззвание. Егоров слушает и плачет:

— И не выговоришь: Ресефесер... Чего таиться? Говорили бы, дьяволы, прямо: Антихрист.

21 июля.

Груша нашла портрет Ольги. Ольга в белом кружевном платье стоит под зонтиком на дорожке. Я люблю этот домашний, такой простой и такой похожий портрет. Это — Сокольники. Это — невозвратимые дни.

— Она кто же будет тебе? Сестра?

— Нет, Груша, у меня нет сестры.

— Значит, невеста?..

Она вспыхнула. По лицу пробежала тень.

— Невеста иль не невеста, а что барыня, так видать... Куда уж мне, коровнице, с ней тягаться?..

— Груша...

— Верно, в хоромах живет, золотые наряды носит, серебряными каблучками стучит...

— Груша, молчи...

— Знаю я... Любится со мной, с мужичкой, а в жены взять барыню, ровню... Эх, барин, ведь так?..

Что могу я ответить? Я молчу. Она разгадала мое молчание:

— Стало быть, скучаешь о ней...

И вдруг говорит очень тихо:

— Ну что ж... Уж такая, видно, моя судьба...

22 июля.

Груша запыхалась, — бегом бежала от самых Столбцов:

— Каратели пришли... С пулеметами... Человек полтора роста...

— ЧОН?

— Да... Старика Кузьму, — помнишь, у которого те трое стояли, — сейчас к Иисусу, разложили, стали плетью пороть. Порют, а он „Отче наш“ читает... Начальник ихний как заорет на него: — „Чего молишься, старый хрыч?.. Сознавайся...“ Отпороли. Кузьма дотащился домой, на полати залег и сына позвал, Мишутку. „Мишутка, — говорит — это ничего, что выпороли меня, пуцай и совсем запорют, а ты винтовку бери, бей их, бесов. Убьют тебя. Серега пой-

дет". А каратели — шасть по дворам, коров, овец, лошадей, даже собак считают, оружия ищут, все допытываются, кто тех гадов убил. Стон на деревне стоит. Сказывают, всех стариков пороть будут, а молодых так в Сибирь ушлют... Господи, неужто погибнем, как мухи?..

Ее глаза горят сухим блеском. Губы сжаты. Она с тревогой ждет моего ответа... Она знает его заранее.

— Груша, жди меня ночью у Салопихинского ключа.

Она поняла. Она обрадовалась и шепчет:

— Бей их. Бей... Чтобы ни один живым не ушел, чтобы поколеть им всем, окаянным...

23 июля.

Я отобрал пятнадцать самых надежных „бандитов“ и разделил их на два отряда. Одним командую я, другим Вреде. Я пройду в Сголбцы от Салопихинского ключа. Вреде — с большой дороги. В 2 часа ночи мы выступаем.

Я оставил своих людей во ржи и один, межкою, иду в деревню. Ярко, перед рассветом, сверкают звезды. У околицы часовой.

— Кто идет?

— Не видишь, ворона?

Я в шлеме и красноармейской шинели. На рукаве кубики — командный состав.

— Где штаб полка?

— Направо, у церкви, товарищ.

Не деревня, а сонное царство. Спят „каратели“, спят и крестьяне, — готовятся к поголовной порке. Мне вспоминается отец Груши: „Да кто порет—то? Ведь свои... Свой брат, фабричный или мужик...“ На завалинке, у церковного дома, огонек папиросы. Я вынимаю наган.

— Здесь штаб полка?

— Здесь. А ты кто такой?

— Товарищ.

— Товарищ?.. Документы есть?

Звякнули шпоры, — он встал. Тогда я говорю:

— Руки вверх!

Я увидел, как он схватился за шашку. Но я выстрелил в грудь, в упор. Выстрелив, я вхожу в сени. Скрипнула дубовая дверь, желтым светом ослепило глаза. На кроватях — „товарищи-командиры“. Их трое. На столе самогонка. Я опять говорю:

— Руки вверх!

Я стреляю на выбор, слева, по очереди и в лоб. Я целюсь медленно, внимательно, долго. Но уже на улице шум. Это Вреде. Это Егоров. „Ура!.. Ура!.. Ура!..“ Я выхожу на крыльцо. По деревне мечутся люди, без винтовок, в одном белье. Во все горло поют петьки.

24 июля.

Вреде арестовал „военкома“ и привел его в лагерь. „Военком“, молодой человек, в пенсне, из бывших студентов. Он бос: сапоги снял Мокенич. Он вздрагивает и озирается исподлобья. Я спрашиваю:

— Ты член коммунистической партии?

Он опускает глаза — не смеет признаться. Я смотрю на худое, иссиня бледное, перекошенное испугом, лицо.

— Я повешу тебя.

Он падает в пыль, на колени. Он на коленях подползает ко мне.

— Товарищ!.. Товарищ полковник!.. Пощадите!.. Ведь я еще молодой...

— Из молодых да ранний... — перебивает его Егоров. — Вставай!.. Нечего зря болтать языком.

— Я молодой... Дайте мне послужить...

— Кому послужить?

— Народу...

— Народу хочешь служить? — говорит Егоров. — Бес. Сукин сын.

„Бандиты“ смеются. Они рады: „военком“, да еще студент... Свалилось с длинного носа пенсне, заморгали опущенные ресницы, и из глаз покатались слезы:

— Товарищ полковник!.. Товарищ полковник!..

Я вернулся в палатку. И из палатки услышал визг. Так не кричит человек. Так визжит подстреленный заяц.

25 июля.

За лагерем бежит речка, приток Днепра, Взмостя. Держась рукой за лозняк, я спускаюсь к заводи, — к тихой воде. Осока царапает мне лицо, нога скользит по затонувшей каряге. Я плыву по течению. Наперерез плывет уж. Он поднял желтую, с раздвоенным жалом, головку и ныряет в поднятых мною волнах. Я смотрю на него. Я смотрю на высокое солнце, на серебряный, струящийся луч, на зеленый, поросший ольхою, берег, и не верю, не могу поверить себе, неужели завтра то же, что и сегодня? Неужели завтра снова „клюквенный сок“?

26 июля.

У меня две—три книжки, чтобы не одичать в дремучем лесу. Евангелие, рассказы Пушкина, стихи Баратынского. Сегодня я раскрыл наудачу:

Но ненастье заревет,
И до облак свод небесный,
Омрачившись, вознесет
Прах земной и лист древесный.
Бедный дух! Ничтожный дух!
Дуновенье роковое
Вьет, кружит меня, как пух,
Мчит под небо громовое.

Не о нас ли сказаны эти слова? Не „пух“ ли мы? Не „пух“ ли повешенный „военком“, сожженный Синицын, запоротый до полусмерти Кузьма? Не „пух“ ли Федя, Егоров, Мокенич, мы все, зеленые, красные, белые, — навоз и семя России?..

В тучу кроюсь я, и в ней
Мчуся, чужд земного края,
Страшный глас людских скорбей
Гласом бури заглушая.

27 июля.

Приехал из Москвы Федя. На нем новый, синего цвета, „педзяк“ и щеголеватые бриджи в клетку. В этом наряде он похож на берейтора из провинциального цирка. Он доволен собой. Он то и дело вынимает зеркальце из кармана и приглаживает пробор: „кандибобером ходит“... Я спрашиваю его:

- Разменял?
- Разменял, господин полковник.
- Сколько?
- Две тысячи пятьсот фунтов.

Он рассказывает про привольную московскую жизнь. „Бандиты“ окружили его. Они слушают с упоением. На вершинах деревьев золото вечернего солнца. Внизу сумерки. Хороводами жужжат комары.

— Люди, как люди, и живут по-людски. В рулетку играют, ликеры заграничные пьют, девиц на Роль-Ройсах возят. Одним словом, Кузнецкий мост. Выйдешь, часика этак, в четыре, — дым ко-ромыслом: рысаки, содкомы, нэпманы, комиссары... Ни дать, ни взять, как до войны, при царе. Вот она, рабочая власть... Коммуной-то и не пахнет. В гору холуй пошел. Жи-вут!.. А мы, сиволापые, рыжики в лесу собираем... Эх!..

Егоров морщит седые брови:

- Помалкивал бы в тряпичку, Федя. Соблазн.
- А что?.. В Москву захотелось?
- Язва, отстань... Бесом стал. Бесов тешишь.

Федя смеется. Смеется и беспалый Мокенич, и выпоротый недавно Каплюга, и Титов, и Сенька, и Хведощеня, и вся лесная зеленая братия. Всем весело. Всем завидно. Завидно, что где-то, за тридцать земель, в далекой Москве, „в гору холуй пошел“ и „люди живут по-людски“.

„По-людски“: „девиц на Роль-Ройсах возят“... Я спрашиваю себя: семя мы или только навоз?

28 июля.

Иван Лукич — казначей. Он пересчитал сегодня фунты и говорит мрачно:

- Вот мерзавцы... Украли.
- Много?
- Триста пятьдесят фунтов.

Домашний вор — худший вор. Я приказываю выстроить

„шайку“. „Бандиты“ построились в три ряда, на поляне, у „акулькина“ клена, там, где жгли Синицына на костре. Моросит мелкий дождь.

— Смирно!

Они по-солдатски повернули глаза направо и замерли в ожидании. Я говорю:

— Ночью украли деньги. Кто украл, выходи.

В заднем ряду поднимается шум. Я слышу, как Каплюга вполголоса говорит:

— Чьи деньги—то? Разве не наши?.. Как в набег, так „за мной“, а делиться, так и врозь табачок... Правильно, товарищи, или нет?

Каплюга — бывший матрос. Но он не „гордость и краса революции“, а пьяница, разбойник и вор. Я взял его в плен в Бобруйске.

— Каплюга.

Он не отвечает, — прячется за чужие спины. Я повторяю:

— Каплюга.

Он медленно, нехотя, выходит из строя. Руки в карманы, шапка сдвинута на затылок. Он покачивается. Он пьян.

— Шапку долой!

— Зачем? И так постою. Не в божьей церкви, небось!..

Я сильно, с размаху, ударил его в лицо.

— Молчать! Ты украл?

Он вытирает кровь рукавом и бормочет:

— Украл?.. И не украл даже вовсе... Просто взял... Свое взял, господин полковник.

— Свое?

— Так точно, свое...

— Повесить.

Егоров и Федя подходят к нему. По-прежнему моросит надоедливый дождь.

29 июля.

Меня гложет лесная тоска. Я в тюрьме. Не ветви, а узорчатая решетка. Не шелест листьев, а звон кандалных цепей. Не лагерь, а четыре голых стены. Нет, не выйти из мелового круга: Федя, Егоров, Вреде. Нет, не разорвать сомкнувшегося кольца: плети, виселицы, расстрел... „Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог: ждал сострадания, но нет его, — утешителей, но не нахожу...“ Где Ольга? Что с нею?

30 июля.

Собирайтесь, девки, все,
Я нашел трубу в овсе...
Труба лыса, без волос,
Обсосала весь овес...

Федя полулежит на траве и пробует гармонику—итальянку. Он в бриджах и хромовых сапогах.

— Федя.

Он вскакивает.

— Слушаю, господин полковник.

— Успокоились?

— А то как же?.. Вот выпороть бы еще Титова да Хведощеню, так и совсем бы за ум взялись...

— Они воровали тоже?

— Ничего нет... А все-таки... На всякий пожарный случай.

Он гладит Каштанку. Каштанка, играя, старается укунуть ему палец. Федя смеется:

— У, беззубая... У, животина... А с нашим братом, господин полковник, иначе нельзя. Учить нас надо. Малохольный мы, господин полковник, народ... Только о себе и мечтаем.

31 июля.

Вреде и Иван Лукич помирились. Они больше не спорят: каждый думает, что он прав. Но Иван Лукич „шутильник“, по выражению Феде. За обедом он говорит:

— Значит, ваше благородие, вы теперь спец?

— Я спец?.. По какой это части?

— По дамской.

Вреде краснеет.

— Что вы хотите этим сказать?

— А вот, Грушенька эта... В розовой кофте... Жанна д'Арк из Столбцов... „Узнаю коней ретивых“... Как сказал господин поэт, Александр Пушкин.

Вреде опускает глаза в тарелку. Мне жаль его. Я заметил: ему нравится Груша. Но он застенчив. Он не смеет к ней подойти. Он не знает, что и как ей сказать. Он барин... Может быть, она действительно кажется ему Жанной д'Арк?

Федя подает на подносе чай. Поднос старинный, серебряный, с чернью. Его „покупил“ в одном из „совхозов“ покойный Каплюга. Иван Лукич продолжает:

— А вы бы конфеток ей поднесли, сладких, дворянских, от Абрикосова или Сиу. Или вот, духов от Брокара... И вообразили бы, что она не мужичка, а вдруг княгиня или, по крайней мере, генеральская дочь...

— Аграфена Степановна? — щурит Федя единственный глаз. — Да если ее нарядить, так ведь она всех княгинь за пояс заткнет, так ведь она первой красавицей будет... Не девка, а настоящий бутон, господин поручик.

Аграфена Степановна... Груша... Я ее не люблю. Но делиться ею не буду ни с кем.

1 августа.

Груша ночью прокралась ко мне. Она обнимает меня и шепчет:

— Слава богу, погубил ты их, проклятых бесов. Только боязно: вернутся обратно...

Да, вернутся обратно. Да, сожгут Столбцы и не осатавят камня на камне. „Каратели“ усмиряют повсюду. Уже киргизы хозяйнича-

ют под Духовщиной. Уже китайцы расстреливают в Можарах. Уже „работает“ в Сычевке „Че-ка“. Что делать?

— Возьми ты меня, Христа ради, с собою...

— Куда?

— Куда хочешь... В Москву.

Опять Москва. Опять ни тени смущения. Опять нерассуждающая уверенность в своих, — в моих, — силах. Но вот лицо ее потемнело:

— А та... А барыня... Где живет?

— В Москве.

— В Москве...

Она плачет. Льются женские, обильные слезы.

Мне скучно. Я говорю:

— Груша, а Вреде?

— Офицерик-то, баринок-то этот?.. Мало их, что ли? Липнут, точно мухи на мед. Для баловства они это, стоялые жеребцы...

Я знаю: она целиком со мною. Но что я могу? Ведь, может быть, завтра не будет Груши, не будет меня... Я целую ее. От нее пахнет сеном.

2 августа.

Иван Лукич — фабричное производство. Таких, как он, Россия ежедневно штампует десятки. Но он не нашего штампа. Мы выросли в парниках, в тюрьме или в „вишневом саду“. Для нас книга была откровением. Мы знали Ницше, но не умели отличить озимых от яровых; „спасали“ народ, но судили о нем по московским „Ванькам“; „готовили“ революцию, но брезгливо отворачивались от крови. Мы были барами, народолюбцами из дворян. Нас сменили новые люди. Они „мечтают“ единственно о себе.

Вечер. Теплится восковая свеча. Иван Лукич ночует сегодня в палатке. Он зеваает, потом говорит:

— Хутор куплю, заведу голландских коров, лен посею... И женюсь на богатой.

— Да ведь вас сперва на „сосиски“...

— Не беспокойтесь. Я их рыбе слово знаю... Почему я от них ушел? Очень просто. Мне все равно: Совнарком, Советы, Учредительное собрание или даже пусть чорт собачий... Но я работать хочу. Понимаете, для себя хочу, а не для барских затей или для социализации дурацкой. Ну, а при коммуне разве это возможно? Зубри книжонки, пой „это будет последний...“, да „товарищам“ взятки давай. Вот, когда мужик одолеет, то будет порядок. Мне нужен порядок: я за собственность. А где собственность, там должен быть и закон.

— А вы собственник?

— Нет. Но буду... Покойной ночи. Приятного сна.

Он тушит свечу и отворачивается к стене, — к брезенту. Ему нужен порядок. Поэтому он „бандит“. Он за собственность. Поэто-

му он был коммунистом... А Россия? Россия — „прикраса“... Не счастливее, не богаче ли я его?

3 августа.

Я иду проселком, между полями. Еще не скошена рожь, еще алеют красные маки, и в янтарных колосьях прячутся синие звездочки, васильки. Полдень. Сладкой горечью пахнет полынь.

У Можар я сворачиваю на большую дорогу. На дороге знакомый хутор. Здесь живет „резидент“, мой старый приятель, купец Илья Кораблев.

Пусто на огородах. Пусто в конюшне. Пусто на просторном чисто выметенном дворе. Только в пруду полощутся и брызжут водой утки. На заборе — десятилетний мальчишка. Он болтает голыми, черными от загара, ногами.

— Здравствуй... Не узнаешь, что ли, Володька?

— Проходи.

Проходи... Я люблю детей, люблю и Володьку. Он всегда выбегал мне навстречу. Он рассказывал про свои мальчишеские дела. Про голавлей, про кукушкины гнезда, про крыс, про жеребую кобылу Феклушу. Но сегодня он мрачен. Он глядит исподлобья, волчком.

— Тятка дома?

Он нахмурился и молчит.

— Где тятка?

— Нету тятки... Убили. Приехали и убили.

— Кто убил?

— Да чего стоишь-то? Сказано: проходи...

— А мамка?

Дрогнули румяные губы. Он машет худой, тоже загорелой, ручонкой.

— Мамка?.. Мамку с собой... увезли...

— Что же ты, Володька, один?

— Я да Жучка остались... Да проходи ты, бестолковый какой...

Неровен час, убьют и меня.

Я медленно возвращаюсь в лагерь.

4 августа

Иван Лукич был в разведке. Он докладывает:

— Иду, а у Салопихинского ключа городской, милицейский. Подошел. Покурили, поговорили. То да се, да кто, да откуда. Я говорю: — „коммунист“, и документ ему показал. Он и пошел: — „Я тоже“ — говорит — „коммунист“. Сколько я этих белых на своем веку в расход вывел... На сибирском фронте, у Омска... А теперь вот зеленых ловлю. Шайка тут бандитская завелась. Ну, да мы ее живо поймаем. Попляшут они, родненькие, в „Че-ка“... Я слушал, слушал и говорю: — „Молодец, нечего сказать, молодец“... А потом наган вынул и приставил к виску. Он не верит: — „Полно шутить, товарищ“... — „Какие шутки?.. Руки, родненький, вверх“... Так у

него даже волосы под шапкой зашевелились. Вот часы и партийный билет.

Федя вертит часы в руках. Часы золотые со звоном. Федя ставит стрелку на „звон“:

— Три, четыре, пять, шесть... Шесть часов. Вот так ловко... Самоварчик разве поставит?.. Эх, верчу, переверчу, самоварчик вскипачу да Ивану Лукичу... С находкой вас, господин корнет.

5 августа.

„Не убий“... Мне снова вспоминаются эти слова. Кто сказал их? Зачем?.. Зачем неисполнимые, непосильные для немощных душ заветы? Мы живем „в злобе и зависти, мы гнусны и ненавидим друг друга“. Но ведь не мы раскрыли книгу, написанную „внутри и отвне“. Но ведь не мы сказали: „Иди и смотри“... Один конь — белый, и всаднику даны лук и венец. Другой конь — рыжий, и у всадника меч. Третий конь — бледный, и всаднику имя смерть. А четвертый конь — вороной, и у всадника мера в руке. Я слышу и многие слышат: „Доколе, владыка святой и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?“

6 августа.

Цветут липы. Земля обрызгана бледно-желтыми, душистыми лепестками. Зноем томится лес, дышит земляничкой и медом. Неторопливо высвистывает свою песню удод, неторопливо скребутся по ползни в сосновой коре, и звонко, в тающих облаках, кричит невидимый ястреб. Днем — бестревожная жизнь, ночью — смерть. Ночью незаметно шелохнется трава, и зашуршит листьями орешник. Что-то жалостно пискнет... Жалкий то предсмертный писк. Я знаю: в лесу опять совершилось убийство.

7 августа.

Вреде мне говорит:

— Не то, Юрий Николаевич, не то...

— О чем вы, Вреде?

— О нас, о зеленых... Ну, пусть белые дрянь. Так ведь я от белых ушел... Я думал, что здесь, в лесу, лучше...

— В лесу, действительно, лучше.

— Лучше?.. А зеленая, а мужицкая тьма?.. „Педзяки“, Антихристы, Илья Пророки, костры... И, в сущности, всеобщее „вышибай днице“...

— Что же, Вреде, вы за красных теперь?..

Он вспыхивает.

— За красных?.. Как вы можете так говорить? Я хочу честной жизни, я хочу открытого боя. Я офицер. Я не бандит, не разбойник... Ну хорошо. Мы победим, мужики победят... Что дальше? Мужичье царство?

— Да, мужичье царство.

— А мы?

Я улыбаюсь:

— Чего вы хотите, Вреде?

Он задумался. Потом медленно говорит:

— Чего я хочу?.. Я хочу, чтобы Мокенчам не рубили пальцев и чтобы Володьки не оставались одни. Я хочу, чтобы не воровали Каплюги. Я хочу, чтобы не было ни „рыжих“, ни „лохматых“, ни военкомов, ни провокаторов, ни Че-ка... Я хочу...

Я перебиваю его:

— Вы хотите земного рая...

В лесу лицо его огрубело. Но он все еще хрупкий, похожий на девушку, мальчик. Он не может примириться со „злом“. Он не знает, что четвертый конь — конь вороной... Он в волнении спрашивает меня:

— За что мы боремся? Объясните.

И я говорю:

— За Россию.

8 августа.

Степан Егорыч, Грушин отец, ночью пробрался в лагерь. Я с трудом узнаю его: у него клочьями вырвана борода, один глаз распух и из другого сочится кровь. Федя смотрит, потом говорит: „Так-с. Стало быть, били в морду, как в бубен... И что это, в самом деле, за люди? И что это за мерзавцы такие? Ей-богу, креста на них нет“... Степан Егорыч вздыхает:

— Ох, многоуважаемый, всех забрали, а нас, стариков, пороть... Говорят: „Деревню сожжем, чтобы и память о ней забылась, а вы, старики, как хотите. Поколете, туда и дорога“... Груша не хотела идти. Схватила топор: „Убью“... Ну, да где уж?.. Скрутили ее, повезли. Ох, заступись, заступись... Что делать-то? Ох, владычица богородица, пресвятая великомученица Варвара...

Я понял одно, — я понял, что арестована Груша. Я спрашиваю: — Куда повезли? Во Ржев?

— Во Ржев, многоуважаемый, во Ржев... Через Зубово и Сычевку...

Я говорю Феде:

— Седлай.

Он бросился к стреноженным лошадям. Я жду. Мне холодно. У меня дрожат руки.

9 августа.

Я вброд переправился через Взмостье и, не разбирая пути, покачал к Сычевскому тракту. Я скакал по лесным тропинкам, по оврагам и сжатым полям. Ветви обжигали лицо, шумели листья в ушах. Взмыленный конь храпел, — я вспомнил Голубку. Я бил его до изнеможения нагайкой, я рвал шпорами исхлестанные бока. Он шатался, когда вдали показалась Сычевка. Поздно. В Сычевке не было Груши.

10 августа.

Федя ходил во Ржев. Он узнал, что Груша сидит в „Че-ка“. Ее допрашивали, — она не вымолвила ни слова. Ей грозят „пробками“ и Москвой. Я знаю, что значат „пробки“. Стены, пол, потолок — обшиты пробковыми щитами. Нет воздуха, нечем дышать. Человек понемногу теряет разум, теряет силы, теряет волю... У китайцев есть пытка крысой. Живую крысу сажают в кастрюлю. Кастрюлю ставят заключенному на живот. Крыса ищет исхода, — перегрызает сначала кожу, потом кишки, потом спину, пока не выйдет наружу, пока не изгрызет, не источит до смерти человека... Не детская ли забава костер?

Я не сплю. Трещат кузнечики в соснах. Их треск, сухой и горячий, не дает мне покоя. Я вижу Грушу, ее высокую и белую грудь. Пахнет сеном... Егоров скосил поляну, и у палатки свежие, окропленные росой, копны. „Господи, неужто погибнем?“... Нет, она не погибнет. Погибнут те, кто скрутили ее. Погибнут гады. Погибнут бесы... Вреде окликает меня в темноте:

— Юрий Николаевич, что делать?

— Как что делать?.. Пойдем во Ржев.

— Но ведь нас всего три десятка...

— Если страшно, оставайтесь, Вреде, в лесу.

Он молчит. Зачем я обидел его? Я ведь знаю: он для Груши первый войдет во Ржев.

11 августа.

Нет Груши... Вечером я не слышу ее шагов, утром не вижу ее улыбки. Я не в тюрьме, я в пустыне. Никто не скажет: „Касатик... Соколик...“ Никто не рассмеется веселым смехом. Никто не заплачет. Кругом глухая и хмурая ночь, — „зверь стокий“.

12 августа.

— Ты, Федя, взорвешь мост на Гжати. Вы, Вреде, войдете во Ржев с востока, по московской дороге. Я войду от Сычевки, с юга. Мое дело Че-ка, ваше — Уисполком. Сбор у комендантской команды. Гарнизон небольшой: красные ушли на Калугу, ищут нас под Мещовском. Иван Лукич и Егоров пойдут со мною. Время — 3 часа ночи.

Вот моя диспозиция. Не диспозиция, а безрассудство. Так сказал бы полковник Мейер. Так, конечно, думает Вреде. Я говорю: гарнизон небольшой, но „небольшой“ означает человек триста. Мне все равно, потому что нет Груши, и еще потому, что „преследуйте врагов и настигайте их, и не возвращайтесь, доколе не истребите их“.

13 августа.

Мы взяли Ржев. Мы взяли его на рассвете, когда всходило румяное солнце и в пригородной церкви Николая на Кузнецях звонили к ранней обедне. Убит Мокеич, убит Титов, убит Хведощеня и ра-

нено двенадцать „бандитов“. Но город в наших руках. Мы — калифы на час. Где Груша?

14 августа.

Груши нет... Я не нашел ее ни в „Че-ка“, ни в уездной тюрьме, ни в казарме. Груши нет... Зачем же я пожертвовал „шайкой“? Зачем же мы брали Ржев?

Вреде докладывает, что красные наступают. Из Москвы идут три дивизии... Три дивизии... Хорошо. Мы уйдем. Хорошо. Мы уйдем без Груши. Я зову Федю:

- Федя, сколько на площади фонарей?
- Не считал, господин полковник.
- Сосчитай. И на каждый фонарь повесь. Понял?
- Понял. Так точно.

15 августа.

Я сказал: „спасайся, кто может“, и уже нет „бандитов“ и „шайки“. Нет никого. Есть отдельные невооруженные люди. Они рассеялись по окрестным лесам. С кем же красные будут драться?

Я верхом ухожу из Ржева. Чего я достиг?... Вот опять знакомое, столетнее, утомление. Нет, хуже. Позади — опустелый лагерь, впереди... На что надеяться впереди? Запылали деревни вокруг, свистит плеть, трещат пулеметы. Нет конца самоубийственной бойне. Изошла слезами Россия и исчах великий народ.

Вечереет. Красным заревом разгорелась заря и погасла. На прозрачном, бледно-зеленом небе девять черных столбов. Девять повисших тел. Все без шапок, в нижнем белье. Все с открытыми, слепыми глазами. И все качаются на ветру.

За Москву. За Столбцы. За Грушу.

III

3 февраля.

Я подхожу к телефону.

— 170-03...

.....

— Алло! 170-03? Попросите товарища Ковалева.

.....

— Алло! Это ты, Федя?

— Я, господин полковник.

— Осторожнее. Какой я теперь полковник?

Я слышу, как он смеется.

— Бог не выдаст, свинья не съест... Плевать я на них хочу...

— Ну что?

— В Кунцеве. На третьем запасном пути.

— Так... Ну, а ты как живешь?

— Я-то? Скоро за усердие в комиссары произведут... Вчера

обыск делал. Саботажника одного из белогвардейцев ловил. Только убежал проклятуший...

Я вешаю трубку. Итак, поезд в Кунцеве. Мы тоже „саботажники“ и „белогвардейцы“. Мы взорвем его на этой неделе.

4 февраля.

Федя — не Мошенкин, а Ковалев. Он состоит сотрудником „Ве-че-ка“. Егоров — не Егоров, а Ларионов. Он служит сторожем в „Наркомздраве“. Вреде — не Вреде, а Лазо. Он в красной армии, командует эскадромом. У всех троих фальшивые, точнее „мертвые“ документы — документы убитых. Все трое в партии — „убежденные коммунисты“. Иван Лукич — „спекулянт“, живет под своей фамилией и держит связь с „Комитетом“. Я — без имени, невидимкой, скрываюсь у разных людей. Эти люди, конечно, рискуют жизнью.

Я в Москве. Невозможное стало возможным...

Я могу сказать про себя: „Я день и ночь пробыл в глубине морской, был много раз в путешествиях, в опасностях от разбойников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в труде и в изнурении, часто в бдении, часто в посте, на стуже и в нагоде“.

Где я теперь? Не снова ли в „глубине морской“?

5 февраля.

Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе...

А сегодня... Сегодня я не нахожу любимой Москвы. Сегодня мне все чужое. На площадях — казенные „монументы“. На вывесках — оскорбительные для русского уха слова. Памятник Марксу. Господи, Марксу!.. И тут же „Наркомздрав“... „Пролеткульт“... „Москвотоп“... „Наркомпрод“... Я иду по Арбату. Сияет зимнее солнце, хрустит под ногами снег. Те же тополи, те же березы, те же задумчивые особняки. Тот же уездный, московский, быт. Но вот загудела, задымила нефтью „машина“. Грохот и нахальный свисток. Пронесется „владыки мира сего“. „В гору холуй пошел“... Я опускаю глаза. Я не хочу, я не могу видеть их.

Ольга жила на Цветном бульваре. Я вошел на широкий двор и поднялся в четвертый этаж. Мне открыл скуластый, в кожаной куртке „товарищ“: „Нет такой... Не живет“... Когда захлопнулась дверь, я долго стоял на площадке. Темнело. Внизу, в „домкоме“, — в швейцарской, — ругались громкие голоса.

6 февраля.

В моей комнате голые стены и накрытый грязной скатертью стол. На столе нечищенный самовар. За самоваром Егоров. Он пьет чай. Он пьет его по-крестьянски — с блюдечка и вприкуску, и, разумеется, из своей посуды. Он носит ее в кармане.

— Как же ты пьешь в „Наркомздраве“? Ведь религия — „опиум для народа“...

— Как пью? По закону... Один бес пытался было подъехать ко мне: „Какой, мол, ты коммунист? Какой, мол, ты бессознательный пролетарий? Бога нет. Бога выдумали попы“... Ну, я его поучил маленько: „Коммуна коммуной, а о боге не смей. Не то голову отвинчу“... Ох, господин полковник, не пристало мне ползать ужом. Да и толку нет, пока что... А грех-то, грех-то какой...

— В чем грех, Егоров?

— Как в чем? Цельный день промежду бесов. Бесовские речи слышишь. Бесам угождаешь. Того и гляди, и сам в бесы угодишь...

Хозяйка, Пелагея Петровна, выносит выпитый самовар. У нее истощенное, с зеленоватым оттенком, лицо. Ее муж, механик, работает на заводе, — „не на заводе, а на каторге царской“, как она говорит. Егоров косится исподлобья:

— Тоже бесовка?

— Нет, своя... Слушай, Егоров...

— Я, господин полковник.

— В Кунцево, на третьем запасном пути стоит поезд. В нем снаряды для московского гарнизона. Завтра у тебя службы нет. Ты взорвешь его во время обеда.

Он кивает длинною бородой: „вот и толк, слава богу“. Потом говорит отчетливо, как в строю:

— Слушаюсь, господин полковник.

7 февраля.

Кунцево. Морозное утро. Снежный блеск ослепляет глаза. Направо парк, пушистые треугольники елей, — „пивные бутылки“, сказал бы „художник“ Федя. Налево станция, — рельсы. Третий запасный путь.

Без пяти минут час. Я жду... Я вижу: в четвертом вагоне от паровоза блеснула искра. Она блеснула, потом погасла. Потом вдруг вспыхнуло пламя. Раздался гул, глухой и короткий. И сейчас же, взметая щепки, из вагона вырвался смерч. Он фонтаном взвился до небес и расплылся продолговатым, огненно-желтым, огромным кольцом. Это кольцо застыло. Оно повисло над лесом, грозный и всевидящий глаз.

Засвистели осколки... Я не пытался уйти. Ноги вросли в холодную землю. Я ждал конца. Я ждал последнего взрыва. Зачем? Я не знаю... Я хочу и не умею сказать.

8 февраля.

Мое окно выходит во двор. Пейзаж — мусорная яма и сосульки на водосточной трубе. Полумрак даже в полдень. Зловоние даже в мороз. И это Москва?

Издали, в лесу и в походе, Москва сияла путеводной звездой. Ну вот, я в Москве. Светлый праздник? Нет, будни. Будни — утренний самовар, будни — серая Пелагея Петровна, будни — Пре-

чистенка и Арбат. Трудно жить без „возвышающего обмана“. Еще труднее бороться. Груша боролась за жизнь. За что я борюсь?

Я не верю в „программы“ и, разумеется, не верю „вождям“. Я тоже борюсь за жизнь, за право жить на земле. Борюсь, как зверь, когтями, зубами, кровью... Я сказал: „на земле“. Неправда. Не на земле, а в России, только в России. Пусть будни. Пусть мусорная яма. Пусть полумрак. Но это свое и родное. Как своя и родная Ольга.

9 февраля.

Мы сидим на Страстном бульваре. Сумерки. В переулках ветер. Зажигаются фонари. Федя сплевывает:

— А я, господин полковник, „товарища“ вывел в расход.

— Что ты, Федя? В Москве?..

— Так точно. В Москве. Начальник мой, Соболь ему фамилия.

— Когда?

— Да ночью сегодня. Узнал я, что он на Девичьем поле живет. Вот и поджидаю в воротах, вроде будто грабитель. Никого. Хоть шаром покати. Вдруг, гляжу: семенит, разбойник, ногами. Ну, я вышел, шапку с него сорвал, да наганом хватить по затылку. Он и сел. Я с него шубу снимаю, а он вытаращил глаза и бормочет: „Ковалев... Ковалев...“ Это, стало быть, я. Ну, я его, понятно, пришил.

— И ограбил?

— Неужели, по-вашему, добру пропадать?.. А утром, на службе, скандал: „Товарищ Соболь убит... в видах ограбления“. Я заикнулся: „Товарищи, а может быть белогвардейцы?“ Какой там... Ведь неприятность, если белогвардейцы: не доглядели. А тут еще этот взрыв... Хлопот полон рот. Насилу освободился. Не пускали. Хотели, чтобы я убийцу ловил.

Он ухмыляется. Он и здесь играет в „акульку“, — без проигрыша, конечно. Вот уж, поистине, безоблачная душа.

10 февраля.

Сегодня день моего рождения. Я, конечно, забыл о нем. Но Федя вспомнил и поднес мне „картинку“. На „картинке“ красками нарисован букет. Цветы перевязаны розовой лентой. На ленте стихок:

Поздравляют вас бандиты
И желают счастья вам,
Вы отец наш знаменитый
На страх гадам и бесам.

Под „стишком“ каллиграфически написанный адрес Ольги: Молчановский переулок, десять. Федя узнал его в „Ве-че-ка“... Я нашел Ольгу. Я счастлив.

— Спасибо, Федя... Но почему же „отец“, да еще „знаменитый“?

— Знаменитый, потому что прославились в Бобруйске и Ржеве, а отец...

Он сморкается в шелковый, „покупленный“, конечно, платок. Потом говорит, моргая единственным глазом:

— А отец, потому что... потому что не погнушались нами...

11 февраля.

Она вскрикнула и отступила назад. И, не садясь и не предлагая мне сесть, сказала:

— Жорж, ты — бандит?

Я взглянул на нее. Вот черное, закрытое доверху, платье. Вот узкая, без колец, рука. Она острижена. В ней что-то чуждое мне. Монашенка? Или... или... Нет, не может этого быть.

— А ты? Кто ты такая?

Она отвечает твердо:

— Я — коммунистка.

Я сел. Я только теперь заметил, что в комнате нет ничего: стол, кровать и два стула. На стене портрет Маркса.

— Ты — бандит?

— Да, я „бандит“.

— Белогвардеец?

— Белогвардеец.

— Наемник Антанты?

Зачем казенные, заученные слова? Я холодно говорю:

— Меня нельзя купить, Ольга.

— Так для чего?.. Почему?..

Она всплеснула руками. Она силится и не может понять... Я тоже.

12 февраля.

Ольга взволнованно говорит:

— Жорж... Ведь ты боролся для революции. Скажи правду, разве вы совершили ее? Ведь мы низвергли царя. Ведь мы завоевали свободу...

— Ольга, не говори о свободе.

— Ведь мы восстановили Россию...

— Не говори о России.

— Почему?

— Потому что свободы нет. Потому что России нет.

— Свободы нет?.. А вы? Не вешаете? Не расстреливаете? Не жжете? России нет? А вы? Не ходите по чужим передним?

— Ольга, молчи.

Она встала. Ее глаза потемнели. Она рукой стучит по столу.

— Что для вас народные слезы и кровь? Что для вас справедливость? Вы родину любите для себя. Вы свободу цените только вашу... И вы не видите, что рушится старый мир... Нет... Вы предали революцию... Вы изменили России... Вы враги... Слышишь, Жорж, ты мой враг...

Я тоже встаю.

— Что же, Ольга? Донеси на меня.

— Что ты? Господи, что ты, Жорж?..

Она закрыла лицо и плачет. Кто это? Ольга?.. И где я? В келье? В скиту? И зачем этот образ, — в золоченой раме портрет?.. Я слышу, — она говорит сквозь слезы:

— Жорж... Жорж... Зачем ты пришел?

13 февраля.

Зачем я пришел?.. „Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее: итак, если ты поклонись мне, то все будет твое“. Искушавший говорил почти правду. Царства принадлежали ему, камень иногда становится хлебом, и можно броситься вниз и не преткнуться ногой. В этом „почти“ — весь соблазн. Что есть истина? Мы не знаем ее. Не знают ее и они. Пройдет мгновение — и не будет виселиц и расстрелов. Не будет Феда. Не будет „Че-ка“. Настанет „благополучие“.

Не колодец разверзся. Тьма ослепила глаза. Ольга, и — самодовольный, в тупом величьи, портрет. Ольга, и — проповедь искушения. Ольга, и — неистовый гнев. Вечер. В комнате пусто. За стеною храпит хозяин. Мне холодно. Я не зажигаю огня.

14 февраля.

Федя вбегает ко мне. Он бледен. Его рыжие волосы в беспорядке. Я только однажды видел его таким: во время ночной атаки.

— Едва добежал, господин полковник... Приготовьтесь. Дом окружен.

Я не верю. Я не верю, чтобы в „Че-ка“ узнали мой адрес. Он известен только своим. А между нами предателей нет.

— Федя, вздор говоришь.

— Взгляните в окно.

Я взглянул. Да, во дворе стоит часовой. Что это? Нелепый случай?.. Федя вынимает револьвер. Я вижу, как у него трясется рука.

Что делать? Мы в мышеловке... Я тоже ставлю браунинг на „огонь“.

— Федя, у тебя с собой партийный билет?

— Так точно.

— И удостоверение „Че-ка“?

— Так точно.

— Ну, так иди вперед.

Он понял. Лицо его просветлело. Мы проходим через столовую в кухню. В столовой воят дети. В кухне пахнет мокрым бельем. Пелагея Петровна шепчет: „Не ходите, ради Христа: убьют“... Но Федя быстро шагает к воротам.

Вот и улица. На улице грузовик. Он пыхтит, — дребезжат оконные стекла. Гололедица. Капает с крыш. Блестит на солнце Христос Спаситель, Федя крестится:

— Бог пронес, господин полковник... Не потопила богородица наш город Псков...

15 февраля.

Меня приютил мой старый знакомый, профессор. Он читает биологию, зоологию, минералогию, — я не знаю, какую именно „логи“. Он с утра уходит на службу, и я остаюсь один.

Не дом, а каменная коробка, не квартира, а научный музей. Микроскопы, колбы, реторты, графики и раскрашенные таблицы. Над камином стенные часы — кукушка. Она кукует каждые полчаса. Медленно ползет время, — догорает ненужный день.

Я когда-то сказал: „Я не хочу быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь борьба. Я пью вино цельное. Я пью его сейчас. „Не убий“... „Не убий“, когда убивают твою жену? „Не убий“, когда убивают твоих детей? „Не убий“, — и оправдано малодушие, и возвеличена слабость, и бессилие возведено в добродетель... Да, убийцы „умрут от язв“. Но „боязливых, и неверных, и скверных, — участь в озере, кипящем огнем“.

16 февраля.

Долго ли продлится мой карантин? Федя волнуется. Он не советует выходить. Я один, с глазу на глаз с кукушкой. Тихо. Тихо так, как бывает в комнатах глубокой зимой.

Тьма ослепила глаза... Разве это прежняя Ольга? Где косы? Где белое платье? Где радостный и беспечный смех? Где Сокольники? Где невозвратимые дни?... Велик и тяжок соблазн. Темный Егоров чувствует его сердцем. Его не понимают ни Федя, ни Вреде, ни, конечно, Иван Лукич. Для них все ясно и просто. Россия и „Коминтерн“. Мужик и рабочий. Они за мужика и Россию. Я тоже за мужика и Россию. Но я знаю, я помню, что сказано было в ответ. А Ольга?..

17 февраля.

Слава богу, нарушено мое „табу“. Федя мне позвонил: в „Че-ка“ получено донесение, что я выехал из Москвы. Меня ищут в Киеве и Одессе. По вечерам приходит Иван Лукич. Иван Лукич располнел и обрился. На нем модный, стянутый в талии, пиджак и золотая цепочка. Не часы ли „со звоном“?.. Он говорит от имени „Комитета“.

- Комитет недоволен взрывом.
- Почему?
- Мешает работе.

Может быть, он и прав. Мы отравлены кровью. Мы без крови не понимаем борьбы. А „комитетчики“ грызут „Совнарком“, как мыши: тихо, настойчиво, осторожно. Их жизнь тяжелее нашей. У них бессменные будни, неблагодарный и кропотливый труд. Сначала труд, потом, конечно, тюрьма. А „перчатки“? А „сосиски“? А „пробки“?

- Комитет предлагает другое.
- Что именно?
- Начальника „Ве-че-ка“.

Начальника „Ве-че-ка“... Я колеблюсь. Ведь он, как царь, — за семью печатями и замками. Но „взялся за гуж, не говори, что не дюж“.

— Хорошо.

— Так я передам.

— Передайте. Ну, а вы? Что у вас?

Иван Лукич вынимает туго набитый бумажник. В бумажнике доллары и фунты.

— Видите. Вот. Табаком торговал.

Он торгует. Он „спекулянт“. „Каждый муравей свою соломинку тащит“... Да, он, наверное, купит хутор, он, наверное, разведет голландских коров. Но ведь и коммунисты „в свой карман норовят, — и только“.

18 февраля.

Я призвал к себе Вреде и Федю. Вреде — „коммунистический комсостав“. Звенит сабля, звякают шпоры. Не хватает только погон.

— Ну что, Вреде, сняли погоны?

Он краснеет.

— И не жалею. Надо правду сказать. Ведь мы ничего не знали. Какой это сброд? Это армия, настоящая армия... Пусть красная, а все-таки наша.

Федя насмешливо замечает:

— Правильно, господин поручик. По морде хлещут за милую душу. Хлещут, да еще с прибауткой: „Это тебе не Временное правительство. Это тебе не старый режим. Как стоишь, сукин сын?“... Ей богу.

Вреде сердится:

— Это неправда.

Неправда?.. Вот где сила и власть вещей. Вреде снова чувствует себя офицером. Он на коне, в строю, впереди эскадрона. Он почти забыл, что он белый. Я нерешительно говорю:

— Что вы думаете о начальнике „Ве-че-ка“?

Но он отвечает без колебания:

— Я, Юрий Николаевич, всегда готов.

— А ты, Федя?

Федя молчит. Потом качает задумчиво головой:

— Прикажут, — надо идти. А только трудное это дело. Где уж нам да ежей давить, господин полковник.

19 февраля.

Да, зачем я пришел?.. Меня снова гложет тоска, — тоска по вольной жизни, по лесу. Мне тесно, меня давят камни в Москве. И я не смею думать об Ольге. Она всплеснула руками. Она не в силах понять. Но ведь я сказал: „и я тоже“... Вот вчера я шел с Егоровым по Ильинке. У торговых рядов, у стены, стоял татарин в рваном халате. Он протягивал шапку. На шапке была приколата надпись:

„Товарищи, подайте на гроб“. Егоров остановился. Он посмотрел на засаленные бумажки и плюнул.

— Жалеют... Чего тут жалеть? Околеваает, а все еще терпит бесов, товарищами зовет. Вот господь и прогневался на него.

На той стороне „бесы“. Что на этой? Разве Егоров выстроит новую жизнь? Разве Федя посеет здоровое семя? Разве Вреде не взбунтовавшийся барин? Разве Иван Лукич не кулак? Что принесим мы с собою России?.. Но ведь „господь прогневался“ не на нас. „Господь прогневался“ на того, кто не борется, кто, и умирая, покорен „бесам“. А Ольга?..

20 февраля.

Я говорю Ольге:

— Значит, можно грабить награбленное?

— А ты не грабишь?

— Значит, можно убивать невинных людей?

— А ты не убиваешь?

— Значит, можно расстреливать за молитву?

— А ты веруешь?

— Значит, можно предавать, как Иуда, Россию?

— А ты не предаешь?

— Хорошо. Пусть. Я граблю, убиваю, не верую, предаю. Но я спрашиваю, можно ли это?

Она твердо говорит:

— Можно.

— Во имя чего?

— Во имя братства, равенства и свободы... Во имя нового мира.

Я смеюсь:

— Братство, равенство и свобода... Эти слова написаны на участках. Ты веришь в них?

— Верю.

— В равенство Пушкина и белорусского мужика?

— Да.

— В братство Смердякова и Карамазова?

— Да.

— В вашу свободу?

— Да.

— И ты думаешь, что вы перестроите мир?

— Перестроим.

— Какой ценой?

— Все равно...

.....

Она чужая. Мне душно с ней, как в тюрьме.

21 февраля.

— Итак, довольно прочитать десять книг, чтобы истина стала понятной?

— Смотря каких книг.

- Евангелие?
 - Нет, Евангелие для детей.
 - Итак, довольно крикнуть с балкона „режь“, чтобы поднять за собою стадо?
 - Не стадо, а русский народ.
 - Народ-богоносец?
 - Нет, свободный народ.
 - Итак, довольно поверить какому-то Марксу, чтобы отречься от родины, от родного гнезда?
 - Ты мучаешь меня, Жорж...
 - Чтобы исковеркать язык, растоптать отцовскую веру, разорить голодных и нищих, и расстреливать беременных баб?
 - Жорж...
 - Чтобы унижить русское имя и служить проходимцам, для их корысти, их лжи?
 - Жорж...
 - Ты помнишь, Ольга: „Если Ты поклонись, то все будет Твое...“ Иди, и поклонись. Нет, ты уже поклонилась... Теперь все твое. Все ваше. Тебе, вам, дана власть.
- Она упала грудью на стол. Она рыдает навзрыд. Меня ждет Федя. Я ухожу.

22 февраля.

Федя докладывает:

- Убили вас, господин полковник, ей-богу, убили... Вчера донесение: вернулся, мол, из Одессы в Москву. Сегодня утром другое: приедет в 8 часов в Петровский парк, на „машине“. Батюшки мои!.. Захлопотали, засуетились. Сейчас роту к Тверской заставе. Ну и я, многогрешный, тут. Верно: слышим, — стучит „машина“. — „Стой!.. Вылезай!.. Документы!“... Вылезает так себе, господин. — „Я, — говорит, — Алексюк, на службе в Госбанке“. — „Алексюк?.. На службе в Госбанке?.. Знаем. За нами!“ Тот — туды-суды, и уже побледнел: караул! Прошел шагов пять, да со страху в кусты. Раз — раз... Из всех винтовок стали палить. Я наклонился, а в нем и дыхания нет. Тогда старший и говорит: „Собаке собачья и смерть“... Это, то есть, про вас... Вот так и убили.
 - Федя, ты донесения писал?
 - Никак нет. Что вы? Разве бы я посмел?
- Я знаю: он врет. Он опять играл и выиграл, конечно, в „акульку“: „уж такой, значит, фарт“.

23 февраля.

Арестовали Вреде. Его арестовали в манеже, после учения, и на грузовике отвезли в „Ве-че-ка“. Он не сопротивлялся. Федя просит меня оставаться дома. Довольно: мне надоел карантин. Ольга... Ольга чужая, но ведь чужая только потому, что своя. Вреде тоже был свой, — свой и чужой, конечно. В каждом из нас есть

частица правды. Только частица, только ничтожная доля ее. Кто посмеет сказать, что познал ее целиком?

24 февраля.

Неужели начальник „Ве-че-ка“ не будет убит? Федя клянется, что Вреде арестован случайно. Но случайно окружили меня, случайно арестовали Вреде... „Революционный держите шаг, неугомонный не дремлет враг“. Мы не дремлем. Не дремлют, разумеется, и они. Волк за тридцать верст чувствует человека. Так и они нас. Так и мы их. Я ощущаю опасность. Я угадываю, что она бродит вокруг. Егоров стал мрачен. Он вспоминает Синицына и жалеет, что в Москве нет костров. — „Но кого жечь, Егоров?“... — „Кого?.. Небось, знаешь сам...“ Я не знаю. Ведь не Федя же? Не Иван же Лукич?

25 февраля.

Вреде расстрелян сегодня, на Лубянке, в подвале. Перед смертью он написал мне письмо. Письмо принес Федя.

„Я знаю, что скоро умру, но не жалею о жизни. Моя совесть чиста: я исполнил свой долг. Я послужил, как умел, России. Пусть я сделал немного, другие сделают больше. Верю в Россию, в ее славу, ее свободу, ее величие. Верю в русский народ, и за него умираю“.

Счастливый Вреде. Хорошо умереть с непоколебленной верой в душе, с сознанием своей непререкаемой правоты. Хорошо в последний, в предсмертный час, заглянуть в свою совесть и помолиться: „Господи, я исполнил свой долг“. Хорошо отдать жизнь „за други своя“... Так умер и Назаренко.

26 февраля.

...Вот идут державным шагом —
 Позади — голодный пес,
 Впереди — с кровавым флагом,
 И за вьюгой невидим,
 И от пули неведим,
 Нежной поступью надвьюжной,
 Снежной россыпью жемчужной,
 В белом венчике из роз —
 Впереди — Иисус Христос.

— Жорж, ты помнишь эти стихи?

— Помню. Но ведь, по твоему, Христос для детей...

— Да, для детей, а вот слушай. Мы начали с Брест-Литовска и кончили защитой России. Вы начали с наступления и кончили на чужих хлебах. Правда это?

— Да, правда.

— Слушай дальше. Мы начали с братанья на фронте и кончили победой везде. Вы начали с добровольцев и кончили на Лемносе. Правда это?

— Да, правда.

— Слушай еще. Мы начали с пулеметов и кончим свободой. Вы начали со свободы и кончили карикатурным царем. Правда это?

— Пусть правда...

— Так почему же ты против нас?

Она сидит строгая, с бледным лицом, в том же черном, без украшений платье. Я смотрю на нее. Я ищу следов прежней Ольги. Вот любимые голубые глаза. Но и они как будто не те. Где их власть надо мною?.. Нет, опять не праздник, а будни... Я говорю тихо:

— А почему ты не с нами? Ведь вы давно отреклись от себя. Где ваш „Коммунистический Манифест“?.. Подумай. Вы обещали „мир хижинам и войну дворцам“, и жжете хижины и пьянствуете в дворцах. Вы обещали братство, и одни просят милостыни „на гроб“, а другие им подают. Вы обещали равенство, и одни унижаются перед королями, а другие терпеливо ждут порки. Вы обещали свободу, и одни приказывают, а другие повинуются, как рабы. Все, как прежде, как при царе. И нет никакой коммуны... Обман, и звонкие фразы, да поголовное воровство. Правда это? Скажи.

Она молчит. Она не смеет ответить.

— Скажи.

— Да, правда.

27 февраля.

Разве можно убедить Ольгу? А если можно, то я спрашиваю — зачем? Она плачет. Но я знаю: она плачет не о своих ошибках и даже не обо мне. Она плачет о нашей любви... Мы оба блуждаем в тумане. В нас нет невинности Феди, огня Егорова, чистоты Вреде, — того, что успокаивает сердца. Мы знаем, что виноваты. По-разному, но все-таки виноваты. Или не виноват, не может быть виноват никто. Все правы. Все — „прах земной“ и все „пух“... Где всадник с мерой в руке?

28 февраля.

Между нами сказано все. Все ли, однако?

— Жорж...

— Что, Ольга?

— Ты меня ненавидишь, Жорж?

— Нет, Ольга.

— Но ты и не любишь меня?.. Ты любишь другую?

Другую?.. Я вспоминаю внезапно Столбцы, лунный свет и белый платок. Я вспоминаю звезды, и лес, и запах свежего сена. Я слышу: „Любись со мной, с мужичкой, а в жены взять барыню, ровню...“ Любил ли я Грушу? Не знаю. Тогда мне казалось, что не люблю.

— Ответь.

Она поднимает испытующие глаза. Она пристально смотрит. Потом говорит:

— Ты любишь другую... Так зачем, зачем ты пришел? Зачем смутил? Зачем посмеялся?.. Ну, я твой враг, ты ненавидишь меня. Так уйди, Жорж, уйди...

— Хорошо. Я уйду.

Я сказал, и она испугалась. Она встает и медленно отходит к

окну. В серой раме окна высокая и черная тень. Ольга — та Ольга, для которой я здесь.

— Да, Жорж, уйди.

1 марта.

Иван Лукич уехал на юг по делам „Комитета“. Вероятно, он боится „Че-ка“, вероятно, также торгует хлебом. Хлеб, табак, какао, вино, — он не брезгает никаким товаром. Он копит деньги на „хутор“.

Егоров возмущен: „Бросил. Стрекача задал... А все из корысти. Разве в нашем деле возможна корысть? В нашем деле надо в чистой рубашке, как, например, господин поручик. Ах, окаянные... Поганят народ, рублем соблазняют...“ Он ютится на заднем дворе, в клетушке. В правом углу — образа: бог Саваоф и Христос-спаситель; в левом — высокий, окованный железом, сундук. В нем браунинги, патроны, бомбы, ручные гранаты. Крышка с внутренней стороны заклеена лубочной картиной: „Жизнь человека“. Восхождение: детство, юность, женитьба. Нисшествие: женитьба, старость, могила. Под могилою — ад: черти с трезубцами и хвостами, и Геенна, „вечный огонь“. Егоров тыкает пальцем:

— Вот. Забывают люди про это.

Я говорю:

— Егоров, уезжал бы и ты.

— Никак нет, господин полковник.

— Смотри, Егоров, ведь арестуют.

— Не арестуют... Я их всех сундуком взорву.

Я улыбаюсь:

— А это не грех?

— Грех?.. Грех бесов сокрушать?.. Где это слыхано, господин полковник?

2 марта.

Федя звонит, что нас ищут. Я и ему предложил уехать. Он, разумеется, отказался: „Где вы, там и я, господин полковник. Помирать, так уж вместе, чорт бы их всех побрал...“ Я знаю, что мы играем с огнем, но не хочу, не могу бросить дело: я сохраняю надежду, что Федя узнает адрес начальника „Ве-че-ка“. „Ве-че-ка“... Какая стыдливость... Почему не „Охранки“? Ведь тот же, царский, застенок и тот же, Шемякин, суд.

Я хожу по Москве. Хлопьями валит снег. Он застилает бульвары, площади, переулки. Белеют крыши домов. Белеет трепещущий воздух. Бьют на Спасской башне часы. Я думаю о наших свиданиях — об Ольге. Ее вера — мое неверие. Ее радость — мое несчастье. Ее победа — мой бесславный конец. И обратно, конечно... Мне тяжело возвращаться к ней.

3 марта.

Истины нам знать не дано. Но то, что мы знаем, разорвано на две части. Одна у них, другая у нас. Не всякое слово облечется в

живую плоть, но всякое может изойти кровью. Их слово изошло ею. Пролнались не реки, а океаны. Во имя чего? Ольга говорит: во имя братства, равенства и свободы. Ей снится сон. Сон снится и мне. А явь? Не суета ли сует?

Я поднял меч. Я не мог его не поднять, — не мог, потому что я сын России. А теперь? „Друзья мои и искренние отступили от меня, и ближние мои стоят вдали. Я близок к падению, но скорбь моя всегда передо мною“.

4 марта.

Я, конечно, вернулся к ней. Ее комната тоже чужая. Слишком голые стены. Слишком наглый, слишком обидный портрет.

— Ольга, сними.

Она послушалась. Она снимает золоченую раму. Потом садится и берет мою руку.

— Хочешь, Жорж, я погадаю тебе?

Я не верю в гадания. И я не верю, что она хочет гадать. Я говорю:

— Не надо... Ты где-нибудь служишь?

— Служу.

— Где?

Она называет какой-то „ком“. Попечение о детях. О „пролетарских“ детях, конечно.

— В партии?

— Да.

Я вешал за партию... Я молчу. Она тоже долго молчит.

— Жорж...

— Что, Ольга?

— Так где же, по-твоему, правда? Ведь не в белых же?

— Нет.

— Не в зеленых же?

— Нет.

— Не в старых же партиях?

— Нет.

— Так где же?

— Не знаю... На заводе, в казарме, в деревне, у простых и неискушенных людей. Но не в вас.

Она встала и наклонилась ко мне. И вдруг быстро и сильно обнимает меня. Я чувствую ее тело, — ее высокую и мягкую грудь. Так обнимала Груша.

— Мне некогда, Ольга. Прощай.

5 марта.

— Жорж, ты любишь другую?

— Не знаю, Ольга, не знаю...

— Не знаешь?... Ты меня разлюбил... Как я ждала тебя, Жорж. А потом... Потом... ты „бандит“... Я не могла. Ты должен понять...

Но скажи, кто она? Кто другая?

— Ольга, ее уже нет.

— Значит, правда? Значит, я не ошиблась?.. Нет, Жорж, я не люблю, я ненавижу, да, ненавижу тебя...

Она плачет. Лютятся женские, обильные слезы, — как у Груши, в лесу.

— Ольга...

— Нет... Ты изменник. Ты предатель. Ты враг народа... Ты наш, ты мой враг...

— Ольга...

— Я тебе сказала: уйди.

Второй раз она гонит меня. Пусть так. Мне жалко моей любви. Но у меня нет ни гнева, ни сострадания. На улице я забуду о ней.

6 марта.

В „Известиях“ напечатано:

„Новое преступление белогвардейцев. Предательский взрыв в Наркомздраве. Ве-че-ка, стоя на страже революционных завоеваний, открыла очередной заговор наемников Антанты, меньшевиков и эс-эров. 5-го марта, в 4 часа пополудни, агенты ее явились для ареста некоего Петра Ларионова, служившего сторожем в упомянутом учреждении. Ларионов, оказавшийся опасным бандитом, забаррикадировался в своей квартире. В ответ на требование выдать оружие раздался оглушительный взрыв. Убиты товарищи Вецис, Бирк и Щепанский. Здание Наркомздрава повреждено. Бандит изуродован взрывом настолько, что не мог быть опознан. Смерть предателям! Да здравствует РСФСР!“

„Бандит изуродован взрывом“... Егоров сделал так, как сказал. Да, он вешал, расстреливал, даже жег на костре. Но ведь он боролся с „бесами“. Но ведь он не курил и не осквернялся чужой посудой. Довольно ли этих заслуг, чтобы избежать того, о чем „забывают люди“? Он верил. Да святится вера его.

7 марта.

Егоров был темный старик, ибо темны народные недра. Темна невспаханная земля, богата и плодородна. Он корнями ушел в нее. Но „сделалось землетрясение великое“. Пошатнулась древняя жизнь. А новая... Что дала ему новая? „Убили сына и дом сожгли“... Бесовское наваждение.

Я слушаю, как в трубе воеет ветер. И мне кажется, что я не в Москве, а в лесу, и что гудят вершинами клены. Вот Егоров выйдет из темноты, перекрестится двуперстным крестом и скажет: „Эка, прости господи, благодать“... И, освежая и радуя, зашумит летний дождь.

8 марта.

Федя сидит в углу. Он курит папиросу за папиросой. Он похудел, под глазами у него синяки. Он, кажется, проигрывает в „акульку“.

— Сматывать бы удочки, господин полковник.

— А начальник „Ве-че-ка“, Федя?

— Очень уж тяжело, господин полковник. Даже ко мне и то начали приставать: „Давно ли в партии? Где раньше служил? Сидели ли в тюрьмах? В каких?“... Я вру, как пес, да ничего не выходит. Хитрые стали, мерзавцы. Не перехитришь, подлецов...

— Ты адрес узнал?

— Узнать—то узнал... Да что, господин полковник?.. ей-богу, заберут, как курят...

— Ну, так уходи, Федя. Ты мне не нужен.

Он бросает окурочек в камин.

— Раньше субботы никак невозможно. Уехал. Вернется только в субботу. А до субботы...

Он машет безнадежно рукой. Он боится: в сердце мертвая мышь. Я перебиваю его:

— Я сказал: дай адрес и уходи.

9 марта.

Федя никуда не ушел. Его в тот же вечер арестовали. Я снова читаю „Известия“. В них сказано, что „белогвардеец“, агент Ковалев, убит при попытке к бегству. Значит, и Феде нет. Нет никого. Я один.

10 марта.

Ждать до субботы... А сегодня четверг. Я, как затравленный зверь, как комиссарша в Бобруйске. Я скучаю о лесе. Уныл Василий Блаженный и безрадостен Кремль. Вот стена — могилы павших в бою коммунистов. Им — слава и вечный покой. А мне?.. Мне широкий простор. Шуршит в лесу примятый орешник, приподнимается брезент над палаткой, — входит Груша босыми ногами: „Бей их, бей, чтобы ни один живым не ушел, чтоб поколеть им всем, окаян-ным“...

11 марта.

Да, Федя был прав: надо „сматывать удочки“. Я вышел вечером на Тверскую. Я шел без мыслей, без цели: я задыхался в своей коробке. Внизу, на площади, меня догнала „машина“. — „Товарищ, стой!.. Руки вверх!“... Я успел вынуть браунинг: я всегда ношу его в руке. Я поднял правую руку и, не знаю зачем, стал стрелять. Я не видел людей, — я видел черные тени. Я нажимал на курок, пока не щелкнул последней пулей затвор. Тогда я очнулся... Я огляделся. Было пусто и очень темно. На мостовой, на мокром снегу, лежало три человека. Стучал мотором оставленный грузовик. Я свернул в переулочек... Итак, начальник „Ве-че-ка“ не будет убит.

12 марта.

Я прощался с профессором, когда позвонили. Профессор вздрогнул. Я взял браунинг и пошел отворить. На пороге стояла Ольга.

— Почему у тебя револьвер?

— Меня ищут.

— Кто ищет?

— Твои друзья, коммунисты.

Она не села, а почти упала на стул, как была — в папаче и шубе.

— Жорж... Ты уедешь? Да?

— Да, Ольга.

— Жорж, милый, возьми меня с собой... Жорж.

— Куда?

— Куда хочешь.

„Возьми меня с собой, куда хочешь“... Так просила и Груша... И почему эта женщина в папаче, с коротко остриженной головой, эта чужая мне незнакомка, говорит со мною на „ты“ и зовет меня Жоржем?

— Нет, Ольга.

— Жорж, будь чем хочешь, делай, что хочешь, но не отказывай... Пожалей... Ведь я люблю тебя, Жорж. Ведь я любила тебя всегда...

— Нет, Ольга.

— Потому что я коммунистка? Потому что я была против вас?

Я молчу.

— Ну, скажи же... Скажи.

Она не плачет. Глаза ее сухи. Она ждет. Так ожидала Груша ответа... Другого ответа.

— Потому что я тебя не люблю.

Я сказал и сам не поверил себе. Она потупилась. Звенел стаканами на кухне профессор. Тикали стенные часы—кукушка, и, помню, за окном кружился медленный снег.

13 марта.

Я в вагоне. Пахнет полушубками и махоркой. В дальнем углу, в темноте, какой-то малый „наяривает“ на балалайке:

Ах, коммуна, коммуна моя!

Ах, и рожа—то вся подлая твоя!

Чего я достиг? Позади — свежевырытые могилы. Впереди... Что ожидает меня впереди? Труден путь и далек, и не видится, и не предчувствуется конца. Завтра они падут. Кто их заменит? Феди, Егоровы, Вреде? Или белоручки, святые Касьяны, не вложившие в язвы перстов? Но ведь надо строить, не разрушать... Ольга... Я сказал, что я ее не люблю. Да, мир опустел для меня. Россия — Ольга, Ольга — Россия. Неправда. А Груша?... Нет Груши, нет и мечты об Ольге. Замкнулся круг. Не тот ли последний, когда утрачивается надежда?

У коммунии карманы все в дырах!

У коммунии полцарствия в ворах!

Свистит пронзительно паровоз, погромохивают колеса. „Наяривает“ в темноте балалайка. Мчится поезд. Куда?

14 марта.

Мчится поезд. Я вижу: под обнаженной березой, без шапки стоит человек, с веревкой на шее... „На что крестишься? крестись на

восход"... Я вижу: разгорается красный огонь, белеют голые плечи... „Бороду-то, бороду ему подпали"... Я вижу: пылает деревня, сверкнул на солнце топор: „Убью!" ...Мчится поезд. „Товарищ, эй, не трус! Пальнем-ка пулей в святую Русь!..“

Пальнули. И, раненая, бьется Россия. Пальнули не только они, пальнули и мы. Пальнули все, у кого была винтовка в руках. Кто за Россию? Кто против?.. Мы?.. Они?.. И мы и они?..

Сроков знать не дано. Но встанет родина, — встанет нашею кровью, встанет из народных глубин. Пусть мы „луж“. Пусть нас „возносит“ ненастье. Мы, слепые и ненавидящие друг друга, покорны одному, несказанному, закону. Да, не мы измерим наш грех. Но и не мы измерим нашу малую жертву... „И когда он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей“.

1923 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Ю.Давыдов. Предисловие	3
Ф.Кон. Предисловие к изданию 1928 г.	19
ВОСПОМИНАНИЯ ТЕРРОРИСТА	23
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	25
Глава I. Убийство Плеве	25
Глава II. Убийство великого князя Сергея	69
Глава III. Боевая организация	107
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	157
Глава I. Покушение на Дубасова и Дурново	157
Глава II. Арест и бегство	215
Глава III. Разоблачение предательства Азефа	267
КОНЬ БЛЕДНЫЙ	307
КОНЬ ВОРОНОЙ	375

Борис Викторович Савинков
ИЗБРАННОЕ

Подписано в печать 28.09.90. Формат издания 84 × 108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная импортная. Печать офсетная. Гарнитура Академическая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отг. 23,10. Уч.-изд. л. 25,4. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1239. Цена 5 р. 80 к.

Диaposитивы изготовлены в типографии издательства „Новости”
107005, Москва, ул. Ф. Энгельса, 46.

Отпечатано в ордена Ленина типографии „Красный пролетарий”.
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.



